ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ

# КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 5 (15)

АВГУСТ—СЕНТЯБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1923 ПЕТРОГРАД

Москва. Главлит № 11823 а. Гиз. № 5329. 8.000 экз.

„Мосполиграф". 16-я типография, Трехпрудный, 9.

# Автобиографические рассказы.

## М. Горький.

## Сторож.

*(Продолжение).*

Я — ночной сторож станции Добринка; от шести часов вечера до шести утра хожу с палкой в руке вокруг пакгаузов; со степи тысячью пастей дует ветер, несутся тучи снега, в его серой массе медленно плывут туда и сюда локомотивы, тяжко вздыхая, влача за собою черные звенья вагонов, как будто кто-то, не спеша, опутывает землю бесконечной цепью и тащит ее сквозь небо раздробленною в холодную белую пыль. Визг железа, лязг сцеплений, странный скрип, тихий вой носятся вместе со снегом.

У крайнего пакгауза, в мутных вихрях снега возятся две черные фигуры,—это пришли казаки воровать муку. Видя меня, они, отскочив в сторону, прячутся в сугроб, и потом, сквозь вой и шорох вьюги, я слышу нищенски жалобные слова просьбы, обещания дать полтинник, ругань.

— Бросьте это, ребята, — говорю я.

Мне лень слушать их, не хочется говорить с ними, я знаю, что они — не бедняки, воруют не по нужде, а на продажу, для пьянства, для женщин.

Иногда они подсылают красивую жолнерку Лёску Графову; расстегнув тулупчик и кофту, она показывает сторожам груди; упругие, точно хрящ, они стоят у нее горизонтально.

— Глядите-тко, — как пушки! — задорит и хвастается она. — Ну, хотите за мешок пшеничной второго сорта? Ну, — третьего?

С нею деловито торгуются молодой религиозный тамбовский парень Байков и усманский татарин, хромой Ибрагим.

Она стоит перед ними, открыв грудь, снег тает на коже у нее, встряхнув плечами, как цыганка, она ругается:

— Кацапы, ну, скорее! Болотное племя, али вы найдете где эдакую сладость, как у меня, падаль песья!

Она презирает русских мужиков. Голос у нее грудной, сильное красивое лицо освещено дерзкими глазами кошки. Ибрагим ведет ее под крышу пакгауза, а ее товарищи, бросив на салазки мешок или куль, — уезжают.

Мне противно бесстыдство этой женщины и до тоски жалко ее прекрасное, сильное тело. Ибрагим называл Лёску собакой и плевался, вспоминая ее ласки, а Байков тихо и задумчиво говорил:

— Таких убивать надо бы...

По праздникам, нарядно одетая, в скрипучих козловых башмаках, в алом платочке на густых каштанового цвета волосах, она, приходя в город, обслуживает телом своим „интеллигенцию", относясь ко всем покупателям одиноково дерзко и презрительно.

Когда она привязывалась ко мне, я ее прогонял с моего участка, но как-то, теплой светлой ночью, сидя на лесенке пакгауза, я задремал, и, открыв глаза, — увидел перед собой Лёску; она стояла, сунув руки в карман тулупчика, нахмуря брови, статную фигуру ее внимательно освещала луна.

— Не бойсь, — не воровать пришла — гуляю!

По звездам — было уже далеко за полночь.

— Поздновато гуляешь.

— Баба—ночью живет,—ответила Лёска, садясь рядом со мной.— Ты чего же спишь? Али за сон деньги платят?

Достала из кармана горсть семян подсолнуха и, грызя их, спросила:

— Ты, будто, грамотей? Скажи-ка, где Оболак-город?

— Не знаю.

— Матерь Божия появилась там, кверху ручки, пишется, а младенец Христос — в подоле у ней...

— Абалацк...

— Где он?

— На Урале где-то, или в Сибири.

Облизав губы, она сказала:

— Пойти, что ли, туда? Далеко оно. А, пожалуй, надо итти.

— Зачем?

— Молиться, грешна больно. Все через вас, кобелей... Покурить есть?

Закурив — предупредила:

— Казакам — не говори, гляди, что курю,—у нас не любят, когда баба дымит.

Очень красиво было ее строгое лицо, нарумяненное зимним воздухом, ярко блестели темные зрачки в опаловых овалах белков.

Золотая полоска сверкнула в небе — женщина перекрестилась, говоря:

— Упокой Господь душу! Вот и моя душа так же падет. Тебе когда скушнее, — в светлые ночи, али в темные? Мне — в светлые.

Заплевала огонек окурка папиросы, бросила его и, зевнув, предложила:

— Давай — побалуемся?

А когда я отказался — добавила равнодушно:

— Со мной хорошо, все хвалят...

Я сказал несколько слов о ее отталкивающем бесстыдстве — ласково и мягко сказал. Не глядя на меня, она ответила спокойным, ровным голосом.

— Это — от скуки потеряла я стыд. Скушно, человек...

Странно мне было слышать из уст ее слово „человек" — оно прозвучало необычно, незнакомо. А женщина, закинув голову, глядя в небо, говорила медленно:

— Я не виноватая; говорится: так сделал Бог, ценят бабу с ног. Не виноватая я в этом...

Посидев молча еще минуту, две, она встала, оглянулась.

— Пойду к начальнику...

И не спеша ушла по нитям путей, по рельсам, высеребренным луною, а я остался, подавленный словами:

— Скушно, человек...

Мне в ту пору была непонятна „скука" людей, чья жизнь рождается и проходит на широких плоскостях, в пустоте, ярко освещаемой то солнцем, то луною, на равнинах, где человек ясно видит свое ничтожество, где почти нет ничего, что укрепляло бы волю к жизни.

Вокруг меня мелькали люди, для которых все, чем я жил, было чуждо, каждый из них отбрасывал свое отражение в душу мне, и в непрерывной смене этих отражений я чувствовал себя осужденным на муку понимать непонятное.

Вот предо мною буйно кружится Африкан Петровский, начальник станции, широкогрудый длиннорукий богатырь, у него выпуклые — рачьи темные глаза, черная бородища, он весь, как зверь, оброс шерстью, а говорит — чужим голосом — тенором, и когда сердится, то свистит носом, широко раздувая калмыцкие ноздри. Он — вор, заставляет весовщиков вскрывать вагоны с грузом портов Каспийского моря, весовщики таскают ему шелк, сласти, он продает краденое—и устраивает по ночам на квартире у себя „монашью жизнь". Он — жесток, бьет по ушам и по зубам станционных сторожей, говорят — до смерти забил свою жену.

Вне службы он наряжается в алую шелковую рубаху, бархатные шаровары, в татарские сапоги зеленого сафьяна, носит лиловую, шитую золотом тюбитейку на черной шапке курчавых волос; таков — он похож на трактирного певца, одетого в „боярский костюм".

К нему приходит помощник исправника Маслов, лысый, круглый, бритый, точно ксендз, с носом хищной птицы и лисьими глазками распутной женщины,—это очень злой, хитрый, лживый человек, в городе его прозвали „Актриса";—является мыловар Тихон Степахин, рыжий,

благообразный мужик, тяжелый, как вол, полусонный, — на его заводе рабочие отравляются чем-то и заживо гниют; его несколько раз судили и штрафовали за увечья рабочих; — приходит кривой дьякон Ворошилов, пьяница, грязный, засаленный человечишко, превосходный гитарист и гармонист, рябое скуластое лицо его в серых волосах, толстых, как иглы ежа; у дьякона маленькие холеные руки женщины и красивый — ярко-синий — глаз: дьякона так и зовут „Краденый глаз".

Приходят бойкие девицы из села и казачки из станицы, иногда с ними — Лёска. В небольшой комнате, тесно заставленной диванами, садятся за тяжелый круглый стол, нагруженный копченой птицей, окороками, множеством всяких солений, мочеными яблоками и арбузами, квашеной, вилковой капустой, — среди всей этой благостыни блестит четверть водки. — Петровский и друзья его, почти молча, долго жуют, чавкают, сосут водку из серебряной „братской" стойки, — в нее входит четверть бутылки.

Наелись. Степахин рыгает, как башкир; крестится дьякон, — нежно улыбаясь, настраивает гитару; переходят в большую комнату, где нет мебели, кроме полдюжины стульев, и начинают петь.

Поют — дивно. Петровский — тенором, Степахин — густейшим мягким басом, у дьякона — хороший баритон, Маслов умело вторит хозяину, женщины тоже обладают хорошими голосами, — особенно выдается чистотою звука контральто казачки Кубасовой; голос Лёски криклив, — дьякон часто грозит ей пальцем. Поют благоговейно, как пели бы во храме, и все строго смотрят друг на друга, — только Степахин, широко расставив ноги, опустил глаза, и лицо у него удивленное, точно он не верит, что это из его горла бесконечно льется бархатная струя звука. Песни мучительно грустные, иногда торжественно поется что-либо церковное, чаще всего „Покаяния двери отверзи".

Белки рачьих глаз Петровского налиты кровью, он вытягивается всем телом, как солдат в строю, и орет:

— Дьякон — плясу! Тихон — делай! Живем!

— Начали! — отзывается дьякон, взмахивая гитарой и хитрейшим перебором струн, с ловкостью фокусника начинает играть трепака, а Степахин — пляшет. Деревянное лицо мыловара освещено мечтательной усмешкой, грузное тело его исполнено гибкой, звериной грации, он плавает по комнате легко, как сом в омуте, весь в красивых ритмических судорогах и, бесшумно выписывая ногами затейливые фигуры, смотрит на всех взглядом счастливого человека. Пляшет он чарующе хорошо, и хотя казачка Кубасова, подвизгивая, заманчиво и ловко ходит вокруг него, но Степахин затмевает ее невыразимой красотой ритмических движений мощного тела, — его пляска опьяняет всех.

Африкан Петровский озверел от радости, орет, свистит, взмахивает башкой, вытряхивая из глаз слезы, дьякон, перестав играть, обнимает Степахина, целует и, задыхаясь, бормочет:

— Тихон! — богослужебно... Голубчик. Все... Все простится...

А Маслов кружится около них и кричит:

— Тихон! Царь! Талант! Убийца!

Эти люди выпили две четверти водки, но только теперь они хмелеют, и мне кажется, что это — опьянение от радости, от взаимных ласк и похвал. Женщины тоже охмелели, глаза их жадно горят, на щеках жаркий румянец, они обмахиваются платочками и возбуждены, как застоявшиеся лошади, которых вывели из темной конюшни на широкий двор, на свет и тепло весеннего дня.

Лёска, полуоткрыв рот, дышит тяжело, смотрит на Степахина сердито, влажными глазами и, покачиваясь на стуле, шаркает по полу подошвами башмаков.

За окнами свистит и воет ветер, в трубе печи гудит, белые крылья шаркают по стеклам окон.—Степахин, вытирая пестрым платком потное лицо, говорит тихо и виновато:

— Из-за плясок этих, в хороших людях никакого уважения нету ко мне...

Петровский яростно обкладывает хороших людей многословной затейливой матерщиной. Женщины фальшиво взвизгивают, желая показать, что им стыдно — а сочетания зазорных слов победно обнаруживают прелестную гибкость русского языка.

Снова играет дьякон, а Петровский пляшет, бурно, удало, с треском, с грохотом и криками, как-будто разрывая и ломая что-то невидимо стесняющее его, пляшет Лёска, как безумный неумело прыгает Маслов. Топот, свист, визг, непрерывное мелькание пестрых юбок, и, отчеканивая каблуками дробь, Петровский свирепо, мстительно орет:

— Эх-ма! Пропадаю-у!

Слышно, как он скрипит зубами. В этом исступленном весельи нет смеха, нет легкой, окрыленной радости, поднимающей человека над землей, это — почти религиозный восторг; он напоминает радения хлыстов, пляски дервишей в Закавказье. В этом вихре тел — сокрушительная силища, и безысходное метание ее кажется мне близким отчаянию. Все эти люди — талантливы, каждый по-своему, жутко талантливы; они опьяняют друг друга исступленной любовью к песне, к пляске, к телу женщины, к победоносной красоте движения и звука, все, что они делают, похоже на богослужение дикарей.

Петровский снимает меня с дежурства для участия в „монашьем житье“, потому что я много знаю хороших песен, не плохо умею „сказывать“ их и могу, не пьянея, глотать множество неприятной мне водки.

— Пешков, — валяй! — орет он, — он орет, даже когда обнимает женщин, ревет зверем, — это его потребность.

Становлюсь к стене и „валяю“. Нарочито выбирая трогательные и красивые, — я „сказываю“ песни, стараясь обнажить красоту слова и

чувства, скрытую в них. И подчиняюсь силе их неизбывной тоски, близкой моей душе, враждебно отрицаемой разумом.

— Господи, — взывает дьякон, хватаясь за голову, его маленькие нежные ладони совершенно тонут в космах полуседых волос. Степахин смотрит на меня изумленно и, кажется, с завистью, лицо его вздрагивает неприятно, Петровский так стиснул зубы, что скулы его выступили желваками. А Маслов, посадив Кубасову на колени себе, забыл о ней и глядит в пол, как больная собака. Не понимаю, чего мне надо от этих людей, но иногда думалось, что если насытить их песнями до полноты душ, — тогда они как-то изменятся, обнаружат себя более понятными мне. Вот они, восхищаясь, обнимают, целуют меня, дьякон плачет.

— Разбойник, — говорит мне Маслов, гладя руку мою, Степахин молча целует меня.

— Пей, все равно пропадаешь! — ревет Петровский, а Лёска, размахивая руками, говорит:

— Влюбилася я в него, при всех говорю — влюбилася, даже ноги трясутся...

А через минуту они ненасытно требуют еще чего-то.

Знаю я, что они люди негодные, но — они религиозно поклоняются красоте, служат ей, до самозабвения, упиваются ядом ее и способны убить себя ради нее.

Из этого противоречия возникает облако мутной тоски и душит меня. А у них исступление восторга восходит до высшей точки своей, но — все песни уже спеты, пляски сплясаны.

— Раздевай баб! — орет Петровский.

Раздевал всегда Степахин, он делал это не торопясь, аккуратно развязывая тесемки, расстегивая крючки и деловито складывая в угол кофты, юбки, рубахи.

Рассматривали прекрасное тело Лёски, осторожно трогали ее вызывающие груди, стройные ноги, великолепный живот, ходили вокруг женщин изумленно охая и хвалили тело их так же восторженно, как песню, пляску. Потом снова шли к столу в маленькую комнату, ели, пили и — начиналось неописуемое, кошмарное.

Животная сила этих людей не удивляла меня — быки и жеребцы сильнее. Но было жутко наблюдать нечто враждебное в их отношении к женщинам, красотою которых они только что почти благоговейно восхищались. В их сладострастии я чувствовал примесь изощренной мести, и казалось, что эта месть возникает из отчаяния, из невозможности опустошить себя, освободить от чего-то, что угнетало и уродовало их.

Помню ошеломивший меня крик Степахина: он увидал отражение свое в зеркале, его красное лицо побурело, посинело, глаза исступленно выкатились, он забормотал:

— Братцы — глядите-ка, Господи!

И — взревел:

— У меня — нечеловечья рожа — глядите! Нечеловечья же, — братцы!

Схватил бутылку и швырнул в зеркало.

— Вот тебе, дьяволово рыло, — на!

Он был не пьян, хотя и много выпил, — когда дьякон стал успокаивать его, он разумно говорил:

— Отстань, отец... Я же знаю, — нечеловечьей жизнью живу. Али я человек? У меня вместо души чорт медвежий, — ну, отстань. Ничего не сделать с этим...

В каждом из них жило — ворочалось — что-то темное, страшное. Женщины взвизгивали от боли их укусов и щипков, но принимали жестокость как неизбежное, даже как приятное, а Лёска нарочно раздражала Петровского задорными возгласами:

— Ну — еще! Ну-ка, ущипни, ну?

Кошачьи зрачки ее расширялись, и в эту минуту было в ней что-то похожее на мученицу с картинки. Я боялся, что Петровский убьет ее.

Однажды, на рассвете, идя с нею от начальника, я спросил: зачем она позволяет мучить себя, издеваться над собою?

— Так он сам же себя мучает. Они все так. Дьякон-то кусается, а сам плачет.

— Отчего это?

— Дьякон — от старости, сил нет. А другие — Африкан со Степахиным — тебе не понять, отчего. А я и знаю, да сказать не умею. Знаю я — много, а говорить не могу, покамест слова соберу — мысли разбегутся, а когда мысли дома — нету слов.

Она, должно быть, действительно что-то понимала в этом буйстве сил, — помню, весенней ночью, она горько плакала, говоря:

— Жалко мне тебя, пропадешь, как птица на пожаре, в дыму. Ушел бы лучше куда в другое место. Ой, всех жалко мне...

И нежными словами матери, с бесстрашной мудростью человека, который заглянул глубоко во тьму души и печально испугался тьмы, она долго рассказывала мне страшное и бесстыдное.

Теперь мне кажется, что предо мною разыгрывалась тяжелая драма борьбы двух начал — животного и человеческого: человек пытается сразу и навсегда удовлетворить животное в себе, освободиться от его ненасытных требований, а оно, разрастаясь в нем, все более порабощает его.

А в ту пору эти буйные праздники плоти возбуждали во мне отвращение и тоску, смешанные с жалостью к людям, — особенно жалко было женщин. Но, изнывая в тоске, я не хотел отказаться от участия в безумствах „монашьей жизни“, — говоря высоким стилем, я страдал тогда „фанатизмом знания“, меня пленил и вел за собою „фанатик знания — Сатана“.

— Все надо знать, все надо понять, — сурово сквозь зубы говорил мне М. А. Ромась, посасывая трубку, дымно плевал и следил, как голубые струйки дыма путаются в серых волосах его бороды.— Не подобает жить без оправдания, это значило бы — живете бессмысленно. Так что — привыкайте заглядывать во все щели и ямы, может, там, где-то и затискана вам потребная истина. Живите безбоязненно, не бегая от неприятного и страшного, — неприятно и страшно, потому что непонятно. Вот что!

Я и заглядывал всюду, не щадя себя, и так узнал многое, чего мне лично лучше бы не знать, но о чем рассказать людям — необходимо, ибо это — их жизнь трудная, грязная драма борьбы животного в человеке, который стремится к победе над стихиею в себе и вне себя.

Если в мире существует нечто поистине священное и великое, так это только непрерывно растущий человек, — ценный даже тогда, когда он ненавистен мне.

Впрочем, — внимательно вникнув в игру жизни, я разучился ненавидеть, и не потому, что это трудно — ненависть очень легко дается, — а потому, что это бесполезно и даже унизительно, — ибо — в конце концов ненавидишь нечто свое собственное.

Да, философия — особенно же моральная — скучное дело, но когда душа намозолена жизнью до крови и горько плачет от неисчерпаемой любви к „великолепному пустяку“ — человеку, невольно начинаешь философствовать, ибо — хочется утешить себя.

---

Прожив на станции Добринка три или четыре месяца, я почувствовал что больше — не могу, потому что, кроме исступленных радений у Петровского, меня начала деспотически угнетать кухарка его, Маремьяна, женщина сорока шести лет и ростом два аршина десять вершков; взвешенная в багажной на весах „фербэнкс“, она показала шесть пудов тринадцать фунтов. На ее медном луноподобном лице сердито сверкали круглые зелененькие глазки, напоминая окись меди, под левым помещалась бородавка, он всегда подозрительно хмурился. Была она грамотна, с наслаждением читала жития великомучеников и всею силой обширнейшего сердца своего ненавидела императоров Диоклетиана и Деция.

— Нарвались бы они на меня, я б им зенки-то выдрала!

Но свирепость, обращенная в далекое прошлое, не мешала ей рабски трепетать перед „Актрисой“, Масловым. В часы пьяных ужинов она служила ему особенно благоговейно, заглядывая в его лживые глаза взглядом счастливой собаки. Иногда он, притворяясь пьяным, ложился на пол, бил себя в грудь и стонал:

— Плохо мне, плохо-о...

Она испуганно хватала его на руки, и как ребенка, уносила куда-то в кухню к себе.

Его звали — Мартин, но она часто, должно быть со страха пред ним, путала имя его с именем хозяина и называла:

— Мартыкан.

Тогда он, вскакивая с пола, безобразно визжал:

— Что-о? Как?

Прижав руки к животу, Маремьяна кланялась ему в пояс и просила хриплым от испуга голосом:

— Прости, Христа ради...

Он еще более пугал ее свистящим тонким визгом, — тогда огромная баба молча, виновато мигала глазами, из них выскакивали какие-то мутно-зеленые слезинки. Все хохотали, а Маслов, бодая ее головою в живот, ласково говорил:

— Ну, — иди, чучело! Иди, нянька...

И когда она осторожно уходила — рассказывала, не без гордости:

— Буйвол, а сердце — необыкновенной нежности...

В начале дней нашего знакомства Маремьяна и ко мне относилась добродушно и ласково, как мать, но однажды я сказал ей что-то порицающее ее рабью покорность „Актрисе". Она даже отшатнулась от меня, точно я ее кипятком ошпарил. Зеленые шарики ее глаз налились кровью, побурели, грузно присев на скамью, задыхаясь в злом возмущении, качаясь всем телом, она бормотала:

— Ма-мальчишка, — да ты что это? Это — про него, ты? Эдаким-то словом? Да — я тебя... Он тебя... Тебя надо на мельнице смолоть! Ты — с ума ли сошел? Он — святе святого, а ты... Ты — кто?

И крикнула, неожиданно густо:

— Отравить тебя, волчья душа! Уйди!

Я был опрокинут этим взрывом изумленной злобы и, несмотря на юность мою, почувствовал, что грубо коснулся чего-то поистине священного или очень наболевшего. Но — как я мог догадаться, что эта масса жира и мяса, размещенная на огромных костях, носит в себе нечто неприкосновенное и столь дорогое для нее? Так учила меня жизнь понимать равноценность людей, уважать тайно живущее в них, учила осторожней, бережливее относиться к ним.

После этого Маремьяна, люто возненавидев меня, возложила на плечи мои множество обязанностей по хозяйству начальника станции. Сменяясь с дежурства, после бессонной ночи, я должен был колоть и таскать дрова на кухню и в комнаты, чистить медную посуду, топить печи, ухаживать за лошадью Петровского и делать еще многое, что поглощало почти половину моего дня, не оставляя времени для книг и для сна. Женщина откровенно грозила мне:

— Затираню до того, что на Кавказ сбежишь.

„Кавказ требует привычки", — вспоминал я изречение Барнова и написал начальству в Борисоглебск прошение, в котором — стихами — изобразил Маремьянино тиранство. Прошение имело успех:

вскоре меня перевели на товарную станцию Борисоглебска, поручив мне хранение брезентов, мешков и починку их.

Там я познакомился с обширной группой интеллигентов. Почти все они были „неблагонадежны", изведали тюрьмы и ссылку, они много читали, знали иностранные языки, все это — исключенные студенты, семинаристы, статистики, офицер флота, двое офицеров армии.

Эту группу—человек шестьдесят—собрал в городах Волги некто М. Е. Ададуров, делец, предложивший Правлению Грязе-Царицынской дороги искоренить силами таких людей невероятное воровство грузов. Они горячо взялись за это дело, разоблачали плутни начальников станции, весовщиков, кондукторов, рабочих и хвастались друг перед другом удачной ловлей воров. Мне казалось, что все они могли бы и должны делать что-то иное, более отвечающее их достоинству, способностям, прошлому, — я тогда еще не ясно понимал, что в России запрещено „сеять разумное, доброе, вечное".

Я шел по середине между первобытными людьми города и „культуртрегерами" своеобразного типа, и мне было хорошо видно несоединимое различие этих групп.

Весь город, конечно, знал, что „ададуровцы" „политики, — из тех, которых вешают", и, зорко следя за работой этих людей, ненавидел, боялся их. Жутко было подмечать злые, трусливо-мстительные взгляды обывателей, — они ненавидели „ададуровцев" и за страх, как личных врагов своих, и за совесть, как врагов „веры и царя".

Мой знакомый токарь, Павел Крюков, сидя со мною в кабаке за бутылкою пива, громко рассуждал:

— Как можно допускать к делу этаких людей? Их надо гнать на необитаемые острова, — в Робинзоны их отдать! А — того лучше — перевешать! Два года тому назад вешали их в Питере.

Крюков был человек весьма начитанный, увлекался географией и стихами Жуковского, имел штук двадцать хороших книг и среди них „Процесс первого марта". Таинственно давая мне эту книгу, он сказал:

— Вот, почитай, каковы они! Берегись, гляди, — ни за грош погубят!

Так рассуждал не один он, разумеется.

... Я познакомился с литератором Старостиным-Маненковым — он служил в канцелярии товарного отдела Грязе-Царицынской дороги.

Среднего роста, полный, Старостин напоминал скопца безволосым пухлым лицом и бесцветными мертвыми глазами; тяжелая походка, неуверенные движения усиливали это сходство. Его дряблое тело являлось вместилищем разнообразных болезней, — мнительность усиливала и обостряла их. Он непрерывно охал, кряхтел, кашлял и плевал по всем направлениям, — в ящик из-под макарон, служивший ему для рваной бумаги, в горшки цветов на подоконниках, в пепельницу и

просто на пол, к двери. Понатужится, плюнет, посмотрит на результат и, сокрушенно покачивая лысоватой головой, скажет:

— Плохо!

Вечерами в своей маленькой комнатке с кумачными занавесками на окнах, горшками фуксий и гераней на подоконниках, с иконой мучеников Кирика и Улиты в углу, он, сидя за столом, тяжело нагруженным ворохами исписанной бумаги, пил маленькими рюмочками водку, закусывал репчатым луком и жаловался, тонко взвизгивая:

— Глеб Успенский глумится над мужиком, а я пишу кровью сердца! Ты, — читающий человек, — ну скажи мне: где, в чем, какая разница между Успенским и Лейкиным? Однако его печатают в лучших журналах, а — я...

Рассказы Старостина печатались в провинциальных газетах, но один или два были помещены, кажется, в журнале „Дело". — Старостин любил, чтоб ему напоминали об этом.

Я напоминал.

— Много ли? — печально, но уже не так жалобно, восклицал он.

— Много.

Он сполз со стула на пол, полез на четвереньках под широкую кровать и, вытащив оттуда большой узел, завязанный в серую шаль, хлопнул по узлу ладонью, поднял облако пыли, закричал, задыхаясь:

— Вот — все готово! Соком сердца написано! Да-да! Кр-ровью...

Лицо его багровело, глаза наливались пьяной слезой, но однажды, трезвый, он прочитал мне только-что написанный им рассказ о мужике, который во время пожара спас от гибели в огне любимую лошадь станового пристава, а пристав, за час до этого подвига, выбил герою мужику два зуба за кражу шкворня. Мужик сильно ожегся, геройствуя, его отправили в больницу.

Прочитал Старостин эту трогательную историю и радостно заплакал, забормотал восхищенно:

— Как это хорошо, как задушевно написано! Н-да, брат, д-да! Учись, вникай в душу...

Рассказ очень не понравился мне, но я тоже едва не заплакал, видя радость автора. Его искреннее чувство так же искренно волновало и меня.

Но отчего же плакал этот неприятно смешной человек. Я попросил его дать мне рукопись и дома еще раз прочитал ее. Нет, рассказ был написан слащаво и нарочито жалобно, как пишутся фальшивые прошения „несчастных страдальцев" добрым и богатым вдовам. А все-таки, чем же вызваны искренние слезы автора и эта детская радость его?

— Не нравится мне рассказ,— сознался я Старостину.

Любовно складывая страницы рукописи, он вздохнул:

— Груб ты! И непонятлив.

— Что вас трогает в нем?

— Душа! — сердито крикнул он. — Душа в нем сияет!

Покричав на меня, сколько ему нравилось, он выпил водки и внушительно заговорил:

— Учись! Вот стихи пишешь ты, это глупо. Этого не надо Надсоном ты не будешь, у тебя не та закваска, у тебя сердца нет, ты человек грубый. Помни: на стихах Пушкин погубил свой недюжинный талант. Проза—вот настоящая литература,—святая, честная проза.

Он сам служил для меня олицетворением этой святой прозы, а густой чад ее уже и тогда душил меня.

У Старостина была любовница, его квартирная хозяйка, женщина с полупудовыми грудями и задом, который не помещался на стуле. В день ее именин Старостин торжественно поднес ей широкое плетеное кресло,—это очень тронуло женщину. Трижды поцеловав возлюбленного в губы, она сказала, обращаясь ко мне:

— Вот, молодой юноша, учитесь у старших, как надо ублажать даму.

Старостин стоял рядом с нею, счастливо улыбался и дергал пальцами свои серые уши, мягкие, как у собаки.

Был яркий день конца марта, на окнах обильно цвели фикусы. в комнату вливался весенний лепет вешних вод, в комнате стоял густой запах горячего пирога, мыла и табаку.

Юность и малограмотность не мешали мне тревожно чувствовать скрытые в „святой, честной прозе" возможности тяжких и пошлых драм.

Мечтая о каких-то великих подвигах, о ярких радостях жизни, я охранял мешки, брезенты, щиты, шпалы и дрова от расхищения казаками ближайшей станции. Я читал Гейне и Шекспира, а по ночам, бывало, вдруг вспомнив о действительности, тихонько гниющей вокруг, часами сидел или лежал, ничего не понимая, точно оглушенный ударом палки по голове.

В городе, насквозь пропитанном запахами сала, мыла, гнилого мяса, городской голова приглашал духовенство служить молебны об изгнании чертей из колодца на дворе у него.

Учитель городского училища порол по субботам в бане свою жену; иногда она вырывалась от него, и нагая, толстая, бегала по саду, он же гонялся за нею с прутьями в руках.

Соседи учителя приглашали знакомых смотреть на этот спектакль сквозь щели забора.

Я тоже ходил смотреть — на публику; подрался с кем-то и едва не попал в полицию. Один из обывателей уговаривал меня:

— Ну, чего ты разгорячился? Ведь на этакую штуку всякому интересно взглянуть. Такой случай и в Москве не покажут.

Железнодорожный конторщик, у которого я нанимал угол за рубль в месяц, искренно убеждал меня, что все евреи не только мошенники,

но еще и двуполые. Я спорил с ним, и вот, ночью, он в сопровождении жены и ее брата подошел к моей койке, желая освидетельствовать: не еврей ли я? Нужно было вывихнуть ему руку и разбить лицо его брату, чтобы отвязаться от них.

Кухарка исправника подмешивала в лепешки свою менструальную кровь и кормила ими своего знакомого машиниста, чтобы возбудить у него нежное к ней чувство. Подруга кухарки рассказала машинисту о страшном колдовстве,—бедняга испугался, пришел к доктору и заявил, что у него в животе что-то возится, хрюкает. Доктор высмеял его, а он, придя домой, залез в погреб и там повесился.

Я рассказывал о всех этих и подобных им событиях „ададуровцам", они относились к ним, как к забавным анекдотам, и весело хохотали, к моему удивлению.

Рассказывая, я искал объяснения фактов, но не находил объяснения. Повести мои оценивались, как смешные или скверные анекдоты, и чаще всего слушатели утешительно говорили мне:

— Не обращайте внимания на этих людей, просто, они с жиру бесятся!

Но я видел, что хотя живут только для того, чтоб есть, и любовнее всего занимаются накоплением запасов разнообразной пищи, как будто ожидая всемирного голода, однако это они командуют жизнью, они грязно и тесно лепят ее. После всего, что я видел, жизнь хороших, умных интеллигентов казалась мне скучной, бесцветной, она тянулась как бы в стороне от полоумной темной суеты, которая создавала липкий быт бесконечных буден. Чем более внимательно наблюдал я, тем более неловко и тревожно чувствовал себя. Мне казалось, что интеллигенты не сознают своего одиночества в маленьком грязном городе, где все люди чужды, враждебны им, не хотят ничего знать о Михайловском, Спенсере и ни мало не интересуются вопросом о том, насколько значительна роль личности в историческом процессе?

На вечеринках интеллигенты осторожно ухаживали за какими-то серенькими женщинами, две из них, сестры, были удивительно похожи на летучих мышей.

Коренастый, колченогий Мазин, бывший офицер флота, увлекаясь Шопенгауером, красноречиво и восторженно говорил о „метафизике любви", „инстинкте рода", когда он немножко картаво произносил эти слова, летучие мыши, поджимая ноги, опускали черненькие глазки, плотно кутались в свои крылатые серенькие тальмочки, как будто опасаясь, что слова философа могут обнажить их.

И вскоре Мазин получил от брата летучих мышей, крупного чиновника Правления дороги, такую записку:

— Если вы, сударь, не перестанете в присутствии моих сестер разговаривать о метафизиках любви, то я вам, во-первых, морду побью, а во-вторых, подам жалобу на вас Начальнику дороги.

Присматривался я ко всему этому, прислушивался и вспоминал ночи у Петровского, где обнаженно до глубины своей разыгрывалась буйная и темная драма инстинкта и, ослепляя разум, показывала безумные, отчаянные игры любви. Полудикие люди, воры и пьяницы возвышались до экстаза, великолепно и умело распевая красивые, сердечные песни своего народа, а „философы", „радикалы", „народники" нескладно пели ноющие, пошленькие стишки: „Не осенний, мелкий дождичек", „Там, где тинный Булак" или:

Коперник целый век трудился,
Чтоб доказать земли вращенье.
Дурак!..

У меня не хватало ни разума, ни воображения, никаких сил, чтоб соединить эти два мира, разъединенные глубокой трещиной взаимного отчуждения.

Вот и в этот час, когда я пишу о том, что было более тридцати лет тому назад, пишу и ясно вижу пред собою тех и этих людей, я чувствую полное бессилие нарисовать словами фигуры близоруких книжников в очках и пенснэ, в брюках „на выпуск", в разнообразных пиджаках и однообразно пестрых мантиях книжных слов. И это не потому, что одни грубы, угловаты, их легко взять, а другие гладко вылощены утюгами книг,—нет, здесь, на мой взгляд, дана глубокая, почти племенная, во всяком случае, внутренняя разобщенность*).

На одной стороне бессмысленно и безысходно мечется сила инстинкта, на другой — бьется обескрыленной птицей разум, запертый в грязной клетке быта. Я думаю, что ни в одной стране земли творческие силы жизни не оторваны так далеко друг от друга, как это случилось у нас на Руси. Когда я почти со страхом рассказывал о ночных радениях у Петровского, я, порою, чувствовал скрытую зависть людей „культуры" к радостям жизни дикарей, и нередко мне казалось, что утехи Петровского осуждаются не по существу, а внешне, формально, из чувства „приличия".

Только П. Е. Баженов сказал, глубоко вздыхая:

— Ф-фа! Как это жутко!

И, подумав, покусав бороду, добавил:

— Я бы среди них пропал, как бык в трясине. Чем сильнее движения—тем скорее засасывает трясина. Да. Я понимаю, что влечет к ним таких, как вы:—мы живем пресной жизнью, не празднично и мелко. А там — почти эпос, эпическая жизнь. Знаете,—этот Петров-

*) Тревожное ощущение духовной оторванности интеллигенции, как разумного начала, от народной стихии всю жизнь более или менее настойчиво преследовало меня. В литературной работе моей я неоднократно касался этой темы, ею вызваны рассказы „Мой спутник" и другие. Постепенно это ощущение перерождалось в предчувствие катастрофы. В 1905 году, сидя в Петропавловской крепости, я пытался разработать эту же тему в неудачной пьесе „Дети Солнца". Если разрыв воли и разума является тяжкой драмой жизни индивидуума,—в жизни народа этот разрыв—трагедия.

ский давно уже под судом,—но у него есть „сильная рука“ в Правлении. Недавно у него был обыск по новому делу: кража чая из вагона. Он вынул из стола бумагу и сказал, подавая ее следователю: „Здесь честно записано все, что я украл“.

Нахмурясь, Баженов задумчиво прикрыл глаза, закинул руки свои за шею, помолчал, потом усмехнулся, говоря:

— Честно—украл. Только русский человек может сказать так, уверяю вас! Мы, кажется, и в самом деле призваны соединять несоединимое. Страшно веселимся, жестоко любим... И так далее, в этом духе...

Встав со стула, он потянулся, широко развел руки и заключил:

— А, все-таки,—хороший народ мы, русские! Оттого, должно быть, и несчастны сверх меры...

Баженов был один из немногих людей, которые вызывали у меня чувство глубокой симпатии и сердечного уважения. Томский семинарист, он после долгих хлопот поступил в Киевский университет, но со второго курса его исключили за „неблагонадежность“, и несколько месяцев он сидел в тюрьме. Волосатый, похожий на переодетого священника, он двигался с осторожностью силача, и это придавало его крепкой высокой фигуре барственную важность, необычную в семинаристе. Обладал необыкновенно мягким голосом, но не имел слуха и относился к музыке почти враждебно, говоря:

— Она зовет в хаос.

С его широкого рябого лица в темной окладистой бороде смотрели ласково прищуренные серые глаза. Что-то снисходительно умное чувствовал я в его отношении ко мне и ко всем людям. Он хорошо рассказывал мне историю развития христианства, увлекательно говорил о сектах первых веков, помогал мне читать „Историю индуктивных наук“ Узвелля. Беседуя, он бесшумно и легко расхаживал по комнате, засунув руки в карманы брюк и, подняв брови, резко кивал головою,—единственный жест, которым он подчеркивал наиболее значительные места своей речи. Но порою, среди фразы, не кончив ее, он задумывался, прикусив губами волосы бороды, почесывая мизинцем высокий изрытый оспой лоб, и долго стоял безмолвно. Эти моменты всегда почему-то смутно тревожили меня. Однажды я спросил: о чем он думает?

— Страшно много разума истрачено бесполезно, страшно много,—тихо сказал он.—И—какого разума!

Он часто и убедительно говорил о красоте и силе мысли:

— В конце концов, батя мой, все решает разум,—он—именно—и есть тот рычаг, который со временем перевернет весь мир.

— А—точки опоры?—спросил я.

— Народ,—убежденно ответил он, тряхнув головою.—В частности вы, ваш мозг.

Я очень любил его, сердечно верил ему.

Тихим вечером, лежа с ним в степи, я рассказал ему, как говорил полицейский Никифорыч о жалости и толстовец о Евангелии и Дарвине.

Внимательно и молча выслушав меня, он ответил:

— Дарвин, это—та истина, которую я не люблю, как не люби ад, будь он истиной. Но, видите ли, батя мой,—чем меньше тре в частях машин, тем лучше она работает. В жизни — наоборот: сильнее трение, тем быстрее идет жизнь к своей цели и к боль разумности. Разумность же—это и есть справедливость, гармония и ресов. Рассуждая последовательно,—необходимо признать борьбу бла законом жизни. И тут ваш полицейский прав: если жизнь—бор жалость—неуместна.

Он задумался, лежа на спине, глядя в небо широко открыть глазами.

Солнце, опустясь в облако, раскалило его и расплавилось в н превратясь в огромный костер красного огня, красные лучи легли степь, на седые стебли прошлогодних былинок брызнуло розова росою. Запахи весенних трав и цветов стали сильнее, пьяней.

Баженов вдруг сел, закурил папиросу, но тотчас же отбро ее, хмуро говоря:

— Я думаю, что гуманизм уже опоздал войти в жизнь, опозд тысячи на три лет!.. Ну, мне надо итти в город,—идете?

В конце мая меня перевели весовщиком на станцию Крут Волго-Донской ветки, а в июне я получил из Борисоглебска от п ятеля переплетчика письмо, в котором переплетчик извещал меня, ч Баженов застрелился в июне, у кладбища. В письме была вложе записка Баженова:

„Миша, продай мои вещи и заплати хозяевам квартиры 7 р. 30 А книги Узвелля переплети и пошли на Крутую, Пешкову, Максимы „башке". Спенсера—тоже ему. Остальные—тебе. Пачку книг на лати ском и греческом пошли в Киев, адрес вложен в них. Прощай, друг! Е

Прочитав записку, я испытал оглушающий удар в сердце. Труд было помириться с уходом из жизни такого, казалось, крепкого духо трезвого человека.

Что убило его?

Мне вспомнилось, что однажды, в трактире, угощая меня пив и немного захмелев, он, вдруг, сказал мне:

— Знаете, Максимыч, какая самая лучшая песня в этом мире?

Наклонился через стол и, глядя в глаза мне глазами добро медведя, тихонько мягким баском пропел печально:

Quand j'étais petit
Je n'étais pas grand,
J'allais à l'école
Comme les petits enfants...

Пропел, и глаза его стали влажными.

— Прелестная песенка, честное слово. Такая простота в ней и, знаете, такая смешная печаль...

Он перевел слова песни на русский язык, я не понял, чем восхищается в ней—почти до слез—этот волосатый, большой, умный человек...

После—я видел не мало людей, убитых „смешной печалью".

---

Через несколько месяцев жизнь, сурово, но заботливо воспитывая меня, напомнила мне о Петровском, заставив испытать одно из наиболее тяжких впечатлений бытия моего.

В Москве, в грязном трактире, где-то около Сухаревой башни, за стол против меня сел длинный, тощий человек в очках; его костлявое лицо, остренькая бородка, жидкие—в стрелку—усы напомнили мне Дон-Кихота рисунков Дорэ. На нем висел синий пиджак, явно чужой, нанковые серые штаны с заплатами на коленях были смешно коротки, на одной ноге—резиновая галоша, на другой—кожаный опорок сапога. Покручивая кончики усов, острые как шилья, он голодно осмотрел меня мутными глазами, встал, прилепив очки к седым бровям, и, пошатываясь, разводя руками, как слепой, подошел ко мне:

— Присяжный поверенный Гладков.

Грязными пальцами расписался с росчерком в воздухе и повторил внушительно:

— Алексей Гладков.

Говоря хрипло, он вертел шеей, точно его душила петля, невидимая мне.

Конечно, он сказался человеком благороднейшего сердца, пострадал за бескорыстное служение правде и низвергнут врагами ее „на дно жизни". Ныне он стоит во главе ордена „Преподобной Аквавита", занимается перепиской ролей для театров, защитою угнетенных невинностей, а также „стрельбою по сердцам и карманам нищелюбивых купчих".

— Россиянин,—а баба его—особенно,—любит страдать: страдание—или рассказ о нем—суть духовная горчица, без коей ничто не лезет в сердце, ожиревшее от разнообразной и обильной пищи телесной.

Я уже не мало наблюдал людей этого типа, привык относиться к ним недоверчиво, но—всегда с напряженным интересом, - в человеке, который упрямо лезет куда-то вверх, вполне разумен интерес к людям свалившимся оттуда. А затем так называемые „павшие люди", темные грешники часто бывают духовно богаче и даже красивее признанных праведников, у которых я еще в юности моей замечал нечто общее с восковыми фигурами паноптикумов.

Часа через два я лежал рядом с Гладковым на нарах мрачной ночлежки. Закинув руки под голову, вытянув жердеподобно тело свое, адвокат утешал меня афоризмами волчьей злости, бородка его торчала

чортовым хвостиком, вздрагивая, когда он кашлял;—был он трогательно жалок в бессильной злобе своей и весь, как еж, украсился иглами едких слов.

Над нами висел сводчатый потолок подвала, по стене текла рыжая пахучая мокреть, с пола вздымался кислый запах гниющей земли, в сумраке бредили и храпели тела, окутанные лохмотьями. Окно с толстой железной решеткой смотрело в яму, выложенную кирпичем, в яме сидел кот; должно быть больной,—он страдальчески мяукал.— На нарах, под окном сидел по-турецки уродливо толстый волосатый человечище, чинил штаны при свете огарка и хрипуче гудел:

Взбранной восводе победительная,
Но яко избавльшеся от бед,
Благодарственная восписуем Ти
Рабы Твои, Богородице.

Споет, звучно шлепнет толстыми губами и—начинает тянуть с начала тот же гимн.

— Пимен Маслов—химик, гениальный человек,—сказал о нем Гладков. В этой яме валялось еще несколько гениальных людей, между ними „знаменитейший" пианист Брагин, маленький и ловкий, точно юноша, а в густой шапке волнистых его волос—седые пряди и под глазами—синие мешки. Меня поразила двойственность его лица: печальной красоте женских глаз непримиримо противоречила кривая усмешка, губы у него были тонкие, злая усмешка эта казалась приклеенной к ним неподвижно, навсегда.

Утром Гладков сказал мне:

— Сейчас мы будем посвящать в кавалеры „Аквавита" новообращенного,—вот, этого. Погляди, церемония замечательная.

Он указал мне молодого кудрявого человека в одной рубахе без штанов,—человек был давно и до-синя пьян, голубые зрачки его глаз бессмысленно застыли в кровавой сетке белков. Он сидел на нарах, перед ним стоял толстый химик, раскрашивая щеки его фуксином, брови и усы жженой пробкой.

— Не надо,—бормотал кудрявый, болтая голыми ногами, а Гладков говорил мне, закручивая усы.

— Купеческий сын, студиозус, пятую неделю пьет с нами. Все пропил—деньги, одежду...

Явилась круглая жирная баба с провалившейся или перебитой переносицей и наглыми глазами; она принесла сверток рогож и бросила его на нары, сказав:

— Облачение—готово...

— Одеваться!—крикнул Гладков.

Пятеро угрюмых людей призрачно двигались в темноте подвала, серые, лохматые; „пианист" старательно раздувал угли в кастрюле. Люди изредка, ворчливо, перекидывались краткими словами:

— Двигай...

— Тише!

— Стой, куда?

Выдвинули нару на середину подвала. Маслов напялил на себя ризу из рогожи, надел картонную камилавку, а Гладков облачился дьяконом.

Четверо людей схватили кудрявого студента за ноги и за руки.

— Не надо—пожалуйста!—вздохнул он, когда его уложили на нару.

— Хор готов?—крикнул адвокат, размахивая кастрюлей и окуривая лежащего, в ней трещали угли, из нее поднимался синий дым тлеющих листьев веника, человек, лежа на нарах, морщился, кашлял, закрыв глаза, сучил ногами как муха, стуча пятками по доскам.

— Вонме-ем!—возгласил Гладков; одетый в рогожи он стал карикатурно страшен; как-то особенно резко крутил шеей, вздергивал голову и кривил лицо.

Маслов, стоя в ногах студента, гнусовато на распев заговорил:

— Братие! Возопиим ко Диаволу о упокоении свежепогибшего во пьянстве и рабстве Вавилонстием болярина Иакова, да примет его сатана с честию и радостию и да погрузит в мерзость адову во веки веко-ов!

Пятеро лохматых оборванцев, тесной грудой стоя с правой стороны нар, мрачно запели кощунственную песнь; хриплые голоса звучали в каменной яме глухо, подземно. Роль регента исполнял Брагин, красиво дирижируя правой рукой, предостерегающе подняв левую.

Трудно было удивить меня бесстыдством,—слишком много видел я его в разных формах,—но эти люди пели нечто невыразимо мерзкое, обнаружив сочетанием бесстыдных слов и образов, поистине, дьяволову фантазию, безграничную извращенность. Ни прежде, ни после этого, до сего дня, я не слышал ничего извращенного более утонченно и отчаянно. Пять глоток изливали на человека поток ядовитой грязи,— они делали это без увлечения, а как нечто обязательное, они не забавлялись,—а—служили, и ясно было—служат не впервые, церемония уничтожения человека развивалась гладко, связно, торжественно, как в церкви.

Подавленный, я слушал все более затейливо гнусные возгласы Гладкова, циническое чтение „химика", глухой рев хора и смотрел на человека, которого заживо отпевали, служа над ним кощунственную литургию.

Сложив руки на груди, он шевелил губами, неслышно бормотал и кричал что-то, моргал вытаращенными глазами, глупо улыбался и—вдруг испуганно вздрагивал, пытаясь соскочить с нар,—хористы молча прижимали его к доскам.

Вероятно, „церемония" показалась бы менее отвратительной, если бы грязные призраки смотрели на нее как на забаву, игру,—если бы они смеялись, хотя бы, смехом циников, смехом отчаяния „бывших людей", изуродованных жизнью, горько обиженных ею. Но они относились

к своему делу с угрюмой напряженностью убийц, они вели себя, как жрецы, принося жертву духу болезненно и мстительно разнузданного воображения.

Обессиленный, онемев, я чувствовал, что страшная тяжесть давит меня, погружая в невылазную трясину, что эти призрачные люди отпевают, хоронят и меня. Помню, что я глупо и растерянно улыбался и был момент, когда я хотел просить:

— Перестаньте, это нехорошо,—это—страшно и вовсе не шутка.

Особенно резал ухо и сердце тонкий голос „пианиста"; пианист надорванно выл, закрыв глаза, закинув голову, выгнув кадык; его вой, покрывая хриплые голоса других певцов, плавал в дымном сумраке, и как-то особенно сладострастно обнажал мерзость слов. Меня мутило звериное желание завыть, зарычать.

— Могила!—крикнул Гладков, взмахивая кадилом-кастрюлей.

Хор во всю силу грянул:

Гряди, гряди,
Гроб, гроб....

и—вошла баба с перебитым носом, совершенно голая, она шла приплясывая, ее дряблое тело вздрагивало, груди кошелями опускались на живот, живот свисал жирным мешком на толстые ноги в лиловых пятнах шрамов и язв, в синих узлах вен.

Маслов встретил ее непристойным жестом, дьякон Гладков повторил этот жест, баба, взвизгивая гадости, приложилась к ним поочередно; хористы подняли ее за руки, за ноги и положили на нару рядом с отпетым.

—О-о, не надо,—крикнул он визгливо, попытался спустить ноги с нар, но его прижали к доскам и под новый, почти плясовой, а все-таки—мрачный мотив отвратительной песенки, баба наклонясь над ним, встряхивая грязно-серыми кошелями грудей, начала мастурбировать его.

Тут я вспомнил „Королеву Марго"—лучшее видение всей жизни моей,—в груди ярко взорвалось что-то, я бросился на эти остатки людей и стал бить их по мордам.

...К вечеру я нашел себя под насыпью железнодорожного пути, на груде шпал, пальцы рук моих были разбиты, сочились кровью, левый глаз закрыла опухоль. С неба, грязного как земля, сыпался осенний дождь, я срывал пучки мокрой жухлой травы и, вытирая ею лицо, руки, думал о том, что было показано мне.

Я был здоров, обладал недюжинной силой, мог девять раз, не спеша, истово перекреститься двухпудовой гирей, легко носил по два пятипудовых мешка муки,—но в этот час я чувствовал себя совершенно обездушенным, ослабевшим, как больной ребенок. Мне хотелось плакать от горькой обиды. Я жадно искал причаститься той красоте

жизни, которой так соблазнительно дышат книги, хотел радостно полюбоваться чем-то, что укрепило бы меня. Уже наступило для меня время испытать радости жизни, ибо все чаще я ощущал приливы и толчки злобы,—темной жаркой волною она поднималась в груди, ослепляя разум, сила ее превращала острое мое внимание к людям в брезгливое, тяжелое презрение к ним.

Было мучительно обидно,—почему я встречаю так много грязного и жалкого, тяжко глупого или странного?

Было страшно вспоминать „церемонию“ в ночлежке, сверлил ухо крик Гладкова:

— Могила!—

и расплывалось перед глазами отвратительное тело бабы,—куча злой и похотливой мерзости, в которую хотели зарыть живого человека.

И тут, вспомнив разнузданность „монашьей жизни“ Петровского, я почувствовал, как невинно бешенство плоти здоровых людей, сравнительно с безумием гнили, не утратившей внешний облик человека.

Там было некое идолопоклонство красоте; там полудикие люди молились от избытка сил, считая этот избыток грехом и карою,—может быть, бунтуя в призрачной надежде на свободу, боясь „погубить душу“ в ненасытной жажде тела.

Здесь—бессилие поникло до мрачного отчаяния, до гнуснейшего, мстительного осмеяния того инстинкта, который непрерывно победоносно засевает опустошенные смертью поля жизни и является возбудителем всей красоты мира; здесь свински подрывали самый корень жизни, отравляя гноем больного воображения таинственно прекрасные истоки ее.

Но—что же это за жизнь там, наверху, откуда люди падают так страшно низко?

*(Окончание следует.)*

# Падение Елены Лэй.

Драма в 5 действиях.

**Адриана Пиотровского.**

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Джулиус Гектор Макферсон *(король нефти).*
Елена *(его кузина).*
Гэз *(предводитель рабочих).*
Брикс *(агент тайной полиции).*
Беньямин Приамус *(президент сената).*
Пуппус, Гробус, Кубус *(ученые).*
I-й сенатор.
II-й сенатор.
Флоранса.
Бетси.
Лиззи.
Маршал.
Начальник полиции.
Два полисмена.
Метр д'отель.
Два бандита.
Рабочие, работницы, танцовщицы.
Продавец.
Акушерка.
Священник.
Фабрикант.
Пророк мистической секты.
Продавцы брошюр.
Распорядитель.
Два газетчика.

---

## ДЕЙСТВИЕ I.

### Картина первая.

*(Американский город. У входа в митинговый зал. Распорядитель митинга. Две девицы. Шпик. Продавцы брошюр.)*

Продавцы. „Американский город на вулкане“ — 3 цента. „Эрфуртская программа“ — 3 цента. „Сенаторы американского города—разбойники, воры и лжецы“—5 центов.

Шпик. Чтó такое о сенаторах?

Продавец. А вам зачем? Разбойники, воры, лжецы.

Шпик. Сколько?

1-й продавец. 5 центов.

2-й продавец. 5 центов за сенаторов?—3.

Продавцы. 2.—Полтора цента за сенаторов американского города с добавлением его полиции и шпиков. Покупаете?

Шпик. Монета.

Продавец. С добавлением его полиции и шпиков.

1-я девица. Г-н Шпик, скоро начнется митинг?

2-я девица. Г-н Шпик, вы не видали моего жениха?

Шпик. Вашего жениха?

2-я девица. Ну, да.

Шпик. Здесь?

2-я девица. Почему бы и нет? Жених мой красный.

Шпик. Прошу прощения, но я не знал, что у красных бывают невесты и жены.

1-я девица. А вы думали—они не умеют целоваться?

2-я девица. И не говорят своим милым „моя крошечка“?

1-я девица. Нет, пусть это у ваших женщин в Илионе груди высохнут как автомобильные шины и губы закроются от пресыщения, чтобы Джулли Макферсон, король нефти, проснувшись в постели своего приятеля, закричал: „Какая собачья тоска“!

Распорядитель. Девушки, вы сделали бы лучше, если бы не стояли здесь, а прошли на митинг. Сейчас приезжает докладчик, товарищ Георг Гэз, кандидат в президенты от рабочей партии Америки.

2-я девица. Мы не пойдем на митинг. Мы останемся здесь и будем ждать своих женихов.,.

1-я девица... и товарища Гэза, кандидата в президенты.

Распорядитель. Вы напрасно так говорите. Вы можете услышать много полезного о страданиях угнетенного народа и о том, как облегчить эти страдания, о солидарности рабочих, о стачках, профессиональном страховании и больничных кассах. Ведь вы же работницы?

1-я девица. Да. — Нет. Не совсем. Видите ли, я и Лиззи, мы...

Распорядитель. Тем более. Разве вы не жертвы современного общества?

2-я девица. Да, да. Но знаете, скоро я действительно выйду замуж, и тогда все пойдет иначе.

Распорядитель. Я вам советую уже сейчас послушаться меня.

2-я девица. Мы подумаем.

Распорядитель. А товарищ Гэз, как я слышал, превосходный оратор.

*(Входит рабочий.)*

Рабочий. Товарищ Гэз не приехал. Поезд с востока пришел уже десять минут назад. Я обошел все вагоны, ждал у подъезда, спрашивал у всех, но его нет.

Распорядитель. Какая досада!

1-я девица. Может быть, он задержался в дороге?

2-я девица. Опоздал на поезд?

1-я девица. Сошел с ума.

2-я девица. Умер?

Рабочий. Во всяком случае ему следовало телеграфировать обо всем этом. Так было бы вежливее.

Распорядитель. Какая досада! Придется отменить митинг. А между тем народу собралось, как никогда, и настроение совершенно необычайное.

*(Входит в зал и сейчас же возвращается в большом смущении.)*

Распорядитель. Невероятно! Невозможно!

Рабочий. Что?

Распорядитель. Гэз!

Рабочий. Как он прошел? Чтó говорит?

*(Распорядитель делает жест непонимания. Все подошли к дверям. Шпик приготовился записывать речь на манжете. Тишина.)*

1-я девица. Где он? Покажите мне?

Распорядитель. Тсс. Вот у фонаря.

1-я девица. Какой красивый!

2-я девица. Дьявол!

Распорядитель. Тише!

*(Из зала выходят несколько женщин в большой тревоге. Пантомима. Выходит молодой рабочий.)*

2-я девица. Питер!

Питер. Крошечка моя! *(Обнимает ее, потом отстраняется.)* Прощай!

*(Сцена темнеет.)*

### Картина вторая.

*(Митинг. Говорит Георг Гэз.*

Гэз. Стачка—пустяки. Тарифы—игрушка. Сокращение работ—обман. Все равно за грош или за два, в десять лет или в пятнадцать они высосут из нас силу и мозг.

Да, они купили нас и выжимают, как губку, изо дня в день до смерти. Но знайте, этого мало им. Да, они поставили нас у печей, у челноков и молотов. Живыми тисками, приводами, манометрами,—но знайте, этого мало им.

Привода разрушаются, и губку можно выжать до конца, а мы—вещи без уничтожения. Мы сами заботимся о том, чтобы господа не остались без живых машин. Мы рожаем им новые и новые—наших детей.

*(До сих пор слова Гэза покрывались криками невидимой толпы. Сейчас все замолкает. В тишине говорит Гэз.)*

Подлое лукавство природы. Чудовищный обман ночей, с криками, с кровью, с горячими грудями и пересохшим ртом, с укусами, головокружением, сумасшествием. Черная фабрика рабов.

Природа продалась купившим нас, чтобы вырвать у нас последнее—даром. Мы—каторжники у вагонетки, за сладкий час делающие бессмертными свои каторжные шаги.

Довольно! Эй, вы, в Илионе! Больше мы не хотим! Вот вам наши руки, ноги, уши, глаза до смерти, но не силу наших юношей, но не ласковость наших женщин!

Мы не хотим больше вашей земли, оставайтесь на ней одни. Мы выходим из карусели, из сумасшедшей чечетки рождений и смертей.

Ни одного поцелуя! Девушки, умрите нетронутыми! Женщины—спите одинокими! Мы выходим из карусели! Серп, серп убелителя! Уничтожение! Ночь!

*(Сцена темнеет.)*

### Картина третья.

*(Темнота. Голоса, сначала слабые, потом все настойчивее.)*

Голоса. Уничтожение.
Ночь.
Дисциплина.
Ни одного поцелуя.
Эй, вы.
Восемь часов—хорошо.
Десять—отлично.
Двенадцать—превосходно.

Штрафы—сколько хотите.
А через тридцать лет что́?—А?
Через тридцать лет что́.—А?
Дисциплина. Дисциплина.
Ни одного поцелуя.
Ночь.

Картина четвертая.

*(Шпик у телефона)*

Шпик. Начальника полиции! Поскорее, начальника полиции! Говорит Брикс.—Агент тайной разведки. Рыжий?—Да, да,—рыжий. Свежие новости! Только что с митинга красных. Стачка! Отказываются размножаться.

Картина пятая.

*(Начальник полиции у телефона.)*

Начальник полиции. Размножаться? Ого. Станция! Бостон 33—22. Флоранса, золотце мое, представь, какая новость! Красные, знаешь красные, отказываются размножаться. Ну, целоваться, обниматься... Вот, вот! Несчастные жены! Сейчас докладываю президенту. Алло. Илион. Президента сената. Чрезвычайная новость!

Картина шестая.

Президент сената *(у телефона)*. Как? Невероятно. Совершенно невероятно. Да, да. Серьезнейшие экономические последствия. Строжайшие меры. Что? Флоранса, золотце мое, занят. Да, да, слыхал. Вот именно, сумасшедшие. Гэз?—Конечно, франкмасон. Что́ скажет Макферсон? Тоже франкмасон. И этот, и тот. Ха, ха, ха! Нет, нет, и в доказательство сейчас еду к тебе.

Меры! Мобилизовать полицию! Академия наук! Премии! Всемирный конгресс! Серьезнейшие экономические последствия. Нет, нет, золотце мое, тебе не понять. Эко-но-ми-ческие. Господин маршал? Слыхал. Его святейшество?—слышал, слышал. Ваше величество, чорт возьми, станция! Нельзя же включать по десять человек зараз! Стачка продолжается? Продолжается! Продолжается.

*(Сцена темнеет.)*

Картина седьмая.

*(Улица в американском городе.)*

1-й газетчик. Стачка продолжается. Обращение протоиерея Введенского к красным.

2-й газетчик. Последние новости. Римский папа предал анафеме Георга Гэза.

*(Входит полисмен с двумя подручными.)*

Полисмен. Джек, Джон! Встаньте по углам и не пропускайте никого по кленовому бульвару. Сейчас здесь проедет на заседание сената господин Джулиус Гектор Макферсон, король нефти.

1-й газетчик. Продолжается. Убыль населения—четыре процента. По вычислениям профессора Пуппуса...

2-й газетчик. Эпидемия самоубийств! По вычислениям профессора Пуппуса, через тридцать лет в американском городе не останется ни одного рабочего.

*(Полисмен гонит их.)*

Полисмен. Пошли, пошли. Что́ они говорят? Что́ они говорят, щенята!

*(Появляются уличный торговец и пророк мистической секты.)*

Торговец. К последней стачке. Новейшее изобретение! Незаменимо для женщин и девушек!

Пророк. Вниманию женщин и девушек, покинутых красными! Брикстрит, 33. Орден Элевзиринанского экзотизма.

Торговец. По системе древнегреческого поэта Аристофана, Олисбос октодактилос.

Пророк. Мистические утешения для вдов и вдовцов. Орден Элевзиринанского экзотизма. Посвящения. Литургии, помазания, две серии в вечер.

Торговец. Олисбос октодактилос.

Пророк. Элевзиринанский экзотизм.

Полисмен. Назад, назад, сверните в переулок!

*(Входят акушерки, священник, фабрикант.)*

Фабрикант. Пропустите нас к сенату. Мы требуем, чтобы нас выслушали.

Акушерка. Не умирать же нам с голоду. Я спрашиваю, что́ теперь делать мне, опытной акушерке? Никто не желает рожать.

Священник. Совершенное падение. Ни крестить, ни венчать. Я спрашиваю, зачем я окончил Коллегию в Нью-Джинг-Тоне?

Фабрикант. Вы хотите, чтобы пропали, сгнили, развалились на моих складах замечательнейшие семейные постели усовершенствованного образца?

Акушерка. Пусть они рожают.

Священник. Венчаются.

Фабрикант. Покупают семейные постели.

Торговец. Олисбос октодактилос!

Пророк. Элевзиринанский экзотизм!

Полисмен. Нельзя, нельзя. Не толпитесь! Сверните в переулок. Ваше преподобие, отойдите! Джек, Джон, осадите! Чтó там еще?

*(Входит похоронная процессия. В толпе—Гэз.)*

Полисмен. Осадите! *(Слышен рожок.)* Ах, боже мой, опоздали Автомобиль короля нефти.

*(Входит Джулиус Макферсон.)*

Макферсон. Почему задержали мою машину, полисмен?

Полисмен. Вот—красные.

Макферсон. Чтó красные?

Полисмен. Похороны—самоубийца. Молодой рабочий.

Макферсон. Имя не важно. Очистите улицу.

Полисмен. Очистите улицу!

Рабочие. Снимите шапки!

Макферсон. Рабочие американского города. С вами говорит Макферсон. Вы знаете меня.

*(Ропот рабочих.)*

Макферсон. Чтó вывело вас на улицу?

*(Ропот.)*

По какому праву вы останавливаете движение?

Гэз *(выходит вперед)*. По праву умирающих, хоронящих своих мертвецов.

Голоса. Гэз.

Макферсон. А, Гэз! Рад увидеть вас. Макферсон.

*(Гэз молчит.)*

Макферсон. Ложь!

Гэз. Что?

Макферсон. Ложь! Разве вы монах? Святой, новый Христос, как вас называют?

Гэз. Не святой!

Макферсон. Еще бы! Волчьи глаза, красные губы, цепкие руки! Вы чувственны, Гэз! Еще не рождалось человека более чувственного, чем вы. И эти ваши спутники—они волки, а не отшельники.

Гэз. Кто мы,—это все равно, но мы уничтожим вас.

Макферсон. Как? А митральезы, огнеметы, истребители! Движущиеся башни, нитроглицерин? Вы забываете о правительственных арсеналах американского города, о золотых подвалах Илиона? Чем вы можете грозить нам?

Гэз. Вы знаете чем,—своей смертью.

Макферсон. Болтовня! Вы—волки, жадные и голодные, завистливые.

Вы голодны! Вот вам доллар, пропейте его, Гэз! Вы жадны, возьмите перстень—это настоящий изумруд!

Вы завистливы,—вот вам золото, горстями,—наймите себе танцовщицу, Гэз!

*(Бросает золото.)*

Гэз. Вы издеваетесь?

Макферсон. Нет, я покупаю вас и его.

Гэз. А мы уничтожим вас! *(Бросает ему золото обратно.)* Этот бедный самоубийца, которого вы и в гробу преследуете своим подлым золотом,—это только начало мирового листопада.

Двадцатое столетие—великие сумерки земли! Вы осквернили землю жестокой и глупой своей властью. В вашем жестоком сердце и глупой голове не родится ни одна властная, ни одна царская мысль. Царскую мысль даем мы вам,—мысль об уничтожении.

Мы ненавидим вашу землю! Воздух, перерезанный проволокой ваших дьявольских нервов, море, рассекаемое вашими Лузитаниями, солнце, отражающееся в окнах ваших дворцов. Мы ненавидим вашу землю,—пусть же она обратится в Сахару, в тундру, в Гоморру и Содом. Пусть она замерзнет, загниет болотами, сгорит!

Текучей водою, ползучей травою, летучим ветром клянемся: „Мы ненавидим вашу землю".

Голоса. Ненавидим!

Макферсон. Лучшей не будет!

Гэз. А эта будет уничтожена!

Макферсон. Рабов обуздают!

Гэз. Как обуздать умирающих?

Макферсон. Сила!

Гэз. Гибель!

Макферсон. Власть!

Гэз. Ночь!

Голоса. Ночь!

Гэз. Пропустите!

*(Процессия удаляется.)*

Макферсон. Я куплю вас, Гэз!

Занавес.

## ДЕЙСТВИЕ II.

### Картина первая.

*(Улица. На привязном шаре Шпик.)*

Шпик. Чорт возьми! Вот она усовершенствованная техника наблюдений. Подвешенный, как балык под солнцем, как зонтик под дождем, рассматриваю окрестности. Вся полиция поставлена на ноги, посажена на автомобили, положена в засаду. Чтобы так или иначе сорвать стачку. Десять тысяч долларов тому, кто подглядит штрейкбрехера или штрейкбрехершу, красную девицу или кавалера в объятиях любви. Десять тысяч долларов. Ого! Чтó это? Кажется, целуются? *(Наводит ручной прожектор.)* Нет, ничего! Здравствуйте, милая барышня.

*(Входит 1-я девица, Бетси.)*

Бетси. Здравствуйте, мистер...

Шпик. ...Брикс. Вы куда?

Бетси. Уезжаю. Разве можно оставаться здесь? Живешь как в могиле, и потом никаких заработков.

Шпик. Красные сошли с ума!

Бетси. Я тоже так думаю. Но кроме того они страшно упрямы. Вы не можете себе представить, чтó у них творится там, под горой.

Шпик. Тоскуют?

Бетси. Ужасно.

Шпик. Томятся?

Бетси. Невероятно.

Шпик. Сохнут?

Бетси. Как осенние листья! Да ведь вы же понимаете?

Шпик. Еще бы.

Бетси. А что терпят женщины, и не рассказать! Я й уезжаю.

Шпик. А ваша подруга?

Бетси. Ах, у нее горе, траур.

Шпик. Да что вы?

Бетси. Жених.

Шпик. Бедняжка.

Бетси. Не проводите ли вы меня, мистер Брикс?

Шпик. С величайшим удовольствием!.. *(Спускается на землю.)* Ну вот.

Бетси. В прошлый раз вы были одеты иначе.

Шпик. Не так простецки? Чтó делать—служба! Черные брюки и блуза мастерового. Вам куда?

Бетси. На вокзал.

Шпик. Отлично. Но право, вы напрасно торопитесь. Разве в американском городе только и живут, что красные? Вы могли бы

превосходно провести время с человеком, умеющим ценить красоту и не потерявшим еще рассудка. С человеком веселым, воспитанным, вежливым, как, например, я.

Картина вторая.

*(Заседание сената.)*

Президент. Господа сенаторы. Заседание открывается. На очереди один вопрос. Какой,—присутствующим известно. Прошу занять места.

1-й сенатор. Слово к порядку.

Президент. Говорите.

1-й сенатор. Вопрос, подлежащий обсуждению, чрезвычайно важен, можно сказать—это вопрос жизни и смерти. Поэтому я предлагаю прежде всего удалить из зала представителей печати.

Голоса. Совершенно справедливо, удалить журналистов!

*(Движение.)*

1-й сенатор. И далее, среди нас, здесь, в Илионе рядом с настоящими, если можно так выразиться, богами, как наш почтеннейший председатель, как господин Джулиус Гектор Макферсон, присутствуют боги меньшие и даже вовсе не боги. Я думаю, что в сегодняшнем собрании, где речь идет, выражаясь фигурально, о гибели богов, этим не-богам, не место.

Голоса. Верно, гоните их!
Позвольте, позвольте, как отличить?
По толщине портфеля.
По тяжести кошельков.
Пускай покажут руки, смерьте когти, когти.

*(Движение. На минуту все приобретает чрезвычайно странный характер.)*

Президент. Чистка закончена. Успокойтесь, успокойтесь. Слово имеет профессор Пуппус.

Пуппус. Почтеннейшее собрание! Я должен поделиться с вами выкладками нашего центрального статистического бюро. Итоги таковы: если стачка будет продолжаться, то в конце первого десятилетия мы будем иметь убыль рабочей силы на двадцать процентов. К концу второго—на пятьдесят, а через тридцать или тридцать пят лет, сама порода рабочих вымрет и обратится в своего рода ископаемое, наподобие пещерного льва или птеродактиля. Последствия очевидны. Они ужасны и гибельны для производства. Необходимо сейчас же приостановить стачку. Может быть, было бы возможным пойти на некоторые уступки красным в смысле тарифов, рабочего дня, страхования?..

Голоса. Никаких уступок!

Голос. Я обращаю внимание присутствующих на то, что на этот раз красные и не требуют никаких уступок.

Голоса. Действительно, не требуют.

Пуппус. Я упустил это из виду. Как же быть?

Президент. Магистр Кубус.

Кубус. Никаких уступок! Рабочие не желают оставаться на земле,—не надо! Воспользуемся остающимся сроком. Тридцать лет: совершенно достаточно. Полнейшая механизация. Предлагаю предварительный план.

*(Освещается электрическая карта.)*

Энергия солнца, воды, ветра перерабатывается на центральных силовых станциях. Вот и вот. Отсюда токи высокого напряжения к заводам. Разветвление к машинам и станкам. Все.

Голоса. Гениально! Великолепно! Браво, Кубус!

Гробус. Один вопрос. А что потом?

Кубус. Когда потом?

Гробус. Когда машины износятся? Машины, сделанные рабочими? Чем вы замените их?

Голоса. Да, да, чем вы их замените? Отвечайте, Кубус. Не сделаете же вы вечных машин?

*(Кубус стоит в остолбенении.)*

Гробус. Бездарная выдумка! Изобретение идиота! Исход один,—искусственное оплодотворение.

Все. А—а—а—а.

*(Телефонный звонок.)*

Президент. Слушаю. Так. На бульваре 13? Великолепно! Пришлите подписать чек. Да, да, сейчас же. Имя полисмена, высечь на мраморной доске и воздвигнуть в Илионе. Господа сенаторы. Счастливое известие. На Бульваре 13 замечен рабочий под руку с проституткой. Подробности выясняются. Господа! Отрадное событие это приобретает особенно знаменательное значение в связи с празднованием тысячелетия нашего города, имеющего произойти завтра. Предлагаю спеть гимн.

*(Все встают и поют.)*

## Картина третья.

*(Бульвар 13.)*

Нач. полиции *(у телефона)*. Подробности выясняются.—Гарри, ваш фонарь! Их тащут сюда.

*(Вводят Бетси и Брикса.)*

Бетси. Пустите, пустите! Кто вам позволил? Я вам глаза выцарапаю. Негодяи! Пустите сейчас же.

Нач. полиции *(Бриксу).* Гражданин, ваше имя? *(Брикс отворачивается.)* Не бойтесь, вам не сделают ничего дурного. Как раз наоборот. Вас накормят досыта. Вас озолотят. Вам поставят статую в Илионе, изображающую вас в виде божества плодородия. Ну, ваше имя? Да отвечайте же! Гарри, посветите!

Брикс. Ай, ай, чорт, постойте!

Нач. полиции. Что? Да это рыжий Брикс? Болван, как вы попали сюда и в таком виде?

Брикс. По долгу службы, и согласно приказанию. Черная блуза и брюки мастерового, согласно приказанию.

Нач. полиции. Болван! *(К полисмену.)* И вы хороши! Не разглядели! Идиоты! *(К Бетси.)* Перестаньте кричать, сударыня. Вот получайте и пошли вон.

Брикс. Простите, в последний раз.

Нач. полиции. Вон! *(У телефона.)* Произошла досадная ошибка. Подробности выясняются.

## Картина четвертая.

*(Заседание сената.)*

Президент *(у телефона).* Полисмена высечь. Господа, досадная ошибка. Вернемся к делу. Доклад академика Гробуса об искусственном оплодотворении.

Гробус. Доклад и демонстрация. *(На экране световые изображения.)* Вот модель аппарата. Разрез и план. Обыкновенная Гейслерова труба. Культура сперматозоидов. При согревании и давлении—радиоактивная реакция,—и желаемый результат.

Опыты профессора Штейнаха.

Кубус. Шарлатанство! Проверено?

Гробус. Нет еще, но точнейшие формулы...

Кубус. Шарлатанство! В лучшем случае результат—кролик. А я спрашиваю присутствующих, какова ценность кролика в производстве?

Гробус. Предварительная операция может быть продемонстрирована немедленно. Прошу желающих выйти вперед.

Голоса. Кубус, Кубус, это ваша обязанность, Кубус! Научный эксперимент!

Кубус. Ни за что! Не согласен! Не дамся! У меня жена! Шарлатанство чистейшей воды! Можно прекратить, изменить, продолжить раз начавшуюся жизнь, но нельзя вызвать органический процесс в материи. Шарлатанство!

Голоса. Где же выход? Где же выход? Принудительные сочетания. Совокупительные изоляторы. Санатории для производителей.

Кубус. Механизация энергии.

Гробус. Обыкновенная Гейслерова труба.

Кубус. Шарлатанство!

Гробус. Идиотизм!

Пуппус. Статистика!

Президент. Они уходят, уходят! Как остановить их?

Макферсон *(подымаясь с места)*. Вздор! Молчать! Полечите ваши нервы, Беньямин Приамус. Все это вздор, господа!

Надо смотреть глубже. Причина стачки — ослабление желания жить у твари. Средство единственное. Не деньги. Не машина, будь она сильнее океанийской волны и долговечнее солнца. Не наука, точнейшая и мудрейшая, средство единственное, древнее, вечное — соблазн. Женщина. Синеглазая. Рыжеволосая. Вяжущая героев нежными нитями, тяжелее адамантовых цепей, легкими носками попирающая сердца сильных. Соблазнительница.

1-й сенатор. Вы говорите о вашей кузине?

Макферсон. Да, я говорю об Елене Лэй, об Элли Лэй, очаровательнейшей девушке в американском городе.

## Картина пятая.

*(Бюро полиции.)*

Нач. полиции. Брикс! Брикс! Брикс! Чорт побери, вас никогда нельзя дозваться, когда нужно, и всегда найдешь там, где этого совершенно не надо. Брикс!

*(Входит Брикс.)*

В каком вы виде?

Брикс. Забудьте о Бриксе. Брикса нет. Есть Муэдзин Ага. Евнух, изгнанный из султанского сераля за социалистические убеждения.

Нач. полиции. Что за нелепый маскарад?

Брикс. Совершенно необходимый. Не думаете же вы, что можно постоянно толкаться среди красных, оставаясь мужчиной? Ведь вас растерзают, искалечат, разорвут на куски.

Нач. полиции. Но почему у вас передник?

Брикс. Господин начальник не может требовать, чтобы я стал настоящим евнухом.

Нач. полиции. Бросим это. Дело чрезвычайной важности. В моих руках стенограммы секретного заседания сената. Гениальные речи. Пирамиды ума и учености. Доклад Макферсона. Это по вашей части. Вот. Средство. Соблазн... Женщина... вяжущая нежными нитями и прочее. Брикс, вы можете выслужиться.

Брикс. Весь ваш!

Нач. полиции. Достать! Жаль, что нет времени, чтобы выписать из Парижа. Выберите из местных. Полагаюсь на ваш вкус

и энергию. Обратите внимание на приметы. Вот и вот! О, Макферсон знает толк в женщинах! Распорядитесь немедленно!

Брикс. По телефону!

Нач. полиции. Ступайте! Стойте! Об исполнении сделайте мне подробный доклад.

Картина шестая.

*(Башня. Наверху Макферсон и Елена Лэй.)*

Макферсон. Перед тобой, Элли, город, где ты родилась. Видишь полосы огней,—это бульвары, расходящиеся звездообразно от сердца города Илиона. Видишь племенные озера, это дворцы, где живешь ты и я и подобные нам. Видишь черную ночную землю, рельсы, разбегающиеся по ней, базальтовое море и небо. Все это наше, Элли, мое и твое, море, небо и земля. А там на овиди стены дыма и зарево, стоячее, вечное из ночи в ночь. Это отражаются в облаках печи мировых заводов. Там, в дыму, существа суетливые, несытые, жадные. Ты знаешь, о ком я говорю.

Елена. Да, но зачем ты привел меня сюда? Мне холодно, и кружится голова.

Макферсон. Там — рабы. Ты любишь теннис, Элли! Тебе радостно на белой яхте раздваивать отражение солнца в морской воде, тебя веселят танцы. Те там не играют и не танцуют.

Столетиями они копили ненависть против своих господ, легко живущих владык в высоком Илионе, против своих богов. Мы боги, Елена! Ты это знаешь? Ты это помнишь? Кровь твоя ничего не сказала тебе? *(Елена молчит.)* Мы боги и хотим быть вечными, Елена!

Но те, внизу, поднимают мятеж, сейчас, как уже столько раз. Ночные, они угрожают нам единственной своей силой,—ночью.

Тебе страшно, Елена? Тебе жаль твоей веселой власти? Так спаси же! Ты единственная, которая можешь избавить, прекраснейшая из живущих, вечная очаровательница, Елена, Пандора, Лилит. Видишь, я называю твои имена! Ты согласна, да? Ты сойдешь в их страшный город, ты найдешь вожака их, Гэза. Его зовут Гэзом, ты слышишь? Ты соблазнишь его, свяжешь золотой своей паутиной. Пусть отдаст он черное свое владычество за твои поцелуи. Растратит свои силы на твоем ослепительном лоне. Ты приведешь его сюда, усталого, успокоенного, умоляющего. Ты согласна?

Елена. Я ничего не знаю, я ничего не помню, но если ты хочешь, я согласна.

Макферсон. Елена! *(Поднимает ее на руки и сносит ее вниз.)*

Елена. Мне страшно, что́ ты делаешь со мной?

Макферсон *(дает ей вдохнуть из флакона)*. Вдохни в себя глубже, глубже! Так! Елена, ты не забудешь? Ты останешься послушной? Спит! Гэз, Гэз. Получай мой подарок, молчаливое, спеленутое

тело, полное очарования и яда. Какая перемена! Где Элли Лэй? Маленькая теннисистка? — Богиня почила здесь.

Елена, аргивянка! Руки белее атлантической пены, косы медные, как закаты над Илионом. Грудь божественной девушки, и кому? — подлому! Древнейшая в мире кровь — на постель подлого. Елена, любимая вечно!

Джордж, Морис! *(Входят слуги.)* Госпоже Лэй дурно. Отнесите ее в мой автомобиль!

Занавес.

## ДЕЙСТВИЕ III.

### Картина первая.

*(Улица. Макферсон и два бандита в масках.)*

Макферсон. Вам передали мои желания?

1-ый бандит. Да, сэр.

Макферсон. Так помните же. В десять часов у рельсо-прокатного завода. С ношей, понимаете?

1-ый бандит. Совершенно точно.

Макферсон. Не подумайте своевольничать. Нет щели на земле, откуда бы я не достал вас! Нет мучения, которого бы я не придумал для вас, если вы осмелитесь... Слышите?

1-ый бандит. Да.

Макферсон. Оружия с собой не берите,—по окончании всего приходите в мою контору за вознаграждением,—вот чек!

1-ый бандит. Благодарим.

Макферсон. Будьте как можно бережнее с нею, с ношей.

*(Бандиты уходят. Макферсон смотрит им вслед.)*

Подняли! Понесли!

### Картина вторая.

*(Библиотека Макферсона.)*

Макферсон. Непобедимая тревога. Земля сорвалась с петель и летит в пустоту. За окнами ураган и сумрак. Я закрою ваши остекленелые глаза, сумасшедшие окна. Так, так. Кто войдет сюда теперь? Кто посмеет передвинуть хотя бы на волос вещи, поставленные здесь? Здесь тишина. Мудрые, молчаливые, неизменные книги. С вами останавливаются и мои минуты. Кто перед лицом вашим посмеет сказать: „Движение“?

*(Звонок.)*

Да. Макферсон! Пожар на фонтанах в Пенсильвании? — Знаю. Откуда?—Знаю. Большой митинг красных? Ожидается Гэз?—Знаю! Занят! Гэз! — Как холодно! — Не оттого ли, что Елена лежит в летаргии? Как темно!.. не потому ли, что закрыты глаза Елены? Подлинно, страшной жертвой покупаю я, Илион, вечность твою и власть!

Элли, подруга! Еще раз, в последний раз, соединяю я нити наших времен. Так, так, вижу! О, куда несут они твое тело по ночным, по безлюдным улицам! Почему улыбается твой рот!

Предательство!

Уничтожение! Неотвратимое! Стремительно надвигающееся! Трубит! Трубит! Впивается в сознание!

*(Звонок.)*

Все еще, ...все еще...а...а...а...

*(Входит начальник полиции.)*

Нач. полиции. Простите, что, не получая ответа, осмелился лично обеспокоить вас. Но пожелание такого лица, как вы, даже выраженное так сказать в форме мечты, закон для исполнительного и старательного служащего. Осмелюсь доложить...

*(Сцена темнеет.)*

Картина третья.

*(Митинг.)*

Голоса. Стачечный комитет.
Порядок собрания.
Регистрация девственниц.
Ликвидация беременности.
Мобилизация.
Операция.
Резолюция.
Гэз!

Гэз. Братья и сестры. Разрушители мира. Будьте стойкими. Время пролетает. Вы слышите, как с каждым биением ваших сердец, тысяч сердец, собранных здесь в зале, приближается освобождение. Ночь уже задевает нас своими крыльями. Мы уже наполовину в ночи. Те на верху дрожат, как трусливые малые зверята, перед наступлением темноты. Будьте же стойкими. Предлагаю еще раз подтвердить наше решение. Резолюция стачечного комитета. Пусть поднимут руки те, кто согласен.

*(Ни одна рука не поднимается.)*

Кто противится?

*(Ни одна рука не поднимается.)*

Да или нет? Да или нет?

Девушка. Товарищ Гэз. Мой милый повесился, когда я прогнала его от себя,—он был ласковый и всегда веселый. Разве он годился только на то, чтобы умереть?

Гэз. Жертвы неизбежны. Вы это знаете, товарищ.

Девушка. По вечерам, бродя по улицам, мы вбегали на неосвещенные лестницы и целовались. Разве наша любовь стоит так малого?

Гэз. Ловушка! Позолоченная западня. Не говорите мне о вашей любви.

Женщина. Оставь его! Разве это человек с кровью и мясом? Разве он мучится, как мы? Кто знает, зачем он изобрел эту проклятую стачку. Не затем ли, чтобы украсть у нас то, на что неспособен сам?

Гэз. Что?

Женщина. Да, да, белокурый мальчишка. Кто знает, мужчина ли ты?

Голос. Пусть он докажет, что мужчина! Пусть докажет!

Гэз. Молчать! Старуха! Что твои трехгрошовые хотенья перед тоской, пожирающей меня? О дьявольские вечера, когда воздух над городом, как запах женщины! О ночи!

Голоса. Ночи! О! А! О!

Гэз. Но есть тоска страшнее. Тоска по уничтожению. Ненависть!

Голос. Зачем же томиться? Пусть железо подкрепит нашу волю. Фунт мяса и кувшин крови. Фунт мяса — цена спокойствия. Средство надежное, верное. Массовая операция! Что?

Голоса. Что? Да как он смеет? Кто это говорит?

Голос. Нет, нет, еще проще. Зачем ждать? Не через десять лет, а сейчас. Вот маленькая машинка. *(Показывает бомбу.)* Достаточно, чтоб обратить этот зал в харчевню сатаны. Гэз, бросайте!

Голоса. Провокация! Подосланные шпионы. Повесить их! Гэз, что же вы молчите? Говорите, Гэз!

Гэз *(тихо)*. Уничтожение!

Женщина. Сумасшествие. Эй ты, большеглазый. Посмотреть бы на твою мать,—то ли говорила она, что ты сейчас, когда зачинала тебя!

Гэз. Не надо о моей матери.

Женщина. Вот ты отрекся и от матери своей, как прежде отрекся от своей земли. Да как ты смеешь лежать, сидеть, ходить по земле,—ты, говорящий такое?

Гэз. О эта земля, чем очаровала она вас, эта земля, которая не ваша!

Девушка. Хорошо ногам ходить по земле, сладко рукам охватывать воздух, радостно глазам глядеть на землю.

Рабочий. Товарищ Гэз, то, что вы говорите о ненависти, самая святая истина. Но вот на что нам ответьте. Когда мы уйдем с земли, что станется с машинами, которые мы построили, с плотинами, которые мы насыпали, с каналами, прорытыми нами, кто сохранит их?

Гэз. Никто! Они разрушатся.

Рабочий. Разрушатся? Наших рук дело?

Гэз. Бестолковые головы! Ведь это же ваша месть! За тысячи лет рабства. Чудовищная месть! И боги не придумали бы страшнее. О, чем очаровала она вас, эта земля, которая не ваша!

Рабочий. Пусть же она станет нашей. Когда работаешь в рудниках, руда поет—возьми меня, расплавленная сталь грохочет, возьми меня. Нефть вырывается из трещин и свищет—возьми меня. Все давно потеряло устойчивость и место. Все изменяется ежечасно,—камень, уголь и металл. Земля ждет только знака, чтобы освободиться.

Гэз. Так, значит, опять борьба! Опять надежды! Черепашьи шаги к неизвестной цели. Снова карусель! Кружиться! Кружиться! Так? Да ведь вы не увидите вашей земли. Вы умрете прежде. Ты, и ты, и ты. Тебя раздавит ползучая, стальная башня. Ты задохнешься в отравленном облаке. Тебя убьет глупая пуля твоего же товарища. Вы умрете все, подло, как мышата, думающие убежать от кошки. Умрете в суете! Вы не увидите вашей земли.

Женщины. Мы видим.

Гэз. Что?

Женщина. Видим.

Гэз. Не верю.

Рабочий. Может быть, в вас мало веры, товарищ Гэз?

Женщины. Наша земля.

*(Общее движение.)*

Гэз. Не пущу! Через меня! Стачка продолжается?

Нестройные голоса. Продолжается.

Голос. Может быть, в вас мало веры, товарищ Гэз?

*(Сцена темнеет.)*

### Картина четвертая.

*(В библиотеке Макферсона.)*

Нач. полиции. Стремительно и неотвратимо! Вот девиз. Восемьдесят минут, и приказание исполнено. Даже выраженное так сказать в форме мечты. Брикс, вводите!

Макферсон. Что это? Зачем вы здесь?

*(Входят танцовщицы.)*

Нач. полиции. Первая. Обратите внимание на цвет волос. Вторая. — Синеглазая! Третья! Все вымыты, надушены, напомажены. О, мы устроим такую свадьбу, что фонари соблазнятся, и вокзал полезет на электрическую станцию.

Макферсон. Балаган! Уведите их! Нет, стойте. Как тебя зовут, моя крошечка?

1-я танцовщица. Элли.

Макферсон. А тебя?

2-я танцовщица. Элли.

3-я танцовщица. Элли.

Макферсон. Приходите в казино. Ведь сегодня праздник?

Нач. полиции. Совершенно верно.

Макферсон. Прекрасно. Мы потанцуем.

*(Сцена темнеет.)*

Сцена пятая.

*(Улица. Ночь.)*

Гэз. Что видят они, эти женщины, с широко раскрытыми глазами? Почему они, а не я?

Рабочий. Может быть, в вас мало веры, товарищ Гэз?

Гэз. Не знаю. Ненависть обволакивает взоры. Не вижу ничего, кроме дыма, который встанет над пожарищем этих дворцов в Илионе. Ничего не слышу, кроме шума падающего мира. Ничего не чувствую, кроме чудовищного запаха их тленья над миром. Я ненавижу их!

Рабочий. И мы ненавидим.

Гэз. На что же вы надеетесь?

*(Входят бандиты.)*

Рабочий. Смотрите, Гэз, бандиты. Они хотят избавиться от своей жертвы, негодяи! Я покажу вам! Так, так, и тебе! Отпустите! Гэз, несчастный может быть еще жив. Побудьте с ним. Я догоню убийц и тотчас же вернусь.

Гэз. Если настигнете, убейте на месте. Не доводите дело до полиции. Бедняк. Он, правда, еще дышит. Связан. Шелковые узлы. Что это? Золотые покрывала. Они задушили его в драгоценностях. Тело еще теплое. А... женщина...

Елена (*приподымаясь*). Так вот вы какой!

Занавес.

## ДЕЙСТВИЕ IV.

### Картина первая.

*(В спальне Флорансы.)*

Президент *(вбегает).* А-а-а. Движутся. Стены, постель. Потолок. А-а-а.

Флоранса *(входит за ним).* Чтó с тобой, мой старичок, мой Приамчик? Ты испугался. Дурной сон. Вернись в постель.

Президент. Постель, одеяло. Простыни — саван.

Флоранса. Вот сельтерская вода.

Президент. Вода, наводнение, потоп, в уши, в рот, захлебываюсь, захлебываюсь! Флоранса! Ковчег! Скорее в ковчег! И Джильду. По паре чистых и нечистых. Тонем, тонем, а-а-а!

Флоранса. Вернись, положим грелку. Я дам тебе поцеловать твою любимую ямочку. Вот. Боже мой, умирает. И это в моей спальне, Нашел же место! (*Звонит*). Профессор Гробус, приезжайте скорей! Президент Приамус в моей квартире кончается. Джильда, да не лай же ты на него!

### Картина вторая.

*(Загородный сад. Музыка. Танцы.)*

Голоса. За вечность американского города. Браво, браво!

*(Входит Макферсон. Два сенатора. Бандиты.)*

1-й бандит. Все исполнено как приказали.

Макферсон. Вы следили за ними?

1-й бандит. Да. Пол-ночи они ходили по городу, как пьяные, или потерявшие разум.

Макферсон. Благодарю. Вот еще деньги. Купите билет и сегодня же уезжайте. В Австралию, в Аргентину, — куда хотите. Поняли? *(Бандиты уходят. К спутникам.)* Посидим здесь. Свободные столики?

Метр д'отель. Г-н Макферсон, какая честь!

Макферсон. Тс-с-с.

Метр д'отель. Понимаю. Столики. Что прикажете подать?

Макферсон. Вина!

Метр д'отель. Вина!

Голоса *(за столиками).* За вечность американского города!

За несокрушимость Илиона!

Браво... браво!..

Макферсон. Пейте же, господа. За вечность Илиона! Да, я забыл вам сказать, стачка...

1-й сенатор. Что?

Макферсон. Кончится! Здесь, в этом маленьком кабачке завершится последний акт этой божественной комедии.

1-й сенатор. Вы поразительный человек, Макферсон. Я не удивлюсь, если сенат изберет вас своим президентом вместо этой старой песочницы—Приамуса.

Макферсон. Не боясь, что я буду последним его президентом?

1-й сенатор. И первым диктатором?

Макферсон. Выпьем!

*(Бетси и Брикс за столиком.)*

Брикс. Вот видишь, дорогая,—все обошлось великолепно. Я примирился с начальством. Ты нашла себе покровителя и друга. Поцелуй же меня.

Бетси. Нет, нет, не сейчас.

Брикс. Почему не сейчас?

Бетси. Мне грустно. У меня не выходит из памяти тот вечер, когда я встретила...

Брикс. Меня?

Бетси. Да, и тебя. Но я думала о другом.

*(Входят Елена и Гэз.)*

Бетси. Прошу тебя, уйдем отсюда!

Брикс. Глупости! Ведь мы же заплатили за вино, и потом ты еще будешь танцовать.

Макферсон. Они вошли! Еще мадеры!

Гэз. Я следую за вами неотступно уже несколько часов. Зачем мы пришли сюда?

Елена. Разве не все равно, куда итти?

Гэз. Вы правы. Но зачем сюда?

Елена. Я очень голодна. Накормите меня.

Гэз. Я не знаю, как здесь это делают.

Елена. Вы никогда не были в ресторане, мой социалистический приятель? У вас нет денег, мы расплатимся моими кольцами. Позовите кельнера.

Гэз. Пожалуйста, дайте поесть этой женщине.

Метр д'отель. Что прикажете?

Макферсон. Странная ночь!

1-й сенатор. И ветер со вчерашнего дня. Морской циклон.

Макферсон. Ночь свержения гигантов.

1-й сенатор. Какая?

Макферсон. Все равно, вы не были там.

1-й сенатор. Воспоминания молодости! О, вы опасный соблазнитель, Макферсон!

Голоса. За вечность Илиона! Браво, браво!

Гэз. Я думаю, я могу вас сейчас оставить?

Елена. Вы хотите уйти?

Гэз. Да.

Елена. Я пойду за вами.

Гэз. Нам нечего делать вместе, нам не о чем даже говорить...

Елена. Говорить не надо. Я буду глядеть на вас.

Макферсон. Чтó они делают?

1-й сенатор. Кто?

Макферсон. Те, что вошли последними и сели за нашей спиной...

1-й сенатор. Она наклонилась к нему и шепчет что-то, а он молчит.

Макферсон. А она?

1-й сенатор. Она улыбается.

Макферсон. Притворно. Ведь вы ясно видите, что она притворяется. Она хочет обмануть его,—это видно, правда?

1-й сенатор. Не знаю, как вам сказать,—она улыбается ему очень нежно.

Елена. Высохли губы, и вино не может освежить их. Руки не держат легкого ножа. Не знаю, чтó со мной.

Гэз. Вы были испуганы.

Елена. Да! Да!

Гэз. В обмороке! Эти негодяи усыпили вас.

Елена. Не знаю, не помню. Да, они хотели, чтобы я соблазнила вас.

Гэз. Кто?

Елена. Боги.

Гэз. Что же вы?

Елена. Я буду глядеть на вас. Золотолобые, почему они не сказали мне, кто вы! Как мне соблазнить вас, когда каждая капля моей крови—ваша служанка? Если я возьму вашу руку, значит ли это, что я соблазняю вас? Если я проведу по ней моей щекой, значит ли это, что я соблазняю вас? Вот голова моя на вашей ладони, как рыжий камень в оправе из железа.

Гэз. Все равно, оставьте, оставьте!

1-й сенатор. Чорт возьми, она его целует! Что с вами?

*(Макферсон опрокидывает вино.)*

Макферсон. Ничего! Не правда ли, эта мадера при вечернем освещении напоминает кровь? Кровь девушки, хочу я сказать.

1-й сенатор. Sanguis primae noctis. О, соблазнитель, соблазнитель! *(Макферсон проводит пальцем по разлитому вину.)* Что это?

Макферсон. Мое имя и имя той девушки, о которой мы говорили.

1-й сенатор. Какие странные буквы. Это по-английски?

Макферсон. Нет, по-арамейски.

1-й сенатор. Вы удивительно образованный человек, Макферсон.

Голоса. За вечность Илиона! Браво, браво!

Елена *(подходит к столику Макферсона).* Ты звал меня?

Макферсон. Ты послушна, Елена. Это радует меня.

Елена. Я его люблю.

Макферсон. Я знаю, ты послушна.

Елена. Я люблю его.

Макферсон. Что? А-а-а. *(Смотрит ей в глаза.)* Изменишь, изменишь, рыжая Эринния?

Метр д'отель. Господа, господа, танцы! Бал-гала! В ознаменовение тысячелетия нашего славного и могущественного города. Оркестр. Господа, прошу, вальс. *(К Макферсону.)* Надеюсь, вы не откажетесь украсить вашим участием нашего патриотического веселия?

Макферсон *(к Елене).* Сударыня, позвольте пригласить вас на один круг.

Елена. Я не буду танцовать.

Макферсон. Елена!

Елена. Не буду.

*(Макферсон подходит к Бетси.)*

Макферсон. Не согласитесь ли вы потанцовать со мной?

Брикс. Барышня занята. *(Узнает Макферсона.)* А-а-а. Тысячу извинений! Тысячу извинений!

Макферсон. Вас зовут Элли?

Бетси. Нет, Бетси.

Макферсон. Это все равно,—идемте, Элли!

*(Танцы.)*

Елена. Свободна, навсегда,—вы слышите, свободна!

Гэз. Что так оживило вас?

Елена. Старая история. Жил был... Я когда-нибудь расскажу ее вам.

Гэз. Вы вся улыбаетесь. Кто вы, наконец?

Елена. Я когда-нибудь расскажу вам это. Я брошу мою жизнь, как легкий мячик на вашу ракетку. Я намотаю долгие нити моей памяти на ваши руки. Свяжу их нитями моей долгой памяти. Вот так. *(Обматывает ему руки золотым браслетом.)*

Гэз. Что это?

Елена. Браслет из змей. Очень древней работы. Но его можно носить и иначе, вот венцом. Так лучше. Теперь вы как царь на картинках из старых книг. Посмотрите, как прекрасно лицо ваше, отраженное в вине.

Гэз. Не надо, я не люблю золота.

Елена. Тогда и я не люблю его. Металл наш железо, железо, да?

Гэз. Мысли мои туманятся. Я почти не слышу ваших слов. Я уйду.

Елена. Нет.

Гэз. Чего вы хотите от меня?

Елена. Они наряжали меня в золото, а вы оденете в железо. Вы снимете с меня мои золотые одежды, одну за другой. Снимете, снимете, да?

Гэз. Вы обезумели.

Елена. А мать ваша? Она не была безумной?

Гэз. Моя мать!

Елена. Когда высохшими губами говорила о своей любви?

Гэз. Замолчите!

Елена. Пойми же. Ее желание—малый родник. А мое—омут, а мое—океан. Пойми же, наконец. Это не я, барышня из Илиона, покинутая стыдливостью, прошу о твоей любви. Американская земля, от востока до запада—один огромный солончак и умоляет о влаге, умоляет о силе, отданная бессильным и потерявшим страсть...

Гэз. Земля. И ты о ней!

Елена. Она развевает свои ветры, она разрывает свои горы, она поднимает свои моря. Всей кровью своей она тянется к тебе. Всей кровью своей я тянусь к тебе.

Гэз. В сердце молоты—и огонь. Я теряю нити своей воли. Оставь меня!

Елена. Нет.

Гэз. Оставь! *(Быстро уходит. Елена за ним.)*

Макферсон. Эринния. *(Хочет идти за Еленой. Вошедшие танцовщицы преграждают ему дорогу. За ним пророк мистической секты, торговец и маски.)*

Пророк. Элевзиринанский экзотизм!

Торговец. Олисбос октодактилос!

Метр д'отель. Прошу. Танго любви и смерти!

### Картина третья.

*(Улица. Ночь.)*

Елена. Где ты, милый? Ветер сорвал фонари, и я ничего не вижу.

Гэз. Колдунья, умоляю тебя, уйди.

Елена. Я люблю тебя.

Гэз. Уйди.

Елена. Я люблю тебя, милый.

Гэз. Я буду стрелять.

Елена. Слышу голос.

Гэз. Вот. *(Стреляет.)*

Елена. Оса прозвенела мимо.

Гэз *(стреляет)*. Еще!

Елена. Мимо. Пальцы твои дрожат. Как не расплавилась в их зное эта игрушка смерти?

Гэз. Так вот же!

Елена. Попал. Струйкой стекает кровь. Больно. *(Падает.)*

Гэз. Убил! Сумасшедшие руки! Я брошу вас под несущийся поезд.—Привяжу вас к хвосту комет. Женщина, назвавшаяся моей землею, неужели ты умерла?

Елена. Мне больно. Слышу голос. Голос любимого надо мной.

Гэз. Радость, звезда, победа! Как я мог тебя не узнать? Земля моя, засиявшая звездою. *(Поднимает ее на руки.)*

## Картина четвертая.

*(Загородный сад. Музыка. Танцы. Макферсон и Бетси танцуют танго.)*

Макферсон. Вам не больно, моя крошечка! Но ведь женщины это любят, даже самые чистые, богини, нимфы. Горячий, волчий кусающий рот. Так, моя крошечка. А-а-а. Нежнее. Нежнее!

Бетси. О!

Макферсон. Еще, еще!

Бетси. Пустите, я не могу больше.

Макферсон. А она может. Почему она может? Ведь она чистая!

Бетси. Пустите!

Макферсон. Хотите денег. Вот! Вот! Вот!

Бетси. Не могу!

1-й сенатор. Оставьте ее, вы слишком много выпили вина. Вы пьяны, Макферсон.

Макферсон. Я пьяный. Мир пьяный. Мир потерял рассудок. Откройте глаза, разве вы не видите, что̀ происходит? Чего же ждать в ночь, когда зверь сочетается с богиней? Какой банк выдержит такое падение? Всем, всем, всем! Пала Елена Лэй. Ведь так, моя крошечка?

Бетси *(в исступлении вскакивает на столик).*

Пустите меня! Вот! Вот!
За белые руки женщины.
За рыжие косы женщины.
Снова
Над миром
Меч!
Вам в дом, боги!
Железо, кровь и огонь!

1-й сенатор. Пусть она замолчит! Стащите ее, завяжите ей рот.

*(Входит маршал. За ним сенаторы.)*

Маршал. Джулиус Гектор Макферсон!

Макферсон. Да.

Маршал. Несколько часов назад президент сената Беньямин Приамус скончался от припадка острого страха.

Голоса. За вечность американского города! Ура!

1-й сенатор. Остановите музыку!

Маршал *(стараясь перекричать музыку).* В ночном заседании сенат избрал своим президентом вас.

Голоса. Г-н президент!

Маршал. Г-н президент. В городе неспокойно. Пожары и оползни. Говорят о чудовищном наводнении. Берег на сотни верст смыт океаном. Волнения в предместьях растут. Сенатом учрежден генеральный штаб обороны из виднейших маршалов государства. Действовать надо немедленно. Мы ждем вас, г-н президент.

Макферсон. Да, да. Я приду. Я приду.

## ДЕЙСТВИЕ V.

### Картина первая.

*(Заседание генерального штаба.)*

Маршал. Митральезы на крыши сената, банка, биржи, электрической станции и вокзалов!

Адъютант. Митральезы!

Маршал. Господина президента еще нет?

*(Молчание.)*

Маршал. Движущиеся стальные башни на бульвары!

Адъютант. Стальные башни!

Маршал. Канализацию и водопроводы приготовить к взрыву!

Адъютант. Канализацию и водопроводы!

Маршал. Огнеметы!

Адъютант. Огнеметы!

Маршал. Истребители!

Адъютант. Истребители!

Маршал. Последнее средство—отравленный газ!

Адъютант. Газ!

Маршал. Сигнал—сирена! Пароль—огонь!

Адъютант. Огонь!

Маршал. Г-на президента еще нет?

### Картина вторая.

*(Улица.)*

Макферсон. Эта ночь никогда не кончится. Солнце осталось за спиной земли. Железо, кровь и огонь. Огонь решает. Но прежде

увидеть Елену! Может быть, все обман. Бабьи гадания старых книг— Элли возвратится. Почему должно рухнуть время, шествовавшее так размерно? Кто здесь?

Брикс. А кто вы?

Макферсон. Мне спрашивать—отвечать тебе.

Брикс. Стойте. Стойте. Друг тишины и порядка и заклятый враг красных.

Макферсон. Что у тебя в руках?

Брикс. Замечательнейшая находка. Подвязки и браслет, золотые, но где найдены?.. О... Пред домом, где живет этот старый ворон Гэз. Принадлежности женского туалета в доме отца всех монахов. Это стôит не одну тысячу долларов. Илион, ты избавлен от уничтожения, и вот твой спаситель!—Мистер Самуэль Брикс!—Бегу в Сенат!

Макферсон. Диадема Елены! Отдай сейчас же!

Брикс. Что-о-о?

Макферсон. Отдай!

Брикс. Ну нет, я нашел,—я и покажу!

Макферсон. Не сопротивляйся!

Брикс. Доллары, слава, автомобили! Не отдам!..

Макферсон. Негодяй!

Брикс. Убивают... убивают... а... а... а!..

Макферсон. Падаль! Золотые игрушки! Елена! Елена!

## Картина третья.

Макферсон. Страшное гнездо. Ахеронт 34. Неудивительно, что ночь такая черная, когда солнце ночует здесь. *(Стучит.)* Елена, Елена, выходи!

Елена. Это ты! Не стучи так сильно. Он только что заснул. Мне пришлось освобождать свои волосы из его пальцев.

Макферсон. Стань сюда. К свету. Не прячь лица, Чтó же подарить мне в ночь твоей свадьбы, Элли Лэй? Чтó мне тебе подарить?

Елена *(молчит)*.

Макферсон. Ты растеряла свои драгоценности. Ты нищая, Элли.

Елена. Издеваешься! Не ты ли приказал?

Макферсон. Да... так. Ты послушна. Вернись же, Елена. Твой подвиг свершен. Завтра весь мир узнает о падении Гэза. О новом поражении рабов. Радио затрубят миру о твоей славе. Тебя встретят в Илионе, отягченную золотом.

Елена. Ты сам не веришь своим словам. Куда итти мне из дома моего любимого?

Макферсон. От постели раба.

Елена. Любимого. Никто не мог бы любить нежнее!

Макферсон. Он покорился.

Елена. Он, а я?

Макферсон. Что ты?

Елена. Ты совсем потерял рассудок, Гектор! Будь же мужчиной,— скажи, конец!

Макферсон. Загадки. Иди со мной!

Елена. Нет!

Макферсон. Силой уведу тебя.

Елена. Георг! Георг!

Макферсон. Молчи!

*(Выходит Гэз.)*

Гэз. А! Отпусти!..

Макферсон. Мою сестру?

Гэз. Кто ты?

Макферсон. Не узнаешь?

Гэз. Макферсон! Еще раз!

Макферсон. В последний раз! *(Вынимает револьвер.)*

Гэз. Брось револьвер! Сойдемся честно. Как следует драться из-за женщины. Елена, посвети!

*(Сходятся.)*

Гэз. Ты хочешь знать, как она целовала меня? Как обвивала серебряными руками? Как трепетала в моих руках?

Макферсон. Ты обессилел от непривычных радостей! Ты качаешься, как ребенок перед сном! Ты падаешь!

Елена. Георг убит! Убит!

Макферсон. Волчица завыла!

*(Выходят рабочие.)*

Голоса. Что здесь? Кто это? Убит Гэз? Кем? Как? Когда? Кто вы, женщина?

Макферсон. Любовница Гэза!

Голоса. Что?

Макферсон. Любовница вожака вашего Гэза...

Елена. ...который лежит убитый!

Макферсон. Да, любовница! Так лгал он вам, рабочие и работницы американского города! Отнимал у вас мужей и жен, а сам проводил ночи с женщиной! Он продал вас за наслаждение с женщиной, и она действительно красива! *(Срывает шаль с Елены.)*

Голоса. Лиззи! Мэри! Ирена! Нелл!

Макферсон. Гэз лгал вам, рабочие и работницы!

Елена. Да, я—Мэри! Да, я—твоя Ирена, и твоя, и твоя!

Голоса. Подруга!

Елена. О, как могли вы спать в ваших узких постелях, когда он целовал меня? Как сердце ваше не обуглилось от тоски?

Голоса. Мэри! Ирена! Нэлл!

Макферсон. Вы видите, что обмануты! Вернитесь же домой! Правительство прощает вас!

Елена. Вот я касаюсь тебя моей рукой, разве тебя повредит пуля? Вот я закрутила тебя своими косами, разве тебя обожжет пламя? Вот я поцеловала тебя, разве ты можешь не победить?

Макферсон. Правительство исполнит ваши справедливые требования. Введет рабочий контроль и удлинит праздничный отдых.

Голос. Как пахнут твои волосы, Лена!

Макферсон. Вернитесь же к старому. К милой жизни, люди... люди...

Елена. Люди... Чего же вы медлите?—За вашу землю!

Макферсон. Не поддавайтесь агитации.

Елена. Ведь ты, и ты. Вы только струи, текущие рядом! За гребнем, поднявшим тебя, встанет другой и еще новый. Сердце рвется! Сердце опрокидывается от изобилия! Все во всем! За вашу землю!

Макферсон. Умрете!

Елена. Не лги!

Макферсон. Умрете и будете лежать холодной падалью, как этот!

Елена. Нет смерти! Семя брошено в ночь. Слушай. Ты трепетал перед тем, кто придет, чтобы уничтожить тебя! Вот, если хочешь, можешь коснуться его.

Макферсон. Эринния!

Елена. За Гэза! За вашу землю! Вы знаете, кто перед вами? Вот он, убийца!

*(Срывает маску с Макферсона.)*

Голоса. Король нефти!

Макферсон. Она изменит и вам! Вечная соблазнительница! Ведет, чтобы вцепиться белыми руками и потянуть назад! Изменит и вам!

Голоса. Король нефти! Злейший из злых! Вожак разбойников! Повесить его! Смерть!

Макферсон. Уничтожение! Не могу! Не могу! *(Убегает.)*

Голоса. Повесить!

*(Погоня.)*

Макферсон. Довольно! Здесь стою я. *(Рабочие накидываются на него.)* Это руки Гэза,—я только что отвел их от моего горла! Эту голову я проломил кастетом!.. Еще раз! Еще раз!

Голоса. Смерть королю нефти!

Маршал *(появляется над толпой)*. Остановитесь! Улица под обстрелом трехсот батарей. Одно ваше движение, и—озеро крови! Сдавайтесь!

Макферсон. А-а-а! Небесный огонь! Серный дождь! Издыхайте, восставшие на богов!

Маршал. Раз.

Рабочие *(убивают Макферсона)*.

Маршал. Два.

Рабочие. Против Илиона! Восстание! Восстание!

Маршал. Огонь!

### Картина четвертая.

Голоса. Элеа ба, дзан. Гара рар. Эль. Эль. Гири ри. Цирир. Ур-рр.

Елена. Падают города! Приливают океаны! Горы разламываются! Сквозь обрушивающиеся Илионы, через восстание, ветер, огонь, слушайте, слушайте, слушайте трепетание новой твари во мне!

---

# Долг.

Всеволод Иванов.

Рассказ.

## Час первый.

Карта в руке зыбуча, легка и маленькая, словно осенние листья. Об них он вспомнил, потому что, когда отряд скакал рощами—листья осыпались, липли на мокрые поводья. А разбухшие ремни поводов похожи на клочья грязи, что отрывались от колес двуколки, везущей пулеметы.

Фадейцев, всовывая в портфель карту, голосом, выработанным войной и агитацией, высказал адъютанту Карнаухову несколько соображений: 1) позор пред революцией—накануне или даже в день столкновения разделить отряд; 2) нельзя свою растяпанность сваливать на дождь и мглу; 3) пора расставить секреты, выслать разведку...

— И вообще больше инициативы.

Но голос срывался. Речь похожа на длинную мокрую тряпку.

— Врач просит одиннадцать одеял, а то больные жалуются, товарищ комиссар... Здоровые, говорят, под одеялами, а нам—под шинелями—осень...

— Да у меня на руках-то канцелярия да больные,—это объяснял им?.. Хм...

— Совершенно подробно и насчет того, что отряд на две половинки, а тут темень и канцелярия без обоза. Да я им митинг обязан из-за одиннадцати одеял?.. Я им говорю—вот Чугреев разобьет нас,—всем земляные одеяла закажет.

— Больным—так сказал? Да вы, товарищ...

— Кабы они простые больные,—это революционеры. В организме общества пробелы имеются...

Адъютант Карнаухов любил хорошую фразу. Был из пермских мужиков, короткорук с обнаженной волосатой грудью. Выезжая из города, он надевал суконную матроску и папаху.

Красноармеец внес мешок Фадейцева. У порога, счищая щепочкой грязь с веревок, он с хохотом сказал адъютанту:

— Старуха к воротам пришла, просит церковь под нужник не занимать. Лучше, грит, мой амбар возьмите, он тоже чистый и хоть, грит, немного пашеничкой отдает, а все же. Во — тьма египтава царя! Попа в подпол упрятали, а то, мол, повесим...

— Рабы,— басом сказал Карнаухов:— бандитов разобьем, возвратимся — собеседованье о религии устроим. Так и передай.

— Это со старухами собеседовать? Ими болота мостить, только гаду.

Фадейцев смутно понимал разговоры.

— Самоварчик бы,— сказал он тихо.

Хозяин избы, Бакушев, темноротый тощий старик, махая непомерно длинными рукавами рубахи, потащил в решете угли. Адъютант и красноармеец яростно заспорили. Фадейцев сонно взглянул в окно, но мало, что увидел. А в поле пустые стебли... (звенят как стекло). Небо серно-желтое... Мокрые поводья пахнут осоками и хвощами. Голые, нищие колосья сушат душу. Днем в облаках голодная (звонкая) жара, ночью (рвутся в полях) — дикие ветры. И хотя из-за каждой кочки может разорвать сердце пуля,—все же легче ехать болотами, нежели пустыми межами; лучше под кустом мокрого смородинника разбить банку консервов. Возможно—поэтому хотелось комиссару Фадейцеву уснуть. Но обсахарившиеся веки нельзя (—во имя революции,— напыщенно говорит Карнаухов)—сомкнуть. Неустанно, кажется, шестые сутки, мчался отряд полями, гатями, болотами — чтобы тут у камышей, у гнезда бандита и висельника Чугреева — заблудиться, разорваться, растеряться...

— Интересы коммунизма неуклонно!..— вдруг во все горло закричал адъютант Карнаухов.

Тотчас же старик внес самовар.

Фадейцев медленно вытянулся на лавке.

— Я все-таки, ребята, сосну... пока самовар кипит... Тут ребята подоспеют.

Он потянул голенища. Старик поспешил помочь. Карнаухов выматерился.

— Царизму захотел, сапоги снимашь?

— Устал он, камандер ведь.

— Если устал, можно и в сапогах превосходно. Ты как об этом предмете, товарищ?..

— Я лучше усну...

Старик сунул ему под руку подушку.

— Литературу получаете? Надо курс событий чтоб под ноготь, батя.

— Бандита пошла, голубь, и прямо, как саранча, бандита. В нашей волости народ все смирной рос, а теперь однажи скачут... один здаравенный такой — рожа будто у кучера, как ему стыда нет — печенки захотел. И что ты думашь? У соседа корову застрелил, печенку вы-

резал, сжарил, остально кинул. А про люд, люду-то сколь перебито-о... э...

Карнаухов строго кашлянул:

— Очередная задача, собственно темп задачи — поголовное уничтожение бандитизма и вслед за этим мирное строительство...

...Всегда, после переходов, сны Фадейцева начинались так, словно внутри все зарастало жарким зеленым волосом...

Но вдруг, ломаясь, затрещали половицы. Медные звонкие копыта раскололи огромную белую печь.

Ничего не понимая, шальной и полусонный Фадейцев вскочил. Зашиб лоб о край стола. Ночь сгущалась. Керосиновая коптилка, казалось, разгорелась сильнее.

В раме окна со свистом прошипела пуля. Три раза, вслед за выстрелами маузера, кто-то громко позвал „товарищ Фадейцев!". Шип этот – будто перерезанный зов. Топот лошадей смягчался, словно скакали по назьмам. Фадейцев, прижимая к боку револьвер, прыгнул к дверям. Быстро и мелко — так щелкают семячки — старик крестился в окно. Лицо у него было белее бороды, а пальцы черные с киноварными ногтями, и ногти были жирнее и крупнее глаз. Фадейцев оглянулся. При свете большого фонаря, чубастый парень (грива его лошади была прикрыта зеленым полотнищем) устало махал саблей. Стоны после каждого его взмаха тоже усталые. Повидимому, их было немного, так как старик скоро сказал „зарубил".

Фадейцев посмотрел на прильнувшего к печи старика и повторил:

— Зарубил?.. ево?.. бандиты?..

— Эне.

И здесь Фадейцев вспомнил — револьвер его опять не заряжен. Пять лет революции не мог он приучиться во-время заряжать... Револьвер царапнулся по доскам пола. Котенок шарахнулся из-под скамейки. И внезапно стало страшно выбежать в сени. На дверях же даже нет засова. Старик обернулся на стук. Деловито щелкнул затвором и с матерком сунул револьвер в загнету печи, в золу.

„Амба..." — подумал быстро Фадейцев — и ему на мгновение стало жалко Карнаухова:— „зарубили"...

— На двор ступай... урубят и так: меня перед смертью пожалеть надо. Скажи — я вас по доброй воле не пускал... так и скажи. Владычица ты, пресвятая богородица! Иди, что ль! Хамунисты-ы...— протянул старик пронзительно.

Засвистали пронзительно на перекрестке улиц. Икры ног Фадейцева стали словно привязные деревянные. Фадейцев пал на колени. Так он прополз два-три шага и неизвестно для чего приоткрыл подпол. Щеки его обдал гнилой запах пророcшей картошки.

— Найду-ут... Дам вот по башке пестом!..

От этого злого беззубого голоса Фадейцев вдруг окреп. Он сдернул свой мешок с вещами. За мешком—портфель, разрезал по-

чему-то пополам фуражку. Трясущийся в пальцах нож напомнил ему об ножницах.

— Ножницы давай,— закричал он:— скорей... и рубаху... рубаху свою...

Старик вытянул рот:

— Но-о...

Старик подал источенные ножницы и гладко выкатанную рубаху. Состригая бородку, рощенную клинушком (по кремлевскому) — Фадейцев торопил:

— Старую... старую надо... живо!.. Скажешь... как фамилья...

— Моя-то?

— Ну?..

Старик словно забыл про страх. Он хозяйственно оглядел избу.

— Тебе на какую беду?..

— Говори!

— Ну, Бакушев, Лексей Осипыч... ну?..

Он поднял кулаки (с ножницами и с остатком бородки в пальцах) и, глотая слюну, прошипел старику в волос. Ах, волосом этим как войлоком закатано все: глаза, сердце, губы, никогда не целовавшие детей. И речь нужно пронзительнее и тоньше волоска, чтобы...

— А я скажешь твой... сын! По!.. Семен... Семен Алексеич, из Красной армии... дезертир! Документов нету... да... Иначе — амба! Наши придут и, если меня найдут конченным, кишки твои засолят на полсотни лет... попалят, порежут... амба, туду вашу!.. если этим выдашь...

Он махнул на старика ножницами. От его прыжков едва не потух светильник. Старик противно, словно расчесывая грязные волосы, крестился.

— Мы што... мы хресьяне... наше дело... ладно, я старухе скажу... поищу.

Скамья под телом Фадейцева словно смазана маслом. Нет, этак жирно вспотели ладони. Карнаухов оставил на столе портсигар. Фадейцев сунул его в трубу самовара (—кожаный, вонять будет, — подумал он), но обратно доставать не было силы.

Он, тупо глядя на самовар, сбирал в гортани слюну сплюнуть,— и не мог.

А с оружием возможно было прорвать к какой-нибудь лошади. Ветер, вечер, холодная осенняя хорошая грязь. (Там в поле каждый удар копыта, словно падает маленький колокол.)

Эх, научиться б во-время заряжать револьвер!..

## Час второй.

На минуту показалось — шел он сам, потом — шаги в стене, на потолке.

Вбежала старуха. Топот нескольких ног послышался в сенях

„К печке“, — шепнул, задыхаясь, Фадейцев. Сразу не стало видно дверей, — печь же — будто бесконечный кирпичный забор.

В остро распахнутую дверь озябший гортанный голос сказал быстро:

— Свету! Свету, и выходи сюда!

Казак с чубом телесного цвета поставил на пол крупный фонарь. Свеча там была желтая, восковая, церковная. Дергая тонким плечом, вперед выступил высокий человек.

— Красные есть?

Он тяжело поднял руки: дула револьверов были похожи на забрызганные грязью пальцы.

— Где они?

— Убежали, родной, как поскакали до коней, так я их будто сблевал... разве в других местах, моя изба — голубь... Сынка вот хотели увезти, едва уговорил... мы, грит, так и так...

— Сын. Этот?

Из сеней нетерпеливо спросили:

— Увести, ваше... по такой роже если судить...

— Я что говорил? Вмешиваться?

Хотя никто не шевельнулся, он отстранился локтем. Опять, чуть вздрогнув плечом, шагнул к Фадейцеву. Каждое его слово было ровное и белое, такое, как его зубы. От фонаря — похожие на кровь — дрожали на жидких и длинных усах капли грязи. Он сунул револьвер назад в сени, холодная четырехугольная рука его нащупала пальцы Фадейцева. Спрашивая, он все время подымался вверх по кисти на грудь, на бока. Ногти его словно прокусывали платье. Он ощупал нижнее белье. Фадейцев любил махорку и сыпал ее не в кисет, а прямо в карман. Высокий достал щепоточку, понюхал и плюнул.

— Какого полка?

— Стального путиловского третьего...

— Фамилия?

— Бакушев Семен.

— Доброволец?

— Никак нет, мобилизованный.

— В отпуску?

— Никак нет...

— Ранен?

— Дезертир? Документы? Нет документов? Значит, врешь. Расстрелять!

В сенях подняли щеколду. Кто-то, гремя прикладом, спрыгнул с крыльца в грязь. В курятнике сонно-испуганно металась птица — казак резал к ужину. Лениво оглядывая стены, высокий человек легонько направил Фадейцева к дверям. Выровнялось несколько пар грубых сапог: проход был похож на могилу. Прямее винтовки не будешь — и все же они тянулись, — один высокий был с револьвером: он дер-

жал его за спиной. Усы его висли над плечом Фадейцева, как сухая хвоя. Попробуй, вырви.

Чтобы продвинуться ближе к окну, Фадейцев спросил:

— Проститься с родителями можно?

Фадейцев упал старикам в ноги. Рама узкая и под окном палисадник.

Старуха завыла. Старик наклонился было благословлять его, но внезапно, причитая, пополз за сапогами высокого.

— Князюшка, я ведь твоего батюшку и мамашу-то знал во-о... одноутробнова-то? Трое суток как прибежал... на скотину болесть, ну думаем — пообходит, городской... а тут в могилушку сыночка...

— Золотцо ты мое, Сенюшка, соколик мой ясноглазый!..

Высокий человек посмотрел хмуро в пол. Атласистое сало свечи капнуло ему на полушубок. Старик поспешно слизнул. „Эх, зря", — подумал Фадейцев, но высокому, повидимому, понравилось. Он нагнулся.

— Вставай! Чорт с вами, прощаю — мало тут дезертиров! Только смотри, старик, набрешешь — покаешься. Я зло помню...

Он не спеша двинулся к дверям, но, мельком взглянув на профиль Фадейцева, — неожиданно быстро устремился к нему. Судорожно дергаясь плечом, он заглянул в глаза: Фадейцеву почудилось — веки его коснулись щеки. Он прижал одну руку к груди и закричал пронзительно:

— Что? что?.. Фамилия? Снимай шапку!..

Фадейцев вспомнил — когда кто-то сказал „расстрелять" — он надел шапку. Она мала, чужая, прокисшая какая-то...

— Семен Бакушев.

Высокий провел его по волосам, с удивлением поглядел на глубокий шрам подле виска.

— Бакушев? Врешь!

Он неловко, словно в воде, мотнул головой.

— Ясно... да... Не помню Бакушева. В Орле был?

— Никак нет.

— Князей Чугреевых знаешь?

„Ты..." — с какой-то тоскливой радостью подумал Фадейцев. Посылая его в уезд, председатель губисполкома дал ему для сличения фотографическую карточку руководителя зеленых, генерала Чугреева. Там он был моложе, полнее; но как сейчас—там чуть толстая верхняя губа, прикрытая жидким волосом и брови слегка углом. Фотография эта лежала в чемодане, в подполе. Фадейцев припомнил, как мужики делают размашистые жесты. Он выпятил грудь и поднял высоко локти.

— Чугреевых? Господи! Да у нас вся волость...

— Врешь... все врешь...

Солдат в алых наплечниках лепил на стол свечу из фонаря.

— Пошел к чорту!

Генерал и князь Чугреев, ловить которого комиссар Фадейцев мчался в каличинские болота, сидел перед ним, быстро пощипывая грязную кожу на подбородке. Была какая-то смесь щегольства и убожества в нем самом и в его подчиненных. Полушубок он расстегнул: зеленый мундир его был шит золотом (хотя оно и пообтерлось), а брюки были грубого солдатского хаки. Грязь стекала с его хромовых высоких сапог.

— В германскую войну в каком полку?

Фадейцев назвал полк.

— Не помню. В каком чине?

— Рядовой.

— Э...

Из сеней тоскливо, после продолжительного топтания:

— Прикажете?..

— Обождите. Хозяин, дай молока!

Обливая бороду молоком, он долго и торопливо пил. Щелкнули на улице выстрелы. Чугреев отставил крынку. Сизые мухи (такие липкие бывают весенними вечерами — почки осин) — уселись по краю.

Он грузно опустил руки на стол.

— Несомненно, где-то я видел тебя и в чем-то важном... этаком важном... для меня...

Он пощупал грудь.

— Видишь, даже сердце заныло. У меня всегда...

Старик опять грохнулся на колени. Он с умилением глядел на Фадейцева.

— Так сын, говоришь?..

— А как же батюшка, да ей же боженьки...

— Колена тверже пяток — вставай! Допрошу в штабе и отпущу. Молись богу — пущай правду говорит... Идем!

## Час третий.

Генерал Чугреев был слегка сед, размашист, немного судорожен в шаге, а комиссар Фадейцев—низенький, сутуловат и, так как всю жизнь приходилось ему подпольничать, то шаг у него был маленький, точно он боялся наступить кому-то на ноги. Ночь — сырая и ветреная, аспидно-синяя, — рвала солому с крыши, хлипко гнула ее у подбородка, у плеча, мало силы снять соломинку, чуть пахнущую грибами. Казаки поотставали — шли только с ружьями наперевес двое. Штаб Чугреева в сельской школе; подымаясь по ступенькам, спросил:

— Трусишь?

— Одна смерть, — ответил звонко, по-митинговому, Фадейцев. Ходьба освежила, ободрила его, и перед расстрелом он решил крикнуть „да здравствует революция!“.

— Мы сегодня семьдесят два человека кокнули. Если сосчитаешь, то который по счету, а?

Фадейцев смолчал.

Парты сдвинуты к стенам, на полу (в пурпурово-голубом пятне) керосиновый фонарь. Пахло же в комнате не керосином, а мелом. Под ногами, точно известь в воде, шипели куски мела. Выпачканный в белом, спал подле классной доски лысый с ушами, похожими на переспелые огурцы.

— Казначей. Спит. У большевиков спирт отбили, перепились. Зачем им возить с собой спирт, а?

„Мы спиртом? У нас спирт? Сволочь!“ — так крикнул бы адъютант Карнаухов. Фадейцеву, слабому и расстрепанному, на мгновение стало жалко Карнаухова.

Не давая заговорить, Чугреев сморщился и что-то показал пальцами над щекой.

— Надоело мне все, садись.

Стол шатался и скрипел.

Чугреев тоже шатался; плечи у него вздрагивали; он зябко поджимал колени. Он спрашивал о германской войне, об офицерах, служивших в полках.

Внезапно он вскочил:

— Гагарин? Это какой, пензенский?

— Не могу знать.

Чугреев приблизил к нему сонные, цвета мокрого песка, глаза.

— Я четыре ночи не спал, — меня надо титуловать. Забыл у большевиков?

Он быстро провел пальцем по подбородку Фадейцева: „сегодня остригся“ — сказал он медленно и попросил называть города, где бывал Фадейцев.

„Тула... Воронеж...“—Чугреев остановил.

— В каком году был в Воронеже?

— В семнадцатом.

— Месяц?

— Январь, генерал.

Чугреев, дергая руки по коленям, точно сметая пыль, хихикнул. Смешок у него неумелый, смешной, как будто разрывали бумагу.

— Вспомнил!.. я...

Он, задевая рукой о парты, вытряс из какого-то мешка книги, карандаши... Вырвал лист из входящего журнала. „Устав артиллерийской службы“ запылен, засижен мухами.

— Переписывай!

Нарочито неумело, согнув палец и волоча за каждой буквой ладонь, Фадейцев начал писать. Буквы надобно выводить корявые, мужичьи, похожие на сучья. Буквы прыгали, давило и прыгало сердце; длинный человек через плечо заглядывал ему на бумагу, смеялся,—словно

вырывая лист. Стучал с силой рукояткой револьвера в стол, торопил. Карандаши крошились, устав нескончаем (и нескончаема пелена кровяного сердца). Фадейцев стал забывать, терять — какие нужно выводить буквы. Ему казалось, что та, которую он сейчас написал, прямее предыдущих—и он ломал их, нарочито округлял. Особенно плохо удавалось—„о"—то растянуто, как гримаса, то круглое, как кольцо, то согнуто—вытянуто, как стручок.

Неожиданно Чугреев откинул стул, топнул и закричал:

— Пиши фамилию! Свою!

И Фадейцев повел было „Фа...", но быстро перечеркнул и написал:

— Алексей Бакушев.

Чугреев вырвал бумажку, разгладил.

— Превосходно. Фа... Фарисеев например, или Фараончиков... Как?

— Напугался, ваше... с испугу...

— Знаем, голубчик, испуги ваши. Рассказывай о Воронеже. Гулял, пил, в клубе...

Он беспокойно понесся по комнате.

— В клубе! в клубе!.. В январе в Воронеже, есть такое дело... вспомнил, чорт подери. Как фамилия, Фа-а...

— Бакушев, ваше сиятельство.

— А? Подожди, не мешай... сейчас припомню. Ты меня узнаешь... В клубе, январь семнадцатого года и я—князь Чугреев, а?

Фадейцев размягчил щеки, выпрямил губы—улыбнулся.

— Шутить изволите...

Казначей принес самогон. Срывая ногу с ноги, разметывая пахнущие конями волосы, Чугреев говорил:

— Слушайте! Я знаю много хороших офицеров из прекраснейших семей—служат у большевиков... Одни—мобилизованы, другие—по слабости воли... Наконец, чтоб для такой ненависти, какая у меня, надо четыре года травить, гонять, улюлюкать на перекрестках, в глаза, в рот харкнуть! Во-о... я сейчас в окно смотрю, а думаю — возможно ведь: в город или в отряды, которые ловят сейчас меня, мужик или казак скачет... и предаст!.. За хорошее слово предаст! Вы ведь тоже по слабости характера — к ним, а? А?.. Я завтра утром всех крестьян перепорю, а об вас... впрочем, ерунда, белиберда! Вы знаете, конечно,— меньше всего я могу добиться у крестьян—они боятся меня, но верят в большевиков! Если б два года назад... Повторяю, вашей фамилии я не могу припомнить,—обстоятельства же нашей встречи мне ясны...

Он быстро порылся в карманах и растерянно скривил усы.

— У меня после одного случая в Чека подурнела память. Я полтора года ищу свою записную книжку... Итак! десятого или девятого января семнадцатого года, вы помните этот вечер?

— Ничего...

— Э, бросьте дурака ломать... в этот вечер я проиграл вам... я...

Он сжал пальцами веки и, склонясь длинным, костлявым лицом к щекам Фадейцева, придушенно спросил:

— Вы пнимаете, пнимаете... я... я... забыл, сколько вам проиграл.

Он свел руки.

— И ни одной собаки вокруг меня, которая бы вспомнила—или сказала о вас! про вас... кто вы. Да. Девятого января в Воронежском офицерском собрании я на честное слово проиграл вам... на другой день я должен был доставить деньги, их у меня не было. А на третий день вы исчезли... Так за всю мою жизнь, я—князь Чугреев, однажды не заплатил карточного долга. Теперь счастливый случай...

Фадейцев посмотрел на его потный побледневший рот. В семнадцатом году в январе (он вспомнил с тоской—тогда он был влюблен) он рядовым, действительно, был тогда на спектакле. Солдат пускали только на галерку—она же пошла с матерью в партер... Он со злобой глядел на разрисованные под малахит колонны; ему смутно вспоминается (тоже размалеванная под птиц) длинная фигура в золоченом мундире... Достаточно злости еще сохранилось с того времени! Но карты,—он никогда не брал в руки карт.

Отодвинул стакан.

— Я не пью, ваше сиятельство, не пью и не курю...

Беспокойные искорки мелькнули в зрачках Чугреева. Кожа его рук — потрескавшаяся и потная. Когда он прикасается к Фадейцеву, тому кажется — сползает она целыми клочьями. За стеной неустанно шипел ветер. Казначей,—с необычайно черными—словно точеными из угля усиками, заученным скучным движением раскрыл чемодан, доверху наполненный деньгами. Глядя на него, Фадейцев подумал: „Честность, едрена вошь, за такой должок сотни две людей отправил. Сволочи!". И поняв все, он слегка успокоился и даже сделал вид, будто отпил из стакана.

Мотая усы над чашкой, Чугреев хрипло бунчал:

— Я же знаю, какого вы полка, шестого драгунского имени герцога... а теперь в путиловском! В нас много стыда... капитан... на столетия стыда хватит! Вы полагаете, я вас презираю—бог дай совести—нет! Я однажды от большевиков скрывался, а помог мне скрыться знакомый мужик, славный, будто мужик... Ко-онечно, он знал, что я князь, отец его крепостным в саду моего деда рассаду тыкал (дед, блаженной памяти, в куртинах салат любил выращивать)... и все-таки он, меня, из-под больной своей жены—горшки заставил носить!.. Когда, позже, я приехал к нему с отрядом — посмотрел-посмотрел в его рожу и, не плюнув, простил... Надо понимать людей, капитан.

Чугреев откинулся на парту и полузакрыл глаза. Кожа под глазами дряблая, синевато-белая, словно глаза сползают с лица...

Сырая знакомая муть из ног к сердцу Фадейцева—такая, как входили в сени.

— Пустите меня,—прошептал он.

Чугреев сморщился.

— Вы нас порядком гнали, капитан, я три дня или больше не спал. Думал штаб ваш захватить, удрали, они в другой половине села остановились. Какого-то комиссара нового за мной послали из губернии, мне не успели сообщить его фамилии... вы не слышали?..

— Красные сказывали—Щукин.

— Да, „товарищ“ Щукин... но и он меня не поймает. Знаете, кто меня сграбастает?

Он мелко, как на сильный свет, подмигнул.

— Тот, у кого фамилия заключает четное число букв.

Фадейцев сосчитал себя—восемь.

— Бог даст, не изловят,—сказал он хрипло.

— Пошлют такого комиссара—четыре или восемь—амба!

— Амба?—переспросил, заглядывая ему в лицо, Фадейцев:—кого амба?..

Тот широко, открывая гнилой рот, захохотал.

— Без примет скучно верить, капитан! Примечайте, примечайте!.. Много замечательного стоит приметить на свете. Слушайте, дайте руку...

Чугреев встал и, со вздрагиваниями пожимая пальцы Фадейцева своей, вязкой четырехугольной рукой, глухо заговорил:

— Капитан, честным словом князей Чугреевых, клянусь вам—выпущу невредимым за мои пикеты, отдам долг — вот сейчас, сейчас! Васька, открой чемоданы, вали деньги на стол... огурцы убери! И золото там, из мешка, золото принеси... Никому в жизни, никому—карточный долг... Капитан, ваша фамилия и сколько?

Фадейцев посмотрел на толстые пачки кредиток, золотые монеты и кольца. Чугреев из замшевого мешочка высыпал в тарелку с огурцами блестящие камушки.

— Хватит?—спросил он хвастливо.

Фадейцев больно надавил локтем в стол.

„Сказать, наврать, все равно утром крестьяне узнают...“ Вдруг он вспомнил об отряде: дабы узнать, куда скрылись, куда направляются. Что ему какой-то идиотский долг? И не один, наверное, погиб. „Во имя революционных мотивировок“,—припомнил он адъютанта.

Он намеренно глубоко вздохнул, отодвигаясь:

— Греха на душу... пусти, ваше благородье... ваше сиятельство... Бакушев я, хоть все село!..

— А, Бакушев? Сейчас узнаем. Направо кругом! Шагом-арш... Ась, два!..·Стой!..

Он взял его под руку и подвел к столу.

— Разве так солдаты ходят? Правую ногу этак только драгуны могли вскидывать. Садитесь. — Курите? Пожалуйста... — И руки не прячьте... Итак, Васька, самогону и огурец! Жаль — до встречи я всех

коммунистов сгоряча порубил, а то они про вас что-нибудь сообщили. Ну, скажите...

— Ваше сиятельство, ей-богу!..

Нога Чугреева тяжело упала на пол.

— Гадко, капитан. Я у виска с револьвером мог бы. Если вы забыли дворянскую честь, то имеете вы кусочек человеческой совести. Капитан!

В угнетении находишь какую-то радость повторять одни и те же слова. Тогда слово становится таким же мутным и стертым, как сердце.

Но Фадейцев молчал.

— Можете ли вы мне говорить прямо?

Во имя революции—нет,—так бы ответил Карнаухов, веселый и прямой адъютант.

Фадейцев же молчал.

Недоумевая, Чугреев отошел от стола.

— Напишите карандашом цифру и уйдите. Если вы—коммунист, так эти деньги народные, сударь, награбленные мной. Вы имеете право их взять, пожертвовать на детские дома или на дом отдыха для проституток, чорт бы вас драл!

Лицо у него было жесткое и суровое, как осенняя кора.

— Что есть во мне драгоценного и что он хочет купить за эти деньги?—тревога и гнев оседают в груди Фадейцева.

А из чашки пьет самогон князь Чугреев. Какое же это безумие? Князь говорит здраво и долго о восьми тысячах десятин имения в Симбирской губернии.

Петухи, хлопая крыльями и прочищая горло, роняют теплые перья. Опять одно радостное и горькое перо уронила земля—день...

Князь опять упрекает, допрашивает Фадейцева:

— Вы мне не дадите уснуть еще пять ночей. Завидую вашей подлости.

Глаза у Фадейцева черные и пустые. Чугреев отворачивается. Что представляет этот черненький маленький человечек? Никто ничего не объяснит.

А у князя, наверное, такое чувство, что ему никогда нельзя спать.

Все же усталый, но на что-то надеясь, он говорит:

— Идите...

Фадейцев поворачивается. Нет, в спину всегда стреляют. Так пусть лучше бьет в грудь. Он пятится к дверям.

На столе перед князем револьвер и деньги. Что он намеревается делать? Он лишь пьяно сплевывает.

Не пьяный ли плевок вся ночь?

Потому что — широкие улицы вздыхают травой — она здорово росиста и пахнет слегка спиртом. В село возвращается дозор. Радостно, тонко с привизгами, по-бабьему мыкает теленок.

Небо легкое и белое.

Земля легкая и розовая.

Старик Бакушев, придерживая тиковые штаны, отворяет ему ворота. Ласково треплет его по плечу (рука у него пахнет чистой, пшеничной мукой).

— Молока не хошь?—спрашивает он тихо и ласково.

Фадейцев, мутно ухмыляясь, лезет на полати, закрывает глаза, только хочет понять, вспомнить, подушка пахнет чьим-то крепким телом, губы медеют...

## Час четвертый.

Гики.

Пулемет.

Пустые улицы заполнились топотом.

Фадейцев спрыгнул с полатей.

— Наши!..

— Ну,—протянул недоверчиво старик...

А полчаса спустя красноармейцы качали на шинели Фадейцева, пели „Интернационал“ и писали какие-то резолюции.

Адъютант Карнаухов стоял на крыльце, улыбаясь всем своим широким телом. Желтовато-оливковое галифе было в крови, а шея туго забинтована.

— Я думал, ты убит,—повторял ему Фадейцев.

— А я об тебе думаю: амба! Я как выстрелили они—одурел— темень нашла, выпер на двор, смотрю твоей лошади нет,—ну, думаю, утек. С кем тут защищаться? Я и покатил на соединение... Там в обеих половинках говорят: не встречали, нету тебя... Ну, мы и поперли, думаем хоть тело достать.

— А князь?

— Чухня-то эта? Удрал—деньги оставил, а казначея его Миронов прирубил. Они ведь всех наших раненых тово...

Он пошел в избу.

— Мы их, товарищ, достанем.

Фадейцев встретил старика в дверях с самоваром:

— Чай, батя?

— Чай, сынок.

— Можно...

Фадейцев, обходя стол (мешек у него лежал в переднем углу), взглянул в окно. Санитары несли раненого, мужик вывозил из деревни три лошадиные туши, а внизу под склоном холма виднелся нехитрый, березовый лесок, овражек, крошечное озерко, где молодые гуси пытались летать. Солнце было цвета медной яри, и гуси имели светло-кровяно-красные подкрылья...

...И тогда Фадейцев вспомнил...

Два года назад Фадейцев был помощником коменданта О. губ. Ч. К. Ему было приказано сопровождать партию приговоренных к расстрелу

белогвардейских офицеров. Было такое же, цвета медной яри, раннее утро, как сейчас. Приговоренные (их было пятеро), пока грузовик, круша звонкую пахучую грязь, вез их за город,—говорили об охоте. Один высокий, с жидкими пепельно-серыми усами, рассказывал любопытные истории о замечательной собаке своей Фингале. „Таких людей и убивать-то весело",—сказал на ухо Фадейцеву один из агентов. А Фадейцев ехал на расстрел впервые, и ему было стыдно, хотя он убежденно веровал, что уничтожать их нужно. Остановились подле такого же озерка, что и сейчас. Гуси неумело испуганно отлетели от машины. Приговоренных подвели к оврагу и высокий перед смертью попросил у Фадейцева папироску. Тот растерялся и отказал. Высокий сдвинул угловатые брови и сказал сухо: „последовательно". После выстрела Фадейцев должен был выслушать пульс и сердце (врача он почему-то постеснялся позвать), четверо были убиты наповал, а пятый—высокий,—закусив губу, глядел на него мутноватыми, цвета мокрого песка, зеницами. По инструкции Фадейцев должен был его пристрелить. Солдаты уже сбрасывали в овражек трупы и слегка присыпали песком (так как все знали, что через три—четыре часа придут к овражку родные и унесут тела; сначала с этим боролись, а потом надоело). Высокому прострелило плечо. Не опуская перед ним взора, Фадейцев вынул револьвер, приставил к груди и нажал собачку! Осечка. Он посмотрел в барабан—там было пусто. Как всегда он забыл зарядить револьвер. Теперь, привыкнув к смерти, он попросил бы солдат пристрелить, а тогда ему было стыдно своей оплошности, и он сказал: „умер... бросайте"...

Фадейцев пощупал револьвер и отошел от окна.

— Ду-урак...—придыхая, сказал он:—ду-урак... у-ух... какой дурак.

— Кто?

— Кто? А я знаю?.. Я вот сосну лучше, товарищ Карнаухов!

И перед сном он еще раз проверил револьвер: тот был полон, как в урожай стручек—зерном.

# Спектакль в селе Огрызове.

**Вяч. Шишков.**

Рассказ.

Военная страда окончена, и красноармеец Павел Мохов опять в родном своем селе Огрызове.

Была весенняя пора, все цвело и зеленело, целыми днями тюрликали в выси жаворонки, а по ночам—пели соловьи. Навозница кончилась, до сенокоса еще далече, крестьяне отдыхали, справлялись солнечные праздники: Никола вешний, Троица, Духов день—с молебнами, трезвоном колоколов, крестными ходами, бесшабашной гульбой и мордобоем.

— Вот черти! Живут, как самая отсталая национальность,—возмущался Павел Мохов.—Ежели с птичьего полета поглядеть, то революции-то здесь и не ночевало никакой. Позор!

И недолго думая, образовал театральный кружок-ячейку.

Народ ничего не понимал, в члены записывались очень мало. А когда дьячок пустил для озорства слух, что записавшимся будут селедки выдавать, в ячейку привалило все село,—даже древние старцы и старухи...

Председатель Павел Мохов рассмеялся, и колченогой старушонке Секлетинье задал такой вопрос:

— Хорошо, я тебя, бабушка, зарегистрирую. Вот тебе роль, играй первую любовницу. Можешь?

— Играй сам, толсторожий дурак,—зашамкала бабка, приседая на кривую ногу.—Подай мне селедки, что по закону причитается... Три штуки.

Вообще было много хлопот с кружком. Потом наладилось. Через неделю разыграли в школе веселый фарс, крестьяне хохотали, просили еще сыграть, сулили платить яйцами, молоком, сметаной.

Сам же Павел Мохов к сцене совершенно не пригоден: терял себя, трясся, бормотал глупости, а театр ужасно любил. Поэтому на солдатских спектаклях ему, обычно, поручалось стрелять за кулисами из револьвера. И уже всегда, бывало, грохнет момент в момент. Здесь он точно

так же ограничил себя этой, на взгляд малой, но все же ответственной ролью.

Только вот беда: не было пьес. Написали в уездный город. Выслали Юлия Цезаря. Когда подсчитали действующих лиц—40 человек оказалось: без малого все село должно играть, а кто же смотреть-то будет?

Тогда Павел Мохов и другой красноармеец Степочкин решили состряпать пьесу самолично. Долго ли? Раз плюнуть. На подмогу был приглашен новоиспеченый учитель, Митрий Митрич, из бывших духовных портных.

Все трое, чтобы никто не мешал, после обеда заперлись в прокопченой бане, захватив с собой четверть самогону. К утру пьеса была окончена. В сущности, сочинял-то Мохов, а те двое так себе. Осунувшаяся, словно после изнурительной болезни, вся троица вылезла на воздух и, пошатываясь, поплелась домой в великой радости. Лица у всех были в саже.

— Любящая мамаша,—обратился Павел к своей матери совсем по-благородному,—угостите автора чайком. Я теперь автор, сочинил сильно действующую трагедию под заглавием: „Удар пролетарской революции или несчастная невеста Аннушка". Пьеса со стрельбой, поплачете и посмеетесь.

Красотка Таня ни за что не хотела участвовать в спектакле. Очень надо. Павел Мохов ей даже совсем не нравится. Пусть Павел Мохов много-то, пожалуйста, и не воображает о себе. Но Павел Мохов всячески охаживал Таню со всех сторон. Нет, не поддается.

Ну, ладно. Вот что-то она скажет, когда его пьесу поглядит.

* * *

Репетиция шла за репетицией. Пьеса подверглась коренной переработке и получила новое название „Безвинная смерть Аннушки или буржуй в бутылке".

Всю последнюю неделю село жило под знаком „безвинной смерти Аннушки": девицы воровали у родителей холсты для декораций, парни—конопляное масло для малярных работ, кузнец Филат украл в совхозе белил и красок, даже поповна умудрилась стянуть в церкви бутылочку маслица лампадного.

Неутомимый Павел изготовлял огромную, склеенную из 20 листов, плакат-афишу: он раскинул ее на полу в своей избе и целый день, пыхтя ползал на брюхе, печатал всеми красками, подчеркивал.

Особенно кудряво было выведено: „Сочинил колективно *автор Павел Терентьич Мохов,* красный пулеметчик". Потом следовало предостережение: „Потому что в трагедии *произойдет стрельба* холостыми зарядами, то *прошу* в передних рядах, так и в самых задних рядах никаких *паник не подымать,* в упреждение ходынки" и в конце: „начало в шесть часов по старому стилю, а по новому стилю на три часа впе-

ред. С почтением *автор Мохов*". И еще три отдельных плаката: „*Прошу* на пол не харкать". „Во время действия посторонних *разговоров* прошу *не позволять*". „В антрактах *матерно прошу* не выражаться".

В конце каждого плаката было: „с почтением автор Мохов".

После генеральной репетиции Мохов сказал:

— Успех обеспечен, товарищи. Будет сногсшибательно.

Мимо Таниной избы прошел подбоченившись и лихо заломив с красной звездой картуз.

А на другой день уехал в город, чтобы пригласить члена уездного политпросвета на показательный спектакль.

* * *

В день спектакля публика густо стала подходить из ближних деревень в село Огрызово. С любопытством рассматривали плакат-афишу, укрепленную на воротах школы.

В школе едва-едва могло уместиться двести человек, народу же набралось с полтысячи. Спозаранку, часов с трех, зал был набит битком. Публика плевала на пол, выражалась, плакат же „Прошу не курить, с почтеньем автор Мохов" был сорван и пошел на козьи ножки. В комнате от табачного дыма сизо. День был знойный, душный. С беременной теткой Матреной случился родимчик: заайкала,—и ее унесли.

В пять часов Павел Мохов стал наводить порядки. Весь мокрый, он стоял вместе с милицейским на крыльце и осаживал напиравший народ:

— Нельзя, товарищи, нельзя! Выше комплекта,—взволнованно кричал он.—Ведь ежели б стены были резиновые, можно раздаться, но они, к великому сожалению, деревянные.

— Допусти, Паша... Мы где ни то с краюшку... На́ яичек... на́ маслица.

Передние ряды были заняты мальчишками. Павел, с ядреной перебранкой, согнал их и усадил людей почтенных, а принесенное от священника кресло для городского гостя перевернул вверх ножками.

— В антрахту залезем, братцы, не горюй,—утешались мужики,—всех за шиворот повыдергаем! Не век же им смотреть!

* * *

Около шести часов прибыл со станции представитель уездного политпросвета светло-волосый красивый юноша, товарищ Васютин. Павел Мохов был крайне удивлен: ведь, обещался приехать бородатый, а тут—здравствуйте, пожалуйста! Однако Павел дисциплину понимает тонко, рассыпался в любезностях, провел его в свою избу, сдал на попеченье матери, а сам скорей в школу и подал первый звонок. Публика отхаркнулась, высморкалась, смолкла и приготовилась смотреть.

Товарищ Васютин отмывал дорожную пыль, прихорашивался перед зеркалом, прыскал себя духами. Мать Павла усердно помогала ему

переодеваться, она очень удивилась, что гость без креста и натягивает белые штаны.

Франтом, с тросточкой, попыхивая сигареткой, краснощекий товарищ Васютин проследовал на спектакль. В кармане его щегольского пиджака лежали две ватрушки, засунутые матерью Павла:

— Промнешься, соколик, дак пожуешь.

Второй звонок подавать медлили. В артистической комнате содом. Павел Мохов рвал и метал. Доставалось молодому кузнецу Филату. Филат должен, между прочим, изображать за сценою крики птиц, животных и плач ребенка — все это Павел ввел „для натуральности". На репетиции выходило бесподобно, а вот вчера кузнец приналег после бани на ледяной квас и охрип,—получается чорт знает что: петух мычит коровой, а ребенок плачет так, что испугается медведь.

— Тьфу! Фефела... — выразительно плюнул Павел и, стрельнув живыми глазами, крикнул:—А где же суфлер? Живо за суфлером! Ну!

Меж тем, стрелка подходила к семи часам. От духоты и нетерпенья зрители взмокли. То здесь, то там приподымались девушки, с любопытством оглядывая городского франта.

— Ну и пригожий... Ах, патретик...

Таня два раза мимо проплыла, наконец, насмелилась:

— Здравствуйте, товарищ!—и протянула ему влажную от пота руку. Очень высокая и полная, она в белом платье, в белых туфлях и чулках.

— Пойдемте, барышня, освежимся!—и Васютин взял ее под руку. Рука у Тани горячая, мясистая.

Девушки завздыхали, завозились, парни стали крякать и подкашливать, кто-то даже свистнул.

Милицейский и шустрый паренек Офимьюшкин Ванятка разыскивали по всему селу суфлера Федотыча.

— Ужасти, в нашем месте скука какая. Одна необразованность,— вздыхала Таня, помахивая веером на себя и на кавалера.

— А вы что же, в городе жили?

— Так точно. В Ярославле. У одной барыни паршивой служила по глупости, у буржуазки. Теперь я буржуев презираю. Подруг хороших здесь тоже нет. Например, все девушки наши боятся гражданских браков. А вы женились когда-нибудь гражданским браком?—и полные малиновые губы Тани чуть раздвинулись в улыбку.

— Как вам сказать. И да, и нет... Случалось,—весело засмеялся Васютин и рука его не стерпела:—этакая вы пышка, Танечка...

— Ах, право... мне стыдно. Какой вы, право, комплементщик. Ах, как вы пахнете хорошо... Ой, вы мне сомнете кофточку...

Гость и Таня торопливо шли по огороду, вдоль цветущих гряд.

Вечер был удивительно тих. Солнце садилось. Кругом ни души, только кошка играла с котятами под березкой. Сквозь маленькое оконце овина, рассекая теплый полумрак, тянулся сноп света. Он золотил пучки сложенной в углу соломы.

В овине пахло хлебной пылью, мышами и гнездами ласточек.

— Товарищи!—появился перед занавесом Павел Мохов.—Внимание, внимание! По независимым от публики обстоятельствам, товарищи, наш суфлер неизвестно где... Так что его невозможно отыскать... То спектакль, товарищи, начнется по новому стилю.

А ему вдогонку:

— По новому, так по новому... Начинай скорей, Пашка... Другие с утра сидят... Животы подвело.

И еще кричали:

— Это мошенство! Подавай мой творог! Подавай мои яйца назад!

Но Павел не слышал. Обложив милицейского и Офимьюшкина Ванятку, он самолично помчался отыскивать суфлера.

Суфлер, старый солдат Федотыч, двоюродный дядя Павла Мохова. Он хороший чтец по покойникам и большой любитель в пьяном виде подраться: все передние зубы у него выбиты. Но, несмотря на это, он суфлер отменный и находчивый: чуть оплошай актер, он сам начинает выкрикивать нужные слова, ловко подделывая голос.

Павел побежал к его избе. Так и есть, замок. Он к соседям, он в сарай, он в баню. И весь яростно затрясся: Федотыч лежал на спине и, высоко задрав ноги, хвостал их веником, голова его густо намылена, он был похож на жирную, в белом чепчике, старуху.

— Зарезал ты меня! Зарезал!..—затопал, завизжал Павел Мохов.

Веник жарко жихал и шелестел, как шелк.

— Павлуха, ты? Скидавай скорей портки да рубаху! Жару много, брат...

— Спектакль! Старый идиот!.. Спектакль ведь.

— Какой спектакль? Ты чего мелешь-то? У нас какой день-то седни?—и вдруг вскочил:—Ах—ах—ах—ах...

— Запарился?!...

Федотыч нырнул головой в рубаху.

— Башку-то ополосни! В мыле.

— Ах—ах—ах... А я, собачья лапа, в лес по ягоды ходил... Ах—ах—ах—ах...

* * *

Задорно прогремел звонок. Сцена открылась, и вместе с нею открылись все до единого рты зрителей. На сцену вышла высоченная, жирная попадья.

Ни одна девушка не пожелала играть старуху. Взялся кузнец Филат. Лицо у него длинное, как у коня. На голову он взгромоздил шляпищу—впереди сидит, растопырив крылья, ворона, кругом—непролазные кусты цветов, на носу же самодельные очки, как колеса от телеги. Он очень высок и тощ, но там где нужно он столько натолкал здобы, что капот супруги местного торговца, женщины тучной и очень низенькой, трещал по швам и едва хватал Филату до колена, из-под оборок торчали

сухие, в обмотках, ноги, которыми очень грациозно, в переплет и с вывертом переступал Филат.

— Африканская свиньища на ходулях,—шепнул товарищ Васютин Тане, жарко дышавшей ему в лицо.

Таня фыркнула, а попадья, виляя задом, мелко засеменила к шкапу, достала четверть и, одну за другой, выпила три рюмки.

— Вот так хлещет!—завистливо кто-то крикнул в задних рядах.

— Угости-ка нас!..

— Мамаша! Мамаша!—выскочила в белом переднике ее дочь Аннушка.—Как вам не стыдно жрать водку?!.

Та откашлялась и сказала сиплым басом:

— Дитя мое, тебе нет никакого дела, что касаемо поведения своей собственной матери.

В публике послышались смешки: вот так благородная госпожа, вот так голосочек... А Павел Мохов за кулисами заткнул уши и весь от злости позеленел.

— Ах, так?—звонко возразила Аннушка.—Нынче, мамаша, равноправие. Я из вашего кутейницкого класса уйду в пролетариэт... Я коммунистка. Знайте!

— Что, что?.. Коммунистка?!. А жених? Такой благородный человек... Я тебе дам коммунистку!—загремела басом попадья и забегала по сцене: ворона и кусты тряслись.

Павел Мохов тоже с места на место перебегал за кулисами и желчно, через щели, шипел Филату:

— Что ты, харя, таким быком ревешь. Тоньше, тоньше!..

Этот злобный окрик сразу сбил Филата: слова выскочили из памяти и—что подавал суфлер, летело мимо ушей, в пространство.

Растерялась и Аннушка.

— Уйду, уйду,—повизгивала она, и глаза ее, как магнит в железо, впились в беззубый рот Федотыча.

Попадья крякнула для прочистки глотки и, едва поймав реплику Федотыча, еще пуще ухнула раскатистой октавой:

— Стыдись, о дочь моя! Ничтожество твое имя.

— Позор, позор! Паршивый чорт!..—змеиное шипенье Павла Мохова секло сцену вдоль и поперек.—Я тебе в морду дам!

— Позор, позор!..—всплеснула руками Аннушка и вся в слезах шмыгнула за кулисы.

— Позор! Паршивый чорт! Я тебе в морду дам!—загремела попадья-Филат.

Федотыч в будке грохнул кулаком, презрительно плюнул:—Ахтеры!.. и вдруг, к удивленью публики, невидимкой зазвучал со сцены писклявый женский голос:

— О, дочь моя... Я тебя великодушно прощаю,—фистулой выговаривал Федотыч.—Иди ко мне, я прижму тебя к своей собственной груди.

Вот так, господь тебя благослови, господь тебя благослови,—и яростно зашипел:—Где Аннушка? Аннушку сюда, черти!

Аннушку выбросили из-за кулис на кулаках. Семеня ножками и горестно восклицая:—Я ж говорю вам, что не знаю роли... Я сбилась, сбилась...—она подбежала к попадье, которая безмолвно стояла ступой, обхватив живот.

— Благословляй, дьявол!—треснул в пол кулаком суфлер.

— Господь тебя благослови!—как протодьякон пробасила попадья.

Павел Мохов метался за кулисами:

— Занавес!.. К чорту Филата!.. Ах, дьяволы... снова!

Но положенье спас буржуй жених, он роль знал на зубок, на сцену вышел игриво, попадья и Аннушка вновь овладели собой, Федотыч суфлировал на весь зал, как сто гусей, и на радостях суетливо глотал самогонку: из суфлерской будки несло сивухой.

Потом вошел маленький бородатый священник в рясе и скуфье на-бекрень, отец Аннушки.

— Поп, поп!—весело зашумели в зале.—Глянь-ка, братцы! Кутью продергивают.

Несчастную Аннушку стали пропивать, жених с попом устраивают кутеж, гармошка, пляс, попадья в присядку чешет трепака, подушки с груди переползают на живот. Аннушка плачет. Зрителям любо: ай люли, хлопают в ладони: биц-биц-биц-браво! Аннушка плачет горше. Но вот врывается в кожаной куртке рабочий-коммунист:

— Я спасу тебя!

— Милый, милый!—бросается ему на шею Аннушка.

Жених лезет драться, но коммунист выхватывает револьвер:

— Она моя. Смерть буржуям!..

Поп с женихом в страхе ползут под кровать. Занавес. Хлопки. Восторженные крики: биц-биц-биц!

* * *

Перерыв длился целый час. Стемнело. Зажгли две керосиновые коптилки. Мрак наполовину поседел.

У актеров как в сумасшедшем доме: кто плачет, кто смеется, кто зубрит роль.

— Глотай сырьем,—лечит Федотыч голос кузнеца.—Видишь, у тебя кадык завалило.

Кузнец яйцо за яйцом вынимает из лукошка, где сложены дары доброхотодателей, целый десяток проглотил, а толку нет.

— К чорту!—волнуется Павел Мохов.—Где это ты видел, чтобы так попадья говорила? Банщик какой-то, а не попадья!

— Знай глотай... Обмякнет,—хрипит Федотыч. Бритое, жирное лицо его красно и мокро, словно обваренное кипятком. Самогонка в бутылке быстро убывает.

Из зала густо выходила публика. Навстречу протискивались новые. Косяки дверей трещали. С треском отрывались пуговицы от рубах, от пиджаков. Иные тащили выше голов приподнятые стулья, чтобы не потерять место. „Налегай, ребята, налегай, жми сок из баб!"

Костомятка была в коридорчике. Удалей всех продирался толстобокий попович в очках. Он яростно тыкал локтями и кулаками в животы, в бока, в спины, деликатно приговаривая: „будьте добры" да „будьте добры". Старому Емеле, до ужасу боявшемуся мышей, подсунули в карман дохлого мыша, а как вышли, попросили на понюшку табаку.

Прозвенел звонок. Народ повалил обратно.

Дядя Антип из соседней деревни постоял в раздумьи и, когда улица обезлюдела, махнул рукой:—А ну их к ляду и с комедью-то...— закинул на загорбок казенный стул и, озираючись на густые сумерки, пошагал, благословясь, домой:

— Ужо в воскресенье еще приду.

— Внимание, товарищи, внимание! — надсадно швырял в шумливый зал Павел Мохов. — По независимым обстоятельствам, товарищи, попадья была высокая, теперь станет маленькой. Поп же, то-есть ее муж, как раз наоборот, сделается очень высокий. Но это не смущайтесь. Это перетрубация в ролях и—больше ничего. Итак, я подаю, товарищи, третий и последний звонок!

* * *

Занавес отдернули, и зал вытаращил полусонные глаза.

Вот выплыла попадья, по одежде точь-в-точь та же, только на коротеньких ножках и пищит, а вслед за нею — высоченный поп, тот же самый—грива, борода, только ряса по колено и ходули-ноги, длинные, в обмотках.

В публике смех, возгласы:

— Пошто попадье ноги обрубили?

— А ну-ка, бабушка, спляши!

— Эй, полтора попа!!

Изрядно наспиртовавшийся Федотыч едва залез в будку, но суфлировал на удивленье ясно и отчетливо: вся публика, даже та, что в коридоре, имела удовольствие слушать зараз две пьесы—одну из будки, другую от действующих лиц.

Жировушка Федотыча—в черепке бараний жир с паклей—чадила ему в самый нос.

Действие на сцене как по маслу шло. Буржуя-жениха прогнали, в доме водворился коммунист. Аннушка родила ребенка, который лежит в люльке и плачет. Люльку качает поп (кузнец Филат).

Он говорит:

— Это ребенок коммунистический, — и поет басом колыбельную:

Баю-баюшки-баю,
Коммунистов признаю...

— Достукалась, притащила ребеночка,— злобствует попадья.— А коммунистишку-то твоего опять на войну гонят.

— О, горе мне, горе!..— восклицает Аннушка и подсаживается к люльке, чтобы произнести над ребенком монолог. Она влипла глазами в будку, там чернохвостый огонек дымит, а Федотыч — что за диво -поморщил нос и весь оскалился.

— О, горе мне, горе!.. Сиротинушка моя...

Вдруг в будке захрипело, зафыркало и на весь зал раздалось: — Чччих! — а огонек погас. Федотыч опять захрипел, опять чихнул и крикнул:

— Эй, Пашка! Дайте-ка скорей огонька... У меня жирову... А-п чих!.. жировушка погасла.

За сценой беготня, шопот, перебранка: все спички вышли, зажигалка не работает.

— О, горе мне, горе!..—безнадежно стонет Аннушка.

— Погоди ты... Го-о-ре!..—кряхтит, вылезая из будки Федотыч.— У тебя горе, а у меня вдвое. Видишь, жировушка погасла.

Он подполз к краю сцены и забодался:

— А-п чхи!.. Товарищи... А-п чхи!.. Тьфу, пятнай тя черти!.. Нет ли серянок у кого?

Публика с веселостью и смехом:

— На, дедка! На-на-на!..

И снова, как по маслу.

Аннушка так натурально убивалась над младенцем и так трогательно говорила, что произвела на зрителей впечатление сильнейшее: бабы засморкались, мужики сопели, как верблюды.

Офимьюшкин Ванятка подрядился, вместо Филата, за три яйца плакать по-ребячьи. Он плакал за кулисами с чувством, на все лады. Какой-то дядя даже сердобольно крикнул Аннушке:

— Дай ему титьку!

И баба:

— Поди упакался ребенчишко-т...

Словом, действие закончилось замечательно. Все были довольны, кроме Павла Мохова. Он, скрипя зубами, тряс за грудки пьяного Федотыча:

— Дядя ты мне, или последний сукин сын?! Неужто не мог после-то нажраться! такую, дьявол старый, устроил полемику с своей жировушкой...

* * *

По селу пели третьи петухи.

За Таней и Васютиным, опять шагавшими вдоль цветущих грядок, шли в отдалении парни с гармошкой и орали какую-то частушку, очень для Тани оскорбительную.

— Эй, ахтеры!—кричали в зале.—Работайте поскореича... Которые уж спят давно.

Действительно, на окнах и вдоль стен под окнами сидели и лежали спящие тела.

Когда открыли сцену, наступившую густую тишину толок и встряхивал нечеловечий храп. Это дед Андрон, согнувшись в три погибели, упер лысину в широкую поясницу сидевшей впереди ядреной бабы, пускал слюни и храпел. Другие спящие с усердием подхватывали.

Настроение актеров было приподнято: это действие очень веселое—пляски, песни, хоровод, а кончается убийством Аннушки. Мерзавец буржуй-жених, которого зарезали в прошлом действии, должен внезапно появиться и смертоносной пулей сразить несчастную Аннушку. Это гвоздь пьесы. Это должно потрясти зрителей. Не даром Павел Мохов с такой загадочно-торжествующей улыбкой сыплет в медвежачье ружье здоровенный заряд пороху: грохнет, как из пушки.

Но если б Павел Мохов видел, каким пожаром горят глаза коварной Тани, и с какой страстью стучит в ее груди сердце, его улыбка вмиг уступила бы место бешеной ревности.

Парочка тесно сидела плечо-в-плечо, от товарища Васютина пахло духами и табаком, от красотки Тани—хлебной пылью, мышами и гнездами ласточек.

* * *

Елки и сосны. Берег реки. Аннушка с ребенком сидит на камне:

— Какой хороший вечер,—говорит она.—Спи, мой маленький, спи. Чу, коровушка мычит. Чу, собачка взлаяла. А как птички-то чудесно распевают. Чу, соловей...

Яйца, видимо, подействовали: Филат на все лады заливался за сценой. Появляются девушки, парни. Начинают хоровод. Свистит соловей, крякают утки, квакают лягушки, мычит корова.

— Дайте и мне, подруженьки, посмотреть на вашу веселость...—сквозь слезы говорит Аннушка.—Папаша и мамаша выгнали меня из дому с несчастным дитем. А супруг мой, коммунист, убит белыми злодеями. Которые сутки я голодная иду.

Аннушка горько всхлипывает. Ее утешают, ласкают ребенка. Где-то ржет конь, мяукает кошка, клохчут курицы.

— Ах, ах! Возвратите мне мои счастливые денечки!

Зрители вздыхают. Храпенье во всех концах крепнет. Давно уснувший в будке Федотыч тоже присоединил свой гнусавый храп. Лысина деда Андрона съехала с теткиной поясницы в пышный зад.

Вдруг из-за кустов выскочил буржуй-жених, в руках деревянный пистолет.

Наступила трагическая минута.

Павел Мохов взвел за кулисами курок.

— Ах, вот где моя изменщица!—и жених кинулся к Аннушке.— Вон! Всех перестреляю!

Визготня, топот, гвалт и сцена вмиг пуста.

Лицо буржуя красное, осатанелое. Он схватил ребенка, ударил его головой об пол и швырнул в реку.

Аннушка оцепенела, и весь зал оцепенел.

— Ну-с!—крикнул жених и дернул ее за руку.

Павел Мохов вставил в щель дуло своей фузеи.

— Ведь мы же с папочкой и мамочкой полагали, что вы зарезаны,—вся трепеща, сказала Аннушка.

— Ничего подобного... Ну, паскуда, коммунистка, молись богу. Умри, несчастная!—и жених направил пистолет в грудь Аннушки.

— Ах, прощай, белый свет!..—закачалась Аннушка и оглянулась назад, куда упасть.

Павел Мохов сладострастно спустил курок, но самопал дал осечку.

Зал разинул рот и перестал дышать.

— Умри, несчастная!!—свирепо крикнул жених.

— Ах, прощай, белый свет!..—отчаянно простонала Аннушка и закачалась.

Павел Мохов трясущейся рукой всунул новый пистон, но самопал опять дал осечку. Ругаясь и шипя, Павел выбрал из проржавленных пистонов самый свежий.

Жених умоляюще взглянул на кулисы и, покрутив над головой пистолет, вновь направил его в грудь донельзя смутившейся Аннушки:

— Умри, несчастная!!

Кто-то крикнул в зале:

— Чего ж она не умирает-то!

— Ах, прощай, белый свет!..—третий раз простонала Аннушка и самопал за кулисами третий раз дал осечку.

Дыбом у Павла Мохова поднялись волосы, он заскорготал зубами. Жених бросил свой деревянный пистолет, крикнул:—Тьфу!—и, ругаясь, удалился.

Аннушка же совершенно не знала, что ей предпринять,—наконец, закачалась и упала.

— Занавес! Занавес давай!—суетились за сценой.

Но в это время, как гром, тарарахнул выстрел.

Весь зал подпрыгнул, ахнул.

Храпевший суфлер Федотыч тоже подпрыгнул, подняв на голове будку. С окон посыпались на пол спящие, а те, что храпели на полу, вскочили, опять упали,—и поползли, ничего не соображая.

Аннушка убежала, и занавес плавно стал задергиваться.

* * *

— Товарищи!—быстро поднялся на стул Васютин.—Я член репертуарной коллегии драматической секции первого сектора уездного культагитпросвета...

Мужики злорадно засмеялись. Раздались выкрики:

— Жалаим!

— Толкуй по-хрещеному!.. По-русски...

— Товарищи! Главный дом соседнего с вами совхоза обращается в народный дом для разумных развлечений. Я имею бумагу. Вот она. Советская власть охотно идет навстречу вашим духовным запросам. А теперь кричите за мной: автора, автора, автора!

И зал загремел за товарищем Васютиным.

Автор же, за кулисами, упав головой на стол, плакал.

Васютин нырнул за сцену и в недоумении остановился.

— Товарищ Мохов!—как вам не стыдно? Вас вызывает публика. Слышите? Ну, пойдемте скорей.

Павел Мохов вытер кулаками глаза и уже ничего не мог понять, что с ним происходило. Куда-то шел, где-то остановился. Из полумрака впились в него сотни горящих глаз.

А Федотыч, меж тем, пошатываясь, совался носом по сцене, душа горела завести скандал.

— Товарищи! Вот пред вами автор, сочинитель пьесы, которой вы только что любовались... Почтим его. Да здравствует талантливый Павел Мохов! Браво! Браво! — захлопал Васютин в ладони, за ним сцена, за ней—весь зал.

— Бра-в-во! Биц-биц-биц. Браво! Молодец, Пашка! Ничего... Желаим... Павел, говори! Чего молчишь?..

— Почтим от всех присутствующих! Ура!!.—надрывался Васютин.

Федотыч плюнул в кулак и, крякнув, стиснул зубы.

Павел взглянул орлом на Таню, взглянул на окно, за которым розовело утро и в каком-то телячьем восторге, захлебываясь, начал речь:

— Товарищи! Да, я действительно есть колективный сочинитель...—Но вдруг от крепкого удара по затылку слетел с ног.

— Я те дам, как дядю за грудки брать! — крутя кулаком, дико хрипел над ним Федотыч.—Я те почту от всех присутствующих!..

* * *

На следующий день товарищ Васютин уехал в город. Вместе с ним исчезла и красотка Таня. В школе же, после „Безвинной смерти Аннушки", не досчитались семи казенных стульев.

* * *

Павел Мохов от превратного удара судьбы долго потягивал горькую совместно со своим двоюродным дядей Федотычем. Пили они в овине, в том самом, за цветущими грядками, за школой.

— Ты, племяш, не серчай, что я те по шее приурезал, — шамкал пьяненький Федотыч.—А вот ежели такие теятеры будем часто представлять, у нас не останется ни небели, ни девок.

# Тюли–люли.

## Ив. Касаткин.

### Рассказ.

I.

Пришла бабка Марья из Дрыкина.

Ни колобков, ни пряника в этот раз не принесла. Села на лавку, сгорбилась на свой костылек с резной петушьей головкой на сгибе и вдруг захлипала, будто со-смеху начала пырскать, так что голова у ней затряслась, и костылек в руках тоже затрясся.

Раз нет пряника, Силашка чуфыркнул носом и, поддерживая штаны, юркнул на полати. Лег там плашмя на теплую шерсть тулупа и давай молотить себя пятками в зад.

Глядит, что дальше будет с бабкой. Но не забывает и пальцами на губах подыгривать, а в промежутки поддает кулаком по надутой щеке,—и выходило как у Гараськи Пыжика: хоть пляши...

Мигаючи, воззрилась на бабку мать и вскочила с лавки. Прялка из-под нее взглянула копылом вверх и мягко ткнулась кудельной бородой в пол, лукошко с веретеньями и пряжей рассыпалось, дремавшая кошка с перепугу стрельнула на печь...

Тою же минутой прибежал из хлева отец. Упарился он там, шапка на затылке, мокрые волосы ко лбу прилипли, а полы для аккурату за поясом. Так и вошел с вилами в руках: навоз кидал. А навоз-то еще от Чубарки, который пал.

Отец и мать оба разом приступили к бабке.

— Што ты?.. мамонька, чево ты?.. о чем?—пытают ее

Скрепилась бабка. Раскачиваясь взад-вперед, заклохтала о чем-то частобаем, но съехала нараспев — и застонала, захрипела, трясясь... Мать, шатнувшись, плеснула руками и залилась горючими. Отец повел глазами по потолку и тихо-тихо головой закачал, снимая шапку... Он уперся на вилы, свесил над столом голову и с горестным удивлением боком глядит на расписную солоницу, на которой желтая пичуга клюет синие винограды.

А дверь в избу хлоп да хлоп.

Входят люди, мягким катом пуская по полу морозный пар. Внизу уже толпится Никанорко, который с придурью, сосед Тереха, кузнец Прокл, бабы, ребята...

Гараська Пыжик уже кряхтит там, борется, кого-то подмял под себя. Моську?.. нет, не Моську. Сеньку Зуйка?.. да нет, пожалуй, Моську... С полатей не разглядишь, а слезать не хочется,—в избу напустили холодищу.

Пока бабка там стонала да поклохтывала, а люди вздыхали да ахали, Гараська Пыжик тихим манером подобрался на полати и ледяными рукавицами сгреб Силашку за голые ноги. Тут они попыхтели немного, а потом, встав друг против друга на карачки, сделались собаками. Глаза выкатили, ощерились, зарычали, залаяли и с страшной яростью сцепились грызться... Отец сердито застучал в пол вилами. Силашка прижухнул, отдыхиваясь, а Гараська—катышом на пол.

Лег опять Силашка плашмя на тулуп и немножко поиграл на губах, поддавая кулаком в щеку, потом закрыл ладонями глаза и быстро-быстро заработал в зад пятками,—это он ныром, без ручек, переплывал речку Крутицу. Вынырнул, отфыркнулся и глядит: народу уж полна изба! Цакают языками, головами покачивают, слушая хлипающую бабку. Та уж и костылек с петушьей головкой уронила на пол. Уперлась крючьями рук о лавку и рассказывает всем про деда Никиту и про мельницу.

Силашка тоже стал слушать, выдирая пучечками шерсть из тулупа.

Оказалось, деда Никиту смололо вчистую на той самой мельнице, где он жил и делал муку. По бабкину выходит, что—до-смерти, а тятька сомневается, говорит: надо съездить, поглядеть надо. Он уж такой: всегда ладит поперек сказать. Никиту он тятенькой называет, а Никита настоящий дед. Даже пахло от него всегда дедом.

---

Этот Никита подпоясывался ниже пупа, а у пояса медный гребешок носил. Борода у него до глаз, завитушчатая. Когда, бывало, принимался резать из дерева петушков и человечков, то шевелил и бородой и бровями, а деревяшку упирал в крутую грудь и шибко сопел. Брови у него свислые, как усы, и везде у него волосья растут—и в носу, и в ушах. Из прорехи на груди тоже выпирали густые волосы, и Силашке иногда думалось: а вдруг это совсем и не дед, а медведь, только рубаху на него надели да подпоясали...

Приходил он с мельницы больше в праздники и выпивал со стариками. Выпьет и почнет чудесить. Сядет на пол, расшеперится во всю избу, и давай тянуться на палках, так что в руках у него трещит и палки ломаются. Молодых через голову шутя побрасывал. А то схватится с охочими бороться, тогда уж убирай и столы и посуду... А то всех в конюшню поведет, мерина подымать. Подлезет под мерина спиной, раскорячит этак ноги, понапружится, да и подымет... Вздымет

и держит, сколь надо. Налитые глаза из-под бровей выкатит, ворочает ими: мол, видели?..

Против него не тягайся. Веселый был, Никита-то, плясать любил. Почнет вывертывать ногами такие кренделя, что народ впокатущую на лавки валится. А дед осатанеет, да того пуще! Где руки, где ноги, не разберешь, волосы дыбом, как у лешака...

— Закоклячива-ай!—рявкнет гармонисту.—Отдирай: примерзло!.. Бабка Марья, бывало, глядит-глядит, да как избоченится, подожмет этак губы, дернет плечом—и выплывет, взмахивая платочком, и пойдет вкруг деда причекотывать и носком, и пяткой... Ну, тут уж дед схватится прямо за голову, да в присядку! И руками и ногами отпихивается от бабки, а сам: ух! ух!.. Вся изба в тряс идет, даже горшки на полках подпрыгивают. С деда уж пар валит. Хлопнется на лавку. Выхлестнет в себя ковш браги, да еще ковш, и скажет:

— Будя-а...

А к концу гостьбища тяжелел. Навалившись грудью, возил по столу бородой и ржавленым скрипучим голосом тянул всегда одну и ту же песню: про белы-снега. Песня эта была такая длинная, что он и в поле никогда не успевал допеть ее, когда бабка вела его домой,—в Дрыкино.

---

И вот—смололо...

Размышляя о Никите, Силашка раздумчиво поковыривает в носу и жалеет, что дед так и не сделал ему меленку, чтоб на ветру вертелась и пестиками стучала, как у Моськи.

В избе уже вечереет. Силашка смотрит с полатей вниз, и на синеве окошка с серебряными лапами изморози будто впервые видит мамкины и будто не мамкины плечи и спину. Она отвернулась к окошку, локтями на подоконник, и спина у ней узкая-преузкая, а плечи к голове подвело и дрожат. Совсем не мамкины плечи, и голос, которым плачет, не ее голос,—круглая мамка вдруг усохла, сделалась как есть старушка.

Бабка размотала свой большой плат шмелиного цвета—и голова у ней сделалась совсем маленькая. Сидит, будто сейчас из бани пришла, откинулась спиной к стене, руки по лавке разбросила. Лицо у ней, как бересто на жару, морщится,—она плачет, а голоса нет, и слез нет. Отец припер стену плечом, сбычился, молчит, только шапку в руках мнет: скрутит ее жгутом и опять раскрутит...

Люди понурились, вздыхают, смотрят в пол, будто Никита на полу лежит, и на все лады мягко обкладывают его тихими словами:

— Ой, Микитушка-а...

— Жаль таких-то.

— Коли не жаль...

— Пронзитель был на всякое дело.

— Поискать...

— Горе-то, а?

— И не говори...

Силашке жаль тоже, но не Никиту, а мать и бабку — шибко плачут. Никиту не жаль: его не видно. Он какой-то давний и всегдашний, как скрипучий журавель на колодце, или как та ржавленая песня, которую он уносил в поле, да и там никогда не мог допеть. И еще неизвестно,—он такой, дед-то: возьмет да и смастерит меленку. Ведь обещал и даже пальцами показывал, как будут плясать пестики.

И вдруг вспомнил: у деда в голове, в бороде и усах всегда мука была. И рубаха была мучная и кафтан мучной. Мука явно выступала из него. Не погодился ли он на муку?.. вот и смололи. Силашка стал думать о мельнице: что она и как? Неизвестно. Может, ступа большая с пестом, а может вроде колокольни.

Поглядеть бы.

— Мам, а мам! — кричит он, свешиваясь вниз головой, — где мельница?

— В городу, рожоный, в городу...

— Как колокольня?

Не слышат. Им только бы горевать!

Никанорко, который с придурью, знает, пожалуй: с котомкой ходит в город за кусочками. Силашка начал заманивать его на полати. Руками и ртом показывает, что подаст ему кусочек. Взлез тот, большой парень в вороньей шапке и берестяных лаптях. Под носом у него мокро и всегда он улыбается, а глаза мутные, и собачий дух от него.

— Мельница, она какая? ты видел?

Никанорко только гыкает. Утирает рукавицей нос и жует. Всегда чего нибудь жует, а через губу слюна.

— Гы-гы-ы! Подай, бык-те бодай... гы-ы!

Только и всего от Никанорки.

## II.

Той же ночью Силашке приснилась страшная мельница.

Многое множество Никанорок, глазом не охватишь, топоча ногами, вихрем носилось вкруг Никиты и все Никанорки зараз вскрикивали:

— Бык-те бодай! Гы-гы-гы-ы!..

А Никита в кругу Никанорок, сгребши бабку Марью за подол, с вывертами отплясывал перед ней вприсядку и как в трубу трубил:

— Пошевеливайсь!..

Никанорок туча-тучей. Никанорки так ходуном и ходят. Дед взмахивает ногами поверх головы, взлетает выше Никанорок, щелкает языком и знай гудит:

— Пошевеливайсь!..

Никанорки стараются еще пуще, мчатся что есть сил, вихрятся так, что от них ветер свищет, а из-под ног пылью мука летит...

Бабка же вдруг уперлась и заголосила:

— Родимо-ой ты-ы мо-о-ой!..

Откуда ни возьмись—тятька. Шипом шипит:

— Подхватывай за ноги, а я в головах...

Тут Силашка и проснулся.

Слышит, и впрямь бабка в сенях голосит. Вскочил, глаза вытаращил—и спросонок глядит, глядит...

Рассветало. Окошки мутные, сумрачь, синь, холод, в трубе поет ветер, за стеной шипит вьюга, а дверь настежь расхлебячена — и в избу потихонечку всовывается да всовывается большая белая колодища...

В двери, тяжело дыша, застряли с этой колодой отец, сосед Тереха, мать, Оська Лодыжкин. Тут же, улыбаясь и гыкая, пыхтит и Никанорко. А чужой черный мужик в огромном обовьюженном тулупе, напружась у заднего конца колоды, щелкает языком и как в трубу гудит, дивясь на Никанорку:

— Эк, ты какой... Пошевеливайсь!

А Никанорко:

— Гы-гы-гы-ы!.. бык-те бодай...

Пыхтит, косопузится, подхватывая колоду не там, где надо, и разворачивает рот в такую улыбку, что под вороньей шапкой уж не лицо, а одна дикая дыра с зубами.

Колоду втащили и, шипуче перешептываясь, поставили середь избы на стол. Зажгли и прилепили к колоде тонкую желтую свечечку. Огонек заколыхался тоже желтый, живой, так к себе и притягивающий... Вся изба и мутный рассвет, и все лица, и все вздохи будто влипли в это хитрое, играющее желтое пятнышко. В нем было что-то старинное, страшное, но надобное. Даже Силашка сразу это понял и пальцы его сами собою остановились у губ и перестали брынькать.

Тереха принес псалтырь. Вошли еще люди. Встали все над колодой с одинаково строгими лицами, мрачно потупились, руки плетьми опустили,—молчат...

Одна только бабка Марья, пав головой и грудью на колоду, как над младенцем в люльке, лепечет ласковые старушечьи слова, торопливо ведет последний горестно-сладкий разговор.

Вьюга покидывает в окошки снегом, ветер шеберстит и ощупывает стены, шушукается, вздыхает, поскрипывает ставней. А в трубе будто потрясучий бездомный кобель засел: так и юзжит, так и взвизгивает, окаянный, хоть туда с кочергой лезь!

Чужой черный мужик устроил лошадь и вошел в избу. Щеря ядреные сахарные зубы, гребет пятерней обмерзлую бороду, топочет в пол валенцами и покрякивает, будто на банном полке.

В лад вздохам и молчанью, сосед Тереха раскрыл псалтырь и ногтем прижал то место, с которого читать. Вот он взметнул вверх бровями и даже рот раскрыл, чтоб начать, — как чужой мужик вдруг

замахал для согреву руками и гулко захлопал ими по тулупу, ревуче крякнул, будто кипятком окатился, и густым, как смола голосом, не к месту громко, стал рассказывать:

— Метил вчерась к ночи утрафить. И дорога, заметь, ладная была. А посля как замело-замело-о-о... ух ты, батюшки мои! Проезжаю Гагино, сват и говорит: ночуй, куды тебя понесет? Не послухал, заметь... Ах ты, нечистая сила! Кружил-кружил всю ночь, хоть реви! Ну, вижу, пришло узло к гузну: ложись в ряд с Микитой и помирай. И заметь— на овины вынесло. Гляжу:—тут и есть! Ах ты, распропори ее, погоду самую!..

Взял из угла веник и давай охлестывать с валенцов снег. Тут Силашка и приметил, что валенцы у него выше колен, белые, с красными горошками, как у Сеньки Зуйка. Тятька пообещал ему такие же, да так и забыл, ужо надо мамку попросить.

А мужик махнул веником на колоду и, продолжая охлестывать, сказал:

— Ему всякая дорога теперь ладна: лежи-полеживай! Ну, а я, стало быть, как говорится, даже попужался. Живому, заметь, да здоровому погинуть, хе-хе... не хоцца!

Охлеставши валенцы, веник он бережно, как хрупкую посудину, прислонил в угол. Выпрямился, поднял черную бороду с играющими в ней светлыми капельками, надул красные щеки, со свистом фукнул в усы и, глядя на желтый огонек свечки, широким ро́змахом отогнул полу тулупа и вынул из штанов куколку в сарафане — нарядный пестрый кисет, удавленный за головку шнурком. Раскрутивши под горлышком шнурок, достал бумажку, аккуратно расправил ее, вздохнул и, мигая, двумя пальцами протянул отцу.

— От Петра Минеича, от хозяина... трешница на помин души,— сказал он и тут же ловко дернул за шнурок: кисет опять стал с головкой, как куколка, и юркнул в мужиковы штаны.

Сосед Тереха без промедления взметнул бровями вверх и бабьим голосом начал читать псалтырь, водя ногтем по надобному месту.

Люди завздыхали, вышептывая божественные слова. Кто-то снял с Никанорки шапку, он гыкнул и распялил рот, принимая шапку мохнатыми собачьими рукавицами.

А черный чужой мужик, скинувши тулуп, примерился глазом к печи и полез на ее, таща за собой и тулуп, чтоб укрыться.

## III.

Завернули такие крутые морозы, что дым из труб в небо силком пропихивался. Стены стреляли, как из ружья. Зря не высунься, нос отхватит, либо ухо. Выйдешь на улицу, глянешь туда-сюда и ахнешь... Избы, деревья, Моськина меленка на воротах, колодезный журавль, скворешницы на шестах, веревка под окошком и заколелые синие

тятькины портки на ней—все побелело, осеребрилось, мохнато закужлевело, и такая кругом тишь и сонь, что ресницы слипаются, а в ухе комар поет.

Крякали обозы, появляясь неизвестно откуда, и заворачивали к отцу Сеньки Зуйка пить чай. У Сенькина отца изба выше всех, над окнами борются деревянные львы, вставши на дыбки, а в чулане, где картинка про страшный суд над грешниками, есть пряники, сельди и вино в зеленых бутылях.

Покеркивая и взвигивая, обозы трогались дальше, черной змеей уползали в белое поле, двигались в неизвестные места, а мужики в чапанах шли по бокам и, вея полами, криком вели разговор и тыкали в снег кнутиками.

Как раз была пора ловить снегирей, клестов и овсянок.

У Моськи для клестов была сделана ледяная горка. На эту горку надо было почаще бегать и мочиться, чтоб краснота была. Либо сыпать дресвой. Слетятся крючконосые клесты и начнуть играть: с горки они катом вниз, а там—силки... Моська налавливал их не мало. В праздники ощипывал, жарил и ел, хрустя косточками. А кривая Овдоха, мать его, вдова горючая, подпершись кулаком, сбоку жальливо глядела на него единственным глазом.

Тятька сделал Силашке тоже силки—эдакую дощечку с волосяными петельками из лошадьего хвоста.—И сказал:

— На, ставь на гумно и гляди: зараз попадет либо овсянка, либо снегирь! Сыпь проса. Просо они уважают.

Силашка поставил. Оповестил всех, что и у него силок, водил на гумно и показывал: какой и как стоит. То и дело бегал глядеть,— пусто. День прошел,—пусто. А на другой день еще издали увидел: попала, сидит... Замерло сердце, подкрадывается, глаз не спуская. Не две ли?.. две и есть... знамо две! Подбежал, глядит:—во всю дощечку кто-то круто нагадил.

Тихо пошел прочь. Глядел на остолбенелый дым из труб и все думал:—кто?.. Сенька Зуек или Моська? Пожалуй, Моська... или Сенька? Сенька и есть, он такой... А может—оба?..

Быком вошел в избу.

Мать пряла, протягивая вжикающее веретено пяткой дó-полу. Меж круглых колен у ней дремала кошка. Отец стругал ножом новые пальцы к старым граблям,—упирал деревяшку в грудь и сопел, как дед Никита.

У Силашки внутри будто еж ощетинился, в носу едко засвербило, в горле встала картошка, не продохнешь... Так прямо с рукавичками и шапкой, придавливая кошку, вдруг ткнулся мамке в колени— и в рыд! Кошка фырснула на печь, выпущенное из рук веретено поиграло на полу и закатилось мамке под подол.

— Што ты, Силань?—склонилась она теплой грудью на его затылок.

— Ребята-а...

— Дерутся?

— Не-е-е...

— Чево же?

— Они на мо-ой сило-ок...

— Ну?

Силашка сказал, что сделали на его силок. Услыша, тятька прыснул и загоготал, как дикий. Он уронил и нож и деревяшку, взбрыкнул ногами и протянулся вдоль лавки. Мотал головой, хлеща по глазам волосами, и гоготал. Хлопал себя по ляжкам и орал:

— Ай-яй! Ну, и чичка залетела!..

— Будет, охальник!—махала рукой мать.—Парня обидели, а он... Ишь раздирает жеребца нелегкая!—Пожалеть надо, а он...

— Ладно, Силантий, молчи!—сказал отец и отмахнул со лба волосы.—Другой силок сделаю. Либо пичугу деревянную вырежу, на лапках стоять будет... хошь?

Мелькнула мысль сказать про белые валенцы с красными горошками, как у Зуйка, да вспомнился опять этот силок на гумне,—зарыдал еще пуще. От реву даже глаза вспухли. Мать уложила его на печь. Согнулся крендельком и уснул там, всхлипывая и во сне.

С этих пор он больше дома сидел. Дышал на серебряную изморозь окошек, надыхивал дырочку, глядел в нее: ничего не видно, а обозы кряхтят под самыми окошками, к Зуйкам заворачивают чай пить.

И вот пришли дни посветлее, с окошек потекло, завиднелась улица и колодезный журавль в небо. У Кубыкиной Дарьи оторванная ставня скособенилась еще больше, повисла над завалиной, а над крыльцом соседа Терехи прибавился еще один угляной крестик,—чтобы бесы в избу не проскочили.

Начало гулять в небе солнышко и стало можно зеркалом пускать зайчиков по стенам, даже за трубу, где тараканы, даже в подпечек, где седое помело лежит, а может, и домовой живет.

Обозы пропали. Дорога пошла в пятна, взбурела. Чирикая, на дорогу кучами слетались воробьи и расклевывали лошадиные култышки, а Лыско с лаем бросался на них, и воробьи летели к гумнам. Лыско же, сбочив кренделястый хвост, неспешно трясся опять к воротам.

Так потихоньку и шли дни.

Скоро началось гульбище. По деревне запахло горьким маслом, везде ели блины и вкусную рыбу-вонькушу. Избы распирало песнями и винным духом, а под окошками девичий визг и крик под гармошку, и ух, и топ, и колокольцы!

Народ так и валил из избы в избу. Везде застолье, пей-ешь до отвалу и перекатывайся дальше. Красные, упаренные мужики грузно наваливались на столы и гудели все зараз. В глазах у них будто зарево, а зеленые стаканчики так ходуном и ходят. Сидели в обнимку,

нос-в-нос, гулко хлопали друг друга по спинам и как через поле кричали:

— Сват!

— Телку я на-племя... чиркасськой породы она!

— Сватко!

— И дальнюю запашу... Нынче я—вво... сила!..

— Сватушко! Чуй-ко, я што-те скажу!

— Нну-у?!.

— Ммиллай!.. Люблю я тебя... Рыбки возьми!..

В последний день гульбища, ночью, мать подняла разоспавшегося Силашку,—еще раз всей семьей сели за стол и давай доедать масляное и скоромное, чтобы не пропадало.

А потом,—как топором обрубило,—наступили тихие, ожидальные дни.

Старухи да бабы ходили вечерами к соседу Терехе, послушать чтенья про житьё святых.

Раз густо метнула пурга, завернул мороз, но ни к чему: заутро же опять обозначилась рыжая култыжистая дорога, чирикали воробьи, лаял Лыско, и ломкие ледяные сосули висли с застрех.

Как бы спросонок, во дворах взмыкивали коровы, а петухи орали так неуемно, будто им что приспичило. По деревне шла стукотня, мужики похаживали с топориками, примериваясь глазом к телегам, сохам, боронам, перебирали жерди, колья, доски, искали по кладовкам струментов, ремешков, гвоздей...

Раз, в солнечное воскресенье, Силашка бегал с ребятами по деревне и звонко пел середокрестье-крестье. Бабы из окошек надавали много оржаных крестов и жаворонков. Силашка расколупал их все до единого, но счастья—медную копеечку—так и не нашел: не запекли.

Дома подала ему мамка жаворонка с изюмными глазами. Колупнул ему брюшко, а счастье-то тут и есть—новая семитка!

## IV.

Весна началась сразу, вдруг, как шапкой накрыла.

С крыш, с пригорков, со всех сторон и во все стороны вода потекла. Сначала по капелькам, ручеечками, а потом как зазвенела, зашумела, забуровила,—только держись!

Гараська Пыжик, засуча штаны, прямо на дороге ладит мельницу, да где там: сломало, понесло... Гараська бежит за ней, машет руками, кричит, а из-под ног во все стороны—брызги, брызги!

Не успели оглянуться—кругом зеленя, с них от солнышка даже пар валит, а небо высокое, синее. На пригорках мурава так и брызнула щеточкой. Но в лощинах еще грязь, жиделяга, из грядок на огороде ногу не вытащишь, гумно взбухло пирогом.

Черный, как уголь, скворец на березе свищет и свищет, будто ямщик, и вздрагивает крылышками, а из скворешной дырочки под ним то-и-дело скворчиха высовывается.

Мужики с перевернутыми сохами, с мешками и лукошками поехали в широкие и светлые—точно с них крышу сняли — поля пахать и сеять. Время-то в самый раз, зевать нечего. Даже Лыско, задрав хвост и вывернув уши, как угорелый, помчался туда же, а сам лает, лает, лает!

Мужики пашут, а тятька собирается в город.

У соседа Терехи выпросил старого мерина Сивку, а телега своя. Поднялся затемно, вздыхает, копошится, ворчит на мать,—в кладовке кринки расставила под ногами, решето не на месте...

Кладет он на телегу мешки с картошкой, с рожью, и еще один мешок, совсем живой, так и ворочается сам собою,—в этом мешке три боровка, тоже на продажу. С одного боку телеги мать приладила плетушку с раскудахтавшимися курами, с другого боку лукошко яиц, пересыпала их куколем, чтоб не бились, а в передок сунула в бураке скоп топленого масла.

Ходит она вкруг телеги и все вздыхает, все учит отца, как надо продавать добро, чтоб не промахнуться, и как выбрать животину, чтоб опять не купить опоеного, как Чубарка,—тут пахать бы, а он сдох!

— Ладно уж... не каркай! Наворожишь ты мне!..

Отец сердито глянул в поля, плюнул в руку, коленкой уперся в хомут и, ощерясь, так стал его затягивать, точно решил удавить Сивку на-смерть.

Приплелась из Дрыкина бабка Марья. Упираясь на костылек, топчется тут же, и тоже дает советы, как и что лучше, а главное, чтоб отец побывал на мельнице, хозяина повидал, Петра Минеича.

— Обскажи ему... должон способие выдать. Мы люди смирные...

— Выдаст, дожидайсь...—кряхтя над хомутом, сказал тятька.

Сунув палец в рот, Силашка глядел на сборы и крепился. А как услышал, что можно бы и мельницу увидать,—настоящую, ту самую, на которой смололо деда Никиту,—не вытерпел и взвыл благим матом.

— Ты опять?.. Запри его, мать, в избу!

Отец продел в кольчико дуги ремешок, обмотал его винтом по дуге и завязал у оглобли, а чтоб крепче было, конец ремешка даже зубом потянул. Тряхнул оглоблю, оправил рыжий картуз и сказал:

— Готово!

А сам поглядел на плачущего Силашку и переглянулся с матерью. Та тоже глянула на Силашку и ясным взглядом уставилась в отцовы глаза: уважить, мол, надо. Тут и бабка ввязалась, потыкивая костыльком в землю:

— Возьми парнишку, возьми! Пусть съездиит, сроду никуды не бывал. Возьми, говорю!..

— Невелик хахаль... и дома посидит.

Строго сказал, а в бороде заиграла улыбка, не знает, куда ее деть. Общупал поклажу на телеге. Выправил у Сивки под репицей шлею, хлопнул его по заду. И махнул рукой.

— Ну, сбирай, мать, ладно уж... Давай его сюда!

Мамка проворно сготовила Силашку в путь.

Вышел он на крыльцо, сияет, а на глазах еще слезы. Оглядывает на себе пестрядиную сибирку праздничную, новые лапотки,—еще дед Никита их сработал, а в груди будто живая птица трепыхается,—дышать тесно!

Пока там отец с мамкой в избе советовались, как и что, Силашка обежал всю деревню, свой наряд показал и всех оповестил, что едет в город. Перед Гараськой Пыжиком и другими то-и-дело лез на телегу, забирал в руки вожжи и мужиковским голосом орал на Сивку. А тот будто спит,—без внимания. Голову свесил, ноги клешнями. Нет ему дела до Силашкиной радости.

Вышел отец. Постоял, подумал, на утреннее солнце глянул, сбоку на мать поглядел и тряхнул головой.

— Ну, готово... Пора!

Вскинулся на край телеги, засопел и вожжей вытянул Сивку. Тот лишь хвостом махнул, даже и не оглянулся, стоит и дремлет.

— Охлопочи там!—замигала бабка, хватаясь за телегу.—Ведь тысяшник, а мы люди бедные! Какого старика-то сгубил, стра-асть!.. Хоть бы зерном дал, ежели што... Ни коня, ни семян, так и скажи-и!..

— Слышу, ладно уж... Ну, прощайте!

Над Сивкиной спиной еще и еще раз со свистом взвились вожжи. Тот нехотя замотался в оглоблях, дернул телегу в сторону, потом в другую, оттопырил хвост, зафуркал задом...

Поехали!

С визгучим скрипом и тырырыканьем отворились ворота в поле. Утро синее, веселое, позывчатое, будто сейчас умылось и смеется. Из-за поля, над зубчатыми елками огромным золотым глазом выкатилось солнышко, брызжет по зеленям и межам, алым цветом кропит суглинистую дорогу и рыжий тяткин картуз.

Силашка глянул назад: окошки изб полным-полно налились золотом: в каждом окошке по солнцу. Скворцы над скворешнями засвистывают еще пуще, а жаворонки в небе точно дырочки буравчиками высверливают: тир-люр-лю-ю, тир-лю-ю, тюр-ли-и...

Как хочешь загибай голову, ни за что эту пичужку не разглядишь,—одна синь. И небо—как чашка.

Еще раз Силашка оглянулся на деревню. Избы сделались маленькие, точно старушечьи головы в темных платках. Только на Терехиной избе платок побелей, а на Зуйковой — зеленый, на четыре стороны, и из трубы дым вьюнком. У скрипучих ворот на выезде так и стоят два человечка,—это мать и бабка, руки козырьками, глядят и глядят в солнечное поле, оторваться не могут...

Около Прокловой кузницы, у перелеска, сосед Тереха в белой, орозовевшей в солнце рубахе, попевая божественное, чинил изгороди. Звенькая по сучьям топором, он рубил молодые елки и облаживал их на колья. Как проезжали, он положил ярко взблеснувший топор на плечо, поднял брови и закричал тятьке:

— Вертайся скорей!.. Самому пахать надобно! Слышь!?

— Ла-адно!.. — нехотя откликнулся тятька, глядя Сивке под ноги и покачивая концом вожжей.

— Ну, то-то... смотри!

Опять молнией взблеснул снятый с плеча топор и зазвенькал по обрубаемым сучьям, а бабий голос запел божественное.

## V.

Ехали молча, шагом.

Тятька ноги с телеги свесил, голову эдак на бок, сумрачный, — только и глядит Сивке в хвост. Силашку же распирает неохватная буйная радость. Он то замрет, с ненасытной жадностью глядя в неизвестные дали, то места не найдет, — так и вертится на мешках, и туда глянет, и сюда глянет, чтоб все приметить.

Вот у дороги огромный камень, а на камне зеленый мох растет. Вот синеватая старая осина двойная, — как есть чудище: головой в землю ушло, а ногами взбрыкнуло вверх... Вдали по низинам лужицы — будто зеркала кто растерял. Валяется на дороге лиловый старый лапоть, из пятки солома торчит. Под придорожным кустом, измызганном колесами, птичьи перья и косточки, — к чему? А в глубоком овраге еще лежит грудка ноздривого снега, ручеек тилиликает.

Да разве успеешь все заприметить!

Развернулась широкая вырубка с черноголовыми пеньками. Откуда ни возьмись, вдруг выскочил на дорогу заяц. Приподнялся на дыбки, но, завидя Сивку, оторопел, прижал уши и понесся, махая через пеньки. Тятька вдогонку гикнул, свиснул, взвил вожжами, с головы чуть картуз не слетел... Долго глядел на мелькающего вдали зайца, поправил картуз и сказал:

— А, косая шельма!.. Из ружья бы тебе в зад-то!..

Телегу заворочало по корневищам, с боку на бок, точно с ней боролся кто-то, легший на дороге. Пеньки обросли прямыми, как брызги, дымчатыми лозинами. Тятька соскочил с телеги и выломил одну большую себе, и поменьше — для Силашки.

— На!.. Ежли лешуга лесная выскочит, лупи ее, не щадя живота!

Въехали в большой лес. Запахло корнями, смолевиной, сыростью. Проселок заколесил туда и сюда, закривулял как пьяный. Со всех сторон обступили телегу косматые седые елки и медностволые сосны.

Прорезая лесную гущу и зеленые сутёмки, по мешкам, по тятькину картузу и спине живыми золотыми блинками заскользило солнце.

В чащуге тенькают птицы, точно серебряные денежки на блюдечко сыплют. Выряженный по праздничному дятел винтом увивается вкруг лысой сухостойны, звонко цефкает и долбит-долбит, упираясь на хвостик. А сосны да елки, будто за руки взявшись, идут и идут мимо телеги зеленым хороводом без конца и краю!

А птицы в чащуге: тинь, тинь, тюнь, тинь...

Силашка косит глазами по обе стороны, — вот тут-то и живут всякие чудища... Покажутся или нет? Сивко мотает головой и в полную ноздрю звонко фыркает, и в лесу ему кто-то откликается, подфыркивает. Колеса гулко стукают по корням, под колесами хрустят сучья, шишки... Нет, не покажутся чудища -- Сивку побоятся. Большой он, Сивко-то, и сильный, ему даже телега нипочем. Да и тятька тоже тут,—попробуй, покажись: хватит вожжей, как Сивку!

Бока у Сивки худые, ребристые и раздуваются, как мехи у кузнеца Прокла. Об эти бока хворостина у тятьки сразу сломалась. До того, как ударить, тятька долго крутит над головой вожжами и, чтоб хлестнуть как следует, чуть не ложится вдоль телеги и придавливает боровков в мешке, те начинают визжать, а куры в плетушке им откликаются: куда? куд-куд... куда?..

Прислушиваясь к курам, Силашка вспомнил, куда он едет,— в город, в город!.. Забыл и о чудищах. Стал думать о городе. Сначала молча, а потом вслух, — похож ли город на много колоколен, или иначе как, вроде лесу, а может, и повыше лесу...

Уперся голубыми глазами в отцов затылок.

— Тять!

— Ну?

— Какой он?

— Кто?

— Город-то.

— Уездной, знамо дело...

— А какó-ой он?

— Так, не ахти...

— Большущий?

— Город как город. Голодранцев много...

— Это какие... голодранцы-то?

— А которы без порток.

— Маленькие?

— Маленькие... борода по пуп.

Ничего не понять у тятьки. Силашка повернулася на бок, улегся на мешках половчее и стал думать молча. Тятька нокает, Сивко фыркает, телега кряк да кряк, а тут еще колесо начало попискивать: пиить, пиить...

Силашка закрыл глаза, чтоб хорошенько додумать о городе. Но зеленый лесной хоровод, и фырканье, и кряк, и писк совсем закружили

и спутали мысли в одно играющее розовое марево, видимое сквозь закрытые веки...

Силашка уснул. А под щекою у него возился теплый боровок и сытно уркал.

## VI.

Вдруг в самое ухо свирепый тятьки голос:

— Но-о, лешуга!.. У, дьяво-ол!.. Ле-э-зь!..

Встрепенулся Силашка и смотрит сонными глазами,—не чудища ли?

Чудищ нет. Телега стоит на одном месте. Сивко дергается, оттопыря хвост, а тятька что есть мочи хлещет его по спине и бокам вожжей. Он хлещет и вытягивается вдоль телеги так, что рубаха из-за пояса выбилась, видна опушица штанов и голая поясница жолобом. Завизжал придавленный боровок. Куры забеспокоились: ко-о, ко-о, ко-ко-о... и одна вскикнула: куд-куд... куда?

Силашка сел, протер кулаком глаза и глядит.—Кругом рыжее, впрозелень, болото, да голенастый бледный осинник, да солнышко над головой. Колеса втюхались в болотную зелень по ступицу, и вкруг телеги пузыри бурлюкают.

Тятька подобрал ноги, раскорячился на телеге, быстро-быстро закрутил над головой вожжами, изо всей силы огрел Сивку и заорал так, что голос у него осекся... Сивко вытянулся весь, хвост до самого передка оттопырил, голову из дуги куда-то спрятал, одна выгнутая коромыслом хребтина видна, — и, нося брюхом, дернул, дернул... и колеса зашипели в болотище, навертывая на себя густые, маслянистые ошметки бурой грязи.

Выехали!

Телега весело застукала по жердиннику, — только держи зубы. Жерди под колесами выгибаются. Под жердями бурчит, пузырится, хлюпает и будто пригоршнями всплескивается рыжая вода. Зеленые ржавчатые лягухи жирными шлепками бесперечь шарахаются от телеги в стороны и уныривают, ловко работая задними ножками.

Хватив воды и грязи, колеса немножко помолчали. Но скоро вдруг пронзительно запели и заверещали неожиданными голосами, будто во втулки попали все три боровка и с них живьем сдирали кожу. С этого ли визгу, иль солнышко припекло жарчей, Силашке до смерти захотелось испить студеной воды.

Вот затолпились высокие светлые березы. В их ветвях, четких в глубокой синеве неба, прозрачно и серебряно, как по натянутой струнке, пинькали птицы: пинь-пинь, пинь-пинь...

В полудреме Силашка слушал это пиньканье, и оно казалось ему светлыми, падающими с берез капельками воды, которые можно глотать. Березы снизились и с разбегу под горку рассыпались мелким дымчатым лозняком и вербой. Дальше пошли сухие пригорки с пес-

чаными оплешинами. Тут да там копенками можжевель, а то кривая сосенка. По сыпучей дороге телега мягко переваливается с боку на бок, а колеса, хватив песку, наладились на один голос и во всю мочь верещат: цари-и! цари-и! цари-и!.

От этого вереску разом забеспокоились и боровки и куры. Тятька строго скосился на ступицу и буркнул:

— Ведьма...

Проехали мелкий еловый перелесок, и в низине, меж кустарников, Силашка увидел знакомую речку Крутицу. Миновали знакомый мосток из прогнивших колодин, поднялись в горку, — развернулось поле в черной пахоте, а за полем — знакомая деревня... Силашка даже глаза вытаращил.

— Тять, это наша?

— Кто?

— Деревня-то?..

— Гагино это, дурень!

— А город-то?..

— Еще далече. Спи!..

Тятька врет. — Избы те же самые. Вон та, с крышей из новой соломы, как есть Пыжикова, а эта, что ставня оторвана, Кубыкиной Дарьи. Да вот же и сама она в окошко глядит!.. Не Оська ли Лодыжкин, длинный как жердина, ведет там на огороды упирающегося телка? Он и есть... нет, не он, пожалуй... да он, он!

Откуда ни взявшись, с лаем выскочил на дорогу Лыско. И тут же, отшлепывая пятками, гусем пронеслись мимо ребята, — задний кучером, в одной руке вожжи, в другой кнут мочальный. Силашка сразу узнал и кучера, и кнут. Привскочил на мешках и замахал руками:

— Моська-а!.. отдай мой кнут! Маме скажуу!..

— Вот дак дура-ак! — обернулся тятька с удивлением и даже головой покачал.—Ну-ну-у...

Хлопнул себя по ляшке и загоготал, глядя на солнышко.

— Не выйдет из тебя, Силантий, путного старика! — сказал он, нагоготавшись, и весело высморкался.

У колодца остановились поить Сивку.

Закеркал, закряхтел журавель, будто нехотя нагибаясь высоченным носом. Тятька достал в колоду воды. Дрожа мышиной кожей губ и вывертывая ушами, Сивко припал и медленно, истово начал тянуть.

Подошла круглоплечая девка с ведрами. Пока она спускала и вынимала бадью, скользя гладким шестом меж вздрагивающих грудей, темные глаза ее в длинных ресницах немигаючи глядели на тятьку так, что тот тихонечко крякнул и одернул рубаху. Девка вытулив зад, нагнулась с бадьей к первому ведру. Тятька пихнул рыжий картуз на ухо и по особенному выпрямил плечи, опершись спиной и локтями о телегу. И пока опять скользил гладкий шест меж девкиных грудей, оба они сцепились глазами и так стояли под скрипящим журавлем, комель

которого с подвязанным обрубком бревна забирался все выше и выше, пока бадья в темном колодце не чохнулась об воду и захлебнулась в ней...

Девка подняла на плечо коромысло и пошла, чуть плеская из полных ведер светлые пленки. Она шла и выгибала спину, и мягко поддавала задом, приподняв рукой сарафан и показывая из-под него мелькающие розовые голяшки и пятки-просвирки. Она и не оглянулась. Тятька же, сощурясь и пошевеливая носком лаптя, глядел ей вслед и наигрывал по животу пальцами.

Сивко напился. Поднял от колоды морду и, роняя серебряные капли, пошлепал языком. Заглядевшись в дрожащее марево полевой дали, он вдруг оскалил большие желтые зубы и попробовал заржать, но ничего не вышло,—только потрескал задом. Тятька кинул ему сена. Сами поели оржаного хлеба с солью, испили студеной воды из бадьи.

Засунув котомку с хлебом в передок, поехали дальше.

---

В поле пахали мужики, сгибаясь вперед с лошадью и сохою, будто ветром их гнуло. Косыми прыжками и короткими взлетами за пахарями по пятам двигались черные птицы и, вытягивая горла, на все поле кричали: карр!.. карр!..

Крик их казался черным, как они сами и как эта бухлая, жирно распластованная земля. Тятька поглядел в поле и звонко зацакал языком. Нахлюпил картуз, свесил голову и задумался, помахивая хворостиной.

Дорога опять заколесила лесом, глушью и буреломиной.

В одном месте будто из-под земли вынырнули навстречу двое,—парнишко и слепой старик. На парнишке драный армяк нараспашку, волосы сивые, штаны засучены выше колен. Он тянул старика за батог, а тот глядел бельмами в небо и будто упирался, а лысое темя его блестело на солнышке, как самовар.

В другом месте, под густой елью дымились головешки, а людей не видно. Дым подымался в гущу елки, лез в нее, и елка доверху была лиловая от дыму, а вглубь леса понизу легким пологом залегла синева. И вдруг Силашка увидел: по самый пояс в этой синеве, будто обрезанные, стоят мужик и баба, а на плече у мужика топор.

Дальше Силашка ничего ни видел,—его сморил сон. Но и во сне он слышал, как под боком возятся боровки, угнездиться никак не могут, и как куры в плетушке тревожно беспокоились: куд-куд... куда?..

А колеса на весь лес верещали: цари-и!.. цари-и!.. цари-и!..

## VII.

Проехали еще не мало деревень.

В одной заночевали. Бабы щупали боровков и мешки, пригорюнивались на кулачок и советовали разное. Тятька так и спал на телеге. Силашку же ввели в избу и с таганка накормили шипучим овсяным киселем с маслом. Он ел, обжигаясь, а веснушчатая бере-

менная молодуха, сложив под налившимися грудями руки, в упор глядела на него ласковыми серыми глазами.

Она же постелила на лавку шубняк и уложила его. Сама села рядом. Теплой рукой давай гладить его по спине и расспрашивать про мамку: какая, да какая она. У Силашки даже затосковало сердце о мамке,— не сдержался, заплакал, тихонько чуфыркая носом. Молодуха прильнула к нему ласковая и мягкая как мамка, даже пахло от нее мамкой,— и давай нашептывать ему в ухо всякие слова...

Потом начала сказку про попова работника. Но Силашка сразу же уснул,— так и не узнал, довелось ли этому работнику выловить мережами бесенят из омутища?

Тятька разбудил его затемно. Вывел за руку и посадил на телегу. Силашку валил сон. Он ткнулся было на мешки, но придавил боровка, тот взвизгнул,— и Силашка опомнился, высверлил кулаками глаза, зевнул и глядит вокруг:— тятькина голова, Сивкин зад, мешки...

Заглушая собачий лай и петухов на деревне, заверещали колеса и занукал тятька, дергаясь локтями и спиной. Протырыркали ворота на околице. Собаки замолкли и побежали в ту сторону, где огонек в окошке остался.

Выехали в поле. Половина неба малиновая, половина темная, посередке же, над головой, синь бездонная, и в ней, как засыпающие глаза, две слабые звездочки. Впереди по земле белесый туман пологом, но его никак не догонишь,— телега будто на одном месте ворочается или кругами кружит, нехотя покрякивая.

Тятька вздел армяк, картуз нахохлил вперед, козырем чуть нос не покрыл. Нагорбился с телеги и тихо помахивает хворостиной, точно рыбу удит. Весь он в светлой утренней темноте какой-то новый и далекий, но в то же время и близкий, всегдашний, родной. Сивкина спина мотается вот тут, рядом, а голова фыркает где-то далеко-далеко,— там, за туманами...

Малиновая половина неба разжигалась ярче и ярче. Те два глаза — две звездочки — уснули, растаяли... Светлая синь пролилась и в темную половину неба. Зажурчали жаворонки, просверливая вышину золотыми буравчиками: тюр-ли-и... тир-люр-лю... тир-лю-ю...

А как выкатился зыбучий шар солнца, вдали, за дымно-синими перелесками, Силашка увидел белые колокольни, одна, самая высокая, с золотой головой, как свеча горит на солнышке. Завертелся парень на мешках, глаз не спуская с золотой маковицы.

— Тять... Гляди!..

— Вижу...

— Што это?

— Черквы...

— Город?

— Он самый. Во-он где!..

Тятька указал туда хворостиной.

Замерещились синие, зеленые и всякие крыши. У Силашки дух заперло. Привстал на коленки и глядит, глядит... Играющей радостью налились и грудь, и глаза, и руки, и пальцы,— хоть лети!

Спустились под гору. Загрохотал длинный мост. А под мостом — вода, широкая, с поле. По ту сторону воды на берегу кустом встали три сосны, выросли комлями из одного места. Они опрокинулись в светлую воду кудрявой головой,— и выходит как есть та большая зеленая буквища вроде жука, что на Терехинсй книжке: „Житьё святых".

Силашка еще издали приметил: прямо на воде стоит чудной дом без окошек и весь стучит, шумит, дрожит... Крыша, стены, лужайка около — белые, будто в снегу. Кругом распряженные возы, лошади хвостами помахивают. Согнувшись под мешками, лезут и лезут на тот чудной дом человечки и вверху проваливаются в черную дыру.

Подъехали ближе. Тятька задергал вожжами, ни к чему вытянул Сивку хворостиной, соскочил, пошагал, опять сел, поправил картуз и свирепо сморкнулся.

— Вот она, мельница...

— Которая?..

— Да вот... гляди!

— Эта?

— Она самая. Вот тут дедушку... Никиту-то...

Не дыша, Силашка вытаращил глаза на мельницу. Побелевшие от муки бревенчатые стены гудят, дрожат, внутри что-то скрипит, скрежещет и грузно топочет... Человечки — оказалось, простые мужики — лезут и лезут с мешками в верхнюю дыру и проваливаются в страшное грохало. Неужто и их на муку?.. Нет, кой-которые вылезают из нижней двери, и тоже с мешками, и все белые.

Сбоку мельницы огромное колесо, до самой крыши. Оно неторопливо вертится, скрипит, шумит и во все стороны брызжет и плещет водою. Вода голгочет, ревет, вскипает пеной, веселой пылью взлетает в высь — и, сверкая в утреннем солнце, в этой играющей пыли стоймя стоит над колесом настоящая радуга-дуга. Силашка даже рот открыл,— как она попала сюда с неба?

Около мельницы тятька затпрукал. Остановились.

Как раз в это время из особой избушки вышел человек в синей поддевке, в лаковых сапогах и с таким большим козырем у картуза, что из-под него виднелась только красная луковица носа да рыжая, будто огненная, борода веником.

У крыльца, помахивая головой, выплясывал нетерпеливыми ногами крупный караковый мерин в дрожках. Рыжий в козыре уже занес ногу на эти дрожки, как подошел тятька и низко-низко поклонился, держа обеими руками картуз под животом.

Отвел тятька рукой со лба волосы и степенно начал толковать с рыжим. Долго чего-то обсказывал. И опять поклонился. Рыжий одернул козырь еще ниже, совсем закрыл нос, и стал говорить свое —

загибал на руке пальцы и совал их под тятькин нос. Тятька сгорбился, слушал и уныло глядел в нутро своего картуза.

Вдруг он выпрямил спину, хлопнул картузом о ладонь и нахлобучил его на голову — глубже некуда. Да как взмахнет рукой, точно топором секанул, и давай кричать на рыжего так громко, что бежавшие гусем мужики с мешками сразу остановились и стали слушать. Рыжий удивился, его даже шатнуло. Но он тотчас открыл из-под козыря нос и медным, похожим на его бороду голосом заорал куда громче тятьки,— так заорал, что мужики с мешками испугались и побежали куда надо.

Наоравшись, рыжий прошелся около тятьки кособоким петухом, дернул козырь так, что нос опять спрятался, и сел на дрожки.

Пока Силашка, отойдя за куст, торопливыми кривульками мочил траву, караковый мерин, звонко гулькая селезенками, унес рыжего из видов.

Тятька потряс в ту сторону кулаком.

— А, сстерьва!.. кровопивец! Погоди-и!..

Затейливо и длинно, как кузнец Прокл, выругался нехорошими словами и тоже сходил за куст.

Вскочил на телегу и давай высвистывать Сивку хворостиной так, что тот пустился-было в рысь, но сразу же одумался и замотался в оглоблях, как неваренный.

## VIII.

Под березами, близ мельницы, стоит красная кирпичная избушка с синей головкой, а на головке крест. Дверь в избушку открыта и в темном нутре красными язычками горят свечки. Греясь на солнышке, сидит на приступках избушки старичок, голова начисто лысая, лишь белые прядки около ушей на ветру шевелятся. Борода тоже белая, а у губ с желтинкой.

Силашка сразу признал: Никола-угодник, тот самый, который на иконах. Тятька тоже признал его, потпрукал, слез и давай молиться на него, взмахивая волосьями. Никола приподнялся с приступков и закланялся тятьке, протягивая деревянную чашечку. Ничего в эту чашечку тятька не положил, быком пошел к телеге, вертя в руках картуз.

Силашке жаль стало тятьку:— на том свете за это его, пожалуй, привесят за ноги, вниз головой, прямо в огонь. А то и в кипучий котел посадят... Так и на картинке есть у Зуйкова отца в чулане, где пряники, сельди и вино в зеленых бутылях.

---

Силашка поглядывает вперед,— сейчас покажется город, город! Его пока не видно. Лишь слышно оттуда чудной шум.— Вот так шумело, когда загорелась изба у Лаврухи, потом рядом у Сизана, потом

у Жмычкова Игнахи,—да как пошло, пошло!.. Даром что ночью, а было посветлей, чем днем. Головешки летели аж за гумна, а Марьяна Хрящева в тот раз ума рехнулась: выла по-собачьи и в огонь кидалась, а глаза страшные, по кулаку... Хоть и дрожали коленки, а весело было в тот раз! . . .

Начинался город.

Силашка не успевает повертывать голову. Вот он какой,—город! Избы с окошками в два, а то и в три ряда, одна другой лучше. Прикидывает: сколь высоко в таких избах от полу до потолка? И сразу пала мысль: в таких избах и люди живут, должно быть, ростом повыше высокой елки. Чего они едят? На чем спят? Начал было думать о лошадях,—сколь велики у таких людей лошади,—да увидел нарядную барыню. Едко ухмыльнулся и ткнул тятьку в бок.

— Глянь, тетка-то в шапке... и с перо-ом!

— Не замай ее!—махнул рукой тятька.

Барыня ведет за цепочку крохотную поджарую собачку. Собачка боком скачет на трех ножках и останавливается у каждого столбика. Рядом с барыней идет мальчик в голубой курточке. Волосы у него до плеч, светлые, как чесаный лен, на ногах желтые сапожки, а поверх картузика мохнатая малиновая пуговица. Такой нарядный и во сне сроду не приснится. Не это ли и есть самый Иван-царевич? Тятьку бы спросить. Уж и чистяк! Вишь, как глядит...

А мальчик смотрел-смотрел на Силашку—и вдруг высунул ему длинный язык и погрозился кулаком. Будто ни в чем не бывало, сунул руки в карманчики и идет с барыней дальше, а сам поглядывает на Силашку. Вдруг вынул руку и показал кукиш. Вынул другую руку и тоже показал кукиш. Погодя вынул сразу два кукиша...

Силашка живо добыл из мешка крупную картошину и запустил ею в мальчика. Не попал, лишь собачка на трех ножках подскочила, взвизгнув. Потянулся за другой картошкой. Тятька ударил его по руке.

— Баловаешь! Я-те покидаю... Она денег стóит!..

Присмирел, отодвинулся к боровкам, а руки так и зудят.

Барыня, собачка и мальчик повернули за угол, скрылись. Не успел Силашка подумать о желтых сапожках—вот бы и ему такие!—как нарядный мальчик вдруг еще раз выскочил из-за угла и, вертясь на одной ножке, сделал ему из пальцев нос и показал длиннущий язык. Собачка тоже выскочила и подняла над столбиком ногу, но ничего не успела сделать,—ее из-за угла потянули за цепочку.

## IX.

Вот он откуда—шум будто с пожарища!

Большая, как есть поле, площадь. Телег и людей тут съехалось со всех деревень. Мужики, бабы, бабушки, девки, лошади,—все смешалось в одну кучу и шумит, галдит, лопочет, гогочет, ржет!..

Тятька выпряг Сивку и ткнул его мордой в сено, а оглобли подвязал стойком, как у других. Составил на землю мешки и засучил их, чтоб видели, что в этих мешках есть. Открыл плетушку с курами, а они с устатку так и закатывают глаза под пленочку. Только рябка, трепыхнувшись, ясно глянула в один глаз на тятьку и закекала: ке-ке, ке-ке-е... трепыхнулась еще раз и вскрикнула: куда?..

Связанных за ноги боровков тятька разложил прямо на землю. Они обрадовались солнышку и, похрюкав, тут же задремали, подрагивая розовой кожицей на животах и ушками. Приоткрытый бурак со скопом топленого масла встал рядом с боровками.

Тятька уладил все дела, одернул латаную на локтях рубаху, рыжий картуз избоченил на ухо и оперся спиной о телегу,—мол, подходи!

---

Силашка будто в жимки попал,—вертится так и сяк, пялится туда и сюда, не успевая всего примечать. В глазах так и пестрит от мелькающих лиц, а в ушах звон стоит от разных выкриков и ржанья коней, от писку и визгу, от хлопанья по рукам и зазываний.

Как раз рядом безбровый мужик с желтым бабьим лицом вызванивал кнутовищем по глиняной посуде и тонкоголосо, как Марьяна Хрящева на пожарище, без передыху вопил:

— Ай-ай-ай, горшки-плошки! Ай-ай-ай, корчаги, кринки, рукомойнички-и!

А рядом разбойного вида чернобородый мужик огромным топором хряскал на толстом обрубке тушу. Взлетая над головой, топор молнией взблескивал на солнце. Белые мужиковы зубы в черноте бороды скалились на весь базар. При каждом ударе страшного топора из мужикова рта свистел звук: хессь!.. Взмахнет, яро ощерясь, и — изо всего нутра: хессь!.. а топор — в тушу: хрякк!..

Вкруг обрубка, поджимая хвост меж ног и вздрагивая мелкой дрожью, вертелся облезлый худой кобель с плачущими глазами. Пока мужик там мешкал, перевертывая тушу, кобель быстро схватывал языком крошки и лизал землю. При ударе топора он с визгом отскакивал в сторону, и снова, дрожа и горбясь, крался к обрубку и пугливо взметывал глазом в разбойное мужиково лицо.

Но пуще всего Силашка дивился на полный воз настоящих белых кренделей и на старика, сидящего на этих кренделях. Поджаристые, румяные, крендели так и поманивали вгрызться в них всеми зубами. Но старик даже и не взглядывал на них,—шевеля скулами и пепельной бородой, он спокойно уминал краюшку оржаного хлеба. На то место, где откусить, он сыпал щепотью соль, точно благословлял эту краюшку. А пока жевал, оглядывал ее со всех сторон и ногтем выщербливал припекшиеся к исподу угольки.

Как раз в это время на колокольне с золотой маковицей вдруг забухало, загудело и затренькало в большие и малые. Старик на

кренделях широко и истово закрестился, бережно держа краюшку на ладони, и промолвил:

— Только што отошла.. А я-то, окаянный, не утерпел, напёрся загодя... Ой, Господи-и!— и принялся доедать, натужисто и звонко икая.

Разинучи рот, Силашка загляделся на гудящую колокольню. Там, на страшной высоте, руками и ногами дергался маленький человечек, вздрыгивал и так и эдак — будто сбирался взлететь на небо. А колокола и впрямь, как Гараська пыжик сказывал, так и выговаривали: пóл-блина-пóл-блина!.. чéтверть-блина, чéтверть-блина!.. блин-блин-блин!..

— Закрой рот, эй... галка влетит!— окликнул Силашку курносый рябой парень в новой красной рубахе, которая на спине вспузырилась так, будто туда подушку запихали.

Он шел в обнимку с крутозадой, по-уточьи шагающей девкой и нес за ремешок растянувшуюся мехами гармонь,— точно дохлую собаку тащил за ухо. Шел и куражился, раскачивая девку за плечи. А на девке в три ряда бусы и канареешный платок с махрами. Она босиком, полусапожки свои в руке несет, держит их на отлёте, чтоб видели люди, какие у ней полусапожки.

---

Скоро тятька распродал все в чистую.

Краснощекий поп с гривой во всю лиловую спину уносил за задние ноги последнего боровка. Долго было слышно, как боровок на весь базар верещал:— уви-и!.. уви-и!.. а связанная на соседнем возу свинья, свешивши с телеги рыло; тяжко договаривала: жусь... жусь...

Тятька долго топтался около воза с кренделями, щупал и выпытывал цену у старика с пепельной бородой, который все еще икал,— прицелился и купил самый большой крендель с маком.

— На-ко, жуй,— подал он Силашке крендель,— да гляди тут. Я пойду коня высматривать. Конягу, может, купим... слышь? Не отходи, поглядывай тут!

Взворошил под мордой у Сивки сено, боком оглядел его, почесал у себя в затылке и ушел.

Силашка хрусткает вкусный крендель и глазеет на народ. С телеги ему кругом видны все люди и лошади, все палатки, возы и поднятые вверх оглобли.

А солнце уже к закату покатилось. Большие окошки нарядных домов так и горят, налитые солнцем.

Вкруг белой колокольни с золотой маковицей крикливым летучим облаком кружат вечерние галки. Вот они черным-черно обсели на карнизах, а одна взлетела на самый крест и помахивает крылом, чтоб усесться как следует,— да не усидела, схизнула косым лётом книзу...

Доел Силашка крендель и поглядел на икающего старика,— еще бы такой кренделек, в самый раз наелся бы. А так сидеть скучно...

Его манят холщевые палатки,— там пестрота, шум, крик, писк, свист, давка!.. Народ так и напирает туда огулом, а торгаши разноголосо блазнят:

— Во-от нитки, иголки, гребешки, петушки... эй, эй, эй!

— Топоры, топоры, топоры... завияловские-е топоры!

— Ух, остатки, ух, остаточки, наваливайсь!

— Здесь сита, здесь решета, тетки, тетки, гляди сюда-а!

— Пряники, ой да прянички, ах да медовые, печатные!

— Молодка, здравствуй!.. вот они, ленты-то, вот они!

Не утерпел Силашка, соскочил с телеги и давай толкаться туда-сюда около палаток. Сразу попал в самую затируху,—ему то сшибали картуз, то наступали на ногу, то сплющивали его так, что он уж ничего не видел и чертил носом по чужим задам и животам.

Но где он ни ходил, все возвращался к муравчатым глиняным свистулькам и глядел на них завидущими глазами, и вздыхал, а потрогать не смел.

Вдруг в этой сутолоке он увидел знакомого деда, что похаживал около разложенных картин и книжек. Усы у деда зеленые, один глаз с бельмом. Вот он вынул берестяную табакерку и стукнул по ней, собираясь нюхнуть табаку...

Как раз тот самый дедко, что зимой забирал в деревне тряпье и кошачьи шкуры. Он самый подарил тогда Силашке пряник-сусленик, а сосед Тереха купил у него книжку: „Житьё святых".

Силашка живо признал старика и обрадовался,—в оба глаза глядит—глядит ему прямо в бельмо... А тот Силашку не признает,—сощурясь, прижал одну ноздрю, в другую неторопливо заносит с кривого пальца здоровую понюшку табаку, чтоб заворотит ее туда со свистом, честь-честью, а потом люто крякнуть и обмахнуть платочком лишки...

Помешкал у оловянных петушков, Силашка стал-было опять проталкиваться к глиняным свистушкам,—как вдруг над городом что-то загудело таким страшным гудом, что лошади шарахнулись, а тот дед и нюхнуть не успел,—удивленно выворотил бельмо, да так и остался с занесенной понюшкой табаку на кривом пальце.

— Пароход, робята!—отчаянно выкрикнул мужик в горошчатых штанах, замерев с вороненой косой над ухом, которую он перед тем постукивал ногтем и слушал.—Он и есть!.. разрази Господь!

Бросил косу и понесся, мелькая горошчатыми штанами,—коса жалобно звинькнула, а мужика и след простыл.

Тут и пошла кутерьма. Вся площадь сорвалась с места и повалила за торговые ряды. Силашка тоже бежит за людьми, глаза выпучил, лапотками заплетается. И неизвестно—в чем дело?

А за торговыми рядами оказалась такая большая река, против которой Крутица—курий ручей. Такую реку и с ручками на сажон-

ках не переплывешь, ежели не умеешь кверху брюхом отдыхать, как Оська Лодыжкин, — ляжет, и хоть бы ему что!

Набережная покрылась народом, как черникой. Силашка вынырнул вперед — и ахнул... Прямо по воде двигался длинный белый дом с высокой трубой, а из этой трубы непроворотно прёт на всю реку черный дым. С боков белого дома во всю мочь вертятся и лопочут большие красные колеса, бузят воду в пенистые бугры, и эти бугры по реке — точно грядки на огороде. А свисток так и ревет, так и гудит, так и гогочет, выпуская, как из ружья, прямую струю пара.

Народ на берегу жужгом-жужжит, ахает и толмачит на все лады, с удивлением глазеючи на невиданное чудо — первый в лесном крае пароход.

— Ой-ой-ой, робята-а...

— Ай, Петр Минеич...

— Штуку сверзил... а?

— Ах, рыжий дьявол!..

— Разъядри его бабушку!

— Затейник!

— Башка, и толковать нечего...

— А ведь наш брат, мужик.

— Я, паря, слыхал: на ту весну еще пароходец пустит.

— Денежка-то, ребята, што делает... а?

— Мельницу, водянку-то, слышь, на-слом... Паровую закатывает.

— Ай-ай! вот и гляди на него!

— Што ж, подавай бог всякому.

— Подаст, держись, крепи гашник!

— Вона, едет, сам едет!.. дорогу дай!..

В это время караковый мерин, храпя и теряя с губ пену, врезался прямо в живую гущу, — натянув синие вожжи, рыжая борода под большим козырем спешила на дрожках к берегу.

## X.

Силашка бегает по базарной площади и никак не может найти ни телегу, ни тятьку, — телег и мужиков так много, и все они одинаковы.

А солнце давно за крыши ушло. Вот и темнеть стало. Многие разъехались, иные укладывались и запрягали, переговариваясь тихими вечерними голосами. Каждого оглядывал и в спину, и в бок, и прямо, — нет, не тятька...

Тоска напала. Бегал-бегал и присел у темного амбара на приступки. Поднял голову и завыл, глядя сквозь слезы в густую синеву вешнего неба, на молодой озолочёный рожок месяца, от которого — ежели глядеть через слезы — вертятся прямые золотые усики то в одну сторону, то в другую.

Поревет и смолкнет, сглатывая горькую слюну и в жгучей тоске вспоминая деревню, избу, помело в подпечке, солоницу с желтой пичугой и синими виноградами, и мамку, ласковую, теплую, мягкую, улыбучую мамку, — придется ли когда увидеть?.. и зальется еще пуще.

— Чево, женишило, ревешь? — тронул его за плечи маленький старичок в такой большой шапке, что она сразу закрыла и рожок месяца, и длинные золотые усики вкруг его.

— Где тять-ка-а?..

— Тятька, говоришь?.. — задумался старичок. — Вот дела-то какие... Как же это он?.. экой он, право...

Старичок поойкал и незаметно растаял в темноте, опростав от шапки сияющий усиками месяц.

Чуть ли не все телеги разъехались. Площадь пустела. Тоска все горячей и горячей. Силашка вскочил с приступков и, как надрезанная курочка, вкривь и вкось забегал по площади, закидывая голову и плача навзрыд. На минутку останавливался и вопил:

— Тять-ка-а!..

И вдруг из темноты, нос к носу, вынырнул тятька. Его даже не узнать, — глаза выкатил страшные, сопит... Глазами прямо к Силашкину лицу наклонился, схватил за плечи, что есть мочи трясет и удавлено хрипит:

— Силантий, где Сивко?.. слышь?.. где Сивко?.. Ах ты, стерьвёнок!..

Не дождался Силашкиных слов, изо всей силы опрокинул его за плечи навзничь. Но тотчас же больно схватил за руку, дернул и понесся с Силашкой по площади.

И вдруг в темноте — знакомая телега, оглобли к золотому месяцу подняты, как руки, а Сивки нет. Тятька тоже поднял руки кверху и ревучим голосом завыл:

— Што теперь делать?.. Тереха ведь шкуру сдерет!.. Ай-яй-яй!..

Опять схватил Силашку за руку и понесся в другую сторону. На бегу цакал языком, ахал, охал, хлопал себя по ляшке, сдирал с головы картуз и, размахивая им по звездам и месяцу, ругался словами, неслыханными даже от кузнеца Прокла.

Тут и там приглядывался к лошадям, тыкался прямо в них, как слепой. И снова несся в темноту так, что Силашка не успевал ступать и падал, перевертываясь боком, но тятька тотчас вздымал его, дергая за онемевшую руку, и бежал, бежал...

Исколесили всю площадь и все закоулки меж амбарами, — нет Сивки, пропал Сивко!

Когда рожок месяца сделался совсем серебряный и закатился высоко-высоко в звездное небо, а на колокольне пробенькало двенадцать раз, — бегать не стало мочи. Пятили с тятькой жалобливо повизгивающую пустую телегу куда-то в темный двор, в чавкающую навозную жижу, а человек с фонариком и с красной, будто ошпаренной щекой показывал:

— Закатывай в самый зад... вот та-ак... Сюда, сюда оглоблями, другим проезд надо! Ну, вот, готово...

Оглядел тятьку, разодрал позевотой рот и спросил:

— Как же это ты, паря, а?

— Да вот так! — тятька перегнулся пополам и развел руками, будто семитку потерял. — Теперь ищи-свищи!..

Тот поднял фонарик и сбоку глянул в него, освещая ошпаренную щеку. Покачал фонариком, покачал головой.

— А и рохля ты, дядя! Дивлюсь, как самого-то не украли...

Зевнул так, что за ушами у него пискнуло, и, чавкая сапогами в навозной жиже, пошел впереди к выходу.

## XI.

Утром ходили в желтый каменный дом.

Над крыльцом намалевана двуголовая птица, как на деньгах, а внутри дома непроносно пахло кислой квашней и луком. Сумрачный человек с багровым длинным носом в синих жилах, шумно сопя, вынул и разгладил перед собою бумагу, мрачно глядя на тятьку.

Одной рукой он прижал к столу тятькину полтину, в другую взял перо, омокнул в пузырек, почистил о стриженую щетину на голове, опять омокнул в пузырек, — и давай со скрипом и свистом пером и носом ездить по бумаге...

Но ничего не вышло, — так и пропал Сивко.

Ходили и за город.

Там Силашка видел цыган и цыганяток. Все они копченые, галгакают все зараз, и не поймешь о чем. Глаза у всех точно дегтем помазаны, а пуговицы серебряные, по яйцу. Живут прямо в поле, на телегах, кругом костры горят, вьется дым.

Тятьку повели в табун, а тятька хитрый: будто лошадь купить хочет, а сам во все глаза Сивку высматривает, — не тут ли?

Трясучая страшная старуха подала Силашке прямо из огня кусок баранины. Он ел эту баранину и с удивлением глазел на молодую цыганиху, что сидела у огня и по-мужиковски курила трубку. Она была голая чуть ли не пó-пояс, только вороненые волосы по грудям распустила, а в волосьях-то серебряные деньги. Маленький цыганенок с курчавой ягнячьей шорсткой на голове, выворачивая на Силашку черный глаз, насасывал цыганихину темную грудь, тискал ее кулаком и поигрывал звякающими в волосах денежками.

Рядом, сидя на телеге, кудлатый цыган с серьгой в ухе вынул из узорной своей жилетки дудочку и стал играть на ней, часто-часто перебирая пальцами по дырочкам. Из крытой телеги вдруг выскочила на лужайку гологрудая девочка в сарафане с прозолотой. В руках у ней маленькое решетце в лентах и с медными позвонками-ширкунчиками. Она взмахнула над головой этим решетцем — и ветром закружилась перед цыганом, изгибаясь и так и эдак, а сама решетцем так

и потряхивает, так и позвякивает, босые ноги так сами и плывут, попихиваясь, а в плечах дрожь, дрожь... Алый рот открыла прямо в небо — и гикает, гикает, гикает!

Тут приспел тятька, суетливый попыхун, и не дал Силашке доглядеть, — пришлось пойти прочь.

Тятька уж такой, — ему только и разговоров теперь про Сивку да про Сивку. Весь затылок себе исчесал и весь картуз исшлёпал об голову, даже козырь оторвался...

Бегали туда и сюда дня три, прохарчились на-тло, хоть плюнь. Махнули на все рукой и ранним утром, еще солнце не всходило, пошли с тятькой из города вон.

Подальше от таких мест!

---

Вышли в поле. Вдали, в голубом дыму, пашет мужик, изгибаясь с лошадью вперед, — и взмахнутый кнутик и оттопыренный лошадий хвост будто вырезаны на голубом мареве. Тятька взглянул на мужика и звонко по-птичьи защелкал языком.

— Пахать, пахать, пахать бы... Ай-яй-яй!..

По кочкам, зеленям и кустарнику косым махом брызнуло выкатившееся солнышко и заполыхало над синеватыми зубцами перелеска. На бухлой пахоте крикливо гомозятся и взблескивают вороненым отливом грачи. Пролетела мелькающим лётом желтая бабочка — и Силашка ни к тому, ни к сему вдруг вспомнил Никиту, гогочущего Никанорку в собачьих рукавицах и ту желтую страшную свечечку над Никитовой колодой...

Порхая ступеньками, на дорогу вылетела пестрая трясогузка и быстро-быстро побежала на тонких длинных ножках. Увидав Силашку, остановилась, качнула хвостиком, наскоро опорожнилась известковой капелькой, чивикнула и пырхнула по ветерку в переливчатые зеленя. Дорога в солнышке — розовая, так и вьется лентой, так и поманивает все дальше и дальше, к тем синим лесам.

Силашку распирает неуемная радость. Зеленя, солнышко, грачиный крик, — все это в нем, а не где-нибудь. И совсем не в бездонной небесной чашке, а у него в груди журчит, поет, звенит, переливается та нескончаемая песня: тюр-ли-и... тир-люр-ли-и, тир-лю-ю...

Радость оттого, что земля и небо никаким глазом не охватны, что каждый день приходит по-новому, как праздник, и что где-то там, далеко за лесом, есть скрипучие ворота, а за воротами избы, как старушки в платках, и сверх их высокий журавель в небо.

Там раздольные огороды, гумна, темные амбары. В банной застрехе там есть воробьиное гнездо, а под самым коньком избы — ласточье. На полатях в плетушке с бабками там лежит налиток-свинчатка, куда потяжелей, чем у Гараськи Пыжика. И мочальный кнут там же, если Моська не украл его, и зеленое стеклышко спрятано на божнице там же...

Еще из окошка увидит и выбежит навстречу мамка. Обрадуется, ахнет, посадит за стол и накормит чем ни-то вкусным. Сбегутся ребята. И начнет он хвастать про все, что видел, только бы не забыть чего, — про цыган, про воз кренделей, про деда с бельмом...

Жаль, свистушку не купил! Глиняную, муравчатую. Так в глазах и стоит: голова птичья, с боков две дырочки, с гузна одна дырочка. Возьмешь вот так в руки — и дуй: тюли-люли, тюли-люли...

---

Опять проходили мимо красного кирпичного домика с синей головкой и с крестом. Поднявшись со ступенек, Никола-угодник усердно закланялся и протянул чашечку. А тятька будто и не заметил его, даже отвернулся, половчее вскидывая на спине мешок на лямках. Хотел было Силашка помолиться за тятьку, да на живого Николу молиться непривычно, робко, — Никола слинялыми глазами прямо на Силашку глядит и как-то даже подмигивает...

Опять жужжала и грохотала мельница. На неторопливое колесо с ревущим гулом все так же валится вода, кипит, взбрызгивает и рассыпается пылью и радугой-дугой. Колесо скрипит, рычит, взвизгивает, а внутри мельницы тяжко топочет и скрежещет зубами невидимый страшный силач. В запруде вода широкая, светлая и в ней облака плавают. Мельница и лужайка вокруг, и люди с мешками на спинах — все тут белое, как в сказке про зиму и волка...

Не даром Никита любил тут жить! Не сидел ли он вон на том крылечке под крышей, где дыра? Сидел и пел ржавленым голосом всегдашнюю свою песню. А потом шатнулся и упал в ту черную дыру... Будь бабка Марья, она бы его поддержала, — всегда поддерживала, когда вела его домой, в Дрыкино.

## XII.

Подошли к лесу, а Силашка уже устал. Тятька снял с него лапотки, привесил их себе за пояс, и сразу стало легко и привычно, — можно тихо, с тятькой в ряд, можно и бегом.

А как пустились в лес, парня охватила такая радость — хоть колесом катись! То-и-дело во всю мочь несся по дороге вперед, изображая либо лошадь, либо птицу. Вдруг останавливался и косился в лесную гущу, где чудища и медведи. Казалось, где-нибудь тут, рядом, сидит под седой елью лесное чудище и помахивает обомшелыми лапами, — волосы у чудища до пят, глаза зеленые, а в рот хоть коровай хлеба запихивай...

Ужаснувшись, срывался и с перекошенным от страха лицом стрелой несся назад, к тятьке. Но скоро забывал про чудище и снова засвистывал вперед, только пятки шлепотали, а дымчатые стволы елей,

будто чьи ноги, бежали навстречу: мельк-мельк-мельк... и жужжал ветер в ушах: вжжж...

Забежал раз подальше и удумал напугать тятьку. Присел за лопух, сердце колотится... Сидит и ждет, — чтоб выскочить, да как ухнуть!

И видит: показывается тятька из-за поворота. Идет и громко ругается, кулаки кому-то сучит, а кому — не видно. Лицо у него — точно кислого квасу хватил... Чесанет в затылке, двинет картуз на ухо — и снова костит того пуще, а в промежутки айкает:

— Аа-яй-яй!..

Присмирел Силашка за лопухом, не стал пугать тятьку, пропустил мимо. Пошел сзади и стал разглядывать его со спины, стал думать о тятьке разное. Долго думал, и жаль стало тятьку, жаль его спину под большим мешком и ноги в узких портках, и эти завитушки волос из-под рыжего картуза — всего жаль!

Петушком зашел сбоку и поднял на тятьку робкие глаза.

— Тять, у тебя ноги устали? Сыми лапти, а я их понесу. И мешок сыми, я понесу...

Словами и голубостью глаз просил: сыми-де, и тогда будет легко, — можно хоть тихо, хоть бегом...

Думая о другом, тятька покосился на него. Шагал-шагал, — и еще раз уперся долгим взглядом в светлые Силашкины глаза. Шагал-шагал, — мелькнул еще раз глазом по Силашке, поддернул мешок на спине, крякнул и согнал с лица кислое, даже улыбнулся.

Шел-шел, — да как схватит Силашку на руки, да как подбросит его выше головы, да еще раз... Прижал, дыхнуть некуда, и давай целовать в нос, в шею, во что попало. Как есть с ума спятил! Борода у него щекотучая, душная, Силашка увертывается, дрягает ногами, хохочет...

У тятьки уж и картуз слетел, а он знай свое:

— Ах ты, наследыш мой, сопатка, гнездыш желтоносый, курья кость!.. Ах ты, ягнячья шерсть!.. Ах ты, поросятина несоленая, чилим сморчковый, почечуй с горохом!.. Ведь вот ты какой... да вишь ты какой!.. да откель ты такой взялся?

Спустил наземь. Наклонился к самому Силашкину лицу, опершись ладонями в коленки, — и глядит, глядит через свисшие на лоб волосья... Да как растаращит глаза, да как рявкнет во весь голос:

— Ты чей!?

И далеко в лесу тотчас же кто-то звонко крикнул:

— Чей?

— Мамин, — твердо сказал Силашка, и перед ним живьем встали ее серые глаза и как бы пронесся сладко-горьковатый запах ее тела...

Но, глянув на тятьку, на любовно кипящие в бороде губы и зубы, на раскоряченные ноги в узких портках и на упертые в колени руки с голубыми жилами, — изо всей груди выдыхнул:

— И твой...

— То-о-то!..

И в лесу, совсем рядом, кто-то спокойно сказал:

— То-о-то.

— А тятьку тебе жаль?

— Знамо, жаль...

— А Сивку?

— Не жаль..: он не наш, Терехин.

Так они шли рядом и без передыху говорили про всячину. Никогда тятька не говаривал с Силашкой ладо̀м, а тут его прорвало.

— Што ж теперь делать будем, Силантий, а?

— К мамке придем.

— Да она живьем нас съест!

— Не-е...

Силашка светло и весело глянул на тятьку, — сколь-де мало ты мамку знаешь, — и уверенно сказал:

— Она картошки нажарит нам, либо лепешек... а то и пирог сварит!

— А пахать-то на чем будем?

— Тереха Буланку даст... попроси Буланку, она прытчей Сивки бегает. Только лягается, ты не подходи к ней сзади...

— Тереха теперь с нас штаны сдерет и по-миру пустит...

— Как Никанорку?.. с мешком?

— Вот-вот! И будешь ходить в город за кусочками.

Силашка даже подпрыгнул и засиял глазами.

— Я тогда в городе свистушку куплю! А то две, одну тебе дам, либо спрячем!.. Она вот так: тюли-люли, тюли-люли...

Тут тятька распалился и давай нахвастывать Силашке, что никакая-де свинья его не съест, и ежели уж так, то и плотничное дело у него из рук не выскочит.

Ежели что, можно-де и в город перемахнуться. А в лесу, а на реке!.. барки, например, строить, беляны, в низа их гонять... Да мало ли там работы — хоть задавись работой!

— Избу и какую всякую мурью продадим! Денежки, значит, за голенище, да и айда в белый свет! — кричал он на весь лес и размахивал руками, попутно закобенивая картуз с оборванным козырем на самое ухо. — Вынырнем, нас не уто-о-пишь!..

Силашка глядел в отцову бороду и живо на все соглашался. Леса, барки, беляны, белый свет... А как услышал, что и у него будет маленький топорик, даже взвизгнул и дрыганул ногами.

Тут они заговорили наперебой, всяк свое. Силашка тоже кобенил свой картузишко, как тятька, взмахивал рукой и говорил, что ехать, так надо скорей, только бы мамку не забыть. Кнут мочальный и зеленое стеклышко на божнице он возьмет с собой. Через это стеклыш-

ко, ежели на солнце глядеть, — солнце желтое, а небо черное. А бабки, что в плетушке на полатях, он продаст. И свинчатку-налиток продаст, только олово из гузнышка выковыряет, — пригодится!

Лесное эхо встревало в их разговор и поддакивало. А впереди увязалась вороватая сорока, дорогу показывала. Так и стрекочет, подлая, так и стрижет, так и хорчит, поскакивая боком и взлетая по сажонкам.

Празднично выряженый дятел на посинелой гиблой сухостоине вдруг звонко зацефкал, будто его ущемили. Вот он проворно взвинтился еще повыше, глянул по сторонам, уперся на хвостик и часто-часто застукал носом в полое место.

---

# Второй Адам.

(ТРЕТЬЕ ЗВЕНО КОЩЕЕВОЙ ЦЕПИ.)

**М. Пришвин.**

Кую звено третье про второго Адама. Возвращаю Алпатова в то самое кресло Курым, где он родился. Теперь очень слабый от болезни Курымушка в нем уснул. Тихо между собой беседуют мать, рано поседевшая от неустанной работы на банк, Дунечка, учительница, „на легальном положении", верующая в Старца Софья Александровна и еще новое лицо, дядя Курымушки, сибирский купец и пароходчик Иван Астахов.

Вечереет. В окно смотрит голубая весна. В коридоре кто-то кашляет.

— Кто там?—спрашивает мать.

— Я.

— Кто ты, Гусек?

— Так точно.

— Ты, наверно, опять пришел землю просить?

— Никак нет, покумекиваю подаваться к новым местам.

— Вали, вали,—сказал Иван Астахов,—голова на плечах, в Сибири всего можешь достигнуть: я мальчишкой уехал с семью грошами,—восковыми свечками торговал, а нынче пятнадцать моих пароходов перевозит вашего брата на новые места.

Сквозь тонкий сон Курымушка узнает голос Астахова и ужасно боится, что он скажет о чем-нибудь „самый высший", эти слова его в прежний приезд, сколько-то лет тому назад, подхватили братья, и, бывало, только он выговорит „самый высший", зажимают носы и, лопаясь, фыркают. Грозно орлиным взглядом оглядывает их Самый высший, а они все показывают на Курымушку и говорят, будто это он их смешит какими-то штуками. Вот как было страшно тогда ожидать взрыва смеха, что и посейчас осталось и, скажи дядя сейчас свои заколдованные слова, он непременно расхохочется в своем кресле. С полузакрытыми глазами он слушает разговор с Гуськом и один понимает трудное его положение: ведь, это тот самый Гусек, про которого говорили, будто он, как Адам, был изгнан из рая пахать, но

землю всю отняли помещики. И вот он теперь стоит, хочет спросить сибирского купца про землю и не знает, что же именно спросить, с какого конца начать, и уж, наверное, больше всего ему хочется узнать, есть ли там белые перепелки и, может быть, даже голубые бобры.

Долго он мнется на пороге. Терпеливо ждет вопроса Самый высший.

— А есть на новых местах перепелки?—спрашивает, наконец, Гусек.

— Вот он всегда так,—сердится мать,—ему бы только перепелок ловить, все хозяйство из-за таких пустяков пропадает.

Высший смеется. Гусек просит прощения и уходит.

Темнеет в комнате. Мать спрашивает:

— Няня, лампу заправила?—пора зажигать.

Няня приказывает:

— Дуняша, поди, вздуй свет.

— Ах, тетенька,—просит Дунечка,—погодите немного, смотрите, как хорошо в окне голубеет снег,—будто кто-то идет к нам сюда *тихо, тихо.*

Курымушка смотрит туда в окно и там,—правда, знакомый ему Тихий гость идет с голубых полей.

— Тише, тише,—просит мать,—кажется,—бредит, слышали, сейчас сказал: „Марья Моревна".

— А я и забыла,—шепчет Дунечка,—вчера я от Маши письмо получила из Флоренции.

— Где это?

— В Италии.

— Вот куда прострунила. Ну-те?

— Тетенька, когда же бросите вы свое „ну-те"?

— Прости, милая, что же пишет тебе из Италии наша Марья-Моревна?

— Живет в какой-то семье, моет полы, стирает, готовит, учит детей, видно, ребятам вскружила головы не хуже нашего и, заметно, ее там боготворят.

— Помните, Марья Ивановна, — вмешивается Софья Александровна,—я вам еще тогда говорила, это ее очарование вредное, настоящий яд для детей, видите сами, пример на глазах, и так ее дети все перестреляются.

— При чем же тут она, если учителя такие мерзкие?

— Мерзки не одни учителя, в жизни надо уметь приспособляться, знаете, я все-таки вам советую, как только мальчик оправится, свезите его к Старцу, пусть он благословит его жизнь,—видно, мальчик способный и вовсе не злой, но это все от ее очарования,—право же, нет того в жизни, о чем она ему намечтала, надо его расколдовать от нее.

— Как ты думаешь, Ваня,—спрашивает мать своего сибирского брата, что если мы с тобой прокатимся к Старцу: там удивительно готовят уху из бирючков и просвирки пекут замечательно вкусные.

— К какому такому Старцу?—спрашивает Астахов.

— К отцу Амвросию Оптинскому, удивительная личность, он творит с людьми феноменальные вещи.

— Какие-такие фено... как ты сказала?

— Ну, просто сказать, чудеса.

— Чу-де-са?

Мать немного сконфузилась и посмотрела на Софью Александровну.

— Не говорю, прямо чудеса, а вроде этого.

— Иконы молодит?

— Не иконы, а вот случай был: две барыни собрались к нему, сказали: „конечно, чудес нет никаких, а все-таки поболтаем". Являются к Старцу, он велит келейнику принесть для них два стакана воды с ложечками и говорит барыням: „я сейчас выйду к народу, а вы сидите тут и ложечками в стаканах болтайте".

— Молодец твой старец, ну, что же барыни?

— Конечно, уверовали.

— Дуры твои барыни, тут и не мудрому просто: каждой такой скажи „поболтай" и верно придется. Ты лучше вот что: поезжай к нему сначала одна, седая, приедешь черная, тут я поверю, и отдам ему на монастырь все свои пароходы.

Вышло очень неловко при Софье Александровне,—все замолчали, и Астахов одумался.

— Ты, сестра,—сказал он серьезно,—чем к монахам за советами ездить, лучше отдай-ка мне своего мальчика, у нас там есть своя гимназия, кончит, будет у меня капитаном, а то все у меня такая рвань и шпана, образованных людей у нас вовсе нет.

— У него же волчий билет,—ответила мать,—его с ним не примут ни в какую гимназию.

— В Сибири все с волчьими билетами, сам директор вышел из ссыльных, покажи мне бумагу.

Мать приносит. Астахов берет и разрывает в куски.

— Что ты сделал?—ужасается мать.

— Какие вы все, барыни, чудные,—смеется Астахов,—сама говоришь, с этим билетом никуда не принимают, так зачем же его нужно беречь? Ну, говори, отдаешь ты его мне?

— Я не против, только надо же мне и его спросить.

— Так разве это не тот мальчик, что когда-то убежал было в Азию, а если—он, так и спрашивать нечего, Сибирь в Азии, он рад будет ужасно.

— Конечно, будет рад,—согласилась Дунечка,—это единственный выход.

— У меня будто камень от сердца начинает отваливаться,—сказала мать,—ты это серьезно, Ваня?

— А то как еще?—вот сейчас и выпьем отвальную.

Уходит в свою комнату и возвращается с большими гостинцами. Курымушка ни жив, ни мертв: он хорошо знает, что „самый высший" всегда говорится при подарках: богатому человеку кажется, что бедные не поймут, какие это дорогие подарки и потому, выкладывая, прибавляет свое непременно: самый высший.

— Достает из кулька бутылку шампанского с этикеткой sec—и говорит:

— Сек.

Не твердо, как по-французски сэк, а очень мягко—сек, все равно как, если что по-французски мягко, он непременно скажет по-русски твердо: не Золя, а Золá. И не то чтобы не знал или не хотел, а просто ему стыдно быть не самим собой и произносить слова по-иностранному.

— Сек,—сказал он,—и сейчас же как будто и перевел это слово:

— Са-а-мый высший!

Внезапно на диване что-то зашипело, засвистело и лопнуло смехом. Все с удивлением оглянулись туда.

— Ты чего это?

Курымушка ответил:

— Я слышал разговор и очень обрадовался, что меня отправляют в Азию.

Мать облегченно вздохнула:

— У меня будто камень отвалился от сердца.

Завидно смотреть из окна вагона, как бежит сухая, набитая мозолистой ступней человека, сухая тропа и стена ржи ее сдерживает, оберегает, выходит почти что прямая, но только оборвались поля, она и завиляла капризным дитем по лесным вырубкам между пнями, кустами, цветами, всякими ромашками, Иван-да-Марья, лиловыми колокольчиками. С большим мешком идет по тропе человек, такой он счастливый, с такой бы радостью взял у него мешок и оставил бы свое место на мягком диване. Я не раз такие глупейшие штуки проделывал, и за то мне вышла милость великая: стоит мне только взять в руки цветок и приблизить к лицу, как вся непомятая риза земли раскинется перед моими глазами и тут, как я сам захочу, есть избранные цветы с таким ароматом, что понюхаю, и, будто на горе высоко стою, и недоступная приходит ко мне туда невестой в белом брачном наряде с жемчугом и бриллиантами, а риза вся под нами лежит. Но есть

цветы и травы, мне в них открыт такой аромат, что непременно лизнешь языком, и как только лизнул, то уже не сверху с горы смотришь на все, а голубой стрекозой с прозрачными крыльями, совокупленный с такою же, летишь у воды по ручью между травами и сам вместе со всем составляешь святейшую ризу земную.

Правда же, другой раз лучше и много легче итти с поклажей за спиной набитой тропинкой, чем сидеть на бархатном диване скорого поезда против тяжелого человека и не осмеливаться раньше его слова сказать. И в голову не приходит, что тяжелый человек сам дожидается легкого веселого слова, болтай что в голову придет, и он будет рад. Но где было догадываться исключенному гимназисту, таежный дядя навис над ним и подавил.

Ехали тяжелыми черноземными почвами, перекрытыми красными глиняными балками, пересеченными широкими гуртовыми большими дорогами, узкими белыми проселочными и зелеными полынными рубежами. За весь день тяжелый дядя спросил:

— Ты ездил когда-нибудь по железной дороге?

— Нет, дядя, не ездил.

— Вот теперь едешь,—удивляйся!

Ехали почвами легкими, светлыми. Целый день мелькали в окне у ручьев скромные рощи,—стада гусей, тихие заводи и порубки с немногими тонкими уцелевшими на них склоненными березками. Тут на легкой почве за целый день тяжелый дядя сказал:

— Вот и леса пошли.

— Да, пошли, дядя, где же они кончаются?

Дядя, подумав,—сказал:

— Они не кончаются.

И опять замолчал. Купил на станции „Русские Ведомости" и читал их до вечера, после со свечкой принялся за объявления и вдруг совсем неожиданно спросил:

— Что это значит: эн-цик-ло-пе-ди-чес-кий словарь?

Алпатов очень обрадовался вопросу и развязал язык:

— Вы, дядя,—спросил он,—знаете, например,—слово ал-геб-ра?

— Что это такое?

— Вроде арифметики, только вместо чисел буквы.

— Ну-уууу...

— В энциклопедическом словаре все сказано про алгебру и про всякое слово, какое только вам в голову придет, если бы хватило памяти, так выучить словарь, и все будешь знать.

— Тогда надо выучить,—сказал дядя,—а есть там, например, слово пароход?

— Не только пароход вообще, а все наши русские пароходы названы по именам и, наверно, есть ваше имя.

— Кроме шуток говоришь? Вот бы все выучить!

— Для человека это невозможно, дядя,—в большом словаре Брокгауза и Ефрона—очень много томов.

— Пустое,—захочется, все можно сделать и выучить. Вот тебе газета, вырежь объявление и напомни в Нижнем: купим и выучим.

— Есть малый словарь Павленкова: не лучше бы нам сначала купить малый?

— Вот еще, ты заметь себе правило в жизни и заруби это себе на носу: никогда не становись на второе место, понял?

— Понял, дядя, и это мне нравится, но что если не придется на первое?

— Тогда живи дураком и подчиняйся умному. Еще надо тебе знать, что тише едешь, дальше будешь от того места,—куда едешь. Понял?

— Понял, дядя.

— А еще, и самое главное: не пей из колодца,—пригодится плюнуть. Понял?

— Нет, не понял.

— Поживешь, и поймешь, теперь ты только запомни, что тебе дядя говорил: не пей из колодца, пригодится плюнуть.

И опять замолчал до самого Нижнего. Там купили большой словарь и сели на пароход.

Словарь спас гимназиста от тяжелого дяди. Он, наверно, тут сто раз проехал и неинтересно ему на чужом пароходе, сидит весь день в своей каюте и с жаром учит словарь с буквы а. Алпатов обегал на пароходе все мышьи норки и, как маленький мальчик, всех спрашивал о всякой безделице, и что это за конусы качаются на воде с фонарями наверху, и почему иногда кричат: „под табак", и для чего люди плывут на связанных бревнах и так славно варят себе что-то на огне у самой воды, почему это дерево не загорается?.

— А какой груз в этой огромной барже?

— Живой груз: переселенцы.

— Куда они едут?

— В золотые горы.

Чтó он серьезно сказал, или пошутил? Неловко переспросить, засмеется, но и так остаться нельзя: вдруг окажется, правда, есть золотые горы, и люди туда переселяются, и он это слышал и так пропустил. Вот какой-то человек высокий, худой, подтянутый ремешком,—сидит на канате и читает такую огромную книгу, каких он в жизни своей никогда не видал, в нее войдет добрая половина энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона,—вот бы кого спросить, но строг этот человек, нет,—его невозможно спросить. На другой стороне парохода в каюте первого класса у самого окошка дядя сидит и тоже учит свою огромную книгу,—спросить разве дядю? нет,—нет!— тот еще вслух заставит читать букву а. Лучше уж спросить незнакомого человека. Поколебавшись еще немного, решается и подходит.

— Какую вы, дяденька, книжку читаете, можно вас спросить?

— Можно: Маргарит-книга.

— Очень большая!

— Пуд десять фунтов.

— Вы ее взвешивали?

— Вешана книга не на казенных весах и меряна не казенным аршином.

— Можно спросить вас еще: тут, говорят, будто переселенцы едут в золотые горы, в географии этого названия нет, а как вы думаете, есть золотые горы?

— Что скажет светская наука? Можно ли сосчитать песок на Волге и зачем это нужно? А белые воды есть.

— Белые воды?—я спросил вас—золотые горы?

— Золотые горы стоят на белых водах.

— А где же белые воды?

— Этого сказать нельзя, пойдешь на восток с верой в сердце, найдешь белые воды и на белых водах золотые горы.

Алпатов замолчал смущенный и растерянный, никогда еще в жизни ему не случалось встречать и даже думать, чтобы могли быть на свете люди взрослые и жили бы совершенно, как он хотел в первом классе гимназии, собираясь убежать в Азию.

— Есть еще что спросить?—сказал этот странный человек.

— Откуда вы едете?—спросил он первое, что пришло ему в голову.

— Этого, дитя, я тебе не скажу: мы, странники божьи, ни града, ни веси не имам.

— А куда вы идете—это можно спросить?

— Это можно: иду я в Китеж, невидимый град.

— Как—невидимый?

— Был Китеж град бóльший, но, попущением божьим и грех наших ради, скрылся и невидим стал.

— Как же вы туда идете?

— Иду, дитя, иду: все молюсь и надеюсь, кто праведный, тот приходит и святой град ему открывается. Так и на белые воды тоже надо с молитвой итти; кто праведный, приходит и видит золотые горы... Ну, еще есть что спросить?

Алпатов замялся, ему еще очень много хотелось спросить, но странник не понял его и, поправив веревочку от очков возле уха, продолжал читать свою огромную книгу.

Возле дядиной каюты он робко остановился и заслонил свет.

— Ты чего это?

— Вот тут говорят все про золотые горы,—есть, дядя, золотые горы на свете?

— Ну, как же. Алтай называется Золотые горы, мы туда возим переселенцев.

— А мне сейчас сказали, что на каких-то Белых водах, может быть и это есть в географии?

— Нет, этого нет, тебе наверно старовер наговорил; и как ты от матери не слыхал: мы же прежде были староверами, я сам попал в Сибирь с беловодчиками, это все сказки—и выкинь ты из головы эту дурь, в науке есть на все объяснение, верь в науку, учи и все будешь знать. Стой, да ведь Алтай-то у нас с тобой есть, буква а,—ну-ка, иди сюда, читай, а я послушаю.

Читают географию и час, и два... Пароход останавливается на маленькой пристани.

— Ну, ступай, посмотри, передохни,—отпускает дядя своего чтеца.

И видит Алпатов, как со своей огромной книгой странник сходит по трапу на берег и тропинкой идет по цветущему лугу. Вот бы бросить мягкий диван каюты первого класса, тяжелого дядю с его ужасным словарем Брокгауза, и тропинкой бы итти себе в какой-то невидимый град с этим странником. Но что́, если странник тоже заставит читать себе его огромную и наверно тоже страшно скучную книгу? Такие разные старики, а чем-то очень похожи,—чем же?—один сказал, что не вешает ничего на казенных весах и не мерит казенным аршином, другой переделал пословицу и учит: не пей из колодца, пригодится плюнуть. Старики чем-то очень похожи, но у одного—огромные сибирские реки и пароходы, у другого—цветущие луга с задушевными тропинками. Все хорошо, только не попадайся им в руки: тяжелы их книги, как грех.

Смолоду суровая река эта Кама, на берегах только леса, и на лесных просеках изредка только увидишь след человеческий, могильник с восьмиконечными крестами, или часовенку с позеленевшей крышей, но и то больше никого не хоронят на этом кладбище и никто не ходит молиться в эту часовенку: нельзя лежать больше в этой земле, опутанной цепью антихриста, нельзя тут молиться, дальше и дальше надо итти в те леса, где еще не пролегла цепь землемера, где нет меры и счета с царской печатью. Идут, бегут куда-то на белые воды незнаемые люди, а за ними следом паутинною сетью ложится казенная мера и счет. Великих страстей мрачная история раскинулась по лесным берегам, и верно потому Кама-река смолоду выглядит такою суровой.

За Камой—тоже суровый Урал. Поезд незаметно ползет с горы на гору, и все только леса вокруг и кое-где долины, покрытые высокой цветущей травой. Сверкает смелая привольная коса, а позади ее—сми-

ренная женщина с граблями. Он косит, она собирает; вечная пара, покорно выполняющая заповедь: в поте лица своего обрабатывай землю.

И вдруг, конец библейской картине, показывается неписанное в библии, товарный вагон все закрывает и на нем мелом: „теплушка для людей". В маленькое окошко высунулась всклокоченная голова с бородой и другая—в ситцевом платке, глядят, как лошади с темного двора на светлый день. И это тоже вечная пара—Адам и Ева. Их вот только-только что выгнали из рая, где было им так хорошо. Ева смотрит на угрюмые лесные уральские сопки и говорит своему старику:

— Як бы трошка землицы в Полтаве, так на щоб я в ту бисову землю поехала.

Кто-то ими интересуется, спрашивает кондуктора:

— Обратные?

— Нет, туда. До осени все туда, с осени до масленицы—назад; туда идет, думает, в золотых горах найдет золото, назад идет, лохмотьями трясет, вшей бьет.

Поезд трогается и,—будто занавес открывается: первый Адам и его Ева, прекрасные, косят у самого столба, где написано: „Европа".

„Азия" успел разобрать на другой стороне Алпатов мелькнувшую черную надпись на белом столбе.

И как же вдруг сердце запрыгало: вот, наконец-то, она, желанная Азия... куда хотелось давно убежать, открывать забытые страны,— то нельзя было попасть в нее с ужасным усилием воли, а то вот стоял себе на площадке вагона, и Азия сама пришла. Радость переливается через край, хочется непременно с кем-нибудь поделиться, сказать, что вот сию минуту мелькнул белый столб с надписью „Азия", и мы теперь уж не по Европе, а по настоящей Азии едем, но никого нет на площадке вагона. Он берется уже за ручку двери, чтобы войти в вагон и крикнуть дяде про Азию, но во-время одумался и остался на площадке: дядя сразу догадается, что Азия начинается с буквы а, и непременно заставит его читать букву.

Но ведь это же совершенно не та Азия, которой он теперь радуется: это он сам тут, а вовсе не географическая Азия. Дядя никогда этого не поймет, да и сам он вовсе не отдает себе отчета. Это не мысли его, а какие-то *x*-лучи проходят через его голову куда-то, и от них остается не мысль, а только аромат ее, как от цветка: невозможное достигается, но не как у дяди, насильно, нет, надо только вначале пожелать „до зарезу" сильно, а потом и забыть, как пахарь забывает посеянное, и оно потом само вырастает.

— Я счастливый,—думает Алпатов,—хотя и поздно, а у меня вырастает, но почему же вот эти настоящие сеятели бродят по всей нашей земле, и все нет им земли, чтобы посеять свое зерно, и как тут быть, если у меня будет счастье,—я стану на первое место, как дядя советует, а вокруг все будут несчастные, и я буду, как мать: прятаться от мужиков, боять сячаю напиться на балконе из-за того, что увидят

это люди с полей. Но все-таки хорошо, что это настоящая Азия, и я своего достигаю. Та самая Азия, — колыбель человеческого рода, и Урал—ворота, в которые вышли все народы Европы.

Прыгнула дикая коза на утес и сверху глянули рожки, прыгнула на другой подальше, остановилась опять, и рожки стали совсем маленькие и потом совершенно скрылись в лесах. Еще любопытно было смотреть, как стаи тетеревей, напуганные поездом, перелетали дальше и как поезд скоро опять их настигал и они опять дальше летели. Мерный стук поезда сбивает всякие мысли, путает их, в бездумьи начинается песня, и так он поет и час, и другой, все поет, и поет.

Поезд незаметно спускается, долго бежит по равнине, покрытой перелесками, все реже и реже показываются между перелесками поляны, и, наконец, все смыкается, направо и налево невылазная чаща,— начало великой сибирской тайги. Вот и кончился рельсовый путь и с ним кончилась последняя теплота души, связанная с родными картинами, на великой сибирской тайге незримыми буквами написано: будь холоден или горяч.

Переселенцев выгружают прямо на рельсы, они в лохмотьях и, странно, зачем у них у всех столько ненужного,—даже со связкой самоварных лучинок не могла расстаться деревенская женщина и привезла их из Полтавы в тайгу. Обер-кондуктор брезгливо и осторожно шагает через лежащие на пути тела второго Адама и очень боится замарать о них свои блестящие сапоги. Он говорит кому-то:

— Вот это самый выгодный груз на пароходе, не подмокнет, не украдут.

Пароход „Иван Астахов" стоит на парах. Переселенцев грузят в баржу, еще грузят керосин в огромных бочках, и масса над этой погрузкой работает каких-то особенных оборванцев с суровой печатью тайги: „будь холоден или горяч", они совсем непохожи на теплых Адама и Еву. На своем пароходе дядя совсем другой человек, попрежнему молчит, но кругом все кипит от его страшного молчания, и бегает капитан бестолково, руки у него отрываются при страшных взглядах хозяина: ох, он что-то заметил и не спускает глаз с капитана!

Пароход плывет и пугает свистками диких уток, гусей и лебедей, на каждой остановке дядя выходит на пристань, точно такие же оборванцы, как и в начале пути, окружают Астахова, о чем-то тихо просят его, и он сажает их в баржу с переселенцами.

— Кто эти люди?—спрашивает дядю Алпатов.

Иван Астахов сверху измеряет его взглядом, как будто хочет сказать: „вот еще какой щенок подвернулся“, но, как бы вспомнив и одумавшись, говорит:

— Отгадаешь загадку, — скажу, не отгадаешь — никогда не смей мне соваться с вопросами, не будь сам дураком и сам догадывайся.

— Какую же загадку?

— Как перейти непереходимое болото?

— Неправильная загадка: непереходимое нельзя перейти.

— А вот и можно, отгадывай, буду считать до двенадцати: раз, два, три, четыре...

— Может быть, зимой на лыжах?

— Молодец!—сказал дядя, и так лицом просветлел, что осветил и капитана.

— Кто же эти странные люди?

— Шпана́,—сказал дядя.

И на немой вопрос ответил:

— Таежные жители: разбойники, воры, всякая рвань с волчьими билетами.

— Куда же вы их везете?

— К себе везу, пароходы строить.

— Но ведь они же с волчьими билетами?

— Ну так что́ из этого, ты же сам с волчьим билетом. Понял? больше ты меня не спрашивай и сам догадывайся. Теперь ты отгадай мне другую загадку: первое ра, второе ки, что будет в целом?

— Раки! дядя.

— Ну, пойдем есть раки.

Чистит раки, а сам прислушивается, на носу начинают кричать: „под табак“, три, три, два с половиной, и как крикнули „два!“—что-то зашипело и затрещало на дне парохода. Астахов бросает раков, выскакивает на палубу и мигом, заметив наседающую на корму парохода баржу, кричит растерянному капитану:

— Полный ход!

Капитан кричит в машину:

— Стоп!

Астахов тигром бросается в штурвальную, схватывает капитана, швыряет за борт и кричит в машину:

— Полный ход!

Пароход срывается с мели. На полной воде равняется с баржей, с борта на борт перекидывают трап. Астахов идет туда на баржу, его окружает шпана́.

— Есть у вас, кто может управлять речным пароходом?

Выходит невзрачный человек желтого цвета, покрытый весками.

Астахов его мгновенно оглядывает, сразу что-то понимает, спрашивает:

— Политика?

Желтый кивает головой.

— Становись капитаном.

Возвращается на пароход, принимается опять за раков, совсем даже и не спросив, достали из воды прежнего капитана, или он утонул... После раков князь сибирской шпаны, довольный, чувствуя, каким-то шестым, материнским чувством, что новый капитан ведет пароход очень хорошо, принимается учить из буквы а статью Абиссиния.

От всего чувствует себя Алпатов тем сморщенным темным комочком, который остается, если шилом проткнуть детский красный резиновый воздушный шар. И ему кажется, что все так возле тайги. Вон там на берегу тоже мечется между пнями какое-то существо, похожее на человека, машет руками, а пни огромных деревьев залиты черной водой, и черная вода курится белым паром; далеко эти пни куда-то уходят до горизонта, и там на горизонте синяя полоса нетронутой топором тайги, но тоже, наверно, залитая такой же черной дымящейся водой.

Человечек все машет и машет рукой. Ему посылают лодку, сбавляют ход. Вот он уже лезет по трапу на палубу, и тут все объясняется: тоже второй Адам из Рязанской губернии, пришел ходоком для своих земляков искать землю. Его спрашивают желтый капитан и дядя, нашел ли он землю. Ходок руками разводит: много искал, нет земли.

— Как нет земли?—не удержался Алпатов,—вон все земля и земля.

Все засмеялись.

— Нет, вьюнош,—сказал ходок,—то не земля, много к ней нужно еще капиталу, чтобы вышла земля.

— Зачем же вы землю ищете? ищите себе капитал.

— Умственный вьюнош!—засмеялся ходок.

И все засмеялись.

Но Алпатов не мог понять, чему же они смеялись и почему среди необъятных, никем не занятых земель, все кричат: „земли, земли!", и никто не крикнет: „капиталу, капиталу!".

А земля на берегах реки мало-по-малу все преображалась, и в одно утро, выйдя на палубу, Алпатов не узнал ее, все было теперь по-иному: не осталось и следа тайги, она ушла куда-то в другую сто-

рону, а тут везде, казалось на весь мир, раскинулась степь, но совсем не такая, как у Кольцова, желтая с низенькой, глазу неотличимой от песка травкой, это была бесконечная, как океан, глазатая степь-пустыня, на ней, как у таинственных каких-то животных, с телом, покрытым бесчисленными глазами, всюду сверкали светлые соленые озера со страшными фиолетовыми краями.

Многие от второго Адама тут выходят. Через большую реку перевозит самолет,—плот с колесами, как у парохода. Ветер боковой. Самолет не смеет отчалить. Скопляются верблюды, много баранов, коровы. Сзади напирают все новые и новые стада, и, нечего делать, самолет отчаливает как-то сам по себе. Быки давят бока своими рогами, лошади стегают хвостами по монгольским лицам, желтым, как спелые дыни, с маленькими раскосыми глазками. И хохот, и дикие крики, и забавное стегание друг друга нагайками, и, кажется, такая мудрая беседа почтенных людей в чалмах и халатах, сидящих между верблюжьими горбами, — все ново и — странно! — в глубине сердца как-то знакомо, будто сам когда-то ездил в караванах через пустыни и кочевал, перегоняя баранов, с летнего пастбища на зимнее стойбище.

Вот крик из трех согласных, упирающих на одну гласную, как растрепанные губы старой лошади:

— Тпру-уууу...

— Как, и у вас тпру?

— Да, и у нас тпру.

Корова падает в воду. Плот трещит. Все орут. Верблюд падает. Сильнее орут.

— Господи!—шепчут прижатые к рулю Адам и Ева.

Плот кружится, все, кто близко, лупят нагайками усталых изморенных лошадей, вертящих колесо самолета. Многие животные падают, одни покорно плывут рядом с плотом, другие, сильно фыркая, пробуют опять забраться на плот, и все вместе, и масса животных, и безобразно орущая масса людей, как будто все нарочно стараются поскорее разломить плот и все затопить, но плот все плывет и плывет через огромную реку.

И что удивительно: беседа мудрых людей на верблюжьих горбах продолжается. А еще больше удивительно, что многие шутят и говорят о пустяках, как будто не были у самого края погибели.

Кошка прыгнула с верблюда на лошадь, с лошади на монгола.

— Брысь!—сказал азиат.

Кошка прыгнула на Адама.

— Брысь,—сказал Адам, и тут же спросил монгола: — Стало быть, и у вас тоже брысь?

Азиат не понял. Ева ответила:

— От сотворения веков было брысь.

А на той стороне, куда, кружась, плывет самолет, новая гроза собирается, там возле белых юрт скопилось много животных и, уже приученные, все они стоят у самого берега в ожидании переправы, и, только плот приблизится, все бросятся на него и затопят, может быть, возле самого берега. Но чем сильнее подпирают в бока бычьи рога, чем ближе к уху дышит горбатый верблюд, тем спокойней на душе: ведь, так на Руси вся жизнь проходит, вот-вот потонешь, а плот все плывет...

Как-то расходятся, как-то обходятся и вот уже спрашивают вежливо:

— Руки, ноги здоровы?

— Аман!

— Верблюды, кони, бараны здоровы?

— Аман!

Так соединяется караван и плывет по сухому желтому морю между солеными озерами со страшными фиолетовыми краями к одному всем известному дереву с пресным ручьем. Тут караван останавливается ночевать. Собирают кизяк, разводят огонь. Всходит пустынный месяц. Вырисовываются бронзовые профили кочующих народов.

А кто это бородатый там у костра с женщиной в платочке?

Все те же изгнанные Адам и Ева ищут себе земли.

И повторяют:

— Никто, как Бог!

Верно старому Богу наскучили жалобы сотворенного им из глины Адама и Он создал другого человека и опять впустил его в рай, и опять этот второй Адам согрешил тем же грехом и с тою же старою заповедью был изгнан из рая в поте лица обрабатывать землю. Только, выгоняя второго Адама, Бог забыл, что земля вся занята, и новый человек, как забытый, пропущенный на страницах священного писания, бродит пока с покорным желанием найти землю и выполнить заповедь Божию, ищет везде: по тайге, по степям и по тундрам, но все напрасно, нигде не находит: земля везде занята.

Легка ты Русь своими хижинами, сгорела,—и будто слезла старая шкура змеи. Но и тяжела же ты своими каменными, похожими на сундуки, домами купцов: один в один и везде одинаково. А хуже того, как задумает купец выстроить что-нибудь свое, небывалое. Так выстроил себе пароходчик Иван Астахов, командир сибирской шпаны, двухэтажный дом с вышкой, огромный, неуклюжий и мрачный,—ни на что не похоже,—ни дом, ни корабль. Для чего одинокий холостой человек устроил себе такое большое жилье с танцовальной залой, люстрами и канделябрами на стенах? Видно, в свое время у него тоже

был свой расчет на хозяйку, на большое женское приличное общество, но могучий человек на сибирских реках не справился с таким, казалось бы, маленьким делом,—разыскать себе подходящую женщину, и от всей этой мечты осталась только буква Ж на одной двери в коридоре его нелепого дома, похожего на речной пароход.

Внизу двенадцать комнат и вверху столько же, на вышке подзорная труба—смотреть в степь на пароходы и на пожары: Иван Астахов создатель и до сих пор начальник вольно-пожарной дружины. Тут же на вышке знаменитая Лейденская банка, от которой в городе началось просвещение. Много лет тому назад вместе с солнечными часами и кучей разных разностей Астахов привез ее, как диво, из России, и долго весь город ходил смотреть удивительную Лейденскую банку и пробовать своим пальцем силу электрической искры. Случались такие разряды, что у любопытного палец надолго оставался крючком, но, хоть умри, а если уж зашел посмотреть Лейденскую банку, Астахов непременно заставит на себе испытать силу разряда. Река вина была выпита за столом с Лейденской банкой, горы пельменей были съедены—в уксусе, вареных в молоке и дорожных сушеных прямо из мешков. За сибирскими разговорами—кедровыми орешками—и родилась от Лейденской банки и от одного ссыльного естествоиспытателя Барбосова мысль открыть гимназию и так начать просвещение города,—наполненного баранами и верблюдами кочующих народов.

Молчаливой тенью в мягких туфлях ходит по дому дрессированный лакей Александр, лимонно-бледный, с потаенными глазами. Он еще с полночи начинает готовить страшно крепкий чай своему господину: Иван Астахов одинаково зимой и летом встает с петухами и до начала своих пароходных дел занимается чтением. Чего только он не нахватал для своей библиотеки!.. Много есть тут всяких романов, но не в них дело,—Астахову дорога в книге умственность, такое, чтобы можно было поломать свою голову и все-таки до конца не понять и оставить догадку себе: есть Дрепер и Бокль,—есть Дарвин и Спенсер: из каждой такой книги выходит как бы вызов всему свету, вот это и есть самое драгоценное, заманка всего чтения. Даже Апокалипсис у него не простой, а подделка под XVI век, проданный букинистом за большие деньги, как оригинал; такую книгу читать совсем невозможно, а зато как хорошо показать гостям загадочное и шепнуть: „эта книга тоже с душком“. Но есть святая-святых библиотеки, тайна из тайн, и показывается только избранным: роман „Что делать?“ таинственного автора, „Знамения времени“, Ренан „Жизнь Христа“ и Кеннан „Сибирь и ссылка“, две книги рядышком в одинаковых переплетах, будто два тома одного сочинения, есть и запрещенная „Крейцерова соната“ Толстого, переписанная со многими ошибками в русском рукой легкомысленной свояченицы самого уездного начальника, Марьи Раймондовны. Хорошо все-таки не знать методов научных исследований и до старости читать разные книги с постоянной надеждой,—что вот такая-то вдруг откроет

сразу все; но без всякой связи этого чтения с делом даже Астахов устал и накинулся на энциклопедию, как ученый на метод. Он уже близился к половине тома, посвященного букве А, как вдруг ему предстала статья „Азбука" и читать ее не захотелось. Для отдыха он взял том с буквой П и сразу на все утро увлекся Платоном, потому что эта большая статья была ключом к загадочной и везде повторяемой фразе: „любовь платоническая". Начитанный за ночь Платоном, он зовет к утреннему чаю своего племянника с лукавой затеей посрамить гимназиста.

На зов приходит Алпатов робкий и смутный, как зверок, пойманный и посаженный в огромную клетку.

— Чай пить!—говорит ему дядя.

Пьет и, раздумывая о чем-то своем, забывает на время о племяннике, будто его тут вовсе и нет, и только на половине стакана вспоминает и говорит:

— Чай пить—не дрова рубить!

Но Алпатову кажется, куда легче бы рубить дрова, чем пить чай с тяжелым человеком, молчать и прислушиваться к мертвому ходу лакея Александра в его мягких туфлях. От напряжения молчания у него начинают даже показываться в глазах прозрачные фигуры разного цвета и проплывать справа налево, и все больше и больше их, так что кажется, если не разогнать их словом и оставаться в молчании, то и тебя самого утянет в какую-то бездну. Нет, невозможно больше молчать, и Алпатов, с риском сказать непоправимую ерунду, хватается за первое, что приходит ему в голову.

— Нас учили, дядя,—что под землею огонь.

— Конечно, огонь, а то отчего же вулканы?

— Вулканы-то, говорят, могут быть и от воды: под землей вымываются громадные пещеры, своды их иногда обрушиваются и с такою силой, что от удара вода обращается в пар и плавятся металлы, вот почему из вулканов показываются сначала газы, а потом и лава; это называется нептуническая теория происхождения вулканов. А то есть еще теория плутоническая.

— Платоническая?—спрашивает дядя,—очень довольный, что так можно связаться с Платоном и посрамить этого маленького разумника.—Так стало быть о вулканах еще Платон размышлял?

— Не Платон, дядя,—а Плутон, плутоническая теория строится на предположении, что под землею огонь; Плу́тон был бог огня, а Платон греческий философ,—ученик Аристотеля, он...

Дядя не выдержал, ему от слов Алпатова стало почти так же худо, как тому от дядина молчания.

— Ну, ты меня не учи!—перебил он племянника—Платона я знаю, наверно, получше тебя. А до Плутона еще не дошел.

Испуганный наступлением ужасного молчания Алпатов опять схватился за первую проходящую через голову мысль и сказал, вот уж никак не желая задеть дядю:

— Как это вы, дядя, так скоро могли пройти с буквы А до Платона?

Дядя встает страшно рассерженный: хотел поймать племянника на Платоне, а мальчишка сам поймал его на Плутоне. В таком настроении Астахов идет в кабинет заниматься пароходными делами, и вот беда теперь, если придет к нему кто-нибудь в себе неуверенный и робкий, как несчастный капитан, чуть не погибший в воде Иртыша. И нужно ж было так случиться, как раз тут и приходит этот капитан Аукин просить прощения, о чем-то шепчется с Александром, озирается, решается, идет по коридору в кабинет...

А через минуту оттуда слышится удар железного костыля о пол и на весь дом:

— Ос-с-сел!

Аукин вылетает из кабинета, как из пушки ядро, и в передней встречается с тем самым желтым капитаном из шпаны, чтó сменил его на пароходе „Иван Астахов".

Кто он такой? Появляется откуда-то снизу по винтовой лестнице и там исчезает, живет там или приходит? у него какие-то отношения и с Александром, и с поваром, и с женой повара Настей, и к дяде он входит просто и во всякое время.

— Вышло?—спросил он Аукина.

— Чуть не убил костылем.

— Погодите немного здесь.

Уходит в кабинет и через минуту дядин голос оттуда:

— Александр, позови сюда этого осла.

Аукин крестится и просит Алпатова:

— Загляните поскорее в окошко, там дочка моя Алена, что она стоит там, дожидается?

Алпатов заглянул. Там под тополями стояла девушка в шляпке с лиловыми цветами, с лицом наполовину скрытым в русых кудряшках.

— Она здесь!—крикнул он.

Аукин еще раз перекрестился и шагнул в кабинет.

Кто же этот таинственный желтый капитан?—откуда у него такая чудодейственная сила?—выходит из кабинета с Аукиным счастливым, сияющим. Снизу с тряпкой в руке поднимается Настя, манит рукой,— желтый капитан опять с ней исчезает по винтовой лестнице. Аукин делится радостью с Александром: он опять капитан „Ивана Астахова". Потом Алпатов видит из окна, как на радостях отец встречается с дочкой Аленой, выделывает ногами и руками какие-то вензеля, будто его дергают за веревочку, как бумажного акробата. Алена быстро, испуганно взглядывает вверх и встречается глазами с Алпатовым: на носу у нее и на щеках такие веснушки, будто из каждой скоро должна вылететь птичка с удивленными глазами и бархатным бантиком на белом горлышке. Она очень смутилась, увидев чье-то лицо в окне,

и что-то строго сказала отцу. За тополями они быстро скрываются, но что́, если побежать скорей на второй этаж и посмотреть сверху? Так и есть, идут по направлению к пристани по деревянным осткам. Оглянется, или нет? если оглянется, будет хорошо, нет—худо. Оглянулась на повороте и скрылась за стеною товарной конторы. А что́, если теперь забраться на вышку? Бежит скоро туда, и опять видно. Смотрит в подзорную трубу,—вот бы теперь оглянулась: ну же, ну,—ну,—ну... Она оглянулась, и разом из всех ее веснушек вывелись птички, все сорок сороков полетели на вышку и на ту золотую луговину, где стоит певучее дерево; кто-то сорвал на лугу белую ромашку и загадывает: любит или не любит? А наверху-то на певучем дереве так хорошо звенят струны святого пчелиного труда и ничего в том не понимающие шмели дураками густо басят: жениться, жениться...

— Ты кого это смотришь?—грянуло сзади.

— Там в степи, дядя, кажется, дымок показался,—вы ожидаете „Лену“?

Астахов берет трубу и очень радостный:

— Да, это „Лена“ идет.

— Лену я еще не видал, она большая?

— Сейчас увидишь.

Простым глазом видел Алпатов, как шла на пристань с отцом Алена и думал: она большая взрослая барышня,—какое ей дело до него, но все-таки почему же она все оглядывалась?

*(Продолжение следует.)*

# Солдатские песни и сказки.

(Из книги „По следам войны".)

**Л. Войтоловский.**

Всю войну 1914—1917 г.г. я провел на фронте. Перебрасываемый из части в часть и участвуя во многих походах и операциях, я был свидетелем тех страшных событий, под давлением которых и в солдатской толще, и внутри населения, терзаемого войной, создавались новые чувства, складывались новые планы, рождались новые люди новой жизни, полные чуткого ожидания, глубокой вдумчивости и напряженного, мстительного гнева. Мимо меня прошла вся Россия. Солдаты, офицеры, врачи, мужики, евреи, ксендзы, арендаторы, польские помещики, колонисты, женщины, старики, дети... Все они жаловались, проклинали, требовали, ненавидели, плакали, умирали. И все, что я видел и слышал, все их измученные слова и взволнованные чувства я тут же, по горячим следам, заносил в свои дневники. Так сложилась большая четырехтомная книга „По следам войны", печатающаяся в Государственном Издательстве. Мои записки — это вопли и жалобы воюющей армии и измученного населения; слова, рожденные на кровавых полях и свалявшиеся в вонючих окопах в огромные комья брани, желчи и гнева, пропитанные кровью и гноем войны. Но среди этих кровавых сгустков и грязных окопных плевков попадаются слова, которые светятся дыханием большого таланта и обвеяны прелестью могучего творческого порыва. Таковы многочисленные песни, сказки, пословицы, поговорки и надгробные надписи, возникшие на полях сражений и позволяющие нам заглянуть в тайники народной души. Некоторые из этих сказок и песен,—в виде случайных, ничем не связанных между собой отрывков, — и приводятся мною ниже.

## Солдатские песни.

Прощальная.

То не тучка к месяцу прижимается,
Как и плачет женушка, надрывается:
Ты вернись-вернись, сокол ясный мой,
Я — что травушка, ты — как дуб лясной...

Брось, жена, рыдание понапрасное.
Ты взойди-взойди, солнце красное,
Кровь-войну пригрей да повысуши,
Про житье солдатское да повыслушай:
Как и день идешь, как и ночь бредешь,
Крест да ладанку на груди несешь.
А в груди тоска — рана жгучая —
Не избыть судьбу неминучую.
А как всем людям здесь судьба одна,
Как судьба одна — смерть-страшна война...

Разгульная.

Уж как я ль молодец
Не в красе живу:
Красны девушки —
Пули резвые,
Молодые молодушки—
Ядра медные.
Хорошо мне песни петь —
Сыт по горло я.
Я и я ль сиротец
Лег, не ужинал,
По утру рано встал —
Да не завтракал.
Я без хлеба сыт,
Сыт без соли я,
Не дождаться мне
Вольной-волюшки.
Эх, пойду ли я, сиротинушка,
С горя в темный лес.
В темный лес пойду
Я с винтовочкой.
Сам охотою пойду,
Три беды я сделаю:
Уж я первую беду —
Командира уведу,
А вторую как беду —
Я винтовку наведу,
Уж я третию беду —
Прямо в сердце попаду.
Ты рассукин сын начальник,
Будь ты проклят!..

— Война не жена: со двора не прогонишь.
— Хвали рожь в стогу, а начальство в гробу.
— Солдатскими мозолями офицеры сыто живут.
— Не велик прапорщик пан, да офицером напхан.
— На войне замки ржавые, а ребята бравые.

# Хоровые окопные песни.

## 1.

Ой, не спится в ночь осеннюю.
Льются слезы, слезы частые,
Подкатилось горе лютое,
Подкатилось, присосалося.

Сирота ль ты, сиротинушка,
Горемычная головушка,
Да ты спой-ка с горя песенку
Про житье свое военное.

Не крута гора, не горушка
Ты тяжка — высока крученька
Середь поля-долу чистого
Из костей мужицких выросла.

Где катилась речка малая,
Берег с берегом не сходится:
Опоили землю-матушку,
Опоили кровью русскою,
Кровью русскою, солдатскою.

Уж ты смой, вода студёная,
Ты стуши нам раны жгучие.
Припокровь сосна зеленая
Ты головушки победные...

## 2.

Не берлоги там зверные,
То солдатские квартирушки —
Залегли окопы черные
В чистом поле — на раздольице.
Поперек легли — отрезали
Все пути нам, все дороженьки
На родную, милу сторону.

Ах, ты пуля, пташка вольная,
Пуля резвая, порхливая,
Ты лети, лети на родину —
Отнеси ты утешеньице:
Вы терпите, детки малые,
Вы крепитесь, жены милые,
Уж вы, матери, порадуйтесь
На житье-бытье окопное.
Сладко пожито - похожено,
Вволю корушки погложено,
Опились слезами до-пьяна,
Опоили землю-матушку,

Опоили кровью до̀-тошна.
День да ночь мы Богу молимся,
Оглушили небо до̀-глуха.
Божья церковь — яма черная;
Образа̀, вить, часты выстрелы;
А попами—пушки гулкие,
Что поют про наши душеньки.
Пашню пашем мы в глухую ночь,
Не сохой — штыками, бомбами,
Не цепом молотим — пулями
По немецким по головушкам...

**3.**

Покрыты костями карпатские горы.
Озера мазурские кровью красны,
И моря людско̀го мятежные взоры
Дыханьем горячим полны.
Зарницами ходит тут пламя пожаров,
Земля от орудий тут в страхе дрожит,
И вспаханы смертью поля боевые,
И много тут силы великой лежит.
Как свечи — далекие звезды мерцают,
Как ладан кадильный — туманы плывут,
Молитву отходную вьюги читают,
И быстрые реки о смерти поют.
Тут синие дали печалью повиты,
О родине милой тревожны тут сны,
Разбито тут тело, и души разбиты,
И горем и бредом все думы полны...

**4.**

Я ранен, товарищ, шинель расстегни мне,
Подсумку скорее сними,
Дай вольно вздохнуть; и в последний разочек
Ты крепче меня обними.

Не в силах я больше... изранены ноги...
Горячая пуля, как жало, впила̀сь.
Кровавым туманом закрылись дороги,
И по̀ небу кровью заря разлилась...

Да где ж ты, товарищ? тебя уж не вижу...
Ты крест, что жена навязала, сними.
И если не ляжешь со мною ты рядом,
Смотри — повидайся с детьми.

Жену не увидишь — недавно зарыли!
Остались сиротки одни.
Скажи им, чтоб знали... чтоб знали всю правду
Про муку про нашу они.

Скажи им: отец на далеких Карпатах
Засеял не мало земли,—
И севом богатым в карпатскую землю
Солдатские кости легли.

Костями, да громом, да гневом безмерным
Засеял и кровью полил.
И в час свой предсмертный, о вас вспоминая,
Он с верой в посев свой почил.

И, если он сам не собрал урожая,
Скажи им,—пусть знают и ждут,
Что мертвые кости с далекого края
Еще за ответом прийдут.

## Солдатские сказки.

### Сказка о том, как началась солдатская служба.

...Раньше все мирно жили, по-людски; никаких войск не было и воевать не воевали. А как стал султан противу других силу собирать, видит царь, что все султан себе заберет, ни клинышка не оставит, и послал царь к мужикам подмоги просить. Так и так, говорит, ни часочка радости не имею: навалился султан на мою землю, хочет красу-царевну в полóн забрать, помогите, мужички, горю православному. Вас, мужичков, большие тыщи, много ли вашей судьбы уйдет—самые пустяки! А мне большую приятность сделаете, во век жизни не забуду. Распалились мужички, удержу нет. Разбили они все войско султанское, забрали землю турецкую, и прямо с большого бою назад, в деревню к себе. Только в деревню пришли—глядь: ан царь-те снова к себе зовет. Да не просто зовет, а с вывертом. Дома-то у мужика что? Дома—жизнь тесная, тараканы, грязища и дух мужицкий густой. А царь, вишь, чтобы к войне-то мужиков приохотить, давал им в обед баранину и кашу молошную, и по чарке водки; одно слово, не обед, а как поминки за богатым покойником. Известно, мужикам и понравилось у царя служить. Как пришли они опять на службу царскую, царь и давай улещивать мужиков, чтобы они у него навсегда остались. Вы, говорит, и воевать никогда не будете, а есть-пить вдосталь. Ну, вот и остались у него мужики. Спервоначалу оно так и было, как царь говорил, а как старый царь помер, объявили мужики новому царю: „Буде; отвоевалися; не хотим больше служить“. Только вынул это царь грамоту печатную, а на нее старый царь печать свою приложил златым своим перстнем, а по перстню слова такие: „Всегда, отныне и до веку“. И остались мужики, как под замком каменным. С той поры и пошла служба царская...

## Сказка про Тишку-разбойника.

...Едет раз мужичек. На возу клади сто пудов. И на хорошей бы лошади—ни тпру, ни ну. А у мужичка лошаденка плохонькая и поклажа барская: с которой стороны чужую кладь ни поверни—все тяжело!.. Едет мужик с возом, мычит, кряхтит—помереть впору. А навстречу ему шестериком сам барин. Поровнялся с мужиком:

— Стой!—кричит барин.—Отчего у тебя, сукина сына, лошадь не везет?

И давай греметь и костить.

Ан глядь—вырос из-за куста мужик, снял шапку, поклонился барину до земли и говорит:

— Пожалуйста, барин, ваше благородие, окажи ты такую милость мужику-дураку, подари ему левую пристяжную.

Как взъерепенится, как загремит барин:

— Как ты смеешь, дурак ты этакий, мне говорить такое? Да я тебя!..

— Уж сделай милость, барин,—пристает мужик,—подари мужику левую пристяжную.

Еще пуще разоряется барин:

— Да как ты смеешь?! Да знаешь ты, что я с тобой сделаю? Да кто ты такой?

— Осмелюсь вашей милости доложить, человек я простой да маленький, а прозываюсь я—Тишка-вахлак.

Как услышал барин, что перед ним Тишка-разбойник стоит, куда прыть вся делась.

— А,—говорит,—здравствуй, Тишенька! бери лошадь, какая нравится. Пусть мужичек доедет с богом до дому, а я и пятериком доберусь, лошади ничего не сделается... После только пусть назад и приведет.

— Нет, уж, барин хороший, подари, пожалуйста, мужичку совсем лошадку! Не изволь, барин милостивый, отнимать лошадки у мужика. Не для себя прошу, прошу для твоего же здоровья.

— Изволь, Тиша, изволь! Я для тебя, Тишенька, и совсем могу это сделать, могу совсем подарить! Изволь, изволь, миленький!

Припряг мужик к возу левую пристяжную, взмахнул кнутом и в полчаса до дому доехал. Да еще и после сколько на той барской лошади ездил.

— Мудреная сказка,—ухмыляются солдаты.

— Ай не вдомек?.. может, война-то и есть тот самый Тишка-разбойник, что от барской шестерки левую пристяжную мужику отдать хочет...

## Судья праведный.

Жила в одном городе девушка-красавица. Ведьма не ведьма, а на кого взглянет—так и околдует.

Ничего весь день не делает, только ходит по уличке да красу девичью показывает.

И такой она красоты была, что краше ее на всем белом свете не сыскать. Сама светлая; руки белые; ступит — лебедь плывет; глаза,— как камни самоцветные. Улыбнется — ровно радуга по лицу пройдет. А как глянет парню в лицо—так нутро у парня, как селезенка у мерина, играет.

Вышла раз девушка на улицу погулять, а навстречу ей сиротец-удалец, горе-вдовий сын.

— Здравствуй,—грит,—раскрасавица. Дозволь поцеловать тебя в губы алые, в уста сахарные.

— Изволь,—отвечает девушка,—целуй! Только допрежь оброку плати.

— Какой такой оброк?

— Дай 20 рублей — приду к тебе ночевать. А без того — не замай.

Усмехнулся сиротец, горе-вдовий сын:

— У меня и полтины сроду не было. Где же мне таких денег добыть?

— Ну, так проваливай себе мимо.

День прошел, другой прошел. Вышла девушка по уличке погулять, а навстречу ей опять вдовий сын.

— Здравствуй, раскрасавица! Дозволь в губы алые, в уста сахарные поцеловать.

— Заплати оброк — на всю ночку приду к тебе.

— Откуда ж мне денег таких добыть?

— Тогда уходи. Нет мне от тебя прибыли — и любви моей не будет тебе.

Засмеялся сиротец, горе-вдовий сын.

— Эх, ты, девка обманная. Много тебе красоты дадено, а жалости никакой.

И сполюбилась ему с той поры девка, нет ему никого на свете милей. Ходит, как пьяный; только об ней и думает. До чего ни возьмется — все промеж рук, как вода, бежит.

А девка, знай, все свое твердит.

— Заплати 20 рублей — тогда и владей.

Долго ли, коротко ли, только встречает раз сиротец, горе-вдовий сын раскрасавицу свою, низко ей в пояс кланяется, смеется от радости:

— Спасибо тебе, красавица, за ласку сладкую.

Смотрит девушка, толку не доберет.

— С чего это ты? — спрашивает она парня.

А сиротец, горе-вдовий сын, давай бахвалиться:

— Ночку всю ты у меня под боком была. Сама пришла и сама ласкала, не противилась больше. Уж так-то тепло мне было, так сладко целовал-миловал тебя, что и сказать не могу.

Рассердилась красавица, слова зазорные говорит, глаза от злости огнем горят. А потом как крикнет:

— Плати, вдовий сын, оброк. Давай 20 рублей!

— За что тебе 20 рублей, коли это мне все во сне представилось?

А та все об одном:

— Сам рассуди. Ночью тепло под боком было? Тебя целовала-миловала? Слова умильные говорила? До тебя тулилась и ластилась? Так не все ли тебе одно, во сне ли представилось или я сама тебя допустила? Плати оброк — по порядку.

— Совсем ты ума решилась, девка. За что ж я платить тебе стану, коли не ты меня допустила, а во сне я к тебе посватался?

— Ну, и мне не расчет. Пойдем на суд к судье праведному.

А был в том городе праведный судья. Брат ли с братом поспорит, хозяин ли у работника урвет, муж ли с женой поссорится,—всякое недовольство к судье несут, и всем он солнышком светит.

Подумал вдовий сын:

— Ин, ладно,—говорит,—пойдем к судье праведному: как он рассудит, так и будет.

Вот пришли они на суд к судье праведному.

— Рассказывай, красавица, в чем твое прошение.

— Ищу с вдовьего сына 20 рублей—по уговору. Тепло я у него под боком лежала, целовала-миловала, умильные слова говорила, тулилась да ластилась, а он—горе-вдовий сын—денег платить не хочет.

— А ты что скажешь, горюн? — спрашивает судья праведный у вдовьего сына.

— А то я, судья праведный, по всей правде скажу, что не сама ко мне девушка в постель легла, а привел ее в мой дом сладкий сон. Ничего она про то не знала, не ведала, а сам я ей про все рассказал, как мне во сне представилось, что тепло под боком красавица лежит и ласкает меня, не противится.

Как смола горячая вскипела красавица:

— Ах, ты, вдовий сын, сиротец-удалец, ты скажи судье праведному: запрыгало ль у тебя сердце в груди, когда меня увидал? Целовал ли ты меня до-сыта? Противилась ли я ласкам твоим? Ни к чему я тебя не приневолила, сам к себе привел, сам ласкал-целовал, значит—должен платить по уговору.

— Хорошо, — сказал судья праведный.—Выслушал я тебя, красавица, и тебя, вдовий сын. Теперь—принеси ты мне, красавица, зеркало, а ты—вдовий сын, дай мне в руки 20 рублей.—Потом взял судья зеркало. Поставил его перед красавицей. Деньги перед зеркалом на стол положил. И спрашивает красавицу:

— Видишь в зеркале 20 рублей?

— Вижу, судья праведный.

— Вот и бери себе те деньги, что в зеркале лежат.

Побледнела красавица и говорит:

— Как же я эти деньги возьму, коли не деньги это, а тень зеркальная?

— Так, красавица, так. Только скажи ты мне по правде—по совести: тебя ли, твое ли тело теплое вдовий сын целовал-обнимал или тень зеркальную, что во сне ему представилась?.. А коли так, значит

все твое при тебе осталось; ничего твоего не убавилось. Так пускай же и деньги его уговорные при нем целы будут. Тебе, вот, за ласки сонные—деньги зеркальные. А ему за деньги зеркальные—сны поцелуйные.

И отдал судья праведный парню 20 рублей...

Рассказчик помолчал и потом лукаво добавил:

— Вот то-то и оно. На копейку много бумаги купить можно—написать обещаний всяких... Да что проку в них! Барская милость—что кисельная сытость. Сплюнул и нет ее. Одно слово—тень зеркальная.

## Сказка о том, как богатый мужик хотел жизнь воротить, чтобы по-праведному жить.

Жил-был на свете богатый человек, грешил долгий век. А как до смерти догрешился, заплакал-затужился:

— Не хочу живота лишиться.
Боюсь в гроб ложиться.
Хочу назад жизнь воротить,
Чтобы по-праведному жить.

Человек богатый захочет—и ангел с неба прискочит. Мошной тряхнет—и от смерти заступника найдет. Потребовал богатый мужик:

— Зовите ко мне знахаря, звездочея, да пахаря.

Пришел знахарь-ведун, старый колдун. Глаз жабий, язык бабий. Говорит ему богатый мужик:

— Не хочу итти в могилу; вороти мне, знахарь, молоду мою силу.

Отвесил знахарь поясной поклон и затянул бабьим голосом:

— Взойди, месяц, средь небес
Ты шуми-шуми, темный лес.
Все мне поклонны:
И мужья, и жоны,
И дьяки, и поддьяки,
И бабьи враки,
И бедные, и богатые,
И тощие, и брюхатые,
И пестрые власти,
И злые напасти,
И нищие, и знатные,
И щиты булатные,
Но противу могилы—
Нет во мне силы.

Рассердился богатый мужик и прогнал знахаря.

Пришел звездочей-огонь из очей; рубаха красная, поддевка атласная; голова белая, повадка смелая; борода длинная, душа козлиная.

Говорит ему богатый мужик:

— Хочу назад жизнь воротить, чтоб по-праведному жить.

Отвечал звездочей-огонь из очей:

— Ни тебе рев звериный,
Ни коготь орлиный,
Ни нож, ни яд,
Ни вострый булат,
Ни злая корча,
Ни бабья порча.
Давно на свете гуляю,
А такого средства не знаю;
Нет такого лекарства
На все государство.

Рассердился богатый мужик и прогнал звездочея.

Пришел пахарь-мужик, сам невелик; грудь чахлая, рука дряхлая; глаз приветливый, до всего приметливый.

Говорит ему богатый мужик:

— Хочу жизнь назад воротить, чтоб по-праведному жить.

Отвечал мужик-невелик:

— Коли ты от чистого сердца,
Найдутся такие дверцы,
А коль от лукавства, брат,
Не миновать тебе пекельных врат.

— Да уж от чистого сердца... Не мучь!

— Так вот тебе к дверцам ключ:

На самом закате,
В новой горенке, в хате,
В нову горенку войти,
Чисту душеньку найти,
На самом на закате
Луч последний поймати.
Выколи глаз у младенца,
Заверни во вдовье полотенце,
Дай ношу безногому человеку,
Прикажи нести за дальние реки.
Итти все прямо да прямо,
А за речкою яма
А на речке мост,
А за речкой погост.
По бокам смотри,
Смело говори:
В воде—черти,
В земле—черви,
Хочу вас изловить
И в карман посадить.
А как сова крикнет.

К могилке приникни;
Говори смело:
Выходи, дед, на дело;
Полетим мы оба
По чащам и трущобам
В полночь глухую
На гульбу бесовскую,
На промысел опасный.

— Если на такое согласен, сможешь наново жизнь воротить.

Обрадовался богатый мужик:

— Все сделаю сам, никому спуску не дам!

Только вымолвил—ан пахарь и сгинул с глаз. А уж черти вокруг богатого мужика так и пляшут:

— Вот так праведник! Спускайся к нам в пекло, продана душа.

— Правильные твои слова. Правильный сказ. Через войну уж какое спасение? Война—как ведьма лютая: с ней как раз в пекло угодишь.

## Баллада о миноносце № 103

Ночь темна... Ночь грозна... Вахтенный, не зевай и смотри!
На свинцовой волне колыхается миноносец № 103.

На фок-мачте дредноута замигал огоньками сигнал:
„Командира сто третьего вызывает на борт адмирал".

В адмиральской рубке тепло и светло, на столе хрусталь и стекло,
А над картой—седые усы и погон с двухглавым орлом.

— Лейтенант! Вот пакет. Выходите тотчас к маяку Эренсвэт,
— Передайте бригаде линейных и немедля обратно ответ. —

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ровно в девять, задраивши люки и погасив фонари,
Вырвался в пенную темень из гавани № 103.

Море ревело... Море гремело... Прядал за валом вал.
В темные бездны, с гребня на гребень № 103 нырял.

Час за часом бежит... Ночь черна, ночь бурна, ночь мертва.
Серебрясь от форштевня взлетают, шипя, кружева.

Пролетели маяк. Темнота... Пустота... Ни зги не видать.
Командир приказал на фор-стеньге позывные поднять.

И ответный огонь робким глазом мигнул, прорвав черноту,
И отдал пакет, и принял ответ миноносец, причалив к борту.

Полчаса, как столетье. Буря хлещет по масляным спинам громад.
В мутной зге и тумане несется № 103 назад.

Пляшет, скрипя, и рвется на гребни бешеный серый конь,
В двадцать второго марсовый крикнул: „По носу красный огонь!"

Через секунду: „Зеленый слева!" Спереди, сзади, кругом огни...
— Господи Сил!.. Туды-т твою... влипли... Помилуй, спаси, сохрани!

Скальпелем скользким взрезал прожектор вспухшую, серую муть.
Зеленью молний брызнули залпы в бледную дымную тьму.

Только уйти!.. Только прорваться!.. Флагману нужен ответ!..
Трепетно сжал командир на груди промокший пакет.

А снаряды гудят,
Снаряды рычат,

В небе и море — пламя, грохот и ад.
Но командир прорвется,
Но номер 103 вернется...
Он должен вернуться назад!

Пламени вихрь... Желтоблещущий взрыв... Руками взметнул человек.
Одиннадцатидюймовым, как щепку, снесло с миноносца спардэк.

Убит командир... Мичман в крови... Но не ляжет пятно на честь моряка.
Встал у штурвала матрос, и железная правит рука.

Воют снаряды... Рвутся снаряды... Харкают ревом орудий рты.
Плавится сталь... Рухнули трубы... В язвах пробоин борты.

Падают люди в красные лужи... Ширится ужас. Душен багровый чад.
Пушки подбиты и смолкли, но номер 103 вернется назад...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Грязно вставал над морем, мертвый, больной, блеклый рассвет.
Ждал адмирал от бригады линейных ответный пакет...

Что там?.. Куда там?.. Люди в порту, волнуясь, бегут и кричат:
— Номер 103 подходит! Номер 103 вернулся назад!

В руки тяжелый бинокль от вестового взял адмирал,
Впился в туман и вздрогнул и молча фуражку снял.

В гавань вползал, окутан дымом, пламенем весь одет,
Страшный, изорванный, мертвый и алым залитый скелет.

Ткнулся разрушенным носом в холодный Балтийский песок,
Заколыхался, метнулся и на-бок устало лег.

Сам адмирал взошел на дымящийся едкою гарью борт, —
Клочья мяса—команда и командир у штурвала мертв...

Но из развалин поднялся мертвец, огляделся кругом,
Вынул кровавый пакет и, подав, сказал: „Довезли целиком"!

Взял адмирал... Разорвал... Буквы растут в человеческий рост.
Соком багряным налился ответ: „Благодарны монарху за тост"...

Машинально твердил адмирал вялые фразы: „отечество... честь..."
И устало ответил матрос равнодушное:—Есть!—

И упал на обломки и умер, как всегда умирает солдат...
Так миноносец номер 103 вернулся из боя назад.

Борис Лавренев

## Осень.

Костры — лугам, костры, как дар
От племени огней,
Душа дорог больших горда,
Когда любезны с ней.

Та осень шла не просто так
В каштанов шум и медь,
От синих кленов до куста,
Забывшего сгореть.

Та осень пелась — так ракит
За полдень лист цветет,
Так ветер теплый вдоль реки
Вдруг над водой простерт.

С каких имен, с каких умов
На память списан путь? —
Тенистый Венден, брат холмов,
Просил нас отдохнуть.

Он — мельник нам вино разлил,
Мы пили — я сказал:
— Мы пьем не за твои кули,
Не за твои глаза.

— За тех, что звездами пройдут
От сердца до виска —
За красный клен, за юный дуб —
За свежесть—наш стакан.

За пылью пали звон и лай,
С листвой смешало дом,
Махала осень у седла
Погожим рукавом.

А там, где, выбежав из нор,
Сам ветер путь учил —
Вечерний Венден строил ночь
И путал кирпичи.

**Николай Тихонов.**

## Пилоты.

Медленно полнились соты,
Медленный встал кустарник,
О гуле высот — забота,
О море, таком еще раннем.

Из черной кожи щеки,
Уже на-лету совсем,
Стекает со стекол легкий,
Лукавый пилота шлем.

Как заповедь, западный ветер
Известен наизусть —
Уложена в метры, как в сети
Его двойная грусть.

Разбойное олово
Прибоя
Не устанет
Отмель мозжить —
Моторное слово,
Любимое слово —
А нам еще рано
Хвалою служить.

Нас век уже вынул,
Но мы на заре,
Слова, как пингвины
Окрайних морей.

Мы—только перья,
Мы—еще ртуть —
Которой не верят,
Как хлебу во рту.

Как раннее море,
Небо шумит,
Но чем нам ускорить
Слова и умы?

**Николай Тихонов.**

## Рассказ о рубашке.

Утюг не спит уже давно,
Утюг свиреп. Он занят делом:
Жжет идолоподобным телом
Распластанное полотно.

Рубашка вся в поту, бледна,
Как жертва, руки распростерла,
Покорно отдавая горло
Прикосновенью чугуна.

Он не дает передохнуть,
*Зато, под африканский мо́рок,*
Отливами жемчужных створок
Овальная сияет грудь.

И, наконец, ее несут,
Как лебедь белую, в корзине,
Сквозь сумеречный воздух синий
На строгий и пристрастный суд.

Приносят в комнату, в отель;
Там блещет бритва, воздух сладок,
Там на кровати беспорядок —
Простынь взметенная метель.

*Там галстукам потерян счет,*
Там туфель целая ота́ра.
Свистит сифон, дымит сигара,
Хозяин неодетый ждет.

Он спал, покамест, как ручей,
Весенний полдень над Нью-Иорком
Стекал по каменным оборкам
Зернисто-серых этажей.

Теперь, не разжимая губ,
Он счел монеты и бумажки,
Недоставало лишь рубашки,
Чтобы немедля ехать в клуб.

Но вот стучатся. Кто? Белье.
В больших очках, рябой, как терка,
Китаец-прачка смотрит зорко
И нежно подает ее.

И европейская рука
Пластрон с его жемчужным лаком
Небрежно мнет под черным фраком
И счет берет издалека.

Пока рубашку мчит мотор,
На заработанные центы
Китаец покупает ленты
И веер, веселящий взор.

И узкоглазой, как и он,
Отдав дары, ласкает пьяно
Ее плечо желтей банана
И цвета ласточки шиньон.

В Америке болотный яд
Губительнее, чем в Европе:
Вот карты на зеленой топи
Атласным веером лежат.

И усеченная столом,
Все время чувствует рубашка,
Что бьется сердце зло и тяжко,
Как рыба, скованная льдом.

И каждый атом полотна
Трепещет на груди упрямой.
Но вот встают четыре дамы
Из недр болотного сукна.

И через несколько минут,
Всю ночь молившие о чуде,
Карманы, дряблые как груди,
Тяжелым золотом текут.

Рассвет и влажная луна
Цилиндр нижут мелкой ртутью,
И накрахмаленною грудью
Овладевает тишина.

А тот, кто выиграл, идет,
Глотая воздух, точно птица,

И через полчаса стучится
У подозрительных ворот.

Там, извиваясь, как лоза,
Струится дым у изголовий.
Сосредоточенные брови...
Полузакрытые глаза...

И он ложится в свой черёд,
В томлении раскинув руки,
Покамест курево в бамбуке
По-комариному поет.

Уже не курево поет—
Жужжит веретено вселенной,
Кудель дымится звездной пеной,
Клубки твердеют, словно плод.

Над белокурой гривой льна
Стрекочут ревностные пряхи:
Для человеческой рубахи
Как много нужно полотна!

Но недостаточно тонки
Полотна из ручной кудели.
И вот заныли и запели
Не прялки—ткацкие станки.

Ныряет месяца челнок
В тугие млечные основы.
И бел и тонок этот новый
Безукоризненный кусок.

Но грозовеет синева:
Уже полотнища льняные
Кромсают молнии стальные,
Выкраивая рукава.

И швеи звездного стола
Нетерпеливо ждут начала,
И вот серебряное жало
Вонзает первая игла.

И выстроченная по швам
Лежит на облачной подушке,
Одни алмазные катушки
Поблескивают здесь и там.

Вращающиеся следы
Сворачиваются пружиной
Над желтой лампой комариной
В четыре яркие звезды.

Их золотом полны до дна
Карманов шелковые ямы.
Не звезды, нет, четыре дамы
И не четыре, а одна.

Косые брови на висок
Взлетели, как хвосты кометы.
Она тяжелые монеты
Пересыпает в свой чулок.

Но пара глаз, как два тира,
Уставились змеиным взглядом
На то, что происходит рядом
На многоопытном ковре.

Там на изломанный пластрон,
От ревности вдвойне желанно,
Легло плечо желтей банана,
И цвета ласточки шиньон.

И с шелестом змеиных кож,
В больших очках, рябой, как терка,
Китаец в глаженую корку
С хрустеньем погружает нож.

И на дыру и полотно,
Потом взглянув вполоборота,
Он говорит:—Моя работа!—
И прыгает через окно.

**Вера Инбер.**

## Бульвар.

Был вырублен вчера бульвар.
Толпились пни вокруг убого,
Как нищие растеряв слова
Пред равнодушною дорогой.

Был стар бульвар, и глух, и дряхл.
И вспомнилось... давно когда-то
Он первый повстречал в дверях
Меня в лохмотьях и заплатах.

И чахлой травкою припал
К такому ж чахлому в ладони.
Змеилася, шурша, толпа,
Железные ржали кони.

И в первый день, когда гроза,
Рыча, шатала темный город,
Он неизведанным простором
В ребячьи заглянул глаза.

С бульваром был полжизни я
Многоэтажной сдавлен давкой,
Не раз бульварная скамья
Была моей последней ставкой.

Был вырублен бульвар. И чужд
Стал день бетонною угрозой,
Чугунной схваткой ржавых узд
И сутолокой грузовозов.

Он, каменные сбросив сны,
Не встретит, зорями изранен,
В толпе, в бензиновом тумане
Туберкулезный всхлип весны.

Толпились пни. Желтели лица,
И никли в листопад лучи,
И громоздились кирпичи
Фундаментом городской больницы.

**С. Обрадович.**

***

День революции не прожит,
Гром революции — не стих!
Я чую: снова бродят дрожжи
Квашню тугую разнести.

Не много чести киснуть в тесте,
Бродить и тлеть в сыром огне,
Но в нужный час — сольется вместе
Разбухший мускулами гнев!

И он качнет сердец устои
Всех стран, времен, людей, границ,
И он улыбкою простою
Сомнет ребрящийся гранит.

Но и тогда опять, быть-может,
Стальному крику зацвести:
День революции не прожит,
Гром революции не стих!

**Н. Асеев.**

* * *

Стих ветер, заря уж погасла,
В туман завернулся курень,
И месяц закинул за прясла
Твою уходящую тень.

Уйдешь ты, слезы не уронишь,
А вспомнишь — не дрогнет и бровь,—
Страшней, когда из дому гонишь
Сам — мачеху злую — любовь!..

Не все ли равно теперь — снова
Чьи руки протянут кольцо:
Без боли не вымолвить слова,
Без муки не глянуть в лицо!

Стих вечер, а в сердце лучится:
Вернется... как прежде... к утру...
Да кто же теперь достучится,
Кому же я дверь отопру!

И мне уж не жаль и не любо,
Что, долго стуча у ворот,
С досады кусать будет губы
И в кровь кулачок изобьет.

Так часто глядишь и не веришь:
Над кровлей как будто дымок,
Как будто живут еще — с двери ж
Чернеет тяжелый замок...

**Сергей Клычков.**

## „Будет гроза“.

Спотыкались, бежали ветра,
Гнали туманы как пену,
Нагибали дерев веера,
Орали и выли про Лену...

А Лена,
Дни и ночи,
Ласкаясь к крутым берегам,
Зарывала валежник костей;
Дни и ночи
Золотой промывала песок
(Он от пота и крови краснел),
Билась волнами, гудела,
Ревела —
Кидала погибших слова:
— „Проклятье врагам!“
И предсмертное—
— „ЛЕНИН!“.

Спотыкались, бежали ветра,
По полям, по лугам, по горам,
Нагибали дерев веера,
Повторяли: „Проклятье врагам!“
И предсмертное—
— „ЛЕНИН!“.

Выходили деревни и села,
Храня поротый шомполом зад,
На бояр-белоручек поля,
Где превращались в скотину,
Гнули голову, спину
Под удары кнута и дубья
И кривили цынгою изглоданный рот,
Посылая боярам из рода в род:
— „Проклятье!“
И от сердца любимое —
— „ЛЕНИН!“.

Спотыкались, бежали ветра,
Нагибали дерев веера,
Кидали боярам: „Проклятье!"
И от сердца любимое—
— „ЛЕНИН!".

На Буге, в Карпатах,
Где воды по камням шумят,
Где шакалы воют, шипят,
Цепляясь за ветки и лапы
Буков и бронзовых сосен,
Из могил поднимались скелеты,
Собирались со свистом на митинг,
На котором пять вёсен
Смотрели глазами пустыми,
Стучали костями, как в кастаньеты,
Грозили —
— И в „Бога", и в „Мать", и в
бездонную „Твердь":
— „. . . . . . . . . .!"

На Буге, в Карпатах
Под гул канонады пять вёсен,
Цепляясь за ветки и лапы
Буков и бронзовых сосен,
Костями стуча, как в кастаньеты,
Словаков, германцев, мадьяр,
Россейцев, румынов, болгар,
Плясали, кружились скелеты
И в пляске, играя пустыми глазами,
Вздымая искрами жар,
В бездонную „Твердь",
Трясли кулаками:
— „Царям!
— Королям!
— Банкирам!
— Смерть!!"
И предсмертное —
— „ЛЕНИН!".

Спотыкались, бежали ветра,
Нагибали дерев веера,
Повторяли скелетов слова:
— „ЛЕНИН!".

Это было давно! А сейчас?
Сейчас:
Успокоилась бурная Лена,
Деревни и села
Не гнут свою голову, спину,
Не представляют собою скотину,
Не чешут поротый шомполом зад;
В Карпатах не пляшут скелеты,
Не стучат костями, как в кастаньеты.

Только со всех материков,
На Кремль устремляя глаза,
Гремит переклик бедняков:
— „Будет гроза!"
— „Будет гроза!"
И от сердца победное —
— „ЛЕНИН!".

Бегут, спотыкаясь, ветра,
Срывают туманы как пену,
Ломают дерев веера,
Орут, повторяют слова:
— „Будет гроза!"
— „Будет гроза!"
И от сердца победное —
— „ЛЕНИН!".

**С. Малашкин.**

# Г. В. Плеханов и вопросы искусства[1]).

С. Вольфсон.

Маркс-Энгельс дали *алгебру* исторического материализма; пред их духовными наследниками стала задача путем частных исследований постепенно заменять алгебру исторического материализма *арифметическими* данными, исследовать эволюцию общественных форм в свете нового—в корне враждебного традиционному—понимания социального процесса.

Плеханов был одним из тех идеологов рабочего класса, которые в течение десятилетий пахали марксовым плугом почти во всех областях общественной идеологии,—его пытливый ум проникал во все этажи многоэтажной общественной надстройки, икс-лучами марксизма он освещал природу и развитие важнейших общественных институтов,—в числе последних и искусство.

Искусство—та идеологическая сфера, которая слабее других изучена и исследована марксизмом; и в которой потому сильнее, нежели в других, господствует идеализм.

Отвлеченная метафизическая эстетика оказалась не в состоянии построить науку об искусстве, об'яснить процесс его зарождения и развития. Попытки социологически подойти к искусству, связать его с общественной жизнью, сделанные Гердером, Тэном, Гюйо, не подвели под науку об искусстве прочного фундамента, не вывели ее из того тупика, в который она была загнана идеализмом и метафизикой. Это обстоятельство бросалось в глаза всякому наблюдательному исследователю искусства. Так, например, Эрнст Гроссе, мыслитель, достаточно далекий от исторического материализма, резко и определенно поставил к концу 90-х годов вопрос: почему существо и жизнь искусства остаются окутанными мраком? На этот вопрос он сам отвечал: потому что наука об искусстве до сих пор держится совершенно фальшивого метода и до сих пор ограничивается недостаточным материалом. Наиболее существенный недостаток в построении науки об искусстве, указанный Гроссе, заключался в том, что наука об искусстве презрительно игнорирует вопросы зарождения искусства, его появления и развития у первобытных народов. «Во всех (прочих) отраслях социологии мы выучились на-

[1]) Доклад, прочитанный на торжественном заседании Научного Общества при Белорусском Государственном Университете, посвященном пятилетию со дня смерти Г. В. Плеханова.

чинать сначала: сперва изучают простейшие формы социальных явлений и, лишь выяснив существо и условия этих простых форм, решаются приступить к об'яснению сложных... Все другие (социологические науки) поняли, какую сильную и незаменимую помощь при изучении культуры доставляет недавно выросшая этнология; одна наука об искусстве презрительно не удостаивает взглядом грубые произведения первобытных народов, предлагаемые ей этнологией»... О том же говорит известный историк первобытной культуры Шурц. «В то время,—пишет он,—как эстетика и история искусства занимались почти исключительно только законченными произведениями искусства высшей культуры и спесиво пренебрегали неприглядными зачатками и началами, встречающимися у самых примитивных народов,—они пренебрегли именно тем путем исследования, который лучше всего может привести к более глубокому познанию» [1]).

Марксизм, по своей, так сказать, природе, по самому своему существу, освобождает науку об искусстве от отвлеченностей и абстрактности, от индивидуалистической трактовки явлений искусства, от игнорирования низших форм первобытного искусства.

И, естественно, когда Плеханов задался целью проникнуть в область искусства и обследовать ее в свете материалистического понимания общественного процесса, то он прежде всего обратился к искусству первобытному.

Обратившись к первобытному искусству, Плеханов подверг критике идеалистический генезис искусства, который—в формулировке Шиллера—сводит происхождение искусства к заложенному в человеческой природе стремлению к игре—Spieltrieb—или, как это делает Спенсер, протягивает нити от зарождения искусства к избытку накопляющейся в животном организме энергии. Корни искусства не только в биологии, но и в социологии,—их надо искать в образе жизни первобытных народов, в социальных условиях их существования, в их экономическом быту. Характер художественной деятельности первобытного работника совершенно недвусмысленно свидетельствует о том, что производство полезных предметов и вообще хозяйственная деятельность предшествовала у него возникновению искусства и наложила на него самую яркую печать. Что изображают рисунки чукчей? Различные сцены из охотничьей жизни. Ясно, что сначала чукчи стали заниматься охотой, а потом уже принимались воспроизводить свою охоту в рисунках. «Труд,—говорит Плеханов,—старше искусства, и вообще человек сначала смотрит на предметы и явления с точки зрения утилитарной и только впоследствии становится в своем отношении к ним на эстетическую точку зрения».

Для того, чтобы понять и осмыслить процесс зарождения и развития первобытного искусства, надо обратиться к первобытному хозяйственному строю. Лишь изучив этот строй, мы в состоянии ответить на вопрос, играющий решающую роль при генезисе искусства: каково отношение игры к труду, какое из понятий этих является предшествующим и какое последующим.

[1]) *Г. Шурц*. История первобытной культуры, перевод Пименовой и Негрескул, СПБ. 1910, стр. 683.

Один из ходячих ответов на поставленный вопрос сводился к признанию того, что игра старше труда, что зарождение искусства предшествует производству полезных предметов. «Приручение домашних животных,—говорил Бюхер,—начинается не с полезных животных, а с тех, которые человек содержит для своего удовольствия. Развитие обрабатывающей промышленности, повидимому, всюду начинается с раскрашивания тела, татуировки, прокалывания или иного обезображивания отдельных частей тела. Вслед за тем, мало-по-малу, развивается изготовление украшений, масок, рисунков на коре, петроглифов и т. п. занятия... Таким образом технические сноровки вырабатываются при играх и лишь постепенно получают полезное применение... Игра старше труда, а искусство старше производства полезных предметов» [1].

Вывод, к которому пришел Плеханов, диаметрально противоположен: «Игра—дитя труда, который предшествует ей во времени». Искусство—игра,—материалистам совершенно незачем возражать против этого положения, выдвигаемого идеалистической эстетикой. Но им надлежит показать, что игра это отнюдь не «праздная забава»; как, например, утверждал даже Н. Г. Чернышевский, оказавший мощное влияние на эстетические воззрения Плеханова. *Взгляд на искусство как на игру надо дополнить взглядом на игру как на дитя труда*,—это дополнение и осуществил Плеханов, давший нам этим возможность взглянуть на историю искусства в новой — материалистической—перспективе.

Игра, по мнению Плеханова, является утилитарной функцией, выявляющейся в процессе общественного хозяйствования. Бюхер, Гроссе и др. не понимали и не могли понять этого обстоятельства, поскольку первобытный человек мыслился ими как индивидуальный искатель пищи. В действительности первобытный человек был членом хозяйствующего коллектива. Понимание того, что первобытный человек хозяйствовал не как Робинзон, а как общественное животное, приводит к падению бюхеровского взгляда на отношение игры к труду, к необходимости заменить его противоположным. Бюхеровское положение «игра старше труда» применимо к индивидууму, но оно несостоятельно по отношению к общественному человеку. Пляска молодой дикарки может быть, конечно, подражанием пляске, которую она наблюдала, и тогда, по отношению к ней, игра—старше труда, но нельзя упускать из виду того,

[1]) В некотором родстве с таким взглядом находится и Прудон, для которого искусство возникало совершенно независимо от практической жизни, вне ее сферы. „Тот, кто впервые нашел среди предметов природы такой,—писал он,—который, будучи приятным, интересным, странным, восхитительным или ужасным, не удовлетворяет непосредственно его жизненных потребностей и материальных нужд и, привязавшись к нему, сделал из него для себя игрушку, украшение или воспоминание; кто, передав произведенное на него впечатление другу, брату или любовнице, подарил им этот предмет в знак уважения, дружбы, любви, тот явился первым художником" (*Ц. Ж. Прудон*, Искусство, его основание и общественное значение, перев. А. Ф. Федорова, СПБ. 1895, стр. 46).

Приблизительно того же взгляда держится и Шурц, утверждающий, что „нельзя сказать, чтобы связь между работой и искусством во времени была неразрывна: и у самих первобытных народов встречаются песни без работы и работы без песен", (*Г. Шурц*. История первобытной культуры, стр. 690).

что молодая дикарка в своей пляске лишь подражает матери или другой женщине, изображающей пляскою, скажем, процесс собирания растений; *говоря об обществе, надо помнить, что в нем труд старше игры.*

С какой же точки зрения, спрашивает Плеханов, экономист и вообще человек, занимающийся общественной наукой, должен смотреть на вопрос об отношении труда к игре? Человеку, занимающемуся общественной наукой, нельзя смотреть на этот вопрос иначе, как с точки зрения общества, потому нельзя, что, ставши на точку зрения общества, мы с большей легкостью находим причину, по которой игры являются в жизни индивидуума раньше труда; а если бы мы не пошли дальше точки зрения индивидуума, то мы не поняли бы ни того, почему игра является в его жизни раньше труда, ни того, почему он забавляется именно этими, а не какими-нибудь другими играми. Если бы дикарь был индивидуалистом, как его изображает тот же Бюхер, то он бы вовсе не знал искусства, ибо искусство рождается лишь в условиях общежития, ибо оно—продукт социального общения, ибо оно—общественное явление. В обществе же труд—отец искусства.

У всех народов и во все времена,—писал в своей известной работе о происхождении искусства Эрнст Гроссе,—искусство проявляется как социальный факт и рассматривать его лишь как индивидуальное явление значит заранее отказаться от понимания его сущности и значения. Плеханов показал, что дать соответствующий действительности генезис искусства, научно обосновать его происхождение и развитие у первобытных народов можно, лишь подходя к нему как к социальному фактору. Наблюдения над зарождением искусства и над его развитием у первобытных народов показало, что искусство на своих высших ступенях развивается под непосредственным влиянием экономики, что оно является одним из тех видов общественного *сознания* первобытного человека, которое определяется его общественным *бытием*. За малыми исключениями, первоначальным мотивом художественного творчества является экономическая, практическая потребность. Первобытный орнамент сначала был меткой и лишь впоследствии стал украшением. Пляска, песня, поэзия народились в процессе хозяйственной деятельности, сопровождавшемся ритмическими телодвижениями, ритмической речью. Театральные произведения первобытных народов отражали их хозяйственный быт— у охотничьих народов они носили характер животной пантомимы, у земледельческих—отражали их аграрный быт. Причинная связь между экономикой и искусством первобытных народов столь очевидна, что в наше время ее не рискнет оспаривать ни один из исследователей искусства; эта явная связь заставляет мыслителей, очень далеких от исторического материализма, касаясь низших форм искусства, говорить самым как ни на есть материалистическим языком [1]).

[1]) „Большая часть художественных произведений первобытных народов, — пишет Гроссе,—возникает вовсе не из чисто-эстетических стремлений, но вместе служит какой-нибудь практической цели; и часто эта последняя является несомненно первоначальным мотивом, в то время, как эстетические потребности удовлетворяются лишь попутно, на втором плане" (*Эрнст Гроссе.* Происхождение искусства, М. 1899, стр. 284).

Другое дело, когда от зарождения искусства переходишь к его развитию, от примитивных форм переходишь к сложным, с низших ступеней поднимаешься на высшие, от искусства *бесклассового* общества переходишь к искусству общества *классового*. Здесь причинная связь между хозяйственным бытом и искусством затушевывается, нити, связующие экономику с эстетикой, обволакиваются идеологическим покровом, влияние из непосредственного становится посредственным, оно передается через длинную цепь промежуточных звеньев, соединяющих производственный базис общества с верхними этажами идеологической надстройки. Выявить в таких условиях связь между экономикой и техникой общества,—с одной стороны, и его искусством—с другой, является, понятно, задачей несравненно более сложной, нежели в применении к первобытному бесклассовому обществу. Неудивительно, что с этой задачей оказались не в состоянии справиться те исследователи искусства, от которых скрыта основная двигательная пружина общества—классовая борьба, и которые потому осуждены бесплодно блуждать в лабиринтах сложнейшей общественной организации. В лучшем случае они могли, подобно Геннекену, дойти до понимания того, что «литература, искусство национальное, составляется из ряда произведений, выражающих одновременно общую организацию масс, которые ими восхищались, и частную организацию людей, которые их произвели», но они были совершенно бессильны об'яснить, каким образом «общая организация масс» отражалась в произведениях искусства. Тэн установил неразрывную зависимость произведения искусства от «нравственной температуры», но пассовал перед выяснением того, чем определяется сама эта температура и т. д.

В сторону разрешения этой задачи Плеханов и не раз обращался.

Когда новозеландец воспевает возделывание бататов, когда австралийка пляской отображает телодвижения, имеющие место при собирании растений,—то влияние производительной деятельности на искусство очевидно,—но если искусство развивается в классовом обществе, в среде классов, оторванных от всякого производительного труда, то это искусство непосредственного отношения к общественному процессу производства не имеет. «Значит ли это, — спрашивает Плеханов, — что в обществе, разделенном на классы, ослабляется причинная зависимость *сознания* людей *от их бытия?*» Нет, нисколько не значит, потому, что разделение общества на классы само обусловливается экономическим его развитием. И если искусство, создаваемое высшими классами, не имеет никакого прямого отношения к производительному процессу, то это об'ясняется в последнем счете тоже экономическими причинами. Стало быть, материалистическое об'яснение истории вполне применимо и в этом случае; но само собой разумеется, что в этом случае не так легко обнаруживается несомненная причинная связь между бытием и сознанием, между общественными отношениями, возрастающими на основе «работы», и искусством. Здесь между «работой», с одной стороны, и искусством—с другой, образуются некоторые промежуточные инстанции, часто привлекающие к себе все внимание исследователей и тем затрудняющие правильное понимание явлений.

Вот почему, обращаясь к классовому обществу, мы непосредственно-экономическое об'яснение искусства должны заменить изучением классовой психологии, находящей свое отражение в искусстве. Художник в своем творчестве вольно или невольно, сознательно или бессознательно отражает классовую психологию окружающих его общественных групп. Будучи даже вполне материально независимым,—правильно указывает А. В. Луначарский,—специалисты-художники невольно отражают в своих произведениях идеалы, думы и страсти, которыми волнуется класс наиболее им близких; еще чаще художник работает для представителей господствующих классов и тогда вынужден приноравливаться к их требованиям. Каждый класс, имея свои представления о жизни, свои идеалы, налагает свою собственную печать на искусство [1]). Танец австралийки поддается непосредственю экономическому об'яснению, менуэт французской маркизы можно понять, лишь выявив психологию того непроизводительного класса, к которому она принадлежит. Здесь можно говорить о непосредственном влиянии психологии, но отнюдь не экономики. «Экономический фактор уступает здесь честь и место психологическому, но не забывайте, что само проявление непроизводительных классов в обществе есть продукт его экономического развития. Значит, экономический «фактор» вполне сохраняет свое преобладающее значение, даже и уступая честь и место другим» [2]). Попробуйте дать непосредственно экономическое об'яснение факту появления школы Давида во французской живописи XVIII века, у вас равно ничего не выйдет кроме смешного и скучного вздора, но попробуйте взглянуть на эту школу, как на идеологическое отражение классовой борьбы во французском обществе накануне Великой Революции, и дело сейчас же примет совершенно другой оборот: вам станут вполне понятны даже такие качества живописи Давида, которые, казалось бы, так далеки от общественной экономии, что ничем не могут быть связаны с нею [3]).

В своем творчестве художник воплощает какую-либо общую идею, но эта идея в произведении искусства никогда не проявляется в «отвлеченном» виде. «Художник должен индивидуализировать то общее, что составляет содержание его произведения. А раз мы имеем дело с *индивидуумом*, то перед нами являются известные *психологические процессы*, а тут уже не только совершенно уместен, но и вполне обязателен и даже чрезвычайно поучителен *психологический* анализ. Психология действующих лиц потому и приобретает в наших глазах огромную важность, что она есть психология целых общественных классов или, по крайней мере, слоев, и что, следовательно, процессы, происходящие в душе отдельных лиц, являются отражением исторического движения [4]).

Свои взгляды на развитие искусства в классовом обществе Плеханов сделал попытку проверить на примере французского искусства XVIII века. На сцене средневековой Франции царствует фарс,—в этом виде театрального

[1]) *А. В. Луначарский*. Основы позитивной эстетики, М. 1923, стр. 123.
[2]) Основные вопросы марксизма, П. 1917, стр. 82.
[3]) Ibidem, стр. 84.
[4]) Судьбы русской критики—„За 20 лет", изд. 3-е, стр. 157.

искусства находят своеобразное отражение оппозиционные настроения массы по отношению к господствующим сословиям. На смену фарсу дворянство выдвигает трагедию, отражающую взгляды и стремления аристократии. Аристократическое происхождение трагедии обусловливает собою ее формы и даже технику.

Дитя аристократии, классическая трагедия беспредельно и неоспоримо господствовала на французской сцене, пока нераздельно и неоспоримо господствовала аристократия. Когда господство аристократии стало оспариваться, когда «люди среднего состояния» прониклись оппозиционными настроениями, старые литературные понятия начали казаться этим людям неудовлетворительными, а старый театр недостаточно «поучительным». Буржуазия, осознавшая себя как новая классовая единица, как социальная группа, призванная возглавить всю общественную организацию, одним словом, буржуазия из *класса в себе* превращавшаяся в *класс для себя*,—не могла, по словам одного из историков, мириться с тем, что на театральной сцене властвовали короли и императоры; она могла позволить себе роскошь заказать свой собственный литературный портрет. Этим портретом явилась слезливая комедия—буржуазная драма. Слезливая комедия противопоставляла испорченности придворного общества буржуазную добродетель, семейные и моральные устои «человека среднего сословия». Сменяя аристократическую драму буржуазной, третье сословие вначале решительно отвернулось от античного мира, бывшего неисчерпаемым источником вдохновения для авторов аристократической, ложно-классической трагедии. Оно устами Бомарше восклицало: «Какое дело мне, мирному подданному монархического государства XVIII в., до афинских и римских происшествий!». Проходит некоторое время, и те самые идеологи третьего сословия, которые презрительно отворачивались от античной истории, поспешно возвращаются к ней, превращают ее в источник, из которого они черпают полной пригоршней. Как же это случилось? В буржуазной драме,—говорит Плеханов,—французский человек «среднего состояния» противопоставил свои домашние добродетели глубокой испорченности аристократии. Но то общественное противоречие, которое надо было разрешить тогдашней Франции, не могло быть решено с помощью нравственной проповеди. Речь шла не об устранении аристократических *пороков*, а об устранении самой *аристократии*. Понятно, что это не могло быть без ожесточенной борьбы и не менее понятно, что отец семейства, при всей неоспоримой почтенности своей буржуазной нравственности, не мог послужить образцом неутомимого и бесстрашного борца.

Общественная потребность заставляла буржуазию искать в литературе образцов героизма и гражданского мужества. В поисках этих образцов она и вынуждена была обратиться к античному миру.

Однако интерес, который проявляли к античному миру аристократия и буржуазия, был по своей сущности глубоко различен. Интерес идеологов буржуазии обратился в сторону политической борьбы разыгрывавшейся в античном мире, и к примерам гражданского мужества, к народным возмущениям и восстаниям. Республиканские герои Плутарха вдохновляли буржуа-

зию, которую классовый интерес неизбежно толкал к смертной схватке с абсолютизмом. Давид изображал Брута, как гражданина-революционера, и потому выставленная в начале революции картина Давида имела ошеломляющий успех в массе. «Она доводила до *сознания* то, что стало самой глубиной, самой насущной потребностью *бытия*, т.-е. общественной жизни тогдашней Франции. Смена буржуазной драмы, после кратковременного периода ее господства, воскресшей классической трагедией, обусловлена была необходимостью для третьего сословия перейти от туманных оппозиционных настроений к решительным революционным действиям. Воскресла классическая трагедия, классические сюжеты вернулись в живопись, но содержание новых произведений уже было не тем, что прежде.

«Классическая трагедия продолжала жить вплоть до той поры, когда французская буржуазия окончательно восторжествовала над защитниками старого порядка и когда увлечение республиканскими героями древности утратило для нее всякое общественное значение. А когда эта пора наступила, тогда буржуазная драма воскресла к новой жизни и, претерпев некоторые изменения, ...окончательно утвердилась на французской сцене» (Французская драматическая литература и французская живопись XVIII века с социологической точки зрения).

Проанализировав французскую драматическую литературу и французскую живопись XVIII века, Плеханов на их примере мастерски подтвердил основную теорему марксизма, гласящую, что ход идей в обществе определяется ходом вещей. Марксист не имеет права отделываться общими фразами и абстрактными формулами. Он не может ограничиваться отвлеченными заявлениями о том, что искусство есть отражение жизни. «Чтобы понять,— говорит Плеханов,—каким образом искусство отражает жизнь, надо понять механизм этой последней. А у цивилизованных народов борьба классов составляет в этом механизме одну из самых важных пружин. И только рассмотрев эту пружину,—...мы будем в состоянии сколько-нибудь удовлетворительно об'яснить себе духовную историю цивилизованного общества».

Идеалистическая эстетика доходила до понимания зависимости произведения искусства от эпохи, в которую оно создается, но в последнем счете она об'ясняла это произведение всякого рода психологическими сущностями, свойствами духа, развитием абсолютной идеи. Понятно, что это могло приводить идеалистическую эстетику лишь к псевдо-об'яснению тех фактов, с которыми она сталкивалась, лишь к мнимому пониманию художественного творчества. Вот почему гениальные идеалисты, как, например, Гегель, для об'яснения явлений искусства нередко вынуждены были прибегать к материализму, который снимал их с мели, на которую их садила последовательная идеалистическая концепция. Точно так же, как в «Philosophie der Geschichte»,—говорит Плеханов,—«Гегель и в «Эстетике» временами сам покидает свое идеалистическое царство теней для того, чтобы подышать свежим воздухом житейской действительности». На примере гегелевых рассуждений о голландской живописи, Плеханов показывает, как великий идеалист, видя бессилие своей абсолютной идеи и немощь абстрактных логиче

ских законов, при об'яснении того или иного явления в искусстве обращался к историческому движению человечества, к исследованию социального механизма эпохи. Но обращаясь в том или ином конкретном случае к социальной жизни и правильно об'ясняя определенное явление в искусстве ходом ее развития, идеалистическая эстетика обрекает себя на самоубийство. Что, говорит Плеханов, если мысль справедливая в применении к голландской живописи оказалась столь же справедливой в применении к живописи в Италии, к скульптуре Греции, к поэзии во Франции и т. д., и т. д.?.. История искусства стала бы об'ясняться историей общественной жизни, и в хитроумных логических постройках идеалистов, апеллирующих к свойствам абсолютной идеи, не оказалось бы ни малейшей надобности. Идеалистическая эстетика умерла бы сама собой [1]). Сказать, что искусство отражает собою жизнь, это значит сказать, что оно отражает общественную психологию, последняя же обусловливается тою борьбою классов, которая царит в современном обществе. Это обстоятельство должно сделаться одной из отправных точек для всякого приступающего к изучению искусства в классовом обществе, к исследованию его эволюции.

Построенная на идеалистической основе, наука об искусстве трактует произведения искусства преимущественно как продукты индивидуального творчества, рожденные тем или иным художником,—обусловленные и вызванные к жизни исключительно личным гением их творца. Понятно, что исследователь искусства, отдающий себе отчет в сущности социального процесса, не может мириться с такой гипертрофией индивидуального начала, привносимой в науку об искусстве. «Социологически построенная эстетика, — говорит Вильгельм Гаузенштейн в своей интересней[ш]ей работе «Искусство и общество»,—протестует против искажающей фактическое положение вещей, переоценки индивидуума... Сам индивидуализм рассматривается социальной эстетикой лишь как особая форма выявления общественной жизни, подхода человека к вопросам общественного бытия, т.-е. как особо историческая категория, подчиненная общим принципам общественного бытия» [2]).

Марксизм со своим взглядом на роль личности в общественном процессе предостерегает исследователя искусства от той индивидуалистической переоценки явлений искусства, о которой говорит Гаузенштейн.

Плеханов, с исключительным блеском, развернувший в ряде своих работ вопрос о роли личности в истории, исследовал эту проблему и в приложении к области искусства. В искусстве, как и во всякой иной социальной сфере, роль выдающейся личности, роль гения состоит в том, что эта личность с особым успехом удовлетворяет общественные нужды, возникшие в процессе развития общества. «В области искусства гений дает наилучшие выражения преобладающей эстетической склонности данного общества или данного общественного класса» [3]). Величие художника заключается в том, что он является

---

[1]) Судьбы русской критики—„За 20 лет", изд. 3-е, стр. 147.

[2]) *Wilhelm Hausenstein*, Die Kunst und die Gesellschaft, München 1917, Piper-Verlag, S. 2.

[3]) К вопросу о развитии монист. взгляда, изд. Белтрестпечати, 1923, стр. 194.

выразителем великого исторического момента. Гений раньше других улавливает стремления своего времени и лучше других эти стремления выражает. Гений—плоть от плоти и кость от кости своей эпохи. «Нравственное и умственное состояние,—понимал уже Тэн,—одни и те же как для общества, так и для артистов; они не стоят ведь совершенно особняком. Один лишь их голос слышим мы теперь, отдаленные от них целыми веками; но в звуках этого гремящего голоса, дрожания которого достигают нашего слуха, мы распознаем сложный гул и как бы необ'ятное глухое жужжание,—распознаем великий, бесконечный, сложный говор народа, вторившего им вокруг» [1]).

Гений лучшим образом воплощает в произведениях искусства запросы и стремления окружающей среды,—если бы не он, эти запросы нашли бы свое воплощение в менее совершенном, менее глубоком, менее ярком творчестве другого художника, но они все же были бы воплощены в звуки, краски, мрамор.

«Если бы какие-нибудь механические или физиологические причины, не связанные с общим ходом социально-политического и духовного развития Италии, еще в детстве убили Рафаэля, Микель-Анджело и Леонардо да-Винчи, то итальянское искусство было бы менее совершенно, но общее направление его в эпоху Возрождения осталось бы то же. Рафаэль, Леонардо да-Винчи и Микель-Анджело не создали этого направления; они были только лучшими его выразителями. Правда, вокруг гениального человека возникает обыкновенно целая школа, при чем его ученики стараются усвоить даже мельчайшие его приемы; поэтому пробел, который остался бы в итальянском искусстве эпохи Возрождения вследствие ранней смерти Рафаэля, Микель-Анджело и Леонардо да-Винчи, оказал бы сильное влияние на многие второстепенные особенности в его дальнейшей истории. Но и эта история не изменилась бы по существу, если бы только не произошло, по каким-нибудь общим причинам, какого-нибудь существенного изменения в общем ходе духовного развития Италии [2]).

Все идеологи, гений которых проявляется в сфере искусства, имеют общий корень—психологию эпохи. На примере романтической троицы—Гюго, Делакруа, Берлиоз—художников слова, краски, звука—Плеханов показал, что психология французского романтизма может быть нами постигнута лишь тогда, когда мы подойдем к ней как к психологии общественного класса, находившегося в определенных исторических условиях, жившего и действовавшего в определенной общественной обстановке.

Этого положения от нас не должно заслонить и то обстоятельство, что иногда творчество художника, выражающего психологию определенного класса, не только не встречает в этом последнем отзвука, но даже, наоборот, сталкивается с противодействием с его стороны.

Подобный разлад между идеологами и тем классом, стремления и вкусы которого они выражают, вообще не редкость истории. Им об'ясняются весьма многие особенности в умственном и художественном развитии человечества...

[1]) *Тэн*, Чтения об искусстве, пер. А. Н. Чудиновой. СПБ. 1889, стр. 4.

[2]) К вопросу о роли личности в истории—„За 20 лет", изд. 3-ье. стр. 474—475.

Происхождение и развитие такого разлада может быть об'яснено в последнем счете только экономическим положением и экономической ролью того общественного класса, в среде которого он проявился. Здесь,—как и везде,—только бытие проливает свет на «тайны» мышления [1]).

Один из тех вопросов, которые властно требуют на себя ответа со стороны всякого занимающегося исследованием искусства, это вопрос об *автономности* или *утилитарности* искусства. Искусство—самоцель, самоценность, оно существует для самого себя или же искусство служит общественности, ей подчиняется, отправляет некую общественную функцию? Какой из принципов должен быть признан правильным?

Приступая к решению этого вопроса, Плеханов считает необходимым из'ять его из плоскости долженствования. Научная эстетика вообще не дает искусству каких бы то ни было *предписаний*. Ее задача лишь выяснять все причины, под влиянием которых в искусстве возникают определенные течения, направления и приемы. Отнюдь не провозглашая вечных законов искусства, она должна изучать те законы, которые управляют развитием искусства [2]).

Это общее положение, неоднократно высказывавшееся им, Г. В. применяет и к тому частному вопросу, который мы поставили выше:

— На него, как и на все подобные ему вопросы, нельзя смотреть с точки зрения «долга». Если художники данной страны в данное время чуждаются «житейского волнения и битв», а в другое время, наоборот, стремятся к битвам, ...то это происходит не оттого, что кто-то посторонний предписывает им различные обязанности («должны») в различные эпохи, а оттого, что при одних общественных эпохах ими овладевает одно настроение, а при других—другое. Значит, правильное отношение к предмету требует от нас, чтобы мы взглянули на него не с точки зрения того, что должно было бы быть, а с точки зрения того, что было, и что есть [3]).

Итак, каковы общественные условия, которые толкают мысль художника в сторону утилитарного или автономного взгляда на искусство?

Автономный взгляд на искусство, проповедь искусства для искусства, по утверждению Плеханова, рождается там, где создается конфликт между общественной средой, окружающей художника, и между ним.

Окруженный атмосферой разлагающегося, паразитического светского

---

[1]) Основные вопросы марксизма, П. 1917, стр. 100.

[2]) Искусство и общественная жизнь. Сб. „Искусство", изд. „Новая Москва", 1922, стр. 131.

[3]) Идеалистическая эстетика логически выродилась в эстетику догматическую. Она устанавливала отвлеченные принципы прекрасного, создавала незыблемые правила, которым обязан следовать художник. „В сущности этих правил лишь два,—ядовито заметил еще Тэн:—первое—советует родиться гением,—это дело ваших родителей,—добавлял он,—а не мое; второе—советует много трудиться, чтобы вполне овладеть своим искусством,—это опять не мое, а ваше дело. Мое дело—выставить вам факты и показать, каким образом произошли они" (*Тэн*, Чтения об искусстве, пер. А. Н. Чудиновой, СПБ. 1889, стр. 8). Иначе, Тэн требовал от эстетики, чтобы она из догматической стала исторической. Однако он задачу лишь поставил, но ее не решил. Она решается лишь марксизмом—единственным безупречным методом исследования общественного процесса.

общества, столкнувшись с придворными кругами, которые пытались привлечь музу поэта на служение своим целям, Пушкин противопоставил их попыткам проповедь искусства для искусства:

Пойдите прочь! Какое дело поэту мирному до вас?..

Так же поступали французские романтики и парнасцы. Романтическое искусство явилось выявлением протеста передовых французских художников против буржуазного быта, его умеренности, аккуратности, пошлости, мещанского уюта. Передовые французские художники считали, что ставить перед искусством какие-либо утилитарные задачи, делать его полезным, значит отдавать его на служение тому самому обществу, которое они презирали и ненавидели и вне которого они не видели никакой другой общественной сферы. Итак, «склонность художников и людей, живо интересующихся художественным творчеством, к искусству для искусства, возникает на почве безнадежного разлада их с окружающей их общественной средой» [1], или же, как Плеханов выразился в статье, посвященной литературным взглядам Белинского, в известные исторические эпохи нежеланье метать бисер перед холодной и неразвитой толпой должно приводить умных и талантливых людей к теории искусства для искусства.

Даже тогда, когда художнику думается, что он служит лишь самодовлеющему, «чистому» искусству, его творчество глубоко коренится в той социальной почве, на которой он творит.

Даже в те эпохи, когда безраздельно владычествует так называемая теория искусства для искусства и когда художники, повидимому, поворачиваются спиною ко всему тому, что имеет какое-нибудь отношение к общественым интересам, литература не перестает выражать вкусы, взгляды и стремления господствующего в обществе класса. Тот факт, что в ней получает преобладание названная теория, свидетельствует лишь о том, что в господствующем классе или, по крайней мере, в той части его, к которой обращаются художники, царствует индифферентизм по отношению к великим общественным вопросам. Но и такой индифферентизм представляет собою лишь одну из разновидностей общественного (или классового, или группового) настроения, т.-е. сознания [2].

Однако если общественные условия эпохи позволяют художнику, находящемуся в конфликте с обществом, надеяться на обновление этого общества, на переворот в социальных группировках,—тогда художник не проповедует более искусства для искусства, не твердит о том, что

Мы рождены не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

---

[1]) Отчаявшись в улучшении мира и оставляя его лежать во зле,—говорит А. В. Луначарский о проповедниках искусства для искусства,—они ищут спасения в искусстве как самодовлеющей форме бытия (основы позитивной эстетики). Отчаяться в улучшении мира, значит отчаяться в существовании той реальной общественной силы, которая могла бы этот мир преобразовать, его обновить.

[2]) Н. Г. Чернышевский. стр. 209.

Художник, чувствующий возможность обновления того общества, с которым он находится в конфликте, дает исход своим настроениям не в «звуках сладких», превращаемых в самоцель, а захватывается «житейским треволненьем»,—вовлекается в общественные битвы, которые кипят или хотя бы подготовляются вокруг него, т.-е. он заставляет свое творчество служить определенным утилитарным целям. Эпохи революционных потрясений заставляют рьяных глашатаев принципа искусства для искусства бросать свои позиции и кидаться в самую гущу общественных битв. Плеханов ссылается в качестве примера на Бодлера, на Леконта-де-Лиля,—мог он почерпнуть примеры и из нашей русской действительности. Вспомним хотя бы 1905 год, когда поэты-декаденты, недавно еще бывшие необузданными сторонниками «чистого» искусства, заделались «кузнецами, кующими стих для народа», «певцами в стане революции» и т. д.

Плеханов ставит перед собою и решает еще один существенный для всякого теоретика искусства вопрос: какой из двух противоположных взглядов на искусство более благоприятен его успехам? Диалектик до мозга костей, Плеханов, конечно, знает, что, как и все вопросы общественной жизни, вопрос этот не допускает безусловного решения. Тут все зависит от условий времени и места. При определенных условиях, отгораживаясь от действительности, не допуская своего творчества служить ей, художник подымает художественную ценность своих произведений (так было с французскими романтиками, примерно, или с парнасцами). Но когда художники становятся слепыми по отношению к важнейшим общественным течениям своего времени, тогда очень сильно понижается в своей внутренней стоимости природа идей, выражаемых ими в своих произведениях. А от этого страдают и эти последние. Когда художник не ориентируется в окружающей его общественной обстановке, когда он не может понять и осмыслить ее, в его произведение неизбежно врежется калечащим осколком ложная идея, а последняя неминуемо приведет художника к противоречиям и, следовательно, понизит эстетическое достоинство его произведения.

Эту мысль Плеханов сделал одной из основных осей своих критических очерков. Он показал нам, как неумение проникнуть в недра общественной жизни сплошь и рядом парализовало художественную ценность произведений такого великого художника, каким был Генрик Ибсен. Он показал нам, как несостоятельная общественная идея иногда коверкала произведения такого мастера, как Кнут Гамсун. Он показал нам, как ложная общественная идея заводила в тупик русских народников-беллетристов. Он показал нам, как неумение осознать происходящий вокруг общественный процесс обусловило бледную немочь декадентства, импрессионизма, кубизма и проч. «чепухи в кубе».

Научная критика должна быть для Плеханова раньше всего критикой *об'ективной*. «Она об'ективна как физика и именно потому чужда всякой метафизики». Эта об'ективность, однако, отнюдь не лишает критика общественной, публицистической точки зрения на рассматриваемые им литературные явления.

«Если существуют действительно вечные законы искусства, — говорит Плеханов,—то это те, в силу которых в известные исторические эпохи публицистика неудержимо врывается в область художественного творчества и распоряжается там как у себя дома. То же и с критикой. Во все переходные общественные эпохи она пропитывается духом публицистики, а частью прямо становится публицистикой. Дурно это или хорошо? C'est selon! Но главное это неизбежно, и против этой болезни никакого медицинского снадобия никто еще не придумал» [1]).

Выступая в качестве литературного критика, Плеханов никогда не уподобляется поседелому в приказе дьяку, который:

> **Спокойно зрит на правых и виноватых,**
> **Добру и злу внимая равнодушно,**
> **Не ведая ни жалости, ни гнева.**

Пером Плеханова—литературного критика—неустанно руководит жалость по отношению к угнетенной трудовой массе, вязнущей в тине нищеты и невежества, гнев по отношению к ее жестоким паукоподобным эксплоататорам. Литературно-критические выступления Плеханова пропитаны ненавистью по отношению к бессознательным и сознательным врагам народа—ибсеновским Штокманам, гамсуновским Карено и празднаболтающим «либералам в серой шляпе». Они пронизаны глубокой любовью к горьковским Левшиным, ведущим тяжелую и суровую борьбу за «уничтожение копейки», вокруг которой происходит непрестанная свалка в капиталистическом обществе,—к представителям того нового класса, чьи «суровые очи» уже не плачут, как плакали угнетенные у Некрасова, а горят сознанием своей силы. Одним словом, свои литературно-критические выступления Плеханов ставит твердо и решительно под знак своего общего мировоззрения, своих общественных и социальных симпатий.

Плеханов-критик тот же страстный друг эксплоатируемых и беспощадный враг угнетателей, тот же революционный марксист, которым мы его знаем во всех сферах его многогранной научной и политической деятельности. Потому он не хочет в своих критических работах быть холодным, как мрамор, невозмутимым, как дьяк поседелый.

Если научная критика смотрит на историю искусства как на результат общественного развития, то ведь и сама она есть плод такого развития. Если история и современное положение данного общественного класса необходимо порождают в нем именно такие, а не другие эстетические вкусы и художественные пристрастия, то у научных критиков могут также явиться свои определенные вкусы и пристрастия, потому что не с неба же сваливаются и эти критики, потому что ведь и они тоже порождаются историей [2]).

Право художника пронизывать свое творчество идейностью, осенять его той или иной общественной идеей, подходить к тому или иному жизнен-

---

[1]) Судьбы русской критики—„За 20 лет“, изд. 3-ье, стр. 160.
[2]) Ibid.

ному явлению, оправляясь от своих общих взглядов, — неоспоримо. Идейность способствует художнику в поднятии художественности его произведения, сообщает ему убежденность, стойкость, пафос, страсть и отнюдь не ведет его к тенденциозности, т.-е. к нарочитому искажению действительности во имя предвзятого принципа. Но понятно, что общественная идея, которую художник кладет в основу своего произведения, должна быть правильно осознанной, ясно учтенной общественной идеей:

— Нужно, чтобы проповедник хорошо разобрался в тех идеях, которые он проповедует, чтобы они вошли в его плоть и кровь, чтобы они не смущали, не сбивали, не затрудняли его в момент художественного творчества. Если же это непременное условие отсутствует; если проповедник не сделался полным господином своих идей; если его идеи к тому же не ясны и не последовательны,—тогда идейность вредно отразится на художественном произведении; тогда она внесет в него холод, утомительность и скуку. Но заметьте, что вина будет падать здесь не на идеи, а на неумение художника разобраться в них; на то, что он по той или другой причине не сделался идейным до конца. Стало быть, вопреки тому, что кажется на первый взгляд, дело не в идейности, а как раз наоборот,—в недостатке идейности [1]).

Великий норвежский драматург не мог найти выхода из абстрактной, и потому бессодержательной, морали в область общественных отношений. Он не смог отрешиться от точки зрения избранных индивидуумов и их «автономной воли». Его многочисленные герои самоусовершенствуются, очищают волю ради очищения воли, подымают бунт ради бунта духа. Это привело Ибсена к рассудочности, символизму, тенденциозности. Ибсеновское скитание в пустыне абстракции, его блуждание в лабиринте неразрешимых вопросов было следствием того, что великий писатель не сумел найти в окружающей его пошлой действительности средства для перестройки этой самой действительности, не сумел обнаружить в ней точки опоры для приложения «очищенной воли».

Талантливая плеяда русских беллетристов 70—80-х г.г. сделалась жертвой неразрешимого для них конфликта художественного творчества с интересами к вопросам общественности. Они оказались не в состоянии разрешить этого конфликта, благодаря тому, что ими владела ложная и узкая общественная идея. Эта ложная идея привела Успенского, Наумова, Каронина к роковым и безысходным противоречиям: «Рваться вперед,—и в то же время защищать отжившую свой век старину! Желать добра народу,—и в то же время отстаивать учреждения, способные только увековечить его рабство! Считать мертвое живым, а живое мертвым.—кто, кроме слепых, не заметит бездонной пропасти подобных противоречий!»—восклицает Плеханов [2]). Вывод, к которому пришел Г. В. в результате исследования творчества народников-беллетристов, гласит: «Художественное достоинство произведений названных беллетристов принесено было в жертву ошибочному общественному учению».

---

[1]) Генрик Ибсен, стр. 2—3.

[2]) Наши беллетристы-народники—„За 20 лет“, изд. 3-е, стр. 77.

В предисловии к 3-му изданию своего сборника «За двадцать лет» Г. В. определил задачу, стоящую перед критиком-марксистом, как заключающуюся в том, чтобы «перевести идею данного художественного произведения с языка искусства на язык социологии, чтобы найти то, что может быть названо социологическим эквивалентом данного литературного явления»... Мне думается, что даже того немногого, что было сказано выше о литературно-критической манере Плеханова, достаточно для того, чтобы убедиться в том, с каким мастерством, с каким блеском и талантом, с какой особой, я бы сказал, виртуозностью выполнял Г. В. первую из указанных им задач—определение социологического эквивалента произведения искусства.

Наивные критики марксизма, а иногда также его прямолинейные и столь же наивные приверженцы, считают, что пользоваться марксистским методом значит рассматривать идеологию как нечто, непосредственно определяемое экономикой. Не приходится говорить о жалкой несостоятельности этого воистину убогого представления о марксизме. Марксизм—тончайший и сложнейший метод исследования общественных явлений—рассматривает идеологию как непосредственно обусловливаемую общественной *психологией*, а последнюю, как сложившуюся в результате многостороннего воздействия различных социальных факторов, в конечном счете направляемых данным состоянием производительных сил—этим «primum movens» общественного процесса. Кто нуждается в иллюстрации этого положения, пусть обратится к многочисленным статьям Плеханова, посвященным искусству,—указывая на них, мы говорим: «Ecce marxismus!»—«Се марксизм!»...

Итак, первая задача, стоящая перед марксистом-критиком, заключается, по указанию Плеханова, в определении социологического эквивалента произведения искусства. Ограничивает ли, однако, марксизм анализ художественного произведения этой задачей? Отнюдь нет. «Стремясь найти общественный эквивалент данного литературного явления,—говорит Плеханов,—(материалистическая) критика (эта) изменяет своей собственной природе, если не понимает, что дело не может ограничиться нахождением этого эквивалента, и что социология должна не затворять двери пред эстетикой, а напротив настежь растворять их перед нею. Вторым актом верной себе материалистической критики должна быть... оценка эстетических достоинств разбираемого произведения... Первый акт верной себе материалистической критики не только не устраняет надобности во втором акте, но предполагает его как свое необходимое дополнение». Каковы же эстетические воззрения Плеханова?

Не будет ошибкой сказать, что эстетические взгляды Г. В. непосредственно примыкают к эстетической теории Н. Г. Чернышевского, первого из русских [1]) и одного из первых европейских мыслителей, по материалистически подошедшего к проблеме искусства. Однако между эстетическими теориями Чернышевского и Плеханова—такое же расстояние, как между

---

[1]) Если не говорить о зародышах материалистического подхода к искусству, которые таятся у В. Г. Белинского.

хромающим материализмом Людвига Фейербаха и диалектическим материализмом Маркса-Энгельса.

Чернышевский — первый из мыслителей, сделавших решительную попытку изгнать идеализм из области науки об искусстве, подвести под нее материалистическую основу, выявить связь между эстетикой и экономикой. Чернышевский энергично восстал против понятия абсолютной красоты, он показал, как это понятие изменяется в зависимости от той общественной среды, в которой оно слагается, и в зависимости от того экономического уклада, который господствует в данной среде.

Поскольку Чернышевский устанавливал причинную связь, существующую между эстетическими понятиями и экономическим бытом, поскольку он восстал против идеалистического толкования искусства и метафизического к нему подхода, мы имеем основание считать его предшественником Георгия Валентиновича Плеханова, как основоположника марксистской эстетики. Но, если Чернышевский, опершись на философскую систему Людвига Фейербаха, сделал крупный шаг вперед в науке об искусстве, то в его эстетической теории отразились и все слабые стороны фейербахианства,—в первую голову его неумение динамически, точнее, диалектически взглянуть на общественный процесс. Таким образом эстетический кодекс Чернышевского сложился из элементов материалистических и идеалистических, и даже та самая метафизика, против которой Чернышевский восставал, нередко прорывалась в его рассуждениях об искусстве. Слабые идеалистическо-метафизические элементы в теории Чернышевского в своем крайнем выявлении привели к той позиции разрушения эстетики и безраздельного утилитаризма, наиболее талантливым защитником которой выступил Д. И. Писарев; его здоровое ядро оказало несомненное влияние на Плеханова, сочетавшего материалистические взгляды Чернышевского с марксистским методом, которым он так несравненно владел.

Чернышевский утверждал, что произведений, созданных одной лишь идеей прекрасного, не существует, и если художественное произведение, с одной стороны, отражает идею прекрасного, то,—с другой преимущественно,— оно обусловливается нашими стремлениями к правде, любви, к улучшению быта. Плеханов считает, что такой постановкой вопроса Чернышевский совершает недопустимую методологическую ошибку, в значительной степени обесценивающую тот вполне правильный материалистический принцип, который он применяет,—эта ошибка в разложении органического целого—произведения искусства—на отдельные составные элементы:

— Если произведение искусства рядом с идеей прекрасного и, стало быть, независимо от нее выражает также известные нравственные или практические стремления, то критик имеет право сосредоточить свое главное внимание именно на этих стремлениях, оставляя в стороне вопрос о том, в какой мере они получили в разбираемом произведении свое художественное выражение. Когда критика поступает так, она по необходимости принимает морализующий характер [1]).

[1]) Н. Г. Чернышевский, стр. 219.

Это—тропинка, которая ведет от Чернышевского к Писареву с его метафизическим утилитаризмом и в корне идеалистическим отрицанием эстетики.

Для Плеханова задача научной эстетики не ограничивается констатированием того факта, что искусство выражает не только стремление к прекрасному, но также и другие стремления человека. «Ее задача состоит главным образом в обнаружении того, каким образом эти другие стремления человека находят свое выражение в его понятии о прекрасном, и каким образом они сами, видоизменяясь в процессе общественного развития, видоизменяют также «идею» прекрасного».

Чернышевский доказывает, что искусство воспроизводит жизнь, что оно отображает действительность,—при этом действительность всегда прекраснее отражающего ее искусства, оригинал выше копии. Назначение искусства—отображать прекрасное, существующее в действительности.

Да, искусство воспроизводит жизнь. С этим положением Чернышевского Плеханов вполне согласен. Но Чернышевский сам сознает, что о жизни и о прекрасном имеют различное представление люди, принадлежащие к различным общественным классам.

Как же будет относиться человек низшего общественного класса,—спрашивает Плеханов,—к той жизни, которую ведет высший класс, и к тому искусству, которое воспроизводит эту жизнь высшего класса? Надо думать, что он,—если только в нем уже начала работать мысль, соответствующая его собственному классовому положению,—отнесется к этой жизни и к этому искусству отрицательно. Если он имеет какое-нибудь отношение к художественному творчеству, то он захочет реформировать господствующее понятие об искусстве, а господствуют обыкновенно, до поры до времени, понятия высшего класса,—он станет «творить» на свой особый лад. Тогда и окажется, что его художественное творчество обязано своим происхождением тому обстоятельству, что его не удовлетворяло прекрасное, встречаемое им в действительности [1]).

Итак, если Чернышевский утверждал, что искусство отображает действительность, он был несомненно прав, но столь же несомненно, что он был не прав, когда закрывал глаза на то обстоятельство, что иногда искусство отображает не действительность, а чувство неудовлетворения ею. Чувство неудовлетворения действительностью с *сегодняшнего* дня, которое испытывает художник, нередко ведет его к изображению действительности *завтрашнего* дня. Прав, в этом отношении, Гюйо, когда он утверждает, что, признавая высшую эстетическую эмоцию—эмоцией социальной, «мы охотно признаем, что высшее выражение общества есть характеристика высшего произведения, чтобы это не касалось только... общества *действительного*, общества современного писателю... Главным образом степень предвосхищения грядущего общества и даже общества идеального характеризует великих гениев, вожаков мысли и чувства» [2]). Ошибка Чернышевского была обусловлена его

---

[1]) „За двадцать лет", изд. 3-е, стр. 296.

[2]) *Гюйо*, Искусство с социологич. точки зрения, стр. 68.

неспособностью диалектически взглянуть на общественный процесс, ощутить и осмыслить его динамику, постоянно меняющую действительность и следовательно отношение к ней тех социальных пластов, из которых слагается общество.

Еще Дарвином было установлено, что чувство красоты различно у различных племен и наций, в пределах одной даже расы, и что обстоятельство это обусловливается тем, что ощущения красоты ассоциируются со сложными идеями. Последнее свойство Дарвин приписывал только цивилизованным народам. Плеханов показал, что такое мнение ошибочно, и что дикарь также ассоциирует ощущение красоты со сложной идеей. Когда дикарь украшает себя зубами тигра или шкурой бизона,—то это результат ассоциации с мыслью о победе над хищником,—показатель ловкости и храбрости; когда африканка украшает себя двадцатью фунтами железных колец, надеваемых на руки и на ноги, то это результат сложной идеи, заставляющей ее ассоциировать железные кольца с представлением о драгоценности, о богатстве,—таковым железо является и поныне у некоторых африканских племен.

Люди, как и многие животные, способны, в силу свойственного им чувства прекрасного, испытывать особое эстетическое удовольствие. Это—факт, изучение которого подлежит *биологии*. Но какие именно вещи и явления доставляют им такое удовольствие, это зависит от условий, под влиянием которых они воспитываются, живут и действуют. *Природа* человека делает то, что у него *могут быть* эстетические вкусы и понятия. *Окружающие его условия* определяют собою переход этой возможности *в действительность;* ими об'ясняется то, что данный общественный человек (т.-е. данное общество, данный народ, данный класс) имеет *именно эти* эстетические вкусы и понятия, а не другие.

Это установленное Плехановым обстоятельство и показывает, что об'яснение развития наших эстетических понятий следует искать не в *биологии*, а в *социологии*, что для этого надо от Дарвина перейти к Марксу.

Осознав это, Плеханов и приступил, во всеоружии марксистского метода, к разрешению вопросов происхождения и развития искусства.

К вопросам этим Плеханов обращался неоднократно. Он посвятил им ряд отдельных статей; во множество работ Г. В., посвященных теории марксизма, вкраплены рассуждения и мысли об искусстве. При каждом представившемся случае Плеханов с какой-то особой любовностью, с каким-то исключительным интересом останавливался на выяснении вопросов, связанных с генезисом и эволюцией искусства. И там, даже где он бросал только отдельные беглые мысли, они ярким материалистическим светом освещали новые, неисследованные еще марксизмом, области, указывали пути, по которым должен направиться творец научной эстетики, воздвигнутой на базе диалектического материализма. Плеханову этим творцом сделаться не удалось. Кипучая политическая деятельность, разносторонность теоретической работы, многогранность научных интересов—не позволили Г. В. осуществить мысль, десятилетия бывшую его заветной мечтой,—написать фундаментальный труд по эстетике, построить марксистский эстетический кодекс. Но, если Г. В. этого ко-

декса и не построил, то он, как никто среди марксистов, сделал много для того, чтобы установить основные принципы его построения, наметить план, следуя которому марксистский теоретик искусства мог бы осуществить эту большую, ответственную и благодарную задачу.

Если Плеханова и нельзя назвать *творцом* марксистской научной эстетики, то мы имеем все основания считать его ее *основоположником*. То, что он стал таковым, было обусловлено мотивами двоякого свойства. Плеханов был очень чуткой, художественной, поэтической натурой,—момент красоты, момент поэзии—неизменно находили отзвук в его тонкой психической организации. Даже как политический работник, как оратор, как публицист, он выявлял это свое преклонение пред красотой,—недаром каждое его выступление доставляло такое *эстетическое* удовольствие слушателям, вызывало такой восторг его художественностью, который запечатлевался у слушателей буквально на десятилетия. Здесь, в этой эстетической восприимчивости душевной организации Г. В., мне думается, и заключается тот *суб'ективный* фактор, который обусловил собой его пытливый, сверлящий интерес к вопросам искусства. На-ряду с этим *суб'ективным* моментом выдвигается, конечно, и момент *об'ективный:* учет того огромного удельного веса, который имеет искусство в социальной жизни. Этот удельный вес, по мнению Плеханова, должен еще возрасти по мере разложения религии, этого мифологического отражения действительности, которая сменится подлинным, художественным ее отображением—искусством [1]).

Треть века пахал Плеханов марксистским плугом во всех областях, относящихся к сфере наук об общественном человеке. Одна из тех глубоких материалистических борозд, которые он провел при этом, пролегает чрез науку об искусстве.

---

[1]) См. воспоминания Аксельрод-Ортодокс об отношении Плеханова к искусству.

# Взгляд В. О. Ключевского на роль «идей» в историческом процессе [1]).

М. Нечкина.

*(Из работ о предшественниках экономического материализма в русской историографии.)*

...„идеи"... нечто неуловимое и неосязаемое, о чем можно говорить, что угодно, не опасаясь быть уличенным во лжи.

*М. Н. Покровский* (Экономич. мат., М. 1916, стр. 12).

Но именно в вопросе об исторической дееспособности идей, боюсь, мы можем не понять друг друга.

*В. О. Ключевский* (Курс I, стр. 29.)

Какова была позиция В. О. Ключевского в споре исторического идеализма с материализмом? Если изучать произведения В. О. Ключевского, как определенный этап развития русской исторической мысли, то этот вопрос окажется центральным. Постепенная смена идеализма материализмом, свершавшаяся в течение прошлого столетия в русской исторической науке, оставила нам в трудах В. О. Ключевского любопытный памятник переходного момента, промежуточного звена между двумя основными течениями. В литературе о Ключевском вопрос этот поставлен, но исследователи дают на него различные ответы.

В общем, можно различить четыре различных решения этого вопроса. П. Милюков, давая в своей работе о В. О. Ключевском общее научное настроение эпохи, полагает, что он держался точки зрения материализма с некоторым своеобразным оттенком: «Экономический материализм» еще представлялся скорее как общая тенденция изучения, чем как готовая философско-политическая доктрина»... «вопрос о взаимоотношении политического и экономического фактора в истории был уже поднят. Роль «идей» была заподозрена вместе с идеалистическим толкованием истории»... «В. О. Ключевский ответил на эти вопросы и стремления, освободив их от заключавшихся в них крайностей и увлечений, но став по существу на одну точку зрения

---

[1]) Одна из глав работы „В. О. Ключевский и его место в развитии русской исторической мысли".

с молодым поколением. Он, который с таким мастерством умел рисовать культурные типы и идейные настроения, посвятил свой курс исключительно политической и социальной истории на *экономической подкладке»* [1]). С. Тхоржевский решает вопрос в смысле признания Ключевским и материального и идеалистического порядка: «Противопоставление личности и общества поясняется и углубляется другим: противопоставлением политических и экономических фактов тому, что Ключевский своеобразно называет «идеями» [2]), и, подчеркнув, что Ключевский полагает идеи фактором, С. Тхоржевский не считает его точку зрения дуалистической, так как у Ключевского нет разрыва между бытием и сознанием. Но, во всяком случае, по мнению Тхоржевского, Ключевский «очень далек от „материалистического понимания истории» [3]).

Третья точка зрения представлена А. С. Лаппо-Данилевским. Сложность и тонкость мировоззрения Ключевского, вместе с отсутствием определенной принадлежности к какой-нибудь из установившихся философско-исторических школ, не дают Лаппо-Данилевскому определенно решить вопрос. Это точка зрения колебаний и нерешительности: «Ключевский... обращал особенное внимание на материальные факторы» [4]). «Впрочем...» и сейчас же следует оговорка, что в своей рецензии на книгу А. Щапова Ключевский обнаруживает иное отношение к фактору интеллектуальной жизни [5]). «Он рассуждает о своеобразном сочетании «политических, социальных и экономических фактов», но не уделяет в нем особого места для «идей» [6]). И опять после этой довольно нерешительной формулировки следует оговорка: «Впрочем»—«Ключевский принимает во внимание и «интеллектуальные» факторы, действовавшие в русской истории, особенно позднейшей» [7]). Вопрос остается нерешенным.

Четвертая точка зрения противоречит сразу всем предыдущим: В. М. Хвостов определенно думает, что Ключевский всецело стоит на почве идеалистического толкования: «*Идеи»* имеют первостепенное значение в историческом процессе»... «Идея, добившаяся общественного признания, становится руководительницей политики, законодательства, хозяйственного оборота (I, 31). *Поэтому* [8]) главнейшим предметом истории являются *факты экономические и политические»* [9]).

---

[1]) *В. О. Ключевский*, Характеристики и воспоминания, М. 1912, стр. 190. Курсив мой. *М. Н.*

[2]) *С. И. Тхоржевский*, В. О. Ключевский, как социолог и политический мыслитель, „Дела и Дни". 1921, кн. 2, стр. 161.

[3]) Ibid., стр. 168 и 157.

[4]) *В. О. Ключевский*, Характеристики и воспоминания, М. 1912, стр. 102.

[5]) Ibid.

[6]) Ibid., стр. 108.

[7]) Ibid., стр. 108

[8]) Курсив мой. *М. Н.*

[9]) *В. М. Хвостов*, „Историческое миросозерцание В. О. Ключевского", в сборнике „Нравственная личность и общество". М. 1911., стр. 197.

Не зависит ли это разногласие от некоторых недоразумений? Возможно, что корень этих недоразумений лежит в том, что все исследователи брали понятие «идея» как раз-на-всегда данное и имеющее всем понятный и определенный смысл. Второй же причиной недоразумений является то, что ни один из изучавших Ключевского не выяснил детально, как представлял он себе процесс зарождения «идей». Это упущение, как нам кажется, произошло отчасти по вине самого Ключевского. В своих вводных к «Курсу русской истории» философско-исторических лекциях он рассмотрел вторую часть жизни «идеи», именно ее дееспособность, условия и возможность ее влияния на общественную жизнь. Первой же половины ее жизни, причин зарождения «идеи» и процесса ее развития до признания ее «обществом», Ключевский совсем не затронул, если не считать не особенно ясного, беглого упоминания, что «от общественных отношений отлагаются идеи» [1]). Ключевский допустил этот пробел потому, что считал отраслью, изучающей этот процесс—биографию, а не историю [2]). Такова была осознанная Ключевским философия истории, но фактическое исследование «курса» дает нам огромное количество материала для изучения этого периода жизни «идеи». Нам придется коснуться его ниже, чтобы понять отношение Ключевского к «идеям», как фактору, и чтобы посильно разрешить спор о позиции Ключевского по отношению к историческим идеализму и материализму, основанный на ряде недоразумений.

## I.

Редкое слово имеет такую массу толкований, как слово «идея». История этого понятия есть почти что история философской мысли человечества. Предполагая эти толкования известными читателю, не будем их касаться вовсе. Остановимся лишь на том, что подразумевает под этим словом Ключевский и как он смотрит на назначение «идей».

Оторвавшись от тех философских систем, в которых оно играло первенствующую роль,—например, от систем конструктивного идеализма (Шеллинг, Гегель), понятие «идея» сделалось обиходным в нашем повседневном мышлении. В обычном словоупотреблении мы пользуемся выражением «идея» для целого ряда явлений нашей интеллектуальной деятельности, чаще всего считая его равнозначным слову «понятие». Нами почти не замечается в этом слове отголосок старых философских и психологических воззрений, отделявших «рассудок» от «разума» и считавших последний «носителем идей». В нашем повседневном разговоре этот отголосок слышится в том, что слово «идея» мы чаще склонны употреблять, как более высокую ступень абстракции, чем «понятие». Но обиходный язык часто применяет слово «идеи» к целому ряду сложных психических явлений, вроде науки, искусства и т. д. Вот как раз в этом смысле, когда слово «идеи» берется почти равнозначным понятию высших ступеней человеческой психической деятельности,—и употребляет это слово Ключевский, подчеркивая его нестрогое «обиходное» значение: «по-

[1]) Курс русской истории, ч. I, стр. 30 (М. 1911).
[2]) Ibid., I, стр. 31.

машний быт, нравы, успехи знания и искусства, литература, духовные интересы, факты умственной и нравственной жизни,—словом, все то, что *на нашем обиходном языке* принято называть идеями»...[1]). Это определение широко, смутно и плохо расчленено. Применение понятия «идея» к явлениям, перечисленным в этой цитате, сразу дает нам возможность подчеркнуть одну особенность Ключевского,—его терминологию.

Всякий, хотя бы самый безобидный термин, порожденный какой-нибудь научной или философской системой или тесно с нею связанный, всегда усваивает себе основные оттенки этой системы. Нельзя упомянуть в каком угодно смысле о «происхождении видов», не вспомнив о Дарвине, и нельзя говорить об «идеях» в историческом процессе, не связывая этого слова волей или неволей с системами конструктивного идеализма. Философская оппозиция Гегелю и его школе в средине XIX в. в многочисленных своих течениях усвоила гегельянскую терминологию, вложив в нее иной смысл. «Идея», бывшая в философии Гегеля некоей реальностью, существующей до своего выявления в мировом бытии «an und für sich» и только *проявляющаяся* в явлениях мира,—*противниками* гегельянства отвергалась. Они говорили уже только о психическом процессе в каждой отдельной личности, о тех ступенях абстракции, которые проходятся мыслью при ее работе над конкретным материалом бытия,—по результатам этой внутренней работы они усвоили тот же гегельянский термин «идеи». Два совершенно различные содержания прикрылись одним названием[2]). Гегель, перестав приниматься целиком в своей системе, жил в ее осколках, разнесенных в терминах его философии в иные системы, в иные взгляды. Влияние Гегеля так велико, что нужны были десятки лет для того, чтобы наука и философия изжили его терминологию. Даже, пожалуй, рано употреблять прошедшее время: в словоупотреблении современной нам науки нет-нет да и встретится своеобразная гегельянская «окаменелость», вроде «духа», «идеи», «основного начала». Мы думаем по новому, но еще употребляем старые слова. И Ключевский—всецело дитя своего времени, изживающего гегельянскую терминологию. Впитав ее из лекций С. Соловьева, Б. Чичерина, П. Юркевича, из окружавших затихающих споров славянофилов и западников, наконец, из всей философской и научной атмосферы его времени, он уже не смог расстаться с ней всю свою последующую жизнь. Тонкая сеть идеалистических терминов опутала его совсем не идеалистическое миросозерцание, и фактическое исследование шло вразрез с терминологией. Действительно, прочтем внимательно ту вводную к «Курсу» лекцию, где В. О. Ключевский говорит об идеях, и ряд мест дальнейшего изложения «Курса», где разбросаны философско-исторические обобщения. Мы все время будем чувствовать «гегельянский дух», не совсем понятное

---

[1]) Курс. I, стр. 28—29. Курсив мой. *М. Н.*

[2]) Различный смысл слова „идея" внес много путаницы и в психологии XIX века; некоторое содействие искоренению связанных с этим термином схоластических предрассудков оказало отождествление его с „понятием", „мыслью", вообще а к т о в и с о с т о я н и й душевной деятельности Об этом см. у *М. Троицкого*, „Немецкая психология в текущем столетии", т. III, М. 1883, стр. 90—91.

для нас отношение к идее, как к какому-то реальному существу, живущему независимо от людских психик. Какое ясное олицетворение идеи чувствуется хотя бы в этих словах: «Изучая факты политические и экономические, мы в основе каждого из них найдем какую-нибудь идею, которая, может быть, *долго блуждала в отдельных умах*, прежде чем *добилась общего признания и стала руководительницей* политики, законодательства или хозяйственного оборота», «деловые или счастливые идеи» и «досужие и неудачные», «идеи, блеснувшие и погасшие в отдельных умах» [1]), «неуменье *освоиться с идеей* выборного царя можно признать производной причиной смуты...» [2]). Эта манера употреблять слово «идея» может ввести и вводит исследователя в заблуждение.

Но обратимся от отвлеченных социологических формулировок Ключевского к тексту его фактического исторического исследования, и мы убедимся, что эта терминология и существо его исследования глубоко различны; слово «идея»—только манера выражаться, принятый на веру термин, вошедший в привычку еще во дни молодости и в силу той же «психической инерции», которую в истории так умело исследует Ключевский, оставшийся в его научном языке. Им покрывается совсем не то содержание, какое мыслила в нем идеалистическая философия истории. Обратимся к этому фактическому исследованию.

Прежде всего, мы увидим, что Ключевский очень ясно различает два порядка явлений: систему внешних исторических фактов, общественных отношений, экономических явлений и т. д. от психических процессов, происходящих в отдельных людях, входящих в общественные соединения. И тот и другой порядок тесно связаны друг с другом, при чем последний зависит от первого, основывается на нем [3]). Следующая особенность исследований Ключевского до чрезвычайности ясна и разумеется сама собой, но все же ее необходимо отметить, так как она понадобится нам в дальнейших выводах. Носители идей у Ключевского, конечно, люди, и только они: идеи живут в человеческой психике и только. Смута меняет состав правительственного класса, в боярство приливает мелкий, худородный элемент,—новые люди,— и сейчас же меняется система политических понятий правящего класса [4]). В эпоху перед реформами Петра одна из основных петровских идей о необходимости поднять производительные силы страны, чтобы основать на них прочные внешние отношения,—уже носится в главе одного из дельцов времени царя Алексея — Ордина-Нащокина — и поддерживается сходными мыслями Ртищева [5]). Воспитанные окружающим бытием мысли кн. В. В. Го-

---

[1]) *Курс, I, стр. 31—32. Курсив мой. М. Н.*

[2]) Ibid., III, стр. 65. Курсив мой. *М. Н.*

[3]) Примерно,—хотя бы „Курс“, II, стр. 280. Этот, как и следующие примеры, конечно, не единичны и выбраны, как наиболее характерные. При внимательном штудировании Ключевского накопляется такая масса иллюстрирующих примеров, что полный аппарат ссылок оказался бы слишком громоздким и ненужным.

[4]) Ibid., III, стр. 87, и „Боярская Дума древней Руси“, Пгр. 1919, стр. 228.

[5]) Курс, III, стр. 455—456.

лицына отражаются [1]) потом на общем характере царствования Софьи. Примеры эти, конечно, можно было бы продолжить без конца. Гораздо интереснее взгляд Ключевского на роль идей в жизни людей, на их назначение и биологическую ценность. Наиболее блестящим анализом этой ценности является изучение Ключевским идеологий екатерининского дворянства, представляющее наиболее яркие страницы недавно вышедшего V тома «Курса» [2]). Подойдем к ответу Ключевского на указанный вопрос через разбор этих страниц.

Отвыкшее от работы и потерявшее живую связь с управлением страны, русское дворянство екатерининской эпохи витало в области идей просветительной либеральной философии. Эти идеи сыграли одну роль на своей родине, Франции, и совершенно иное жизненное значение имели в России. Во Франции они были необходимы обществу, как *орудия борьбы*. Французская просветительная литература «была первым неосторожным и беззаветным порывом во имя разума против обычая, предания, на котором держались политический порядок и нравственное миросозерцание тогдашней Франции. Корни этого порядка скрывались в феодализме, основой этого миросозерцания было католичество. Французская просветительная литература и была восстанием против феодального порядка и католического миросозерцания» [3]). Но, ведь, это орудие борьбы, вызванное известным строем действительности и нужное именно в определенных условиях бытия, не могло сыграть своей служебной роли, жизненной по существу, в среде совершенно иной, какой явилась екатерининская Россия. И действительно, витавшая в области просветительной литературы русская дворянская мысль совсем иначе применила и использовала эти идеи: «... в этой литературе удары, направленные против живых и могущественных еще остатков феодализма и католической старины, сопровождались обильным потоком общих идей, общих мест. Эти общие идеи или общие места имели там, на своей родине, понятный условный смысл: там никто не забывал *настоящего практического значения* свободы, равенства и других отвлеченных терминов, которые противопоставляли существующим отношениям. Этими общими местами, возвышенными отвлеченными терминами *прикрывались очень реальные и часто довольно низменные интересы обиженных классов общества*. Образованное русское дворянское общество было чуждо *этих интересов*» [4]). Как же употребило оно эти чуждые мысли, какова была их жизненная ценность в умственном обиходе дворянства? После об'явления дворянской вольности, освобождения дворянства от обязательного труда, этот класс фактически стал *ненужен* в социальной жизни, перестал нести свою

---

[1]) Ibid., III, стр. 461.

[2]) Напоминаю, что текст этого „пятого тома“ есть перепечатка старой студенческой литографии 1883—84 ак. года, а не подлинный текст рукописи V т., приготовленного Ключевским в последние годы жизни, поэтому цитаты V т. редакции Я. Барскова надо принимать с оговоркой. См. об этом мою статью „К характеристике В. О. Ключевского как социолога (в связи с изд. V тома)“ в „Вестнике Просвещения“, 1923, № 1—2.

[3]) Курс, V, стр. 133.

[4]) Ibid., Курсив мой. *М. Н.*

долю труда. Эта тяжелая моральная пустота, окружившая екатерининское дворянство, естественно его тяготила и вызывала потребность ее заполнить. Оторванное от жизни дворянство и создает себе искусственную среду из отвлеченных мест французской литературы, в которой и живет, обманывая себя видимостью заполненной пустоты: «... из всего содержания этой литературы только общие места, отвлеченные термины и могли быть усвоены русскими дворянскими умами. Но, понятные в связи с живыми местными интересами, эти условные общие места и отвлеченные термины, оторванные от своей почвы, превращались в безусловные политические и моральные догматы, которые заучивались без размышления и еще более отдаляли пропитавшиеся ими умы от окружающей жизни, с которою не имели ничего общего... Чужие слова и идеи избавляли образованное общество от необходимости размышлять, как даровой крепостной труд избавлял его от необходимости работать» [1]).

*Ограничимся пока изложенным для характеристики подхода* Ключевского к определению и назначению идеи. Упомянем еще только о том, что очень часто Ключевский на-ряду с упоминанием «идеи» сейчас же употребляет, как равнозначащее ей слово вроде «понятия», «мысли» и т. д. Очень важно также подчеркнуть, что термин «идей» в огромном большинстве случаев означает у Ключевского именно политические понятия, воззрения, законченные *политические* идеологии. Это тесно связано с определенным выбором политических и экономических факторов, как преимущественного материала его курса, и с общим взглядом Ключевского на сознание и сознательное подчинение мыслью воли, являющееся высшей ступенью развития идей. Пока мы лишь упомянем об этом. Подробно придется обосновать этот взгляд ниже, в проблеме генезиса идей у Ключевского.

II.

*Итак, «идеи» или высшая ступень мыслительной деятельности личности*, возвысившейся до этой ступени в своей абстрагирующей деятельности, играют *большую роль в поведении личности и, через него,—в истории.* Но откуда же они произошли, каков их генезис? Ведь не с неба же они упали и не родились всецело и непосредственно из самодеятельного человеческого духа, как думалось некоторым старым философским школам. Всякий, кто хоть несколько знаком с Ключевским, конечно, скажет, что он не думает ни того, ни другого. Редко кто из историков являлся таким виртуозом по части исследования генезиса идей, как Ключевский. В своих философско-исторических обобщениях, как мы видели выше, он говорит об этом очень глухо; для того, чтобы разобраться в этом вопросе, надо обратиться непосредственно к конкретному историческому исследованию Ключевского.

В общем течении исторического процесса идеи не пребывают, а меняются и видоизменяются. Они идут у Ключевского всегда за изменениями экономических и социальных явлений. Это—первое положение, утверждаемое изуче-

[1]) Ibid., стр., 133—134.

нием всего материала исследований, оставленного Ключевским. Вторым же положением является то, что «идеи» всегда играют служебную, а не самодовлеющую или заглавную роль в историческом процессе. Поскольку изменившиеся внешние условия жизни требуют от человека изменения поведения, он должен постольку же обратить внимание на изменившееся бытие, полученные от него новые впечатления переработать в возможно более стройную систему понятий. Эта система понятий станет уже иным образом направлять его поведение и, раз история имеет дело не с отдельными личностями, а с обществом, вырабатывающим для наиболее удобной жизни ряд внешних форм и учреждений, эта система по необходимости явится той или иной *политической* идеологией, организацией политических понятий. Раз выработав тот или иной взгляд на вещи, ту или иную «идею», человек будет все время пользоваться ею, как известным «психическим орудием» своей деятельности, привыкнет к ней, может быть, даже перестанет ее замечать и, привыкнув, в большинстве случаев сочтет ее вечной и незыблемой истиной, менять которую не надо, чтобы не оскорблять божества, разума или истинной сущности жизни. Он будет упрямо и цепко держаться за свое «техническое орудие», которое досталось ему не даром, а потребовало много упорного мыслительного труда, держаться, может быть, вследствие лени, а вернее вследствие разумной потребности беречь свои силы. Но внешнее бытие, окружающая обстановка, медленно, но непреложно меняются; в них работают и развиваются экономические и социальные процессы, в них—с Днепровского чернозема население передвигается на Верхневолжский суглинок, растет государственная территория, открываются новые торговые пути, опасная южная граница постепенно освобождается от мелких кочевых вторжений—и русская колонизация широким потоком начинает стремиться к югу. Эти новые явления врываются новыми впечатлениями в область человеческого сознания, сначала просто тревожат его, а затем настоятельно и неотложно требуют создания новых понятий, новых планов действия (а что такое политика, как не выполняемый план действия?), потому что старые понятия и системы—уже негодные, иступившиеся инструменты, нужные прежде и лишь обременяющие сейчас. Сначала человек упирается, старается не замечать изменений действительности, пользуется по мере возможности старыми плодами своего мыслительного труда, но мало-по-малу действительность берет свое, и система понятий вырабатывается в гармонии с нею. Историческое бытие властно «вымогает» новое понятие. Верный своей идеалистической гегельянской концепции и терминологии, Ключевский говорит о «зарождении новой идеи».

Вот схема генезиса идей у Ключевского. Познакомившись с нею для общей картины этого процесса, перейдем к более детальному ее рассмотрению.

В философско-историческом споре о роли идей между историческим идеализмом и материализмом, необходимо выделить два наиболее важные логически пункта проблемы: вопрос о генезисе идей и вопрос о примате идей. Заметим, что они столь тесно связаны друг с другом, что решение первого почти безусловно ведет к соответственному решению второго. Если мы установим происхождение идей от бытия, а не из надзвездного мирового про-

странства или не из самодовлеющего человеческого духа, то вопрос о примате идей в историческом процессе, главенства сознания над бытием, просто исчезнет. Поэтому вся предыдущая схема развития «идей» у Ключевского, только что набросанная, совершенно определенно утверждает два положения: во-первых, по Ключевскому, конечно, бытие определяет сознание, а во-вторых, нет не только никакого разрыва между тем и другим, а теснейшая связь взаимоотношений. Вопрос же о «действенности», «дееспособности» идей может быть формулирован более простым способом: поскольку человеческое *поведение* составляет предмет исторического изучения и поскольку оно направляется сознательным мыслительным процессом личности, постольку «идеи», взятые в смысле, принятом Ключевским, действенны, дееспособны.

Чтобы нагляднее иллюстрировать все только что сказанное, перейдем к анализу текста Ключевского и изберем наиболее яркий и центральный в его изложении пример: развитие политического сознания, политических идеологий с Удельного времени до Смуты. Я прошу читателя в последующем ряде цитат из текста Ключевского все время следить за взаимоотношением двух рядов: бытия, фактов, внешних по отношению к сознанию личности явлениям, и именно этого *сознания*, мыслительной деятельности человека, отражающей, воспринимающей и перерабатывающей впечатления от этих явлений внешнего бытия. Параллельно будем следить за процессом «вымогания понятий» и явлениями «психической инерции», некоторого сопротивления личности этому процессу.

Когда колонизационная волна перетекла с Днепровского чернозема на Верхневолжский суглинок, она принесла с собой на новое место систему политических понятий Киевской Руси. Новое положение страны, новая природа, иные хозяйственные условия местности совершенно не подходили к этим старым понятиям. «Руководить устроявшимся здесь русским обществом пришлось трем младшим отраслям русского княжеского рода с *померкнувшими родовыми преданиями,* с порывавшимися родственными связями» [1]). «...Князья никак не могли приладить *к своему фактическому положению понятий,* унаследованных ими от давней старины: *сила вещей* клонила их к раздельному владению, а они, сидя на своих «дольницах», мелких долях своих маленьких отчин, все еще хлопотали и спорили о княжении «по роду, по старейшинству», о родовой очереди, по старшинству» [2]). На-лицо «неподатливость княжеского политического сознания» [3]). Но удел по существу своему, главным образом экономическому, заставлял вырабатывать представление о нем, согласное с этим существом: мало-по-малу «вымогался» взгляд на удел, как на собственность, а не как на временное пристанище князя, принадлежащее не ему, а всему княжескому роду. Главные причины этого «*были не генеалогические, а географические и экономические.* Они были вызваны к действию ходом русской колонизации по Оке, верхней Волге и северному За-

---

[1]) Курс, I, стр. 417. Курсив здесь и в последующих цитатах этого раздела — мой. *М. Н.*
[2]) Ibid., стр. 426.
[3]) Ibid.

волжью» [1]. «... Среди князей, усевшихся в этом краю, понятие об отдельном наследственном владении восторжествовало над прежним княжеским представлением о земле русской, как нераздельном дедовском достоянии, которым все внуки владеют сообща, т.-е. по известной очереди. Говоря точнее, самое понятие об отдельном наследственном владении есть *не причина*, а скорее содержание, сущность удельного порядка» [2]. «Удельный порядок был *отражением и частью произведением* той разобщенности, в какой находилось пришлое население верхневолжской Руси в пору своего обзаведения на новых местах, пока новоселы *не освоились с непривычными условиями края и окрестными старожилами*. Значит, порядок раздельного княжеского владения там складывался *в тесном соотношении с географическим распределением населения*, а это распределение, в свою очередь, направлялось *свойствами края и ходом его колонизации*» [3]. В том же, по существу, экономическом условии, что князь явился *хозяином* на своем уделе, личным трудом устроившим весь хозяйственный аппарат, надобно искать *источника* самой идеи удела, как частной, личной собственности удельного князя» [4]. В период собирания Руси Москвою расширившаяся государственная территория сильно усложнила аппарат государственного хозяйства, потребовала более высокого напряжения народного труда, и новые задачи, ставшие перед формировавшимся национальным государством, потребовали смены старой системы политических удельных понятий новыми, государственными. «Умам, воспитанным в понятиях княжеской вотчины, в обычаях удельной усадьбы, трудно было усвоить себе общие интересы народа, которые призвано ведать государственное управление» [5]. С половины XV в. в Московском областном управлении свершается важная перемена, — замена кормленщиков выборными земскими властями: «Разумеется, эта перемена *не была следствием какого-либо перелома в политических понятиях* московского государя или московского правительственного класса. *Наоборот*, самые эти понятия изменялись под влиянием перестройки управления, вынуждавшейся *ходом дел, как говорится, силою вещей*. Этот процесс, как бы сказать *исторического вымогания новых понятий* особенно наглядно отразился на переменах, происшедших в областном управлении Московского государства с половины XV в.» [6]. Необходимо было изжить понятие удела, отбросить его и выработать новые политические понятия. Здесь огромную завершительную роль сыграла Смута, во время которой выработалось, как думает Ключевский, понятие о государстве. Ранее русские люди, смотря на государя, как на вотчинника, на себя смотрели, как на пришельцев, всецело от него зависящих. В Смуту же новый факт,—государство без государя,—заставил понять разницу того и другого понятия и почувствовать, что пребывает государство, а преходяща и случайна династия. Новое политическое

[1] Боярская Дума, стр. 80.
[2] Ibid.
[3] Ibid., стр. 432.
[4] Ibid., стр. 433.
[5] Ibid., II, стр. 427.
[6] Ibid., стр. 453.

понятие рождается *действительностью*,—новые факты, ранее не замеченные и *необходимость* действовать как-то,—устраиваться в разоренной земле. Бытие определило сознание. В этом процессе важно еще раз подчеркнуть любопытный психологический момент: люди могут жить и не замечать, что действительность, их окружающая, уже изменилась и требует изменения строя мысли, привычно работающей по старым шаблонам. Смута толкнула инертно застывших людей, заставила заметить новую действительность и выработать строй новых мыслей: «Это—печальная выгода тревожных времен: они отнимают у людей спокойствие и довольство и взамен того дают *опыты и идеи*. Как в бурю листья на деревьях повертываются изнанкой, так смутные времена народной жизни, ломая фасады, обнаруживают задворки, и при виде их люди, привыкшие замечать лицевую сторону жизни, невольно задумываются и начинают думать, что доселе они видели далеко не все. Это и есть начало политического размышления» [1]). Перед Смутой «основные элементы государственного порядка *еще* не поддерживались соответственными их природе понятиями. Формы государственного строя, складывавшиеся исторически, *силой стихийной закономерности народной жизни*, не успели наполниться надлежащим содержанием, *оказались выше наличного политического сознания людей, в них действовавших*. В том и состоит наибольший интерес изучаемого периода, чтобы следить, как вырабатываются в общественном сознании и вливаются в эти формы *недостававшие им понятия*» [2]).

Мы проследили в общих чертах постепенный процесс преобразования политических понятий с Удельного времени *по Смуту*, как его изображает Ключевский. Если вспомнить общую концепцию его исторического курса, то сразу бросается в глаза, что этот процесс никогда не уходит из центра исторических построений Ключевского. Но не только на нем можно следить за ходом образования понятий: каждый частный случай, каждый мелкий, исследуемый Ключевским факт дает ему предлог вскрыть тесную зависимость между материалом впечатлений внешнего бытия и перерабатывающего его сознания. Установив взгляд на земский собор, как на совместное совещание центрального правительства с его ближайшими ответственными органами,—людьми столичных классов, Ключевский, предчувствуя упрек в умалении значения земских соборов, говорит о невозможности рассматривать их, как земские представительные собрания в Москве XVI века: для этого «надобно предположить в тогдашних московских умах присутствие таких сложных понятий, во всем складе тогдашней русской жизни—целый запас условий, дающийся только на заключительном уровне общественного развития. Как могли сложиться такие условия, откуда было вырасти таким понятиям *на Верхневолжском суглинке*, столь скудно оборудованном природой и историей» [3]). Конечно, не только политические, а любые понятия «вымогаются» ходом действительности, внешнего бытия; пример такой же выработки религиозно-нравственных понятий мы имеем в патриархе Никоне. Описав окружавшее его

[1]) Ibid., III, стр. 82.
[2]) Ibid., III, стр. 16—17.
[3]) Ibid., II, стр. 507.

бытие, беспорядки и падение церкви в его время, Ключевский замечает: «Можно было подивиться духовной силе Никона, сумевшего *среди этой взбаломученной разносторонними веяниями церковной мути* выработать и донести до патриаршего престола *ясную мысль* о Церкви вселенской и об отношении к ней поместной Церкви русской» [1]). Здесь очень ясно указание двух элементов, творящих «идею»—внешней обстановки и духовной работы личности, качества которой разнятся соответственно индивидуальным особенностям. То же влияние бытия на сознание видим мы в возникновении таких явлений, как, например, губернская реформа Петра: «...*ходом дел вырабатывалась мысль*, что местные средства вместо окружного пути через московские приказы, где они сильно таяли, выгоднее направлять в областные административные средоточия» [2]).

Но сразу ли возникает «идея» в голове человека? Непосредственно ли следует высший процесс обобщений после влияния действительности на психику? Не сразу и не посредственно. Ключевский с присущей ему виртуозностью исследователя-психолога тщательно следит за постепенным ходом этого процесса. Он, как редко кто из историков, чувствует в изучении его тесную и неразрывную связь всех трех условных областей психической жизни—ума, чувства и воли. Сначала—изменившаяся действительность, требуя изменения человеческого поведения, вместе с этим требует новых систем мысли. Их еще нет, но потребность в них на-лицо. Человек испытывает смутное чувство тревоги. Это смутное настроение, минутный порыв, общее беспокойство, мало-по-малу проясняется в области сознания, сначала в виде смутных помыслов, затем все ближе и ближе подходя и, наконец, достигая высших ступеней абстрагирующей деятельности,—у Ключевского, чаще всего, политических систем, идеологий, продуманных планов. Такова общая картина, и материал для иллюстрации отдельных стадий развития идеи очень обилен в исследованиях Ключевского. Рост государственной территории и соответственный рост и усложнение форм государственного хозяйства требуют от населения и администрации многих знаний, которых тогдашнее общество еще не имело: нарождается потребность в этом знании, потом осмысливающаяся [3]), и в конце концов—«мысль о необходимости такого знания с конца XVII в. становится господствующей идеей передовых людей нашего общества» [4]). Петру I на долю выпало много трудных задач и «эти задачи были *потребности* государства и народа» [5]); «потребности управления вызывают учреждение Сената [6]). Ключевский учитывает и более тонкие и сложные формы потребностей, если так можно выразиться, чисто психологического свойства,—например, потребность *в об'яснении* явлений, возбуждающих недоумение, или потребность в воплощении собственных эмоций, для того, чтобы, воплотив их,

[1]) Ibid. III, стр. 390.
[2]) Ibid., IV, стр. 204.
[3]) Курс, III, стр. 463 и сл.
[4]) Ibid., стр. 467.
[5]) Ibid., IV, стр. 62.
[6]) Ibid., стр. 217.

или полнее ими насладиться или освободиться от их гнета либо бунта. Вера народа в самозванцев во время Смуты и самая «идея самозванства» возникла в результате потребности народа об'яснить таинственное пресечение династии. «Вопрос, как могла возникнуть самая идея самозванства, не заключает в себе какого-либо народно-психологического затруднения. Таинственность, какою окружена была смерть царевича Дмитрия, порождала противоречивые толки, из которых *воображение выбирало наиболее желательные,* а всего более желали благополучного исхода, чтобы царевич оказался в живых и устранил *тягостную неизвестность, которой заволакивалось будущее.* Расположены были, как всегда, безотчетно верить, что злодейство не удалось... Самозванство было удобнейшим выходом из борьбы непримиримых интересов, возбужденных пресечением династии» [1]). Анализ переписки Курбского с Грозным приводит Ключевского к заключению, что обе стороны не понимали друг друга. «Это недоразумение заключалось в том, что в их переписке столкнулись не два политические *образа мыслей,* а два политические *настроения*... Каждый из них твердит свое и плохо слушает противника.—За что ты бьешь нас, верных слуг своих?—спрашивает князь Курбский.—Нет,—отвечает ему царь Иван,—русские самодержцы изначала сами владеют своими царствами, а не бояре и вельможи. В такой простейшей форме можно выразить сущность знаменитой переписки» [2]). Царь Иван пишет неспокойно и нескладно. «Раздражение теснит его мысль множеством чувств, образов и помыслов, которые он не умеет уложить в рамки последовательного и спокойного изложения... Поэтому нелегко уловить его основные мысли и тенденции в пене нервной диалектики» [3]). Тяжелая обстановка детства, натянутые отношения с матерью, недоверие, ожидание вечных оскорблений, пренебрежение со стороны временщиков развили тяжелую раздражительность в Павле I. «Это раздражение усиливалось нетерпеливым ожиданием престола, долго не удовлетворяемой жаждой власти и деятельности... Благодаря этому, Павел принес с собой на престол *не обдуманную программу,* не знание дел и людей, а *только обильный запас накипевших горьких чувств.* Его политика вытекала не столько *из сознания* несправедливости и негодности существующего строя, сколько *из антипатии* к матери и раздражения против ее сотрудников» [4]).

Смутные чувства, помыслы, инстинкты — это первые подготовительные стадии зарождения мыслей, идей. «Чувства—предтечи идей», прямо формулирует Ключевский [5]). Всякая сознательная деятельность мысли, проходящей последовательные стадии абстракции, является последующей ступенью деятельности по отношению к смутным помыслам, шатким настроениям, чувствам и, наконец, завершается, по мнению Ключевского, в сознательно выработанных политических идеологиях и программах. Многие были посланы при Петре обучаться за границу: «Неподготовленные и равнодушные, с широко

[1]) Ibid., III, стр.71.
[2]) Ibid., II, стр.218
[3]) Ibid., стр.214.
[4]) Ibid., V, стр.155.
[5]) Очерки и речи, М. 1913.

раскрытыми глазами и ртами, смотрели они на нравы, порядки и обстановку европейского общежития, не различая див культуры от фокусов и пустяков, не отлагая в своем уме от непривычных впечатлений никаких помыслов» [1]. После освобождения дворянства от обязательной службы, в народную массу «проникла *смутная мысль*, что политический порядок на Руси покоится на несправедливости. *Это чувство* выразилось в очень своеобразной форме» [2]. Характеристика мечтательности и сентиментальности Александра I в детстве сопровождается замечанием: «Все это с летами, конечно, изменилось бы: мечты сменились бы трезвыми наблюдениями, *чувства, охладев, превратились бы в убеждения»* [3].

Эта первоначальная стадия развития идеи уже может влиять на человеческое поведение и выливаться в ряде внешних форм: рост политического сознания Московского государства не сразу выливается в систему идей: «Новая идея развивалась туго, долго оставаясь в фазе смутного помысла или шаткого настроения. Чтобы понять людей в этом состоянии, надобно искать более простых первичных проявлений человеческой души, смотреть на внешние подробности их жизни: *на костюм*, по которому они строят свою походку, *на окружающую их обстановку*, по которой они подбирают себе осанку: эти признаки *выдают их помыслы и ощущения, еще неясные для них самих, не созревшие для более понятного выражения»* [4]. При Петре I «типографский шрифт, подобно покрою платья, становился показателем известного порядка идей и знаний, символом миросозерцания» [5]. Не только перечисленные явления могут сыграть роль внешних форм выражения, но и «хорошие слова», которые «подобно костылям поддерживают слабеющие мысли» [6]. «... Новое национальное значение московского государя в первое время внушало больше *неясных чувств, чем определенных политических понятий»* [7]. Перед преобразовательной эпохой Петра I «...противоположные влияния рождали и распространяли в обществе *смутные чувства и настроения*. Но в отдельных людях, становившихся впереди общества, *эти чувства и стремления уяснялись*, превращались в сознательные идеи и становились практическими задачами» [8]. В последних же, наиболее высоких стадиях жизни идеи необходимо подчеркнуть элемент волевой, — сознательный труд мыслительных систематизаций. «Сильные характеры,—говорит Ключевский:—создаются как-то природой или складываются обстоятельствами, *а цельные миросозерцания только внутренней, личной работой человека над самим собою»* [9]. Еще несколько цитат охарактеризуют взгляд Ключевского на политическое сознание, как на наиболее высокую ступень мыслительной работы: «...надобно помнить одно

---

[1] Ibid., IV, стр. 311.
[2] Ibid., V, стр. 116.
[3] Ibid., стр. 167.
[4] Ibid., II, стр. 152.
[5] Ibid., IV, стр. 330.
[6] Очерки и речи М. 1913.
[7] Боярская Дума, стр. 242.
[8] Курс, III, стр. 412.
[9] Очерки и речи, Op. cit.

свойство московских умов того времени (XV в. *М. Н.*). Отношения и стремления людей, правивших тогдашним обществом, управлялись гораздо более привычками, преданием, нежели идеями. Предание хранится в памяти и нравах, *поддерживаемое напоминающею его житейскою обстановкой, которая вместе* с ним сложилась. Иные явления старины кажутся нам непонятными лишь потому, что мы предполагаем обдуманные цели, политические задачи там, где действовали только передаваемые по наследству политические привычки» [1]. Скептически относясь к петровскому Сенату, Ключевский, разобрав его подвластность царю, иронически замечает: «такова первоначальная идея Сената, *если только* какая-нибудь идея участвовала в его создании» [2], а изучая местные судебные учреждения Петра, Ключевский дает понять ту же мысль, говоря: «Заимствовать чужое учреждение несколько легче, чем усвоить идею, положенную в его основание» [3]. Все только что приведенные цитаты дают также материал для утверждения положения о медленности и постепенности усвояемых идей [4] и о важности элемента *сознания в* историческом процессе по представлению Ключевского [5].

Итак, мы проследили стадии развития «идеи», как это представлял себе Ключевский. Сейчас перед нами естественно возникает вопрос о том способе, каким «идея» воплощается в жизнь, т.-е. иными словами, каким образом человеческая мыслительная деятельность, приспособившись к изменившемуся бытию, будет пользоваться в своем поведении этими мыслительными системами, с трудом выработанными орудиями, с помощью которых удобно использовать это изменившееся бытие. В сущности, этот вопрос мы уже начали исследовать, говоря о формах воплощения еще неясных, «эмоциональных» стадий развития идеи, если можно так выразиться, и высших стадий,— «идей» политических. Но вопрос этот еще не очень ясен—остановимся на нем.

Заметим, прежде всего, что только с этого момента—так называемого «воплощения идеи» в действительность начинаются философско-исторические обобщения Ключевского, изложенные им во вводных к «Курсу» лекциях. Проанализируем эти обобщения для того, чтобы, прежде всего, установить некоторые расхождения Ключевского с практикой его исторического исследования, которая гораздо шире, гибче и глубже его теории, а затем для того, чтобы констатировать ряд серьезных неясностей его социологических обобщений, отчасти связанных с его терминологией.

Отправным положением Ключевского в его учении об «идеях» служит коренное противоположение их фактам политическим и экономическим. Обе последние группы являются плодами коллективного действия, а «идеи—плоды личного творчества, произведения одиночной деятельности» [6]... Вся практика конкретного исторического исследования у Ключевского противоречит этому,

---

[1] Боярская Дума, стр. 228—229. О том же см. Курс, II, стр. 151—152.
[2] Курс, IV, стр. 216.
[3] Ibid., стр 246.
[4] Это иллюстрирует также II, стр. 151 и 152.
[5] Об этом также см. „История сословий в России“, Спб. 1918, стр. 27—29.
[6] Курс, I, стр. 29.

давая обильнейший материал для утверждения, что «идеи» суть плоды точно такого же коллективного творчества, как и политические и экономические явления. У Ключевского, приписывающего минимальнейшую роль личности в истории, почти нет указаний на авторство какой-либо «идеи». «Идея» у него принадлежит нуждающейся в ней исторической эпохе, сознается сразу огромным количеством лиц, живущих в одинаковых условиях, «носится в воздухе» в смысле нахождения ее в огромном большинстве сознаний своего времени, принадлежит сразу всем и никому в отдельности. Несколько злоупотребляя термином «идея», Ключевский рассыпал в своих трудах такую массу «идей»,—«идею» национального государства, «идею» власти, «идею» удела, «идею» местничества, «идею» земского собора, «идею» губных старост,—что достаточно только задать себе вопрос, в какой мере каждая из этих «идей»—плод *индивидуального* творчества, чтобы почувствовать всю его нелепость. Конечно, мы здесь в исследовании Ключевского имеем дело с ясно выраженным коллективным творчеством. Разумеется, не надо подчеркивать, что только что формулированное положение отнюдь не противоречит высказанному ранее, что носителями «идей», конечно, являются люди: это ясно само собой. Обратим сейчас внимание на другую сторону, на то, как смотрит Ключевский на условия дееспособности «идей». «Вы поймете, когда личная идея становится общественным, т.-е. историческим фактом и даже фактором, творцом фактов: это когда она *выходит из пределов личного существования* и делается общим достоянием и не только общим, но и обязательным, т.-е. общепризнанным правилом и убеждением. Но, чтобы личная идея получила такое обязательное действие, нужен *целый прибор средств,* поддерживающих это действие, — общественное мнение, требование закона или приличия, гнет полицейской силы... Сколько прекрасных мыслей, возникших в отдельных умах, погибло и погибает бесследно для человечества *только потому, что не получает во время надлежащей обработки и организации.* Они украшают частное существование, разливают много света и тепла в семейном или дружеском кругу, помогая домашнему очагу, но ни на один заметный градус не поднимают температуры общего благосостояния, потому что ни в праве, ни в экономическом обороте *не находят соответствующего прибора,* учреждения или предприятия, которое вывело бы их из области добрых упований, т.-е. досужих грез, и дало бы им возможность действовать на общественный порядок» [1]). Что дает нам эта цитата? В смысле понимания условий действенности идей—крайне мало. Здесь очень образно описаны результаты, конечный этап какого-то сложного процесса, и описание это звучит неубедительно по той причине, что все предыдущие этапы, постепенно приведшие к конечному, опущены. Образность же описания вредит ясности: подчеркнутые места дают смутное чувство, что идея рисуется Ключевским чем-то существующим вне психики, движущимся по собственным законам. Поправляешь себя тем, что это—просто столь свойственная Ключевскому манера выражаться образно, но чувство остается. Са-

---

[1]) Курс, I, стр 30—31. Курсив мой. *М. Н.*

мое же важное то, что, если сопоставить это обобщение и материал фактического исследования в «Курсе» и других работах, то станет ясно, что в вышеприведенных строках Ключевским описан тот же удивительно ясный и убедительный процесс «вымогания понятий», разобранный ранее, но описан очень неудачно, потому что взят с конца, а не с начала: вся убедительность последовательного сцепления следующих друг за другом звеньев потеряна. Заметим, что это именно в высшей степени характерно для Ключевского, находящегося в своих философско-исторических и теоретически осознанных положениях во власти идеалистических концепций и терминов. Одно из недоразумений литературы о Ключевском, о которых мы упомянули в самом начале статьи, и состоит в том, что исследователи Ключевского в этом пункте его исторического миросозерцания ограничиваются пересказом соответствующих мест вводных лекций, не замечая противоречия этого места с описанным в тексте процессом «вымогания идей» [1].

*Для ясности, проанализируем все же по материалу исторического исследования* Ключевского два основные понятия его социологического отвлечения: идею, нашедшую себе «прибор средств» выражения и идею, не нашедшую «прибора средств». Этот анализ, в сущности, явится повторением этапов описанного выше процесса «вымогания идей», только в обратном порядке. Чаще всего этот «прибор средств» есть прибор средств политических, и ясно, что лишь зрелая и политически разработанная мысль может дойти до сознания использовать те или иные средства. Описав деятельность Ртищева, Ключевский замечает: «Тем особенно и важна деятельность тогдашних государственных людей преобразовательного направления, что их личные помыслы и частные усилия превращались *в законодательные* вопросы, которые разрабатывались *в политические направления или в государственные учреждения*» [2]. Но ведь не всякая, а только какая-то определенная идея может получить подобную обработку. Какая же? Анализ большого числа примеров, отчасти уже приведенных выше, показывает, что такою идеей является идея, вызванная к жизни общей, коллективной потребностью, возникшей благодаря известным образом изменившимся внешним условиям, задевшим ту или иную общественную группу. Наиболее важен здесь именно момент *коллективной* заинтересованности, *общей* нужды. Очень часто, пожалуй чаще всего в исследовании Ключевского, такую роль играет какая-либо потребность государственного хозяйства. Рост территории Московского государства, усложнивший это государственное хозяйство, порождает в умах московских людей потребность *идеологически обосновать это об'единение, пробуждает «национальную* идею»; «мысль о государственном единстве русской земли из исторического воспоминания теперь превращается *в политическое притязание,* которое *Москва* и спешила заявить во все стороны, как свое неот'емлемое право» [3].

---

[1]) *С. Тхоржевский*, Ключевский, как социолог и политический мыслитель,—„Дела и Дни“, 1921, кн. 2, стр. 160—161. *В. М. Хвостов*, Историческое миросозерцание В. О. Ключевского (Сб. „Нравственная личность и общество“), М. 1911, стр. 198—199.

[2]) Курс, *III*, стр. 431.

[3]) Ibid., II, стр. 150.

Несколько иной вид «прибора средств», но с сохранением того же основного момента коллективной потребности, мы имеем в религиозном обряде, которому Ключевский посвятил ряд блестящих страниц III тома «Курса», анализируя его, как систему форм, внешних выражений, хранящих в себе эмоциональную сторону религии: «...с тех пор, как люди стали себя помнить, в продолжение тысячелетий и до наших дней они не умели обойтись без обряда ни в религии, ни в других житейских отношениях нравственного характера. Надобно строго различать способ усвоения истины сознанием и волей. Для сознания достаточно известного усилия мысли и памяти, чтобы понять и запомнить истину. Но этого очень мало, чтобы сделать истину руководительницей воли, направительницей жизни целых обществ. Для этого нужно облечь истину в формы, обряды, в целое устройство, которое непрерывным потоком впечатлений приводило бы мысли в известный порядок, наше чувство в известное настроение, долбило бы и размягчало нашу грубую волю и, таким образом, посредством непрерывного упражнения и навыка превращало бы требования истины в привычную нравственную потребность, в непроизвольное влечение воли» [1]. К характеристике этого аппарата, с помощью которого действует идея, надо добавить следующее: Ключевский всегда настойчиво подчеркивает, что в жизни можно провести лишь ту мысль, которой соответствуют наличные средства эпохи. Во время Петра I правительству было до последней степени ясно, что надо содержать большое войско и для успешности его прокормления надо таковое разложить по душам населения, для чего необходима перепись. Но средств для успешного проведения этой переписи не было,—ни людей, способных ее провести, ни наличных перевозочных средств, ни правильного административного аппарата, и нужная перепись так и не была произведена [2]. То же—с административной реформой Петра I: регламенты его «в нашем законодательстве... имели чисто академическое значение политических трактатов, не став административными нормами. Усовершенствованные формы управления не сразу улучшили самих правителей. ***Новые учреждения были не по тогдашним плечам,*** требовали подготовленных и дисциплинированных дельцов, каких не нашлось ***в наличном*** служилом запасе» [3].

В анализе последних случаев мы уже перешли к идеям, не нашедшим соответствующего прибора средств. Прежде всего, следовательно, такими являются идеи, не соответствующие уровню средств эпохи. Затем таковыми же являются идеи, возникающие в ответ на частную потребность личности, вызванную ее индивидуальными свойствами или изменением ее среды. Как пример, укажем на уже разобранный выше случай Ивана Грозного, у которого идея самодержавия, по мнению Ключевского, явилась, как реакция на личную вражду против бояр: «Никогда у нас до Петра Великого верховная власть в отвлеченном самосознании не поднималась до такого отчетливого, по крайней мере, до такого энергического выражения своих задач. Но когда

---

[1]) Ibid., III, стр. 373.
[2]) Ibid., IV, стр. 123—126.
[3]) Ibid., стр. 257.

дошло *до практического самоопределения,* то полет политической мысли *кончился крушением»* [1]). Тот же случай мы видим в отчуждении идеалов Нила Сорского от туземной почвы потребностей тогдашнего общества: «*в тогдашнем русском обществе,* особенно в монашестве, направление преп. Нила не могло стать сильным и широким движением. Нил Сорский и в белозерской пустыне остался *афонским* созерцательным скитником, подвизавшимся на «умной, мысленной», но чуждой почве» [2]). Напомню еще один из разобранных выше примеров,—идеологии екатерининского дворянства, проникнутые общими местами западной просветительной философии.

III.

Наша главная мысль еще не обоснована достаточно: для ее обоснования еще не достает анализа тех мест исследований Ключевского, где он приписывает «идеям» определенную роль *фактора;* нередки также у Ключевского упоминания о «неправильно понятых идеях», о «незародившихся идеях», о «заимствовании идей от других народов». Все это невольно наводит на мысль, что может быть высказанное выше мнение о материалистичности Ключевского не учло этих мест его исследования. Обратимся к ним. Выберем наиболее характерные случаи, где «идеям» приписывается определенный примат над бытием.

Вместе с ростом Московского государства, расширяется дипломатическая сцена и программа внешней политики, как думает Ключевский. «Эта перемена тесно связана с одной идеей, пробуждающейся в московском обществе около этого времени, идеей национального государства. Эта идея требует тем большего внимания с нашей стороны, *чем реже приходится нам отмечать прямое участие идей в образовании фактов* нашей древней истории... Разрыв русской народности на две половины, юго-западную и северо-восточную, удельное дробление последней, иноземное иго — эти неблагоприятные условия едва ли могли содействовать прояснению мысли о народном единстве, однако были способны пробудить или поддержать смутную потребность в нем, и мы уже знаем, какую крупную роль сыграла эта потребность в ходе успехов Московского княжества. Я веду речь не об этой потребности, *а об идее национального государства,* о стремлении к политическому единству на народной основе. Эта идея возникает и усиленно разрабатывается прежде всего в московской правительственной среде по мере того, как Великороссия об'единялась под Московской властью» [3]). Кажется, нельзя более ясно формулировать свою приверженность к идеалистическому об'яснению истории. Но первое, что бросается нам в глаза, это определенные противоречия и колебания, которыми полны страницы о национальной идее. Очень характерна, во-первых, оговорка, что в историческом процессе нашего прошлого очень редко прямое участие «идей». Во-вторых, проверка примата идей в этом во-

[1]) Ibid., II, стр. 217.

[2]) Ibid., стр. 365.

[3]) Ibid., II, стр. 146. Курсив мой. *М. Н.*

просе по всему предшествующему и последующему материалу исследований Ключевского дает в результате то, что и в данном случае процесс шел от фактов к сознанию, что целый ряд чисто материальных причин привел Московское государство к такому состоянию, которое властно «вымогало» у «общества» идею национального государства. Перед только что приведенной формулировкой Ключевский посвящает несколько страниц установлению одного «основного факта», «от которого пошли остальные явления, наполняющие нашу историю XV и XVI веков. Можно так выразить этот факт: *завершение территориального собирания северо-восточной Руси Москвой превратило Московское княжество в национальное великорусское государство»* [1]. Естественно, что расширение территории вело к изменению дипломатического поведения Московского государства, и важно подчеркнуть, что, после приведенной нами чисто-идеалистической формулировки примата идей, Ключевский развивает эту мысль так: «Любопытно следить, в каком виде и с какою степенью понимания дела *проявлялась эта идея,* которая не могла не оказать влияния на ход жизни Московского княжества. Видно, во-первых, что *она вырабатывается из имевшихся внешних сношений* московского великого князя. Поэтому *первой провозвестницей ее является московская дипломатия Иванова времени... Внешние отношения* Москвы к иноплеменным соседям получают одинаковое общее значение для всего великорусского народа: они не раз'единяли, а сближали его местные части в сознании *общих интересов и опасностей* и поселяли мысль, что Москва—*общий сторожевой пост, откуда следят за этими интересами и опасностями,* одинаково близкими и для москвича и для тверича, для всякого русского. *Внешние дела Москвы усиленно вызывали мысль о народности и народном государстве»* [2]. Процесс «вымогания идей» действительностью, изменением внешних фактов ясен: нечего и говорить, что все эти интересы, которые блюдет сторожевой пост—Москва, территориальное расширение и т. д., во-первых, факторы материального порядка, а во-вторых, именно *факторы,* а не производные явления, результаты работы отвлеченной национальной «идеи», чего бы можно было ожидать, судя по идеалистической формулировке Ключевского, приведенной в начале. Точно так же может служить и такая формулировка Ключевского: «*неуменье освоиться с идеей выборного царя* можно признать производной причиной смуты»... [3]). Но основная причина этой производной — вотчинный взгляд на Московское государство, происхождение же этого вотчинного взгляда было обусловлено всем ходом дел, всей обстановкой удела и разбиралось нами выше. Здесь очень ясно понимание Ключевским «идеи», как известной степени *политического* сознания. Для данных фактов, для данной политической обстановки еще не было выработано нужной формы этого сознания,—значит здесь дело лишь в психической операции, медленности работы мысли.

---

[1]) Ibid., II, стр. 144—145.
[2]) Ibid., стр. 147. Курсив мой. *М. Н.*
[3]) Ibib., III, стр. 65. Курсив мой. *М. Н.*

Термин «заимствование», «идея», *почерпание* ее из иноземных источников у Ключевского довольно част. Самая формулировка чисто идеалистического свойства: она предполагает независимый процесс развития мысли, определяющей факты. Но анализ соответствующих мест сейчас же вскрывает, что под тонкой сетью идеалистических формулировок в исследовании Ключевского бьется самое живое сердце материалистического подхода к истории. Заимствуются лишь *пригодные* идеи, нужные для данной экономической, социальной ситуации, заимствуются лишь на известной ступени развития; собственный мыслительный процесс облегчается, несколько ускоряется заимствованием—и только. К этому надо добавить характернейшую черту, всегда почти сопровождающую у Ключевского исследование «заимствования» идей: эти «заимствованные идеи» почти никогда не прививаются, резко изменяются местными русскими условиями. «Заимствованная» при Петре идея «гофгерихтов»,—надворных судов,—прежде всего преобразуется в голове Петра, который «не успел отрешиться от древнерусского взгляда на суд, как на отрасль той же администрации» [1]), а затем уже совсем изменилась, примененная к русской действительности, где «привозные идеи столкнулись с туземными привычками» [2]). Особенно характерно исследование психологии заимствования в случае тех петровских молодых людей, которые отправлялись для обучения за границу. «По возвращении домой с этих проводников культуры легко свеивались иноземные обычаи и научные впечатления, как налет дорожной пыли, и домой привозилась удивлявшая иностранцев смесь заграничных пороков с дурными родными привычками» [3]).

Часто в своем исследовании Ключевский отмечает, что та или иная идея «не зародилась». Несмотря на чувствующийся у него соблазн видеть в земском соборе форму представительного собрания, Ключевскому не дает сделать этого тонкое историческое чутье, не позволяющее неосторожно искать любимых мыслей в умах минувших времен: «...мысль о правомерном представительстве, о политических обеспечениях правомерности *еще не зародилась* ни в правительстве, ни в обществе» [4]). Выдав в этом месте свой политический идеал, Ключевский вовсе не констатирует здесь примата идеи над бытием,—здесь лишь проецирование в прошлое своих настоящих идеалов, при чем это проецирование, как и следует ожидать от тонкого анализа Ключевского, ограничивается известным подходом к явлениям, но не приводит к констатированию несуществующего факта.

Отражение того же явления видно в тех случаях, когда Ключевский констатирует какую-либо «неправильно понятую» идею. В каждом случае такого упоминания мы найдем то же проецирование излюбленных Ключевским мыслей в прошлое. На основании собственных симпатий и антипатий, а иногда и чисто-логических соображений Ключевский строит правильное (с его точки зрения) понятие какого-либо явления, его «идею» и констати-

---

[1]) Ibid., IV, стр. 245.
[2]) Ibid., стр. 246.
[3]) Ibid., стр. 313.
[4]) Ibid., III, стр. 260. Курсив мой. *М. Н.*

рует отклонение исторической действительности от этого идеала. Заметим опять чуткость и осторожность Ключевского, как историка: он не констатирует несуществующих фактов, ослепленный своими любимыми мыслями, как часто делают менее талантливые и менее честные историки: он лишь руководится этим своим идеалом в общем построении работы, в общем подходе— и только. Возьмем хотя бы «идею» монастыря, представляющую собою понятие о тихом убежище благочестивой души, где она предается размышлениям о собственных грехах и величии божества, заполняя свой досуг тяжелым физическим трудом для умерщвления плоти и подвигами духа во славу Божию. Описав русский монастырь XVI века, сильно расходившийся с описанным идеалом, описав беспристрастно и точно, Ключевский добавляет: «Так добрая идея, *неправильно понятая и примененная,* в своем последовательном развитии приводит к расстройству порядка, усвоившего ее с таким неправильным пониманием и применением» [1]). Подобный же случай мы имеем в отношении Ключевского к Никону, понявшему идею вселенской церкви «слишком узко, по-раскольничьи, с внешней обрядовой стороны» [2]).

При анализе этих и подобных мест исследований Ключевского, нельзя отделаться от одного неотступного чувства, от одного напрашивающегося вывода. Вспомним, что социологическое (не историческое!) образование дано Ключевскому гегельянцем Б. Н. Чичериным, что та философско-историческая атмосфера, в которой воспитывалась слагающаяся научная индивидуальность Ключевского, имела и идеалистические и материалистические волны. С одной стороны,—затихающие споры славянофильства и западничества, с другой— народившаяся материалистическая волна, воспринимавшаяся Ключевским, вероятно, в ее наиболее умеренных формах; последняя не была чужда идеалистической терминологии. Ключевский, как мы уже видели, всецело принял и впитал эту идеалистическую терминологию, но не только терминологию: как социолог, как философ истории, он, несомненно, в общих чертах принял идеалистическую концепцию исторического процесса. Он смотрел на примат идей над бытием, как на *идеал* исторического процесса. Получилось любопытное явление. Это априорно принятое положение хранилось у Ключевского где-то в области не очень нужных справок по теории исторического исследования, а практика его шла как-то независимо, своим чередом, по материалистическому методу. Медлительный и осторожный Ключевский не очень любил широкие социологические обобщения и, как мы видим это из его работ, не очень в них нуждался. Своей целью в историческом изучении, он ставил констатирование *своеобразия* тех или иных явлений. Очень любопытно, что, часто приходя к материалистическому толкованию событий, он скромно— или, может быть, несколько боязливо — воздерживается от материалистического же обобщения, а, наоборот, констатирует данный исторический процесс. как уклонение от идеальной нормы. Петром III были изданы «несколько важных и дельных указов, каковы были, например, указы об упразднении Тайной канцелярии, о позволении бежавшим за границу раскольникам воро-

[1]) Ibid., II, стр. 359. Ср. ibid., стр. 362.
[2]) Ibid., III, стр. 399.

титься в Россию с запрещением преследовать за раскол. Эти указы были *не отвлеченными началами веротерпимости или ограждения личности от доносов, а практическими расчетами людей, близких к Петру»...* [1]). Ведь здесь ясна общая философско-историческая мысль, что вообще могло бы быть и иначе, т.-е.: указы, законы *могут быть* порождаемы отвлеченными началами веротерпимости или ограждения личности, но вот в данном случае произошло обратное,—дальнейших выводов не делается. А как характерно с этой же стороны цитированное однажды выражение: «Эта идея требует тем большего внимания с нашей стороны, *чем реже* приходится нам отмечать прямое участие идей в образовании фактов *нашей древней истории»* [2]). Очевидно, философско-историческое мировоззрение, в отвлеченной своей и осознанной Ключевским части, несколько беспокоило его вопросами: почему оно так редко оправдывается на фактах исследований его носителя. И поэтому Ключевский в том случае, когда считал возможным принять идею за основной фактор, требовал к этому случаю тем большего внимания и успокаивал свою несколько встревоженную научную совесть признанием, что *редкость* непосредственного участия идей в историческом процессе есть только индивидуальная особенность нашего древнерусского прошлого. Работа в московских приказах «направлялась обычаем, *а не идеями»* [3]). Идея Сената при Петре I стояла очень высоко: «без согласия Сената нельзя было ничего начинать, тем менее вершить; он—заместитель собственной Его Величества персоны в ее отсутствие; закон ставил его наравне с высшими на земле авторитетами, Богом, царем и «всем честным светом». Но трудно было приподнять действительное положение Сената и его личный состав до уровня столь высоких определений, даже сняв с них реторическую окраску. Он был проводником самодержавной воли, не имея своей собственной; его полномочия были приказчичьего, а не хозяйского характера, не права, а ответственные поручения; он—механический прибор управления, а не политическая сила» [4]).

## IV.

Теперь мы можем ответить на вопрос, поставленный в начале: какова позиция Ключевского в опоре исторического идеализма с материализмом?

Нетороплвый и осторожный Ключевский, воспитанный на идеалистических концепциях и терминологии, впитал их, пользовался ими в своих исторических работах и остался им верен всю жизнь, но чуткий исследователь в неторопливом и осторожном Ключевском приходил часто в своем исследовании к совсем материалистическим выводам, прикрывая их тонкой сеткой идеалистической терминологии.

Отношение Ключевского к «идеям» выяснялось на предыдущих страницах. Для того, чтобы решить поставленный нами вопрос, коснемся теперь

[1]) Ibid., IV, стр. 460. Курсив мой. *М. Н.*

[2]) Ibid., II, стр. 146. Курсив мой. *М. Н.*

[3]) Ibid., стр. 429. Курсив мой. *М. Н.*

[4]) Ibid, IV. стр. 233.

отношения к «идеям» теории экономического материализма,—иначе у нас не будет необходимой предпосылки в выводе.

Ряд соображений, который сейчас последует, настолько всем известен, ясен, самоочевиден, что его не стоило бы просто касаться, но нам придется это сделать в целях чисто-логического удобства.

Прежде всего, экономический материализм, конечно, не отрицает существования идей. «Те же самые люди, которые устанавливают свои общественные отношения в соответствии с материальным производством, *создают также принципы, идеи и категории* в соответствии со своими общественными отношениями» [1]). «Каждой ступени развития экономических условий соответствуют определенные формы и *идеи*» [2]). Отношения между людьми *не только* материально - трудовые отношения; это и отношения психические, «духовные»; и общество производит ведь не только материальные предметы: оно производит и так называемые «духовные ценности»: науку, искусство и проч.; оно, другими словами, производит не только вещи, но *и идеи*» [3]). «Мышление определяется бытием. Это значит, что одно дело действительные отношения людей, существующие фактически в материальной действительности, другое дело—сознание о них. Это сознание не является первоначальным, но обусловлено, определяется действительно существующим строем общества и всеми материальными условиями, в которых люди живут» [4]). Средства исправления общественного порядка, не соответствующего экономическим отношениям, «не изобретаются из головы, но отыскиваются посредством головы в наличных материальных условиях производства» [5]). Ясно, что всюду отрицается примат головы, но не голова, вопрос о первенстве влияния «идей», но не самые «идеи».

Весь спор исторического материализма с идеализмом сводится к двум пунктам: к вопросу о генезисе идей и к вопросу о примате идей над бытием. Материализм считает, что идеи не падают с неба, а возникают в психике под непосредственным влиянием бытия, и определяющей роли, конечно, в этом бытии не играют. Исторический же идеализм полагает, что идеи возникают из непосредственно творящего их духа и, в свою очередь, творят историю. Философия исторического материализма имеет тему спора с идеализмом лишь в случае существования и различного решения вопросов о генезисе идеи и ее примате. Все эти случаи спора в общем легко разделяются на две группы. К первой относятся все те идеалистические теории, которые понимают идеи, как нечто самозарождающееся и обусловленное лишь свойствами человеческого духа, а в развитии своем представляющее процесс, сам себя обусловливающий. Ко второй же группе, в сущности, представляющей из себя частный

---

[1]) *К. Маркс*, Нищета философии, СПБ. 1906, стр. 111—112.

[2]) *К. Каутский*, статья в сборнике „Исторический материализм", М. 1919, стр. 59—60, 48—49.

[3]) *Н. Бухарин*. Теория исторического материализма, М. 1922, стр. 147—148.

[4]) *В. Адоратский*. Марксистская диалектика в произведениях Ленина,—„Печать и революция", 1922, II, стр. 45.

[5]) *Фр. Энгельс*, Анти-Дюринг, Пгр. 1918, стр. 237.

случай первой,—относятся те системы философий конструктивного идеализма, которые приписывают идеям существование вне-психическое; раньше, чем стал существовать мир, уже существовали идеи (Платон, в новой философии—Фихте, Шеллинг, Гегель, особенно последний), и всякая реальность в существе своем есть идея. „Die Vernunft ist Geist, indem die Gewissheit, alle Realität zu sein, zur Wahrheit erhoben, und sie sich ihrer selbst als ihrer Welt und der Welt als ihrer selbst bewusst ist". „Der Geist ist hiermit das sich selbsttragende absolute reale Wesen" [1]. Эта идеалистическая философия, приложенная к мировой истории, рассматривала ее, как ряд воплощений Мирового Духа: „Es hat sich also erst aus der Betrachtung der Weltgeschichte selbst zu ergeben, dass es vernünftig in ihr zugegangen sey, dass sie der vernünftige, nothwendige Gang des Weltgeistes gewesen, des Geistes, dessen Natur zwar immer ein und dieselbe ist, aber in dem Weltdaseyn diese seine eine Natur explicirt" [2].

Борьба идеалистического и материалистического мировоззрений, в сущности, представляет собою всю историю философии. Мы отметили выше элементы идеалистического и материалистического миросозерцаний в социологии Ключевского. Чтобы лучше ее понять, поставим ее на принадлежащее ей место, вспомним эпоху, когда сложилась научная личность Ключевского и философское настроение этой эпохи. Вначале поставленный вопрос о значении произведений Ключевского, как определенной эпохи русской исторической мысли, может быть разрешен только при освещении этих произведений эпохой, в которую они появились.

Если поставить все исследования Ключевского в хронологический ряд и проследить развитие его научного миросозерцания, то прежде всего бросится в глаза ровность этого развития, отсутствие скачков, резких переломов и отказов от прежде принимавшихся теорий, замены их новыми. Этого нет. Правда, я говорю сейчас лишь на основании тех данных, которые имеются в его печатных трудах. 1861—1865 года заняты учением в университете, 1866 год ознаменован выходом в свет первого печатного его труда «Сказания иностранцев о Московском государстве»; в этой работе на-лицо многие элементы его позднейшего научного миросозерцания, но самого миросозерцания, как целого, еще нет. Очевидно, оно добывалось упорной работой, скрытой от посторонних глаз, во время подготовки к министерским экзаменам, когда В. О. Ключевским напечатана лишь одна небольшая работа

---

[1] *G. W. F. Hegel*, Phänomenologie des Geistes. Herausgeg. v. D. I. Schulze, Berlin 1841. S. 317. В русском переводе под ред. Э. Л. Радлова: „Разум есть дух, так как уверенность в том, что он есть вся реальность, возведена в истину, и разум сознает самого себя, как свой мир, а мир, как самого себя". „Таким образом, дух есть самосущая абсолютная реальная сущность" (*Г. В. Гегель*. „Феноменология Духа", пер. под ред. Э. Радлова, Спб. 1913, стр. 198—199). Курсив мой. *М. Н*

[2] *G. W. F. Hegel*, „Philosophie der Geschichte" (Werke, vollständige Ausgabe durch einen Verein von Freuden des Verewigten, IX B., Berlin 1837, стр. 13). „Таким образом, прежде всего из рассмотрения мировой истории следует, что в ней все происходило разумно, что она была разумным, необходимым ходом Мирового Духа, Духа, чья природа хотя всегда есть одна и та же, но в мировом бытии эта природа об'ясняется".

«Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря» (1867), показывающая общее направление ума Ключевского, но еще не вскрывающая основ миросозерцания. Оно продолжало вырабатываться во время начальной преподавательской деятельности в Александровском военном училище и Московской духовной академии, во время кропотливейшей исторической архивной работы над житиями святых. Магистерская диссертация Ключевского «Жития святых, как исторический источник», защищенная в 1872 году, ясно формулирует одно из основных положений концепции Ключевского,—взгляд на русскую историю, как на ряд колонизационных моментов. Правда, особенности изученного материала не дали возможности Ключевскому подчеркнуть этот момент в той степени, в какой он сделал это позже, и общая историческая схема стоит в «Древнерусских житиях»... как чувствуемая, но не формулированная ясно предпосылка исследования. В 1880—1881 г.г. издается «Боярская Дума древней Руси», и историческое миросозерцание Ключевского предстает пред нами в полной законченности. Ясно, что корней этого миросозерцания надо искать в 60-х годах и более всего в периоде ученья в университете и подготовки к профессуре.

Вся атмосфера, окружавшая Ключевского в эти годы, была наполнена возбужденной работой мысли. Споры западников со славянофилами отчасти затихли и перестали быть злобой дня: стало как-то понятно, что разногласие между ними не представляло непроходимой пропасти: пусть они расходятся в результатах своих исследований, зато они сходятся на материале, употребляют одинаковый метод, главное—мыслят по идеалистическому гегельянскому образцу. И вот этот-то общий образец, этот метод подвергся яростной нападке со стороны материалистической волны, захлестнувшей мысль 60-х годов. Мы ясно почувствуем эту атмосферу, если вспомним, что для первокурсника Ключевского *«Антропологический принцип в философии»* Чернышевского был новинкой прошлого года, как и «Накануне» Тургенева, первые пять глав «Обрыва» и две нашумевшие статьи Добролюбова «Луч света в темном царстве» и «Когда же придет настоящий день?». Трудно себе представить, чтобы первокурсник Ключевский, только что сбросивший с себя семинарский гнет, освободившись от него в год освобождения крестьян, не читал этих вещей: наверно он, как и вся молодежь, тянулся к этой литературе, доставал ее у товарищей и знакомых, потому что скудной студенческой стипендии, конечно, не хватало на покупку книг. Первокурсник Ключевский узнает о выходе в свет «Записок из мертвого дома» и «Униженных и оскробленных», второй курс приносит ему весть об издании «Что делать?» Чернышевского. Конечно, Ключевский горел и волновался вместе со своим поколением, но, вероятно, замкнутая глубинность его натуры, присущая ему осторожность и, наконец, тяжелое моральное и материальное положение стипендиата, вместе с неясной классовой позицией, не давали ему возможности интенсивно проявлять себя во вне, явно участвовать в общественной жизни. Вспомним еще, что яростные споры идеализма с материализмом вовсе не только окружали университет времени Ключевского, а вторгались в его стены, сосредоточивались в нем, находя своих представителей и среди студенчества и среди профес-

суры. Наверно, студент Ключевский хорошо знал о ярой схватке Чернышевского с профессором Юркевичем, раскритиковавшим его «Антропологический принцип» [1]: ведь Юркевич читал ему логику, психологию и историю философии, каждый понедельник, среду и пятницу появляясь перед студентами третьего курса. Для полноты общей картины еще надо упомянуть, что в год окончания Ключевским университета (1865) русская публика впервые знакомится с философией позитивизма: появляется статья Д. И. Писарева «Исторические идеи Огюста Конта»,—первое русское изложение этого учения.

Материалисты типа Чернышевского и упорные гегельянцы вроде Б. Н. Чичерина не представляли собою всех направлений тогдашней философской мысли. Большая группа мыслящих, продвинувшись от идеализма к материализму, остановилась на полдороге, заняла среднее положение и в философских спорах именовала себя реалистами. Духовно к этой группе примыкал Ключевский. Для того, чтобы разобраться в этой философии, почувствовать это миросозерцание реализма, подойдем к нему через беглый обзор философских взглядов профессора П. Д. Юркевича, типичного в своей туманности представителя реализма. Он интересен еще и тем, что был профессором Ключевского. Надо подчеркнуть, что этот экскурс в философию Юркевича предпринимается вовсе не потому, что можно предположить какое-то «влияние» Юркевича на Ключевского. Нам просто кажется целесообразным этот подход для освещения философских направлений того времени и позиции в ней Ключевского.

Несколько медлительный и ленивый П. Д. Юркевич, хранивший в своем характере черты своего хохлацкого происхождения, оставил нам немного философских работ. Одною из главных является большая статья «Материализм и задачи философии» [2]. Здесь Юркевич, разобрав спор идеализма с материализмом, становится на среднюю точку зрения реализма, явно причисляя себя к школе реакции против конструктивного идеализма: он является противником Гегеля и наиболее верными считает позиции Гербарта, Бенеке, Шопенгауера и Лотце [3]. Юркевич признает и не раз подчеркивает тесную связь между миром и познающей душой, между бытием и сознанием: «в человеке идеи изменяются, чередуются, вытесняют одна другую и преобразуются, *смотря по большему или меньшему количеству вновь открываемых и наблюдаемых им фактов»* [4], «...будем стоять на феноменальной почве опыта, *как этого требует правильная научная метода»* [5]; «психические процессы возникают в бытии не случайно, *не по абсолютному произволу души*, не как призраки, которые не имеют определенно, раз-на-всегда избранного места в действительности, но что они входят в великую систему мира, как ее часть, и связаны с ее порядком и закономерностью необходимо» [6].

---

[1]) *П. Д. Юркевич*, Из науки о человеческом духе—„Труды Киевской Духовной Академии", 1860.

[2]) Ж. М. Н. П., 1860, т. CVIII, стр. 1—53.

[3]) Ibid., стр. 48-49 и 53, 2, 3.

[4]) Ibid., стр. 2. Курсив мой, как и в последующих цитатах произведений Юркевича.

[5]) Ibid., стр. 16.

[6]) Ibid., стр. 18. Ср. 16—17 и 19.

Но материализм не решает взятой на себя задачи даже в том случае, если бы вполне разрешил психофизическую проблему: его возможное достижение—найти лишь способ перехода физического в духовное: этим духовное не отрицается и не об'ясняется. По мнению Юркевича, существует две закономерности,—физическая и духовная. «Опыт никогда не дает окончательного оправдания нашему мышлению, которое, бесспорно, должно повиноваться как опытам, *так и своей внутренней закономерности*» [1]), «познание отношений и зависимости между изменениями того и другого рода, с тем, впрочем, ограничением, что душевные изменения, по крайней мере доселе, не поддаются никакому математически-определенному измерению и вычислению, не могут быть отнесены ни к какой количественной единице» [2]). Вопрос решается так, что душа зависит от материи, но это не значит, что душа—материя: душа, как таковая, имеет собственную закономерность.

Отметим, что разрешение спора между идеализмом и материализмом и обоснование точки зрения реализма представляет собою содержание всех философских трудов Юркевича, что и делает его произведения особенно интересными. Из главных его работ нам осталось затронуть лишь две—большую статью «Идея» [3]) и уже упоминавшуюся «Из наук о человеческом духе» [4]). В первой характерно самое понимание термина «идея», как следующей ступени мыслительной деятельности после образования понятий: «в идее разум созерцает внутренний склад и строй тех явлений, наличная наблюдательная сторона которых сознается посредством понятия» [5]). Юркевич порывает с философией Гегеля, признавая тесную и неразрывную связь явления и идеи, отказывая идее в предсуществовании: «Идея, положенная и определенная не на основании *своего явления,* а только a priori, есть произвольная гипотеза. Таким образом идею мы должны находить в действительности, как нечто данное, положительное, открываемое и познаваемое. Прежде опыта мы не можем иметь знания об идее; мы не можем, например, сказать с Гегелем, что эта идея будет логическая» [6]). Вл. Соловьев так характеризует философию Юркевича в целом: «Точкою зрения Юркевича был широкий, от всяких произвольных или предвзятых ограничений свободный эмпиризм, включающий в себя и все истинно рациональное и все истинно сверх-рациональное, так как и то и другое прежде всего существуют эмпирически, в универсальном опыте человечества с неменьшими правами на признание, чем все видимое и осязательное» [7]).

---

[1]) Ibid., стр. 10.

[2]) Ibid.. стр. 16—17.

[3]) Ж. М. Н. П., 1859, ч. CIV, стр. 1—35 и сл.

[4]) Труды Киевской Дух. Ак., 1860, кн. 3, стр. 367—511.

[5]) „Идея", стр. 5.

[6]) Ibid., стр. 124. Курсив Юркевича. *М. Н.*

[7]) *Вл. Соловьев*, Три характеристики. М. М. Троицкий.—*П. Я. Грот.*—П. Д. Юркевич (Собрание сочинений, СПБ. 1903, т. VIII, стр. 414 и сл.', стр. 427. С этой характеристикой нельзя вполне согласиться, особенно с оттенением сверх-рационального момента: оп в философии Юркевича заметен мало и подавлен ясным чувством эмпирической действительности.

В заключение надо подчеркнуть именно компромиссное положение философии Юркевича, что особенно характерно сказывается на его терминологии: он все время оперирует с понятиями идеалистической философии и находится в ее власти, говоря, например, об идее, «которая побуждает равнодушные к своим будущим состояниям элементы мира вступать в эти определенные, а не другие сочетания» [1]) и т. д.

Часто философская позиция Ключевского так же компромиссна, как и позиция Юркевича. В теории вопрос об «идеях» решен не совсем ясно и половинчато. Но огромная жизненная чуткость и конкретность исторической науки спасли его от полного проведения этой компромиссности в практике исторического исследования. Но нельзя слишком легко смотреть на роль той гегельянской терминологической сетки, которая окутывает эту практику. Это — во-первых. Во-вторых, несмотря на все материалистические черты исследования Ключевского,—одно из утверждений огромной важности не вошло в его историческое миросозерцание: это—признание классовой борьбы. Конечно, Ключевский чувствовал и часто подчеркивал социальную дифференциацию на экономической основе,—но он упрямо думал, закрывая глаза на факты, что случаи классового антагонизма—именно случаи, частные явления, а норма—всеобщее единение. Поэтому Ключевский употребляет термины, вроде «народ», «общество», без ковычек, говорит об идее национального государства, как о присущей *всему* народу и т. д. Читатель, вероятно, уже заметил эту *особенность Ключевского*.

Все это кладет резкую грань между Ключевским и той эпохой развития исторической науки, которую переживаем мы. Эта грань была положена еще ранее и трагичнее,—между Ключевским и *первым* поколением его учеников, его первым выпуском. П. Н. Милюков, слушавший первый университетский курс приват-доцента Ключевского (1879), говоря о годах своей магистерской подготовки, уже подчеркивает эту отчужденность: «При обсуждении самых современных вопросов исторической методологии часто проскальзывали у него *точки зрения, отдельные термины и словосочетания, к которым мы не привыкли в изложении новейших исторических европейских методов*. В самом интимном общении оставалось что-то нам чуждое, что подлежало дальнейшему выяснению. Для нас, не то семидесятников, не то восьмидесятников, Ключевский являлся уже передаточным звеном традиции, кристаллизовавшейся десятилетием раньше, в шестидесятых—семидесятых годах» [2]). Действительно, Ключевский—типичный странник на распутьи двух дорог исторической мысли—исторического идеализма и материализма. Он—передаточное звено. Он не создал школы, потому что историческая школа создается лишь ясно осознанной философией истории. Но влияние Ключевского на последующее развитие русской истории огромно: фактический материал, практика и результаты его конкретного исторического исследования, без труда оторванные от некрепко державшей их философской концепции идеалистического содержания,—разнесены на кусочки и впитаны позд-

[1]) „*Идея*", стр. 19.

[2]) *В. О. Ключевский*, Характеристики и воспоминания, М. 1912, стр. 196.

нейшими работами материалистического направления. Едва ли найдется последователь экономического материализма, который бы, работая над русской историей, не имел бы на своем столе книг Ключевского. Но идейно, философски,—мы с ним уже порвали. Отчасти поэтому же наша позиция в деле изучения Ключевского более выгодна, чем позиция непосредственных его учеников. Слишком большая хронологическая близость к нему, восприятие его учения в молодые годы, когда слагается научное мировоззрение, впечатление от личности Ключевского и, наконец,—незаметная, быть может, но крепкая связь политических идеалов,—все это мешало им спокойно изучить учителя. Ученики, изучая его, должны были бороться с собою: «Когда речь идет о таком несравненном одиночном явлении, как талант и личность Ключевского, кажется как-то странно искать об'яснений в «связи поколений». Ключевский, каким его привыкли видеть на расстоянии, должен быть один, сам по себе. Как мыслитель и ученый, он так своеобразен, так крупен, что искать корней и нитей представляется уже как бы некоторым посягательством на источники его влияния и славы» [1]). У нас уже нет этого настроения. Мы пользуемся спокойной выгодой нашего поколения: подойти к изучению В. О. Ключевского с уважением, но без обожания.

---

[1]) Ibid., стр. 188.

# Дети после войны и голода.

В. Невзоров.

*(Заметки врача о голоде в Крыму).*

## I.

Голод в Крыму был подготовлен рядом событий: наплывом беженцев, прекращением подвоза хлеба из плодородных местностей Предтаврии (Мариупольский, Днепровский и др. северные уезды) и, главное, — тем, что лето и осень 1920 года крестьяне, не желая воевать в войсках Врангеля против Красной армии, ушли в горы и озимые поля остались незасеянными. Лето же 1921 года было настолько бездождным и знойным, что сгорели и яровые поля.

Уже весной 1921 года началась эпидемия цынги, державшаяся чрезвычайно долго и затихшая лишь в июле месяце.

Я в то время работал в Феодосии, заведуя подотделом охраны здоровья детей. Мне же было поручено организовать детскую больницу и быть в ней старшим врачом. Сначала больница принимала только цынготных детей, но в августе появились случаи заболевания детей брюшным тифом, и больница из временной обратилась в постоянную. В ней мне пришлось провести первую часть голодной кампании.

Оторванность Крыма от обширных голодающих районов Поволжья и некоторая еще неналаженность власти были причиной того, что помощь Крыму из центра пришла очень поздно, только в феврале 1922 года, когда все ужасы голода были на-лицо.

Первые голодные показались на городских улицах в начале ноября 1921 года. Число их быстро росло, росло и число умерших от голода, дойдя в марте 1922 года до 8.000 человек только в одном Симферополе. Всего же, по официальным данным, в Крыму умерло от голода свыше ста тысяч человек.

Особенное бедствие переживали татары горных районов, всегда питавшиеся привозным хлебом, и население маленьких городков, где сразу замерла всякая промышленная деятельность. В Бахчисарае, Старом Крыму и в Карасубазаре вымерло больше двух третей населения. Цыган совсем не осталось в Крыму. Они первые прибегли к людоедству, сначала таскали чужих детей, а когда их в этом изловили (Ст. Крым) и жестоко расправились, то цыгане поедали друг друга. От цыганских слободок в крымских городах остались только развалины. Людоедство, впрочем, отмечено и среди других национальностей Крыма. Вместе с голодом свирепствовали сыпной и возвратный тифы.

В декабре население поело всех собак, кошек; охотились за мышами и крысами. В горах разыскивали какие-то корни, отличавшиеся мясистостью и пряным вкусом. Утверждали, что они даже питательны; самому мне не пришлось их видеть. В городах и долинах наибольшим успехом пользовался хрен, корни которого в Крыму достигают аршина в длину и двух вершков в диаметре. Хрен растирали на терке, высушивали, отчего из него уходила горечь, потом смешивали с небольшим количеством муки и пекли лепешки. Получалась довольно твердая с трудом разжевываемая беловатая масса (от большого количества древесины), безвкусная, непитательная, но отягощающая желудок, что обманывало чувство голода. Делали хлеб из кормовой свеклы, это было питательнее, но одинаково безвкусно. Цены на настоящий хлеб стояли очень высокие, насколько я помню, чуть ли не вдвое выше, чем в Поволжье, и потому он был мало доступен населению.

Страдали все, но больше всех так называемые «земские дети»—подкидыши и сироты—питомцы детского приюта бывшего Таврического губернского земства, воспитывавшиеся на условиях патронажа по селам. Как и везде, этот патронаж обратился в промысел, а когда за воспитание детей перестали платить, да еще наступил голод, то крестьяне в буквальном смысле выгнали земских детей на улицу. В лучшем случае, если в селе оказывался толковый и жалостливый председатель сельсовета, детей усаживали на телегу и сдавали в ближайшем городе в окроно или здравотдел, при чем уж не желали слушать никаких убеждений.

— Дети не наши, самим есть нечего, что хотите с ними, то и делайте.— И уезжали. Но таких случаев было немного, обычно детей просто выгоняли из дому и говорили, чтобы они шли в Симферополь.

Дети туда и потянулись. Многие не дошли, конечно. На дорогах и около дорог в перелесках долго потом находили трупы детей, упавших от бессилия, остановившихся отдохнуть, да так и успокоившихся навеки от слишком жестоких к ним людей и жизни. Но многие дошли до Симферополя и принялись стучаться в разные двери. Прежде всего в бывший земский приют, но здесь их не приняли, так как земского приюта уже не существовало и здание было занято «Домом матери и ребенка». Дети разбрелись по улицам города, толкались в детские дома, в Наркомпрос. Наиболее сильные и энергичные решили промышлять за свой счет и составили небольшие шайки базарных грабителей. По свисту, по условному крику двадцать-тридцать мальчишек сбегались в мгновение ока на зазевавшегося мужчину с покупками или на одинокую женщину. В ход шли кулаки, удар в живот головой,—и часто здоровый сильный человек, ошеломленный внезапностью нападения, не успевал еще сообразить, в чем дело, как маленькие налетчики вырывали у него из рук хлеб, корзину с продуктами и разбегались в стороны. Иногда таких детей жестоко били, но это нисколько не избавляло от их деятельности. Голод сильнее побоев.

Я сам видел, как под ударами палкой мальчик лет 10—12 все-таки дотянулся до куска хлеба, уже сильно запачканного грязью, и жадно запихивал его к себе в рот. Удары сыпались ему на спину, а мальчик, стоя на четвереньках

ках, продолжая торопливо откусывать кусок за куском, стараясь, чтобы у него не отняли хлеба. Это было около хлебного ряда на базаре. Вокруг стояли взрослые люди, женщины и кричали:

— Так ему мерзавцу, дай ему еще! Житья от паршивцев нет.

В другой раз я шел по базару вместе с приятелем, человеком очень высокого роста и сильным. Он остановился купить хлеба, а я прошел вперед на несколько шагов к папироснику. Расплачиваясь, я увидел, как мимо меня с возбужденными лицами, с горящими жадностью глазами и злобными какой-то звериной жестокостью, пробежало несколько мальчишек. Тотчас же я услышал и крик моего спутника. Я оглянулся. Мой спутник был буквально облеплен кучей мальчишек: одни повисли у него на руках, другие взбирались по его ногам, стараясь дотянуться до свертка, который он держал в высоко поднятой руке. Хлеба уже не было, его вырвали прежде всего. Одному мальчишке удалось схватить сверток, оказавшейся коробкой с гильзами, и разломать ее. Посыпались гильзы, но на них мальчишки не обратили внимания и разбежались. Все это произошло так быстро, что я не успел добежать на помощь, как около него никого уж не было.

На базарах усилили охрану. Мальчишки вооружались табаком и засыпали им глаза слишком ретивым милиционерам. Стоустая молва передавала поразительные вещи из базарной практики юных грабителей. Женщины перестали ходить на базар без провожатых.

Потом уже в коллекторе дети сами рассказывали мне о своих похождениях на базаре. Это были все милые, славные ребята; главной их виной было то, что они очень хотели есть и, не найдя хлеба общепринятым путем, подчинились зову предков, добывая себе хлеб охотой. Умирать с голоду они решительно не хотели.

Другие, менее энергичные и более ослабевшие от голода дети беспомощно лежали на тротуарах людных улиц и тихо плакали. Они даже ничего не просили. Утром—смотришь—ребенок еще шевелится, а к вечеру—уже мертв.

И все это на улицах большого города. Мимо умирающих и умерших детей снуют люди и как будто не слышат, не видят.

Ведомства спорили, на чьей обязанности спасать детей. Шли совещания, работали согласительные комиссии, дипломатично старались не обострять вопроса, чтоб не обидеть Анну Петровну, не обойти Ивана Ивановича... А дети все умирали, да умирали. За один только март месяц, когда прозектура клинического городка завела у себя регистрацию, в морг было привезено свыше четырех тысяч детских трупов.

К вящшему несчастью Соцвосом в Крымском Наркомпросе заведывала самая бестолковая из когда-либо виденных мною бестолковых женщин, некая Б. Она положительно не отдавала себе отчета в том, что творилось вокруг. Везде она истерически вопила, что не допустит посягательства на свои права охранять и воспитывать детей, не желала слушать никаких советов и в то же время ничего не делала, чтоб наладить хоть как-нибудь подбор детей с улиц и упорядочить открытые приемники. В Наркомпросе трудно было пройти,

так как в вестибюле, на всех лестницах, в коридорах сидели и лежали голодные дети, нередко уже больные тифом, опухшие от голода, по неделям добиваясь, чтобы их приняли в детский дом. Вооруженная громадным портфелем, с глубоко надвинутой фуражкой, Б. носилась по канцелярии и поучала задачам социального воспитания... а об'екты ее разговоров умирали на лестницах Наркомпроса. Видимо, это, наконец, надоело Совнаркому, и все дело спасения детей было передано Наркомздраву. Нарком д-р Чапчахчи и его заместитель т. Биркенгоф энергично взялись за дело, и работа закипела.

В начале марта 1922 года т. Биркенгоф вызвал меня в Симферополь и предложил заведывание отделом «Охраны детей» при Наркомздраве. В Симферополе я нашел следующее: улицы, как я уже, впрочем, говорил,—полны голодающими, главным образом, детьми.

Детский коллектор, устроенный Наркомпросом в октябре 1921 года, с расчетом на 40 человек, имел их уже четыреста; кроме того, Наркомпросом же было открыто пять детских очагов-приемников, так же переполненных. Вернее сказать, как коллектор, так и очаги-приемники представляли из себя свалочные места, куда детей напихивали без счета и меры и где ничтожный количественно персонал, падал от усталости и совершенно опустил руки перед этим неостанавливающимся наплывом голодных и больных детей. Дети в буквальном смысле сваливались в кучу в тех лохмотьях, в которых они приходили с улицы. При первом посещении центрального коллектора (так называемого Пушкинского—он помещался на Пушкинской улице), я не мог пробыть в нем больше трех минут, кружилась голова, и меня мутило от смрада и вони. В одной большой комнате на нарах и на полу, на рояли, на подоконниках копошилось около двухсот детей: опухшие от голода, бредящие в тифу, агонизирующие и уже умершие (по словам персонала, трупы выносились только раз в день). Детская психика была настолько подавлена, что трупы служили изголовьем для тех, которых, может быть, завтра ожидала та же участь, на трупы дети клали хлеб, труп служил вместо стола.

Две соседних меньших по размеру комнаты носили название лазарета, и в них такое же переполнение, но уже одними тифозными. Беспомощно моталась в этой обстановке женщина-врач с лицом, про которое принято говорить, что «краше в гроб кладут». Одновременно врач исполняла обязанности и заведующей хозяйством, заменяя заболевшую тифом свою мать.

— Чем же отличается ваш «лазарет» от соседней комнаты?—спросил я врача.—И там, и здесь больные.

— Где уж тут отличать? Весь коллектор—сплошная больница. Это—гиблое место. У нас умирает значительно больше, чем прибывает. Вы только посмотрите, что у нас делается. Больше половины сестер и руководительниц больны, технический персонал очень мал, да от него все равно нет никакой пользы, уборщицы боятся подходить к детям, боятся заразиться. Каждый день кто-нибудь из старшего персонала ходит дежурить в Наркомпрос, чтоб добиться присылки уборщиков трупов, чтобы почистили двор и уборные. Ведь мы тонем в экскрементах. И никакого толка. За трупами приезжают раз в три дня, и их накапливается по тридцать, по сорок; а об очистке двора

запретили и думать. Сама же заведующая Соцвосом и носа сюда не кажет. Нас совершенно забросили.

Женщина-врач нисколько не преувеличивала. Не только самое помещение и двор коллектора, но и тротуар около дома были залиты зловонными экскрементами, так как у большинства детей голодные поносы. В доме испорчен водопровод, крайне не аккуратно подвозится хлеб, и дети начинают свой обед то в два, то в шесть часов дня. Кормят небольшими группами по сорок человек, и потому кормление тянется с утра до поздней ночи. Переутомленный персонал не в силах следить за порядком, и потому наиболее сильные дети едят по два раза, а слабые не могут получить и куска хлеба и молча, беспомощно гибнут в соседней со столовой комнате. Персонал не в состоянии знать в лицо всех детей, и потому к обеду с улицы и базаров сбегаются ребятишки и отвоевывают себе первое место. Пообедав, они исчезают. В конечном итоге персонал даже не знает сколько в коллекторе на-лицо детей. Поздно вечером детей пересчитывают по головам, на этом основании пишется требование на продукты. Но каждое утро картина радикально меняется: кто-то умер, кто ушел, кто вновь пришел, и постоянно колеблющееся число базарных детей, показывающихся в коллекторе только во время кормления. Есть, правда, и списки детей, но они совершенно ничего не имеют общего с действительностью. Потом, когда выздоровела заведующая коллектором, я слышал от нее, что с октября по первое марта в коллектор поступило две с половиной тысячи детей. В день приемки коллектора Наркомздравом в нем оказалось 312 детей? Куда девалось 2.188 детей? Умерли, разбежались, переведены в другие дома?

Ужели умерли?

Не менее ужасная картина и в очагах-приемниках. Так же сбившийся с ног персонал наполовину больной, так же апатично, молча умирающие дети.

И везде ужасающая грязь, вонь, смрад, тучи насекомых, умирающие, умершие, десятки неубранных трупов и новая группа детей, стучащихся в двери для того, чтобы найти себе угол для менее мучительной смерти, чем на холодном тротуаре улицы. В одном из очагов, по словам персонала, умирало по тридцать человек в день. Служащие бежали из дома, потому что им было страшно в нем. Долго спустя, санитары, посланные очищать подвал одного из очагов, вернулись обратно и заявили, что в подвал нельзя войти, так много там было всяких паразитов. Санитары взяли с собой насекомояд и, поливая им перед собой ступеньки лестницы и груды грязного уже гниющего белья, крюками вытащили на поверхность свыше ста пудов сгнившей рухляди. Выяснилось, что запачканное детьми белье, матрасы и одеяла не стирались— не было мыла!—И сваливались прямо в подвал. А вместе с грязным бельем в подвал попали и два детских трупа. Они были извлечены санитарами и переданы милиции.

В конце концов, не знаешь даже, чему удивляться, что подумать об этой пресловутой заведующей Соцвосом в крымском Наркомпросе. Нет мыла и по-

тому гниет сотня пудов белья, в котором был, действительно, громадный недостаток. И тут же экономия на служащих.

Из коллектора и очагов-приемников Наркомпроса перехожу на улицы. Здесь, покрывая гомон и шум города, стоит несмолкаемый, воющий стон валяющихся на тротуарах голодных детей. Нет сил, нет средств собрать всех этих несчастных, и только каждую ночь специальный автомобиль собирает трупы умерших от голода и свозит их в морг клинического городка. Переполнен и морг. Трупы штабелями, как дрова, складываются снаружи у морга— благо, погода еще холодная—и ждут по два-три дня, когда для них приготовят общую яму.

«Дом матери и ребенка» Наркомздрава принимает десятками детей до четырех-летнего возраста, сортирует их и здоровых свыше двух лет распределяет по детским домам, оставляя себе лишь малолетков. Несмотря на большой прилив детей, население Дома стойко держится на цифре двести человек. Как бассейн с одинаковой величины вводной и выводной трубами, «Дом матери и ребенка» так же десятками ежедневно выбрасывает кого в дома, кого в детскую клинику, а кого непосредственно и в морг клинического городка. Помимо кори, скарлатины и оспы, дети гибнут и от того, что голодавшие матери не могли в период ношения дать плоду нужное количество строительного материала. Все эти дети—слабороржденные и гибнут, гибнут в суровых условиях, преодолеть которые им не под силу.

Организованная помощь голодающим в это время только еще налаживалась. Центральный Комитет помощи голодающим начинал развертывать свою деятельность и вел переговоры с Крымсоюзом об открытии последним сети столовых по деревням Крыма, используя силы местных кооперативов. Это являлось одной из основных мер отвлечь наплыв голодающего населения в города. Предполагалось вокруг Симферополя в двадцативерстном радиусе развернуть цепь столовых-ночлежек, своего рода заградителей, которые бы вбирали поток направляющихся в город голодных. Одновременно с открытием новых столовых, Помгол побуждал Наркомздрав и Наркомпрос к открытию новых детских домов, очагов и яслей.

Вслед за Помголом заработал Уполбыт (комиссия по улучшению быта детей), который в лице тов. Азовского прежде всего обратил внимание на развившуюся эпидемию сыпного и возвратного тифов среди детей и предложил Наркомздраву средства на открытие тифозной детской больницы. Неожиданно вспыхнуло местничество между Наркомпросом и Наркомздравом. Заведующая Соцвосом никак не могла отрешиться от желания продолжать свои «заботы» о детях. Как ни доказывали т. Богутурьянц, что дело лечения составляет обязанность Наркомздрава, она ничего слышать не хотела, видя в передаче больных детей Наркомздраву чуть ли не личное для себя оскорбление.

— Это мои дети, я и буду их лечить.

— Но вы же не врач,—говорили ей.

— Я наберу своих врачей и открою больницу специально для детских домов Наркомпроса.

— По закону вы не имеете права иметь ни врачей, ни больницу, помимо Наркомздрава, так как только ему предоставлено законом право и вменено в обязанность вести врачебно-санитарное дело в полном его об'еме. Даже «ваши врачи» находятся в непосредственном подчинении Наркомздрава.

*Тов. Богутурьянц* упрямо стояла на своем. Кажется, это упрямство об'яснялось тем, что она боялась огласки порядков Соцвоса. Действительно, одного того, что я видел при предварительных осмотрах коллектора и очагов, было достаточным основанием для т. Богутурьянц, чтобы не хотеть дальнейшего вмешательства другого ведомства. Спор между Наркомздравом и Наркомпросом был разрешен Совнаркомом—не помню, 12 или 14 марта—в пользу Наркомздрава, а 16 марта я получил приказание от замнаркома т. Биркенгофа спешно развернуть детскую инфекционную больницу провизорного типа на 200 кроватей. Под больницу отвели один из свободных корпусов психиатрической клиники, произвели в ней небольшой, самый необходимый ремонт, кое-как снабдили больницу бельем и оборудованием,— и 28 марта я выбрал из Пушкинского коллектора и перевез в больницу всех тифозных детей. Здесь я убедился в справедливости заявления врача коллектора, что технический персонал боялся подходить к детям. Переносить детей из помещения на повозку пришлось мне самому и бывшей со мной сестре милосердия. Персонал коллектора не пожелал нам помочь. Я выбрал только самых тяжелых детей, и в первую же ночь из них умерло семь человек. Так было и в следующие дни привоза новых больных из очагов-приемников: первая ночь ознаменовалась большим количеством умирающих. Наибольшее число смертельных случаев пало на первые четыре дня существования больницы. Они-то и составили громадный процент смертности от сыпного тифа за апрель месяц (25%). В дальнейшем смертность быстро падала: в мае она была равна 12% и в июне 2½%. Я об'ясняю это тем, что в первое время больница получила крайне истощенных голодных детей, которым не под силу было бороться с тяжелой инфекцией. После в больницу поступали дети в значительной степени подкормленные, набравшиеся сил и потому более стойкие. Да и поступали они не на десятый—двенадцатый день болезни, а в самом начале.

В два дня больница была заполнена, и потому дополнительно в соседнем здании, из которого перевели душевно-больных, было развернуто еще сто коек.

Докладывая т. Биркенгофу об открытии больницы, я, на основании своих личных впечатлений, обратил его внимание на то, что через два-три дня нам придется развертывать еще сто-двести коек, так как коллектор и очаги Наркомпроса настолько инфицированы, что долго будут служить постоянным рассадником тифозной заразы. Впереди мы должны ждать холеру, а при настоящем санитарном состоянии этих учреждений будет детская моргльня

Кроме того, забрав в больницу тифозных детей, мы оставили в очагах больных голодным истощением (с поносами и безбелковыми отеками), и эти дети, оставаясь в прежних условиях, наверняка обречены на смерть. В лучших же условиях, при хорошем питании можно надеяться, что мы спасем и их.

Я предложил т. Биркентофу единственную с моей точки зрения разумную меру: немедленно ликвидировать коллектор и все очаги-приемники Наркомпроса и, признав всех детей в них больными, перевести их на территорию клинического городка. Обособленная территория, на черте города, наличие больших свободных помещений—все это дает основание надеяться, что дети будут в лучших условиях, и мы быстро сумеем ликвидировать эпидемию. Большая баня и мощная дезинфекционная камера клинического городка делают возможным проведение детей через санитарную обработку. Переболеют только те, которые заразились до момента перехода в Наркомздрав. Вновь же подобранные с улицы дети будут попадать в иные условия, проходить через карантинно-санитарную обработку и через известный промежуток времени, в который они постоянно будут находиться под наблюдением врачей, дети передадутся Наркомпросу.

— Хорошо, я буду говорить и с Помголом, и с Наркомпросом.

Я не могу не сказать несколько слов о самом т. Биркентофе. Это человек с врожденным талантом администратора, с широкими, большими планами, очень энергичный, работает с раннего утра, быстро схватывает всякую встречную мысль, умеет выбирать и ценить своих сотрудников и не боится за свой престиж, когда ему указывают на его ошибки. Человек, который горячо отдается делу, особенно в его начальной стадии, когда он еще не уверен в успехе, пока не убедится, что дело налаживается и его помощники доведут до конца и без его помощи. Только тогда он несколько отходит от дела, не оставляя, впрочем, поверочных наблюдений, и берется за что-нибудь другое. И так постоянно в огне работы. Его сотрудники охотно прощают ему некоторую резкость и неровности характера.

Больница с первых же дней, благодаря тому, что я вызвал из Феодосии своих друзей—врача Милявского, сестер милосердия Рудову и Позднякову, а также несколько человек технического персонала—все людей уже привыкших к совместной службе, спевшихся,—заработала правильным темпом.

С патологическими процессами, развивающимися на почве длительного и острого голодания, я столкнулся уже в ноябре месяце 1921 года в феодосийской детской больнице, где мне приходилось изучать их только клинически. В Симферополе я получил возможность увидеть вскрытие погибших от голодания детей.

Прозектурой клинического городка тогда только что начал заведывать молодой, очень талантливый и пытливый ученый проф. В. Г. Штефко, который осветил картину патологических и патолого-физиологических процессов, развивающихся в детском организме при голодании.

Проф. Штефко не только патолого-анатом, но и антрополог, и кроме того имеет серьезную математическую подготовку; его кругозор обширен,

выводы точны и обобщения всегда хорошо обоснованы. Работать с ним—большое удовольствие. Мешала обычная наша беда: средства для работы были ничтожны, обстановка, в которой ему приходилось вести исследования—жалка (совершенно не оборудованная прозекторская, отсутствие посуды и красок в лаборатории и т. п.); с большим трудом, частью даже на личные средства врачей, участников работы, удалось кое-как наладить обстановку, провести водопровод в прозекторскую, добыть посуду...

Поле нашей деятельности скоро расширилось, так как под наше наблюдение было передано одновременно свыше тысячи детей, переживших различные стадии голодания и кроме того прием всех беспризорных детей был поручен также нам. Т. Биркентоф добился таки, что дети центрального коллектора и приемников-очагов Наркомпроса переводились на территорию клинического городка и передавались в ведение Наркомздрава. 10-го апреля утром ко мне в больницу приехал т. Биркентоф вместе с председателем Окрпомгола и предложил проехать с ними по детским учреждениям Наркомпроса, подлежащим ликвидации. Впечатление от осмотра детей и обстановки, в которой они жили, получилось сильное. Приемники, хотя и были освобождены от тифозных больных, тем не менее представляли мрачное зрелище: больше половины детей страдали голодными поносами и отеками. Уборные, конечно, не действовали, экскременты виднелись повсюду, воздух спертый, щекотало в горле от аммиака. Дети грязные валялись в повалку на широких деревянных топчанах по три-четыре человека вместе. Куча ворошившихся лохмотьев, из которых выглядывали изможденные страданием и голодом детские личики. Более здоровые дети толпились у кухни и в столовой. Часть, по словам заведующей, «промышляли» на базаре и на улицах, являясь в очаг к обеду и вечером на ночлег.

Особенное внимание обращали на себя дети-татары. Восточная, воспитанная веками покорность судьбе (кисмет) сказывалась в самых позах: собравшись вместе группой человек в двадцать, тесно-тесно прижавшись друг к другу, они молча, с беспомощным выражением глаз, сидели так часами. Не плакали, ни на что не жаловались, даже не просили есть. Их нужно было побуждать к еде, посадить за стол. Полной противоположностью татарам были дети цыгане. Их экспансивность не оставляла их и теперь. Если они не просили есть, то непрерывно вопили:

— Ой, умираем! Мама, умираем! Дайте хлеба!

Они первые являлись к столу, настойчиво завоевывали себе первое место. К сожалению, бедняжки не спасли себя и этим. Голодание отразилось на цыганах губительнее, чем на других национальностях. Большинство цыган в Крыму вымерло, дети-цыгане, даже перейдя в условия приличного питания, не могли выправиться и погибли все. Их ничто не могло спасти, организм был надорван. Некоторых удавалось подправить от острого голодания, но затем при незначительных даже заболеваниях, вызывающих повышение температуры, у них вспыхивал вновь голодный понос, начинались отеки, и они по-

гибали. На секционном столе неизбежно обнаруживался миллиарный (множественный) туберкулез.

После об'езда очагов состоялось совещание, на котором мне предложили ликвидировать очаги и перевести детей в клинический городок в пять дней. Я не знаю, как бы мне удалось выполнить в такой короткий срок задание, если бы не случайный приезд в Симферополь доктора С. Р. Благой, направлявшейся в Москву. Я задержал Благую, своего старого товарища по совместной работе в Феодосии, и взвалил на нее работу по приведению в порядок отведенных для коллектора помещений. В три дня организационные работы были закончены. Доктор Благая, кажется, не спала сама, не давала спать и служащим. На четвертый день с утра началась перевозка детей. Врачи их сортировали, потом пропускали через парикмахерскую и баню. На пятый день была закончена перевозка. Всего было доставлено свыше тысячи ста детей.

Первенствующая роль в научной части работы принадлежала профессору Штефко, он непосредственно вел измерение и взвешивание, бо́льшая часть вскрытий делалась также им. Доктора Балабан и Гриценко вели психологические исследования, доктор Милявский, я, а затем доктора Бру, Фридсон, Жмакин и Чмилевский вели клинику. На меня, кроме того, была возложена вся организационная и административная часть.

Это время, когда небольшая группа врачей и сестер милосердия с чуткой совестью и большой любовью к детям об'единилась на серьезной работе, станет лучшим воспоминанием в моей жизни. До тех пор, пока есть люди, способные так беззаветно, любовно относиться к делу, работать горячо, не покладая рук, бескорыстно,—не заглохнет нива жизни и вперед можно смотреть с надеждой и уверенностью в лучшее. В моей душе не умрет никогда благодарность всем работникам Детской больницы и коллектора. Можно ворочать горами с такими людьми. И те 6.000 детей, которые оправились в больнице и коллекторе от голодного погрома, были спасены неусыпными заботами персонала, ярче всего говорят, что работать и хорошо работать можно даже при плохих условиях.

## II.

В Германии, где заботе о здоровье детей отдают много внимания, с самого начала мировой войны начались наблюдения над тем, как моральные переживания матерей и общее недоедание отражается на детях. Уже в 1917 году F. Bickoff опубликовал работу, в которой писал, что «дети войны» далеко уступают детям довоенного времени, а предпринятое в 1918 году большое антропометрическое обследование учащихся показало, что с детьми в Германии совсем неблагополучно. По работе Шлезингера, основанной на взвешивании и измерении роста 5.000 школьников, видно, что во время войны рост детей приостановился, задерживалась прибыль в весе и общее состояние детей ухудшилось. Число детей исключительно низкого роста среди вновь поступающих школьников увеличилось почти втрое по сравнению с довоенным временем, а средний рост снизился на 2 сантиметра. Городские школь-

ники потеряли в весе до двух килограмм, а гимназисты до пяти килограмм. Шлезингер отметил также запаздывание половой зрелости, распространение рахита и туберкулеза. Число больных детей колебалось по разным школам от 36 до 51%.

И это в Германии, где очень внимательно относились к питанию детей. Значительно тяжелей повлияла война и ударивший в 1921—22 г. голод на русских детей. Первое, что бросается в глаза при исследовании современных детей по сравнению с детьми довоенного времени—снижение их в росте и потеря в весе. Постараемся уяснить биологическое значение того и другого явления.

Одним из основных свойств живого организма признается его неуклонная способность к развитию, к росту. Каждое живое существо представляет собою совокупность анатомических элементов, почему увеличение в росте многоклеточного организма есть следствие вырастания этих элементов и их размножения. Общий механизм этого заключается в том, что анатомические элементы или целая их совокупность получают больше, чем утрачивают, вследствие чего их масса увеличивается. Помимо того, в организме идет постоянное чередование процессов разрушения и восстановления сложно построенных химических единиц, в силу чего потенциальная энергия переходит в кинетическую. С годами эти процессы в тканях и вообще все виды жизнедеятельности в организме мало-по-малу угасают, теряют свою прежнюю энергию и переходят в процесс старческого отмирания.

Из опытов Рёмэра и др. вытекает, что для роста организма нужен подвоз в достаточном количестве продуктов, необходимых в качестве раздражителей роста, образующихся путем расщепления пищевого белка. Это возможно лишь в том случае, когда пища, на-ряду с достаточным количеством других веществ, содержит определенное количество «полноценного белка». Вещества, получающиеся из полноценного белка, действуют как раздражители на элементарные составные части клетки, возбуждая ее рост, способствуя интенсивности химических процессов, и направляют обмен веществ в русло, ведущее к размножению клеток. Нарушения питания вызывают резкую задержку роста и уклонения в общем ходе физического развития, что доказано рядом экспериментальных исследований.

Нашей задачей было выяснить, как влияет голодание на физическое развитие детей в различных возрастах, при чем проф. Штефко принимал во внимание еще и расу. Представляя громадное значение для антропологов, для целей настоящей статьи распределение по расам голодавших детей особенного значения не имеет, и потому мы за средний показатель возьмем русских детей тем более, что в процентном отношении они пострадали больше других.

Из общего рассмотрения полученных данных видно, что во все возрасты голодавшие дети, как мальчики, так и девочки, имеют меньшую величину роста по сравнению с довоенным временем, что видно из прилагаемой таблицы.

| Мальчики. | | | Девочки. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Возраст. | Длина тела в миллиметрах у голодающих. | То же у детей довоенного времени. | Возраст. | Длина тела в миллиметрах при голодании. | То же в довоенное время. |
| 7 | 1.083 | 1.150 | 7 | 1.110 | 1.139 |
| 8 | 1.125 | 1.189 | 8 | 1.135 | 1.190 |
| 9 | 1.126 | 1.229 | 9 | 1.163 | 1.212 |
| 10 | 1.220 | 1.272 | 10 | 1.225 | 1.250 |
| 11 | 1.271 | 1.321 | 11 | 1.281 | 1.290 |
| 12 | 1.348 | 1.357 | 12 | 1.345 | 1.369 |
| 13 | 1.356 | 1.418 | 13 | 1.346 | 1.423 |
| 14 | 1.416 | 1.460 | 14 | 1.413 | 1.451 |
| 15 | 1.444 | 1.508 | 15 | 1.485 | 1.510 |

В нормальных условиях девочки до 11-го года обычно ниже мальчиков; к 12-му году они обгоняют мальчиков и это тянется до 15-го года. На 16-м году рост мальчиков вновь становится выше роста девочек, оставаясь таковым в продолжение дальнейшей жизни. При голодании это резко меняется. Другое влияние голодания, несомненно очень глубокое по своей природе, обнаруживается в том, что в пролеты между 8—9 и 12—13 годами прироста почти совсем нет. Об'яснить это явление тем, что на эти возрастные этапы выпало более тяжелое голодание, ни в коем случае нельзя, так как было установлено, что голодание было одинаково для детей всех возрастов. Причиной этого наиболее пагубного влияния на указанные возрастные этапы является нарушения в росте скелета. В нормальных условиях в эти возрасты происходит сильная анатомическая перестройка организма, и особенно усиливается рост скелета и мышечной системы. На перестройку, как мы уже сказали выше, влияет питание. Ясно, что если к процессу физиологического порядка присоединяется еще расстройство питания на почве голода, то замедление роста должно сказаться еще резче. Так оно и произошло. По сравнению с довоенными детьми голодавшие мальчики в возрасте 8—9 лет снизились на 10,3 сантиметра, а в возрасте 12—13 лет на 6,2 сант.

Голодание вызвало у детей не только приостановку роста; в 4% отмечен даже регресс роста. В силу того, что костная и хрящевая системы не получали при голодании в достаточной мере строительного материала, в них начали развиваться обратные процессы, особенно сильно сказавшиеся на концах трубчатых костей и в межпозвоночных дисках. Те же явления, что наблюдаются и в старости, отличаясь от старческого снижения в росте тем, что регресс роста у детей носит временный характер и при улучшении питания вновь может начаться нарастание роста, хотя оно пойдет крайне медленно, долго задерживаясь на прежних цифрах.

Все дети, с регрессом роста, были очень истощены голоданием. У многих из них рано или поздно обнаруживалась цынга и тяжелые поносы, поддававшиеся лечению только усиленным питанием, с преобладанием мяса и овощей.

У всех таких мальчиков был крипторхизм [1]. В течение трех месяцев пребывания в коллекторе четвертая часть этих детей погибла.

На-ряду с снижением в росте голодание отразилось и на весе детей.

В нормальных условиях к пятому месяцу жизни вес ребенка обычно удваивается, к концу года—утраивается. Затем энергия прироста веса несколько уменьшается, и второе удвоение веса наступает в шести годам; далее, в период полового созревания, абсолютная прибыль веса вновь усиливается и к 17 годам заканчивается. При голодании этот порядок изменился, что видно из помещаемой ниже таблицы.

| Мальчики. | | | Девочки. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Возраст. | Вес в граммах голодавших мальчиков. | То же неголодавших (по Гундобину). | Возраст. | Вес в граммах у голодавш. девочек. | То же у неголодавших девочек. |
| 7 | 16.375 | 21.100 | 7 | 16.000 | 20.540 |
| 8 | 18.982 | 23.465 | 8 | 18 010 | 21.170 |
| 9 | 18.900 | 24.525 | 9 | 17.408 | 23.300 |
| 10 | 21.380 | 26.415 | 10 | 19.952 | 24.520 |
| 11 | 21.850 | 28.270 | 11 | 21.454 | 27.170 |
| 12 | 25.780 | 30.518 | 12 | 25.500 | 31.285 |
| 13 | 26.030 | 33.880 | 13 | 25.693 | 37.205 |
| 14 | 29.457 | 37.190 | 14 | 27.663 | 41.200 |
| 15 | 29.900 | 40.340 | 15 | 29.425 | 45.045 |
| | | | 16 | 33.375 | 46.100 |

Нельзя не обратить внимания на резко выраженное уменьшение в весе голодавших детей по сравнению с нормальными, как по отдельным возрастам, так и весьма слабое прибавление веса по годам. Считая, что голодавшие семилетние дети родились в сравнительно нормальных условиях (1915 год) и к концу первого года своей жизни они весили в среднем около 9.970 грамм, к 6-му году они должны были бы весить 19.525 грамм. Голодавшие же дети весили: 16.375 грамм мальчики и 16.000 грамм девочки. Вывод, что второе удвоение веса при голодании и при условиях всей внешней и внутренней обстановки жизни в России (с 1914 по 1922 г.г.) оказалось сильно отодвинувшимся на три-четыре года,—вытекает сам собой. Бросается в глаза резкое уменьшение в прибавлении веса голодавших детей между 12—13 годами, т.-е. когда при нормальных условиях наблюдается усиленное увеличение веса.

Из годовой разницы в весе, особенно в период наступления половой зрелости, видно, что мужской организм при голодании в период развития менее устойчив, чем женский. Та же картина меньшей устойчивости выступает и в ходе годового прироста. Особенно рельефно бо́льшая устойчивость жен-

[1]) Крипторхизмом или эктопией называется такое состояние, когда яички не выходят в мошонку, а остаются в полости живота или в паховом канале. При голодании, вследствие дегенерации мышцы, яички, уже бывшие в мошонке, обратно втягиваются в паховой канал. В довоенное время крипторхизм встречался как редкая аномалия (не более 1/4%), зависящая от неправильного развития в период утробной жизни младенца.

ского организма перед мужским видна из сопоставления смертности при голодании: на 8 мальчиков умирает только 5 девочек.

Потеря в весе для голодавших детей в общем очень значительна, она составляет до 24,6% у мальчиков и до 35,4% у девочек. И тем не менее, как мы видели, девочки сохранили бо́льшую устойчивость вида и обнаружили бо́льшую стойкость, чем мальчики.

Чем это об'ясняется?

Дело в том, что, начиная с седьмого года жизни, выступают в строении тела половые отличия, выражающиеся в том, что у девочек в области седалищных мышц отлагается более толстый слой жировой подстилки, чем у мальчиков. С 11-летнего возраста это развитие жира у девочек усиливается, а в период половой зрелости достигает наибольшей интенсивности. В этом преобладании жира в теле девочек и заключается разрешение вопроса.

При голодании организм живет преимущественно на счет жиров, а не белков и углеводов, как это бывает в нормальных условиях. Естественно, что девочки, теряя значительно больше в весе, несут эту потерю за счет менее важного для организма вещества, чем мальчики, которые вынуждены, после израсходования незначительного жирового запаса, быстрее переходить на существование за счет белков собственного тела. Расходуя необходимейшие жизненные вещества, мужской организм приходит в менее устойчивое равновесие, что влечет за собой и меньшую сопротивляемость в борьбе с внешними условиями. Принимая же во внимание, что белок (мышечная ткань) при сгорании дает вдвое меньше тепла, чем жир, мышцы расходуются в большем количестве, чтобы добыть для организма нужную ему энергию.

Чтобы покончить с характером потерь в весе и росте, нам остается сказать о взаимной связи между весом и длиной тела. Установлено, что отношение веса к длине тела с возрастом постоянно увеличивается: у новорожденных на один сантиметр длины приходится 65 грамм веса, у двухлетних— 137 грамм, а у 15-ти летних—286 грамм. При голодании это правило нарушено, что видно из таких примерных цифр:

На один сантиметр длины тела приходится массы тела

| | У голодавших. | У нормальных. |
|---|---|---|
| в 7 лет. . . . . . . | 153 грамм. | 207 грамм. |
| „ 9 „ . . . . . . . | 167 „ | 247 „ |
| „ 12 „ . . . . . . . | 192 „ | 330 „ |
| „ 13 „ . . . . . . . | 192 „ | 364 „ |
| „ 14 „ . . . . . . . | 209 „ | 398 „ |
| „ 15 „ . . . . . . . | 207 „ | 433 „ |

Помимо снижения роста и потери в весе голодание произвело в детском организме более глубокие разрушения. Не останавливаясь на подробностях крупнейших изменений в важнейших органах, что по своей специальности доступно пониманию только биологов, и отсылая интересующихся к монографиям проф. Штефко («Влияние голодания на подрастающее поколение России», Симферополь 1923 г., Госиздат), я сделаю только общую характери-

стику того погрома, который произведен голоданием в развивающемся детском организме.

Вполне понятно, что разрушения основных жизненных органов и составляют сущность бед, причиненных голодом.

Не осталось почти ни одного органа, который бы не изменился при голодании. Кроветворящие органы: костный мозг переродился и из него исчез фермент липаза, который необходим организму в борьбе с туберкулезом; печень потеряла в своем весе от 20 до 55%; селезенка—48—51%! и кроме того в них обнаружены дегенеративные изменения. Кровь в первой стадии голодании сгущается, что об'ясняется тем, что она сосредоточивается во внутренних органах в целях уменьшения теплоотдачи и, следовательно, понижения обмена веществ. Но при усилении голодания кровь разжижается, при чем такие голодные отекают. Сама кровь изменяет свой состав, что влечет за собой атрофические (отмирание) процессы во всем организме.

Сердце значительно теряет в весе, массе и об'еме, при чем все эти потери сильнее выражены у девочек. Сердце мальчиков теряет до 34%, сердце девочек до 59% в своем весе, так что иногда сердце кажется подвеском к аорте, которая уменьшилась сравнительно мало. У мальчиков такое явление наблюдается крайне редко.

Мы уже видели, что нарастание длины тела идет не одинаково в каждом годе жизни, а периодами, когда наблюдается максимум прироста: 1) первые два года жизни, 2) 8 и 9 годы и 3 период полового созревания. В эти годы, под влиянием определенных, скрытых в организме причин, скелет обнаруживает больший прирост, чем в предыдущие и в последующие периоды. При голодании этим периодам усиленного роста как раз соответствуют периоды резкого замедления роста. Отсюда ясно, что голодание особенно сильно сказывается на тех аппаратах и тех процессах, которые дают мощный толчок к дальнейшему развитию.

В последнюю четверть века биология и в частности медицина обогатились новым открытием, которое, развиваясь, вскрывает и делает понятным то, что прежде было совершенно темным, составляло тупик, перед которым останавливалась наука. Мы говорим об изучении желез с внутренней секрецией, т.-е. таких, вырабатываемый фермент которых поступает непосредственно в кровь. Изучение этих желез уже поставило на прочный фундамент вопрос о проблеме старости, об омоложении, выяснило причины, почему в тот или иной период человеческой жизни в организме происходят различные изменения. Все дело—в действии и взаимодействии желез с внутренней секрецией (мозговой придаток, зобная, щитовидная, половая, поджелудочная, надпочечник и паращитовидные железы). Одни из этих желез действуют энергично в первые годы жизни (мозговой придаток, зобная и щитовидная), затем их энергия падает, а вместо них пробуждаются к усиленной деятельности другие железы (половые). К старости деятельность всех этих желез сводится к минимуму, что и влечет за собой старческое увядание. Омоложение и построено на том, чтобы угасающую жизнедеятельность пубертатной части половой железы

поднять прививкой молодой железы, или усилением самодеятельности путем уничтожения выработки одним яичком семенной жидкости.

В настоящее время можно считать почти установленным, что зобная железа, например, стимулирует рост; если одна железа претерпевает обратное развитие (что как раз и наблюдается при голодании), то рост становится затрудненным. При вскрытиях детских трупов обнаружено, что зобная железа при голодании уменьшилась больше чем в четыре раза. Значительно уменьшилась и щитовидная железа (в три раза), а щитовидная железа также принимает участие в регулировании роста и в процессах окостенения. Изменения, происходящие при голодании в этих железах, отражаются на деятельности других желез, которые в свою очередь также претерпевают ряд уклонений от нормы, в результате чего в детском организме происходят пертурбации, меняющие не только установившиеся возрастные периоды, но изменяют антропологический тип и создают своеобразное поколение, лишенное способности продления ряда, бесплодное.

Ввиду громадного значения этого явления в жизни наций и государства в целом, мы остановимся на этом подробнее.

Половая железа (яички у мальчиков и яичники у девочек), как это теперь установлено работами Воронова, Штейнаха, Ancel и Bouin'a, состоит из двух почти независимых частей: генеративная часть, вырабатывающая семенную жидкость у мужчин и зародышевые яйца у женщин, пубертатную часть, вырабатывающую особый гормон (возбудитель), значение которого в жизни пола и всего организма огромно. Пубертатная часть половой железы действует с начала жизни, переживая резкое усиление своей жизнедеятельности в период полового созревания, затем ее деятельность течет равномерно приблизительно до 51 года и с этого времени начинает переходить в старческое увядание. У детей пубертатная часть железы вместе с щитовидной железой регулирует рост костей.

При голодании в яичках (и яичниках) прекращается выработка генеративных элементов, особенно это резко выражено в яичниках у девочек, клетки этой части железы перерождаются и заменяются соединительной тканью. В яичках у мальчиков начинается атрофия канальцев и совершенно отсутствует сперматогенез. В то же время пубертатная часть половых желез не только не уменьшается, но даже и разрастается за счет погибающей генеративной части. Следовательно, гормон в кровь поступает и действует на организм соответствующим образом, т.-е. приостанавливает рост кости, но оставляет организму возможность удерживать все половые отличия.

Одним из самых тяжелых последствий голода у детей надо признать развитие крипторхизма у мальчиков, который наступает, видимо, в силу дегенеративных изменений в поперечной мышце живота, на ответвлении которой (musc. cremaster) висят яички. Сократившаяся мышца втягивает яички обратно в паховой канал и выше, в полость живота. Вследствие этого в яичках наступают те же самые изменения, как и при врожденном крипторхизме. Исследование Ancel и Bouin'a установило, что яички достигают своего полного

развития только в том случае, когда они помещаются открыто, в мошонке. Если вследствие порока развития они остаются в брюшной полости или в канале, соединяющем ее с мошонкой, то яички остаются недоразвитыми и не выделяют спермы. Годар сделал интересные наблюдения (цитирую по статье Э. Рейстера и С. Воронова) о влиянии крипторхизма у человека на внешнее обличие, голос, душевные и физические силы. «Крипторхисты,—говорит он,— обычно среднего роста, малосильны, их волосяной покров мало развит, они имеют тонкий с высоким тембром голос, их развитие кажется запоздалым, так как они выглядят моложе своих лет; их душевная и физическая энергия слабее, чем у большинства мужчин. Они застенчивы и боязливы. Мужчины, у которых оба яичка, хотя и развиты, но не вполне спустились, сильны, но выделяемая ими сперма лишена сперматозоидов, вследствие чего они неспособны к оплодотворению. Одним словом, крипторхисты способны к эрекции и совокуплению, выделяют при этом известное количество жидкости, но они бесплодны».

Голодание, возвращая яички в паховой канал, приводит к тем же последствиям, что и врожденный крипторхизм. Исследование яичек и яичников от детских трупов в возрасте от 7 до 16 лет, погибших от хронического недоедания, показало нам полное отсутствие в них генеративных клеток. Особенно резко это выражено в яичниках у девочек. Если голоданию подвергается юношеский возраст, то замечается захватывание сперматозоидов клетками пубертатной части и переваривание их последними. К перерождению генеративной части яичников у девочек присоединяется еще глубокая атрофия матки. В некоторых случаях у 12—13-летних девочек ее размеры равны одной трети мизинца, а мышечная стенка матки настолько истончена, что прозрачна на свет. Наружные половые части у мальчиков очень часто бывают при голодании недоразвитыми, совершенно не соответствуя возрасту.

Очень трудно установить в живом состоянии процент голодавших девочек, у которых голодание уничтожило генеративную часть половых желез, и потому об этом нужно говорить только по аналогии с мальчиками, среди которых крипторхизм вследствие голода распространился в колоссальных размерах: в Крыму он определен в 27%, при чем наибольшее количество крипторхизма приходится на 12—13-летний возраст. В остальные возрасты крипторхизм либо попадается в единичных случаях, либо совсем не встречается. Повторные осмотры полных крипторхистов на протяжении восьми месяцев не обнаружили обратного опускания яичка. При неполном крипторхизме, т.-е. когда яичко стоит в паховом канале, я при двухмесячном наблюдении (мальчики получали усиленное питание) заметил некоторую подвижность яичек и как бы начинающееся опускание, но это еще требует опытов и дальнейшего наблюдения. Рост крипторхистов еще ниже, чем рост голодавших детей, не крипторхистов. В среднем разница в росте колеблется от 8 до 53 миллиметров. Причину уменьшения в росте при крипторхизме надо искать в увеличении количества пубертатной части половой железы с одновременным падением деятельности щитовидной железы.

Остается сказать еще, что при голодании страдает вся мышечная ткань, а головной мозг теряет в своем весе до 15%, это последнее обстоятельство не может не отразиться на умственном развитии голодавших детей.

Описанные нами разрушения, помимо указанных уже последствий, обеднили детский организм и сделали его беспомощным в борьбе с двумя болезнями—рахитом и туберкулезом.

При тщательном исследовании трупов обнаруживается, что 75% голодавших детей имеют рахитические изменения. При жизни рахит устанавливается в 20,5%. Больше всего рахитом поражены дети 10—12 лет. Анатомические изменения при голодном рахите сводятся в главных чертах к истончанию костей, при чем особенно резко истончились кости черепа. Голодный рахит надо рассматривать, как проявление общей атрофии.

По крымским исследованиям живых детей, проверенным многочисленными вскрытиями умерших (большинство—много спустя после того, как дети находились в сносных условиях питания), совершенно ясно видно, что туберкулез достиг небывалого распространения и сделался одним из могущественнейших факторов вырождения и смертности среди подрастающего поколения.

Исследования довоенного времени определяли процент больных туберкулезом детей в 40% для Германии и в 36,7% для России. Теперь процент туберкулезных детей в Германии повысился до 83%, а в Крыму (наиболее благополучное место в России) до 78,5%, т.-е. увеличился в два раза. Вскрытиями 250 детских трупов установлено, что 44,1% погибло от туберкулеза. Это было в период голода, в апреле—мае месяцах 1922 года. К осени голод прекратился, большинство детей, уцелевших от голода, питалось сравнительно с прошлым хорошо, а заболевания туберкулезом стали нарастать, и уже в январе 1923 года вскрытия установили, что причиной смерти детей в 62,8% всех смертных случаев был туберкулез. Туберкулез настолько изменил свое течение и локализацию, что можно говорить об особом «голодном туберкулезе». Большее обеднение жиром мужского организма естественно повлекло за собой и больший процент туберкулеза среди мужчин: на 100 погибших от туберкулеза приходится 64 мужчины и 36 женщин.

Небывалое распространение туберкулеза зависит в значительной степени и от того еще, что голодание видоизменило конституциональные (врожденные) особенности организма, создав у 25% голодавших астеническую конституцию, при которой туберкулез легче всего проникает в организм, протекает бурно и производит глубокие разрушения во всех тканях и органах.

III.

Подведем итоги всему, что голод наделал в детском организме:

1) Рост детей понизился: мальчиков на 5,7 сант., девочек на 3,6 сант. в среднем для всех возрастов. Кроме того, в некоторых случаях обнаружен даже регресс роста.

2) Потеря в весе очень значительна: 8 килограмм у мальчиков и 15 килограмм у девочек. Принимая во внимание, что питание этих детей остается по-прежнему неудовлетворительным (хуже питания детей в первый период войны в Германии), мы должны в дальнейшем ожидать продолжения задержки роста и общего физического развития, что должно повести к вырождению подрастающего поколения.

3) Мужской организм при голодании оказался менее устойчивым, чем женский. Это выражается как в слабой способности к удержанию стойких физических признаков, так и в борьбе с внешними условиями.

4) При голодании происходит ряд изменений в железах с внутренней секрецией, из которых наиболее пагубным надо считать гибель генеративной части половых желез, что делает четвертую часть подрастающего поколения бесплодной.

5) Падение в весе мозга до 15% поведет к психическому вырождению.

6) Следствием голодания является развитие рахита и небывалое, совершенно исключительное развитие туберкулеза среди подрастающего поколения.

Таковы выводы, которые для меня, как врача-социолога, неизбежны. Выводы эти тем более печальны, потому что то, что случилось с детьми в Крыму, нельзя считать лишь местным, только крымским явлением. Правда, по другим голодным районам подобного исследования не делалось, за исключением разве Харькова, где проф. Ивановский антропологически обследовал взрослых голодающих и пришел к одинаковым с проф. Штефко выводам, и небольшой работой д-ра Николаева, выводы которого также тождественны с нашими. В остальных местах велись над голодающими детьми лишь клинические наблюдения, без вскрытий, без детального и кропотливого микроскопического изучения и потому без решающих выводов. Но если клиническая картина, наблюдавшаяся в Крыму, совершенно сходится во всех деталях с описаниями врачей, работавших над детьми в других голодных районах, то необходимо признать, что голодание и хроническое недоедание везде произвело одинаковые разрушения в организме детей. Частным подтверждением этого служат как работа московских врачей Сидельниковой и Модля, измеривших 3.500 детей Замоскворецкого района и установивших факт снижения роста и потерю в весе, так и мои теперешние наблюдения в детских домах и школах Алексеевско-Ростокинского района (под Москвой), где процент детей-крипторхистов почти равен крымскому (23%). Здесь я встретил еще новое явление—атрофию одного яичка у мальчиков, чего в Крыму не замечалось. Вероятнее всего будет об'яснить этот порок развития хроническим недоеданием, в силу чего организм ради самосохранения освобождается от органов, которые в недалеком будущем, при наступлении половой зрелости, потребуют непомерного для него расхода сил.

Если же предположение, что влияние голодания на детей было одинаковым повсеместно в России, то мы стоим перед бедствием громадным—перед вырождением в большом центральном районе России. В ближайшее десятилетие взрослыми людьми войдут в жизнь неспособные к продолжению рода, низкорослые, потерявшие часть видовых признаков, с неполновесным мозгом, слабые физически и психически. Изжить эти разрушения не удастся не только им самим, но и на долгие годы их потомству,—я говорю о тех детях, которые сохранили способность к продолжению рода.

В период наполеоновских войн вся Европа и главным образом Франция снизились в росте на пять сантиметров. За столетие, по данным воинских присутствий, население Европы повысилось в росте лишь на три сантиметра (Мюльгаузен), но уже измерения Шлезингера, как мы видели, установили новую потерю в два сантиметра. Влияние империалистической войны еще продолжается, а следовательно идет и дальнейшее снижение роста.

В России, начиная с знаменитой голодовки 1847 года снижение роста новобранцев прогрессировало. Не проходило десятилетия, чтобы правительство не понижало норм роста, требуемого от молодых людей, поступавших в армию. Сейчас повсеместно установлено новое снижение роста на 5,7 сантиметров. В связи с целым рядом других дефектов у подрастающего поколения в России требуется от государства самое серьезное и притом положительно неотложное внимание к детям. Неусыпными заботами, отдав детям действительно все, государство может многое еще исправить и если не предохранит всех голодавших детей от физического и психического вырождения, то ослабит размеры наступившей беды, предохранит себя от развала, ибо теперешние дети являются непосредственными преемниками строителей современного государственного строя. На их плечи ляжет тяжелая работа не только сохранить то, что они получат от своих отцов, но и углубить, расширить пределы завоеваний и достижений. Без исключительной помощи современные дети, достигнув юридически зрелого возраста, не будут дееспособны. Хилые, недоразвитые, бесплодные, нестойкие в жизненной борьбе—им ли под силу великие задачи будущего?

Конечно, нет.

Государство в силу самосохранения должно в основу своей ближайшей политики поставить принцип, что «улучшение в состоянии народного здоровья представляет собою такую социальную задачу, которая должна стоять впереди всех других и которая должна прежде всего занимать внимание государственного человека и составлять политику каждой партии».

Через семь-восемь лет государство при наборе в армию впервые столкнется с молодыми людьми, которые пережили голодание. Без рациональной помощи детям сейчас, государство получит негодных плохих солдат. Без об'яснений ясно, что далеко не все голодавшие дети способны к умственной работе и к творчеству.

Эта область для многих и многих из них закрыта уже сейчас и навсегда.

Но этим исчерпываются далеко еще не все вредные последствия голодания. И выводы были бы прямо ужасны, если бы в них не было просвета. Небольшой просвет, но он все-таки есть, и—кто знает!—что даст завтра наука, так победно шествующая на своем тернистом пути овладевания тайнами природы.

Уже и сейчас, производя под микроскопом исследования дегенерировавших от голодания тканей и органов, мы видим, что дегенерация получилась не сплошная, не все клетки погибли. Часть их осталась, живет и действует; следовательно, при изменении внешних условий эти оставшиеся здоровыми клетки могут стать очагами регенерации, возрождающими участками. Улучшенное и рациональное питание может многое восстановить. Надежда помочь потерпевшим от голода детям не утеряна. Громадное же количество таких детей, исчисляющееся при грубом пересчете тремя миллионами, делает эту помощь детям неотложною обязанностью государства и общества. Для государства дело возрождения голодавших детей—дело самосуществования, так как оставить их по-прежнему в условиях хронического недоедания (а ведь это так!) значит обречь на длительный застой всю народно-государственную жизнь, сознательно итти на то, что через восемь лет теперешние дети войдут в жизнь полукалеками. Половина из них дадут хилое потомство, уже заранее лишенное сил для борьбы, четвертая часть будет совсем бесплодная, а последняя четверть—под сомнением, она стоит на границе. Ее можно укрепить и сделать здоровой. При небрежном отношении она может присоединиться к обеспложенным.

В истории жизни человечества мы знаем примеры, когда, вследствие долго продолжавшегося недостаточного питания, произошло значительное снижение роста целого племени. Это—пигмеи, населяющие ныне леса западной и восточной Африки, передней и дальней Индии. Сюда же надо отнести и племя Ака в центральной Африке. Но у нас есть и обратный пример, как в результате небольшого отличия в количественном и качественном отношении азота пищи у двух племен, живущих почти в одинаковых климатических и других условиях, получается значительное различие в отношении физического и умственного развития. Это доказано исследованием профессора Калькутского Medical College M. Cay'я, который выяснил на племенах Бенгалии и Behari, что количество белка (главным образом, животного) в пище является фактором, определяющим продуктивность или, как он говорит, удельную работоспособность нации. Постоянное недоедание животного белка влечет за собой общее физическое недоразвитие и более слабую выносливость в борьбе с внешними условиями. Туземцы Бенгалии не употребляют в пищу животных, и количество усвояемого ими белка не превышает 6 грамм в сутки, туземцы Behari употребляют животных в пищу, и количество усвояемого ими полноценного (животного) белка не спускается ниже 8 грамм в сутки. Благодаря этому, туземцы Behari значительно более развиты физически и обладают лучше развитой жировой клетчаткой, отличаются большей проворностью и выносливостью, чем бенгалийцы. Значение мясной (белковой) пищи особенно бро-

сается в глаза на примере Японии, быстрый культурный и экономический рост которой совпал с увеличением потребления животной пищи.

Отсюда ясно, какое громадное значение должно быть придано рациональному питанию детей, перенесших голодание. Если же сейчас на это не будет обращено должного внимания, то нетрудно предвидеть дальнейшее прогрессивное шествие физического и умственного вырождения и падения работоспособности населения.

Количество детей, находящихся на полном иждивении государства в различного рода детских учреждениях, надо считать сотнями тысяч. Если не все, то громадное большинство этих детей пережили острое голодание и по сию пору находятся в состоянии хронического недоедания. Дети получают не свыше 2.300 калорий, однообразной, плохо усвояемой пищи, с преобладанием углеводов. Жир дается только растительный, мяса мало и плохое, растительных витаминов дети совсем не получают.

Наблюдая в течение 17-ти месяцев голодавших детей (их прошло через мою больницу свыше 3.000 и около 5.000 через коллектор), я пришел к убеждению, что по отношению к ним должны быть применены не только особенные способы кормления, но и воспитания и обучения. Эти дети настолько далеки от средне-нормального ребенка, который трактуется, как об'ект своего воздействия педагогами, что применение к ним практикующихся педагогических методов повлечет за собой серьезную опасность для их физического и психического развития. Это побудило в июле месяце прошлого года войти с докладом в Ученый Совет при Наркомздраве Крыма — можно ли считать, подвергшихся более или менее длительному недоеданию нормальными настолько, чтобы они могли жить и воспитываться в условиях, обычных для дешевых домов и школ Наркомпроса. Я лично глубоко убежден в том, что голодавших детей надо рассматривать как санаторный материал в течение не менее трех лет и воспитывать их под постоянным наблюдением врачей, стараясь всеми доступными средствами восстановить силы организма, добиваясь прежде всего и больше всего восстановления их физического здоровья, приучая их к физическому труду и только попутно воздействовать на ослабленный мозг.

При обмене мнениями в Ученом Совете я не слышал возражений по существу своей точки зрения. Говорили лишь о сроке, который нужен для восстановления здоровья детей, при чем профессор Шенк находил, что трехлетний срок надо удлинить до пяти лет. Но обсуждение Ученым Советом моего доклада не имело практического результата и осталась лишь как мнение авторитетного ученого органа, бередя врачебную совесть. Врачи не могут оставаться равнодушными к гибели большого числа детей, известную часть которых можно еще спасти и вырастить из них здоровых граждан для государства.

Средства Наркомздрава Крыма были настолько ничтожны, что Биркенгоф с трудом давал гроши на лабораторную работу; мы не могли поставить даже опытов с питанием детей, не могли создать опытной школы-станции, не-

смотря на бесплатный труд участников работы. Был, правда, момент, когда казалось, что мы можем поставить голодавших детей в нужные для них условия жизни. В декабре 1922 года Совнарком, предполагая получить откуда-то большие средства, задумал собрать всех беспризорных детей и сирот в г. Феодосию и поручил мне разработать план организации детского городка на 2.000 детей. Проект был составлен, одобрен в Ученом Совете, в широкой коллегии Наркомздрава, в Уполбыте, в Совнаркоме, но... средства как-то прошли мимо Крыма и детский городок не осуществился.

По-прежнему осталась жить жесткая, тревожащая совесть мысли, что пройти мимо громадного бедствия и не попытаться исправить причиненное детям зло—нельзя!

При переезде в Москву, осматривая детей в домах и школах, я натолкнулся на явления крипторхизма и здесь, в меньшем размере, но достаточно большом, чтобы не изменить крымской картины. На всероссийском с'езде детских врачей проф. Штефко сделал доклад о влиянии голодания на подрастающее поколение и ряд врачей из разнообразных мест заявили, что они наблюдают те же явления. После моего доклада в расширенной конференции кафедры социальной гигиены обоих университетов и Института Соц. Гигиены, была вынесена такая резолюция:

«Заслушав доклад д-ра Невзорова, расширенная конференция считает необходимым обратить самым настойчивым образом внимание правительственных органов, пролетарских и прочих организаций и всех граждан Советской России на пагубные последствия голода, угрожающие тем, что уцелевшие от голода дети дадут поколение, неспособное к труду и продолжению рода.

«Конференция считает необходимым принятие неотложных мер к тому, чтобы поставить этих детей в особо благоприятные условия. Центром соответствующих мероприятий должен явиться отдел охраны здоровья детей Наркомздрава».

Бедствие обнаружено и установлено. Надо переходить к борьбе с ним. Нельзя утешать себя фантазией, что голод произвел отбор лучших и что погибли только слабые особи. Голод не разбирал, кого бил. С большим вероятием можно предположить, что обеспложены скорее ценные, чем малоценные индивидуумы. На примере ребячьих банд в Симферополе можно найти и подтверждение этому. Антисоциальные элементы, «приматы», которые превыше всего ставят свои шкурные интересы, пониманию коих совершенно недоступны сложные интересы общественности, — они умели вырывать силой, обманом, воровством нужный им кусок хлеба. Дети же, по своему развитию и интеллекту, возвышавшиеся до понимания заповедей общежития, не могли красть, грабить и потому частью погибли, частью обеспложены. И если к инвалидам войны государство считает себя обязанным приходить на помощь, устраивает лучше их безрадостную жизнь, то во сколько выше и ответственнее обязанность государства по отношению к детям? Но стоит ли говорить о нравственной обязанности!

Это так просто, так понятно!

Я указываю на другой стимул, *почему государство не может не оказать детям всей нужной им помощи.*

Помощь детям—помощь государству. Никакое государство не может рассчитывать на продолжительность своей мощи, если значительная часть подрастающего поколения (вернее—его остатки) обеспложена или стоит на границе этого. Всякому, кто хотя отчасти знаком с государственными мероприятиями Франции, чтобы поднять деторождение и предохранить от вымирания уже народившихся детей,—ясно, почему даже буржуазия терпеливо тратит деньги.

Страх перед вырождением—вот, что руководит Францией.

Мы, к счастью, живем не во Франции. У нас интересы пролетарских и крестьянских детей—интересы всего государства. И я не сомневаюсь, что выставленный правительством лозунг:

Дети—прежде всего!

будет осуществлен в жизни.

Но нельзя медлить. Необходима немедленная организация восстановления детского здоровья. Есть люди, должны быть и средства.

# Старые свидетели нового спора.

**С. Бессонов.**

*(Окончание).*

## III.

Попробуем всмотреться теперь в другую исполинскую фигуру международного рабочего движения, попробуем установить точку зрения на этот вопрос т. В. И. Ленина.

Здесь мы встречаемся прежде всего с некоторым очень странным, чтобы не сказать больше, моментом. Коммунист Тальгеймер и меньшевик Мартов, спартаковка Роза Люксембург и родоначальник русского марксизма Г. В. Плеханов довольно единодушно сходятся на том, что точка зрения т. Ленина на этот вопрос есть, в сущности, точка зрения Тугана-Барановского [1]).

Тем не менее нет ничего более несоответствующего истине, чем подобный взгляд. В чем соль теории Тугана? В гармонии между производством и потреблением, достигаемой в конечном счете путем полного устранения личного потребления. Держался ли тов. Ленин в *этом,* решающем пункте позиции Тугана-Барановского? Из многочисленных мест, буквально рассыпанных *по всем* произведениям т. Ленина, возьмем наудачу первое попавшееся.

«Откуда Струве взял, что я понимаю под теорий реализации не анализ процесса воспроизводства и обращения всего общественного капитала, а теорию, говорящую лишь, что продукты обмениваются на продукты,—теорию, учащую о гармонии между производством и потреблением?» [2]). «Противоречие между производством и потреблением, *присущее* капитализму, состоит в том, что растет национальное богатство *рядом* с ростом нищеты, растут производительные силы общества без соответствующего роста народного потребления, без утилизации этих производительных сил на пользу трудя-

---

[1]) См. доклад Тальгеймера—„Bulletin d. IV Kongresses d. K. I" № 13—14, стр. 22, статья Мартова; в „Истории русской литературы XIX века", т. V, стр. 19, 23; Роза Люксембург „Накопление капитала", стр. 226—227 и др.; Плеханов „Наши разногласия", примеч. к изд. 1906 г., стр. 156—157. Между прочим, так же думал и сам Туган-Барановский („Пром. кризисы", 3 изд., 242 стр.).

[2]) „Еще к вопросу о теории реализации", сочинения, т. II, стр. 489.

щихся масс. Понимаемое в этом смысле, рассматриваемое противоречие есть неподлежащий никакому сомнению, подтверждаемый ежедневным опытом миллионов людей факт, и *именно наблюдение этого факта приводит работников* [1]) ко взглядам, нашедшим полное научное выражение в теории Маркса» [2]).

Одного уж этого было бы достаточно для того, чтобы положить непроходимую грань между т. Лениным и Туганом-Барановским. То самое противоречие, отрицание которого стало исходным пунктом Тугановских упражнений в арифметике, рассматривается т. Лениным, как мы видели, и, как мы неоднократно еще увидим в дальнейшем, как основное, имманентно присущее капитализму противоречие—узел всей системы Маркса.

Но не только в этом пункте лежит водораздел между ходом мысли т. Ленина и Тугана. Их кардинально отличает самый метод подхода к вопросу. В то время как Тугану, по его собственному признанию, «ничего не стоит построить» новую схему и «наглядно показать» все что угодно, в то время как он самодовольно восседает на схематическом троне своего идеально-«стеклянного» капитализма, для т. Ленина «схемы сами по себе ничего доказывать не могут; они могут только *иллюстрировать* процесс, *если его отдельные элементы выяснены теоретически*» [3]). И замечательно, что во всех работах т. Ленина, касающихся теории рынков, нет *ни одной* схемы. Это не случайное обстоятельство. Оно стоит в теснейшей связи со всем методом т. Ленина.

Элемент действенности, составляющий, по характеристике т. Троцкого [4]), самую сущность ленинизма, пронизывает даже наиболее абстрактные построения т. Ленина. Мы уже видели, как у него, еще в 1894 г., «верховным и единственным критерием доктрины ставится соответствие ее с действительным процессом общественно-экономического развития» [5]). Этот критерий подчеркивается т. Лениным во всех работах. «Марксизм видит свой критерий,—говорит т. Ленин (Тулин) в 1895 г.,—*в формулировке* и в теоретическом *об'яснении* идущей перед нашими глазами борьбы общественных классов и экономических интересов» [6]).

Не учесть всей важности этого уклона мысли в работах т. Ленина—значит заранее обречь себя на непонимание целого ряда моментов, связанных с теорией реализации т. Ленина. Возьмем, например, вопрос о так называемой «прогрессивности» капитализма, подчеркивание которой т. Лениным главным образом и дало повод Мартову и другим упрекать Ленина в «аполо-

---

[1]) Читатель должен не забывать, что большинство статей тов. Ленина по теории рынков относится к концу 90-х годов, когда слово „работник" очень часто заменяло у т. Ленина слово „рабочий". *С. Б.*

[2]) „Ответ г. Нежданову", Соч. т. II, стр. 498.

[3]) „Научное Обозрение", 1899 г., № 1, стр. 43.

[4]) „Внимание к теории", „Правда" 1923 г.

[5]) „Что такое друзья народа", 1923 г., 170 стр.

[6]) „За 12 лет", сборник, 1919 г., стр. 44.

гетическом» отношении к русскому капитализму [1]). Нужно быть слишком ослепленным фракционной полемикой, чтобы не усмотреть всего своеобразия трактовки т. Лениным этой «прогрессивности».

Сравнивая докапиталистические отношения с капиталистическими, т. Ленин писал: «прогрессивный» характер изменения, его «выгодность» для производителя выступают с полной очевидностью: в первом случае подчинение труда капиталу прикрыто тысячами обломков средневековых отношений, которые мешают производителю видеть *сущность* дела и порождают у его идеологов нелепые и реакционные идеи о возможности ждать помощи от общества и т. п., во втором случае подчинение это совершенно свободно от средневековых пут, *и производитель получает возможность* и понимает *необходимость сознательной, планомерной деятельности против своего «антипода»* [2]).

Прояснение классового сознания широких масс «производителей», создание возможности и обнаружение необходимости сознательной борьбы производителей против «антипода» — вот в чем заключается «прогрессивность» капитализма. А так как речь шла о капитализме, проникающем в земледелие, то нетрудно понять, что «прогрессивность» таит в себе в этом случае и другой важный момент. Вторгаясь в земледелие, неизбежно разлагая крестьянство, капитализм несет с собой возможность и необходимость борьбы против общего с пролетариатом «антипода» огромной массы революционного крестьянства, для которого вне этой борьбы нет выхода. «Разложение крестьянства,—говорит т. Ленин,—показывает нам *самые глубокие* противоречия капитализма в самом процессе их *возникновения* и дальнейшего роста; полная оценка этих противоречий *неизбежно ведет* к признанию безысходности и безнадежности положения мелкого крестьянства,—безнадежности, вне революционной борьбы пролетариата против *всего* капиталистического строя» [3]).

В обосновании возможности и неизбежности революционного союза пролетариата и мелкого крестьянства заключается основной смысл и значение главных экономических работ Ленина. Sub specie этого революционно-действенного уклона мысли т. Ленин подходит и к проблеме капиталистического рынка.

Уже из этих немногих мест можно было бы вывести предположение, что абстрактная теория реализации, осуществляющаяся, говоря словами т. Ленина, «лишь путем неосуществления», — будет играть для него «*лишь* роль руководящих положений, *лишь* орудий для анализа конкретных данных» [4]). И в самом деле т. Ленин прибегает к «абстрактной» теории лишь постольку, поскольку это нужно для опровержения заблуждений народников. И нужно сказать совершенно определенно, что историческая обстановка спора с на-

---

[1]) См., напр., упомянутая статья Мартова, стр. 23.

[2]) „За 12 лет", 1919 г., стр. 109—110.

[3]) „Аграрный вопрос", ч. I, Спб. 1908 г.

[4]) „Научное Обозрение", 1899 г., № 8, 1577 стр.

родниками наложила сильный отпечаток на ряд формулировок т. Ленина, подчеркивая и оттеняя в них не столько положительные моменты, сколько отрицательные—моменты *противопоставления* марксистов народникам. Следующим образом описывает т. Ленин генезис марксистского интереса к теории рынков. «Вопрос о рынках в капиталистическом обществе занимал, как известно, в высшей степени важное место в учении экономистов-народников с г.г. В. В. и Н.—оном во главе. Вполне естественно *поэтому*, что экономисты, *отрицательно относящиеся к теориям народников, сочли* необходимым *обратить внимание* на этот вопрос и выяснить прежде всего основные, абстрактно-теоретические пункты «теории рынков» [1]). Этот, слегка пренебрежительный, тон, в отношении к «теории» рынков, в общем и целом, проходит через все работы т. Ленина.

В «Развитии капитализма в России», изложив анализ процесса простого воспроизводства у Маркса и лишь мимоходом коснувшись самых элементарных предпосылок расширенного воспроизводства, т. Ленин замечает: «В нашу задачу *не* входит специальное рассмотрение теории реализации, *а для уяснения ошибки* народников-экономистов и для *возможности* сделать известные теоретические выводы о внутреннем рынке *достаточно* и вышесказанного» [2]).

Резюмируя все это, мы можем формулировать подход т. Ленина к теории рынков следующим образом: из абстрактной теории рынков надо взять или, точнее, охватить этой абстрактной теорией лишь то, что *необходимо и достаточно* «для формулировки и теоретического об'яснения идущей перед нашими глазами борьбы общественных классов и экономических интересов». Такая постановка вопроса, как небо от земли, отлична от схоластических упражнений Тугана-Барановского в абстракциях от всякой действительности.

И так как в этой действительности, которая одна только и интересует т. Ленина, узловым пунктом является, как мы видели, «неподлежащее никакому сомнению» противоречие между производством и потреблением, «подтверждаемое ежедневным опытом миллионов людей», то естественно, что на теоретическое об'яснение этого противоречия и направляется прежде всего мысль т. Ленина. Тем самым мы переходим к его «абстрактной» теории рынков.

Тов. Ленин отметает прежде всего всякую попытку затушевать, замазать это противоречие, хотя бы и указанием на то, что реализация в капиталистическом обществе может быть совершена не за счет личного потребления, а за счет потребления производительного. Опираясь на известную мысль Маркса о том, что обращение общественного капитала есть по существу обращение между постоянным и переменным капиталом, опираясь на это и явно направляя свой упрек через голову Нежданова по адресу Тугана, т. Ленин замечает: «утверждать возможность реализации средств производства, совершенно не связывающихся с предметами потребления, не

---

[1]) „Заметки к вопросу о теории рынков", Соч. т. II, стр. 471.

[2]) „Развитие капитализма в России", 1908 г., стр. 17.

связывающихся даже и «в конечном счете», — *значит неизбежно притти к абсурду»* [1]). «Первое подразделение общественной продукции (изготовление средств п-ва) может и должно развиваться быстрее, чем второе (изготовление предметов потребления). Но отсюда, разумеется, *никак не следует*, чтобы изготовление средств производства могло развиваться совершенно независимо от изготовления предметов потребления и вне всякой связи с ним» [2]).

Отсюда неразрешимое для капитализма противоречие: с одной стороны, капитализм *должен* развивать производство средств производства, *должен* развивать производительные силы, с другой стороны, он *не может* осуществить это, так как производительные силы немедленно приходят тогда в противоречие с узкими границами потребления. «Реализация происходит больше за счет средств производства, чем на счет предметов потребления— это ясно следует по схеме Маркса; а из этого вытекает *с неизбежностью*, что чем больше развиваются производительные силы, *тем более* приходят они в противоречие с узким основанием, на котором покоятся отношения потребления» [3]). «Маркс констатирует здесь лишь то противоречие капитализма, на которое было указано в других местах «Капитала», именно противоречие между стремлением безгранично расширить производство и *необходимостью* ограниченного потребления, вследствие пролетарского состояния масс» [4]).

Перед нами, таким образом, противоречие, *необходимо* присущее капитализму, имманентное ему в силу того, что «пролетарское состояние масс» есть нечто вытекающее из самого отношения между наемным трудом и капиталом, т.-е. из самой *сущности* капитализма. В самом себе капитализм таит границы своего развития.

«Производительные силы рвутся к *безграничному* росту производства, а потребление *сужено* пролетарским состоянием масс... противоречие здесь несомненно» [5]).

Но «само собой разумеется, что было бы грубой ошибкой выводить из этого противоречия капитализма (или из других его противоречий) невозможность капитализма или *непрогрессивность* его сравнительно с прежними хозяйственными режимами *(как это любят делать наши народники)»* [6]).

О каком капитализме говорит здесь т. Ленин, об «абстрактном» или действительном? Что из этого противоречия нельзя выводить невозможности *действительного* капитализма, т. Ленин, как мы увидим дальше, прекрасно показал на примере русского капитализма, где это противоречие разрешалось разложением некапиталистически производящего крестьянства. Но если это противоречие не означает невозможности и для «чистого» капитализма, то отсюда можно было бы сделать вывод, что *экономически* капитализм

[1]) „Ответ Нежданову", „Жизнь", 1899 г., № 8, стр. 1573.
[2]) „Заметки к вопросу и т. д.", „Научн. Обозр.", 1899 г., № 1, стр. 40.
[3]) „Ответ Нежданову", „Жизнь". 1899, XII, 260.
[4]) „Заметки и т. д.", „Научное Обозр.", 1899 г., № 1, стр. 40.
[5]) „Жизнь", 1899, XII, стр. 261.
[6]) „Научное Обозрение", 1899, № 1, стр. 41.

бесконечен. «Противоречие не есть невозможность (Widerspruch не то, что Widersinn» [1]).

Но уже одно упоминание о народниках и о «прогрессивности» капитализма должно предостеречь нас от того, чтобы отнести слова т. Ленина как раз к «абстрактному», «чистому», а не действительному капитализму, хотя бы и взятому в «его так сказать идеальной средней». И, действительно, сейчас же следом за этим местом т. Ленин продолжает: «*Развитие* капитализма *не может* происходить иначе, как в целом ряде противоречий, *и указание на эти противоречия лишь выясняет нам исторически преходящий характер капитализма,* выясняет условия и причины его стремления перейти в высшую форму» [2]. И так как, с другой стороны, «существуют многочисленные исторические и практические условия (не говоря уже об имманентных противоречиях капитализма), которые ведут и *приведут* гораздо скорее к гибели капитализма, *чем к превращению современного капитализма в идеальный капитализм*» [3], то мы вполне основательно можем заключить отсюда, что возможность разрешения этого противоречия относится не к этому «идеальному» капитализму, которого *никогда* не будет, а к настоящему, действительно существующему капитализму, хотя бы и рассматриваемому в идеальном разрезе. В этом же действительном капитализме «реализация происходит лишь среди затруднений, среди постоянных колебаний, которые становятся все сильнее по мере роста капитализма, среди бешеной конкуренции и пр.» [4]. Базисом этой картины действительности является противоречие производства и потребления, которое и должно привести капитализм к превращению в высшую форму: «чем сильнее становится это противоречие, тем дальше развиваются, как об'ективные условия этого превращения, так и суб'ективные условия, т.-е. сознание противоречия работниками» [5].

При всем том мы имеем у т. Ленина указания и на то, что он допускает возможность разрешения этого противоречия и в «идеальном» капитализме, как скептически ни относился бы его глубоко действенный ум к самой возможности такого «идеала». Как мы уже выяснили, говоря о Марксе, противоречие между производством и потреблением, вытекающее из самого существа отношений наемного труда и капитала, принимает в капиталистическом обществе форму невозможности реализовать именно неоплаченную часть стоимости, предназначенную для целей расширенного воспроизводства. Если противоречие между производством и потреблением есть неустранимый при капиталистических отношениях факт, то неустранима и невозможность реализации капитализуемой прибавочной стоимости, другими словами невозможно и накопление, расширенное воспроизводство. Логическая связь между этими двумя положениями безупречна и ясна. Но дело здесь не только

---

1) „Аграрный вопрос", 1908 г., ч. I, стр. 36.

2) „Научное Обозрение", 1899 г., № 1, стр 41.

3) Там же, № 8, стр. 1576.

4) „К характеристике экономического романтизма", „Эк. этюды и очерки", 1899 г., стр. 27.

5) „Жизнь", 1899 г., XII, 261.

в формальной логической связи. Как показала Р. Люксембург, схема расширенного воспроизводства у Маркса, в применении к «чистому» капитализму, правда, разрешает это противоречие, но дорогой ценой. Схема Маркса требует для своего осуществления неизменяющейся нормы прибавочной ценности и, наоборот, произвольно изменяемой нормы накопления и еще целого ряда условий (между прочим, одинакового органического состава капитала) для *ряда* последовательных циклов воспроизводства, т.-е. требует таких предпосылок, которых никогда и не было и не может быть по самому существу капиталистического способа производства и при которых он *перестает быть капитализмом. Значение схемы Маркса совсем не в том, что она доказывает* возможность расширенного воспроизводства в «чистом капитализме», а в том, что она *показывает* нам на идеально упрощенном примере *механизм* расширенного воспроизводства, который, mutatis mutandis, служит нам ключом к пониманию механизма действительного процесса реализации.

Маркс, как известно, не закончил своего анализа даже в абстрактной постановке III отдела II тома «Капитала». Не завершил этого анализа, хотя и продолжил дальше, и т. Ленин, поскольку речь идет о чисто теоретических вопросах. По такому «чисто теоретическому вопросу, — говорит т. Ленин «относительно идеального капиталистического общества» [1]), — я сохраняю прежнее мнение, что нет никаких *теоретических* оснований отрицать возможность расширенного воспроизводства в таком обществе» [2]).

Посмотрим же, как выглядит это идеальное общество в изложении т. Ленина и в условиях расширенного воспроизводства.

«Мы вполне можем представить себе (рассуждая *теоретически* об идеальном капиталистическом обществе) реализацию всего продукта в капиталистическом обществе без всякого избыточного продукта, но *мы не можем представить себе капитализма без несоответствия между производством и потреблением*» [3]). И дело здесь вовсе не в том противоречии, которое возникает из нарушения пропорциональности между различными отраслями производства. Такую возможность признавал (и со своей точки зрения даже мог признавать, не впадая в конфуз) даже Туган-Барановский. Речь идет о противоречии *имманентном* капитализму, независимом от пропорциональности. «*Даже при идеально гладком и пропорциональном* воспроизводстве и обращении всего общественного капитала *неизбежно противоречие между ростом производства и ограниченными пределами потребности*» [4]).

Идеальный капитализм, таким образом, как и капитализм действительный, несет на себе клеймо и проклятие первородного греха «пролетарского состояния масс». Он не может освободиться от него, он «идеально неидеален», он лишь периодически смывает его, очищаясь (на время) применением старого и испытанного средства—*кризисов*.

---

[1]) Ковычки Ленина.

[2]) „Научное Обозрение“, 1899, № 8, стр. 1576.

[3]) „Жизнь“, 1892, № 12, стр. 259.

[4]) „Научное Обозрение“, 1899, № 8, стр. 1575.

Идеальный капитализм может, несмотря на противоречие между производством и потреблением, произвести реализацию и без перепроизводства. Он вовсе не должен сталкиваться с перепроизводством на каждом шагу. «Я нигде не утверждал, что это противоречие (между производством и потреблением. *С. Б.)* должно *систематически* давать избыточный продукт. Подчеркиваю *систематически*, ибо несистематическое производство избыточного продукта *(кризисы) неизбежно* в капиталистическом обществе, вследствие нарушения пропорциональности между разными отраслями промышленности. *А известное состояние потребления есть один из элементов пропорциональности»* [1]).

Кризис, таким образом, остается и в «идеальном» капитализме, как обнаружение (и предполагается—разрешение) противоречия *между производством и потреблением*, так как последнее, хотя и является *«одним* из элементов пропорциональности», но все же элементом главным и решающим, ибо остается в силе даже при полном соблюдении всей прочей пропорциональности.

С этим роковым клеймом противоречия производства и потребления на своем челе, с неизбежным проявлением его в кризисах, «чистый», «идеальный» капитализм выглядит и не очень чистым, и не очень идеальным. Нам кажется, что он как две капли воды похож на нечистый, но зато действительный капитализм. Мы видим заложенным в нем то самое противоречие между производительными силами и антагонистическими производственными отношениями, которое, как это не устают подчеркивать Маркс и Ленин, *должно* привести и *приведет действительный* капитализм, к превращению в высшую форму.

Перед нами, таким образом, на-лицо незавершенное продолжение анализа Маркса, попытка представить разрешение противоречия в «чистом» капитализме, попытка, исходя от которой можно итти в двух направлениях.

Либо подвергнуть самый вопрос о противоречии между производством и потреблением сомнению и, подобно Тугану-Барановскому, совершенно последовательно представлять себе чистый капитализм безостановочно и без всяких помех растущим, несмотря на недостаточность потребления и даже при полном его сокращении. Такая постановка, как мы знаем, совершенно исключена у т. Ленина.

Остается либо Роза Люксембург, либо т. Дволайцкий. Несмотря на глубокое убеждение т. Дволайцкого в том, что он является прямым последователем т. Ленина, сходство его позиции с позицией т. Ленина только формальное. Т. Ленин просто *постулирует* возможность расширенного воспроизводства в чистом капитализме, не вдаваясь в дальнейший анализ, а тов. Дволайцкий пытается *доказать* эту возможность, и доказывает в действительности одно—что чистый капитализм, если и возможен, то только в пределах *одного* цикла, непосредственно следующего за ликвидацией последнего некапиталистического производителя.

---

[1]) „Жизнь", 1899, XII, 259.

В самом деле, что доказывает т. Дволайцкий?

Что расширение производства (накопление) в чистом капитализме возможно, но только таким путем, что производство обгоняет рынок и должно обгонять, что и приводит чистый капитализм к кризису. Напомним по этому поводу язвительное замечание Маркса. «Если бы ответили, что непрерывно расширяющееся производство требует непрерывно расширяющегося рынка и что производство расширяется быстрее, чем рынок, *то этим лишь по другому выразили бы то самое явление, которое подлежит об'яснению»* [1]).

Если чистый капитализм совершает свое движение *совершенно так же,* как капитализм действительный, то какая, спрашивается, познавательная ценность подобной абстракции? В чем она может помочь нам при анализе действительного капитализма? Об'яснять одно неизвестное другим неизвестным—значит, вращаться в кругу. Каким путем разрешается противоречие производства и потребления в действительном капитализме? Путем кризисов. А в чистом капитализме? *То же самое.*

Познавательная ценность абстракции в отношении к чистому капитализму заключается в том, что подобная абстракция приводит к признанию *невозможности* накопления в чистом капитализме и *тем самым* к выяснению условий накопления в *действительном* капитализме. «Капиталистический способ производства есть только относительный способ производства, границы которого не *абсолютные границы,* но *абсолютны для него, на его базисе»* [2]). Понять эти *абсолютные* границы капитализма, вытекающие из его антагонистического базиса, вот задача абстракции в отношении к чистому капитализму.

Товарищ же Дволайцкий фактически закрыл всякие экономические границы для развития капитализма, тем самым превратив его относительность в абсолют.

Проблема у т. Ленина только поставлена, в то время, как т. Дволайцкий уже дает ее решение. В этом огромная разница. В то время как т. Ленин не закрывает пути к решению Р. Люксембург, решение т. Дволайцкого устраняет теорию Люксембург, делая вообще совершенно бесплодными все рассуждения о чистом капитализме, сводя их к тавтологии.

Что тов. Ленин не пошел в направлении решения Розы Люксембург, на наш взгляд, вполне об'яснимо исторически.

Историческая обстановка спора с народниками—спора, который в конечном счете шел из-за молодого революционного поколения и который в исторической перспективе был началом того процесса, конец которого мы видели в октябре 1917 года, делала невозможным самое произнесение слов «капитализм (хотя бы и идеальный только) невозможен». Здесь дана психологическая презумпция к тому, чтобы не направлять критическую мысль как раз в эту сторону. Поставленный логикой спора в подобную необходимость, т. Ленин в условиях полемики с народниками вполне мог оста-

---

[1]) „Накопление капитала и кризисы", 1923.

[2]) III том, I ч., стр. 232.

вить анализ незаконченным—незаконченным не в смысле практического признания идеального капитализма потусторонней «вещью в себе», никогда не осуществимой возможностью (это т. Ленин, как мы знаем, признавал), но в смысле доказательства *теоретической невозможности* такого капитализма.

Но если анализ в абстрактном разрезе остался незавершенным, то в отношении к реально существующему капитализму т. Ленин с изумительным блеском показал и доказал, что противоречия реализации могут быть разрешены и разрешаются (поскольку они вообще разрешаются при капитализме) только на базе разложения некапиталистически производящего крестьянства, как *постоянного процесса.* Ввиду того, что эта сторона взглядов т. Ленина менее спорна и более известна [1]), мы остановимся на ней более или менее кратко.

Две стороны различает т. Ленин в действительном развитии капитализма—это развитие капитализма вглубь и развитие капитализма вширь. Первая есть процесс внедрения капитализма на внутреннем рынке, вторая есть процесс «расширения капитализма на другие территории» [2]).

Остановимся на первой стороне. Она в основном заключается в «образовании и развитии капиталистических отношений» в среде доселе самостоятельного крестьянства. «Мы имеем перед собой строй товарного производства. Мелких производителей связывает и подчиняет себе рынок. Из обмена продуктов складывается власть денег, за превращением в деньги земледельческого продукта *следует превращение в деньги рабочей силы.* Товарное производство становится капиталистическим производством». Это «не догмат, а простое описание, обобщение того, что происходит *и* в русском крестьянском хозяйстве» [3]). Другими словами развитие капитализма вглубь, внедрение капиталистических товаров в доселе мирную деревню, обмен, товарное хозяйство в самой деревне и капитализм—вот звенья той цепи, которая зовется процессом разложения крестьянства. Наличие этого ***процесса*** разложения есть непременное условие (и неизбежный спутник) капиталистической реализации. В самом деле, чем определяется платежеспособный спрос деревни—базис капиталистической реализации? Степенью и темпом разложения крестьянства. В противовес Н.—ону, пытавшемуся изобразить разложение крестьянства *статически,* как закончившийся процесс, т. Ленин

---

[1]) Хотя была оставлена без рассмотрения т. Розой Люксембург, которая, кстати сказать, оценивает позицию т. Ленина только по одной статье: „К характеристике экономического романтизма"—статье, которая м е н е е в с е г о развивает п о л о ж и т е л ь н о е содержание теории рынков т. Ленина и носит яркий полемический, а н т и народнический характер И так как в п о л е м и к е с народниками т. Ленин был не одинок—против народников боролись и Струве, и Туган, и Булгаков и т. п., —то неудивительно, что Роза, а за ней и Тальгеймер могли впасть в ошибку, поставив в с е х за одну скобку.

[2]) „Развитие к-зма в России", 1908 г., стр. 471, также „Научное Обозрение" 1899 г., стр. 1578—1579.

[3]) „Аграрная программа с.-д. и т. д.", 1919, стр. 94.

(так же как и в свое время и Р. Люксембург) решительно выдвигает на первый план *динамический* характер этого явления. «Подменяя крестьянина рабочим, г. Н.—он *перепрыгивает* через вопрос; дело идет именно о процессе *создания* рабочих и *хозяев*... г. Н.—он забывает, что процесс разложения крестьянства есть в то же время процесс смены натурального хозяйства товарным, что, следовательно, рынок может создаваться *не увеличением потребления*, а превращением натурального потребления (хотя бы и более обильного) в денежное или платящее потребление (хотя бы и менее обильное). Мы видели сейчас по отношению к предметам личного потребления, что безлошадные крестьяне меньше потребляют, но *больше* покупают, чем среднее крестьянство. Они становятся беднее, получая и расходуя в то же время больше денег,—*а обе эти стороны процесса и необходимы для капитализма*» [1]).

Тайна капиталистической реализации выступает здесь перед нами, как тайна фактического разрешения рокового противоречия между производством и потреблением. Если бы перед нами был «чистый» капитализм (крестьянин, «подмененный» рабочим)—увеличение потребления было бы немыслимо вне роста *заработной платы*, стало быть, при прочих равных условиях, вне роста и той нереализуемой в чистом капитализме доли прибавочной ценности, которая подлежит накоплению. Мы стояли бы снова перед неразрешимой загадкой уже известного нам противоречия. Но так как, к счастью для действительного капитализма, перед ним не рабочий, а крестьянин, то ключ к таинственной загадке найден. «Они становятся беднее, получая и расходуя в то же время больше денег», вот и все. Казавшаяся неразрешимой задача расширения платежеспособного спроса при *одновременном* сокращении потребления, задача, разрешения которой светило мирового ревизионизма г. Туган-Барановский безуспешно искал в пирамидальных схемах своего идеального (и стеклянного) капитализма, разрешена до нельзя просто российским «чумазым» фабрикантом на спине (и в желудке) безлошадного калужского, рязанского и прочего «внутреннего» мужика. Правда, он меньше потребляет, но какое дело «чумазому» до реального мужицкого потребления? Зато он больше *покупает*. All right! И чем меньше он «потребляет», тем легче разрешается, раз он *тем больше покупает*, противоречие между производством и потреблением.

Но стоит этому процессу разложения крестьянства приостановиться или замедлиться, как зловещее memento mori капиталистической реализации немедленно обнажает перед ним свою грозящую поглощением пасть, проворно переводя «чумазого» из «развития вглубь» на исторически торные рельсы «развития вширь».

«Возьмем, например, текстильную индустрию в начале пореформенной эпохи. Будучи довольно высоко развитой в капиталистическом отношении, она вполне овладела рынком центральной России. Но крупные фабрики, ко-

---

[1]) „Развитие к-зма в России", 1908, стр. 113—114.

торые росли так быстро [1]), не *могли уже* удовлетвориться прежними размерами рынка; они стали искать себе рынка дальше, среди того нового населения, которое колонизовало Новороссию, юго-восточное Заволжье, северный Кавказ, затем Сибирь и т. д. Стремление крупных фабрик выйти за пределы старых рынков несомненно. Означает ли это, что в районах, служивших этими старыми рынками, большее количество продуктов текстильной индустрии *вообще* не могло быть потреблено? Означает ли это, что, напр., промышленные и центральные земледельческие губернии не могут уже, *вообще*, поглощать большего количества фабрикатов? Нет; мы знаем, что *разложение крестьянства*,—рост торгового земледелия и увеличение индустриального населения продолжали и продолжают расширять внутренний рынок и этого старого района. Но это расширение внутреннего рынка *задерживается* многими обстоятельствами (главным образом, сохранением устарелых учреждений, *задерживающих развитие земледельческого капитализма)*, и фабриканты не станут, конечно, ждать, чтобы другие отрасли народного хозяйства догнали в своем развитии текстильную индустрию. Фабрикантам нужен рынок *немедленно* и, если отсталость других сторон народного хозяйства суживает рынок в старом районе, то они будут искать рынка в другом районе, или в других странах или в колониях старой страны» [2]).

Не успела еще передохнуть несчастная жертва «реализации вглубь» на привольных местах, которые она колонизовала, как ее немедленно настигает «реализация вширь», и жестокий цикл начинается сызнова, до тех пор, пока «за превращением товара в деньги не последует окончательного превращения рабочей силы в товар». Таков суровый закон капиталистической реализации. Вглубь ли, вширь ли, она неизменно упирается в проблему разложежения некапиталистической среды.

Но даже такая, повидимому, безразличная к некапиталистической среде подробность, как пресловутая капиталистическая «пропорциональность», при ближайшем рассмотрении оказывается в прямой зависимости все от того же недостаточно быстрого разложения крестьянства, или, если выразить явление со стороны его положительного содержания, от недостаточно быстрого внедрения капитализма в земледелие. Недостаточно быстрый темп этого процесса [3])—вот основная причина отсталости земледелия от промышленности, «явления, свойственного *всем* капиталистическим странам и составляющего одну из *наиболее глубоких* причин *нарушения пропорциональности* между разными отраслями народного хозяйства, кризисов и дороговизны» [4]).

---

[1]) Кстати, именно потому так быстро, что мужик стал быстрее „меньше потреблять, но больше покупать", чем он это делал при крепостной азиатчине. *С.Б.*

[2]) Там же, стр. 469.

[3]) Задерживаемого „устарелыми учреждениями"—монополией на землю, пережитками феодализма и прочим, что относится скорее к обоснованию аграрной политики, а не проблемы реализации, в силу чего нам нет необходимости затрагивать здесь этой стороны взглядов т. Ленина.

[4]) „Новые данные о развитии к-зма в земледелии", 1918 г., вып. I, стр. 96.

Было бы большой ошибкой думать, что разложение крестьянства, этот узел капиталистической реализации,—специфически российский продукт. Напротив. «На Западе этот процесс, начавшийся еще до отмены крепостного права (ср. Kautsky, Agrarfrage, S. 27)..., *неуклонно* идет вперед, разумеется, то более, то менее быстро в зависимости от массы различных обстоятельств, принимая самые разнообразные формы, смотря по различию агрономических условий и т. д... Один уже факт растущего бегства не только сельских рабочих, но и крестьян в города наглядно свидетельствует о росте пролетаризации. Но бегству крестьянина в город *неизбежно предшествует* его разорение. А разорению предшествует *отчаянная* борьба за свою экономическую самостоятельность» [1]).

Мы подошли, таким образом, к конечному и в то же время исходному пункту всего исследования т. Ленина. Разложение крестьянства—секрет не только существования капитализма, но и предпосылка его гибели.

«Мы вполне понимаем, почему буржуазные экономисты, с одной стороны, и всякого рода оппортунисты, с другой, чураются и не могут не чураться этой стороны дела. Разложение крестьянства показывает нам *самые глубокие* противоречия капитализма в самом процессе их *возникновения* и дальнейшего роста; полная оценка этих противоречий неизбежно ведет к признанию безысходности и безнадежности положения мелкого крестьянства—безнадежности вне революционной борьбы пролетариата против всего капиталистического строя» [2]).

Таким образом, если, с одной строны, «капитализм *не может* существовать и развиваться без постоянного расширения сферы своего господства, без колонизации новых стран и втягивания *некапиталистических* старых стран в водоворот мирового хозяйства» [3]), то, с другой стороны, тот же процесс из безысходности положения крестьянства при капитализме рождает революционный союз пролетариата и крестьянства для *свержения* капитализма.

В первой половине этого тезиса—Роза. Светлый ум, но германского типа—она смогла осветить лишь первую часть проблемы. Нужен был Ленин и своеобразие русских условий, чтобы понять, охватить и претворить в революционное действие вторую часть ее.

## IV.

Нам остается подвести итоги.

Если бы мы имели время и место, мы могли бы заслушать и других свидетелей тесной семьи «интересующихся теорией последователей Маркса» и Ленина. Мы могли бы обнаружить, к нашему подчас удивлению, что такие

---

1) „Аграрный вопрос“, 1908 г., стр. 223.

2) Там же.

3) „Развитие к-зма в России“, 1908, стр. 471.

полярные люди, как Бухарин и Каутский, Плеханов и Кунов—люди, между которыми так мало общего, все более или менее повинны в той неоправдавшейся надежде покойной Розы, которая дала ей повод бояться, что ее теория будет принята, как «нечто само собой разумеющееся».

Но и сказанного, нам думается, вполне достаточно для того, чтобы понять, что теория Розы Люксембург не упала с потолка, не высосана из пальца, а органически *вырастала* из среды родственных, иной раз совершенно тождественных, идей, рожденных и развитых гениями марксистской мысли и более или менее разделявшихся почти всей марксистской средой. В соединении с революционно-действенными выводами т. Ленина она может и должна стать в руках борющегося пролетариата не только мощным теоретически-познавательным орудием, но и компасом повседневной борьбы.

Только на базе этой теории, собственно говоря, и может быть удовлетворительно решен целый ряд проблем, доселе крайне неясных. Два основных момента приходится отметить здесь в особенности. Конфликт между производительными силами и производственными отношениями, понимавшийся до сих пор, главным образом, как конфликт производительных сил с *имущественными* отношениями капитализма [1])—что дает повод (а иногда не только повод) думать о *юридических* отношениях,—этот конфликт, только в свете теории накопления получает, наконец, характер имманентно, по самой *экономической* природе капитализма, присущего ему противоречия между производством и потреблением, противоречия, вытекающего из сокровенной сущности основного производственного отношения капитализма—*наемного* труда и капитала. Капитализм по самой природе своей не может разрешить этого противоречия, но он создает форму, в которой это противоречие движется, развивается и приходит к своему концу, подготовив об'ективные и суб'ективные условия своего перехода в гармоническую высшую форму. Ряд плодотворных новых мыслей и новых обобщений скрывает в себе такой подход к вопросу. Он раскрывает перед нами целый ряд доселе непрочтенных еще страниц Маркса.

Наконец, эта теория дает нам ключ к правильному пониманию основного, по мнению Маркса, вопроса капиталистической эры—о взаимоотношениях города и деревни, понимаемого в самом широком смысле, как вопроса о сожительстве *разных* экономических формаций. Мы—сыны и дети великой революции—уже знаем, что этот вопрос не только не кончается вместе с капитализмом, но скорее наоборот—только тогда и встает перед нами во всей своей потрясающей грандиозности.

Однако эта исключительная плодотворность теории обязывает нас к очень многому. И прежде всего к тому, чтобы в свете этой теории просмотреть, проверить и взвесить факты современной империалистической действительности, которая завтра должна стать действительностью совет-

---

[1]) Против чего, как известно, в свое время боролся, по поводу Струве (это следует запомнить многим товарищам), в „Критике наших критиков“ Г. В. Плеханов.

ской. Ближе к этим фактам, правильно понятым,—вот на наш взгляд задача тех, кого республика послала учиться в наши школы. «Верховным и единственным критерием марксизма» для нас и сейчас остается все тот же, что и 25 лет назад. Мы его видим *«в формулировке* и теоретическом *об'яснении* идущей перед нашими глазами борьбы общественных классов и экономических интересов» (Ленин).

---

# О мировой войне и германской революции [1].

## В. Кряжин.

(Новая мемуарная литература).

1.

Генезис мировой войны представляет из себя сложнейшую проблему, еще очень далекую от своего разрешения. В русской марксистской литературе имеется несколько серьезных попыток вывести причины мировой войны из общих тенденций империализма, под знаком которого проходила вся политико-экономическая жизнь Европы и Америки, начиная с последней четверти XIX века [2]). Однако, самая структура империализма далеко еще не вполне выяснена; к тому же необходимо точно определить, какие именно тенденции империализма вызвали мировую катастрофу и, наконец, каков был смысл империалистических конфликтов между различными странами: Германией и Англией, Австро-Германией и Россией и т. д. Благодаря этой необычайной сложности проблемы, мы видим, что в то время, как М. Покровский видит сущность конфликтов в экономическом антагонизме прусского юнкера и русского помещика, М. Павлович сводит его к борьбе за уголь, железо и за мировые пути, а Г. Зиновьев—формулирует его, как борьбу не на живот, а на смерть между Англией и Германией из-за колоний, сфер влияния, вообще из-за мировой гегемонии. Несомненно, что потребуются многочисленные изыскания, чтобы выяснить во всех деталях причины мировой войны и выявить истинные тенденции империализма, вовлекшие почти все культурное человечество в кровавую четырехлетнюю бойню.

Я, конечно, прохожу мимо различных буржуазных «теорий», основанных на противопоставлении духовного типа германцев (арианского, т.-е. человекобожеского)—симпатичному психическому типу романо-англо-сла-

---

[1]) Гр. Пурталес, Воспоминания; Лорд Хольден, Перед войной; М. Эрцбергер, Пережитое в эпоху мировой войны.

[2]) М. Покровский, Виновники войны (Сборник статей „Внешняя политика", М. 1919); Г. Зиновьев, Англия и Германия перед мировой войной, П. 1917; Многотомная серия М. Павловича (М. Вельтмана), „Основы империалистической политики и мировая война" и др.

вян (христианскому, идеалистическому), которые усердно разрабатывались учеными и публицистами во все время войны, с целью вящшего усиления патриотизма и звериного человеконенавистничества.

Недавно опубликованные мемуары быв. германского посла в России гр. Пурталеса, также как уже вышедшие воспоминания М. Палеолога, Вильгельма II и др.—принадлежат к совершенно иной категории произведений, связанных с мировой войной. Авторы последних исключительно государственные люди и дипломаты придерживаются гораздо более наивной, упрощенной концепции. Мировая война является для них плодом злой воли той или иной державы, вернее даже политических руководителей ее, которые не пожелали дипломатическим путем ликвидировать разыгрывающийся конфликт. Вопрос о причинах войны сводится к вопросу об индивидуальных «виновниках» ее, в качестве которых и выставляются попеременно: Вильгельм II, русская милитаристическая клика, возглавляемая Николаем Николаевичем, Пуанкаре, Энвер и Талаат и другие.

Эту примитивную постановку вопроса нельзя, конечно, об'яснять одной лишь историко-социологической безграмотностью, которая сплошь и рядом была присуща западным политикам, а также довольно часто и официальным жрецам науки. Указание на персональных виновников войны всегда являлось для правящих буржуазных политиков превосходным агитационным приемом, преследующим одновременно две цели: добела накалить шовинизм политически близоруких мелко-буржуазных масс, и в то же время снять с себя действительную ответственность за кровавую бойню. Недаром, в первые месяцы после окончания мировой войны и Пуанкаре, и Ллойд-Джордж энергично требовали выдачи «виновников войны» для устройства суда над ними, шантажируя этими эффектными лозунгами стихийно-протестующие народные массы. Но лишь только первая революционная волна спала, как вопрос о выдаче виновников войны как-то незаметно растаял, исчез, не оставив никаких следов в мирных договорах и в других международных документах.

Несмотря на эту специфическую постановку вопроса, мемуары гр. Пурталеса, также как и других руководящих политиков и дипломатов предвоенной эпохи (Камбона, Палеолога и др.), имеют несомненный исторический интерес. Они живо вводят нас в ту политическую среду, где выращивался этот грандиозный конфликт. Мы узнаем целый ряд фактов, любопытнейших дипломатических деталей, которые, как бы ни были они мелки, представляют значительный интерес для всех историков мировой войны.

Уже в предисловии к своим воспоминаниям гр. Пурталес полностью высказывает свое политическое credo. «Я еще и ныне убежден в том, что мирное разрешение сербского конфликта было бы возможно достигнуть дипломатическим путем, если бы Россия послушалась дружественных предостережений Германии и отказалась от принятия военных мер в течение дипломатических переговоров... Именно общая мобилизация в России явилась сознательным и намеренным вызовом Германии, которая не хотела войны, вызовом, имевшим целью добиться войны, которую, в противном случае, еще, ко-

жет быть, представлялось бы возможным избегнуть». Кто же были эти шовинистические русские круги, которые «за спиной у царя» натравливали Россию на преисполненную пацифических чувств Германию? Гр. Пурталес указывает, что после Балканской войны в правящих кругах России сильнейшее влияние начали приобретать крайние националисты. Именно эти германофобы «славянофилы» (по терминологии германского посла) поставили у власти престарелого Горемыкина и честолюбивого Маклакова; они же сообщили свой военный задор ранее «миролюбивому» Сазонову, и, наконец, через посредство последнего, они же «внушили» анти-австрийские настроения пацифисту... Пуанкаре.

Мы увидим далее, какой чудовищной наивностью является последнее представление гр. Пурталеса.

Мемуары М. Палеолога очень удачно дополняют указания германского посла на провокационную роль, которую играли русские, главным образом, военные, круги в деле возбуждения военного конфликта. Чего стоит, напр., описание торжественного обеда, данного вел. кн. Николаем Николаевичем Пуанкаре, на котором музыканты играли исключительно Лотарингский марш и марш Самбры и Мезы, на столе же красовался... чертополох, сорванный вел. княг. Милицей (дочерью Николая Черногорского) в Лотарингии и чудесным образом выращенный в ее саду.

Помимо национализма и германофобии, русские правящие круги, идя неудержимо к конфликту, руководствовались и другим соображением, чрезвычайно кстати отмеченным гр. Пурталесом. Из интимной беседы, которую он вел с мажордомом Романовых графом Фредериксом, он узнал, что министр внутренних дел Маклаков «сумел убедить императора Николая в том, что внутреннее положение России настоятельно требует выхода». Несомненно, что это сведение имеет крупную историческую ценность и косвенно подтверждает взгляд М. Покровского, что «основной целью войны для буржуазии всех участвующих в ней стран было—предупредить надвигающуюся с неудержимой, стихийной силой социальную революцию» (ук. статья, стр. 190).

В дальнейшем, записки гр. Пурталеса, охватывающие 8 дней со дня пред'явления Сербии Австро-Венгерского ультиматума (24 июля)—до об'явления Германией войны России (1 августа)—подробно излагают те дипломатические переговоры, которые происходили между воинственной Россией и Германией, обуреваемой желанием сохранить мир. Излагая эти события, гр. Пурталес находится в чрезвычайно затруднительном положении: в самом деле, как согласовать официальное миролюбие среднеевропейского блока с бомбардировкой австрийцами Белграда, или с отказом их ликвидировать конфликт путем дипломатических переговоров с Россией. Он принужден, от имени Германии, уверять Сазонова, что Австрия отнюдь не думает сделать каких-нибудь территориальных приобретений в Сербии, что ее задачей является лишь «проучить» последнюю и т. д. Истощив все эти сомнительные аргументы, этот представитель милитаристической Германии обра-

щается к Сазонову с забавным предостережением: «не давать слова генеральным штабам».

Сазонов, довольно резонно, замечает, что интересы России требуют, чтобы Сербия не превращалась в «вассальное государство Австро-Венгрии», «Сербия не должна стать Бухарой». События в этой стадии идут, конечно, мимо всей этой дипломатической болтовни: Австрия, Россия и Германия мобилизуются—вся Европа наполняется звоном оружия. Гр. Пурталес вынужден, после трогательных об'ятий с Сазоновым, передать ему об'явление о войне. При сей оказии он ошибается и второпях передает этот исторический документ сразу в двух редакциях, за что, как известно, он был впоследствии «изрядно накостылеван» в правительственных кругах Германии.

## 2.

Как же на самом деле развертывались события?

Несомненно, что уже Балканская война (1912—1913 г.г.) ознаменовала конец вооруженного равновесия в Европе и явилась как бы прологом к мировой войне. Результаты двух Балканских войн в необычайной степени обострили империалистические антагонизмы великих держав, издавна процветавшие именно на Ближнем Востоке. Россия после второй Балканской войны, окончившейся разгромом Болгарии и переходом ее на сторону Австро-Германии—должна была навеки расстаться с излюбленной мыслью: создать под своим водительством блок балканских государств, который был бы направлен одновременно против Австрии и Турции. Австрия, после раздела между Сербией и Грецией Македонии, также должна была распрощаться с концепцией, лелеемой втечение столетия, подчинения западной части Балканского полуострова, для выхода к морю у Салоник. Германия с тревогой видела, как после почти полного уничтожения турецких владений в Европе—рушились средние быки великого пан-Германского моста, перебрасываемого из Вены и Берлина в Азиатскую Турцию. Наконец, последняя, совершенно ясно убедившись, что за спиной сербов, греков и болгар все время стояли помогавшие им Россия и Франция, — окончательно перешла на сторону Германии и фактически подчинила свои военные силы немецкому генералу Лиману фон-Сандерсу.

Как известно, во время балканских войн и последующих переговоров несколько раз грозил разразиться общеевропейский конфликт. Желая сохранить хоть какую-нибудь базу на Балканах, Австрия настояла на образовании автономной Албании, что лишало Сербию выхода к морю. Но достигнуть этого ей удалось лишь ценой половинной мобилизации всей своей армии, что вызвало необычайное повышенное настроение в милитаристических кругах России. Но не только Россия, а почти все европейские державы в этот момент совершенно открыто готовились к войне.

Как явствует из разоблачений, сделанных Джиолитти, Австрия уже в августе 1913 года предлагала Италии начать войну против Сербии. В то же

время, как это явствует из мемуаров быв. посла в Париже Извольского, Пуанкаре «удивлялся», почему Россия упускает такой удобный момент разделаться с Австрией. Наконец, французский посол в Берлине Ж. Камбон сообщал своему правительству, что Вильгельм II «перестал быть сторонником мира» (à cessée d'etre partisan de la paix) [1].

События после этого развертываются с головокружительной быстротой: в начале 1914 г. в Петербурге происходит Особое Совещание по восточным делам, на котором детально разрабатывается план захвата Константинополя и проливов. Участники совещания ясно отдают себе отчет, что война с Турцией повлечет за собой общеевропейский вооруженный конфликт. Сазонов совершенно спокойно констатирует, что «нельзя предполагать, чтобы наши действия против проливов происходили без общеевропейской войны». Впрочем, он тут же гарантирует полную поддержку Франции и благожелательное отношение Англии [2]. Что касается до Франции, то, как указывает М. Палеолог, уже в 1912 г. происходили на Quai d'Orsay секретные военно-дипломатические совещания для выработки: «тесного согласия между центральными государственными органами, на долю которых, в случае войны, должно было выпасть главное напряжение сил при обороне страны» [3].

Настоящим апостолом войны был Пуанкаре, который как мы видели, по мнению гр. Пурталеса, заразился милитаризмом, под влиянием Сазонова. На самом деле дело обстояло совершенно обратным образом. В момент представления Австрийского ультиматума Сербии, «именно Пуанкаре заботился о том, чтобы Сазонов был тверд и чтобы мы (т.-е. Франция) его поддержали». Находясь в Петербурге, в тревожную историческую неделю, предшествовавшую началу мировой войны, Пуанкаре делал все, что было в его силах, чтобы приблизить ее. Разве не символически прозвучал его тост на прощальном обеде, данном царю на борту «Франция»:—«У обеих стран (т.-е. у Франции и России) один общий идеал мира—в силе, чести и величии». Недаром, по указанию М. Палеолога, этот тост представителя французской плутократии вызвал бурю аплодисментов и русские милитаристы нашли, что он отмечает «дату в мировой истории».

Как мы видели, действительный ход событий в корне разрушает официальную фразеологию всех без исключения империалистов: немецких, французских и русских, об их желании сохранить во что бы то ни стало мир, чему воспрепятствовали те или иные «виновники войны».

В чем же, однако, заключался смысл той дипломатической игры, которая втечение недели велась между Россией и Германией, под флагом сохранения мира. Ведь не так же глупы были дипломаты, чтобы не видеть и не знать, что вооруженный конфликт совершенно неизбежен и никаким бумажкам, никаким телеграммам, хотя бы самого патетического содержания, не

[1]) И. Е. Гешов, Балканский Союз, П. 1915, стр. 4.

[2]) В. Крижин, Борьба за проливы—„Новый Восток", № 2, стр. 100.

[3]) М. Палеолог, Царская Россия во время мировой войны, со вступительной статьей М. Павловича, Гос. Изд., 1920 г., стр. 18.

остановить надвигающихся гигантских событий? Разгадка всей этой дипломатической волокиты довольно, впрочем, проста. Ни одна из держав, неудержимо стремящихся к вооруженному конфликту, не решалась взять на себя инициативу об'явления войны. Скрытый смысл всех этих бесконечных августейших телеграмм, нот и т. п. заключался в том, чтоб спровоцировать противную сторону на решительный разрыв, со всеми вытекающими последствиями. Война угрожала быть слишком чудовищной и народным массам, которые должны были втечение ряда лет поставлять пушечное мясо, необходимо было продемонстрировать хотя бы фикцию самообороны от наступающего врага. Эта забота об общественном мнении очень ярко проявляется у того же М. Палеолога, воспроизводящего слова английского посла Д. Бьюкенена, сказанные в самый разгар дипломатической «подготовки» к войне: «Ради Бога—будьте сдержанны. Исчерпайте все способы примирения. Не забывайте, что мое правительство есть правительство общественного мнения, и что оно сможет деятельно вас поддержать только в том случае, если общество будет за него».

Эта забота о том, чтобы выиграть общественное мнение,—вернее, чтобы околпачить его,—и составляла скрытую пружину всех дипломатических переговоров, воспроизводимых в записках гр. Пурталеса. Думать, что та или иная редакция документов, или даже, что самое содержание их вовлекли бы Европу в мировую бойню, конечно, было бы необычайной наивностью. Когда империалистические державы не чувствуют необходимости считаться с общественным мнением, они сами создают поводы для войны. Лучшим примером этого является знаменитая Эмсская телеграмма, вызвавшая разрыв между Францией и Германией и войну 1870 года—по циничному признанию Бисмарка—сфабрикованная им самим, а вовсе не посланная правительством Наполеона III.

### 3.

В противоположность Франции, России и особенно Германии, в Англии в послевоенные годы появилась сравнительно незначительная мемуарная литература. Некоторые второстепенные деятели, вроде адмирала Джелико, лорда Фишера и др., правда, дали свои воспоминания, но ни Эдуард Грей, ни Асквит, ни Керзон еще не опубликовали своих мемуаров. При таких условиях очень значительный интерес вызывают воспоминания крупного английского политика лорда Хольдена. Для русской публики—это мало известная фигура, хотя Хольден с 1905 по 1912 г.г. был военным министром, а с 1912 г. по 1915—лордом-канцлером. Между тем лорд Хольден принадлежит к тем многочисленным политикам на Западе, которые, оставаясь для широкой публики в тени, являются тем не менее реальными дельцами, направляющими движения государственной машины.

Деятельность лорда Хольдена, как мы видели, падает на предвоенные годы; особенный интерес она представляет, благодаря тому, что, будучи воен-

ным министром, он играл в высшей степени активную роль, в тех секретных дипломатических переговорах, которые велись накануне мирового капитализма. Будучи связан с Германией университетскими годами, а также личными связями с рядом выдающихся политических деятелей, лорд Хольден использовался английским правительством, когда надо было завести негласные переговоры, прозондировать почву и т. д. Дважды в критические моменты общеевропейской жизни (в 1906 и 1912 г.г.) он выезжал в Германию и одновременно принимал оживленное участие в тех секретных переговорах, которые велись немцами в Англии. Книга, написанная Хольденом, и имеет своей главной задачей дать очерк англо-германской секретной дипломатии перед мировой войной, написанной исключительно по личным воспоминаниям. Конечно, здесь есть много для нас наивного, так, напр., Хольден смакует великолепное шампанское и сигары, которыми потчевал его кайзер, несколько хвастливо отмечает то исключительное внимание, которое ему оказывалось и т. п. Но, вместе с тем, воспоминания его представляют значительный интерес, так как они позволяют приоткрыть ту тяжелую завесу, за которой втечение ряда лет решалась судьба народов Европы.

Какова же общая концепция книги лорда Хольдена? Своей главной целью он ставит, путем анализа дипломатических переговоров вскрыть причины и виновников мировой войны. Однако, как мы в этом убедимся ниже, он не может здесь дать выдержанного построения, и под напором фактов, принужден противоречить самому себе.

Самое построение Хольдена не блещет новизной. В терминах бытовых причиной войны для него представляется «безрассудная дерзость Австрии» и «честолюбие Германии». Говоря языком реально политическим, он усматривает корень зла в немецких милитаристах, которые вызвали «превентивную войну», желая изменить к лучшему невыгодное международное положение Германии.

Мировая политическая ситуация обрисовывается Хольденом следующим образом. Россия и Франция, по его категорическому заявлению «не желали войны». В настоящее время после опубликования секретных архивов Русского Министерства Иностранных Дел, после воспоминаний Извольского и отчасти Палеолога—мы знаем, какой ложью или заблуждением является этот взгляд.

Что касается до Англии, то в ней, по словам Хольдена, существовали две параллельные тенденции. С одной стороны, Англия безостановочно проводила политику миролюбия, пытаясь путем явных или секретных соглашений и даже уступок ликвидировать все международные конфликты. Для немецких милитаристов типа адмирала фон-Тирпица, правда, именно, Англия являлась главным врагом Германии, делавшим невозможным дальнейшее развитие немецкого мирового могущества. Но, по уверениям Хольдена, этот взгляд был основан на чистейшей ошибке. «Мы не имели,—говорит он,—ни малейшего права завидовать Германии или жаловаться на свое положение, когда она только пожинала плоды своей науки и труды в области мирного прогресса».

Но рядом с этой мирной тенденцией Англия проводила политику «страховки против неожиданности», т.-е. иными словами укрепляло всячески свое международное и военное положение на случай возможной европейской войны.

Именно исходя из этих соображений, Англия, начиная с 1906 года, реорганизует свою армию и флот и вступает в соглашение (Entente cordiale) с Францией.

Милитаризм под белоснежной тогой пасифизма—такова концепция, мастерски набрасываемая Хольденом.

Что касается до Германии, то тут автор также отмечает две тенденции, почти соответствующие английским. Одна—мирная, представленная накануне войны канцлером Бетман-Гольвегом, нерешительная и мало влиятельная и другая—ярко империалистическая, воплощаемая или в образе адмирала фон-Тирпица. Милитаристическая клика, возглавляемая последним, проповедывала сначала идею вооруженного мира, а затем, когда Германия оказалась в англо-франко-русском окружении — идею «превентивной» (предупредительной) войны. Weltmacht oder Niedergang («Мировое могущество или крушение»)—такова была формула адмирала фон-Тирпица и его школы.

Наконец, что касается до Австрии — то источником ее милитаризма являлась предполагаемая угроза тевтонской расе со стороны славянской. Желая раз-на-всегда покончить с сербами и вообще с балканским вопросом, австро-венгерские империалисты спешили ускорить свое выступление (losgehen), увлекая за собой и свою союзницу «в блистающих доспехах»—Германию.

Обрисовав таким образом общемировую политическую ситуацию, лорд Хольден делает следующий закономерный вывод: «Ближайшей причиной войны была политика Австрии. Второй — отсутствие какой-либо действительной попытки со стороны Берлина поставить ее под свой контроль. Третьей из главной причиной была теория Тирпица о способе сохранения мира, теория, идущая от Фридриха Великого и его отца, которая даже в глазах такого человека, как Бисмарк, казалась единственно надежной».

Как вскользь отмечалось выше, эта концепция Хольдена не отличается выдержанностью. Воспев миролюбие Англии и дружественных держав и их стремление лишь к самообороне, он внезапно проговаривается и указывает, что во всех странах имелось «незначительное, но беспокойное меньшинство... которое в годы, предшествовавшие 1914 году, непрестанно старались взвалить нам на плечи войну своими заявлениями неудовольствия по адресу соседних стран и своими пророчествами относительно неизбежной войны». Конечно, эта характеристика необычайно деликатно характеризует всех джингоистов, реваншистов и ура-патриотов, которые составляли весьма солидное «меньшинство» в Антанте, представленное влиятельнейшими политиками, вроде Керзона, Делькассе, Извольского, Паункаре и др. Но важно то, что Хольден вразрез со своей концепцией вынужден констатировать наличность империалистической клики и в странах Согласия, точно соответствующей «школе Тирпица».

Обрисовав систему самообороны, принятую Англией, Хольден делает другой неожиданный вывод, а именно, что Европа накануне войны—«походила на вооруженный лагерь», при чем само бремя вооружений—несомненно должно было привести к конфликту.

Неудивительно, что он принужден сделать здесь следующее пессимистическое заключение: «нужно было нерушимо сохранять мир, а остальное предоставить спасительному действию времени».

4.

Нельзя ли все же установить, пользуясь материалами Хольдена, истинные причины войны? Ценность его книги и заключается в том, что мы действительно получаем возможность нащупать одну из основных пружин мирового конфликта, а именно *морскую* конкуренцию Англии и Германии.

Тирпиц неслучайно выбран Хольденом в качестве человека, символизирующего германский империализм. Именно он, идя в значительной степени в разрез с традициями Бисмарка, явился одним из создателей морского могущества Германии, неустанно проповедуя, что будущность последней на море.

Воспоминания Хольдена ярко рисуют какое-то беспокойство, которое внушали англичанам морские программы Германии. Ведь мощный немецкий флот составлял прежде всего огромную угрозу для безопасности британских островов. Стоило немецкому флоту захватить Кале, как последний действительно превращался в «пистолет, направленный на грудь Англии», о чем мечтал еще Наполеон I. Но была еще и другая неменьшая опасность. Мощный немецкий флот угрожал вековому господству Великобритании на всех мировых путях, т.-е. ставил под угрозу не только ее торговлю, но целость ее колониальной империи.

И вот мы ясно видим из книги Хольдена, что основной проблемой англо-германских отношений накануне войны были как раз морские вооружения обеих стран. Немцы усиливают свой флот, но Англия указывает, что на каждый немецкий киль, спускаемый в море, она будет спускать два киля. Это и есть знаменитое осуществление британской формулы, гласящей, что флот Англии всегда должен быть вдвое сильнее флота сильнейшей европейской державы (так наз. two powers standard). Тирпиц организует немецкий флот по образцу сухопутной армии, отделяя стратегию от администрации и разрабатывая комбинацию морских и сухопутных операций. Англичане торопятся усвоить эту новую для них организацию, впервые учреждают морской штаб— устанавливают деятельную кооперацию между флотом и сухопутными войсками и т. д.

Своей высшей точкой эта ожесточенная борьба за мировое преобладание достигла в 1912 г., когда германское правительство выработало новую морскую программу, сразу дающую огромный толчек развитию ее флота. Англичане с тревогой убедились, что увеличение распространяется не только

на линейные суда, но и на суда так наз. малого тоннажа. т.-е. главным образом, на подводные лодки. в постройке которых, прибавим, они не могли конкурировать с немцами.

Начинаются лихорадочные погони соглашения, попытки взаимно ограничить морские вооружения и т. п. Однако все эти переговоры остаются безуспешными, и несомненно, что именно борьба за морское могущество и за контроль над великими морскими путями явилась одной из причин англо-германского конфликта.

---

Помимо всех этих концепций, мемуары Хольдена дают интереснейший фактический материал, для истории наиболее смутного десятилетия европейской истории с 1906—1914 г.г.

Отправным пунктом для Хольдена является 1906 г. Осложнения, наступившие в Марокко, вызывают тревогу во французском правительстве, которое спешит сблизиться с Англией. Последняя, именно в этом году, решается произвести полную реорганизацию своей армии, которую и производит Хольден, посвятивший этому вопросу много интересных страниц. Уже через три года Англия имеет армию в 160.000 человек (вместо прежних 100.000), организованную на немецкий образец и предназначенную *для дессанта во Францию на случай войны с Германией.* К этому же времени относятся попытки устранения назревающих конфликтов, путем негласных дипломатических переговоров в Берлине и в Лондоне.

Спустя несколько лет, события развиваются буквально с бешеной быстротой. Конфликт опять разыгрывается на территории Северной Африки. Неожиданное наступление французов на Фец вызывает посылку в Агадир германского военного судна, носящего символическое имя «Пантеры». Европа впервые после 1878 года оказывается перед реальной угрозой всеобщей войны. Конфликт, правда, удается ликвидировать средствами явной и тайной дипломатии, но, как указывает Хольден, в отношениях между Англией, Францией и Германией остается натянутость; в Берлине открыто поговаривают о «превентивной войне». «Настроение стало до того возбужденным, что для успокоения его обычные дипломатические сношения уже оказались недостаточными» и вот на смену опять выступает негласная дипломатия. Читая страницы воспоминаний Хольдена, посвященные 1913—1914 г.г., точно видишь, как европейские империалистические державы неотвратимо катятся в пропасть, при чем дипломатия играет уже роль камешка, подкладываемого под падающий с насыпи поезд.

Недаром свои мемуары лорд Хольден заключает словами, которые звучат опять-таки чрезвычайно неожиданно, после его стараний всячески выгородить Англию и ее союзников от вины в возбуждении мировой войны: «В конечном счете, настоящая причина этой войны, величайшей из всех когда-либо пережитых человечеством, заключается в чудовищном нагромождении взаимных подозрений со стороны всех участвующих в ней наций». Если мы заменим слово «подозрения» словами «империалистические стремления», то мы можем вполне согласиться с выводом лорда Хольдена.

5.

Молниеносное крушение Германской империи, на-ряду с генезисом мировой войны, является, несомненно, второй кардинальнейшей проблемой современной мировой истории. В настоящее время, когда процесс распадения Германской империи в сущности еще продолжается, мы не можем рассчитывать на появление сколько-нибудь исчерпывающих трудов, посвященных последнему. Сборники официальных документов, необозримая полемическая литература, наконец, мемуары близких участников или свидетелей событий (Людендорфа, Гинденбурга, Вильгельма II, кронпринца, Э. Бернштейна, Г. Носке, Ф. Шейдемана и др.)—вот все, чем мы располагаем в настоящее время.

В ряду мемуарной литературы одно из наиболее видных мест занимает книга М. Эрцбергера: «Пережитое в эпоху мировой войны». Вплоть до своей трагической смерти (26 августа 1921 г.) от руки крайних националистов, Эрцбергер играл крупнейшую роль в политической жизни Германии. Бывший народный учитель, попав в рейхстаг, Эрцбергер стал признанным вождем католической партии центра, опирающейся на огромные массы мелкой буржуазии и на католических рабочих.

Благодаря своим интимным связям с Ватиканом и с католическим двором Габсбургов, Эрцбергер играл подчас совершенно самостоятельную политическую роль, и правительство часто использовало его для разного рода «деликатных» дипломатических поручений.

Как вождь мелкой буржуазии и мещанского слоя пролетариата, Эрцбергер не был чужд известного демократизма: мемуары ярко подчеркивают борьбу, которую он вел за утверждение парламентаризма, за отказ от аннексионистских целей войны и т. д. Но в этом отношении не надо впадать в ошибку: демократизм и пасифизм Эрцбергера падает на вторую половину войны, когда для всех дальновидных политиков выяснилась невозможность принудить Антанту к капитуляции. До этого Эрцбергер был ярким шовинистом, да и значительно позже он выступал на защиту Брестского мира, протестуя лишь против его «дополнительных статей». Эти колебания чрезвычайно характерны для Эрцбергера, и они об'ясняются, конечно, той шаткостью и расплывчатостью, которые всегда свойственны политическому миросозерцанию мелкой буржуазии.

Работая в начале войны по организации иностранной пропаганды, в середине 1917 г. Эрцбергер становится одним из вождей оппозиции в рейхстаге и, наконец, после военного краха—вступает в «военный кабинет» принца Макса Баденского. Именно он чуть ли не единолично ведет переговоры с союзниками о перемирии, а затем открывает ожесточенную кампанию в пользу безоговорочного принятия Версальского мирного договора. Какими же мотивами руководствовался Эрцбергер, агитируя за принятие беспощадных условий перемирия? Об этом он совершенно открыто говорит в своих мемуарах, и в этом заключается их подлинная историческая ценность. Таким побуди-

тельным мотивом был для него страх перед большевизмом, наступление которого он, как проницательный политик, предвидел в случае дальнейшего сопротивления Германии. Ведя переговоры с Фошем, он десятки раз указывает, что слишком жестокие условия перемирия «предадут Германию в руки большевизма». В период уличных боев в Берлине он сговаривается с верховным командованием, «что, если бы союзники потребовали образовать общий фронт против большевиков, я могу подписать такое соглашение».

Тот же панический страх перед наступающей социальной революцией руководит этим типичным идеологом и вождем мелкой буржуазии и при кампании в пользу принятия Версальского мира. В записке, которую он подает на рассмотрение всех фракций рейхстага, он подчеркивает «рост большевизма, который видит, что его время пришло», и грозит, что в «Германии фактически установится положение дел, как в России».

Ведя эту агитацию, Эрцбергер мог, впрочем, опираться не на одни только прогнозы, но и на факты. Так, он приводит замечательный факт о том, что в Гамбурге ряд купцов решили поставить в случае продолжения войны свой город под английский протекторат для того, чтобы защитить себя от угрожающего большевизма, а также, чтобы предотвратить уничтожение своего родного города.

Защищая эту позицию, Эрцбергер, впрочем, как известно, имел солидных помощников не только справа, но и слева. Не говоря уже о Носке и Шейдемане, ведь даже Гаазе утверждал, что «Антанта готова предложить Германии при нынешнем правительстве подходящие условия мира, а также снабдить ее продовольствием. Но все это до тех пор, пока в Германии нет большевизма. Поэтому необходимо обороняться от русской пропаганды».

Эта тактика капитуляций перед Антантой возбудила против Эрцбергера неслыханную вражду со стороны милитаристической клики, аграриев, металлургических королей, пароходовладельцев и др. Антагонизм этот особенно усилился после того, как Эрцбергер, будучи министром финансов, начал проводить обложение крупных капиталов, для покрытия послевоенных обязательств Германии. Против него был поднят судебный процесс по обвинению в лихоимстве, который и заставил его на время отстраниться от политической деятельности. Для сторонников Каппа и Гельфериха, этого было, однако, мало. Эрцбергер, этот вождь мелкой буржуазии и почти всей католической Германии, оставался слишком опасным соперником.

Уже в 1918 г. на его жизнь производится несколько покушений, случайно оказывающихся безрезультатными. 26 августа 1921 г. в Грисбахе (в Бадене) на Эрцбергера во время прогулки нападают двое молодых людей и буквально расстреливают из револьверов. Политический смысл убийства Эрцбергера, последовавшего после убийства Эйснера и Гаррейса, был, конечно, совершенно ясен. Недаром «Фрейхейт» писала, что «убийцами являются Гельферих, Капп и их помощники. Подстрекатели убийц в редакциях «Крейццейтунг» и «Дейтче Цейтунг». Там заряжались револьверы, которые

завершили дело в Грисбахе». Характерно, что и правые газеты признавали политический характер убийства Эрцбергера, но при этом заявляли, что именно он виновен в бедствиях, постигших Германию.

6.

Вполне понятно, что мемуары государственного деятеля такого крупного калибра, как Эрцбергер—представляют совершенно исключительный интерес. Благодаря его большой осведомленности в международной жизни он дает новое освещение целому ряду событий: напр., обстоятельствам вступления Италии в войну, роли масонства, Балканским событиям, комбинациям Ватикана и т. д. и т. д.

Интерес этих воспоминаний увеличивается благодаря значительной широте политического кругозора Эрцбергера, умевшего смотреть на мир не только «через пушечное дуло», в чем он обвиняет немецких политиков. В этом отношении книга Эрцбергера выгодно отличается от записок Шейдемана, так и блещущих близорукостью, самовлюбленностью и, lest not least, просто глупостью. Вождь мелкой буржуазии не смакует, подобно «вождю» социал-демократии, канцелярские сигары, рукопожатия, титулы «превосходительства» и др. забавные мелочи, которыми испещрен дневник Шейдемана. В то время, как последний, по собственным признаниям, выслушивает «отеческие увещания» канцлера и вообще используется милитаристами, как «государственно-охранительная сила», Эрцбергер проводит собственную политическую программу, идущую в значительной степени в разрез с стремлениями пангерманцев, придворной камарильи и военной клики.

Один момент в записках Эрцбергера заслуживает того, чтобы на нем более подробно остановиться, это: политическая жизнь Германии во время войны.

После ознакомления с большинством мемуаров, относящихся к этой эпохе, не исключая и книги Шейдемана, у читателя получается впечатление, что Германия все четыре года войны жила в общем нормальной парламентской жизнью. Рейхстаг занимался законодательной работой, оказывая давление на правительство, при чем после 1917 г. это давление перешло чуть ли даже не в прямой политический контроль. Записки Эрцбергера ярко показывают, какой иллюзией является это представление о внутренней жизни Германии за время войны.

Реальная власть, начиная с момента мобилизации и *вплоть до заключения перемирия*, находилась беспрерывно в руках главного командования: не Вильгельм II, не Бетман-Гольвег, не Макс Баденский и уж, конечно, не Шейдеман с Давидом и присными, а Людендорф, возглавляющий милитаристические круги, являлся втечение 4 лет подлинным диктатором Германии.

Вплоть до военного разгрома, заявляет Эрцбергер, Людендорф «оставался почти неограниченным властителем Германии и частью сам решал политические вопросы, частью существенно влиял на их решение»... Иллюстра-

циями к этому положению полна буквально вся книга. Германский поход на Бельгию произошел без предварительного согласия рейхстага, по приказу верховного командования, хотя во главе его, правда, тогда стоял и не Людендорф, а Мольтке. Попытки вступить в мирные переговоры с Антантой, предпринимаемые рейхстагом, всегда разбиваются о противодействие того же командования, которое желало удержать Бельгию, как ценный военный «залог», на самом же деле мечтало присоединить ее к Германии. Крупнейший политический акт о восстановлении Польского государства (5 ноября 1916 г.) последовал по инициативе военных властей. Людендорф рассчитывал получить от автономной Польши компенсацию в виде 350.000 солдат: «позже он заявлял, что никогда не посоветовал бы и не сделал бы этого политического акта, если бы его не заверили, что будет легко получить такое количество войск».

Я не буду умножать дальнейших фактов: вопрос о судьбе Эльзаса-Лотарингии, о провозглашении «беспощадной» подводной войны, одним словом, важнейшие наиболее острые политические вопросы—все это решалось не в Берлине, а в ставке верховного командования. Даже Шейдеман, который всячески пыжится доказать, какую крупную роль играл он сам и предводительствуемая им социал-демократия во время войны, вынужден признать, что «за границей знали так же хорошо, как и в стране, что в конечном итоге политику делает главное командование».

Но вот в июле 1917 г. под влиянием ряда военно-политических неудач в Германии начинается политическая весна: по инициативе Эрцбергера, которую у него, впрочем, оспаривает Шейдеман, рейхстаг принимает резолюцию о заключении «мира на основах соглашения». Спустя три месяца после этого уже образуется «первое парламентское правительство» принца Макса Баденского и Германия вступает на путь внутренних реформ...

Так ли на самом деле развертывались события? Лучшим ответом на это является изумительная беседа Вильгельма II с депутатами рейхстага после принятия резолюций о мире, о которой почему-то умалчивает Шейдеман, принимавший в ней участие.

Слово «соглашение»—превосходно, заявляет с обычной экспансивностью Вильгельм. «А соглашение состоит в том, что мы возьмем у врагов деньги, сырые материалы, хлопок, масла и из их кармана переложим в наш карман: это замечательное слово. Члены фракций большинства, к своему ужасу, не только увидели, что император не осведомлен о том, чего они хотели, но даже чувствовали издевательство в этих словах».

Далее император развивает перед изумленными депутатами программу «второй пунической войны» против Англии и заканчивает свою декларацию замечательным по ясности заявлением: «Где появляется гвардия—там не место демократии».

Перед лицом всеобщей оппозиции император все же принужден отставить канцлера фон Бетман-Гольвега. Однако преемник его Михаэлис назначается, вопреки обещанию, без всякого ведома парламента. «Говорят,—эпически со-

общает Эрцбергер,—что искали сильного человека, а так как Михаэлис однажды в прусском ландтаге употребил выражение, что он никому не позволит путаться у него под ногами и т. д., то военные обратили на него внимание».

Вскоре, правда, этот «сильный человек» также должен был уйти, но назначенный на его место престарелый граф Гертлинг откровенно жаловался, что верховное командование «водит его за нос». Действительно, именно в этот период Людендорф задумал, минуя германское правительство, превратить Крым в вассальное государство, чтобы получить оттуда 50.000 рекрутов.

Не стоит останавливаться на дальнейших опытах парламентаризации, которые так умиляют оптимиста Шейдемана. Смысл их очень хорошо выразил нач. кабинета ф. Валентини, заявивший, что «в эти дни—главное было сохранить «доброе настроение императора»; вся же эта парламентаризация один «маскарад», который продолжится несколько месяцев».

Но вот совершенно неожиданно для упоенных победными реляциями членов рейхстага происходит военный крах. Начинаются прямые переговоры с Антантой и опять-таки по инициативе главного командования. «Не только под военным давлением,. но по военному приказу, была отправлена 5 октября первая нота президенту Вильсону, набросанная вчерне ген. Людендорфом». Чтобы оценить вполне этот факт, укажу лишь, что в то время в Берлине уже функционировало «парламентское» правительство, в которое от с.-д. фракции входил Шейдеман. Впрочем, и здесь не заканчивается обще-политическая роль командования. В Германии происходит революция, Вильгельм бежит в Голландию, и вот санкцию на принятие условий перемирия дает не канцлер, не рейхстаг, а то же верховное командование...

Все эти факты, выпукло представленные в мемуарах Эрцбергера, имеют огромное историческое значение. Они доказывают уже выставленное выше положение, что втечение всей войны в Германии царила беспощадная диктатура милитаристических кругов, опиравшихся, разумеется, на близкие им слои аграриев и представителей тяжелой индустрии. Эта диктатура, и явилась, несомненно, одной из главных причин того исторического феномена, который носит название крушения Германской империи».

*В. Кряжин.*

---

# Работы К. А. Тимирязева над усвоением света растений, в связи с последними исследованиями по ассимиляции.

Ф. Н. Крашенинников.

Откуда и как образуются вещества, из которых построены все живые существа—и растения, и животные? Все животные прямо или косвенно получают свою пищу, из которой строится их тело, от растений. Но откуда и как берет свои вещества растение?

Раньше полагали, что растение получает все свои питательные вещества из почвы, на которой оно растет. С этим простым толкованием легко связывалось и наблюдение над различным плодородием той или другой почвы. Казалось, что иного источника питательных веществ для растения нельзя и допустить; трудно было поколебать мысль, что воздухом сыт не будешь.

Все сведения о питании растений, о составе и происхождении их веществ тесно связаны с развитием химических знаний. Вещества, которые входят в состав всех организмов, могут быть разделены на органические и минеральные. Минеральные вещества остаются при сжигании организмов в форме золы. Необходимые для развития растения минеральные (зольные) вещества, а также азотистые соединения в форме селитры, поступают в растение из почвы вместе с водой. Сгорающая масса составлена из органических веществ, названных так потому, что из них главным образом построены все части (органы) растений и животных. Эти вещества более чем на половину состоят из углерода, остающегося при сильном нагревании организмов без доступа воздуха в виде угля. Почти до первой четверти XIX века принимали, что органические вещества могут возникать лишь в живых существах; в этом видели одно из различий мира органического и минерального. Но успехи органической химии показали, что между тем и другим миром нет никакого принципиального различия.

Учение об образовании зеленым растением своей органической массы из углекислоты воздуха начало развиваться всего лишь полтораста лет тому назад, одновременно с выяснением химической природы составных частей воздуха. При теперешних сведениях легко убедиться в том, что, действительно, вся органическая масса зеленого растения образуется из тех небольших количеств углекислоты, которые содержатся в атмосферном воздухе

(0,03%). Иногда совершенно очевидно, что растения не имеют иного источника углекислоты, кроме углекислоты воздуха: например, сосны и ветлы, которыми засаживают сыпучие пески дюн, для закрепления их: или растения в искусственных культурах, которые пышно развиваются на слабых растворах чистых минеральных солей.

Это питание зеленых растений на счет углекислоты воздуха на свету не состоит просто в поглощении углекислоты. Поглощаемая листьями углекислота, под влиянием энергии световых лучей, разлагается на свои составные элементы: углерод и кислород. Одновременно с этим совершается усвоение элементов воды. Из углерода в соединении с элементами воды образуются в листе органические вещества, идущие на развитие всего растения, а кислород в газообразной форме выделяется в воздух. Выделение кислорода легко наблюдать на водяных растениях. На таком растении, в ясный летний день, из случайно поврежденного лиственного стебля, погруженного в воду, содержащую растворенную углекислоту, на ярком солнечном свету можно прямо видеть выделение пузырьков газа; собрав этот газ, можно убедиться, что он состоит из кислорода: если ввести в него тлеющую лучинку, она вспыхнет. Весь этот сложный процесс усвоения углерода зеленым растением из углекислоты воздуха при содействии солнечного света, с одновременным присоединением элементов воды, часто обозначают одним словом «ассимиляция».

Если при ассимиляции углерод соединяется с элементами воды, то легче всего представить, что в этом соединении будут возникать вещества, называемые углеводами, и как бы состоящие из угля и воды. Простейшими углеводами будут сахаристые вещества. В половине девятнадцатого века немецкий физиолог Сакс показал, что, действительно, в результате ассимиляции, в листьях образуется углевод, но более сложный—крахмал; этот крахмал можно считать за первый видимый продукт ассимиляции.

Так как образующееся при ассимиляции вещество идет на питание всего растения, то крахмал по мере образования переходит в места наибольшего потребления: в растущие части, или в осевые органы, т.-е. в ствол и корень, где он откладывается, как запасной питательный материал на зиму.

Показать появление крахмала в листьях, как результат ассимиляции, и отток его в основные органы легко следующим простым приемом. Возьмем в летний день лист любого растения—бузины, картофеля, крапивы,—положим его на минуту в кипящую воду, а потом перенесем в спирт и будем нагревать. Через несколько минут лист вполне обесцветится.

Зеленый пигмент, картофеля, от которого зависит зеленый цвет растений, растворится в спирту; спирт окрасится в красивый изумрудно-зеленый цвет. Теперь перенесем обесцвеченный лист в очень слабый раствор иода; лист начнет синеть, а потом станет совсем черным. Такое потемнение произойдет оттого, что крахмал, находящийся в листе, окрашивается иодом в синий, а при большом количестве в черный цвет. Иод—очень чувствительный и характерный реактив на крахмал; ничтожное количество крахмала легко обнаружить, окрашивая его иодом. Если мы обернем другой лист, не

срезая его с растения, темной, непрозрачной бумагой, так что вполне устраним доступ света к листу, через несколько часов (на другой день), отрезав от листа небольшой кусочек, найдем, что он уже не содержит крахмала. Крахмал растворился и перешел в осевые органы. Предоставим теперь свету свободно падать на этот обескрахмаленный лист, и через полчаса мы увидим, что лист будет давать ясную пробу на крахмал. Прикладывая к обескрахмаленному листу резкий фотографический негатив, мы, спустя несколько часов освещения, можем получить, после иодной реакции, довольно явственный отпечаток тонкого рисунка, например, портрета.

Рассматривая разрез листа под микроскопом, можно убедиться, что зеленый пигмент, хлорофилл, распределен в листе неравномерно; он окрашивает лишь белковые зернышки, чечевицеобразной формы, находящиеся в протоплазме клеток. Эти зернышки так и называются — хлорофилловые зерна В хлорофилловых зернах, если лист был на свету, мы ясно различим крупинки крахмала; а если лист был предварительно затемнен, или если воздух не содержал углекислоты, крахмал окажется исчезнувшим из хлорофилловых зерен. В этих-то хлорофилловых зернах и разыгрывается процесс ассимиляции; они суть те очаги, в которых живая сила светового луча претворяет неорганические вещества—углекислоту и воду—в органическое вещество; от деятельности их, следовательно, зависит жизнь всего организованного мира.

При ассимиляции мы должны учитывать не только образование органического вещества. Всякое органическое вещество обладает некоторым запасом энергии, освобождаемой при сгорании вещества в форме тепла. На образование органического вещества в листе затрачивается тепло (энергия) светового луча; эта затрата необходима, чтобы разорвать связь между углеродом и кислородом усвояемой углекислоты. Одновременно с образованием веществ идет усвоение света растением, накопление в растении солнечной энергии.

Ассимиляция углерода в растении неразрывно связана с нахождением в листьях хлорофилла. Нет хлорофилла—не может итти и ассимиляция. Незеленые части растения—корни, цветы, незеленые растения—грибы—для своего развития нуждаются уже в готовом органическом веществе, подобно животным. Каково же значение этого зеленого пигмента и как протекает при его участии ассимиляция?

Если ассимиляция зависит от присутствия хлорофилла и состоит в усвоении света, то естественно, что первым шагом в изучении процесса должно быть выяснение отношения хлорофилла к свету, т.-е. надо установить, какой свет и в какой мере поглощается хлорофиллом. Затем следует выяснить, какова зависимость между поглощением света хлорофиллом и ассимиляцией. Эта задача разрешена образцовыми исследованиями Климента Аркадьевича Тимирязева (см. «Растение как источник силы», лекция, приложенная к книге: «Жизнь растения» К. А. Тимирязева, Госиздат 1920, «Усвоение света растением» его же, 1875).

Спектральный анализ дает возможность определить, какой свет поглощается хлорофиллом. Луч белого света от солнца или от какого-либо иного

раскаленного тела, при прохождении через прозрачную призму, дает спектр, т.-е. разлагается на семь спектральных лучей—цветов радуги. Из всех спектральных, основных лучей солнечного света хлорофилл поглощает яркие красные, оранжевые, частью желтые, а также синие и фиолетовые лучи. Остальные лучи цветов радуги, не поглощаемые хлорофиллом, в совместном действии производят на наш глаз впечатление зеленого цвета.

Луч белого света, прошедший через лист или раствор хлорофилла, дает спектр уже не сплошной, а такой, в котором на месте лучей, поглощаемых хлорофиллом, мы увидим более или менее широкие темные полосы: это и будет спектр поглощения хлорофилла.

При этих исследованиях было весьма существенно не только определить, как делали раньше, лучи, поглощаемые каким-либо случайным раствором хлорофилла, а установить закономерность в спектре поглощения хлорофилла для всевозможных концентраций.

Чтобы определить, как зависит ассимиляция от спектральных лучей солнечного света, К. А. Тимирязеву пришлось значительно усовершенствовать метод газового анализа. Так как при прохождении солнечного луча через призму и при его рассеивании на отдельные спектральные лучи сила света значительно ослабевает, то и ассимиляция в отдельных спектральных лучах идет очень слабо. Чтобы находить те небольшие количества углекислоты, которые поглощаются одинаковыми листьями в разных участках спектра, необходимо было учитывать количества углекислоты до 0,001 кубического сантиметра.

Эти определения показали, что только те лучи вызывают ассимиляцию, которые поглощаются хлорофиллом. Можно установить полное количественное совпадение для лучей, поглощаемых хлорофиллом, и для лучей, на счет энергии которых протекает ассимиляция: те лучи, которые сильнее поглощаются, оказываются и более деятельными для ассимиляции. При этом обнаруживается, что лучи, под влиянием которых ассимиляция совершается успешнее всего, обладают наибольшей энергией из всех лучей, падающих на землю от солнца; т.-е. хлорофилл—наиболее приспособленный поглотитель световых лучей.

Приемом, которым обнаруживают крахмал, как продукт ассимиляции, очень легко обнаружить зависимость между поглощением спектральных лучей и их ассимиляционной деятельностью. На обескрахмаленный лист, получаемый, как уже сказано выше, затемнением листа, надо отбросить спектр, достаточно интенсивный. После нескольких часов освещения листа спектром, обесцвечиваем такой лист спиртом и окрашиваем иодом. В тех местах листа, которые были освещаемы лучами, поглощаемыми хлорофиллом, крахмал образуется обильнее: эти места будут окрашены в темный цвет; мы получим на листе отчетливый отпечаток спектра поглощения света хлорофиллом (листом).

Определить, в какой мере свет поглощается хлорофиллом, находящимся в листе, гораздо сложнее. Самым существенным, конечно, было бы определить, сколько света поглощают хлорофилловые зерна, находящиеся в листе.

так как они являются очагами, где протекает ассимиляция и в них непосредственно происходит использование солнечной энергии. Но эти определения для цельного листа—задача, до сих пор не разрешенная. При поглощении света листом часть света будет задержана не только хлорофилловыми зернами, а также и другими составными частями клеток; но этот свет, поглощенный не хлорофилловыми зернами, не участвует в ассимиляции. Кроме того, часть света будет отражаться, часть может пройти через клетки листа, минуя хлорофилловые зерна. Эти соображения заставили К. А. Тимирязева определить, сколько света задерживает не прямо цельный лист, а раствор хлорофилла, взятый в концентрации, соответствующей среднему содержанию хлорофилла в листе.

Чтобы найти, какая доля всего солнечного света поглощается хлорофиллом, К. А. Тимирязев построил прибор, названный им фитоактинометром. В этом приборе две одинаковые тонкие зачерненные металлические пластинки нагреваются одна прямо солнечным лучом, другая—светом, прошедшим через раствор хлорофилла. Так как хлорофилл поглощает часть света, то прошедшая через раствор часть солнечного света будет нагревать черную пластинку слабее. По разности нагревания этих двух пластинок можно рассчитать, какая часть всего солнечного света поглощена хлорофиллом. В среднем оказалось, что зеленым пигментом листа, хлорофиллом, поглощается примерно одна четвертая часть солнечного света. Этим намечается приблизительный предел той доли солнечной энергии, которая может быть использована листом в ассимиляции.

Непосредственные определения зависимости ассимиляции от общего количества света были произведены К. А. Тимирязевым различными путями. Между прочим, он применял следующий прием. С помощью большой стеклянной линзы он получал в темной комнате конус ярких солнечных лучей. В расходящемся световом пучке этого конуса сила света обратно пропорциональна квадрату расстояний. Помещая на оси этого конуса растение, мы можем освещать его светом любой интенсивности. Если освещать светом различные силы водяного растения элодеи, она будет, как сказано выше, выделять различные количества кислорода. По количеству выделенного кислорода можно судить о силе ассимиляции. В результате этих определений можно было установить следующее. При слабых напряжениях света, ассимиляция очень быстро возрастает от усиления света, примерно до тех пор, пока сила света не станет равной одной четверти прямого солнечного освещения. При дальнейшем усилении света ассимиляция увеличивается, но уже гораздо медленнее, чем возрастает напряжение света. Когда напряжение света достигает приблизительно половины напряжения прямого солнечного света, ассимиляция становится максимальной и больше уже не возрастает с усилением света.

Эта закономерность зависимости ассимиляции от количества света, повидимому, не нашла себе подтверждения в работах других исследователей. Разногласие может быть об'яснено или неточностью методики других исследователей, или тем, что они определяли влияние света на ассимиляцию лишь

при частичных изменениях силы света, а не на всем протяжении изменения силы света, от самых слабых напряжений и до прямого солнечного освещения. Ввиду этих кажущихся противоречий проф. Палладин, который в первых изданиях своего учебника физиологии растений приводил эти исследования К. А. Тимирязева, в последних изданиях своего широко распространенного учебника об них уже не упоминает. Эти исследования К. А. Тимирязева могли бы быть забыты даже русскими учеными, как большая часть его работ неизвестна немецким ученым, а отчасти и русским просто по той причине, что о них не говорят в широко распространенных немецких учебниках. Между тем в самых последних работах известного немецкого ученого Вильштетера мы находим подтверждение закономерности, установленной К. А. Тимирязевым, в определенной зависимости ассимиляции от силы света, но о работах К. А. Тимирязева по этому вопросу Вильштетер не упоминает. Это подтверждение тем более ценно, что опыты Вильштетера произведены при применении совершенно иных методов. В частности Вильштетер пользовался не солнечным светом, а светом полу-уаттной лампы в 3.000 свечей с рефлектором, что могло давать свет в полтора раза сильнее солнечного.

Закономерность зависимости ассимиляции от силы света К. А. Тимирязев сопоставляет с тем, что английский физиолог растений Герас Броун назвал экономическим коэффициентом ассимиляции. В процессе ассимиляции происходит накопление солнечной энергии. Из всей падающей на лист солнечной энергии, та доля, которая, превращаясь в полезную для растения работу, накопляется в листе в форме горючего органического вещества, именно и составляет экономический коэффициент этого процесса. Величину этого коэффициента определяли многие исследователи разными путями. По определениям К. А. Тимирязева эта величина в наиболее благоприятных для ассимиляции искусственных условиях достигает 3,3%, т.-е. из всей солнечной энергии, падающей на лист, лист может утилизировать и накопить в запас около трех сотых всего прямого солнечного света. При естественных условиях произрастания использование солнечной энергии растением происходит в еще меньшем количестве (0,1 до 1,5%). Отсюда мы видим, что растение, повидимому, является мало экономной машиной, так как утилизирует только небольшую часть всей получаемой энергии. Но растение—самая выгодная машина в хозяйстве человека потому, что она использует даровую силу солнечного света и сама себя строит и ремонтирует.

Одновременно с ассимиляцией лист на свету всегда испаряет воду. Световая энергия, поглощаемая хлорофиллом из всей энергии, падающей на лист, идет, с одной стороны, на ассимиляцию, с другой стороны, расходуется на испарение (тепло парообразования). Этот расход на испарение, неизбежный для растения, с точки зрения пользы для людей кажется непроизводительным.

На испарение затрачивается световой энергии больше, чем на ассимиляцию, а именно до 8,1 сотых всего прямого солнечного света. Итак, световая энергия, поглощаемая хлорофиллом в количестве 25%, т.-е. одной четверти солнечного света, одновременно на ассимиляцию и испарение, расходуется в количестве (3,3+8,1), равном 11.4 сотых. Становится понятным,

почему уже при половине (50 сотых) солнечного света ассимиляция начинает понижаться, хотя на ассимиляцию расходуется лишь небольшая доля (3%) солнечного света. При половине солнечного света хлорофилл, поглощая четвертую часть света, получает, следовательно, лишь 12,5 сотых энергии прямого солнечного света, тогда как на ассимиляцию и испарение одновременно расходует около 11,4 сотых; т.-е. при этих условиях на оба процесса начинает нехватать света. При слаблении света до одной четверти солнечного в растении скорее всего уменьшается испарение, ассимиляция же понижается незначительно, так как приход энергии превышает расход на ассимиляцию. Только тогда, когда при слабых напряжениях света, меньше одной четверти солнечного света, поглощаемой энергии начинает нехватать на ассимиляцию, она начинает быстро падать с ослаблением света (см. статью К. А. Тимирязева: «Космическая роль растения»).

Каково ближайшее значение хлорофилла в процессе усвоения света растением? К. А. Тимирязев был первым ботаником, который совершенно определенно указал, а в дальнейшем отчетливо раз'яснил, что хлорофилл имеет значение сенсибилизатора в фотохимической реакции, происходящей при ассимиляции.

Фотохимическими реакциями называют такие превращения вещества, которые протекают только на свету, напр., изменение солей серебра на свету в фотографической пластинке. Эти реакции протекают на счет энергии поглощаемого света. Эти реакции превращения вещества на свету часто могут быть значительно ускорены прибавлением еще какого-либо добавочного вещества, которое непосредственно для происходящей реакции не нужно. Эти добавочные вещества и называют сенсибилизаторами; они увеличивают чувствительность изменяющегося вещества к свету.

Сенсибилизаторы бывают двоякого рода—химические и оптические. Действие оптических сенсибилизаторов состоит в том, что они, поглощая световую энергию, передают ее реагирующему веществу. Вещество разлагается в присутствии сенсибилизатора не только от лучей, которые оно само поглощает, но и на счет энергии лучей, поглощаемых сенсибилизатором. Соли серебра в фотографической пластинке изменяются только на синем и ультрафиолетовом свету, так как только эти лучи поглощаются солями серебра. Но если к солям серебра прибавить какой-либо краски, поглощающей желтые и зеленые лучи, то такие пластинки (ортохромные) будут теперь изменяться не только от синих и ультрафиолетовых лучей, но и от желтых и зеленых.

Значение хлорофилла, как оптического сенсибилизатора, состоит в следующем. При ассимиляции углекислота подвергается разложению, кислород выделяется, углерод в хлорофилловых зернах усваивается вместе с элементами воды. Сама углекислота, как прозрачный газ, не поглощает видимых лучей. Было непонятно, как же она разлагается на счет энергии лучей, которых она не поглощает. Но после открытия действия сенсибилизаторов разложение ее на свету стало вполне ясным. Она разлагается на счет энергии лу-

чей, поглощаемых цветным телом—сенсибилизатором—хлорофиллом. Это было раз'яснено К. А. Тимирязевым в 1875 году.

Еще раньше, в своей первой основной работе, К. А. Тимирязев уже наметил и другое значение хлорофилла при разложении углекислоты: действие хлорофилла, как химического сенсибилизатора. Самый термин этот тогда не был еще установлен. Значение химических сенсибилизаторов сводится к поглощению продуктов реакции, отчего реакция и ускоряется. Например, раствор двухлористой ртути (сулемы) на свету заметно не разлагается, так как образующиеся при разложении однохлористая ртуть и атом хлора могут вновь соединиться вместе. Но если к раствору двухлористой ртути прибавить щавелевокислого амиака (сенсибилизатора), то на ярком солнечном свету раствор станет мутнеть, потом появится обильный осадок. Образующийся при фотохимической реакции атом хлора идет теперь на окисление щавелевокислой соли, а не на обратное соединение с однохлористой ртутью. Однохлористая ртуть (каломель), как нерастворимая соль, начинает выпадать.

Химический сенсибилизатор непосредственно участвует в фотохимическом процессе. Все это для хлорофилла и указал К. А. Тимирязев, в схематической форме, в своей работе: «Спектральный анализ хлорофилла». Он предположил, что одно из видоизменений хлорофилла вступает на свету как бы в обменное разложение с углекислотой; при этом выделяется кислород, а от присоединения воды продукт регенерируется (опять превращается) в исходное видоизменение хлорофилла. Восстановленная же часть углекислоты в соединении с водой дает при этом тело (муравьиный альдегид), на возможность образования которого в листе тогда только что указал известный химик Байер.

Таким образом хлорофилл действует одновременно как сенсибилизатор и оптический и химический; он не только передает поглощаемую световую энергию на разложение углекислоты, но и непосредственно участвует в реакции восстановления углекислоты.

К. А. Тимирязев, при своих раз'яснениях процесса усвоения света растением, проникает в глубину хлорофиллового зерна. Он отмечает, что разложение углекислоты вне растения требует очень больших напряжений энергии. При нагревании углекислота разлагается (диссоциирует), но лишь при температурах, измеряемых тысячами градусов. Конечно, о высокой температуре в листе говорить нельзя. Энергия луча в листе переходит прямо в химическую работу расщепления углекислоты. Как обнаруживают приблизительные подсчеты К. А. Тимирязева, световая энергия, концентрируясь на тонком слое зеленого пигмента в хлорофилловом зерне, может достигать таких напряжений, которые, будучи переведены на тепло, соответствуют температурам до 6.000°. С физической стороны, процесс использования световой энергии зеленым листом становится понятным.

Работы последних лет Ливерпульской лаборатории над фотохимическими превращениями под влиянием ультрафиолетовых лучей, особенно ра-

боты еще дальше подвигают нас в понимании деталей физической стороны ассимиляции. Эти работы сводят действие света к действию определенных лучей на самые молекулы углекислоты. Химические превращения, сопровождающиеся поглощением больших количеств энергии, как, напр., расщепление углекислоты на счет лучистой энергии, могут протекать легче, чем на счет энергии тепловой. Действие определенных лучей находится в соответствии с собственными движениями частиц, из которых слагается молекула. Под влиянием таких лучей (крайних ультрафиолетовых, длина волн которых равна 200 миллионным миллиметрам и которые невидимы для глаза) из углекислоты и воды легко образуется муравьиный альдегид, который дальше превращается в сахаристые вещества.

Ультрафиолетовые лучи не имеют значения в естественных условиях ассимиляции. Их почти нет в лучах, падающих непосредственно на листовую поверхность; а те, которые достигают листа, поглощаются первыми клеточными слоями, не доходя до хлорофилловых зерен; под их влиянием ткани сильно повреждаются. Ассимиляция протекает на счет лучей видимого света, который непосредственно разложения углекислоты не вызывает. Разложение углекислоты в листе на видимом свету, преимущественно под влиянием красных лучей, зависит от хлорофилла, действующего как сенсибилизатор. Сенсибилизатор действие красящих веществ в искусственной лабораторной обстановке на разложение углекислоты обнаружено в Ливерпульской лаборатории. Из углекислоты и воды синтезируется органическое вещество под влиянием видимого света, если к водному раствору углекислоты прибавить цветного вещества, поглощающего видимые лучи и передающего их энергию молекулам углекислоты, присоединены к этому цветному телу.

Детали химических превращений, которые претерпевает углекислота при ассимиляции, находятся еще в области предположений, хотя и вероятных. Из всех работ последнего времени в этом направлении особенно выдаются исследования известного химика Вильштетера. Нельзя допустить, чтобы из углекислоты и воды сразу возникали такие многоатомные соединения, как сахаристые вещества, а тем более крахмал. Реакции превращения в листе протекают очень быстро; крахмал можно обнаружить в хлорофилловых зернах через пять минут после освещения. Первым промежуточным продуктом ассимиляции должно быть какое-либо более простое соединение. Что таким простым соединением будет муравьиный альдегид, указал еще Байер в 1870 году. Муравьиный альдегид состоит из одного атома углерода и молекулы воды ($OH_2O$). Раз муравьиный альдегид образовался, из него легко могут возникать, путем уплотнения его молекулы, сахаристые вещества. Из 6 молекул муравьиного альдегида образуется сахар ($6CH_2H_{12}O_6$).

К сожалению, подтвердить на опыте это предположение пока не удается. Нельзя при ассимиляции обнаружить в листьях появления муравьиного альдегида; не удается, доставляя листьям муравьиный альдегид, заметить образования из него в затемненных листьях крахмала или других углеводов.

С другой стороны, предположение, что муравьиный альдегид возникает,

как один из первых промежуточных продуктов при ассимиляции не гипотетическое предположение, а единственная возможная теория. При ассимиляции количество выделяемого кислорода в точности соответствует количеству разложенной углекислоты, т.-е. выделяется весь кислород, заключающийся в углекислоте. Так как в реакции принимает участие еще вода, то остающийся от углекислоты углерод только и может дать единственно возможное соединение—муравьиный альдегид, который по мере возникновения сейчас же превращается в другие вещества.

Неизбежное образование муравьиного альдегида окончательно устраняет высказываемое иногда предположение о постепенном восстановлении углекислоты с образованием органических кислот, как промежуточных продуктов, при ассимиляции. К этому предположению склонялся между прочим Менделеев, в своих основах химии

Хлорофилл в хлорофилловых зернах находится в форме коллоидального раствора, т.-е. в виде мельчайших твердых частичек, на что имелись указания и раньше. Этим об'ясняется, например, полное отсутствие в хлорофилловых зернах флуоресценции, тогда как истинные растворы хлорофилла обычно служат самым распространенным примером тел флуоресцирующих, т.-е. таких тел, которые отражают падающий на них свет уже другого цвета; белый цвет отражается от раствора хлорофилла кроваво-красным.

В коллоидальных растворах хлорофилла Вильштетер мог обнаружить образование легко вновь разлагающегося соединения хлорофилла с углекислотой. Но это присоединение углекислоты к хлорофиллу протекает гораздо медленнее, чем поглощение углекислоты листом во время ассимиляции. Процесс разложения углекислоты при ассимиляции Вильштетер рисует в такой последовательности. Углекислота присоединяется к хлорофиллу. Образовавшееся соединение под влиянием энергии световых лучей претерпевает внутреннюю перегруппировку, т.-е. атомы, из которых составлено соединение хлорофилла с углекислотой, перемещаются внутри молекулы; на это перемещение затрачивается энергия поглощаемых лучей.

Возникшее перегруппированное соединение относится к перекисным соединениям, которые легко подвергаются распаду и превращению уже без притока энергии извне, подобно перекиси водорода. От этого перекисного соединения, при содействии ферментов, вероятно, в две ступени отщепляется кислород. Только после отщепления обоих атомов кислорода, когда углекислота, связанная с хлорофиллом, полностью раскислится до муравьиного альдегида, хлорофилл вновь восстанавливается и может соединяться с новой частицей углекислоты. В общем эта схема очень напоминает схему, намеченную К. А. Тимирязевым еще в 1871 году.

Часто высказывались предположения, не происходит ли при ассимиляции изменений в количестве или составе хлорофилла. Тщательные исследования Вильштетера показали, что ни количество, ни состав хлорофилла при ассимиляции не меняются. Нельзя также установить различий в интенсив-

ности ассимиляции в связи с различным количеством хлорофилла у разных растений. В общем листья, содержащие хлорофилла меньше, разлагают углекислоты на то же количество хлорофилла даже больше, чем листья с большим содержанием хлорофилла. Не удается получить разложения углекислоты с помощью хлорофилла, выделенного из листа. Все это приводит к убеждению, что в ассимиляции кроме хлорофилла имеет значение еще какой-то другой фактор.

Так как ассимиляция протекает в хлорофилловых зернах, в которых кроме хлорофилла есть еще бесцветная белковая основа зерен, то, вероятно, этим вторым фактором будет белковое вещество хлорофиллового зерна. Вильштетер приводит ряд косвенных подтверждений для этого предположения, особенно на основании опытов с пестролистными растениями (с белыми и желтыми листьями).

Кроме того, Вильштетер обнаруживает, что и бесцветная белковая основа листа может связывать углекислоту в форме нестойкого соединения. Вероятно, что к хлорофиллу присоединяется не прямо углекислота, а уже это соединение углекислоты с белковым веществом, которое и перегруппировывается на свету с последующим освобождением кислорода и отщеплением муравьиного альдегида, превращающегося по мере отщепления в сахаристые вещества.

На вопрос, будет ли когда-нибудь осуществлена ассимиляция вне растения, можно ответить, что теоретически разложение углекислоты с образованием органического вещества на счет лучистой энергии—вопрос, как мы видели, уже решенный. Другое дело, как это можно использовать на практике. Вероятнее, что солнечная энергия скорее всего будет применена на движение машин, на орошение пустынь. Это позволит значительно увеличить посевную площадь, повысить урожайность. Источником же органического питания для человека останется зеленое растение.

Процесс ассимиляции, происходящий в растении, всегда будет привлекать внимание благодаря своим важным практическим последствиям—увеличивать количество питательных веществ, а через это и благосостояние человечества. Еще больше этот процесс будет направлять пытливый ум на решение существеннейшей задачи о превращении одной формы энергии в другую—энергии светового луча в химическую энергию образовавшегося органического вещества.

Еще в 1886 г. К. А. Тимирязев, приступавший в своей первой работе к изучению процесса ассимиляции, наметил с отчетливой ясностью задачу во всей ее широте в следующих выражениях:

«Изучить химическое и физическое условия этого явления, определить составные части солнечного луча, участвующие посредственно или непосредственно в этом процессе, проследить их участь в растении до их уничтожения, т.-е. до их превращения во внутреннюю работу, определить соотношение между действующей силой и произведенной работой—вот та светлая,

хотя, может быть, отдаленная задача, к осуществлению которой должны быть направлены все силы ботаников».

Как мы видели, К. А. Тимирязев собственными 35-летними научными исследованиями с выдающейся прозорливостью много содействовал выяснению намеченных вопросов.

За последние годы жизни тяжкий недуг лишил его возможности вести экспериментальную работу в лаборатории. Но светлый ум его продолжал раз'яснять ряд самых сложных, общих вопросов жизни.

# Гельмгольтц и современная физика.

**А. Тимирязев.**

***Речь, произнесенная на годичном собрании Московского Физического Общества имени П. Н. Лебедева 6 июня 1922 года.***

Все чаще и чаще приходится слышать, что современная наука переживает тяжелый кризис, что все ее великие завоевания, все, достигнутые с таким трудом, успехи, которыми так недавно еще гордилось человечество, оказались несостоятельными, не выдержали сокрушающего напора новых течений, называемых часто «великой научной революцией» наших дней.

Если действительно вся *старая* наука отошла в область прошлого, уступив место новым более могучим течениям мысли, то какой смысл нам вспоминать сегодня о великом ученом, родившемся сто лет тому назад? И однако весь ученый мир, не исключая тех, кто прокладывают теперь новые пути в науке, вспомнили день 31 августа 1921 года—вспомнили, что в этот день сто лет тому назад в маленьком городке Потсдаме родился болезненный, слабый ребенок, которому суждено было во второй половине XIX столетия стать, выражаясь словами поэта, «властителем дум» всего ученого мира.

Что заставило ученых нового поколения—революционеров в науке—вспомнить об одном из творцов старой науки, отошедшем в глубокое прошлое?

Этот вопрос может стать только перед теми, кто совершенно не представляет себе развития научной мысли, кто не понимает, что такое революция вообще и что такое революция в науке. Многим и до сих пор представляется, что наука двигается вперед хаотически от одного неожиданного открытия к другому, внезапно изменяющему в корне все взгляды ученых и сводящему на-нет все достигнутое с таким трудом в предшествующие годы. Каждое новое открытие в науке с этой точки зрения истолковывается как революция, на которую как в науке, так и в сфере общественной жизни многие и до сих пор смотрят, как на нечто неожиданное, исключительное, идущее в разрез с закономерным развитием явлений, а не как на явление, при всей его новизне и внезапности непрерывно подготовлявшееся всем прошлым и тысячами нитей связанного с этим прошлым. Так же точно слагаются и возникают новые научные течения. Как бы они нам ни казались неожиданными, как бы они ни казались противоречащими науке вчерашнего

дня, они глубоко с ней связаны, они непосредственно из нее вытекают. Тем более, что ведь каждое новое открытие в конце концов только и сводится к тому, что приближает нас к более полной и точной картине окружающего нас мира.

Вот с этой точки зрения и позвольте мне напомнить вам, что именно из великих исследований Гельмгольтца вошло, можно сказать, в плоть и кровь современной науки, не исключая и новейших ее течений, и чем непрерывно пользуется современный ученый в своей работе, забывая часто, что он пользуется тем, что впервые было отчетливо высказано великим германским мыслителем.

Обратимся к самым новым течениям нашей науки, отмечая, конечно, при этом только наиболее существенное. С точки зрения специалиста на первом месте стоит наиболее революционная из когда-либо появлявшихся на свет физических теорий—так наз. «теория квант». О ней за пределами узкого круга специалистов знают очень мало, несмотря на то, что она уже и сейчас играет огромную роль в современной физике и ее значение растет, можно сказать, с каждым днем. На втором месте идет принцип относительности—о нем говорят очень много—понимают его гораздо меньше, и во всяком случае влияние этого нового модного учения, на ход развития науки неизмеримо меньше, чем то, которое оказано по сей день теорией квант, позволившей связать между собой самым неожиданным для нас образом самые разнообразные факты—целые области науки, казалось, не имевшие между собой ничего общего.

Наконец, идет блестящая цепь исследований по строению вещества—строению атома. Это последнее течение современной физики наиболее близко к ее более или менее далекому прошлому. Здесь революционный характер сказался в том, что самое представление о прерывном зернистом строении вещества из области гипотезы, высказывавшейся учеными XIX столетия не без некоторых оговорок и опасений—страха ради философского,—перешло в область прочно обоснованных фактов. Мы теперь несколькими независимыми друг от друга способами,—а теперь их более десятка,—измеряем на опыте число атомов в любом теле, и своими глазами можем наблюдать действие каждого отдельного атома. Можно даже наблюдать вздрагивание листочка электрометра, вызываемое малой частью атома—одним электроном! Правда, среди образованных людей нашего времени встречаются и такие, которые утверждают, будто бы открытие частей атомов—электронов опровергло атомную теорию, так как слово атом значит не разделимый на части,—неделимый. Это недоразумение—неизбежное следствие анти-научной привычки за словом не видеть и не понимать, что это слово изображает,—привычки, унаследованной людьми нашего поколения из недоброй памяти классической гимназии, которая, будем надеяться, окончательно отошла уже в вечность!

Вот те основные течения научной мысли, которые, тесно переплетаясь между собой, направляют текущую деятельность современного физика.

Рассмотрим последовательно, какое отношение имели работы Гельмгольтца к этим трем новым течениям научной мысли. Начнем с теории квант.

Одним из наиболее блестящих успехов этой теории является модель излучающего спектральные линии атома водорода,—модель, детально разработанная датским физиком Нильсом Бором в 1913 году. По этой схеме вокруг ядра атома водорода, заряженного положительным электричеством, вращается единственный в этом атоме электрон, который может вращаться по одной из так наз. *устойчивых* орбит. Теоретически основываясь на механике Ньютона, можно вообразить себе бесчисленное множество круговых орбит в зависимости от величины скорости, какой обладает электрон. Однако Бор полагает, что электрон может двигаться только по некоторым орбитам, которые он выделяет как устойчивые.

В принятой теперь форме, условие устойчивости орбиты электрона, предложенное впервые Бором, выражается следующим образом: «Интеграл действия для любой устойчивой орбиты электрона должен равняться целому кратному некоторой постоянной величины $h$, называемой элементом или квантом действия». Эти слова, во всяком случае мало привычные для неспециалиста, явились весьма неожиданными даже для того, кто много работал над этой областью физики. Правда, мы—специалисты—знаем, что «интеграл действия» в данном случае будет произведение массы электрона $m$ на его скорость по орбите $V$ и на длину замкнутой круговой орбиты $2\pi a$ (где $a$—радиус орбиты). Правда, мы хорошо знаем, что эта величина $2\pi a.mV$ играет большую роль в теоретической механике в так наз. «принципе наименьшего действия», но почему это произведение для устойчивой орбиты должно равняться целому числу некоторой величины $h$, называемой «квантом действия» или постоянной Планка—этого до сих пор не знает ни сам Бор, ни кто другой из живущих сейчас физиков!

И однако это весьма смелое допущение оказалось и весьма плодотворным. Но вот на что я хочу обратить ваше внимание: это нам пока еще непонятное положение в теории Бора во всяком случае стоит в тесной связи с началом наименьшего действия, на котором строится вся классическая механика и которое Гельмгольтц в последние годы своей жизни распространял на самые разнообразные физические явления. Он сам придавал своим работам в этой области очень большое значение. Вот, что он писал об этом принципе: «Во всяком случае, общность принципа кажется мне настолько обеспеченной, что он получает высокую оценку в качестве эвристического начала и путеводной нити при попытках формулировать законы новых классов явлений».

Я должен оговориться,—я крайне далек от мысли, что Гельмгольтц мог предвидеть современную теорию квант, но я подчеркиваю, что методы, которыми он пользовался для отыскивания законов в еще мало исследованных областях—правда, в несколько измененном виде—с успехом прилагаются к решению новых задач, поражающих даже современного ученого своей неожиданностью и смелостью. И не любопытно ли, что когда делаются попытки подойти к выяснению физического смысла непонятных нам еще уравнений

теории квант, то всегда как-то приходят к началу наименьшего действия. Это можно видеть в работах Зоммерфельда и нашего сочлена С. А. Богуславского. Но вернемся к теории Бора. Ему удалось, как мы видели, указать, как надо отыскивать устойчивые орбиты электрона,—что же дальше?

Дальше можно подсчитать величину энергии, которую будет иметь электрон, когда он находится на той или другой из своих устойчивых орбит. Эта энергия, оказывается, будет всего больше на отдаленных орбитах и она будет минимальной на самой близкой к ядру орбите. Вслед за тем Бор делает еще более непонятное допущение или вернее ряд допущений. Пока электрон движется по той или другой устойчивой орбите,—он не излучает энергии, хотя по всем данным учения об электромагнитных явлениях он должен бы излучать! Но зато он может от неизвестных пока еще нам причин перескакивать с одной устойчивой орбиты на другую. И вот во время перескакивания с более удаленной от ядра орбиты на более близкую, электрон излучает энергию в форме вереницы волн, частота которых определяется очень простым, но непонятным уравнением: $Aa - Ac = h\nu$... (2). Здесь $Aa$ энергия электрона на той орбите, где он первоначально двигался, $Ac$ энергия его же на той орбите, куда он перескочил, $\nu$—частота колебаний полученных волн лучистой энергии, и наконец $h$ та же самая, что и раньше, постоянная Планка или «квант действия» [1]). И что же оказалось? Если мы подсчитаем всевозможные перескакивания электрона, принимая в расчет все вычисленные по Бору устойчивые орбиты, то мы получаем не только с изумительной точностью положения в спектре всех линий водорода, но этим путем были предсказаны новые серии линий того же водорода, который он дает при исключительных условиях свечения. Этот успех, превзошедший все ожидания, заставил смолкнуть голоса скептиков, указывавших на те рискованные допущения, какие пришлось сделать Бору... Победителей не судят!

Но обратимся к только что указанному уравнению (2), которое лежит в основе теории Бора и физический смысл которого нам еще не ясен. Ведь по форме это—простое уравнение закона сохранения энергии, навеки связанное с именем Гельмгольтца; излученная энергия равна разности энергии излучающего электрона до излучения и после.

Вы видите, что эта, быть может, самая смелая революционная мысль, какая когда-либо высказывалась в нашей науке, облечена в скромную форму уравнения энергии! Но ведь и когда Гельмгольтц написал впервые уравнение энергии в применении к простейшим случаям, то оно показалось настолько революционным, что редактор Annalen der Physik Поггендорф отказался принять статью Гельмгольтца с изложением учения о сохранении энергии. Эта статья была напечатана отдельным изданием только благодаря содействию друзей Гельмгольтца, убедивших издателя Реймера, что брошюра разойдется, так как она имеет большое научное значение.

[1]) На более отдаленную от ядра орбиту электрон может быть переведен напором электромагнитных волн, идущих извне, или механически—толчком налетевшего на него внешнего электрона или атома; при этом процессе энергия поглощается: атом „заводится" подобно тому, как мы заводим часы.

Повторяю, было бы смешно говорить, что даже в последние годы жизни Гельмгольтца могла итти речь о теории квант; но для нас важно, что эта новая революционная мысль слагается из элементов, в числе которых некоторые были уже заложены Гельмгольтцем.

Переходя теперь к вопросам, связанным с принципом относительности, мы встретимся с еще более удивительной связью этого столь модного в наши дни течения с работами Гельмгольтца. Если мы примем этот принцип, то для того, чтобы не разойтись с фактами, мы должны будем допустить, что во всякой движущейся системе в направлении движения все тела должны сократиться с точки зрения наблюдателя, не принимающего участия в данном движении, так же точно, как и все часы должны в ней замедлить свой ход с точки зрения не участвующего в этом движении наблюдателя. Наблюдатель, участвующий в движение данной системы, ничего этого не заметит, так как *все* часы, находящиеся при нем, изменят свой ход и *все* без исключения масштабы сократятся в том же самом отношении, как и все находящиеся в данной системе тела. В связи с этим вопросом крайне интересно отметить, что Гельмгольтц с необыкновенной четкостью указал, что в основе всех наших доказательств, казалось бы чисто геометрического характера, пользующихся наложением и совмещением (когда мы, например, при доказательстве поворачиваем и накладываем друг на друга треугольники), лежит физическое допущение. Допущение, что наши фигуры твердые — неизменяемые. Эта физическая сторона геометрических доказательств с изумительной ясностью была сформулирована Гельмгольтцем в следующих словах: «Все наши геометрические измерения покоятся на допущении, что измерительные инструменты, предполагаемые нами твердыми, представляют собой действительно тела неизменной формы или, по крайней мере, что эти тела не подвержены никаким другим изменениям формы, кроме обусловленных изменением температуры или растяжением, вызванным силой тяжести вследствие переменившегося положения. Когда мы что-нибудь измеряем, то мы производим с помощью лучших и надежнейших из известных нам вспомогательных средств в сущности то же самое, что обычно делаем при помощи наблюдения, на глазомер или при помощи отмеривания расстояния шагами. В этом последнем случае наше собственное тело с его органами и представляет собой измерительный инструмент, который мы переносим с одного места пространства в другое. То наша рука, то ноги выполняют роль циркуля, то поворачивающимся во все стороны глазом мы пользуемся как теодолитом, которым мы измеряем длину дуги или величину углов, находящихся в нашем поле зрения». «Любая сравнительная оценка или измерение пространственных отношений основывается на предположении о физическом состоянии известного класса находящихся в природе тел, будут ли это части нашего собственного тела или применяемых нами измерительных инструментов. Предположение, хотя и имеющее высшую степень вероятности и вполне согласное со всеми нам известными физическими явлениями, но во всяком случае выходящее из области чисто пространственных представлений». Таким образом, в этом вопросе Гельмгольтц

ставит геометрию в зависимости от физики. Принцип относительности отказывается до известной степени от этого предположения о неизменном твердом теле, которое Гельмгольтц считает в высокой мере вероятным.

В направлении движения по теории относительности все тела сокращаются, хотя заметить этого мы не можем, раз мы принимаем участие в этом движении. Таким образом, все остается в движущейся системе по старому. Во всяком случае совершенно ясно, на какой бы из двух указанных точек зрения мы ни стояли, — в основе геометрических рассуждений у нас лежат определенные физические представления о телах, с которыми нам приходится иметь дело и которые мы извлекаем из нашего ежедневного опыта. Эта мысль с особенной ясностью выражена в замечательной статье Гельмгольтца «О происхождении и значении геометрических аксиом», откуда и была взята только что приведенная выдержка и которая и до сих пор может служить прекрасным введением к изучению современной теории относительности, хотя в те времена, когда была написана эта статья, никто ни о каком принципе относительности в современном значении этого слова и не думал.

Если в только что затронутых нами новых областях нашей науки нетрудно указать на связь этих новых течений с трудами Гельмгольтца, то в учении о строении вещества Гельмгольтц оказался прямо таки пророком. В лекции «О новом развитии взглядов Фарадея на электричество», прочитанной в 1881 году в Лондонском химическом обществе, он предсказывает, что принятие атомной теории вещества нас должно неизбежно привести к атомной теории электричества или, как мы бы теперь сказали, к теории электронов. Вот эти поистине замечательные строки: «В настоящее время мы не знаем ни одной достаточно ясной и разработанной теории, которая была бы в состоянии так просто и так последовательно об'яснять наблюдаемые факты в химии, как это делает атомистическая теория в новейшей химии. Перенесенная же на почву электрических явлений, эта гипотеза в соединении с законом Фарадея приводит к несколько неожиданному результату. Если мы допустим существование атомов химических элементов, то мы не можем избежать дальнейшего вывода: *электричество, как положительное, так и отрицательное, разделяется на определенные элементарные количества, которые играют роль атомов электричества*» (курсив наш). Эта смелая мысль оказалась необычайно плодотворной. Установление тесной связи между электричеством и материей, уменье расщеплять электрически нейтральный атом на заряженные противоположным электричеством части, позволило современным физикам глубоко проникнуть в строение вещества,— настолько усовершенствовать приемы исследования молекул и атомов, что самая атомистическая теория перешла из области гипотез в область прочно установленных фактов. Крукс в своем спинтарископе, так же как и Рутерфорд в своих более усовершенствованных приборах, заставляют заряженные атомы и осколки атомов производить видимые глазу вспышки на флуоресцирующем экране и в буквальном смысле дают возможность считать отдельные атомы по пальцам, и это оказалось возможным только потому, что

все части атома связаны с определенными электрическими зарядами, как это предсказывал Гельмгольтц. При отщеплении от атома малейшей его части как эта отколотая часть, так и остаток оказываются электрически заряженными, и благодаря этому их можно заставить быстро двигаться—им можно сообщить столь значительный запас энергии, что каждый из них может производить действия, заметные глазу. Это явление происходит в естественном электрическом поле атома—как радиоактивного, так и тех атомов, которые в последнее время Рутерфорду удалось разложить. Таким образом, получается крайне любопытный результат, для мало знакомых с наукой звучащий парадоксом: *только тогда, когда нам удалось раздробить атом* (что, по мнению поверхностных популяризаторов и философов идеалистов, равносильно крушению атомной теории), ***мы смогли доказать, что атом—не фикция, не только удобный способ выражения или «форма описания», но и такая же реальность, независимая от нашего сознания, как и любой предмет, который мы видим и ощущаем.***

До сих пор в нашем изложении мы отправлялись от какого-либо из современных течений нашей науки, и в истоках этих течений, в самом их начале, находили гениальные труды Гельмгольтца, правда, в виде первых проблесков, в виде зачатков, из которых следующее поколение ученых возвело величественные здания. Попробуем пойти теперь иным путем, возьмем какую-нибудь область, над которой Гельмгольтц много поработал и к которой он не раз в течение своей жизни возвращался, и посмотрим, сохранили ли эти работы свое значение в наше время, пользуется ли ими современный исследователь в своей текущей работе?

В 1858 году и ровно через 10 лет в 1868 появились две небольшого об'ема работы, из которых первая носила заглавие: «Об интегралах уравнений гидродинамики, изображающих вихревые движения», и вторая: «О прерывном движении жидкостей». Эти две работы, особенно вторая, позволяют причислить Гельмгольтца к ряду величайших математиков, когда-либо существовавших, и это несмотря на то, что он был в математике диллетантом—самоучкой, так как не имел никакого диплома, да и неизвестно, прослушал ли он хотя одну лекцию по математике! Позвольте привести вам единственное указание из его хорошо сохранившейся переписки о том, что он самостоятельно все-таки изучал математику.

В студенческие годы, в медицинской академии ему очень тяжело давалась анатомия; в письмах к отцу и матери он горько на это жалуется. В одном из писем при этих обычных жалобах стоит маленькая приписка: «Когда у меня от занятий анатомией начинает болеть голова, я сажусь играть какую-либо из сонат Моцарта или Бетховена или берусь за интегральное исчисление». Это единственное место в его биографии, откуда мы узнаем, что он хотя и самоучкой, но все-таки занимался математикой. Глубокие теоретические исследования, о которых мы только что упомянули, не ограничивались, однако, одними лишь математическими решениями. Гельмгольтц не принадлежал к числу тех, кто ограничивался теорией, оставляя заботы о ее применении другим. Теория была для него средством понять то,

что происходит вокруг него в природе. В частности эти работы по гидродинамике им были блестящим образом применены к истолкованию явлений, протекающих в атмосфере.

Свою речь о грозах и бурях, сопровождающихся вихревыми движениями в атмосфере, он начинает шутливыми стихами Гёте, имеющими почти тот же смысл, что и наша русская поговорка: «Либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет!».

Es regnet, wenn es regnen will
Und regnet seinen Lauf
Und wenn's genug geregnet hat,
So hört es wieder auf.

Этими словами Гельмгольтц хотел показать беспомощное положение ученого во всех вопросах, связанных с предсказанием погоды,—не забудем—это было время, когда еще не была организована в обще-европейском масштабе регулярная ежедневная телеграфная сводка о состоянии погоды. В дальнейшем он указывает на ряд закономерностей в движении циклонов и бурь, на влияние вращения земли на движение атмосферного вихря,—словом, делает одну из первых попыток найти закономерности в кажущемся нам хаосе. Он определенно подчеркивает, что хаотичность метеорологический явлений об'ясняется их сложностью и нашим неумением анализировать их. Для того, кто в будущем изучит их, говорит Гельмгольтц, они будут казаться столь же гармоничными и закономерными, как для нас движения небесных светил.

На склоне своих дней он снова возвращается к своей работе о прерывном движении жидкостей и применяет ее к случаю скользящих друг относительно друга двух слоев атмосферы. Это явление часто наблюдается, когда более высокие слои воздуха движутся быстрее, чем прилежащие к земной поверхности. На границе раздела, как показал Гельмгольтц, должны появляться волны, которые мы замечаем в виде слоистых облаков. Когда направление движения быстро изменяется, то на образовавшуюся систему волн накладывается другая, и тогда слоистые облака разделяются еще и по какому-либо другому направлению, вследствие чего получается ряд маленьких облачков, расположенных как бы в шахматном порядке—эти облака в обыденной речи носят название «барашков».

Измерения скорости ветра и расстояний между отдельными грядами слоистых облаков, выполненные воздухоплавателями, подтвердили с количественной стороны выводы математической теории Гельмгольтца.

Но все это было давно—еще при жизни Гельмгольтца...

Перенесемся теперь сразу в 1920 год.

Биеркнессу и целому ряду его сотрудников удалось установить, что в средних широтах северного полушария—в Европе, Азии и Америке—проходит граница, отделяющая холодный воздух, медленно спускающийся с северного полюса, и теплый, распространяющийся от тропика. Установить эту границу удалось по весьма значительному скачку температуры. Разница

между холодным и теплым, соприкасающимся слоем доходит до значительного числа градусов. Когда эта граница перемещается через данное место земной поверхности, то происходит резкое изменение температуры в течение нескольких часов. При достаточно густой сети метеорологических станций можно отыскать эту границу и потом изо дня в день за ней следить. Граница эта все время медленно изгибается—по ней двигаются волны; иногда в ней происходят прорывы, и тогда или значительная масса теплого воздуха начинает двигаться к северу или значительная область холодного полярного воздуха движется к югу. По границе раздела, представляющей собой два скользящих друг вдоль друга слоя, слой теплого воздуха движется быстрее в сторону вращения земли, так как он сохраняет скорость более быстро движущихся частей земной поверхности, прилежащих к экватору—движутся атмосферные вихри, так наз. циклоны, которые определяют собой погоду [1]). Точное установление границы скользящих слоев теплого и холодного воздуха, изучение движения циклонов, движущихся вдоль этой границы, позволит в значительной степени усовершенствовать дело предсказания погоды. Это несомненно один из крупнейших успехов современной метеорологии, и вы видите, что все это вместе представляет не более, как весьма удачное применение двух теоретических работ Гельмгольтца, опубликованных более полустолетия тому назад!

С чисто математической стороны метод, данный Гельмгольтцем в статье о прерывном движении жидкостей, был подробно разработан Кирхгофом и еще дальше развит у нас в России покойным проф. Н. Е. Жуковским. Таким образом, и эта страница, выхваченная почти наудачу из великих исследований Гельмгольтца, оказывается тесно связанной с новейшими исследованиями в области физики и ее приложений. Великие люди умели так работать, что почти каждая их работа может быть развита в целые широкие области и потому не может скоро устареть!

Мы заглянули, повторяю, только на одну страницу, а сколько можно было бы их указать в огромном наследстве, оставленном Гельмгольтцем современной науке...

С именем этого великого мыслителя у нас как-то неразрывно связывается представление о величавой фигуре, поражающей своим олимпийским спокойствием [2]), такое по крайней мере впечатление выносили те, кому довелось с ним встречаться, таким его изобразили художники.

---

[1]) Связь между прерывным движением двух скользящих друг по другу слоев и вихревым движением в пограничном слое можно наглядно себе представить, зажав карандаш между ладонями сложенных рук. Если мы заставим скользить одну ладонь вдоль другой, то карандаш начнет вращаться: он будет совершать такое же движение, как прямолинейный вихрь или смерч.

[2]) Даже самому поверхностному наблюдателю бросалась в глаза величавая спокойная внешность Гельмгольтца. Так, например, Вильгельм I, не отличавшийся вообще большим умом, всегда сам следил, чтобы на торжества, происходившие в его дворце, непременно был приглашен Гельмгольтц, хотя он сам с ним очень редко беседовал. Когда его кто-то из придворных спросил, почему ему так всегда хочется видеть Гельмгольтца—он

Как-то трудно представить себе этого мыслителя, ведущего ожесточенную борьбу. А между тем первая половина его жизни прошла в самой упорной борьбе, протекавшей даже в пределах его—в общем очень дружной—семьи. Его отец, поклонник и друг философа Фихте, слышать не хотел об одной из первых научных работ сына, в которой он изучал скорость распространения нервного возбуждения: он не мог допустить мысли, что к изучению жизненных явлений можно применять грубые физико-химические методы. Была целая полоса в его жизни, когда между отцом и сыном был заключен договор: не говорить о науке, чтобы не нарушать спокойствия в доме.

Как трудно было бороться с этими анти-научными философскими течениями—показывают письма, в которых Гельмгольтц рассказывает, с каким трудом далась ему формулировка закона сохранения энергии—закона «сохранения силы», как он тогда его называл. «Я переделывал все сызнова»,—писал он,—несколько раз, пока, наконец, не решился «выбросить за борт все, что хоть сколько-нибудь пахло философией». Зато, действительно, эта маленькая книжка и до наших дней сохранила не только все свое значение, какое она имела тогда—в 1847 году, но и какую-то удивительную свежесть, заставляющую думать, что она написана только вчера...

Нам теперь нелегко себе даже представить, с каким трудом в те годы пробивалась научная мысль, особенно в области биологии и медицины, где Гельмгольтцу, уже вполне сложившемуся физику, пришлось работать в первые годы своей научной деятельности. С кафедры ему приходилось слышать увещания старых профессоров: ни под каким видом не прибегать к безрассудным новшествам, вроде вводившихся тогда с большим трудом, в наше время ставших обычными, медицинских приемов аускультации и перкуссии (выслушивания и выстукивания). Старое поколение врачей считало это недостаточными приемами, оскорбляющими пациента, которого приравнивают машине или даже разбитому горшку, и постукиванием хотят узнать, треснул он или нет! Так велико было тогда расслабляющее влияние витализма, тормозившего живую научную мысль.

Уже будучи профессором в Кёнигсберге, когда он налаживал демонстрации, впервые вообще показывавшиеся на лекциях, он должен был выслушивать от старших своих коллег нравоучения и упреки в том, что он слишком много уделяет времени *низшей* опытной части физиологии, что мог бы с успехом делать его ассистент, а что непосредственная задача профессора физиологии: развивать ее *высшую—философскую* часть!

Несмотря на решительное противодействие этим анти-научным поползновениям, во многих публичных лекциях, особенно касающихся физиологии глаза, а также в предисловии к великолепному курсу теоретической физики можно найти места, где, выражаясь словами самого Гельмгольтца,

---

ответил: „Я очень его люблю, он такой спокойный человек"(!) (Er ist so ein ruhiger Mensch) (см. автобиография И. М. Сеченова изд. „Научное Слово").

«не все, пахнущее философией, выкинуто за борт». Вот именно эти неоконченные, неотделанные места восхваляются современными философами, которые не видят или скорее не хотят видеть, что именно здесь его мысли и слова идут в разрез с его действительно бессмертными исследованиями. Но, зная, в каких условиях ему приходилось жить и работать, никто, конечно, ему в вину этого не поставит, тем более, что когда он говорит и мыслит под влиянием своих собственных работ, когда в его мысли не врываются всякие чуждые науки, философские соображения его друзей и врагов, его речь полна такого здорового материализма, и притом выражен он так красноречиво, как, пожалуй, ни у одного из великих естествоиспытателей,—это видно, например, в следующих строках его знаменитой речи «О целях и задачах естествознания»: «Кто не удивлялся верности и точности тех сведений об окружающем нас мире, какие доставляются нам нашими органами чувств и в первую очередь нашим глазом, проникающим в даль. Эти сведения являются предпосылками принимаемых нами решений и выполняемых нами действий. Только в том случае, если наши чувства дают нам правильные восприятия, можем мы ожидать, что наши поступки будут правильными в том смысле, что результат будет соответствовать нашим ожиданиям. При помощи этого полученного нами результата доказываем мы каждый раз вновь и вновь верность тех сведений, какие доставляются нам нашими органами чувств; и миллионы раз повторяющийся опыт учит нас тому, что достоверность этих сведений очень велика, почти что исключительная. По крайней мере исключения, так называемые обманы чувств, очень редки, и вызываются совершенно особенными и необычными условиями.

Всякий раз, когда мы вытягиваем руку, чтобы взять что-нибудь, или выставляем ногу, чтобы наступить на какой-либо предмет, мы должны предварительно уже иметь правильное изображение и верное представление о положении предмета, к которому мы собираемся прикоснуться, его форму, расстояние от нас и т. д., так как иначе мы промахнемся или оступимся. Достоверность и точность наших восприятий по меньшей мере должна быть такова же, как и уверенность и точность, проявляемая нами в наших действиях при хорошем предварительном упражнении; и уверенность в том, что на наши чувства мы можем полагаться, поэтому вовсе не является для нас какой-то слепой верой, но в силу своей практической достоверности, подкрепляемая бесчисленными опытами, становится все более и более обоснованной и доказанной». В этих строках удивительно ясно изложена теория познания материализма, являющаяся и теорией познания всякого исследователя, который, правда, очень часто не отдает себе в том отчета.

Итак, с какой бы стороны мы ни подходили к тем великим трудам, какие остались нам от Гельмгольтца, мы видим, что они почти полностью вошли в плоть и кровь современной науки.

Говоря о задачах ученого и о связи его работ с работами предшественников и работами грядущих поколений, Гельмгольтц любил пользоваться следующим сравнением: «В кассах наборщика,—говорил он,—свалена вся

мудрость мира—все, что уже открыто и что может быть открыто когда-либо: надо только суметь подобрать буквы!».

Применяя эту мысль к самому ее высказавшему, не вправе ли мы сказать, что он не только сам набрал несколько удивительных книг, в которых с поразительной верностью изображен окружающий нас мир, но в этих же книгах он дал тысячи указаний на то, как надо подбирать буквы, чтобы выходили хорошие книги!

# Внутри Советской России

## В глубине.

**А. Яковлев.**

(Очерки).

### Деревня под Москвой.

**От Москвы двадцать верст по грунтовой дороге, семь—от станции железной дороги. Общение с Москвой самое тесное: все там бывают. Часто к нашей избе приходит трехлетний мальчуган Васька.**

**— Вася, ты был в Москве?**

Васька важно оттопыривает губу.

— Бы-ыл. Там крендели пекут.

— А еще что там есть?

— Еще там картузы есть. Мне мамка скоро картуз купит.

В три часа утра, каждый день, толпа девок и баб с тяжелыми кувшинами, упрятанными в мешки, отправляются в Москву с молоком,—они переезжают на пароме реку и семь верст стегают лесами и полями до ближней станции. Возвращаются к одиннадцати, к двенадцати—с пустыми кувшинами и со свертками—покупками. Усталые, чуть разморенные, всегда довольные, они идут, весело переговариваясь. Это здоровый крепкий народ. Какие плечи, какие груди, какие ноги! Туда, к Москве, каждая несет обычно тридцать кружек молока,—тяжесть приблизительно в 1½ пуда. Вероятно, эти ежедневные семь верст и ежедневные полтора пуда укрепляют их. Ну-ка вы, городские, попробуйте!..

И вообще в деревне народ крепкий, ребятишки и девчонки выглядят этакими кругляшами, крепкомордые, краснощекие. И мужчины—те, что постоянно сидят в деревне,—рослы и крепки. Но таких немного: большинство мужчин околачивается в Москве на заработках. Деревенские говорят:

— У нас своих болезней нет. У нас все живут до восьмидесяти. Нешто из Москвы кто больной приедет, ну, помрет раньше. А то живем долго.

Да, в этой деревне жить можно долго. Сосновые леса кругом, поля, здоровая местность почти без единого болота и без единого комара, чистая река, из которой деревня берет воду для питья. Все пригорки и бугры заросли густой травой и кажутся мягкими зелеными застывшими волнами.

В лугах полно цветов, и пчелы весь солнечный день поют над ними обедню, а в небе тысячи жаворонков, над рекой чайки и коршуны, на полях грачи. Вечернее солнце уходит за дальний лес, и в селе Знаменском—за восемь верст—слыхать, как звонят к вечерне. Утрами же над рекой клубится белый туман, а солнце встает из другого тоже дальнего леса, и роса на траве засветится серебром. Крикнут гуси на реке... Да, здесь жить надо долго.

Деревня просыпается очень рано. Только разгорится заря и красноватым светом обольет лес и луга,—пастух уже трубит на солдатской трубе. Труба—это прогресс. Вот, помню, три года назад у пастуха была берестяная свистулька, с такими печальными переливистыми звуками. Правда, она как-то больше подходила к этим мягким лугам, к лесу, реке. А теперь солдатская труба с двуглавым орлом.

— Тра-та-та. Тра-та-та-та.

И в утренней тишине слыхать: заскрипят ворота, заговорят в разных местах тонкие бабьи голоса:

— А-а, стой, дьявол. Буренка, буренка, стой... Федосья, проснулась ты, што-оль?

Это бабы доят коров, будят одна другую. Через десять минут деревенская улица запестреет мычащими коровами, блеющими овцами, перекликающимися бабами. Пастух опять заиграл на трубе, хлопнул трижды кнутом, погнал коров в поле. Ревущее стадо уходит за околицу, вдоль реки, к лесу.

Толпы гусей с гортанным важным гоготаньем идут к реке, переваливаются, как князья.

Только что проснувшиеся девки выходят на крыльцо, потягиваются,— мать уже приготовила кувшин, итти надо в Москву с молоком. Идут к парому парами, тройками, редко по одной; путь до Москвы далекий, тягостно его промолчать, а тут с подружкой обо все посудачишь. По туманной реке долго несутся громкие девичьи голоса.

Не ушли еще все они, на улице уже появляются деревенские киты—мужики. Один в телеге куда-то лениво едет, другой с плугом, третий ведет лошадь—на окраину, на приколе пустит ее на луг пастись. В поле и в огороде запестрел народ. Ребятишки уже схватились в лапту и в бабки. Двое-трое бегут с удочками к реке. Рыбак—Петр Михалыч—прошел с багром,—идет проверять вентеря, не попало ли что за ночь.

А рано еще—и пяти часов нет.

Работа, как и вся жизнь, идет неторопливо, ритмично, в шаг с природой. Лето целое можно прожить,—не увидишь бегущего человека, запыхавшегося, разве уж какой-нибудь случай особенный: пожар или лошадь убежала, или пьяный. А то—тихо, спокойно и верно, как трава.

В шесть утра завтрак. Пьют чай с сахаром в прикуску, с'едают много черного хлеба и целую гору только что сваренного дымящегося облупленного картофеля. Картофель берут руками, суют в соль, рассыпанную прямо на столе, и—в рот. Вилки, ножи и тарелки есть в каждой семье; но их подают на стол только в особо торжественных случаях, «возись с ними потом

чисть». После завтрака неторопливая, но упорная работа до обеда; к обеду приезжают из Москвы девки. За обедом опять гора картофеля, щи, каша, хлеб. Мясо едят только в большие праздники. Ни в завтрак, ни в обед не увидишь на столе ничего, что бы указывало на близость и «баловство» Москвы. Едят только свое, деревенское. Лишь изредка бывают «монпасье», пестрые, как радуга (чем пестрее, тем милее), селедка, а в праздники—белые булки и крендели, эта мечта деревенских ребятишек. После обеда спят час, два. И работа уже до вечера. В девять деревня почти вся спит. Только на обрыве над рекой всю ночь пиликает гармоника, раздаются песни и ладный топот крепкого пляса. Это гуляет молодежь.

Так ритмично день за днем идет жизнь.

В праздники прежде всего хорошо спят, наверстывая всю неделю недосыпания. И едят больше, вкуснее, лучше одеваются, кое-кто—очень немногие — ходят в церковь, а вечером, еще совсем засветло, молодежь начинает водить хоровод и уже на всю ночь.

* * *

Деревня лежит в долине Москвы-реки. От станции идешь сосновым лесом, выходишь на высокий обрывистый берег, вся долина—с деревней, лугами, полями, дальними лесами и селами—как на ладони. Местность одна из прекраснейших под Москвой, и недаром великие князья, графы и бароны строили свои подмосковные дворцы именно здесь. В деревне аккуратные избы—большинство под железом и дранью, в каждой избе два входа—чистый на улицу и черный во двор. Дворы огромные, крытые тесом и железом, в крыше особые возвышения с рамами—фонарь, чтобы во двор проникал свет. Приблизительно четверть всех изб новенькие, поставлены за революцию. Когда умирали города, деревня строилась. Из городов сюда бежали мастеровые на родную землю, сюда приносили энергию, деньги, и здешние мужики в свою очередь маху не давали, сбывали продукты втридорога,—в результате в деревне нет ни одной убогой избушки, кроме избушки глухонемой нищенки Палаши. Перед избами палисадники, огородики,—глянуть издали—всё в зелени. В избах чисто, белые занавески на окнах, масса цветов, простые лавки и табуретки смешались с венскими и деревянными стульями, а грубые столы—со столами резными. Во многих избах граммофоны (стоят в переднем углу, под иконами, как вещь дорогая и стоящая внимания). Много железных кроватей с никкелированными спинками. Потом фотографические карточки,—их много, все деревенские любят сниматься и дарить свои портреты родственникам. Само собой, весь передний угол завешен иконами и лампадами с блестящими дутыми из стекла шариками. Под иконами, за занавеской, висят бутылки со святой водой. И еще характерно: в избе коммуниста висят иконы. Он говорит об этом так:

— Я больше в Москве, а здесь баба орудует. Ну, чего же, ругайся не ругайся с ней—не помогает.

В деревне два кладбища—старое и новое. На старом деревянная часовня с золотым крестом. Ограды на кладбищах повалились, кресты погнили, упали. Не считается зазорным отвести на кладбище лошадь, корову, теленка, привязать там—«пастись». Скот доламывает последние кресты. Недавно привязанная к ограде лошадь уронила сразу забор и ворота с крестом,—так теперь они и валяются,—никому до этого нет дела.

На окраине деревни школа,—большое светлое здание, содержится в полной сохранности. На улице, в двух местах, высокие столбы с колоколами; в колокола звонят, когда надо созвать сход или поднять тревогу...

* * *

28-го июня в деревне годовой праздник, и по этому случаю бывает очень торжественный молебен и пир, по деревенскому широкий.

— Какого святого празднуете?

— Не святого, а холеру.

— Как холеру?

— Да так... лет этак восемьдесят, аль сто была во всей округе холера, народ валом валился. Вот один святой человек и надоумил: «отслужите, братие, молебен». Отслужили. И холера как оборвалась. С того времени и постановили: каждый год служить в этот день молебен и праздновать.

А дед Александр Тихонов, тот самый, которого зовут Брюзгиным, по этому случаю наставительную речь сказал мне:

— Конешно, есть которые не верующие. А вот в Ромашкове—знаешь? село пять верст отсюда,—лет сорок этак же холера грянула. Они вспомнили про наш случай и давай из Москвы Иверскую икону сюда. Ладно. Отслужили молебен, обнесли икону вокруг села, как рукой сняло. Я сам самовидец и могу спорить об эфтим деле.

На троицу, когда провожали гостей, я слыхал, как хозяйка нашей избы и другие соседки, кричали гостям, переправляющимся на пароме через реку:

— На праздник-то приезжайте! Обязательно на праздник!

— Приедем.

И все—слышь-послышь:

— Вот к празднику. Вот на праздник. Вот уж как праздник проводим, тогда...

Недели за три до праздника днем зазвонил печально деревенский общественный колокол. Слерва в одном конце деревни, потом другой колокол в другом. «Очередная» тетка Аграфена обошла деревню, постучала во все окна:

— На собрание.

— По какому случаю?

— Про молебен будут говорить.

Народ собирался туго. После первого звона никто не пришел. После второго—человек тридцать, и то—лениво. Кто сел в холодке возле председа-

телевой избы, кто лег прямо животом на землю—руки под грудь. Прозвонили третий звон.

— Пора начинать.

Сосчитали: сорок два. Начали. Сперва обсудили очередной налог. Их много, обсуждают на каждом собрании. Ничего, по порядку говорили, только когда дошла очередь до «срока»,—заговорили почти все разом, заругались, заорали, о власти кричали безлично, вскользь, но солили крепко и в этом были единодушны.

— А теперь про молебен. Говорил я с батюшками, прикидывали мы—по восьми лимонов с души придется... Икону примем и все честь честью.

— Опять налог? Не желаем!

Мужики оглянулись сурово; человека четыре молодых домохозяев, сговорившиеся заранее, кричали:

— Довольно бабьи бредни плести. Не желаем. Которые дураки желают, ну и пусть берут, а нам—ну ее к...

Бабы тут были, прямо взвизгнули:

— А, батюшки, какое заушание! Да разрази вас громом, проклятущие, да каким местом вы думать стали, чтобы такую богомерзость?

Может быть, вышли бы на кулаки, но не водится на сходе драться, а потом: Бог и сам за себя заступится, накажет озорников. Но постановили: по восьми лимонов с души, а кто не желает, того не неволить, только пусть помнят: мир постановил. Здесь же выбрали почтенного старичка, чтобы заведывал этими деньгами и приготовил стол—кормить попов, монашек и хор. После схода деревня зашипела:

— Петруха-то... Слыхали? Вот это отмочил.

— Даром ему не пройдет. Не-ет, такое дело не пройдет. Бог правду сыщет...

Но петрухины речи, видимо, повлияли: деньги на молебен собирали долго, почти все три недели, при чем на каждом последующем сходе о них напоминали. И еще странность: те, четверо ругателей, внесли на молебен сколько полагалось; должно быть, «супротив мира не пойдешь».

Вечером накануне праздника служили всенощную у часовни. Просто на лужайку у ограды, против входа в часовню, вынесли стол, иконы, хоругви, кресты и служили. Было три священника, дьякон, два дьячка, ход монашек,—пестрая небольшая толпа баб и дачниц. Вечер был тихий, полновесный, яркая зелень краснела под умирающим солнцем. По вечернему кричали ласточки и грачи над ржаными полями—рядом. А народу мало. Мужчин—только шесть стариков. Ребятишки приходили прямо с реки, с купанья, со всклокоченными волосами, с удочками, стояли, опять уходили. Прошло стадо баранов, долго блеяло, заглушая пение,—пастух гнал не спеша. После всенощной хозяйка нашей избы говорила с сожалением:

— Вовсе, вовсе мало народа.

— А почему вы сами-то не были?

— С рассадой провозилась. Теперь самое время рассаду сажать.

Утром в Ильинском—селе за версту—зазвонил колокол к обедне. Звонил долго и торжественно; думалось: пойдет вся деревня. Но пошли небольшие толпы девушек в белых платьях, женщин в пестрых кофтах и очень мало мужчин. За обедней состязались два хора: монашек и ильинский хор. Ильинский пел лучше. Стали выносить иконы и хоругви. И тут обнаружился крах: почти некому было нести хоругви,—мало мужчин.

— А-а времена-то какие,—сокрушался длиннобородый старик,—бывало мы драться готовы были—кому нести хорюви, а теперь гляди—нет никого.

Священники и монашки заторопились, побежали к лошадям. Монашкам вслед кричали:

— А петь-то кто же будет? Мать Неонила, вы бы с нами пошли.

Монашки только отмахивались руками. На них сердились:

— Ишь, окаянные, боятся лишнюю версту пройти, лопнут.

Пошли. Женщины и девушки понесли с десяток икон, мужчины—три хоругви, ребята—кресты, мелкие иконы. В шествии не было ни одного духовного лица, и некому было командовать. Кто-то закричал:

— Девки, бабы, петь надо!

— Ну, ну, запевай...

Девушка в белом платье завела пронзительным высоким голосом:

— Пресвя-ятая-я богородица...

Еще несколько подхватило:

— Спаси на-ас.

Все—голосами неестественными, визгливыми. Это было ужасно. Так и шли через Ильинское с этими пронзительными выкриками:

— Пресвятая богородица, спаси нас. Преподобный отче Сергие, моли бога о нас. Преподобный отче Савва, моли бога о нас.

На крик выбегали к воротам девушки и женщины, торопливо крестились на сверкающие иконы.

Идущие им кричали:

— Ганька-а, идем с нами.

Ганька отвечала просто:

— Нет, мы ныне огород поливаем. Вот скоро у нас свой молебен будет.

За селом смолкли, и полями пошли без пения. Пели жаворонки, и рожь стояла стеной по сторонам дороги. Грудились вместе—тяжелые хоругви впереди, только мальчик с крестом всё уходил вперед, и тогда ему кричали:

— Эй, крест, куда торопишься? Погоди маненько.

Во всем было что-то простейшее и никакой торжественности. Преподобным Саввой, иконой, окованной медью,—возмущались:

— Ну и тяжелый же, Господь с ним. Надо бы четырем бабам нести.

Но несли по две—самые крепкие; и часто менялись. В толпе шел говор: про свое. И крепкие слова.

— Я ей говорила, паскуде... Ты, говорю...

Старики из Петровского, идущие в гости на праздник, с завистью смотрели на высокую рожь.

— Эх, добра-то возьмут. Вот это возьмут...

По деревне навстречу от часовни шло шествие—с иконами. Опять запели пронзительно молитвы. Потом все разошлись чай пить. В деревне уже виднелись нарядные люди—гости. Через час у часовни служили первый молебен. Толпа была впятеро больше, чем накануне, но опять мало мужчин. Пошли вокруг деревни—служить молебны в восьми местах, как отслужили тогда, сто лет тому назад, когда «шли с молебном, а народ вот тут же падал и умирал»... Нарядная пестрая лента развертывалась по окраине. Когда вышли на берег, в толпе негодующе заговорили: как раз против места, где молебствовали, в песочке и в воде виднелись голые дачницы.

— Хоть бы стыд-то закрыли. У, окаянный народ!

К концу шествия появились мужчины и много. Гости всё с'езжались. Наконец, последний молебен, радостные крики, приветствия, зазывы.

— Иван Спиридоныч, ко мне зайди.

И остаток дня и вечер деревня провела, как праздник: пели и старые и малые, духовенство угощалось до вечера, ночью по деревне ходили двое пьяных (явление редкое), выкрикивали песни...

* * *

*А на Петров* день в деревне была свадьба,—женился сын паромщика на девушке из нашей же деревни. Женился по любви, и когда загодя соседи говорили об этой свадьбе,—посмеивались: родительской воли здесь не было нисколечко. Значит, ни сватанья, ни сговора не было. Началось прямо с девичника. В невестиной избе—избе довольно большой—собралось до полусотни девушек, тех самых, что носят каждый день в Москву молоко. Все в белых платьях, в белых чулках и башмаках, с розовыми, голубыми и белыми лентами в косах. И у всех золотые браслеты и кольца на руках, золотые кулоны с блестящими камушками, золотые цепочки, у двух или у трех—красивые золотые часы на цепочках на шее. Не было девушки без золотых побрякушек. Что было красиво—это могучие плечи, груди и торсы под белыми платьями. Только невеста была темным пятном на общем белом фоне,—она в знак печали (разлука с девичеством) была в темном платье. Пели голосами пронзительными, деревенскими, пели песни старинные. Пришли дружка и жених с товарищами, стали—по обычаю—покупать места,—девушки брали с них по 100 и даже по 200 миллионов за место. И в этом: в больших ценах за место, в белых платьях, в золотых украшениях,—сказалось новое, сегодняшнее, а в песнях, в речах была глубокая старина.

На следующий день было венчание в Ильинском. Перед венчанием невеста прощалась с родительским домом,—прощалась по-старинному. Обливаясь слезами, она пела-причитала, благодарила отца-мать за хлеб—за соль. «Как вернусь я в родно гнездышко, вы скажите мне слово ласково, не обделите советом добрым». С такими словами—к братьям. Девушки, тоже плача, пели прощальные песни.

Поехали на восьми подводах. Жених и невеста в тарантасах, остальные в телегах, доверху набитых травой и укрытых кошмами и ватолами. Одна телега была покрыта прекрасным персидским ковром, попавшим, вероятно, в деревню продовольственными путями в голодные годы. Мужчины были одеты в черные пиджаки, крахмальные воротнички и галстуки, все при часах. Девушки в белом. Чтобы не мять платья, они поднимали их на плечи,—и уже у церкви, в кустах за оградой, долго оправлялись. Шаферов было по двое,—все в белых нитяных перчатках,—большие рабочие руки, увеличенные толстейшими перчатками, казались клешнями на фоне черных пиджаков.

Приехали назад,—дружка повел молодых за руки в ворота. У ворот на рассыпанных ржаных снопах ждали отец и мать жениха; у отца—в руках икона, у матери белый каравай с солью на верхней корочке. Дружка расстелил на соломе шаль, молодые три раза поклонились в ноги родителям. Тогда старуха взяла икону, старик каравай; молодые опять поклонились три раза в землю, поцеловались со стариками.

Дружка повел молодых в избу. На пороге их осыпали хмелем, рожью, потом усадили в передний угол. Мать жениха подала разрезанный пополам каравай; жених и невеста взяли из каждой половины по кусочку мякиша, с'ели. Начались поздравления. Просто все—от мала до велика—совали молча жениху и невесте руку, только один, приезжий, сказал шутливую речь. Через полчаса из невестиной избы—все родные—понесли невестин сундук и вообще приданое. Молодые шли впереди, гости плясали, пели срамные песни. Этим началось торжество. Гостей сошлось больше ста человек. И вот здесь-то деревня показала себя: женщины буквально сверкали золотом и драгоценностями,—на зависть сбежавшимся дачницам,—некоторые молодые гостьи помногу раз бегали домой переодеваться в новые платья: где и показать себя, как не на свадьбе? А под окнами ахали:

— Ой, чтоб ей, пятое платье сменила. А колец-то, колец-то...

Пили наливки и рябиновки государственного приготовления и брагу, самими сваренную к свадьбе. Гуляли всю ночь. Утром—новое торжество: деревенские бабы принимали в свое общество новую бабу—молодую. Опять попойка, срамные песни, обряды... Торжество стало общим: три дня деревня кружилась в песнях, в плясах, хотя обычная работа почти не останавливалась,—как-то умели совместить. А на четвертый день молодые — оба босиком—уже везли на лошади воз сена,—она правила, он поддерживал воз вилами, чтобы не упал на ухабах.

* * *

В соседнем селе—Ильинском—часто бывают спектакли. Если только спектакль без танцев, оживление небольшое, но если в конце писанной афиши стоит добавление: «после спектакля танцы»,—деревенская молодежь оживает. Идут с вечера толпами, девушки в белых платьях, парни в черных парадных пиджаках и галстуках. Пьесы слушают внимательно, с громадным инте-

ресом,—особенно если смешно,—а после пьес пляшут до коровьих табунов. Так и отвечают, если спросишь, когда вернетесь:

— К коровьим табунам.

Возвращаются дружно, с песнями, а песни на заре слыхать за несколько верст.

Спектаклями увлекаются все села и деревни кругом; если нет подходящего помещения, спектакли ставят в амбарах. Вот афиша с сохранением орфографии: «I иуня дан будит списктакль в деревни Глуховой пиеса назаре и шелменка деньчик четире часа вечира в амбари симонова завход один милиен».

Эта афиша—небольшие клочки бумаги—была развешена по придорожным деревьям на шоссе Ильинское—Архангельское...

Мужская молодежь увлекается футболом. На выгоне устроили специальные ворота,—играют там каждый день, с азартом, порой с остервенением, разрешая иногда споры хорошей кулачной дракой...

Среди деревни, в домике, заросшем со всех сторон деревьями, устроена чайная. Это вроде местного клуба, куда зимой и осенью собираются по праздникам и по вечерам мужики и парни. Здесь обсуждаются и политические и деревенские новости, здесь же, из чайников под видом чая, порой тянут самогонку. Но пьянства в деревне, как бытового явления, нет. Пьют несколько человек, но это бывшие или теперешние московские рабочие,—типичные босяки: они отошли от деревни, но не пристали и к Москве, и так болтаются, где придется...

* * *

Власть?

— И кто она, до сей поры не поймем,—говорит Петр Михалыч, деревенский рыбак и пчеловод, самый справедливый мужик в деревне,—прежде все ее ругали. И-и, как ругали! А ныне чуть какое дело, сейчас и кричит: «К коммунисту пойду».

— К своему обращаются?

— Нет. Наш-то плохой, раза три людей на ложный след ставил. И человек жесткий, все с бабой со своей воюет, и попивает... А вот в соседней деревне есть коммунист—тот хорошо понимающий. Так вот к нему и бегают все,—и как этот коммунист велит делать, так и делают.

— А прежде?

— А прежде попробовал бы кто обратиться к коммунисту, засмеяли бы, захаяли... Особливо, когда торговать не дозволяли. Беда, как сердились. А теперь что же? Власть сама по себе, мы сами по себе. Только налоги вот. Не поверите ли, в этом году раз пятнадцать собирали налоги, и всё собрать не могут.

— Ну, вы вот как поправились, домов-то сколько новых.

— Верно, поправились. Это дай бог в час молвить. В революцию много кто понажился. Видал у Никитина-то? У него и пиянино, и ящики с музыкой,

и эти самые граммофоны. Хоть и трепали его, а что же богатого мужика до конца не растрепишь. Вот, бывало,—понесет баба в Москву десять фунтов пшена, а оттуда и платье, глядишь, тащит и полотенце... Натащили такого, что и в дело-то определить не могут: то ли это на голову надевать, то ли на ноги. А когда обзавелись одежей, стали тащить побрякушки: кольца разные, браслетки, и эти штуки, что на шею вздевают. У иной прямо целая шкатулка. И понятиев разных набрались. Слышу я, одна девка говорит другой: «Ныне я кольцо купила маркизиком». Ох, чтоб тебе... маркизиком. И как это, я восьмой десяток прожил, понять не могу.

Это верно: к коммунистам обращаются за помощью все. Но скорее не как к представителям власти, а как к людям справедливым и знающим все пути и выходы. А к власти...

Теснят больно. Налоги и налоги.

* * *

Хоть 20 верст до Москвы, а вот:

Сижу на обрыве над рекой. Вдруг из леса, через реку, перелетела кукушка, села на ветлу возле нашей избы и начала куковать. Вероятно, она была молодая,—такой неуверенный крик был у нее. Бабы и девки шли к стаду на «полдень»—с подойниками, услыхали кукушку,—переполошились. Одна за другой побежали к ветле, глядят на кукушку, заговорили, заволновались, начали кукушку гнать:

— Кши, окаянная, кши, пропасти на тебя нет!

Кукушка перелетела к соседнему двору на дерево. Бабы с подойниками туда.

— Кши, чтоб тебе сдохнуть.

Гурьба мальчишек присоединилась, бросают в кукушку камнями. Кукушка дальше, за ней уже целая толпа. Бегут, кричат, ругаются. Гонялись за птицей минут двадцать. Наконец, кукушка улетела в лес.

— В чем дело?—спрашиваю баб, возвращающихся с погони,—чем она вам помешала?

— Аль не слыхали, каким голосом она кричала? Вот под Троицу—прилетела также, села на эту же ветлу, а через четыре дня у тетки Ульяны изба сгорела. Она, проклятущая, сидела тогда прямо головой к ее избе. И теперь вот на вашу избу куковала. Смотрите, быть пожару.

Я засмеялся.

— Нет, вы уж не смейтесь. Старые люди все заприметили. Быть беде, а вы совсем зря смеетесь.

И пошли сердитые.

Или:

Вечер. Солнце уже село, и стадо идет из-за реки. Бабы и девчонки стоят на берегу, ждут коров. Слышу:

— Ой, господи, пошли, чтобы белая... Дожди-то надоели.

Коровы растянулись длинной вереницей по тому берегу, заходят в воду. Впереди идет пестрая корова.

— Ну, завтра будет пестрый день—и дождь и солнышко.

— Почему же пестрый?

— Потому что первой перешла реку пестрая корова. Ежели бы черная—сплошной дождь, белая—сплошное солнышко...

* * *

По отдельным мужикам можно судить, чем и как живет деревня.

Василий Никитин—первейший богач, человек, о котором все говорят с завистью и почтением. У него двенадцать человек детей, из них только старшая дочь-учительница недавно вышла замуж, остальные живут с ними. Это высокий рыжебородый мужик, хорошо грамотный, развитой. До войны у него была ювелирная мастерская, несколько человек работников, пять дач, три лошади, конная молотилка. Революция его сильно потрепала, но в последние три года он поднялся снова—богат и уважаем. Сам с семьей он живет в большом доме, шесть комнат, парадное крыльцо, застекляненная терраса, в комнатах старинные зеркала, красная мебель, ковры, пианино, музыкальные ящики, масса картин,—все это перешло к нему в годы революции из соседних мелких имений и Москвы. Вся семья, кроме двух самых младших детей,—работает от зари до зари. В поле, на огороде, во дворе, в доме—у каждого дело, и это дело все исполняют с завидным рвением. Всю семью сам Никитин держит в строгости величайшей. Он сам говорит:

— У меня не побалуешься.

На самом деле, никто не сидит сложа руки. Если нет работы дома, отец отправляет сыновей на ближайшие станции с экипажами: может быть, подвернется пассажир. Сыновья и дочери—народ все здоровый, краснощекий, веселый, по праздникам одеваются по городскому, а девушки франтят летом в пестрых малороссийских костюмах, зимой в бархатных шубах. Но, несмотря на достаток, не отдает своих детей в среднюю и высшую школу. «Избалуются только, повидал я людей образованных,—есть у него нечего, а фанаберии не оберешься. У нашего крестьянского дела—кусок самый верный и честный»... Учил он в гимназии только старшую дочь и то по его словам «муку принял»... Про него мужики говорят:

— До революции житья никому не давал. Соберутся парни в карты играть, — он прибежит, как сумасшедший, карты отнимет, парней побьет. Пьяного увидит,—опять или ругать начнет, или прибьет. А работников так держал, что хоть сейчас в монахи...

— Вот и революция и брали у него всё, а гляди: поднялся человек. Что, значит голова-то.

Лавочник Спиридон Поликарпович,—до войны крестьянствовал, потом был в царской и красной армиях и теперь занялся торговлей,—лавочка маленькая, чисто деревенская, однако Спиридон Поликарпыч, как говорят про него мужики, «спит на миллиардах». У Спиридон Поликарпыча во всем размах,

предприимчивость, он использовал в интересах дела все вплоть до лозунга «бога нет».

— Все делать можно, только бы не попадаться.

Три приказчика ездят от него по окрестным селам и деревням, скупают яйца, масло, птицу; все это Спиридон Поликарпыч отправляет в Москву. Он дает деньги в кредит под хорошие проценты; конечно, верным людям,—измеряя все на червонцы. О войне он говорит с благодарностью:

— Глаза открыла. Прежде только в назьме копались, а теперь судьбу благодарим.

Любит кольца, цепочки, хорошие френчи. В ближайшие годы, если не сорвется на темном деле, будет настоящий купец: наживательской энергии у него хоть отбавляй.

Вообще война царская и особенно гражданская всколыхнула людей,—самые предприимчивые молодые мужики—это бывшие красноармейцы.—О, как работают!

Вот два примера.

Ефим Комягин до войны работал в столярной мастерской, потом восемь лет прослужил в армии—царской и красной—теперь работает здесь. О себе говорит: «Встаю до света, ложусь темно». Вернувшись из армии, он тотчас потребовал у отца раздела, у общества плановое место и в два года построил такой дом и двор, которому завидуют зажиточные мужики. Сам — только с женой—он распилил лес, стругал доски,—плотников нанимал только ставить связи,—сам крыл крышу,—эти двое молодых и сильных, как звери, копались около своего дома.

— Теперь кончил. Вот еще поработаю с месяц, все доделаю,—и тогда в *Москву на заработки, опять по столярному делу*.

— Вы бы дома поработали, дело найдется.

— Нет, устал, отдохнуть с годок надо.

— Какой же отдых в Москве на работе?

— А как вы думали! Конечно, отдых. Там отработал свои 8 часов, иди, куда хочешь,—хоть спи. А здесь, если от себя работаешь, разве 8 часов будешь у верстака? От зари до зари. Не-ет, теперь все наши в Москву отдыхать ездят.

Другой красноармеец — Иван Никифоров. Три с половиной года был в красной армии, в воздухоплавательном парке, а теперь... как он сам говорит, «пошел по коммерции».

— Наше хозяйство что? С ним баба при моей подмоге справится. А остальное время всё мое. Я и орудую. Какого дьявола? Это отцы наши дураками были, все на печи сидели. А я—туда поехал, сюда поехал, — везде дела не впроворот, только давай. Я теперь вот на картошке промышляю,—поеду верст за сто, все деревни обшарю, где выгодно, отвезу в Москву,—у меня весь месяц сразу оправдан. А из Москвы везу соль, сахар, иной раз мыла прихватишь,—там опять наменяешь... Круговорот. Не-ет, сидеть теперь нечего, только работай.

И работают. Уже никого почти не удовлетворяет крестьянское хозяй ство, все хотят простора, размаха. Большинство работают в Москве, как сле саря, шоферы, водопроводчики, столяры и энергично «подают домой». Все но вые избы—их.

У хозяйки нашей избы сдавался покос. В первое же воскресенье посл раздела лугов к ней один за другим приходило человек десять арендаторов— в галифе, френчах, или, в крайнем случае, в франтовских пиджаках, все в са погах ярко начищенных.

— Кто такие?—спрашиваю у хозяйки.

— Да все наши молодые мужики. Ишь, своего-то надела мало, хотя больше захватить...

Один из самых интересных «послевоенных» мужиков—это Григорий Ге расимов. Он четыре года пробыл в германском плену, при чем на войну поше прямо от сохи—неграмотный, склонный к выпивке...

— Пришел—узнать его невозможно!—говорят мужики,—чистяк такой грамотный, по-немецки может, и сейчас же занялся коровами. И все на не мецкий лад. Коровам конюшни построил—такие конюшни, целые хоромь моет их, холит, кормит зимой по часам, пастуха просит, чтоб не бил их, и н пугал, а то, говорит,—у коров, молоко будет плохое. Чудак такой.. Хотя правда, коровы у него стали, как барыни, и дают молока куда больше проти наших...

Сейчас у него шесть коров—породистые, сытые, чистые; мечтает ещ прикупить «хоть бы с десяток, да налоги одолели».

Дома все хозяйство ведет на какой-то нерусский манер: вымостил дво щебнем, в избе чистота, все в порядке, перед едой все руки моют с мылом— явление необычайное.

Бабу заставил мыть посуду с мылом,—ну и натерпелась же баба насме шек!..

— А-а, батюшки, посуду-то с мылом с поганым моют... Тьфу, — брезгливо осуждали соседки.

Но муж настоял:

— Пусть посмеются, скоро бросят. Смеются от необразованности.

Но культура культурой, а молоко в Москву Герасимов отправляет та кое же, как и все — снятое.

— Против всех не пойдешь, а Москва привыкла уже водичку пить. За мое цельное молоко надо бы вдвое просить, да разве кто даст? Ну, и дей ствуешь, как прочие.

Глядя на молодежь, тянутся и старики: в праздники работают, меньше спят, меньше пьют...

Есть в деревне 80-летний старик, рыбак и пчеловод Петр Михалыч. Про него говорят: «справедливый старик». Вот как говорит он про новую жизнь

— Все сотряслось, прямо верх тормашками кое полетело. Пошел новый народ—кричат, шумят, ногами боцают. И бога у них нет, и родителей не ува жают,—а работяги. Это надо правильно говорить: работяги. Вон в три года

столько новых дворов поставили, что на моей памяти за полста лет столько не было поставлено. Как явился из армии, так отцу на горло: «отделяй!». Отцу боязно: не справится, по миру пойдет. Ан, лучше отцова сразу стали жить. Откуда что берется. Только крепко ли это будет?

— Почему же не крепко?

— Да уж очень всяк себе тянет. Изголодались, что ль? Нельзя так, по справедливости бы надо. А то ведь прямо в глаза говорят: «теперь все дозволено». Я думаю, и убийства-то теперь от того пошли, что все дозволено. Не попался,—и ладно. Лишь бы не попасться, а совесть все равно смолчит,—потому что ее нет. Мы совести боялись, а теперь ничего не боятся. Как пойдет жизнь, не придумаешь.

— А разве с совестью не считаются?

— Не-ет. Теперь не считаются. Я уже не говорю про мелочи, а то вот недавно случай-то—не слыхали? Братья брата предали.

— Как это?

— Пришел брат один от белых, рассказал братьям и отцу все, что делал, где был, как против коммунистов воевал. Ну, ничего,—все пошло сперва у них по родственному. Потом этот брат и потребовал: «Давайте, братцы, и мне мою долю, хочу отделиться». Те не захотели дать, стали ссориться. Ну, братья-то поехали в Москву, и там доложили где следует: «так и так, вот приехал и хвалится, что коммунистов убивал». Ну, брата и зацапали. Слава богу, простили, а ежели бы года два назад этак—обязательно бы расстреляли. Ну, вернулся брат—из тюрьмы, опять потребовал отдела. Отделили. Сраму на всю деревню.

— Опять же вот жадность большая проявилась в народе. Так жадничают, сказать невозможно. И все этим заболели—мужики, бабы, девки, ребятишки. Намедни я посылаю своего внука Митьку с рыбой к дачникам. «Возьми, говорю, шестьдесят миллионов за эту рыбу». Приходит, приносит семьдесят. «Откуда?» «А я сказал, что рыба стоит семьдесят, ну и дали». «Ах, негодяй, да рыба-то не больше шестидесяти стоит». А он мне: «Раз дают, надо брать больше»,—самому-то всего десять лет. Вот это нехорошо. А то так что же?.. Бывало я сына палкой учил, чтобы не ленился, меньше бы спал. Теперь хоть в пору палкой бить, чтобы меньше работали да суетились...

* * *

Особо сказать надо про мужика и дачника. О, это вопрос не последний. В самую рабочую, в самую горячую пору едут из города люди—в большинстве справные—мужчины с брюшками, женщины с хорошими бедрами,—день весь жрут, пьют, греются на солнышке, купаются, гуляют, все лето у них сплошной праздник. Революция распоясала горожан, они прежде всего освободили тело от одежд. Вот в соседней деревне—пляж величиной с ладонь, но все купаются на нем одновременно, мужчины только на сажень от женщин. Из ближних лагерей приходят на этот же пляж курсанты военной школы. Го-

лодными тоскующими глазами глядят они на розовые и белые пятна, что копошатся вот рядом, вот рукой подать, и ощупаешь. А женщины... женщины не стесняются... Ныне на сцене в голом виде, а тут... прыгают, смеются, визжат...

А деревня ужасается:

— Мать пресвятая, прямо вот рядом, рядом... Всю срамоту друг перед дружкой обнаруживают. Намедни я иду, парочка купается, он поднял ее на руки и учит плавать. «Бултыхай, говорит, Лидочка, ногами, бултыхай». Хоть бы за деревню ушли, а то вот тут под самым носом. И ребятишки здесь, и девки ходят.

Одному дачнику понравилось купаться возле парома. Народ всегда гужём мимо, а он лежит животиком к солнышку. Бабы о нем говорили так:

— Силов нет никаких. Идешь, а он ровно нарочно: ноги ножницами. Батюшки. Не-ет, придется постегать его крапивой. Давайте, бабы, постегаем. Срамота ведь.

Но не постегали: посовестились. Только кричали порой:

— Эй, барин, надень штаны, девки идут.

Барин штанов не надевал, но только переворачивался брюшком вниз.

А мужики говорят по-своему:

— Дачник? С нас семь шкур слезет, пока мы работаем, а он в песочке лежит, жир вытапливает.

Правда, ходит этакая бездельная фигура.

— Что про нее скажешь?

Но пользу в них деревня видит:

— Жрут, только давай. Молоко, масло, яйца, ягоду, гриб, картофель, мясо—все под-ряд гонят. Куда только влезает? Вот отчего люди жирными бывают.

И тихонько этак подбираются под этого жирного человека,—почему не сорвать с него лишний «лимон»?

— Баба, накинь-ка на молоко.

И баба накидывает.

— Уж, извините, ныне молоко пойдет по пять лимонов. Меньше никак невозможно: коровы плохо доят.

А дачник на дыбы:

— Русский мужик? Да я его доподлинно знаю—это сплошной с.....сын. За все дерут с нас дороже Москвы. Это—жох, скот, черствяка.

И сами себе кажутся правыми: мужик—себе, дачник—себе.

## Дулево.

Это почти нелепость: болота, болота, поросшие мелкой ольхой и березами, потом лес дремучий, тянущийся на много десятков верст, в лесу—вековые сосны в два охвата, поросшие на старости лет зеленым мохом, в болотах и в лесу порой горель—след страшных лесных пожаров—обгорелые вывороченные с корнем сосны, обуглившиеся березы, земля, стеной поднятая кор-

нями упавшего дерева. Словом, местечко, где сам дьявол ногу сломает,—и где еще недавно, каких-нибудь 40—50 лет бродил знаменитый разбойник Чуркин с товарищами—и среди таких мест—гиблых и глухих—вдруг, как марево или как чудо,—высокие стены зданий—белые и красные, с тремя или четырьмя ярусами окон, кирпичные трубы—вчетверо выше самой высокой сосны, а вечерами и всю ночь море электрического света, огненные столбы над трубами горнов, и рев огня, и гул машин...

Это почти нелепость—в лесу, в болотах Дулевская фарфоровая фабрика.

И уже не десять лет ей, этой фабрике, а почти сто. В начале прошлого века построена она известным фарфоровым фабрикантом Кузнецовым, неудержимо расширялась, заполняя своими изделиями рынки центральной и восточной России, рынки Персии, Бухары, Афганистана. И теперь еще в музее фабрики—так называемой «показательной»—имеется масса образцов чашек, блюд, тарелок с звездами, полумесяцами, яркими восточными цветами. Отсюда, из этих глухих дулевских лесов и болот, шло завоевание восточных рынков. И завоевание весьма успешное.

До октябрьской революции на фабрике работало около двух тысяч человек, в революцию это число значительно уменьшилось, работа на фабрике замирала, (но ни на один день не умирала окончательно), а теперь и производство фабрики и число рабочих доводится почти к довоенному.

Дулёво одно из тех редких в России мест, через которые революция прошла мягкими шагами. Здесь никто не расстрелян, никто не убит, почти не было арестов, и фабрика с ее большим фабричным поселком перешла от старого владельца «в новые права» почти безболезненно. Может быть, леса и болота и отдаленность от шумных революционных дорог спасли ее хрупкий (фарфоровый) организм, спасли трудовой распорядок и ту частицу рабочего быта, которая дала возможность уже теперь, когда в других местах производство скрипит и хромает, поставить работу почти по довоенному.

Все Дулёво—село довольно большое—живет только фабрикой. Здесь нет ни одной семьи, которая не жила бы ее интересами. Даже огородники,—в Дулеве есть несколько семей,—живут исключительно продажей овощей фабричным служащим и рабочим.

Распорядок жизни здесь изумительный. Всё и все живут по фабричному гудку. В половине восьмого раздается предупредительный гудок—сигнал вставать; в восемь—другой гудок—на работу. В двенадцать снова гудок—на обед. В два—на работу. В шесть—конец работы. И вот к этим определенным часам приноровлена вся жизнь Дулева. В часы работы сельская улица и дворы завода почти пусты. Проедет нагруженная торфом или лесом или другими материалами телега, пройдут спешно плотники, каменщики, проторопится сторож или десятник, и опять пусто. Только босоногие ребятишки шумно носятся возле рабочих казарм, играя в лапту, в бабки, в футбол. Но гудок на обед—и сразу дворы фабрики и улицы заполняются шумной толпой. Смеющимися веселыми стаями идут молоденькие франтоватые писарихи (так зовут здесь художниц, расписывающих фарфоровую посуду,—их много, почти девя-

носто пять процентов работы по расписыванию ведется женщинами). За ними—толпы бледнолицых, истомленных точильщиков и точильщиц; их сразу легко узнать по бледным лицам; серым губам, по костюмам, запорошенным бледной фарфоровой пылью, формовщики, модельщики, рабочие горнов, лесопилки, различных мастерских. Улица люднеет на несколько минут. Затем полчаса, час—опять пусто: все Дулево обедает, после обеда отдыхает. Новый гудок—улица оживает на несколько минут, чтобы замереть уже до вечера, до шести. Так изо дня в день, месяцы, годы.

До революции вся работа на фабрике велась сдельно. И среди рабочих был своего рода спорт—выработать возможно больше. Бывали рабочие, которые проводили за работой по 18—20 часов в сутки. В мастерских администрации фабрики держала специальных сторожей для того, чтобы они изгоняли рабочих с работы, потому что некоторые, чересчур усердные, готовы были работать безвыходно круглые сутки.

В первое время после революции новое правление фабрики попыталось отменить сдельность, но два, три месяца работы показали, что попытка принесла только вред: количество, а главное качество работы резко упало. «Никто не стал стараться»,—как характеризовал такой упадок Ф. Г. Маслов—заведующий живописными мастерскими. Теперь опять введена сдельность и по-урочность, и некоторые рабочие опять вырабатывают на 500% больше положенного. В то же время быстро повысилось и еще повышается качество изделий.

Под руководством художника В. Ф. Маслова я обошел фабричные помещения, начиная от машинного—от самого низу, куда поступает сырая фарфоровая глина, кварц и битый фарфор. Огромные жернова размалывают их в мельчайший порошок, затем глина замешивается под прессами, отжимается и, как вязкое тягучее тесто, поступает на верх в точильное отделение. В длинных высоких залах, с окнами во всю стену, несколько сот рабочих и, главным образом, работниц делают из этой глины тарелки, чашки, чайники и другую посуду. Форма, штамп и самое мельчайшее разделение труда дают возможность вести производство с быстротой поразительной. Вот на наших глазах работница берет кусок глины; момент—под ее руками кусок превращается в тонкий круг, похожий на лепешку. Лепешка быстро переходит к другой работнице; опять момент,—и лепешка превратилась уже в тарелку—пока серую, сырую, необожженную. В пять минут перед работницей вырастают целые горы таких тарелок. Другие работницы еле успевают их убирать—передавать дальше.

На других столах и станках делают чашки, чайники... Одна работница готовит только ручки,—несколько сот ручек в час, другая—самую чашку, третья прикрепляет ручку к чашке,—все это буквально с быстротой фокуса. Здесь же, за другими столами, рабочие и работницы шкурками обтачивают посуду, сглаживая шереховатости и из'яны. От их столов поднимаются и заполняют все точильное отделение прозрачные облака тончайшей фарфоровой пыли.

Эта пыль—бледная, прозрачная—делает точильные отделения страши-

лишем фарфоровых фабрик вообще. Большинство—почти 70% рабочих этого отделения—погибают от чахотки. Шесть, семь лет работы в этом воздухе с бледной пылью делает их стариками. Правда, работа в этом отделении хорошо оплачивается, рабочий день вместо 8 часов сокращен до 6, рабочие пользуются ежегодно месячным отпуском, вместо обычных двух недель, здесь прекрасная вентиляция, но все это облегчает жизнь, но не меняет положения. На Западе уже в годы войны введен так называемый мокрый способ обработки фарфоровой посуды, способ, при котором пыли почти нет. Наш фарфоровый трест теперь пытается ввести этот способ и на русских фабриках, но пока введение тормозится до смешного ничтожной причиной: в России не могут найти достаточного количества губок.

Какие серые лица! Как блестят у многих воспаленные глаза!..

Обточенная посуда поступает в горновое отделение.

Горны—гигантские печи, в которых посуда обжигается при температуре в 1500 градусов. В горнах посуда обжигается два раза. Первый обжиг—без глазури,—так называемый утильный; после него посуда покрывается глазурью и проходит второй обжиг.

Перед обжигом вся посуда заключается в особые глиняные формы с толстыми стенками—тамбуры,—чтобы огонь не касался ее непосредственно.

Из горнов—белая, сверкающая белизной посуда поступает, в живописные мастерские—обширные залы, где сотни писарих рисуют на ней цветочки, ободки, знаки... За длинными столами каждая у своего места, они сидят тихо, работают сосредоточенно, и перед каждой—с одной стороны груда посуды белой, сверкающей,—с другой—уже готовая, разрисованная. За одними столами рисуют цветочки самые простые,—это для деревень, для глуши, для невзыскательных глаз; в другом—рисунки сложные, и изящные, а в углу, у окна, работают мужчины—уже художники настоящие. В мастерской крепко пахнет скипидаром, красками. Живопись на фарфоре—особенная, здесь не только ведется расчет на впечатление от рисунка сейчас, но и на изменение этого рисунка в печах, где краски под воздействием жара в 1500 градусов закрепляются на фарфоре. Вот это, сверкающее на чашках золото,—в жидком виде, при рисовке, было черным.

Здесь, в живописной мастерской, вы крепче и, пожалуй, впервые на фабрике, почувствуете пульс новой жизни. Рисунки на чашках, кружках, тарелках и блюдцах носят отзвук нынешнего дня. Портреты политических деятелей, серп и молот, новые пролетарские и трудовые лозунги идут вместо обычных рисунков или идут на ряду с ними.

Здесь же, в живописной, помещается горн, под действием огня которого краски закрепляются на фарфоре.

Вот так (приблизительно) работает фабрика, и в этой ее работе мало нового, разве лишь жалобы на то, что искусство с революцией пало и теперь поднимается с трудом.

— Прежде мы в некоторых вещах не уступали Западной Европе, а теперь...

Хмурость и недовольство.

— Но поднимемся.

Новое в другом—в размахе работы, в быту, в сознании.

Фабрикой правит директор П. М. Андреев—бывший бухгалтер. О нем говорят так:

— Работяга. Первый приходит на работу, последний уходит. Весь фабрикой живет.

По общим отзывам выходит так: если фабрика заброшена в леса, в болота, не погибла в годы общей разрухи, не остановилась,—она этим обязана исключительно новому директору.

Мало того, в революцию фабрика пережила самую тяжелую катастрофу: в 1918 году от загадочной причины на фабрике сгорело машинное отделение,—так сказать сердце всего предприятия. И тем не менее новый директор смог найти пути к восстановлению машинного отделения, и через сравнительно короткий промежуток времени фабрика заработала с новой силой. В самые темные голодные годы рабочие фабрики получали паек: откуда-то как-то выкапывал его новый директор. Своеобразно он разрешает сейчас жилищный кризис, остро переживаемый фабричным населением. В рабочих квартирах спят не только на полу и на кроватях, но и под кроватями. Андреев скупает обывательские дома в городе Покрове—за 50 верст от фабрики,—и на подводах перевозят их в Дулево. Конечно, это немного странно, когда кругом неохватные пространства строевого леса, но таково положение: купить старый дом и перевезти за 50 верст дешевле, чем построить новый. Сейчас на улице Дулева лежат целые горы досок, брусьев, рам, дверей,—уже перевезенные дома.

И еще: новому директору отчасти обязаны поддержкой те многочисленные и серьезные культурные организации, что работают сейчас на фабрике. О них ниже.

Другой деятель, о котором надо говорить,—человек широкого размаха, кипучей энергии и предприимчивости—заведующий химической лабораторией фабрики инженер-химик С. Г. Туманов. До войны русские фарфоровые фабрики питались исключительно германскими красками. Война прекратила приток красок, и фабрики были сразу поставлены почти в безвыходное положение. С. Г. Туманов один из первых принялся за приготовление красок из русского материала и добился успеха.

Со своим помощником С. Н. Грачевым, тоже инженер-химиком, они сумели поставить в дулевской лаборатории производство в таких широких размерах, что теперь лаборатория снабжает красками не только свою фабрику, но и другие фабрики России и Сибири. Благодаря энергии и настойчивости С. Г. Туманова была организована—под его начальством—большая экспедиция на Урал на поиски фарфоровых глин. Летом 1922 года экспедиция производила разведки в верховьях реки Чусовой и около Челябинска. Результаты изысканий превзошли всякие ожидания. Не только найдены мощные залежи прекрасного каолина (фарфоровой глины), но, главное, экспедицией

открыты залежи редчайших и почти драгоценных минералов—боксита и аллунита. Это открытие было сделано попутно и в значительной мере случайно, но значение его имеет не только всероссийский, но и почти мировой характер, так как месторождений боксита на земле немного. К сожалению, как только стало известно о результатах работ экспедиции, возле закружились иностранные концессионеры, и возможно, что месторождение боксита и аллунита будут отданы на концессии.

Но факт тот: в маленьком и почти заброшенном в леса и болота Дулеве энергичные люди—новая культурная Россия—ведут большую серьезную работу. И в этом году С. Г. Туманов снова организовал экспедицию, которая пройдет по еще более глухим местам Урала. Нечего говорить, с какими трудностями и опасностями связана теперь эта экспедиция, но эти люди работают самоотверженно. Вот маленький штришок: я был удивлен, увидев сожженные, из'язвленные руки С. Н. Грачева, и когда, после его ухода, выразил вслух свое удивление, мне об'яснили просто:

— Он сжег руки кислотами во время опытов в лаборатории.

— А что, за такую работу платят больше обычного?

— Нет. Платят, как всем.

«Как всем», значит, не материальные выгоды и, разумеется, не честолюбие (кто знает о Дулеве и его работниках?) двигает этими людьми.

Или вот еще один замечательный работник—заведующий живописными мастерскими Ф. Г. Маслов—старец с апостольской наружностью, прослуживший на фабрике 56 лет—стаж, вероятно, единственный в России. 16-летним мальчуганом он поступил на фабрику в качестве рабочего, выдвинулся как талантливый художник по фарфору и вот уже много лет руководит всей художественной работой фабрики. 56 лет жизни в сфере искусства, жизни самыми насущными интересами искусства создали из него и знатока и человека образованного. Поговорив с ним, нельзя поверить, что этот человек не был даже в начальной школе... В области фарфоровой живописи он знает, чем и как живет весь Запад.

— До войны мы обменивались образцами с Саксонией, Францией, Австрией и старались не только улучшить производство, равняясь по ним, не только не отставать от них, но и перегнать их. И частенько нам это удавалось.

Он весь живет интересами искусства и фабрики, и вне их у него нет жизни. Разумеется, он получал и получает больше, чем всякий другой работник, но и до сих пор у него никакой собственности, вроде домика, садика и т. п. чепухи, к чему так настойчиво стремится большинство рабочих... Маленькая казенная квартира (по голодной норме), несколько картин на фарфоре его работы лучшей поры—вот все. И еще: годы революции были годами упадка художественности в фарфоровом производстве, и Ф. Г. Маслов болел не только нравственно, но и физически, когда видел, что с «его фабрики» выходят вещи нелепые в художественном отношении. Теперь это время отходит в область прошлого, производство снова улучшается, и на по-

следней промышленной выставке в Москве экспонаты дулевской фарфоровой фабрики занимали почетное место.

Но довольно об отдельных,—их еще бы можно найти в этой большой машине,—Дулеве, самоотверженных бескорыстных строителей, кем движется и дышит жизнь. Но как живет масса?

Я уже отметил: все Дулево живет весь день по расписанию—почти монастырскому. Только вечера и праздники в его бесконтрольном (без гудка) распоряжении.

Вечер. По ликинской дороге и по просеке в сосновом лесу гуляет дулевская молодежь. Дружные песни, смех, шутки. Мужская молодежь составляет обычно свой хор, женская—свой. Соединяются редко. Но чаще молодежь проводит вечер в театре. Дулево—одно из тех мест, где культурно-просветительная работа находится в серьезных руках и поставлена основательно. Здесь работают кружки: музыкальный, драматический, литературный, художественный, физического воспитания и т. д., при чем в одном только кружке физического воспитания состоит несколько сот членов, принимающих в жизни кружка самое активное участие. В Дулеве есть клуб рабочей молодежи, лучший клуб в уезде после Орехово-Зуевского. Есть приличный театр, вмещающий до 500 человек. Спектакли и доклады здесь чередуются с танцами и гимнастикой.

В день моего приезда, из Орехово-Зуева приезжал инструктор-спортсмен. Зал был переполнен молодежью. Гимнастические упражнения, в массе очень красивые, проделывались разом двумя, тремя сотнями дулевских спортсменов. Вечером были танцы. Под музыку своего же оркестра несколько сот пар одновременно кружились по обширному залу. Это было исключительное зрелище...

Увлечение спортом здесь захватило, кажется, всю молодежь. И не только молодежь... На первом месте футбол. Дулевская футбольная команда—одна из самых сильных в уезде. В дни, когда она уезжает на состязание в Орехово-Зуево или другой ближний город или село, можно наблюдать интересные картины: по всем окрестным дорогам—через леса и болота—тянутся с узелками в руках сотни своеобразных паломников: это дулевские любители футбола идут за 15—20 верст посмотреть, «как наши будут сражаться». И в толпе этих паломников не только молодежь, но и седовласые старцы. Вот случай, пахнущий анекдотом: во время матча между орехово-зуевскими и дулевскими футболистами, один из дулевских спортсменов сделал неудачный ход; вдруг на площадку из толпы зрителей вырвался старик и бросился к неудачнику с кулаками; старика во-время поймали и увели с площадки; но уходя, старик, вне себя, кричал:

— Подожди, негодяй, ты у меня вернешься домой, я тебе покажу...

Оказалось, что это отец промахнувшегося спортсмена.

Увлекаются здесь не только футболом. Раз в воскресенье рано утром я сидел в лесу, на поляне за версту от Дулева. Вдруг мимо меня торопливо прошли четверо молодых рабочих, пересекли поляну и на противоположной

опушке начали поспешно раздеваться. Этому можно было удивиться: глухой лес, вдали от людей... Разделись, стали в ряд и дружно начали проделывать вольную гимнастику. Потом на сучьях ближнего дерева, они проделали, что полагается делать на трапеции, затем, встав в ряд, пустились бежать на перегонки по опушке поляны. Все это почти молча, сосредоточенно серьезно и в голом виде... У всех прекрасные тела и здоровые лица... Потом они оделись и ушли. Я со смехом рассказал в Дулеве знакомым об этом случае.

— Это у нас обычно. На спорте и гимнастике теперь все помешались. Спасают себя от фабричной пагубы—чахотки.

А на ряду со спортом и гимнастикой увлекаются и искусством. Процветает, например, литературный кружок, приглашающий руководителей из Орехова-Зуева. Один из членов кружка недавно написал драму, которая с хорошим успехом ставилась в местном театре. Года полтора назад здесь организована профтехническая школа, где, кроме общеобразовательных предметов, изучается рисование, лепка и все виды фарфорового производства. Раза два школа устраивала выставки рисунков и лепных работ. Кстати, до самого последнего времени на фабрике, в живописной, были (и есть еще) старики художники, которые всю жизнь посвятили на создание, например, теории теней. Один такой чудак мне рассказывал, как он «своим умом» доходил до этой премудрости. И вдруг, теперь, в школе, всю эту теорию проходят... в год. Сколько было напрасного труда!

Так живет молодежь—у ней широкая дорога. Взрослые заняты семьей, хозяйством, огородами (почти у каждого рабочего есть огород). Характерно, что летом большинство рабочих переселяются из казенных (очень тесных) квартир в собственные «дачи», как их здесь называют «майки». Майки—это маленькие амбарушки с полом, с окнами. Тесной улицей сгрудились они по лугу против завода. Перед окнами у каждой майки грядка цветов, столик, скамейки; здесь по вечерам рабочий с семьей пьет чай, отдыхает.

Довольно большая группа служащих и рабочих занимается охотой. Охота здесь великолепная,—в лесах и болотах много зайцев, лис, тетеревов, уток.

## Губинское.

От дулевской фабрики—в глубь лесов и болот, к деревне Губинской, на знаменитые губинские торфяные разработки идет тоненькая линия узкоколейной железной дороги. Эта дорога—завоевание последних лет. Еще недавно—перед революцией—через эти леса, мимо этих болот тянулись к дулевскому заводу и к орехово-зуевским фабрикам и заводам длиннейшие обозы, везущие торф. Теперь по вековым угрюмым лесам слышится пронзительный посвист маленького коломенского паровозика и грохот узкоколейных торфяных вагонов, сделанных в виде ящика.

От дулевской фабрики в Губинское мы едем в таком вагоне-ящике, наложив на дно шпал для сиденья.

С нами едет начальник движения этой дороги, один из заведующих разработками, инженер-архитектор и двое служащих цуторфа. Поезд задержался: ждали какого-то подрядчика. В соседнем вагоне-ящике поместились рабочие-торфяники. Я слышу разговор:

— Скоро что ли поедем?

— Надо быть, скоро, ишь *лица-то* какие уселись. Не будут же они ждать по-напрасно.

И ждут не волнуясь.

Я смотрю на эти «лица», которые не будут ждать по-напрасно.

Эти строители—инженеры и архитекторы, — это молодая Россия. Они только-только, год, два, три выступили на работу. И самому старшему из них едва ли будет тридцать лет. И я знаю, что вот этот, молоденький, безусый, недавно испеченный инженер—уже побывал в двух чрезвычайно крупных экспедициях — одна шестимесячная — в тундру, куда-то в устье Печоры на геологические изыскания.

Их лица сухи и энергичны, в глазах—деловой холод. Ни расплывчатости, ни мягкости и, может быть, ни мечты. Впрочем нет, вчера я слышал, как архитектор, собирающийся работать в Москве в будущий большой строительный сезон (по его мнению, недалекий), с восхищением говорил о массе свободных угловых мест, на которых можно построить прекрасные здания.

Я вспоминаю Туманова, Грачева с его сожженными руками... Нет же, не только дело, но и мечта, предведение и предчувствие толкают их на изыскания, исследования, заставляют сжигать и жизнь и руки...

Поезд пошел с грохотом, скрипом. Опять леса горели, болота. В болотах то там, то здесь белые будки, это—торфяные машины; их оставляют на зиму прямо на местах разработок, потому что перетаскивание тысячепудовых котлов и машин по болотам сопряжено с огромными трудностями, и затратами. Возле белых будок копошатся черные люди. От одной будки поднимается дымок.

— Что это за люди?

— Это рабочие и слесаря из Губинского, проверяют машины, готовятся к сезону.

На пути, в двух местах, упавшие вагоны и груды торфа—крушение. На узкоколейке такие крушения бывают часто: дорога проходит по болоту, почва постоянно ползет, больших трудов стоит поддерживать насыпь.

Широким загибом, об'езжая обширные губинские болота, поезд подходит к конечной станции. Здесь для паровоза построено деревянное депо, а недалеко от депо—две огромные только что отстроенные, блещущие золотом своих стен и крыш казармы для рабочих торфяников. Вдоль дороги—справа и слева—бурые холмы торфа. Его свозят сюда с болот на лошадях, а уже отсюда по узкоколейке к дулевской фабрике и к станции железной дороги.

Большой толпой мы пошли в Губинское.

Губинское—это деревня, хотя здесь две или три старообрядческие церкви... Но в старые царские времена—раз церкви не православные—значит

деревня. Эта деревня особенная: она тянется на две версты в длину и настолько многолюдна, что в России мало сел таких населенных. Прошлое этой деревни замечательное: во времена Никона несколько семей старообрядцев бежали сюда в эти леса и болота (за сто верст от Москвы) и здесь основались. К ним не было ни проезда, ни прохода. Очень долго разрастающаяся деревня не признавала никакой власти: за болотами и лесами жили от'единенно и независимо. И только при Николае I сюда было прислано две роты гвардейцев, которые «усмирили» деревню. К этому времени в Губинском насчитывалось уже две тысячи народа. Гвардейцы прожили в Губинском год,—и легенда говорит: вот откуда эти необыкновенные красавцы и богатыри, что встречаются теперь среди губинских крестьян.

Губинцы народ сплошь рослый, сильный,—чисто великороссийского типа. Они предприимчивы, хитры.

Первое впечатление от деревни: вся деревня строится. На всем протяжении—две версты—возле каждого дома новые срубы: избы, сараи, амбары, клети, изгороди. Золотистые гладко выструганные сосновые стены светятся на солнце. Новые дома поползли во все стороны,—будто старое дерево пускает новые золотые ростки.

На окраинах деревни—на задворках—виднеются красные и бурые здания фабричного типа: это—маленькие мануфактурные фабрики; их здесь много, почти десяток, ими до революции жила и богатела деревня, а теперь они закрыты, станки и машины из них вывезены, а здания стоят мрачные, как гроба. В средине деревни несколько каменных двухэтажных домов. В одном из них помещается местное отделение цуторфа. Мы заходим в этот дом. Высокие, обширные комнаты, широкие чисто европейские окна, паркетные полы, со вкусом оклеены стены, лепные потолки—словом, дом в пору столице. Это в болотах, в лесах, за несколько десятков верст от железной дороги. Оказывается, дом принадлежал местному купцу миллионеру. Но мне говорят, что таких домов—обширных и культурных—в Губинском несколько.

— Здесь любят жить широко,—даже простые избы строятся так, что хоть катайся.

— Куда ушли хозяева этого дома?

— Пока здесь живут в нижнем этаже, им отвели несколько комнат. Они стеснены, но открыто не ропщут. Прежде, до нэпа, как будто бедствовали, а теперь снова принимаются понемногу и за торговлю и за кустарничество. Опять создают богатство.

— При нэпе Губинское встряхнулось, опять забурлило, вот видите—строится, богатеет, опять завело дело с Москвой, с Орехово-Зуевым,—работает... Народ здесь крепкий, предприимчивый...

Мой собеседник показал в окно на улицу. Прямо перед домом, на углу—плотно стоит каменная часовенка с большими иконами на все четыре стороны. И вот—кто ни пройдет—мужчины, женщины, парни, девушки—уже нечего говорить о стариках и детях—все останавливаются и крестятся широким старообрядческим крестом, кланяются низко, в пояс, и молятся не на одну

икону, а на три: на одну при подходе, на другую—сбоку, проходя, и на третью уже повернувшись.

Как раз было воскресенье и из ближайшей моленной густой толпой шел народ,—и перед часовней все останавливались и точно по команде начинали креститься...

— Но,—заметил мой собеседник,—эта религиозность не мешает тому, что в Губинском частенько бывают и кражи и даже убийства. Странный народ. У некоторых это считается удалью—обокрасть кого-нибудь, даже своего соседа. На этот счет про губинцев ходит куча анекдотов. Есть воры старинные, родовые, так сказать. До революции они как-то стеснялись, а теперь распоясались окончательно.

— А как же относится к ним население?

— Боятся, молчат, покрывают. Но если уж те выведут их из себя,—расправляются жестоко. Вот недавно, некий Селезнев убил одного крестьянина,—так его живым сожгли...

И рассказал историйку.

— ...Убил и скрылся. Мужики собрали сход и бросились в погоню. Нашли его в соседней деревне за восемь верст и с боем повели в Губинское. Было выяснено, что с Селезневым участвовало еще несколько человек... Мужики били Селезнева, пытали, требовали, чтобы он назвал соучастников. Тот молчал. Тогда на окраине деревни развели огромный костер, привязали Селезнева к жерди за руки и за ноги и повесили над костром... Через пять минут Селезнев закричал: «Скажу». Его сняли с костра. Тот отдышался и опять: «Не скажу». Его опять в костер. Рубашка на нем сгорела, волосы обгорели, кожа стала чернеть и лопаться, он опять закричал: «Скажу». Его вытащили. Он полежал, отдышался и решительно сказал: «Сжигайте меня, а не скажу». Его положили в костер, кожа вся полопалась, кровь льется, шипит, он корчится, но ни стона, ни слова,—так и сгорел—не сказал.

Или другой случай:

— Недавно в театре милиционер хотел арестовать трех парней, хулиганивших во время спектакля. Те вынули револьверы и пригрозили милиционеру. Милиционер вышел из театра, подождал, пока парни вышли на улицу и здесь убил всех троих...

Или еще:

— Три подростка узнали, что ночью из Губинского уезжает торговец. Они вооружились ружьями, подстерегли его у кирпичного сарая, на окраине, и застрелили. Случайно их увидела женщина, прибежала в село, сказала, кто и как убил. Мужики бросились искать убийц. Но те успели скрыться в соседний город, пробыли некоторое время, а теперь вернулись в Губинское и спокойно живут...

* * *

Мы по делам идем к Ивану Иванычу, бывшему купцу и фабриканту, ныне подрядчику на торфяных разработках. Это — сытый, большой, смею-

щийся человек, но в улыбке, в сразу обрывающемся смехе, излишней возбужденности видать: Иван Иванович себе на уме. Он живет в своем доме, но занимает только две комнаты из семи. Комнаты сплошь уставлены сундучками, укладками, забиты неуклюжей мебелью, а передние углы увешаны темными старинными иконами, с горящими лампадами перед каждой. На полочке под иконами—толстые книги. Он с лишней оживленностью сажает нас, весело суетится, кричит во все горло:

— Марфуня, давай-ка самовар.

Этакий разбитной хозяин. Дела он решает быстро, точно. без записей, и еще в торфяной конторе я слышал отзыв о нем: «С ним работать—одно удовольствие». И теперь в пятнадцать минут дело сделано.

И дальше—разговор вне «дел».

— Как вы живете?

Иван Иванович рассыпался смешком:

— Какая наша жизнь? День да ночь—сутки прочь. Делов настоящих нет, размаху нет, как же можно?..

И вдруг спохватился:

— Ну, теперь все же, благодаря Бога, начали оживать. Теперь у нас видимость появилась, а прежде—хоть в петлю. У нас что? У нас ведь коренные мужики пахари плачут: земли нет, а если нас всех на землю голую посадили—беда. Была у меня фабрика,—сто семей кормилось, и всем хорошо было. Ну,—отняли, я не ропщу: у всех отняли, значит, так богу надо, а только что же? Сто семей, окромя меня, на улицу пошли.

И опять веселый смешок.

Немного спустя мы разговаривали с мужиками—возчиками торфа.

— Прежде у нас по пять, по восемь лошадей на семью было, потому вывозка большая. А ныне все сокращается.

— Сокращается потому, что провели железную дорогу?

— И это само собой. А главнее всего—справиться мы не можем после того, как взяли у нас лошадей.

— Что же, плохо?

— Плохо не плохо, а все же. Знамо, теперь лучше стало. Теперь что? Теперь как ни работай, а пуд хлеба в день заработаешь. По нынешним временам и это благодать. А прежде-то, вот два года—ни тебе купить, ни тебе привезти,—поедет кто за хлебом или умрет, или убьют, или заболеет тифом. Вспомнить страшно. Теперь куда лучше. Теперь жить можно. Главное, терпимо. Вот на лето сильная надежа. Похоже, большая работа будет. Отудобим.

— А другие как?

— Что ж, и другие ничего. Теперь много в торговлю пустилось—в Москву ездят за товаром, а туда и масло везут, и кожи, и яйца—такие землепроходы стали иные, всю Россию из'ездили, знают, где что можно добыть выгодно.

Вечером деревню было не узнать. На обоих концах собрались хорово; девки пронзительно запели, так что гул пошел по ближним лесам. Запищі гармоники, заорали оглушительно парни. У ворот—на лавочках — сидят і жики, бабы, старухи, немигаючи, смотрят на нас,—будто глазами хотят ( стрелить, провожают взглядом долго, молча, и когда мы проходим дале начинают шептаться. Жизнь скучна, и каждый новый человек—событи Везде на окнах гардины, цветы, а народ поглядеть, сытый, здоровый...

Это местные,—с бытом крепким, не только несломленным, но и нет| нутым будто революцией. А вот новое: на торф, на разработки с'ехалі много новых людей—из мест разных; есть один техник, приехавший Крыма. Будто Губинское—новая Калифорния с бурым золотом. Очень отв ственную работу по заведыванию ремонтом всех торфяных машин исполні некто Никонов, бывший слесарь из Орехово-Зуева, человек энергичный предприимчивый. В короткое время он сумел организовать мастерские, і брал штат опытных рабочих и отремонтировал все машины, разбросанн по окрестным болотам. Он семейный—жена и двое ребят,—работа отнимі у него бо́льшую часть суток, и все же он находит время учиться, много ı тает, даже пишет рассказы, принимает участие в работе местного драма' ческого кружка. Он полон веры, энергии, своеобразной смелости.

— Мы дело поставим. Только бы поменьше людей с казенным сердц( Надо, чтобы кипело, горело. Как прежде создавались богатства? От зари зари трудились. Вот вызвали меня однажды ставить машину на крупоруш к купцу миллионеру Кикину. Поставил я, и говорю приказчику: «Вот ı этой шестерней надо устроить деревянный капор, а то машинист полез ногой в шестерню». Утром чуть свет прихожу на мельницу, сидит стар чишка в посконной рубахе, в посконных штанах, делает капор из тоненьк дощечек. Я ему: «Что ты, старый чорт, делаешь? Разве это капор? Челов наступит, провалится и попадет в шестерню»... «О? Аль надо, чтоб челове держала?» «Ну, а ты думаешь для чего?» Старик сейчас же принес толст доски и этак живо начал сбивать капор. Приходят приказчики, гляжу—і этак горошком забегали... «Михал Михалыч, Михал Михалыч»—это к ст рику-то. Я тихонько спрашиваю: «Кто этот старик?» «Это сам Кикин А, чорт,—я же его обругал. Ладно, кончил старик делать капор, я подхо: и говорю: «Вы меня извините, Михал Михалыч, я обругал вас». «Что ты, б с тобой, так нас и надо, если мы не соображаем. Дураков надо учить и па кой, и скалкой. Вы молодые должны больше знать...» «Да что же это вы, са Михал Михалыч, сказали бы плотнику?» «Ну вот—когда ты меня ругал, х рошо было: в тебе разум говорил, а теперь говорит глупость. Плотник? ( пять рублей запросит. Это раз. А потом—зачем я поручу дело другому, еже. я сам могу сделать? Ты, брат, молодой еще—сам до всего доходи, свой гл зок—смотрок, чужой—стеклышко. Живое дело наемников не любит. А пло ник—чужой человек».

— Вот я думаю,—продолжал Никонов,—и нам так самим все делать, не считаться ни с часами, ни с чем. Работай, сколько дело требует, работ

с любовью, а не так тяп-ляп свои часы отработал и будет. Поменьше бы наемников.

Это, несомненно, работник новый. Я слышал, как о нем, посмеиваясь, говорили: «Ломит, как чорт, а что, аль ему больше других надо? Карьеру делает»...

О мужиках Никонов говорит так:

— Хороший народ, твердый, но только самый жесткий собственник,— и для них наша общественность страшнее чорта. Но если надо помочь просто, по-человечески, помогут. Вот ребятишек-волжан целых два года кормят, заботятся как о своих... Есть очень интересные мужики. Революция всколыхнула, заставила работать; теперь, если поверят в свои права, новым народом будут. Кажется, уже поверили. Видали? Все строится, разводят скот, птиц; пчел; один крестьянин около ста ульев имеет, прямо американец местный. Сильно работают.

# Пробуждаясь...

**Е. Медынский.**

## I.

...Мы не нашли себя в революции. Бурно-разрушающие вначале, спокойно-созидающие теперь волны ее катятся мимо нас.

Одинокой и тусклой, рассудительной и бездеятельной была жизнь интеллигенции в эти годы величайших событий истории.

Мы колеблемся и рассуждаем, что делать, как отнестись к окружающему:

«С одной стороны, конечно... но когда видишь на-ряду с этим возмутительные факты»...

Без красивой мечты и ярких порывов, без действенных увлечений и смелых дерзаний, мы не имеем ни воли, ни цельности мысли:

«С одной стороны, конечно... но когда видишь на-ряду с этим»...

Только это *на-ряду* и сумели интеллигенты увидеть в революции, просмотревши из-за мелькающих теней сияющий лик Революции, скорбно-тщательно подбирая каждую щепку, летевшую под расчищающими ее ударами.

Мы даже не ужи из Горьковской «Песни о соколе». Уж, по крайней мере, «долго думал о смерти птицы, о страсти к небу».

Уж только после неудачной попытки взлететь стал иронизировать:

«Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу».

Уж все же попробовал взлететь в небо, хотя на его глазах *погиб* сокол. *Интеллигенция же осталась на земле, свернувшись в клубок*, с самого начала октябрьской *революции*, ни разу не попытавшись взлететь вместе с нею.

...Гагары из «Буревестника» Горького:

«И гагары тоже стонут. Им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни».

Нет, даже не гагары. Гагарам совершенно недоступно наслажденье битвой жизни. Ну что ж! На нет и суда нет.

Но русская интеллигенция принимала когда-то живое участие в этих битвах. Подготовляла революцию, ждала ее.

И в решительный момент, ужаснувшись—не понявши—отрицая, отошла.

* * *

Мы смотрим, только смотрим на революцию вот уже около 6 лет.

Одни с ожесточением, другие с болью или суровым осуждением, третьи с иронией или недоверием, часть с любопытством сторонних наблюдателей, некоторые с интересом, немногие с сочувствием... Но все—не понимая.

Большинство брюзжит и критикует, некоторые остро ощущают свое одиночество и безыдейность, небольшая часть мечется от *почти* полного признания до почти полного отрицания, в безволии и колебаниях своих никогда не переходя этого *почти*.

«С одной стороны, конечно... но когда видишь»...

И вспоминаются слова Блока:

«Что же вы думали? Что революция идиллия? Что творчество ничего не разрушает на своем пути? Что народ паинька? Что сотни обыкновенных жуликов, провокаторов, черносотенцев, людей, любящих погреть руки, не постараются ухватить то, что плохо лежит?..»

* * *

Запоздалые признания... внешние сдвиги.

Эта революция в представлении интеллигенции была:

сначала политической авантюрой («чрез 2 недели... месяц... чрез 2 месяца), затем захватом власти («узурпаторы»), потом стала политическим переворотом и, наконец, значительно позже октябрьской революцией.

Вы помните? Сначала откровенный отказ от работы.

Затем попытки уйти от сотрудничества с Советской властью в кооперацию и учреждения, не успевшие еще стать советскими. Выжидали. Потом постепенный переход на советскую службу.

— *Вы, я слышал, поступили на советскую службу?*

И как бы извиняясь, в ответ:

— Что ж будешь делать, надо ведь чем-нибудь жить (ставки тогда еще имели значение, начинали вводиться пайки).

Наконец пришло сознание долга работать, признание ошибкой былого саботажа.

Внешние сдвиги...

Внутри же шла непрерывная работа мысли.

И сейчас—*на распутьи*.

Одни, повернув, далеко пойдут назад и, *миновав былые позиции*, очутятся в Белграде.

Другие от звенящих звуков революции, от надежд, разочарований и новых надежд (несбываемых), от крови гражданской войны и задымившихся снова заводов,—утомленные, уйдут в тихую обитель мистицизма.

Многие направятся в Берлин и Париж. Часть останется на месте, откровенно перейдя к безыдейному «живем помаленьку», лойяльные, равнодушные.

Некоторые... всех не перечтешь. Пускай идут — бледные тени прошлого в царство теней. Но многие, пробудившись от мучительного 6-летнего сна, радостно-творчески сольются с революцией.

Уже осознанное отношение прорывается у *отдельных*. Наблюдая и ощущая, оценивая или впитывая, анализируя или отдаваясь—они излагают или поют. Одинаково исповедуя, различно выражают, так как не могут молчать.

У многих оно задерживается лишь выявлением.

За эти 5 лет отрицательно-критическое отношение не то к коммунизму, не то к коммунистам, не то к революции, не то к Советской власти стало в интеллигентских кругах как бы *признаком хорошего тона*.

Иной готов заявить, что отношение его в корне изменилось, но возникают опасенья:

«Что станет говорить княгиня Марья Алексевна»! Один боится, как бы не заподозрили в нем корыстных стремлений, готовности «приспособиться».

Другому не хочется «*итти на поклон*» или стать в положение кающихся.

Третьему кажется, что он проявит то самооплевание, в котором и без того часто и много обвиняли интеллигенцию.

Порою чувствовалось, что вот-вот громко и твердо сказано будет это, назревшее. Но *оттуда* чуждо звучали вдруг речи о буржуазных настроениях, развертывался нэп...

И уже оформленное уходило не выявленное; пряталось, не исчезая: «несвоевременно» или «нетактично» или «подумают—под влиянием нэп'а»...

Многих смущала запоздалость признания.

Ясно отдающие себе отчет в совершившемся переломе, охотно говорящие о нем в кругу близких друзей, многие интеллигенты не решаются сказать это Urbi et orbi.

## II.

> **Русской интеллигенции точно медведь на ухо наступил: мелкие страхи, мелкие словечки.**
>
> *А. Блок.*

Вы помните былые определения интеллигенции?

Хотя бы Иванова-Разумника:

«Интеллигенция есть этически — антимещанская, социологически—внесословная, внеклассовая, преемственная группа, характеризуемая творчеством новых форм и идеалов и активным проведением их в жизнь в направлении к физическому и умственному, общественному и личному освобождению личности».

Антимещанство! Творчество новых форм и идеалов! Активное проведение их в жизнь! Для огромного большинства нынешней интеллигенции—где вы сейчас?

Именно потому, что вы были когда-то, что были Перовская и Вера Фигнер, что многие из нас знали тюрьмы и ссылку, что мы были «бездомны, бессемейны, бесчинны и нищи», что никогда не мирились с пасмурным сегодня, веря в солнечное завтра,—именно потому так остро чувство одиночества сейчас, так сумрачны настроения в это беспорядочно-стройное, солнечное время, о котором мечтали вчера, в котором разочаровались сегодня.

Тогда—серая действительность и полная жизнь ярких порывов и смелых надежд.

Теперь—звучащая ревами и мелодиями, свистом и гимнами, полная стремительных надежд и задумчивых разочарований, разрушающая-созидающая жизнь, вся творчество, вся движение. И бездеятельная тоска воспоминаний интеллигента.

Типичным признаком мещанства Герцен считал умеренность и аккуратность: «*Чинный*—это настоящее слово для характеристики мещанства».

А нынешняя интеллигенция как на причину неприятия революции указывает чаще всего именно на *бесчинства.*

«Старые, трафаретные формы — вот что дорого мещанству, вот что является его знаменем»—замечает Иванов-Разумник.

Но об этих старых или во всяком случае устаревших формах (по разному их называя), мечтает сейчас интеллигент.

Мечтает? Неверно. Тоскует.

Мещанство—всегда недовольно. Всегда критикует.

Но это недовольство—не протест против главного, идейного, но всегда черточки-черточки—мелкие факты. Не удары бушующей мысли, вьется тягуче-бубнящее, липкое.

Всегда без идеалов.

У нынешней интеллигенции идеалов не стало.

Общественных идеалов (свои-то, домашние, остались).

* * *

Ну, недовольны... А что же взамен? Царизм? Нет, конечно! Только не он.

Кадеты? О, их диктатура (иным не может быть их появленье у власти) превзошла бы ужасы самого страшного террора. Их «реформы» внесли бы в наладившийся уклад жизни и пусть медленно, но возрождающуюся хозяйственную жизнь такое разрушение, пред которым бледнеют 18-й и 19-й годы. Их «внеклассовая» политика (вы помните? они себя так величали) согнула бы в бараний рог крестьян и рабочих и заодно значительную часть интеллигентов. Гражданская война между народом, отвыкшим от барина и этим барином—пришедшим, явившимся—разгорелась бы упорная, жестокая и длительная. В армии (никакой политики и строжайшая дисциплина) был бы введен режим, пред которым времена Николая I—детская поблажка. Тысячи проживших за границей бездельников, как вороны, на поле смерти,

потянулись, расхищая остатки народного имущества (если только за «возмещением убытков» барина что-нибудь останется там). Нет! только не кадеты!

Учредительное Собрание? Но, конечно (вы понимаете), не то жалкое бессильное собрание 18-го года, которое победить не могло, умереть не умело, а постыдно ушло. Какое же? Всякое иное привело бы, если б успело собраться, к тому же режиму кадетов (в сюртуках или синих поддевках).

Если б успело собраться... Но никакое Учредительное Собрание, никакое «народовластье» (если даже допустим, что такое бывает вообще) теперь и в ближайшие годы немыслимо.

Попытка обратиться к нему привела бы к гражданской войне, последняя к отмене (прямой или под видом отсрочки) выборов и введению диктатуры. Так бьется, беспомощно вращаясь, мысль интеллигента. И оттого—нет идеалов.

Всякая новая *реальная* власть втоптала бы в грязь социальную правду революции, внесла в то же время страшную разруху, кровь и жестокость.

Интеллигент поэтому и не мыслит реальной власти. И может быть больше: всякую иную реальную власть, пришедшую теперь, значительная часть интеллигенции встретила бы недоверчиво, а некоторые даже враждебно.

Если у многих и есть тоска по иной власти—это маниловская, недейственная тоска о власти идеальной, которой (они понимают) никогда не было в действительности и не бывает.

И оттого нет идеалов, нет творчества новых форм. Что уж говорить об активном проведении в жизнь того, чего нет!

И оттого так остро, взамен идеалов и достижений развернувшейся революции, воспринимается ее сор: та грязь, которая всегда несется бурным потоком разлива, всегда всплывает на поверхность его.

Антимещанство! Творчество новых форм и новых идеалов! Активное проведение их в жизнь—черты юной когда-то интеллигенции—где вы теперь?

Не исчезли... Старое старится, молодое растет. Тяжело сознавать наступившую старость. Трудно соглашаться с идущим на смену молодым. Меры не знает это молодо-зелено. Все крайности—крайности...

Не ушли: переместились. От грустно-вспоминающих к неистово-творящим.

## III.

Где были увлечения и порывы—настала апатия. Где вековой сон, все полно творческого движения. Десятилетиями мечтала интеллигенция о пробужденьи народа. Проснулся он—заснула она.

Разве не счастье—жить в эти годы. Немногим из людей дается оно. Когда-нибудь стыдно и больно будет вспомнить, как прошли они для нас; верней: мимо нас.

Разве не преступление спать, свернувшись в клубок, выжидая... Чего?

«Всем телом, всем сердцем, всем сознанием—слушайте Революцию»—завещал Блок.

Я хочу и смогу не только слушать Революцию, но и звучать вместе с нею. Не только смотреть на нее, но и сверкать в ее прекрасных лучах, жить в ней и ею.

Кто скажет: «Такие, как ты, не нужны»—не понял, не ценит революции.

Нужен ли я ей? Не знаю... Не я, так другие—найдутся у ней.

Одна мне нужна! Счастьем слияния, радостью творчества.

Творчество жизни—Революция.

Я знаю—революционные достижения всегда меньше революционной мечты.

Но таково всякое творчество.

Самая красивая симфония—лишь слабый отголосок дивных звучаний композитора. Самая прекрасная картина—лишь бледное отражение чудных видений художника.

Пусть в преодоленьях своих революция пошла на уступки, пусть в жизненном пути ее на-ряду с серпом и молотом показался толстый кошелек, бок-о-бок с сверкающим взглядом рабочего забегали то алчные, то масляные глазки нэпмана; между рабочих блуз выступает смокинг—все это так же мало порочит революцию, как вовсе не порочили алчные хищники, уцепившиеся за ее колесницу в прошлые годы.

Лохмотья нэпа—разве делают тело Ее менее стройным? За маской нэпа разве лицо Ее менее красиво?

* * *

Что это? Сменовеховство?—спросят иные. Нет, больше.

Сменовеховцам нет ровно никакого дела до социальной правды революции, до красоты ее исканий и достижений, симфонии ее переходов.

Ненавидя революцию, безуспешно боровшись с ней, они лишь терпят ее, не любя.

В революции, желающей, по верному замечанию Блока, «охватить весь мир»—они сумели разглядеть лишь Россию.

От всей многогранности революции—они ухватили лишь маленький осколок—ее мощь, ее власть.

И если б завтра, на смену власти нынешней пришла другая, которая показалась бы им такой же мощной, они так же приветствовали бы ее, как приветствуют власть нынешнюю.

В мировых звуках Революции им слышатся только национальные шорохи.

В вечных сияниях Великой Революции человечества им чудятся лишь временные отблески русского.

Из сундуков царского прошлого вытащили бережно хранимые облачения, проветрили их там, за рубежом, и силятся натянуть на величавую фигуру Революции.

Если нельзя восстановить сразу веры, царя и отечества, приходится

брать понемногу: сначала отечество, а затем? Ну, веру уж конечно: она издавна необходимый атрибут национальной идеи.

Каждому свое—кто что видит в революции, кто как ее понимает.

Одни *только* кровь и чрезвычайку, другие только гобелены из разгромленной усадьбы в крестьянской избе, для третьих революция воплощается в образе хищника, Суворину мерещатся «слуги дьявола, поработившие Россию», сменовеховцам чудится национальная идея даже в звуках Интернационала.

Что ж, пусть...

Другие, творившие ее и сливающиеся с ней, мудро знают, что это лишь *мелькающие тени* Революции.

Кто не достоин увидеть подлинное лицо Революции, кто не смеет взглянуть на безмерные сияния ее—пусть ловит лишь обманчивые ее отраженья.

* * *

Нет! Это—не смена вех. Это радость пробуждения.

Мы спали.

Но, может быть, сон наш был нужен.

Только проснувшись, силоощущая себя, рабочий-крестьянин мог совершить такую революцию.

Только заснувши после утомительных долгих исканий революции, мы не нарушили ее цельности, не внесли в нее ложных звуков, робких движений, интеллигентских сомнений.

Не обезобразили строгий лик ее фальшью белил.

И теперь, оставив там, за октябрем 17-го года, свои сомненья, свою усталость, свою привычку быть учителями, освеженные сном, пробудившись, мы радостно впитываем все Твои звуки и запахи, все Твои движенья и сверкания.

Струями твоими умываясь, молодеем.

Волей Твоей исполняемся.

Мудрой простоте Твоей новой, невиданной учимся.

Строгой непреклонностью Твоею закаляемся.

# Финансово-экономические вопросы на Лозаннской конференции.

**П. Китайгородский.**

I.

Первая Лозаннская конференция сорвалась, главным образом, из-за финансово-экономического вопроса. «Горе-победители»—турки, пользуясь заигрыванием с ними со стороны лорда Керзона, хотели сбросить с себя ярмо финансово-ростовщического капитала, преимущественно французского.

Камнем преткновения второй Лозаннской конференции, тянувшейся около четырех месяцев, явился все тот же злополучный финансово-экономический вопрос в его денежной постановке. Спор шел о том, должна ли Турция погашать долги и проценты по многочисленным займам в золотых франках или в бумажных.

«Турция,—писал предсовком Великого Нац. Собрания Турции в своей декларации от 11/VI, обращенной к союзникам,—может обязаться выплатить проценты по оттоманскому долгу лишь в бумажных франках и, будучи уверена, что всякий другой способ урегулирования данного вопроса несправедлив и невыполним, с точки зрения ее независимости, заранее отвергает его». На этом вопросе, т.-е. на способе уплаты процентов, турки готовы были дать решительный бой наседавшим на них шейлокам из французской биржи.

Непосвященному в «мистику» Лозаннской конференции читателю могло казаться непонятным упорство турецкой делегации в этом вопросе (по словам союзных экспертов, разница между выплатой золотом или бумажными франками равняется всего 100 миллионам франков), после того как турки капитулировали во многих вопросах более существенного значения, как, например, в вопросе о Дарданеллах, вооружениях и т. д. Но внимательное изучение хода переговоров на Лозаннской конференции покажет нам, что дело не в этих ста миллионах, а в гораздо большем. Для раскрытия же «тайны» Лозаннской конференции мы считаем необходимым ознакомить читателя хотя бы в кратких чертах *со степенью финансово-экономической заинтересованности империалистических держав в Турции*. Без выяснения роли, значения и удельного веса финансового капитала в Турции трудно понять, почему Лозаннская кон-

тель так долго тянулась, почему эта конференция застопорилась на таком, казалось, маловажном вопросе, как вопрос о том, в какой валюте выплачивать проценты.

## II.

Из всех союзников финансово и экономически наиболее заинтересованной в Турции является Франция. Капитал последней до войны (в значительной степени и сейчас) был *ссудным, ростовщическим, паразитствующим*. Он поэтому получил возможность распуститься махровым цветком на теле «больного человека», каким была Турция Абдул-Гамидов. Как огромный спрут охватывает своими щупальцами свою жертву, так французская биржа запустила свою «золотую ручку» в несчастную Оттоманскую империю. Буквально вся экономика страны оказалась под контролем и политическим воздействием Франции. Все командующие высоты страны находились в руках иностранного капитала, возглавляющегося французской биржей. Банки, желдороги, рудники, таможни, трамваи, порты, табачные и соляные монополии и пр., и пр. находились в руках иностранных концессионеров, преимущественно французских.

Главным кредитором Турции уже с 1855 г. является Франция. За период с 1855 г. по 1875 г. Турция заключила во Франции 14 займов. Эти займы, следовавшие один за другим, делались *для того, чтобы покрыть проценты по первым займам*. На сколько одни только проценты пожирали доходы государства, можно судить по тому, что из 18 миллионов турецких лир ежегодного дохода на погашение долга и уплату процентов тратилось 14 миллионов турецких лир.

Если до русско-турецкой войны анлийский капитал почти на одинаковых правах соперничал с французским, то с 1879 г. Турция попадает в полную кабалу французского капитала. Дело в том, что Англия после захвата в 80-х годах прошлого столетия Египта и Кипра отказалась от части своих долгов в пользу Турции и до «младотурецкого» переворота 1908 г. не экспортировала своих капиталов в Турцию. Франция почти до начала 900-х годов «единолично» царила в Турции. По так называемому декрету «Мухарем» (20-го декабря 1881 г.: «мухарем» по-турецки—декабрь) Турция была буквально отдана под закладную, главным образом, французским кредиторам. «Совет управления оттоманскими долгами», в котором преобладали французы, был фактическим правителем и хозяином Оттоманской империи. Этот «Совет» ведал росписью государственных доходов, доходами с налога на соль, гербовым сбором с спиртных напитков, рыболовства и шелка... Турецкие султаны отдали свою страну под залог иностранным кредиторам с целью облегчения притока внешних займов в государственную казну.

Французские финансисты, поместившие около трех миллиардов франков в Турцию, выкачивали из нее при помощи разных монополий и привилегий все основные рессурсы народного хозяйства.

Что касается других империалистических держав, то до войны вслед за Францией второе место занимала Германия. Немецкий капитал, в противоположность французскому, был по преимуществу *промышленно-продуктивным*. Немцы вынуждены были развивать производительные силы Турции, так как более «доходные места» были уже заняты. Ростовщическая французская республика выдавала займы Турции *на предмет покупки аммуниции у Крезо и на уплату процентов*. Займы же, оказанные немцами туркам, употреблялись *большей частью на уплату заказов по постройке железных дорог в Турции* (Багдадская ж. д., Анатолийская и др.).

Немецкий капитал вызвал к жизни национальные турецкие банки. Ему это было необходимо как громоотвод против французского капитала, чувствовавшего себя хозяином положения в Турции. Немцы взяли курс на турецкую буржуазию, в то время, как англичане и французы ориентировались на армяно-греческую торгашескую буржуазию. Здесь сказалась «позитивная» роль немецкого капитала, не мало содействовавшего зарождению национальной турецкой буржуазии. Немецкий капитал, так сказать, «сращивался» с турецкой нарождающейся буржуазией, видя в ней своего союзника в борьбе с англо-французской конкуренцией.

Немцы содействовали интенсификации земледелия в Турции, поощряли разведение хлопка. Особое рвение они проявили в деле индустриализации Турции во время войны.

Борьба империалистических держав из-за «сфер влияния» в Турции особенно выпукло отразилась в погоне за железнодорожными концессиями. И здесь, как в остальных отраслях финансовой деятельности, главными дирижирующими державами явились Франция, Англия и Германия.

Накануне войны каждая из этих держав контролировала железнодорожную сеть Турции в следующей пропорции:

| | | |
|---|---|---|
| Франция . . . . . . . . . . . | 2.077 | километров. |
| Англия . . . . . . . . . . . . | 610 | „ |
| Германия . . . . . . . . . . . | 2.565 | „ |

Сумма капиталов, вложенных в железнодорожные предприятия:

| | | |
|---|---|---|
| Франция . . . . . . . . . . | 550.238.000 | франков |
| Англия . . . . . . . . . . | 114.693.675 | „ |
| Германия . . . . . . . . . | 466.078.000 | „ |

Франция поместила в общем в Турции 3 миллиарда франков или 60,31%; немцы—21,31%, а англичане—14,19%. В промышленных предприятиях Турции отношение капиталов этих стран было таково:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Франция . . . . . . . | 902.893.000 | фран. | — 53,55% |
| Германия . . . . . . . | 552.658.000 | „ | — 32,77% |
| Англия . . . . . . . . | 230.458.000 | „ | — 13,66% |

Интересно отметить, как менялась заинтересованность англо-франко-германского капитала в «оттоманском долге», *который к моменту войны достиг цифры в 140.000.000 тур. лир* (тур. лира = 23 фр.):

| | 1881 г. | 1898 г. | 1914 г. |
|---|---|---|---|
| Франция | 38,9% | 35,0% | 60% |
| Англия | 28,9% | 8,5% | 14% |
| Германия | 4,32% | 9,5% | 21% |

Эти две таблички показывают нам, что Англия уже с 1881 г. в финансовом и экономическом отношениях занимает *третье* место после Франции.

По Севрскому договору, немецкие предприятия были ликвидированы или перешли к союзникам. Место Германии заняла Америка. Уже во время войны американский капитал, пользуясь почти отсутствием конкурентов, стал проникать в Турцию. Американский керосин, американский сахар, хлопчатая бумага, мануфактура, бязь, машины, скобяной товар и другие фабрикаты американской индустрии наводнили турецкий рынок. Американской базой является порт Самсун. Вывоз табаку в Америку через этот порт равняется ½ общего вывоза табаку. С заключением концессий Честера Америка становится, что называется, поперек в горле англо-французским капиталистам.

Таким образом, при свете приведенных нами данных цифр нам становится ясно, что одна *только Франция сугубо заинтересована и в промышленном, и в финансовом отношении в Турции*. Что же касается Англии, то она до войны занимала *третье* место после Франции. Вспомним хотя бы, что из всей железнодорожной сети ей принадлежало всего 610 километров. Когда Керзон явился на Лозаннскую конференцию, его финансово-экономический багаж не был по сравнению с Францией особенно тяжелым. Это обстоятельство дало ему возможность легко маневрировать. Перелистывая контр-проект Исмет-паши, выработанный им в Лозанне, мы видим, что в вопросе о Дарданеллах Исмет-паша целиком принял все требования, пред'явленные Англией. Зато в отношении капитуляций, экономических и финансовых требований, в особенности в части, касающейся «оттоманского долга», Исмет-паша почти против каждого пункта союзников выставлял свой контр-пункт.

## III.

Оставляя в стороне вопрос о том, почему английский капитал меньше всего направлялся в Турцию, нам остается считаться только с фактом, выше нами констатированным, а именно: *Англия, по сравнению с другими союзниками, преследовала в Турции больше всего и преимущественно политические, стратегические и территориально-морские цели (Месопотамия, Палестина, Дарданеллы и др.), чем чисто финансово-экономические (14—19% всего иностранного капитала, помещенного в Турции).*

Накануне созыва Лозаннской конференции английская дипломатия с присущей ей гибкостью быстро приспособилась к новой обстановке и из злей-

шего врага Турции превратилась в ее «покровителя». Искусным маневром лорду Керзону удалось повести за собой своих союзников. Он, как известно, отказался итти в Лозанну, прежде, чем жизненные существенные интересы Англии на Ближнем Востоке не будут безусловно и безоговорочно поддержаны Францией и Италией. Как известно, союзники поддались на ловко расставленную Керзоном удочку. В вопросе о Дарданеллах Франция целиком поддержала Англию. Туркам пришлось уступить в вопросах о Дарданеллах, Моссуле и вооружениях, зато они, очевидно, получили негласную поддержку со стороны Англии в вопросах финансово-экономических, в которых последняя была меньше, чем Франция, заинтересована. Мы знаем, что турки в последнем вопросе на первой Лозаннской конференции остались непримиримыми. Британская делегация во главе с Керзоном поспешила ретироваться из Лозанны уже к 4-му февраля, оставив Францию наедине с турецкой делегацией. И мы видим, что именно к этому моменту Исмет-паша представил свой знаменитый контр-проект. В своих замечаниях к проекту союзников он старается свести на-нет все их требования. В вопросе об «оттоманском долге» Исмет категорически заявляет, что вопрос о взаимоотношениях между турецким правительством и «Управлением оттоманского долга» является чисто внутренним вопросом, а посему таковой не может фигурировать в договоре. В отношении займов, заключенных на предмет постройки железных дорог, Исмет-паша требует, чтобы таковые были распределены между Турцией и отторгнутыми у нее территориями. Он, между прочим, аргументирует это свое требование следующим образом: финансовая комиссия, заседавшая в Париже после Балканской войны, этого вопроса не касалась. В Севрском договоре, составленном без участия Турции, союзники не включили в таблицу «оттоманского долга» железнодорожных долгов. Таким образом, заявляет Исмет-паша, теперешние требования союзников не согласуются с здравым смыслом. Турция не может соглашаться, чтобы вопрос о долгах, касающихся Багдадской железной дороги, Сома-Пандерма и Годела-Сенаа, явился предметом дискуссии. В силу этих же соображений он высказывается против знаменитого декрета «Мухарем».

Что касается вопроса об уплате процентов и сумм погашения долгов, то Исмет-паша выдвигает в своем контр-проекте следующие соображения: «1) считаясь с тем, что турецкая валюта значительно обесценена, приходится отметить значительную разницу между бумажной турецкой монетой и банкнотами различных государств Антанты, а потому это делает для Турции невозможным уплатить ежегодные взносы своего оттоманского долга исключительно в золоте; 2) так как на конференции уже неоднократно было указано, что взаимоотношения между турецким правительством и его кредиторами имеют частный характер, то подобный вопрос о роде уплаты не должен иметь места в международном договоре».

В этой только что приведенной выдержке ясно проскальзывает непримиримый тон Турции в отношении французских кредиторов. На второй Лозаннской конференции еще более рельефно выявилось различие точек зрения

по вопросу об организации «оттоманского долга», т.-е. функции «Совета управления оттоманского долга», в особенности о его праве потребовать гарантий для уплаты ежегодных турецких взносов, а также об особых декретах, изданных в свое время в связи с заключенными займами; и, кроме того, вопрос об уплате золотом, эквивалентами или же в бумажных франках.

Разногласия второстепенного значения возникли на второй Лозаннской конференции по вопросу о распределении оттоманского долга между турецкими наследниками. Турция все время выдвигала свои требования, касающиеся ежегодных взносов, раньше причитавшихся за Средиземными островками, ныне от нее отторгнутыми. И здесь на второй Лозаннской конференции турки все время старались подчеркивать, что вопрос о том, в какой форме акционеры «оттоманского долга» могут получить свои гарантии. является вопросом чисто внутренним, так сказать, коммерческим, и должен быть урегулирован между турецким правительством и заинтересованными кредиторами.

Камнем преткновения на второй Лозаннской конференции. как мы уже знаем, явился вопрос об уплате ежегодного взноса в золоте. в золотом эквиваленте или в бумажных франках [1]). Союзники настаивали, чтобы кредиторам было дано право потребовать уплаты золотом. Турки на это не пошли. Ангорское национальное собрание категорически высказалось за то, чтобы оттоманский долг выплачивался в бумажных франках.

Еще на первой Лозаннской конференции турки потребовали. чтобы в основу распределения «оттоманского долга» положить дату 1918 года, тогда как союзники (главным образом, Франция) настаивали, чтобы временем распределения оттоманского долга считать 1-е ноября 1914 года. Турки и в этом вопросе уступили, хотя им несомненно было бы выгодней считать датой распределения оттоманского долга 18-й год, когда формально ее наследники считались еще, так сказать, под турецким подданством.

Наконец, на второй Лозаннской конференции союзники свели сначала к 12 миллионам турецких лир (золотом) суммы, которые Турция должна уплатить в виде репараций. Но. в конце концов, они от этого отказались, согласившись сбалансировать эти 12 миллионов той суммой, которую союзники. согласно Версальскому и Сен-Жерменскому договорам, конфисковали у Германии, а также суммы, уплаченные Турцией Англии за заказанные, но не от-

---

[1]) Паритет французского франка до войны в отношении доллара составлял— 100 франков=19,30 долларов, а в марте 1923 г. за 100 франков в Нью-Йорке платили 6,32 доллара. Цена франка уменьшилась почти в 3 раза.

Ежегодные взносы (включая комиссионные) составляют 9.384.402 тур. золот. лиры или 215.841.246 золот. франков. Так как паритет франка уменьшился в три раза, то, закупая на рынке золотые франки, турки должны потерять огромную сумму. Они поэтому настаивали на уплате бумажными франками по курсу дня, ибо это им дает выигрыш, равный почти 100 миллионам франков. Турки заявили: „Мы должны вам, французам, главным образом, ежегодно выплачивать 215.841.246 франков. Согласны. Но зафиксируем эту сумму в дензнаках 1923 г. Наша лира девальвировала, и ваш франк тоже потерпел маленький ущерб. Мы как будто квиты. Будем расплачиваться бумажками“.

пущенные дредноуты. На второй Лозаннской конференции большинство уступок, сделанных турецкой делегацией, имеет обще-союзнический характер, но отнюдь не направлены на удовлетворение специфических интересов Франции.

Возвращаясь к «оттоманскому долгу», надо отметить, что турецкая делегация настаивала на дате 30 октября 1918 года (Мадрасское соглашение), так как это освободило бы Турцию от излишка в 200 миллионов бумажных лир, которые падали бы на страны, составлявшие к тому времени часть турецкой империи. Союзники же, наоборот, требовали определения срока распределения долга с ноября 1914 года, даты вступления Турции в войну. Союзники, таким образом, хотели возложить на Анатолийскую Турцию все бремя военных расходов.

На первой Лозаннской конференции остались неразрешенными следующие пункты, касающиеся «оттоманского долга»:

1. Дата фиксации «оттоманского долга».
2. Железнодорожные займы.
3. Выплата ежегодных взносов, пропорционально распределенных между Турцией и ее наследниками (Балканские страны, Египет, Месопотамия и др.).
4. Восстановление фонда запасов Триполитании.
5. Подтверждение декрета «Мухарем».

Кроме того, остались еще невырешенными вопрос о военных убытках и целый ряд других вопросов (о признании концессий Константинопольского правительства, заключенных во время войны до 1920 года и т. д.).

Турки, как нами уже отмечено в начале нашей статьи, стремились сбросить с себя финансово-экономическую петлю союзников, преимущественно французов, поскольку ростовщический капитал последних особенно сильно лежит тяжелым камнем на экономической независимости возродившейся Турции. С греками они (турки) заключили «полюбовное» соглашение. Убытки, причиненные греками в Малой Азии, турецкой делегацией исчислены в 4 миллиарда франков. Турки согласились отказаться от «репараций», взамен чего они получили крепость Карагач (это—пистолет, направленный против Болгарии).

Получив от Англии кое-какие небольшие экономические уступки (как, например, отказ от военных издержек), Турция в то же время за свою капитуляцию в вопросах о Дарданеллах, Моссуле (этот вопрос остается «in statu quo» еще на год) и вооружениях получила от Англии еще одну льготу... право «торговаться» с Францией. «В течение всей второй Лозаннской конференции,—жалуется французская печать,—Англия оставила Францию на произвол турецкой делегации». Увы, это право «торговаться» дано Исмету-паше не надолго. В последние дни «союзники» вновь стали выступать единым фронтом против турок.

Керзон принес в жертву экономические интересы правления английской желездороги в Турции ради своей политической цели. Он отказался от возмещения военных убытков, причиненных этой железной дороге. Он поступился «интересами частной собственности английских граждан» ради высокой поли-

тики. Этим он еще раз подложил «свинью» французским акционерам. Турки, в свою очередь, отказались от всех претензий Германии, Австрии, Болгарии и Венгрии, согласно 261 пункту Версальского трактата.

На второй Лозаннской конференции союзники стремились все время расчленить вопрос о купонах от вопроса о концессиях. Турецкая же делегация старалась доказать, что эти два вопроса тесно связаны друг с другом. «Если,— заявил Исмет-паша,—союзники требуют, чтобы мы признали старые концессии применительно к новым экономическим условиям, то они должны к «этим условиям» приспособить и оттоманские займы. Если союзники ничего не хотят изменить в вопросе о долге, тогда мы не хотим менять в условиях о концессиях: ну, например, в том, что компании железных дорог не получат у нас права увеличить свои тарифы по сравнению с 1914 годом»... Исмет-паша мотивировал свой отказ от уплаты золотом тем, что это составило бы одну треть турецкого бюджета. Просматривая роспись расходов и доходов Ангорского правительства за 1921 год, мы видим, что бюджет сведен с дефицитом (в круглых цифрах) в 31 миллион турецких лир.

| | | |
|---|---|---|
| Расходы . . . . . . | 77.000.000 | тур. лир. |
| Доходы . . . . . . . | 46.000.000 | „ „ |

При теперешнем обнищании Турции и 100 миллионов франков являются крупной статьей в турецком бюджете. Но дело, конечно, не в этом.

Союзники в последние дни заявили, что им важно «принципиальное» признание Турцией декрета «Мухарем». Без этого они мира не подпишут. Турки же, по словам «Дейли Телеграф», настаивали на такой формуле, которая фактически уменьшила бы оттоманский долг на две трети. Вот в чем заковыка!

Со многими концессионерами турки, так сказать, частным образом сговорились. С компанией «Режи» (табачная монополия), «Обществом восточных железных дорог», «Железнодорожным Обществом Смирна-Кассаба», «Пандерма-Сенаа», «Газ», «Вода», «Трамвай» и «Константинопольский туннель» турки пришли к соглашению на предмет языка сношений и служебного аппарата. (Турки требовали замены иностранного служебного персонала турецким.) Этим турки в значительной степени поставили союзников перед «fait accompli».

Мы, главным образом, пытались подчеркнуть финансовый момент на Лозаннской конференции. Этот вопрос оказался трудно раскусимым орешком. Чувствовалось, как «некто в сером» руководил за кулисами турецкой делегацией. Последняя порой сама не знала, как ей быть — ложиться спать или вставать. Она очень часто меняла свои решения. Лишь к концу она стала «непреклонной». Относительно меньшая заинтересованность Англии в «оттоманском долге», Рурский конфликт и проникновение американского капитала в Турцию (концессия Честера и др.)—все это было факторами, в значительной степени облегчившими незавидное положение турок на Лозаннской конференции. Но этот вопрос уже выходит за пределы намеченной нами темы.

# К психологии Пушкинского творчества.

**В. Вересаев.**

*(В связи с вопросом о датировке элегии на смерть Амалии Ризнич.)*

В 1823—1824 годах, в Одессе, Пушкин сильно увлекался эксцентрическою красавицей—итальянкой Амалией Ризнич, женою одесского негоцианта. Весною 1824 года она уехала за границу, бросила мужа для любовника, и в начале 1825 года умерла в Италии, покинутая любовником,—как рассказывали,—в нищете.

Пушкин написал на ее смерть элегию:

Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала...
Увяла, наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала;
Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я.
Так вот кого любил я пламенной душой,
С таким тяжелым напряженьем,
С такою нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!
Где муки, где любовь? Увы, в душе моей
Для бедной, легковерной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни пени.

Элегия была напечатана в «Северных Цветах» Дельвига на 1828 год и затем при жизни Пушкина была перепечатана во второй части собрания его стихотворений в 1829 г. Как в этих изданиях, так и в посмертном, элегия датирована 1825 годом.

П. В. Анненков, подготовляя свое известное издание сочинений Пушкина, нашел в его бумагах подлинник элегии. *Над* элегией стояло: «29 июля 1826», а *под* нею—следующие две строки:

Усл. о см. 25.

У. о с. Р. П. М. К. Б. 24.

То-есть: «Услышал о смерти (Ризнич)—25. Услышал о смерти Рылеева, Пестеля, Муравьева, Каховского, Бестужева—24». Смысл второй цифры бесспорен: декабристы были казнены 13 июля 1826 года, и 24, очевидно, значит: 24 июля 1826 года.

На основании этих помет Анненков склонен был отнести элегию к 1826 году, хотя в своем издании поместил ее все-таки под 1825 годом. Последующие издания, большею частью, помещали ее под 1826 г.

Нужно заметить, что упоминаемый подлинник затерялся у Анненкова, и позднейшие исследователи не имели возможности пользоваться им. Только в 1897 году Д. И. Сапожников нашел в сарае анненковской усадьбы, в Симбирской губернии, связку пушкинских рукописей, среди которых оказался и подлинник элегии. Он подробно (хотя и не совсем точно) [1]) описал свою находку *(Д. И. Сапожников, Вновь найденные рукописи А. С. Пушкина, Симбирск 1899)*. В настоящее время подлинник хранится в рукописном отделении Румянцовского музея в Москве.

И вот, как раз с того времени, когда исследователи получили возможность видеть непосредственный подлинник элегии, в вопросе о ее датировке происходит какой-то странный сдвиг, на основаниях, поражающих своею бездоказательностью. Во втором издании «Трудов и дней Пушкина» Н. О. Лернер пишет: «К 1825 году относится элегия «Под небом голубым». Пьеса эта печается обыкновенно под 1826 г., но Ефремов в своих примечаниях (в суворинском издании 1902—1905 г.г.) сослался на самого Пушкина, напечатавшего ее под 1825 годом, и на автограф, в котором помета, принимаемая со времен Анненкова за дату стихотворения, относится вовсе не к нему». Смотрим у Ефремова: «С издания Анненкова стихотворение *неправильно* начало печататься под 1826 годом, п. ч. он нашел при стихотворении помету «29 июля 1826» и кроме того помету о времени смерти декабристов. Когда теперь отыскали подлинный автограф, то *оказалось*, что дата не составляет пометы стихов, а приписана *сверху* их, как, вероятно, приписана в то же время и заметка *внизу* о смерти декабристов» *(Ефремов, VIII, стр. 262)*.

Каким образом это «оказалось»,—неизвестно. Несмотря на тщательные розыски, нам не удалось найти, где и когда это оказалось. Да и Лернер ссылается только на Ефремова, Ефремов ни на кого не ссылается. Остается думать, что собственный его анализ автографа привел Ефремова к такому выводу. Но и следов этого анализа у Ефремова нет, одно только «оказалось», которому мы должны верить на слово. Между тем, бездоказательное это «оказалось» ложится в основу всех дальнейших рассуждений о времени написания элегии.

В Академическом издании сочинений Пушкина П. О. Морозов, сообщив об анненковской датировке элегии, продолжает: «между тем элегия напи-

---

[1]) Под элегией, кроме двух вышеуказанных помет, Сапожников повторяет еще верхнюю помету—«29 июля 1826». Этой пометы в н и з у в подлинной рукописи нет.

сана, несомненно, на смерть Амалии Ризнич, скончавшейся не в 1826 году, а в 1825; в этом же году, конечно, Пушкин узнал о смерти Ризнич, вероятнее всего—от В. И. Туманского, написавшего на ее смерть стихотворение, помеченное 5 июля 1825 г. ***Таким образом,*** дата, поставленая над стихотворением Пушкина, *очевидно,* к нему не относится; Пушкин вообще не имел обыкновения начинать свои черновые стихи указанием на день их сочинения, а делал это указание уже после того, как стихи были написаны. Что касается помет *под* стихотворением, то и они написаны позже. Поэт, видимо, не раз возвращался к этой четвертушке серой бумаги, на которой была набросана в первоначальном своем виде элегия: на оборотной, чистой, стороне листка он записал карандашом перечень своих драматических произведений, из которых одни были написаны в 1830 году, а другие остались совсем ненаписанными» *(Акад. изд., IV, 73).*

В. Я. Брюсов помету *над* стихотворением также считает не относящеюся к нему. «Стихи прежде относили к 1826 году,— пишет он,—но сам Пушкин печатал их под 1825 годом, и Ам. Ризнич умерла в 1825 году» *(Полн. собр. соч. Пушкина, Гос. Изд., 1920, I, 233).* На основании приведенных соображений все новейшие издания сочинений Пушкина,—Суворинское, Академическое, Венгеровское, Брюсовское,—относят элегию к 1825 году.

Рассмотрим основания, которыми они при этом руководствуются. Первое и главнейшее: Амалия Ризнич умерла в 1825 году,—«таким образом», «очевидно», как говорит Морозов, и сама элегия написана в 1825 году. Откуда же это очевидно?

Психология пушкинского творчества исследована еще поразительно мало. Совершенно не рассмотрен, между прочим, и такой вопрос: являлась ли лирика Пушкина непосредственным во времени отражением впечатлений жизни, или,—иногда, по крайней мере,—впечатления эти долго лежали в душе Пушкина как бы похороненными, и лишь много позже, как будто без всякого внешнего повода, вдруг давали ростки и распускались прекрасными поэтическими цветами? Все охотно повторяют известные признания Пушкина в «Евгении Онегине», что он, «любя, был глуп и нем», что в его душе раньше должен утихнуть всякий след бури, непосредственное жизненное переживание должно предварительно перегореть, превратиться в пепел,—«погасший пепел уж не вспыхнет,—тогда-то я начну писать»... И все-таки не только Морозов, но и Валерий Брюсов,—сам крупный поэт, притом давно и любовно изучающий как раз процессы пушкинского творчества,—без запинки приводят такой ничего не говорящий довод: Ризнич умерла в 1825 году,—значит, и стихотворение написано в 1825 году.

В умах у нас прочно сидит глубоко укоренившееся вульгарное представление о некоем совершенно определенном процессе творчества лирического поэта: лишь то его произведение художественно-ценно и искренно, которое отображает его ***непосредственное*** переживание и написано под ***непосредственным*** впечатлением. Что уж это за поэт, который способен, напр., воспевать вьюгу в солнечный и теплый сентябрьский день или отзываться элегией

на смерть любимой женщины через год после того, как услышал об ее смерти?

Вот, напр., отрывок из рассуждений одного из ученейших и умнейших современных пушкинистов,—М. О. Гершензона,—в недавней его книге «Мудрость Пушкина»: «Стихотворение «Бесы» написано в начале сентября, когда нет никаких метелей, ни снега, когда вообще в помине не было той реальной обстановки, которая изображена в этом стихотворении. Пушкин никогда не выдумывал фактов, когда изображал их автобиографически; напротив: в этом отношении он был правдив и даже точен до иоты. Он был бы неспособен в солнечный и теплый день ранней осени, лежа на канапе, выводить пером такие строки:

Мчатся тучи, вьются тучи,
Невидимкою луна
Освещает снег летучий,
Мутно небо, ночь мутна...

«Уж одно это соображение об элементарной честности (!) поэта должно было насторожить критиков и читателей... Ясно, что в «Бесах» Пушкин вовсе не хотел изобразить зимнюю поездку, и вьюгу, и настроение путников, как простодушно думают критика и публика» (130—131 стр.).

М. О. Гершензон усматривает в пьесе глубокую символику,—какую, для нас не важно. Но характерно это своеобразное понимание «честности» художника, его правдивости. Пушкин был, бесспорно, художественно-честен, но отнюдь не в автобиографическом плане. Вера в автобиографическую точность его поэтических показаний представляет один из самых странных предрассудков нынешних исследователей. И, во всяком случае, никак уж нельзя утверждать à priori, что Пушкин обязательно творил под непосредственным впечатлением жизни, что только зимою он мог писать о метели, и что только под живым впечатлением смерти любимой женщины мог отозваться на эту смерть элегией. Если с такою меркою мы будем подходить к Пушкину, то рискуем на каждом шагу делать грубейшие ошибки.

Возвращаемся к элегии. Итак, перед нами подлинник, и сверху, и снизу облепленный всякого рода пометами. Конечно, легче всего сразу оказать: «эти пометы к стихотворению не относятся»—и на этом успокоиться. Но, может быть, все они связаны друг с другом крепчайшею, хотя на первый взгляд и незаметною связью?

Начнем с первой пометы под стихотворением: «Усл. о см. 25». Новейшие редакторы (Морозов, Брюсов) читают эту помету так: «Услышал о смерти (Ризнич) в 1825 году». Примем это чтение и посмотрим, что получается. Ризнич, как нам известно, умерла в начале 1825 г. По мнению новейших исследователей, элегия написана в том же 1825 году. И вот—под элегией Пушкин помечает: услышал о смерти в 1825 г. Чем мог он руководствоваться, делая такую никчемную помету? Умерла в 1825 году, стихотворение написано в 1825 году, а под ним—услышал о смерти в 1825 году. Ну, ко-

нечно, в 1825! Когда же еще? Странно было бы, если бы такая самоочевидная мысль даже просто промелькнула в уме Пушкина. А он для чего-то считает нужным записать ее, закрепить, как нечто примечательное! И потом: что это за странная дата? Не когда случилось событие, а когда человек услышал о нем!

Совсем другой характер получает эта самая помета, если элегия написана *не* в 1825 году. Ризнич умерла. Через несколько месяцев Пушкин узнает об ее смерти—и никак не реагирует поэтически на услышанную весть. Проходит год. Случайная ассоциация напоминает Пушкину о смерти Ризнич — и он пишет элегию на ее смерть. Еще Анненков отмечал, что Пушкин часто сам должен был с недоумением останавливаться перед чудесною силою своего таланта и его своеобразною прихотливостью. Такой запоздалый отклик на смерть любимой женщины легко мог поразить самого Пушкина,—и удивление перед странным капризом своей музы, этой «своенравной волшебницы», не подчиняющейся никаким законам, он и отметил записью: «услышал о смерти в 1825 году»,—услышал в 1825, а элегию написал в 1826.

Вторая помета под стихотворением: «услышал о смерти Рылеева, Пестеля и т. д.—24 июля». И опять—поражающая странность. Пушкин услышал о казни декабристов и записывает—что? Не день казни их, что было бы вполне естественно, а случайный день, когда он услышал об казни. Что же в этом-то дне замечательного? И записывает он не в дневнике под данным числом. Нет. По представлению Ефремова и Морозова, он берет *случайно* подвернувшийся листок с прошлогодним стихотворением и *случайно* под записью «услышал о смерти Ризнич 1825» пишет свою—либо слишком случайную, либо, напротив, слишком уж не случайную помету: «услышал о смерти декабристов 24».

Совпадение помет,—конечно, не случайное. Если два раза под-ряд Пушкин записывает такие странные даты, как даты времени, когда он услышал о двух поразивших его событиях, то ясно, что он имел в виду сопоставление этих дат, что они тесно связаны друг с другом,—вторая столь же тесно с первой, как первая—с самим стихотворением. А в таком случае стихотворение не могло быть написано раньше более поздней из этих дат, т.-е. 24 июля 1826 года. И тогда мы вправе заключить, что написанное *над* элегией число «29 июля 1826» представляет дату действительного написания элегии.

Тот же П. О. Морозов в более ранних по времени примечаниях в Венгеровском издании Пушкина (III, 577) читает первую помету иначе: «Услышал о смерти 25 июля». Так же читает ее и П. Е. Щеголев в своем известном исследовании об Амалии Ризнич («Пушкин», СПБ. 1912, стр. 215). Нам такое чтение пометы представляется более правильным. На подлиннике цифры в пометах поставлены точно одна под другой,—для этого Пушкину пришлось вторую помету, более длинную, начать, отступив влево от начала первой пометы, и несколько сжать в ней буквы. Очевидно, вся суть для него была в со-

поставлении цифр. И естественно предположить, что цифры сопоставлялись равнокачественные: услышал о смерти декабристов 24 июля (1826 года), услышал о смерти Ризнич—25 июля... Но какого года? 1825 или 1826? Для решения этого вопроса мы не имеем достаточно данных. Во всяком случае, мы не решились бы утверждать уверенно, что в 1825 году: 13-го августа этого года Пушкин пишет В. И. Туманскому в Одессу: «Об Одессе, кроме газетных известий, я ничего не знаю; напиши мне что-нибудь» (*«Переписка», I, 261).*

Второй довод, приводимый редакторами новейших изданий Пушкина за датировку элегии 1825 годом,—что сам Пушкин датировал ее 1825 годом. Но Пушкин нередко вполне сознательно давал в печати своим стихам неверные даты. В майковском собрании пушкинских рукописей, принадлежащем Академии Наук, находится, между прочим, перечень стихотворений, сделанный Пушкиным для предполагавшегося издания его сочинений (описан П. О. Морозовым,—*«Пушкин и его современники», XVI, 117).* В нем, между прочим, поименованы «Расставание», «Заклинание» и «Для берегов отчизны дальной». Все три стихотворения эти тесно связаны между собою одним общим настроением и с совершенною достоверностью написаны в знаменитую болдинскую «детородную» осень 1830 года. Между тем, в перечне—«Расставание» отнесено к 1829 году, другие два стихотворения—к 1828. Мотивы вполне ясны: осенью 1830 года Пушкин был счастливым женихом своей красавицы-невесты и вот, в вынужденной разлуке с нею, страстно рвется—не к ней, а к призраку какой-то умершей своей возлюбленной. Конечно, оповещать об этом публику и ревнивую жену было не совсем удобно,—и Пушкин отнес стихотворения к более ранним годам. Другой пример—стихотворение «К фонтану Бахчисарайского дворца». Сам Пушкин помечал его 1820 годом (время посещения им Бахчисарая). Однако основной черновик стихотворения находится в тетради 1824 года, среди черновиков «Подражаний Корану», написанных несомненно в 1824 году. И авторитетнейшие современные исследователи — Л. Н. Майков, П. О. Морозов — совершенно справедливо считают это стихотворение написанным в 1824 году. Причина неверной датировки Пушкиным, как стихотворения «К фонтану», так и разбираемой нами элегии, вполне очевидна. С виду,—душа на распашку, Пушкин в действительности был глубоко-скрытен. Всего менее любил он допускать любопытных в святилище своего творчества, в котором и до сих пор еще для нас так много неизведанных тайн. Но приятелей, знакомых со всеми внешними обстоятельствами его жизни, у Пушкина всегда была бездна. Если даже теперь, через сотню лет, даже М. О. Гершензон может полагать, что несвоевременная реакция на впечатления жизни служит свидетельством «нечестности» поэта,—то можно себе представить, сколько недоумений мог ждать Пушкин от своих приятелей, опубликовывая подлинные даты написания «К фонтану Бахчисарайского дворца» и элегии на смерть г-жи Ризнич.

— Помилуй, любезный друг! Что же это? В Бахчисарае ты был в двадцатом году, а воспеть свое посещение собрался в двадцать четвертом!

Ризнич умерла в начале 1825 года, а ты только летом 1826 раскачался почтить ее память элегией!

> ...Шутками одними
> Тебя, как шапками, и враг, и друг,
> Соединясь, все закидают вдруг...

И, чтобы в корне пресечь все эти недоумения и шутки, Пушкин стихотворение «К фонтану» помещает под 1820 годом, и элегию на смерть Ризнич—под 1825.

---

Развитые соображения лично для меня кажутся достаточно вескими и убедительными, чтобы с полною уверенностью отнести разбираемую элегию к 1826 году. Но рассуждения эти становятся только подсобными и даже, пожалуй, совершенно излишними для всякого, кто возьмет на себя труд ознакомиться с подлинником того «черновика», о котором тут уж так много говорилось. Ведь фундаментом, на котором строились все доводы новейших редакторов Пушкина, было предположение, что пометы при стихотворении к нему не относятся, написаны позже и попали сюда случайно. Подлинник элегии находится в Москве, в рукописном отделении Румянцовского музея (№ 3266), и всякий желающий может с ним познакомиться.

Прежде всего, это вовсе не «черновик», как все время говорит Морозов, очевидно, его не видевший. Это несомненнейший беловик, переписанный Пушкиным весьма тщательно. Правда, сравнительно с печатным текстом есть несколько вариантов. Но всего три незначительных помарки. А ведь известно, как исчерканы и перечерканы все черновики Пушкина, каким они исписаны своеобразным почерком, нервным и нетерпеливым. Тут же ничего похожего.

Для всякого, кто даже бегло взглянет на эту четвертушку серой бумаги, будет совершенно несомненно, что стихотворение со всеми своими пометами написано *одновременно, в один присест*. Тот же ровный, спокойно-беловой почерк, те же выцветшие, рыжеватые, одинакового тона чернила от первой буквы до последней. Верхняя помета помещена не сбоку где-нибудь, не наскоро. Совершенно определенно (на это указал уже П. В. Анненков) помета написана, *как заглавие* стихотворения,—подчеркнута—и дальше тем же тщательным почерком выписано все стихотворение. Только в последней помете, как я уже указывал, буквы написаны несколько более узко, для того, чтобы цифры пришлись одна под другою.

На этом я настаиваю: верхняя помета с полною очевидностью представляет из себя подлинное заглавие элегии. Пример такого рода заглавия мы знаем у Пушкина. Дата написания стихотворения—«Дар напрасный, дар случайный,—Жизнь, зачем ты мне дана?»—тоже представляет собою заглавие стихотворения: «26 мая 1828». Под таким заглавием оно при жизни Пушкина и печаталось. Но ясно, что в таком случае дата была не случайным числом, в ней было для Пушкина нечто знаменательное. И действительно, 26 мая был день рождения Пушкина. Столь же, очевидно, знаменательна

в каком-то отношении была для Пушкина и дата написания элегии на смерть Ризнич. Что-то в этой дате было для него особенное, тесно связанное с стихотворением, что-то, что он считал нужным для себя подчеркнуть.

В последнее время М. Л. Гофман ведет энергичную и обоснованную агитацию за «канонический» текст Пушкина. Но нельзя, конечно, считать каноническим просто тот текст, с которым Пушкин, по ряду личных соображений, считал нужным выступать перед своими современниками. В таком случае, напр., канонический текст элегии—«Редеет облаков летучая гряда»—пришлось бы печатать без трех заключительных стихов: Пушкин очень сердился на А. Бестужева за то, что тот по недосмотру напечатал элегию целиком, и в последующих изданиях печатал ее без заключительных трех стихов, имевших для Пушкина слишком интимный характер. Это обстоятельство, разумеется, нисколько не обязывает и нас откидывать указанные три стиха. Интимным, не предназначенным для современников заглавием на смерть г-жи Ризнич было: «29 июля 1826». Это заглавие, мне кажется, и должно бы считаться каноническим.

---

Но раз все это так, то в пометах Пушкина при элегии нельзя не видеть кратко отмеченного им для себя какого-то своеобразного пути, которым он от вести о казни декабристов пришел к написанию элегии на смерть г-жи Ризнич. Пометы эти приоткрывают краешек завесы над одною из самых загадочных тайн пушкинского творчества.

Приведенная выдержка из новейшей книги М. О. Гершензона показывает, как прочно и до сих пор распространено мнение, что лирический поэт творит под непосредственным впечатлением жизни, что эта непосредственность отклика служит лучшим свидетельством правдивости и художественной честности поэта. С этой точки зрения, чем сильнее впечатление, полученное поэтом от жизни, чем живее бьется в его душе радость, гнев, отчаянье, скорбь,—тем сильнее будет и само его произведение. Величайшее и самое завидное преимущество поэта перед нами, обыкновенными людьми, заключается в том, что теснящие душу чувства, которые мы изживаем молча, поэт гармонизирует в своих стихах, очищая и просветляя этим свою душу. Как говорит Торквато Тассо у Гете:

> Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt,
> Gab mir ein Gott zu sagen, wie ich leide,—

«другие люди в своих мучениях осуждены на молчание, мне же некий бог дал возможность рассказывать о том, как я страдаю». У таких поэтов их лирика есть их полная биография. Все, что они сильно переживали в жизни, естественно, наиболее сильно отражалось и в их лирике. Характерны в этом отношении древне-эллинские поэты. Даже по тем скудным отрывкам, которые дошли до нас от Архилоха, Алкмана, Алкея и Сафо, мы имеем возможность установить все важнейшие моменты их биографии. В новое время характернейший тип такого рода поэта представляет Байрон. Он мог писать

только в состоянии аффекта, властно охваченный силою непосредственного переживания. «Все судороги кончаются у меня рифмами,—говорит он.—Я никогда ничего не переделываю. Я подобен тигру: если первый прыжок мне не удается, я, ворча, возвращаюсь обратно в кустарники». «Шильонский узник» написан им в течение первых двух дней после посещения Шильонского замка, «Жалоба Тасса» вылилась чуть ли не в той самой тюрьме, где сидел Тассо. У таких поэтов сила поэтического отзвука на впечатление жизни прямо пропорциональна силе этого впечатления. Лермонтовское стихотворение на смерть Пушкина могло быть написано только под свежим впечатлением его смерти.

Совсем не то у Пушкина. Процесс своего творчества он подробно описывает в заключительных строфах первой песни «Онегина». Признания эти часто цитируются, и все-таки далеко недостаточно восприняты в своей своеобразности и во всей своей психологической парадоксальности.

Любви безумную тревогу
Я безотрадно испытал.
Блажен, кто с нею сочетал
Горячку рифм: он тем удвоил
Поэзии священный бред,
Петрарке шествуя во след,
А муки сердца успокоил,
Поймал и славу между тем;
Но я, любя, был глуп и нем.

Прошла любовь, явилась Муза,
И прояснился темный ум.
Свободен, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум;
Пишу, и сердце не тоскует...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Погасший пепел уж не вспыхнет,
Я все грущу; но слез уж нет,
И скоро, скоро бури след
В душе моей совсем утихнет:
Тогда-то я начну писать...

Тревога любви проходит для Пушкина «безотрадно», он не может в творчестве успокоить «мук сердца». Сила непосредственного чувства «затемняет» его ум; это непосредственное чувство должно совершенно перегореть, превратиться в пепел,— тогда затемненный страстью ум «проясняется», и поэт, став «свободным», обретает союз между волшебными звуками, с одной стороны, чувствами и думами—с другой.

Это ставит вверх ногами все обычные наши представления о процессе творчества лирического поэта. Если непосредственное чувство должно быть предварительно совершенно изжито, должно потерять всю свою живую остроту, — то последовательная реакция на него, естественно, будет уже только случайною и психологически не повелительною. Это мы и видим у Пушкина.

Мы знаем, в жизни Пушкина было несколько очень глубоких и сильных любовных увлечений. И вот, если мы рассмотрим стихотворения, отражающие эти сильные увлечения, то увидим, что в подавляющем большинстве их изображается не непосредственное переживание, а *воспоминание* («Погасло дневное светило», «Редеет облаков летучая гряда», «Ненастный день потух», «Ты видел деву», «Талисман», «Кто знает край», «Расставание», «Заклинание», «Для берегов отчизны» и т. д.). Есть рядом с этим стихотворения, изображающие и непосредственное переживание, но, во-первых, их поразительно мало, а во-вторых,—и относительно этих стихотворений мы не знаем, написаны ли они под непосредственным впечатлением или позже,—когда само чувство уже превратилось в «погасший пепел». Под непосредственным впечатлением, мы знаем, написано стихотворение к А. П. Керн (19 июля 1825 года, в день ее от'езда из Тригорского). Но процесс, приведший Пушкина к написанию этого стихотворения,—самый фантастический Останавливаться на нем здесь не место. Но напомню, что Анна Петровна Керн, уезжая из Тригорского, увозила с собою два посвященных ей стихотворения Пушкина. Одно:

Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

Другое—циничное послание к Родзянке, сожителю г-жи Керн, в котором об этом самом «гении чистой красоты» писалось:

Хвалю, мой друг, ее охоту,
Поотдохнув, рожать детей,
И счастлив, кто разделит с ней
Сию приятную заботу...

Далее. Мы находим у Пушкина большое количество стихотворений, отражающих его увлечения, не «затемнявшие» ум,—к бесчисленным барышням Вульф, их родственницам и кузинам, ко всяким московским барышням. Но и здесь наблюдается большая случайность. Несколько стихотворений посвящено сестрам Ушаковым, и ни одного — сестрам княжнам Урусовым, которыми в 1827 году Пушкин увлекался не менее, чем Ушаковыми. Несоразмерно большое количество стихотворений посвящено А. А. Олениной («Город пышный», «К Доу эскв.», «Ее глаза», «Ты и вы», может быть,—«Предчувствие», «Приметы», «Что в имени тебе моем», «Я вас любил»). Между тем в биографических и эпистолярных материалах это увлечение Пушкина не находит почти никакого отражения. Повидимому, увлечение носило почти эстетический характер. На неглубокость его указывает и стихотворение самого Пушкина к Нетти Вульф: «За Нетти сердцем я летаю—В Твери, в Москве—И Р. и О. позабываю—Для Н. и В.» О.—Оленина, фигурирует тут рядом с другою красавицею,—Р—Росетт, и все трое, вместе с Нетти Вульф, владеют сердцем поэта. И взять рядом увлечение Пушкина Натальей Николаевной Гончаровой, будущей его женою. Это был ураган, в течение двух

с лишним лет трепавший, как былинку, душу Пушкина и совершенно затуманивший его ум. Попросил руки,—отказали. Через год просит вторично. Из-за любви к этой недалекой шестнадцатилетней девочке-бесприданнице он решается пожертвовать своею холостою свободою и материальною независимостью, идет на противные ему денежные заботы, мало того,—готов связать свою судьбу с девушкою, которая, как он прекрасно понимает, не любит и не может любить его, — в обывательском расчете: «стерпится,—слюбится». Теряется, как застенчивый мальчик, от надежды переходит к отчаянью, в тоске мечется из Москвы в Петербург, из Петербурга в Михайловское, бросается под турецкие пули, рвется уехать хоть в Китай. Ужасается той петли, которую сам же собирается на себя накинуть,—и тем настойчивее старается добиться цели. Как же сильна должна была быть его страсть! И вот,—только два, всего два стихотворения, с несомненностью относящихся к Гончаровой,—элегический отрывок «Поедем, я готов» и «Мадонна!» [1]). Служат ли эти стихотворения хотя бы отдаленным отображением действительных чувств, которые переживал Пушкин в любви своей к Гончаровой?

Так—в области любви. Но так у Пушкина в области и вообще всякого сильного чувства. Умер барон Дельвиг,—лучший и самый близкий друг Пушкина. «Никто на свете не был мне ближе Дельвига»,—пишет Пушкин Плетневу. Вяземский сообщает: «Едва ли не Дельвиг был, между приятелями, ближайшая и постояннейшая привязанность Пушкина» (*Соч. кн. П. А. Вяземского*, VIII, 442). И никакого непосредственного поэтического отзвука на эту смерть! Только много позже, когда непосредственная боль утраты совершенно уже прошла, Пушкин с светлою грустью поминает своего друга в стихотворении—«Чем чаще празднует лицей». Умерла няня Арина Родионовна. А. П. Керн говорит в своих воспоминаниях, что из женщин Пушкин «никого истинно не любил, кроме няни своей и потом сестры». Поэт Языков, всего несколько раз видевший Арину Родионовну, пишет стихотворение на ее смерть. А Пушкин молчит. И только через семь лет посвящает ее памяти задушевные, грустные строки в стихотворении «Опять на родине».

Последние месяцы жизни Пушкина, кончившиеся дуэлью. Ревность, злоба, бешенство непрерывно кипят в нем, доводят почти до сумасшествия. И ни единого отзвука этих чувств в его поэзии. Какими ослепительными, зловещими молниями засверкало бы при таких обстоятельствах творчество Архилоха или Байрона! Друг Архилоха совершил по отношению к нему какое-то предательство.

Пускай близ Салмидесса ночью темною
Взяли б фракийцы его
Чубатые,—у них он настрадался бы,
Рабскую пищу едя!—

---

[1]) Известное стихотворение „Красавице" („Все в ней гармония, все диво"), как доказано новейшими исследованиями, обращено не к Гончаровой.

Пусть взяли бы его,—закоченевшего,
Голого, в травах морских,
А он зубами, как собака, ляскал бы,
Лежа без сил на песке
Ничком, среди прибоя волн бушующих.
Рад бы я был, если б так
Обидчик, клятвы растоптавший, мне предстал,—
Он, мой товарищ былой!

Вот как пишут под непосредственным впечатлением. Пушкин же под непосредственным впечатлением, повидимому, способен был писать только свои «пакости», эпиграммы и сатиры вроде «На выздоровление Лукулла», в которых позже сам раскаивался. Итак, становится понятным, почему Пушкин не любил волнующей кровь весны и способен был творить только в спокойную, бесстрастную осеннюю пору!

Пометы Пушкина при разобранной нами элегии на смерть Ризнич привносят в эту своеобразную психологию пушкинского творчества черту, еще более своеобразную.

24 июля 1826 года Пушкин узнал о казни декабристов. Большинство их он знал лично, с некоторыми, как с Рылеевым, был близок. Мы знаем, как потрясла Пушкина эта весть. Несколько раз он говорит об этом в письмах. В черновиках его находим рисунки, изображающие виселицу с висящими на ней пятью фигурами, находим инициалы повешенных с припискою: «видел во сне». И вот, через пять дней после этой потрясающей вести Пушкин пишет элегию на смерть... Амалии Ризнич! Через пять дней! Перед глазами—проклятая виселица, трупы повешенных друзей не дают покоя ни днем, ни ночью,—а он поет о «бедной, легковерной тени» своей возлюбленной, умершей полтора года назад! Возлюбленной, весть о смерти которой, как сам же он сообщает в элегии, оставила его совершенно равнодушным! Что же это такое? Психика Пушкина, бесспорно, была очень подвижная, но ведь это уж превосходит всякое вероятие.

Мы имеем перед собою два несомненных факта. Первый: на художественную об'ективацию непосредственной своей жизненной боли и радости Пушкин был неспособен,—он переживал их «безотрадно», не умея горячкой рифм успокоить мук сердца. Второй, столь же несомненный, факт—именно уход в творчество—давал Пушкину силу нести тяготы жизни и сохранять душу живую.

А ты, младое вдохновенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь
И наконец окаменеть
В мертвящем упоеньи света,—
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья!

Как венецианский гондольер,

> Он любит песнь свою, поет он для забавы,
> Без дальних умыслов; не ведает ни славы,
> Ни страха, ни надежд, и тихой музы полн,
> Умеет услаждать свой путь над бездной волн.

Как же совмещались у Пушкина эти два взаимно исключающих друг друга факта,—неспособность изливать непосредственные боли жизни в творчестве и потребность разрешать боли жизни именно в творчестве? Намек на ответ дает нам элегия на смерть Ризнич с сопровождающими ее пометами: от живой боли жизни Пушкин уходил со своим творчеством *в сторону* от жизни; в творчестве на темы, переставшие его непосредственно волновать, он находил то успокоение, то исцеление и очищение души,—аристотелевский *кафарсис*,—которые давали ему возможность нести реальные боли жизни. В таком освещении нам станет понятен тот своеобразный путь, которым Пушкин, под живым впечатлением смерти декабристов, пришел к написанию элегии на смерть давно умершей Ризнич. Путь этот был достаточно своеобразен, чтоб поразить самого Пушкина и вызвать у него желание отметить его для себя маленькими вехами в виде разобранных помет, которые в обычном толковании являются не только ничего не говорящими, но просто глупыми. Смысл помет: «Услышал о смерти декабристов 24 июля этого года, год без дня назад (или через день после первой вести), услышал о смерти Ризнич—и вот 29 июля написал элегию на смерть... Ризнич!».

Такое понимание процесса написания нашей элегии бросает свет и на целый ряд других чрезвычайно загадочных фактов в творческой жизни Пушкина. Укажу на два.

1 мая 1829 года Пушкин пишет Наталии Ивановне Гончаровой (матери), приславшей ему вежливый отказ в руке ее дочери, письмо, полное скорби и робких надежд,—и в ту же ночь уезжает на Кавказ, в действующую армию, чтоб размыкать свое горе. И вот через две недели, 15 мая, он пишет стихотворение, отрывок, из которого в обработанном виде печатается так:

> На холмах Грузии лежит ночная мгла;
> Шумит Арагва предо мною.
> Мне грустно и легко; печаль моя светла;
> Печаль моя полна тобою,
> Тобой, одной тобой... Унынья моего
> Ничто не мучит, не тревожит,
> И сердце вновь горит и любит—оттого,
> Что не любить оно не может.

О ком может здесь итти речь? Всякий здравомыслящий человек скажет: «ну, конечно, о Наталии Гончаровой». Так долго и думали все исследователи. Но знакомство с черновиками стихотворения дало самые неожиданные результаты. Там читаем: «Я *снова* он и твой»... «Я твой по-(прежнему), я

*вновь* тебя люблю, и *без надежд, и без желаний...* Чиста моя любовь и нежность девственных мечтаний...». «Прошли забытые... *Дни... многих лет...*» *(И. А. Шляпкин,* Из неизданных бумаг А. С. Пушкина. СПБ. 1903, стр. 8). Очевидно, стихотворение обращено к женщине, которую Пушкин любил когда-то прежде, вероятнее всего, как догадывается Е. Г. Вейденбаум, к Марии Раевской, о знакомстве с которой ему напомнил Кавказ. Две недели прошло,—и Пушкин забыл о Гончаровой, и уж полон любви к далекой Раевской!.. Маленькая девочка, у которой братишка отнял куклу, заливается горьким плачем; увидела воробья—и уж забыла о своем горе, и радостно смеется, а на щеках еще не высохли слезы. Можно ли такую младенческую подвижность психики предполагать хотя бы даже у непостоянного Пушкина? Раньше я готов был допустить это. Теперь мне представляется более вероятным другое об'яснение: от «безотрадно» переживаемой живой, сверлящей тоски по Наталье Гончаровой, он в творчестве своем уходил в «светлую печаль» о далекой любви, покрытой в душе многослойным пеплом перегоревших увлечений.

Осенью 1830 года Пушкин, уже женихом Гончаровой, уехал в нижегородскую свою деревню Болдино, для устройства имущественных дел. Думал пробыть месяц, — пришлось пробыть три: разразилась холера, карантины отрезали его от Москвы. Письма от невесты приходят неправильно, отец сообщает сплетни, что она, будто бы, выходит замуж за другого. Пушкин волнуется, три раза пытается пробраться в Москву, но неудачно. Эти три месяца вынужденного уединения были для Пушкина временем колоссальной художественной продуктивности. В Болдине написаны его несравненные маленькие драмы, — «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы» и пр.,—две последние главы «Онегина», «Домик в Коломне», Повести Белкина, около тридцати мелких стихотворений. И во всем этом—никакого отражения тех чувств, которые так ярко и напряженно кипят в его письмах из Болдина! Как будто и нет никакой Гончаровой, нет по поводу ее ни сомнений, ни беспокойства, нет порываний. Мало того. Перед Пушкиным неотступно стоит обольстительный призрак какой-то давно умершей его возлюбленной, и он страстно тянется к ней всем своим существом, и воспевает ее в целом ряде стихотворений («Расставание», «Заклинание», «Для берегов отчизны»):

Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди, как дальняя звезда,
Как легкий звук иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье,
Мне все равно: сюда, сюда!
Зову тебя не для того,
Чтоб укорять людей, чья злоба
Убила друга моего,
Иль чтоб изведать тайны гроба:

Не для того, что иногда
Сомненьем мучусь... Но, тоскуя,
Хочу сказать, что все люблю я,
Что все я твой... Сюда, сюда!

Что это? С глаз долой—и с сердца долой? Есть ли это выражение крайнего непостоянства *человека*? Или это есть уход *художника* от волнений живой жизни в мир «светлых привидений», совершенно не связанных с этою жизнью?

# О социальной драме[1]).

П. С. Коган.

## «А д».

### (Новая пьеса Синклера).

I.

Основная особенность Синклера—господство социальной стихии в его творчестве. Синклер почти не видит и не способен видеть человека в его личных переживаниях, во всей сложности его человеческого существа. Если к кому-нибудь можно применить во всей полноте афоризм: «человек—общественное животное», то это именно к нему.

Он упрощает анализ сил, действующих в современном обществе, так как степень его внимания к этим силам определяется исключительно их ролью в ходе социальной борьбы, и Синклер, не задумываясь, выбрасывает с поля своего зрения все, что не принимает непосредственного участия в этой борьбе, или играет в ней незначительную роль. Поэтому силы эти сводятся для него почти к двум факторам: капиталу и труду.

Он упрощает анализ внутреннего мира своих героев, так как в их мыслях, чувствах, страстях, настроениях он ищет только того, что относится, если можно так выразиться, к социальному функционированию героя.

Синклера не могут любить и даже читать с интересом люди, воспитавшиеся на модернистской и декадентской утонченности, он чужд поколению, которое вместе с Уайльдом, Гамсуном, Метерлинком и Пшибышевским, погружалось в самые скрытые тайники уединенной души, задерживалось на всех ее извилинах, создавало фантастические миры из каждого настроения, мыслило основной пружиной мировой жизни каждую свою страстишку. У Синклера мы не встретим интеллигента, копающегося в своей душе, размышляющего, колеблющегося и, наконец, запутывающегося в логических противоречиях. Не встретим любовников, возводящих любовь в культ, осложняющих свое чувство, расписывающих пестрыми узорами каждый этап в развитии своих отношений. У него нет мечтателей, поэтов, или, если он выводит временами характеры этого рода, то они — почти всегда деталь, средство, а не главный предмет его художественного внимания.

---

[1]) Эта пьеса Синклера, присланная им в рукописи в Россию, выходит на-днях в изд. „Красная Новь“ в переводе В. Э. Морица под моей редакцией. Все цитаты приведены в переводе Морица.

Его герои слишком много и энергично действуют, чтобы оглядываться на себя, любоваться своими мыслями и чувствами и анализировать свои страсти. Они соприкасаются друг с другом и вступают во взаимные отношения на почве совместных усилий, в общем труде, в общей борьбе. Мы видим их чаще всего на фабрике, в заседаниях союзов, на митингах, во время стачек, при отправлении общественных обязанностей. Они редко предстают нам в интимной, в частной жизни, в семье, при любовных встречах. И даже эти редкие моменты встревожены гулом, доносящимся извне.

Если Синклер изображает страдания личности, то лишь такие, источником которых служат дефекты социального строя. Радость, восторг, торжество, пафос,—все это у него состояния души, возникающие в достижении цели, в увенчании усилий, в победе над препятствиями.

Нужны ли Синклеру сюжеты, выдумка, фабула, фантазия? Он обходится почти без них. Он пользуется фактами, событиями, ставшими достоянием гласности, скандала. Действительность дает слишком богатый материал, и Синклеру ничего не приходится прибавлять к ней для того, чтобы озарить смысл жизни, как он его понимает. Он только выбирает наиболее эффектное и показательное. Его романы—это эпизоды войны между эксплоататорами и эксплоатируемыми. Каждый из них—глава современной истории классовой борьбы, один из моментов ее, момент, всегда выбранный умело, нарочито, с заранее обдуманным намерением. Синклер не боится обвинения в тенденциозности. Он пишет не для развлечения, не для забавы людей, пользующихся досугом. Для него искусство—лишь более действенная форма публицистики и науки. «Джимми Хиггинс», «Сто процентов», «Король Уголь»—это целая энциклопедия сведений о положении рабочего класса в Америке, об отдельных отраслях производства, о рабочем законодательстве, об администрации и т. д. Синклер очень легко сменяет перо романиста на перо публициста, полемиста и агитатора.

Он следует примеру величайших реалистов истекшего века. В романах Бальзака мы неожиданно встречаем страницы, посвященные вопросу о выделке бумаги, об операции, именуемой возвратным счетом. В гениальной эпопее Толстого «Война и мир» целые главы наполнены историческими документами, в «Воскресеньи»—полемическими рассуждениями против суда. Шатобриан, Жорж Санд, Диккенс, Теккерей, Гейне, Гуцков, Фрейлиграт, Гервег, Золя, Мирбо, Ромэн Роллан и сотни других романистов и поэтов—наполовину публицисты, агитаторы, проповедники. Тенденция литературы стать рифмованной публицистикой, — одно из характерных явлений последнего столетия. Синклер—самый откровенный выразитель этой тенденции, еще ожидающей своего исследователя.

## II.

Законен ли этот род искусства,—праздный вопрос. Если сознание огромных коллективов организуется *этим* искусством, если ряд поколений волнуется и мыслит благодаря *этим* произведениям, то не важно, куда будут

отнесены они классификаторами и схоластами. Если литература не примет их, тем хуже для литературы.

Каждое произведение Синклера поднимает бурю. Вокруг него ломают копья,—правда, не эстетические школы, а общественные классы. «Джимми Хиггинс» послужил поводом к преследованиям, и Синклер вынужден был опубликовать скандальные факты из жизни американской армии, подтвердившие справедливость его художественных выводов. Из всех, заграничных писателей Синклер, единственный, без оговорок может быть назван идеологом нашей революции. Если, говоря о Толлере и других, приходится отбирать то, что звучит чуждо или даже враждебно, то романы Синклера без колебания можно дать в руки русского революционного рабочего, с полной уверенностью, что они направляют его общественное развитие в духе тех принципов, на которых развертывается Октябрьская революция.

Критики указывают, что эта прямолинейность Синклера, чистота идеологии являются слабой стороной его творчества. В его произведениях нет живых людей, преобладают коллективы, союзы, правления, синдикаты, нет разнообразия в изображении человека. Это—глубокое заблуждение. Романы Синклера читаются с захватывающим интересом, конечно, тем читателем, который уже проникся сознанием, что вне решения основной проблемы нашей эпохи не может быть разрешена ни одна проблема. Переживания его героев полны разнообразия, волнуют и озаряют душевный мир тех новых людей, которые являются в настоящее время единственной созидательной силой. Конечно, еще обилен читатель, увлекающийся «Торжеством смерти» Аннунцио, не засыпающий над сотнями страниц, посвященных описанию всех перипетий якобы тонких и глубоких чувств, пережитых двумя уединившимися любовниками. Европейское мещанство не станет читать Синклера. Оно ищет наслаждения в забвении, в разных формах опьянения. Может ли показаться ему живым человеком герой романа «Король Уголь», проявляющий железную волю в борьбе за спасение сотен рабочих, погребенных в шахте. Потрясающая картина хождений по учреждениям, слаженность государственной системы, крепостными стенами оберегающей покой и роскошь капиталистов, бури, ревущие в душе молодого человека, открывающего с каждым новым шагом все новые свидетельства коварства и подлости, злоба, ненависть, бессилие, отчаянье, вновь оживающие надежды, вновь воскресающая жажда борьбы,—что до всего этого людям, знающим один вид интересной ненависти—к сопернику, отнявшему любимую женщину, одну форму отчаянья—потерю близкого человека, и борьбу за лучшее место на пиру жизни.

Вопрос о «человечности» героев Синклера в сущности вопрос миросозерцания, а не эстетический. Обостренная классовая борьба сделала отвлеченность, аскетизм, самоограничение жизненным фактом, а не выдумкой. Лучшие люди проходят в настоящее время путь Савонароллы, а не Эпикура. Люди, влюбленные в человечество вместо женщины, в пафосе общественной борьбы растворившие пафос личных страстей, в наши дни не алгебраическая

формула, не отвлеченный идеал, построенный романистами, а бытовое явление. Недавно вышел в Германии роман Франца Юнга: «Завоевание машин» (Die Eroberung der Maschinen) в коммунистическом издательстве «Der Malik Verlag». И «Rote Fahne» обрушилась на молодого автора и молодых авторов вообще за то, что они «боятся индивидуализировать, считая это признаком буржуазного искусства», «пишут романы безличные, т.-е. трактующие не о личностях, не об индивидуальных судьбах». Критик недоволен, что в романе Юнга выведены только группы: повстанцев, предпринимателей, электротехников, горнорабочих, тресты и т. д. «Мы переживаем фазы их борьбы не как человеческие судьбы; страдания и переживания людей не чувствуются, мы не видим их живой души. Это—мертвый скелет. Рабочие найдут здесь только частицу своей жизни, свою холодную связанность с производственным процессом, в котором они стали вещью» и т. д.

Симптоматично, что так пишет «молодняк». О тонких эстетических и эротических переживаниях европейская литература ничего не сказала нового, ничего не прибавила за эти годы к недавней великолепной поэзии модернистов. Что чуткая молодежь не стремится к этим темам, что она предоставила их мещанским писателям, по трафарету развлекающим нетребовательных лавочников и банкиров,—это естественно, как естественно то, что нового пафоса и новой красоты она ищет в другом направлении. Если бы в Германии не было в настоящее время этой «холодной» литературы, в Германии не было бы самого прекрасного, что в ней вообще существует. Это свидетельствовало бы, что революционный пафос молодежи пошел на убыль, что Германия переживает «передышку», потому что нет более верного барометра общественных настроений, чем литература.

## III.

Синклер — только первый по времени создатель этого рода литературы. Повсюду, где кипит борьба за освобождение рабочего класса, Синклер—желанный писатель. Там поймут, что этот «холод» есть великое горение; это исчезновение личности в коллективе не менее прекрасно, чем выпирание своего «я» и любование своими грезами и страстями; это единообразие действий и мыслей вызывает такую бурю чувств, радостей и страданий, очарований и разочарований, что люди, одержимые этого рода восторгом, не менее благодарный сюжет для художника, чем все влюбленные и все мечтатели прошлого.

Новая пьеса Синклера—необыкновенное явление прежде всего с точки зрения драматической техники. Это соединение театра и кинематографа. Актеры в сущности заменяют надписи, и Синклер дал не столько пьесу, сколько сценарий для кинематографа. Поэтому выдумке режиссера открывается широчайший простор. Он должен построить спектакль нового типа, осложненный кинематографический сеанс. Кинематограф изображает землю с рядом событий, актеры раз'ясняют внутренний смысл этих событий, Благо-

даря этому достигаются сразу две задачи. Во-первых, театр впервые получает возможность в течение одного вечера представить всю современность, во всем ее масштабе, с огромными городами, с миллионными армиями, промыслами, министерствами, деревнями и фабриками, рабочими и крестьянами, с поездами и аэропланами. Во-вторых, и самую лекцию, которой принято сопровождать сеансы, и об'яснительные надписи Синклер превратил в специальное драматическое действие. Давно уже ясно, что необ'ятный масштаб современных нам исторических сдвигов требует зрелищ какого-то нового типа, не вмещающихся в архитектонику существующего закрытого театра. Пока сохранена эта структура театра, за его стенами остается огромный мир борьбы, страданий, радостей, идей и настроений. Традиционный театр служит небольшой группе зрителей, в лучшем случае для одной-двух тысяч человек, обыкновенно же для нескольких сот и даже десятков. При чем для баловней судьбы, так как самые размеры театра исключают возможность приобщения к нему широких масс. Этот театр не в состоянии представить реальное изображение чудес современной техники, а главное воплотить чувство коллективной солидарности с таким размахом, с каким оно проявляется благодаря особенностям переживаемого нами момента. Театр родился на улице, во время трудового праздника (как в древней Греции), или во время всенародной молитвы (как в Средние века), и всякий раз, когда под'ем охватывает большие народные массы, т.-е. для нашего времени в те моменты, когда усиливается атака на твердыни буржуазного уклада жизни, на замкнутое искусство,—театр инстинктивно ищет разорвать свои оковы; он не довольствуется ролью искусства приятного для горсти людей одинаковых вкусов, каким он стал в века буржуазной эры; он стремится превратиться в зрелище, открытое миллионам, об'единяющее в общем органистическом восторге огромные коллективы.

Известно, сколько попыток в этом направлении сделано у нас в России, начиная с массовых зрелищ, организованных в Петербурге и Москве, кончая попытками возродить деревенские празднества или построить в театральных формах революционные праздники, 1-е мая, годовщину Октябрьской революции и т. д. Неожиданная реформа, предпринятая Синклером, исходит из этого же источника. Она лишний раз свидетельствует о чутье современности, о духовном сродстве Синклера с революционными творческими силами. Тяга к кинематографу среди выдающихся художников, писателей и артистов тем более показательна, что первые шаги «великого немого» были встречены враждебно со стороны жрецов искусства: кинематограф не искусство,—говорили они. В настоящее время кинематограф грозит ворваться во все виды искусств и совершить в них коренное преобразование. В истекшем сезоне в соединении с театром он впервые был использован Мейерхольдом, но только для лозунгов, которые появлялись на экране в определенные моменты действия. В пьесе Синклера он становится нераздельным элементом всего спектакля.. В этом сказывается дух времени, поиски средств для расширения как сферы содержания, так и сферы воздействия спектакля.

IV.

Одному из веселых обитателей ада, молодому бесенку, удается украсть золотой ключ от ворот рая и запереть ангелов и бога. Мир остается в распоряжении сатаны и его подчиненных, которые принимаются хозяйничать на земле. Главный организатор—Маммон, заведующий пытками грешников. Маммон придумывает адский план для того, чтобы привести человечество в состояние безумия. Агенты Маммона распространяются по земле. Они занимают лучшие места: министров, финансистов, епископов, продажных журналистов, генералов и таким образом приводят в движение все народы, чтобы вернее погубить их.

Маммон открывает в аду нефтяной источник и, пробив брешь в землю, выводит туда нефтяной фонтан. Он рассказывает об этом чертям, и экран тотчас же воспроизводит его рассказ. Богатство, посланное людям в виде нефтяного фонтана, могло бы послужить для них истинным кладом. Фонтан мог вызвать

...созданье
Огромных городов, судам помог бы
Смирить свирепый океан, машинам
Достигнуть неприступных высей гор.
Но мы его в проклятье превратили,
Что превосходит злобностью идею
Любого дьявола.

Экран показывает, сначала, туземцев, радостно пляшущих среди роскошной природы, а затем картины их порабощения. Но Маммон не довольствуется этим. Перед его дальнейшими планами страдания туземцев—невинная шутка. Есть два народа: горизонталов и вертикалов. Различие между ними заключается в том, что у первых на национальном флаге полосы идут продольно, у вторых—сверху вниз. При первом известии о появлении нефтяного источника оба народа приходят в движение.

Спешат курьеры их, и телеграммы
Отправлены в столицы стран обеих.
Кулак наш, нефтяной король, в собраньи
Директоров все сообщил и тотчас
Свое согласье дали мильонеры
Суда отправить. Положить дорогу,
Колодцы рыть и нефть доставить в порт.
В тот самый день Куш у горизонталов
Такой же синдикат образовал
Для тех же целей, и для той же нефти.

Под радостное гоготанье чертей, Маммон продолжает рассказывать. На экране появляются войска, сосредоточенные на границе обоих государств, виски для спаиванья туземцев, агенты Кулака и Куша с деньгами, чтобы подкупить туземных вождей и перебить друг у друга концессию, далее тяжелый труд туземцев, забывших свои беспечные пляски, туземец, привязанный к дереву, и европеец, наказывающий его плетью. В глубь Джунглей тянутся

войска для усмирения туземцев; черные рабы в цепях несут поклажу белых; туземных женщин гонят утолить похоть эксплоататоров; напряженное положение усиливается, дипломатическая конференция, где от горизонталов выступает Пролаз, а от вертикалов — другой дипломат Угорь. И, наконец, война.

Великолепен рассказ Маммона (иллюстрируемый экраном) о том, как околпачивают мужика:

Вот вам крестьянин, что рожден для плуга.
Не жжет он нефти, складов не имеет
Военных и под тропиками не был.
Задача Куша парня убедить
Пойти на смерть за нефть его. Приходит
Здесь волшебство Готовности на помощь.
Взгляните: парень флагу салютует.
Святой восторг горит в его глазах—
На флаге полосы идут продольно.
А вот другой крестьянин. Схож он с первым
Так, что не отличить их; этот тоже
Бросает поле, форму надевает
И флаг приветствует в святом порыве.
Заметьте: полосы теперь отвесны.
Он ради нефти Кулака умрет.
И вот идут полки в парадной форме
С огнем и славой, с барабанным боем
Вот офицеры. Выправка их станов
Полна высокомерья; а войска
Покорно по команде салютуют.
Их жизнь—работа напряженных мышц,
Готовность душ. Они мечтают быть
Венцом творенья, образцом убийц.
Таков шедевр искусства, мастерства.
Вершина нашего—милитаризм.

Постепенно весь мир втягивается в войну. Много пацифистов и социалистов отправлены в ад. Среди них трое представителей индустриальных рабочих (wobblies). Пока Сатана и его генералы развлекаются на земле, рабочие захватывают его трон, учреждают диктатуру пролетариата и посылают на землю агитаторов, чтобы поднять революцию. Накануне большого сражения солдаты в окопах начинают восстание и отказываются сражаться. Гражданская война сменяет империалистическую. Между тем открываются ворота рая, и ангельские рати освобождаются. Товарищ Иисус появляется среди воюющих армий и проповедует братство. Актеры, играющие на сцене и все время критикующие пьесу во время хода действия, начинают кричать, что это большевизм, поднимают восстание против автора, и спектакль оканчивается общей свалкой.

Пред нами, несомненно, пьеса, которая займет выдающееся место среди попыток создать новый агитационный театр.

# Искусство, как познание жизни, и современность.

**А. Воронский.**

*(К вопросу о наших литературных разногласиях).*

I.

Группа литераторов-коммунистов решила, что настало время спасать социалистическое отечество и граждан его от нашествия разных и многочисленных «иноплеменников», в лице попутчиков революции, полонивших наши издательства и журналы. Во имя этого спасения и надлежащего выпрямления линии коммунистической партии упомянутой группой создан журнал «На посту», первый номер которого под общей редакцией тов. Волина, Лелевича и Родова вышел в июне из печати. Тут всем сестрам—по серьгам. Достается «Лефу», «Кузнице», Серапионам, «Кругу», Пильняку и Эренбургу, Госиздату, «Красной Нови», «Сибирским Огням», классикам, Горькому. Читатель узнает, что «нужно принять срочные меры, чтобы литературный участок идеологического фронта не был прорван»; а из других утверждений видно, что он уже прорван, и «срочные меры» требуются в порядке прямо-таки пожарном. Спасти положение, однако, по мнению суровых критиков, хотя и не так легко, но и не столь в сущности трудно. Дело в том, что счастливым исключением, освежающим оазисом и в своем роде единственным светлым пятном во всей этой мрачной картине является группа писателей и поэтов «Октябрь», т.-е. та самая, которая возглавляется теми же Родовым и Лелевичем. Нужно на место прежних музыкантов, устраивающих омерзительную литературную какофонию, посадить в центре эту группу и уже затем, вроде как на запятки колесницы, допустить, конечно, после основательнейшей чистки, кое-кого из праведников, входящих в «Кузницу», в «Леф», ну, и там разных Всев. Ивановых, «не говоря уже о Пильняках» и Центроужах Горьких. Предполагается, что пролетарские писатели, основное ядро которых—в «Октябре», с «Октябрем», у «Октября», через «Октябрь», будут организовывать «психику и сознание читателя в сторону конечных задач пролетариата», а мелко-буржуазные Ивановы и Тихоновы займутся «притуплением» вражды к революции в стане врагов.

Наступление на литературном фронте со стороны журнала ведется в манере и в плане категорическом и неукоснительном, безо всяких послаблений и без признания смягчающих вину обстоятельств. Призывы «бодрствуйте консулы» чередуются с внушительными и сановными окриками: «больше мы им этого не позволим»; жалобы на попустительства Главлита—с признаниями «о румянце стыда на ланитах». Мрачная трактовка современной литературной действительности отнюдь все-таки не мешает полемической резвости и игривости пера, прыткости, легкости приемов, неугомонности, вертлявости и даже склонности к водевилю; равным образом поход против «словозвонного Лефа» во имя языка Пушкина и Гоголя не служит препятствием к таким красочным «словозвонным» новообразованиям, как Главсокол и Центроуж, направленных по адресу М. Горького. Институтская нервозность, граничащая с истерикой, перемежается с таким идеологическим пуританством, от которого вчуже становится не по себе. И где-то в стороне срывающимся басом отечески поощряет «Правду» тов. Авербах; а надо всем этим призывы перейти к изображению живого человека, и опять клятвы и заверения «стоять на посту», дондеже не будут посрамлены иноплеменники, «некоторые редакторы» и какие-то «высокоученые попустители», остающиеся тем не менее в таинственной неизвестности. И еще. и еще, и еще торжественное склонение: «Октябрь», «Октября», «Октябрю», «Октябрем», не вызывающее ни признака «румянца стыда на ланитах».

Словом, подобно известному купцу Гл. Ив. Успенского, критики не дремлют и распространяют вокруг себя пространство» с энергией величайшей; действуют локтями, ногами, обухом, оглоблей, чем попало. Выражаясь по Пильняку, «энегрично фукцируют».

Есть самые серьезные основания усомниться в том, чтобы позиция, занятая редакцией, разделялась значительным кадром сотрудников, фамилии которых помещены в проспекте. Не трудно также усмотреть значительный разнобой и в статьях, помещенных в № 1. Но со всем тем эта позиция не является случайной, досужим упражнением и пописыванием. Наоборот, она, позиция эта, отражает современные литературные настроения части наших товарищей вопреки узко-групповым интересам, для всякого непредубежденного читателя просвечивающим в некоторых статьях с наглядной очевидностью. В нашей коммунистической среде существуют довольно серьезные литературные разногласия. О них и о причинах их и будет итти речь в настоящей статье. Попутно придется коснуться и других современных литературных направлений, в мере, в коей это представится необходимым.

Об'яснение этих расхождений и споров, даваемые критиками журнала «На посту», подчас звучат довольно странно, чтоб не сказать больше. В самом деле. Согласно всемерным утверждениям наших пуритан, «некоторые редакторы» и издатели, в целом не плохие, испытанные коммунисты, помещающие и дающие место дельным политико-экономическим статьям, с какой-то преступной слабостью дают себя опутать мелко-буржуазным попутчикам,—настолько, что у читателя получается «вывих мозгов» и иные

неприятные и прискорбные явления. Что за qui pro quo? Оказывается: они очень добродушные ребята. «Уже давно, собственно говоря, известно, что коммунисты слишком добродушные ребята. Но именно потому, что это известно, именно потому, что этим пользуются наши противники и наши враги, надо этому положить конец» («Клеветники»—Б. Волин). Такие об'яснения в устах марксиста, действительно, свидетельствуют о добродушии, но делу, к сожалению, не помогают ни на грош. Нужно поискать поэтому другие, менее «добродушные» причины. Они есть. Их нужно видеть прежде всего в разном подходе к искусству, к художнику. Все остальное вытекает из этого основного и главного. Идеологическим сечениям соответствуют известные психологические сечения. Выяснив и то и другое, мы более ясно представим себе характер и смысл наших литературных споров; а это в свою очередь поможет четче наметить перспективы молодой советской литературы.

## II.

Начнем с общих положений о художестве, ныне нередко оспариваемых, либо признаваемых только словесно, а не практически.

Что такое искусство?

Прежде всего искусство есть *познание* жизни. Искусство не есть произвольная игра фантазии, чувств, настроений, искусство не есть выражение только суб'ективных ощущений и переживаний поэта, искусство не задается целью в первую очередь пробуждать в читателе «чувства добрые». Искусство, как и наука, познает жизнь. У искусства, как и у науки, один и тот же предмет: жизнь, действительность. Но наука анализирует, искусство синтезирует; наука отвлеченна, искусство конкретно; наука обращена к уму человека, искусство к чувственной природе его. Наука познает жизнь с помощью понятий, искусство—с помощью образов, в форме живого чувственного созерцания. «Поэзия,—писал еще Белинский,—есть истина в форме созерцания; ее создания—воплотившиеся идеи, видимые, созерцаемые идеи. Следовательно, поэзия есть то же, что мышление, потому что имеет то же содержание... Поэт мыслит образами, он не доказывает, а показывает ее... Высочайшая действительность есть истина; а как содержание поэзии—истина, то и произведения поэзии суть высочайшая действительность. Поэт не украшает действительности, не изображает людей, какими они должны быть, но каковы они суть» (из статьи «Горе от ума»).

Настоящий поэт, настоящий художник—тот, кто *видит* идеи. У Белинского же есть вдохновенное описание этого существа художественного творчества, незыблемое и доселе: «Еще создания художника есть тайна для всех, еще он не брал в руки пера, а уже видит их ясно, уже может счесть складки их платья, морщины их чела, изборожденного страстями и горем, а уже знает и лучше, чем вы знаете своего отца, брата, друга, свою мать, сестру, возлюбленную сердца; также он знает и то, что они будут говорить и делать, видит

всю нить событий, которая обовьет их и свяжет между собой» (статьи о Гоголе).

Художник познает жизнь, но не копирует ее, не делает снимков; он не фотограф; он перевоплощает ее «всезрящими очами своего чувства». Немецкий критик умеренный экспрессионист Макс Мартерштейг напоминает остроумное замечание Гёте: если написать мопса, вполне схожего с натурой, то от этого станет только одним мопсом больше на свете и никакого обогащения в этом не будет. Художник *видит* идеи, но он не все видит; он должен опускать, не замечать, что не имеет познавательной ценности, все случайное, неинтересное, известное. В этом случае верно замечание, что художник должен уметь быть слепым, незрячим. Истинное художественное произведение всегда поражает своей новизной, всегда глубоко захватывает, всегда является откровением. По знакомому, привычному руслу течет изо дня в день окружающая нас жизнь; и даже если ломается она, если рушатся самые крепкие плотины ее,—наше сознание, наши чувства неизменно и неизбежно отстают в своем развитии; они не соответствуют новому; мы еще во власти былого; наш глаз не умеет уловить, разглядеть рождающееся в грохоте, в половодье, в смене, в катастрофе. Подлинный художник в этой привычной пестроте, или в головокружительном вихре жизни, своим художественным оком, своим слухом, своим «нутром», схватывает то, мимо чего мы проходим, и что не запечатлевается нами, что неприметно еще. Из мелочей, из малого он синтетически создает крупное, большое, он увеличивает предметы и людей в своем художественном микроскопе, проходя мимо знаемого, познанного. Жизнь он возводит в «перл создания»; черты, свойства, рассеянные, разбросанные кругом, он собирает воедино, выделяет характерное. Так создается в воображении жизнь конденсированная, очищенная, просеянная,—*жизнь лучшая, чем она есть, и более похожая на правду, чем реальнейшая реальность*. И вместе с художником мы начинаем видеть, мимо чего проходили, не замечая, но что дано вокруг нас или зреет в вещем предвосхищении грядущего.

Вот почему у художника должны быть *озои глаза;* вот почему он должен видеть и слышать не так, как видят и слышат обычно, что называется индивидуальностью художника.

Открылись в е щ и е з е н и ц ы,
Как у испуганной орлицы...

Искусство есть познание жизни в форме чувственного, образного созерцания ее. Как и наука, искусство дает *об'ективные* истины; подлинное художество требует точности, потому что имеет дело с об'ектом, оно опытно.

Утверждение Белинского, что поэт «не изображает людей, какими они должны быть, но каковы они суть», нуждается, однако, в существенной поправке. Когда поэт или писатель не удовлетворен окружающей действительностью, он естественно стремится изобразить не ее, а то, каковой она должна быть; он пытается приоткрыть завесу будущего и показать человека в его идеале. Он действительность сегодняшнего начинает рассматривать сквозь

призму идеального «завтра». Мечта, жажда, тоска по человеку, выпрямленному во весь свой рост, лежали и лежат в основе творческой работы лучших художников. Но это отнюдь не противоречит определению художества, как *познания* жизни в форме живого, чувственного созерцания. Идеальное «завтра», действительность завтрашнего дня, новый человек, идущий на смену ветхому Адаму, только в том случае не является голой, отвлеченной мечтой, если противоположность этого «завтра» сегодняшнему дню *относительна*, т.-е. если это «завтра» зреет в недрах текущей действительности, если прообраз, отдельные свойства, черты будущего намечены, «носятся в воздухе». Иначе будет сказка, волшебный сон, миражи, которые рассеиваются при первом соприкосновении с жизнью, с данностью. Правда, человек свои мечты о будущем сплошь и рядом принимает за размышления о нем, но только строгое размышление или подлинно постигающее чувство видит или мыслит *такое* будущее, которое, действительно идет на смену прошлого и настоящего. Так что и в этом случае истинный художник *познает* жизнь, в основе его работы лежит *опыт*.

Художественное познание может быть об'ективным и точным, как любая научная дисциплина. Этому не противоречит лирика, передающая интимные переживания и чувства поэта. Чувства и настроения, мысли и переживания должны у поэта иметь ценность для более или менее широкого круга людей, для класса, сословия и т. п., если не в настоящем, то в будущем. Иначе поэту грозит опасность кружиться, как белке в колесе, в своих настроениях, ненужных, непонятных, неинтересных другим. У Джека Лондона в романе «Железная Пята» вождь рабочих Эвергард в споре с представителями старого мира говорит: «Вы анархисты в области мысли. И все вы безумные созидатели особых миров. Каждый из вас живет в своем мирке, который он создал по своему собственному желанию и представлению. Среди вас не найдется двух людей, которые могли бы согласиться между собой в чем бы то ни было. Каждый из вас ищет об'яснения самому себе и природе в собственном сознании. Точно также вы готовы поднять самих себя за уши, чтобы об'яснить сознание сознанием». Вполне понятно, что такие индивидуалисты, такие творцы особых мирков, ставшие обычным, нормальным явлением в нашу эпоху гниения и разложения, распада и дезорганизации капиталистического общества, создают и художество насквозь суб'ективное,—занимаются передачей таких «заумных» движений чувства, которые представляют интерес только для них. Истинная лирика со всей этой суб'ективной изощренностью и извращенностью ничего общего не имеет. Она передает чувства поэта, представляющие общечеловеческий или классовый интерес. Она тоже опытна, только отправная точка здесь иная: лирик наблюдает себя, прозаик имеет дело с об'ектами, находящимися вне его; здесь только перемещено художественное внимание писателя.

Как в области научных дисциплин существует псевдо-наука, так в искусстве существует псевдо-искусство. Художник может оторваться от действительности (идеальной или реальной), может отдаться произвольной игре во-

ображения, передаче никому не интересных настроений. Так возникает в искусстве идеалистическое направление, соответствующее идеализму в философии и в науке. Вместо образа художник может пользоваться символом. Он может вместо мышления образами перейти к мышлению дискурсивному. В этих случаях произведение переполняется рассуждениями, публицистикой и т. п. Художник далее всегда окрашивает свои произведения соответствующей идеологией, иногда искажая сознательно или бессознательно типы, картины, события и т. д. Тогда произведение становится тенденциозным.

Г. В. Плеханов указывал на неизбежность вторжения в искусство публицистики, об этом же говорит и Анатоль Франс. Такое вторжение не только обязательно, но и в некоторые эпохи в высшей степени желательно и благотворно. Верно и то, что в сферу искусства легче вплетается суб'ективизм, чем в иные научные дисциплины, ибо речь идет о чувствах человеческих, но здесь различие не качественное, а количественное. В политическую экономию, социологию, психологию такой суб'ективизм вторгается тоже очень сильно. И даже еще неизвестно, где его больше: в искусстве ли или в этих научных дисциплинах. Основная задача, однако, не в этом, а в том, чтобы суб'ективизм, идеология, публицистика не искажали художественных созданий писателя, *чтобы суб'ективные настроения соответствовали природе об'екта,* чтобы публицистика и политика были в то же время на уровне лучших идеалов человечества.

Во всем, что здесь сказано об искусстве, нет никаких откровений. От Белинского и Чернышевского этот взгляд на искусство, как на особый чувственный метод познания жизни, воспринят марксизмом и в первую очередь лучшим философом и теоретиком искусства в марксистской среде Г. В. Плехановым. Но об этих элементарных истинах приходится сейчас напоминать с особой настойчивостью, так как у нас не редко, а весьма даже часто под флагом марксистской борьбы с буржуазными теориями стараются привить взгляды, совершенно чуждые марксизму, на всякий случай иронически прохаживаясь по адресу тех, кто любит поминать «иже во святых отец наших Плеханова». С другой стороны, как мы постараемся доказать ниже, на практике товарищей критиков журнала «На посту», забвение отмеченных элементарных истин в вопросах теории искусства ведет к самым печальным последствиям.

## III.

Искусство есть способ познания жизни с помощью образов. Да,—отвечает один из теоретиков современного футуризма тов. Чужак,—но таковым было искусство буржуазное, старое искусство. Новое пролетарское искусство должно преодолеть это старое искусство. Его задача сводится не к жизнепознанию, а к жизнестроению. «Искусство, как метод познания жизни (отсюда—пассивная созерцательность) — вот наивысшее и все же детально-укороченное содержание старой, буржуазной эстетики. Искусство, как метод

строения жизни (отсюда преодоление материи),—вот лозунг, под которым идет пролетарское представление о науке искусства». Основное зло старого искусства, по мнению тов. Чужака, кроется в пассивности, в созерцательности, в особом «обезволении» его. «Старое искусство не только предполагает—оно требует—пассивную, мягкую, как воск, так называемую «восприимчивую» психику, необходимую при созерцании. Принцип обезволения лежит в самой природе старого искусства» («Леф» № 1).

Очевидно, что то же самое нужно сказать и о науке, ибо и старая наука не пошла дальше познания жизни. Так тов. Чужак и говорит: «приемля подсобность момента познания—рабочий класс везде и всюду, — и в реальной, действительной науке, и в реальном, действительном искусстве-творчестве, и в действительной костистой драке за нужный социальный строй, везде и всюду пролетарский центр тяжести переносит с момента познания на непосредственное строение вещи, включая сюда и идею, но как определенную инженериальную модель».

Предусмотрительное заявление о подсобности, однако, не меняет существа, а оно в том, что, пуская в оборот слова—пассивность, обезволение и так далее, тов. Чужак ведет борьбу против науки и искусства, как способов познания. В итоге же об'ективизму противопоставляется волюнтаризм и суб'ективизм. Напрасно тов. Чужак полагает, что это—точка зрения пролетариата. Целый ряд буржуазных теоретиков являются сторонниками волюнтаризма и суб'ективизма. В частности немецкий экспрессионизм, в целом, типично упадочное течение, занимается сейчас проповедью своеобразного жизнестроения, понимаемого, правда, несколько иначе, чем понимает тов. Чужак.

Тов. Чужак путает различные моменты и сваливает все в одну кучу. Познание есть тоже в известном смысле волевой акт. В момент познавательного процесса внимание и деятельность человека обращено на то, чтобы его суб'ективные ощущения, настроения, мысли соответствовали природе, свойствам изучаемого об'екта. Ученый, художник контролирует, проверяет то, что дано в его восприятиях и мыслях тем, что дано вне его. Волевой момент—не только в этой работе, он обнаруживается в направлении внимания на те или иные явления: на одном художник или ученый сосредоточивает свое внимание, другого не хочет замечать. Воля входит непременным элементом в акт познания. Акт этот совсем не походит на блаженное созерцание, или глазение. Преодоление материи в этом смысле является существом научного или художественного творчества. Далее. Читатель, воспринимающий результаты этого творчества, должен обязательно так или иначе воспроизвести работу художника, пережить в ослабленном, в отдаленном виде главные этапы этой работы; иначе он произведения не поймет. Здесь также волевой акт имеет место. Верно то, что основа процесса познания в том, что приведение в соответствие суб'ективных восприятий с природой об'екта подавляет все остальные волевые акты.

За процессом познания следует процесс действия. «Наука основана на предведении, на предведении основано действие». Человек сначала познает,

потом действует, «строит». Никто еще не открыл науки, в которой эти два процесса сливались бы в одно, или науки, где процесс познания сделался бы подсобным. Пока такой науки в природе нет, и нет оснований полагать, что это в будущем, насколько мы его предвосхищаем, изменится. То же и с искусством. Совершенно непонятно, почему «восприятие» «Мертвых душ» Гоголя носит безвольный, пассивный характер. Наоборот, Собакевич и Манилов, Плюшкин и Ноздрев возбуждают вполне определенные чувства, за которыми следуют также очень определенные действия отнюдь не в пользу этих гоголевских персонажей.

Если бы старое искусство было пассивным, созерцательным, обезволенным, то оно не заставляло бы людей действовать, бороться. Но достаточно вспомнить почетную, благодетельную, благородную роль, которую сыграло старое русское искусство (в целом) в деле борьбы с царской деспотией, с русской растеряевщиной и окуровщиной, чтобы утверждения тов. Чужака повисли в воздухе [1]).

Замечания Чужака имеют еще смысл в отношении к некоторым направлениям в искусстве: к сентиментализму, к реакционному романтизму, к искусству-игре, к искусству ради искусства,—но как раз такое «искусство» наиболее суб'ективно и менее всего ставит себе целью жизнепознание. Меж тем тов. Чужак борется именно против реалистического, т.-е. подлинного искусства. Это с особой очевидностью явствует из иных его рассуждений, из рассуждений о действительности.

— Что такое, — вопрошают в один голос тов. Чужак и Третьяков,— реальность, действительность, опыт, данное и т. д.? И отвечают: это то, что есть; это—мертвое, застывшее, косное; это—пошлость, традиция, консервативное. «Быт является глубоко реакционной силой» (Третьяков). По силе сказанного задача художника—не познавать этот быт, а строить новое общество, нового человека. В этом—закон и пророки теоретиков современного футуризма. Отвращение к реалистической форме в искусстве постулируется при помощи диалектики Маркса-Энгельса. Вот что пишет т. Чужак: «если в основе всякой, в том числе и художественной деятельности (диалектический материализм), лежит какая-то материальная данность, но данность это уже есть нечто преходящее», т.-е. содержащее в себе «не только положительное понимание существующего, но также и понимание его отрицания, то ясно, что не фиксирование отложившегося быта (как это и до сих пор еще полагают многие, именующие себя марксистами) является задачей искусства, а реализация той воображаемой, но основанной на изучении антитезы, в выявлении которой заинтересован завтрашний день,—представление каждой синтезированной («осуществленной») формы «в ее движении», т.-е. под знаком нового

---

[1]) На свой лад и образец футуристами в науке являются кружки энчменистов. Ниспровергая буржуазных Бухариных, энчменисты уверены, что „вслед за низвержением эксплоататорских классов начинается массовый процесс отмирания „разума". Вместо „разума" и „знания" будущее принадлежит „единой системе органических движений". Вместо жизнепознания выдвигается тоже своеобразное жизнестроение.

и нового процесса вечно обновляющейся и развивающейся извнутри материи». («Леф» № 1).

Итак, задача пролетарского искусства не в фиксировании отложившегося быта, а в обнаружении «антитезы», в изображении жизни «в ее движении».

Это «*уже*» у тов. Чужака замечательно. Оно показывает, где основной вывих современных теоретиков футуризма. Его нужно искать во взгляде на данность, которая *уже* не данность. Все это ничего общего с диалектикой Маркса, Плеханова, Ленина не имеет. Над этими и подобными писаниями веет дух абсолютного релятивизма, отрицающего всякую устойчивость. Мы, коммунисты, тоже релятивисты, но наш релятивизм не абсолютный, а относительный. «Диалектическое воззрение на общее целое и на относительность бытия каждой вещи,—говорит один из лучших знатоков диалектики Маркса—Л. И. Аксельрод-Ортодокс,—не исключает никоим образом той несокрушимой истины, что в данном пространстве, в определенном времени и при данных наличных условиях А есть А» (*Л. Аксельрод-Ортодокс,* «Л. Н. Толстой»). Таким образом данность при известных условиях, в определенном пространстве и времени есть данность, а совсем не нечто *уже* преходящее. Тов. Чужак рассуждает не по Гераклиту, утверждавшему, что все течет, все изменяется, а по Зенону, который полагал, что в один и тот же поток нельзя войти дважды, ибо «все течет, все изменяется». Гераклит был диалектик, а Зенон—метафизический релятивист. Таких релятивистов сейчас в лагере буржуазных ученых очень много. Такими релятивистами, превратившими диалектику в метафизику, отрицающими устойчивость данности во времени и пространстве, являются Чужак и Третьяков. Тут нет ни грана диалектики Маркса.

В полном соответствии с этой, настоящей диалектикой, противоположной «диалектике» тов. Чужака, Брика, Третьякова, тов. Ортодокс в этой же своей книге о Толстом устанавливает ту истину, что диалектический материализм в искусстве ведет к реализму, как основной форме, т.-е. к познанию жизни, к об'ективному и точному изображению ее.

Что значит быть диалектиком в искусстве? Тов. Л. И. Аксельрод-Ортодокс отвечает, анализируя творчество Толстого:

> «Закон развития проникает собой и окружающую нас природу, и общественные отношения, и наше индивидуальное существование. Сообразно этому всеоб'емлющему закону, основа научного познания состоит *в сведении всего качественного к количественным отношениям.* Этот самый закон должен стать и для великих мастеров-классиков также основой художественного творчества. В корне уничтожая абсолютные контрасты, рассматривая каждый предмет не изолированно, а в ряду единого целого, диалектическое мировоззрение открывает художнику широкий необ'ятный простор для проявления во всей силе тонкости и глубины восприятий, меткости наблюдений и искусства воссоздать наблюденное и воспринятое...

«В чисто художественом воспроизведении Толстого все совершается во времени и в пространстве: там все живет и все умирает... Рождение и смерть, добро и зло, красота и безобразие, радости и печали, все эти и им подобные противоположные ценности выступают в художественных созданиях нашего гениального мастера не в *абсолютных вечных формах*, они не являются непримиримыми метафизическими сущностями, а, *напротив того, представляют собой звенья одной и той же общей, живой*, неразрывной цепи, где качество каждого отдельного звена определяется количественными отношениями... Это и есть диалектический взгляд на вещи и, в то же время, самый гуманный взгляд... Иначе говоря, творчество Толстого покоится, подобно научному исследованию, на опыте... Следуя этому строго об'ективному методу, Толстой был реалист в истинном смысле этого термина» [1]).

Пусть извинит читатель обстоятельность этой выписки. Она необходима, дабы показать, как знатоки диалектического материализма применяли последний к вопросам искусства. А сам Маркс? Одним из любимейших писателей его был Шекспир, несомненный реалист. И не в том дело, что Маркс «признавал» Шекспира, или отдавал должное ему, как историк, и даже не в том, что он получал от него эстетическое глубокое наслаждение, а в том, что он рекомендовал подражать ему в реализме своим лучшим современникам. В недавно опубликованных письмах его и Энгельса к Лассалю он по поводу драмы Лассаля «Франц фон Зикинген» советует ему «черпать вдохновение у Шекспира, а не следовать по стопам Шиллера, с его превращением индивидуумов в простые рупоры духа эпохи, что я тебе вменяю в наибольший грех». А Энгельс прямо советует Лассалю «не забывать реалистического элемента из-за идеалистического, Шекспира из-за Шиллера» («Под знаменем марксизма» № 3: «Письма Маркса и Энгельса к Лассалю» [2]).

---

[1]) К сведению читателя. Речь идет о Толстом художнике, поскольку он не привносил в свои произведения своей аскетической философии.

[2]) Поистине поразительны изыскания тов. Арватова в № 3 „Лефа“ и обработка, какой он подверг Маркса. Известное замечание Маркса о греческом искусстве, что „трудность состоит в понимании того, что они (произведения греческого искусства. *А. В.*) продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном смысле сохраняют значение нормы и недосягаемого образца“—он ухитрился истолковать так, что в итоге получилось,—будто бы Маркс считал это искусство „монументом“, напоминающим об античной культуре, но не способным заразить современного читателя эстетическими эмоциями, и, следовательно, ненужным и вредным для нового искусства. К этим и иным удивительным открытиям тов. Арватов приводит читателя путем цитирования таких мест из „18 Брюмера“: „социальная революция XIX века может почерпать для себя поэзию не из прошлого, а только из будущего“ и т. п. Правда, речь тут идет о социальной революции, а не об искусстве, а слово „поэзия“ Маркс употребляет совсем в ином смысле, что из контекста совершенно очевидно; тов. Арватова это не смущает: мысль Маркса, что прежние революции нуждались в великих исторических воспоминаниях и иллюзиях, а соц. революция в этих иллюзиях не нуждается, он ухитрился переделать так: искусство должно жить будущим, и „нормы“ и „недосягаемые образцы“ следует выбросить за борт современности. Очень уже все это...неуклюже.

Кому верить—теоретикам футуризма, утверждающим, что диалектика в искусстве ведет от познания жизни к какому-то жизнестроению, от реализма к тому, чтобы «превращать индивидуумы в простые рупоры эпохи»,—или «именующим себя марксистами» Марксу, Энгельсу, Плеханову, Ортодокс, утверждающим, что диалектика в искусстве ведет к Шекспиру, к Толстому, к реализму, к точному познанию жизни?

Вольному воля. От себя же скажем по поводу ссылок Чужака, Третьякова и иных на диалектику для обоснования своей позиции: «нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок». Тов. Маяковский и Асеев пишут подчас превосходные вещи, но теоретики их и истолкователи всуе треплют диалектический материализм.

Только на почве признания *абсолютного* характера противоположности между идеальным и реальным, противоположности, вытекающей из «диалектики» в ковычках, можно понять отрицательное отношение к реализму в искусстве со стороны теоретиков футуризма. Таковой разрыв у них на самом деле и есть.

Вдумайтесь в такую тираду тов. Чужака: «пролетариат есть социальная группа, двойственная по своей природе. С одной стороны—это только лишь класс, со всеми особенностями классового положения, т.-е. прежде всего с узко-классовой борьбой за существование, борьбой за конкретный кусок хлеба, за первичное существование своей семьи и т. д. и т. д., а значит—и с определенной узко-классовой психологией. С другой же стороны, это—класс, на знамени которого начертано освобождение от классового ига, это—говоря конкретно—последний класс» («Леф» № 1).

Никакого такого класса «с одной стороны, с другой стороны» нет, а есть просто класс. Идеал рабочего класса—освобождение от классового ига органически связан с тем, что наш критик называет узко-классовой психологией. Отправным пунктом в своей борьбе за социализм, мы, социалисты, берем «конкретный кусок хлеба». От всякого сорта утопистов мы отличаемся тем, что умеем связать «борьбу за первичное существование» с идеалом социализма. У тов. Чужака выходит все это не так: с одной стороны, борьба за первичное существование, с другой—борьба за социализм. Не понимая, что одно органически связано с другим, он дальше твердит «о каком-то роке», о «фатальном несоответствии», о «трагизме» и проч. вещах. А все дело просто: «рок»—в мышлении тов. Чужака, не умеющего перебросить мост от настоящего к будущему. При таком воззрении только и остается сказать, как говорят теоретики футуризма, что быт—пошлость, традиция, инерция, «первичная борьба», «узко-классовая психология» и т. д. Для диалектического материалиста все противоположности относительны; относительна противоположность и между идеалом и действительностью. Пролетарское искусство, конечно, обязано сосредоточить свое внимание на грядущем, но это нисколько не противоречит стремлению познать действительность; наоборот, только познавая ее, можно научным путем строить будущее.

Отрицая искусство, как познание жизни, тов. футуристы скатываются к полнейшему суб'ективному. «Самый термин «назначение»,—говорит тов. Третьяков,—вместо «содержание»—уже дан футуристической литературе» («Леф» № 1). Это и есть суб'ективизм. Тут прибавлять нечего, разве еще раз напомнить чудесное выражение Маркса об искусстве, в котором индивидуумы превращаются «в простые рупоры духа эпохи». К этому ведут искусство теоретики футуризма. Иногда это тоже бывает полезно, но это не будет искусством.

Наших футуристов сбивает с толку замечание Маркса: «философы лишь об'ясняли мир так или иначе; но дело заключается в том, чтобы изменить его». Из этого делается вывод—не жизнепознание, а жизнестроение. Достаточно, однако, немного вчитаться в тезисы Маркса о Фейербахе, чтобы убедиться в том, что это утверждение ничего общего не имеет с футуристическими требованиями не познавать жизнь, а строить ее. «Практикой должен доказать человек истину своего мышления», а не теоретическими отвлечениями—вот о чем говорил здесь Маркс.

Подчеркивающим об'ективный, точный, опытный момент в искусстве «по нонешним временам» заранее нужно быть готовыми к упрекам в старо-думстве, в буржуазности, в мещанстве, в проповеди чистого искусства и т. п. Упреки в буржуазности и в мещанстве можно без особого ущерба пропустить, но на вопросе о чистом искусстве во избежание возможных недоразумений следует остановиться.

Теория чистого искусства в ее наиболее классическом выражении утверждает, что художник подобно библейскому Иегове творит из «ничего»: таинственные недра духа—вот начало и конец художественного творчества; художник не берет об'ектом пошлую действительность; искусство самоценно, его задачи сводятся к «чарованию красных вымыслов» и т. д. Наши положения противоположны этим и иным подобным утверждениям. В основе подлинного искусства лежит опыт. Художник—экспериментатор и наблюдатель. Его произведение всегда обусловлено духом эпохи, психологией класса, сословия, группы, к которым он принадлежит. Оно служит определенным жизненным интересам, хочет того или нет художник. В равной мере и прекрасное не является самодовлеющею ценностью. Искусство в конечном счете утилитарно. Из этого, однако, не следует делать выводов в том смысле, в каком делает, например, тов. Третьяков, когда пишет: «футуризм должен его (искусство. *А. В.*) использовать, противопоставляя на его же арене: бытоотображательству — агитвоздействие; лирике — энергическую словообработку; психологизму беллетристики—авантюрную изобретательную новеллу, чистому искусству—газетный фельетон, агитку» («Леф» № 1). Вполне последовательным отсюда является призыв «бороться внутри искусства его же средствами за гибель его». У коммунизма пока решительно нет никаких оснований ставить своей целью разрушение искусства или подмену художества агиткой. Агитка—вещь полезная и крайне ценная, но это прикладное искусство; удельный вес агитки, фельетона и т. п. в наше время чрезвычайно ве-

лик. Следует ли отсюда, что мы должны отказаться от искусства, как средства познания жизни? Ни откуда не следует. Прав был Г. В. Плеханов, когда неоднократно выступал против утилитаризма Писарева. Но Писарев в своем утилитаризме не заходил так далеко, как пошли тов. Третьяковы. Писарев требовал, чтобы поэт, художник приносил своими произведениями *действительную* пользу, а не занимался чарованием во имя чарования. «Мы хотим, чтобы создания поэта ясно и ярко рисовали перед нами те стороны человеческой жизни, которые нам необходимо знать для того, чтобы основательно размышлять и действовать» («Реалисты»). Искусства, как средства познания жизни, Писарев не отрицал. Наши футуристы заняли позицию более левую, настолько, что она стала левее здравого смысла. Ум за разум зашел.

Кто говорит в искусстве: «долой познание, да здравствует агитка», должен сказать то же самое и о науке: «долой точные науки, долой теорию, да здравствует научная агитка, популярная брошюра, прикладные науки, преследующие непосредственно утилитарные цели». Тов. Третьяковы—люди очень храбрые, но храбрые лишь потому, что очень легко на все смотрят.

Здесь уместно вспомнить прекрасные строки, написанные тов. К. Тимирязевым по поводу спора о теоретическом и прикладном познании; строки, с полным правом могущие быть отнесенными и к нашему спору об искусстве:

«В воображении невольно возникает такая картина. Лет сорок тому назад на чердачек Ecole normale проникает один из таких негодующих моралистов и, застав там бледного больного человека, окруженного бесчисленными колбочками, разражается красноречивыми обличениями.

— Стыдитесь,—говорит он ученому,—стыдитесь, кругом вас нищета и голод, а вы возитесь с какою-то болтушкой из сахара и мела. Кругом вас люди бедствуют от ужасных жизненных условий и болезней, а вас заботит мысль, откуда взялась эта серая грязь на дне колбы. Смерть рыщет кругом вас, уносит отца, опору семьи, вырывает ребенка из об'ятий матери, а вы ломаете себе голову над вопросом, живы или мертвы какие-то точки под вашим микроскопом. Стыдитесь, разбейте скорее ваши колбы, бегите из лаборатории, разделите труд с трудящимися, окажите помощь болящему, принесите слово утешения там, где бессильно искусство врача.

«Красивая роль, конечно, выпала бы на долю негодующего моралиста, и ученому пришлось что-нибудь пробормотать в защиту своей праздной эгоистической забавы».

«Но как изменились бы зато эти роли, если бы наши воображаемые два лица встретились снова через сорок лет. Тогда ученый сказал бы моралисту приблизительно следующее: «Вы были правы, я не разделял труда с трудящимися,—но вот толпы тружеников, которым я вернул их миллионный заработок; я не подавал помощи больным, но вот целые населения, которые я оградил от болезней. Я не приходил со словами утешения к неутешным, но вот тысячи отцов и матерей, которым я вернул их детей, уже обреченных на неминуемую смерть». А в заключение наш ученый прибавил бы со снисходительной улыбкой: «И все это было там, в той колбе с сахаром и мелом,—в той

серой грязи на дне этой колбы, в тех точках, что двигались под микроскопом». Я полагаю, на этот раз пристыженным оказался бы благородно негодовавший, но близорукий моралист.

«Да, вопрос не в том, должны ли ученые и наука служить своему обществу и человечеству,—такого вопроса и быть не может. Вопрос в том, какой путь короче и вернее ведет к этой цели. Итти ли ученому по указке практических житейских мудрецов и близоруких моралистов, или итти, не смущаясь их указаниями и возгласами, по единственному возможному пути, определяемому внутренней логикой фактов, управляющей развитием науки; ходить ли упорно, но беспомощно вокруг да около сложного, еще не поддающегося анализу науки, хотя практически важного, явления, или сосредоточить свои силы на явлении, стоящем на очереди, хотя с виду далеком от запросов жизни, но с раз'яснением которого получается ключ к целым рядам практических загадок. Никто не станет спорить, что наука имеет свои бирюльки, свои порою пустые забавы, на которых досужие люди упражняют свою виртуозность; мало того, как всякая сила, она имеет и увивающихся вокруг нее льстецов, и присасывающихся к ней паразитов. Конечно; но не разобраться в этом ни житейским мудрецам, ни близоруким моралистам, и, во всяком случае, критериумом истинной науки является не та внешность узкой ближайшей пользы, которой именно успешнее всего прикрываются адепты псевдо-науки, без труда добывающие для своих пародий признание их практической важности, и даже государственной полезности» [1]).

Подставьте в этих прекрасных и глубоко верных, горячих строках великого русского ученого и нашего товарища вместо слов «наука», «ученый» слова «искусство», «художник» и их целиком и без из'ятия можно направить против наших современных ультра-утилитаристов. Бывают эпохи, периоды, когда прикладное искусство, прикладные науки, агитки, фельетоны, проповедничество получают законное преобладающее значение,—когда художник, ученый должны быть в первую очередь агитаторами, трибунами, когда задачи теоретического или чувственного познания отступают на задний план. Бывают моменты и более крепкие и простые: ученому и художнику, если они живые люди и хотят итти нога в ногу с творцами будущего, приходится отказываться *и от агиток*, и взять в руки винтовку вместо пера, стать у пулемета. В эти моменты преступно заниматься *и* агитками. Но тот, кто отсюда сделает вывод: искусство и наука да упразднятся, будет величайшим простаком, чтобы не сказать более.

Упразднив данность и подменив ее зеноновским становлением, возведенным в абсолют, теоретики футуризма вполне последовательно стали на точку зрения крайнего релятивизма и в вопросе о «языкотворчестве». «Творить» сознательно новый язык—очень почтенная и своевременная задача, но и здесь следует соблюдать умеренность и осторожность. Однажды к Анатолю Франсу явился некий капитан, страстный эсперантист, и принялся убеждать писателя на все лады в великих достоинствах языка эсперанто. А. Франс выслушал его

[1]) См. „Красная Новь“, № 12, ст. Мих. Завадовского: „Этюд о Тимирязеве“.

и заметил: «Послушайте, мой дорогой капитан, предположим, что вам дарят чудную куклу... она говорит с вами. Она зовет вас: «мой милый!». Будете ли вы любить ее? Предположим вы долго находитесь с нею вдвоем на необитаемом острове, и вдруг является настоящая женщина, даже довольно некрасивая, но все-таки живая женщина. Обратитесь ли вы с вашими мадригалами к кукле? Ваш эсперанто—кукла. Французский язык—женщина». Наши товарищи эсперантисты-футуристы, забывая, что всякий язык развивается органически, сплошь и рядом преподносят нам вместо женщины куклу: живой язык подменяется мертвыми, надуманными, вымученными словообразованиями [1]).

Читатель, конечно, заметил, что здесь намеренно, с особой заостренностью подчеркивается об'ективный, так сказать, точный момент в художестве и оставлены в стороне другие значительные вопросы, связанные с теорией искусства: вопрос о сознательном и бессознательном творчестве, о вдохновении, о форме и т. д. Для такого заострения есть достаточно серьезные основания. В наши дни вопрос об искусстве, как о точном познании жизни, имеет не только теоретический, но и глубоко практический характер; мы вступаем в такую общественную полосу, когда, кроме агиток, следует подойти к серьезному художественному познанию действительности. Меж тем у нас в этой части царят довольно странные взгляды. Революция произвела не только благодетельную встряску, но и лишила многих всякой психической устойчивости, заставив забыть такое, что считалось азбукой. В записках одного из товарищей, представленных в редакцию и еще не опубликованных, содержатся следующие поучительные заметки о современных настроениях тех, кто рос и зрел в последнее десятилетие: «Всмотритесь в каждого из нас. Ведь мы все—щельники, карнизники. Выросли украдкой, на задворках, вечными пасынками, мы ничем не похожи на человека торгашей, мы ничем не прирученные, не прикормленные, мы для «вчерашника» все равно, что люди, привезенные из какого-то неизвестного острова. Все у нас не так, все иначе... Мы росли, как на пожаре, в сумасшедшей гонке, в вечной беде. А потому и подход у нас ко всему серьезный, пожарный, сугубо взволнованный». Это очень верно и метко. Психологически становится понятным, как на почве такого «пожарного», «серьезного» подхода имеют известный ход крайний релятивизм, пожарность в вопросах искусства и науки. Пожарность пожарностью, а вред, который получается иногда от этой пожарности, остается вредом; мы уже видели, как тов. критики-футуристы дошли до упразднения данности, искусства и науки. К такому же упразднению в нашей текущей литературной обстановке ведет и позиция журнала «На посту». Тов. Третьяковы

[1]) Да не поймет нас читатель в том смысле, что мы не видим ничего положительного в работе „Лефа" над языком, над формой и пр. Целый ряд статей в журнале безусловно ценны и интересны, тем более, что они являются пока единственными. Очень хорошо, однако, было бы, если бы товарищи из „Лефа" умерили себя в саморекламе, в известной ненужной и вредной развязности, в фельетонной трактовке тем, чем особенно грешит первая половина № 3 журнала.

свихнулись на диалектике Маркса; усвоив ее очень поверхностно, они впали в безудержный релятивизм. Товарищи-критики журнала «На посту» свихнулись на вопросе о классовом искусстве, бултыхнувшись в тот же самый релятивизм, но несколько иначе.

Перейдем к их позиции.

III.

Сотрудники «На посту» на каждой странице усиленнейшим образом склоняют слово «классовый»: классовая литература, классовая психика, классовая поэзия и т. д. Это, конечно, не плохо, особенно в наше напряженное, исключительно «классовое» время. Однако как и в каком смысле оперируют понятием «классовый» наши критики?

«Искусство всегда служило и теперь служит могучим орудием непосредственного влияния на чувственное восприятие масс» («От редакции»).

«Литература бесспорно служит тому или иному общественному слою... Литература прошлых эпох была пропитана духом эксплоататорских классов» (Вардин) и т. д.

Все это, разумеется, верно, но для определения искусства недостаточно. Меж тем такими общими заявлениями журнал «На посту» и ограничивается. Нигде ясно и твердо не сказано, что искусство есть особый способ познания жизни, что в подлинном искусстве есть такой же точный, об'ективный момент, как и в философии и в науке. Не сказать, не отметить этого, оперируя все время понятием «классовый»—значит выбросить за борт один из главных элементов, образующих «душу» искусства. Литература, искусство бесспорно служат тому или иному классу в обществе, разделенному на таковые. Но отсюда никоим образом не следует, что данные, добытые в результате художественного опыта, лишены об'ективной ценности.

Сознательно или бессознательно ученый и художник выполняет задания своего класса. Продукты его работы идут прежде всего на потребу интересам этого класса. Успехи, характер, направление, методы научной и художественной деятельности обусловливаются господствующей *психологией* того или иного класса, психологией, в конечном счете зависящей от состояния производительных сил данного общества, следственно, изучая, показывая бытие, художник и ученый рассматривают это бытие *сквозь психологическую классовую призму*. Но в числе заданий, которые класс обязывает выполнить ученого и художника, главнейшее сводится к точному, опытному познанию жизни, *поскольку это необходимо для данного класса*. Иногда это задание сознательно или бессознательно дается в таком смысле, чтобы художник или ученый занялись искажением действительности; тогда получается псевдо-наука, псевдо-искусство. Обычно искажение имеет место, когда об'ективная правда данному классу почему либо невыгодна. Далее. Сплошь и рядом, особенно в искусстве, художник, познавая жизнь, истолковывает ее, окрашивает своими настроениями, своей «идеологией», на которых лежит классовый отпе-

чаток. Из всего этого следует, что, помимо суб'ективных моментов, в художестве и в науке есть об'ективные. Поэтому, рассматривая искусство под углом классового расчленения общества, наши лучшие теоретики марксизма, писавшие об искусстве, никогда не забывали подчеркнуть с самого начала об'ективную, общезначимую ценность в настоящих, в великих произведениях искусства. Наоборот, вслед за просветителями Г. В. Плеханов не уставал подтверждать, что у искусства, как и у философии, один и тот же предмет. В своих книгах, в статьях, в исследованиях он умел отмечать, выделять, обнаруживать то, что у данного художника в его произведениях имеет об'ективное значение, от тех вольных и невольных искажений, которые получались благодаря суб'ективизму художника, благодаря его неверным взглядам, сословным, групповым, классовым предрассудкам (См., например, классические гениальные статьи Г. В. Плеханова о Успенском и др. народниках, о Горьком, об Ибсене, о Толстом).

Просмотрев этот об'ективный момент в художестве, забыв, что задача художника познавать жизнь, критики журнала стали фактически на точку зрения суб'ективизма в вопросах искусства. Но их суб'ективизм особый; это—суб'ективизм людей, превративших теорию классовой борьбы в метафизическую, абсолютную категорию. Их метод, их подход к художнику приблизительно таков: раз художник своими произведениями служит определенному классу, а жизнь класса определяется его интересами, то в его вещах ничего кроме классовой голой заинтересованности, направленной против другого класса, нет и быть не может. Ни о каком об'ективном содержании не может быть и речи.

Мы видели, как теоретики футуризма зачеркнули «содержание», поставив вместо него «назначение», вместо познания—цель. Тов. критики журнала «На посту» тоже вычеркивают «содержание». Вместо него у них все время подставляется идеология, миропонимание. Но идеология в науке и в искусстве это одно, а содержание, которое сплошь и рядом у ученого и художника противоречит его идеологии, это иное. Содержание здесь трактуется исключительно как передача суб'ективных настроений, мыслей, чувств художника, а не как результат работы над об'ектом. В этом суб'ективизме точки зрения и футуристов и суровых критиков «На посту» вопреки их расхождениям в других областях совпадают. Недаром тов. Родов пишет: «в понимании задач искусства они (футуристы. *А. В.*) довольно близко подошли к формулировке, данной этим задачам группой «Октябрь». Все дело, по мнению Родова, в том, что, к сожалению, футуристы по-прежнему увлекаются эстетическими упражнениями, деланием языка, изобретательством новых слов и т. п. С нашей точки зрения основной грех футуризма не в этом, а в суб'ективистском понимании задач искусства, чего Родовы не замечают, так как они сами суб'ективисты.

Усвоив общие положения, что чистого, внеклассового искусства нет, что художник—сын своей эпохи и класса, что теория, трактующая художественное творчество, как самодовлеющую в себе замкнутую цель, противо-

речит марксизму—критики «На посту» решили, что ни о каком об'ективизме не может быть и речи, что всякое художество насквозь пропитано узко-классовым, узко-утилитарным суб'ективизмом. Эта *вульгаризация теории классовой борьбы есть особая разновидность релятивизма, доведенного до абсурда. Из тонкого оружия марксистской критики в таком понимании теория превращается в обух, которым гвоздят направо и налево без всякого толку и без разбору. Нет общества, как особого организма, развивающегося в рамках классовой борьбы. Что в формах классовой борьбы идет вперед, прогрессирует или развивается все общество в целом, что в этих формах совершается накопление материальных и духовных ценностей—это с такой точки зрения должно казаться нелепым, вредной ересью. Классовая борьба превращается в самоцель, она самодовлеюща, она не служит средством для поступательного развития человеческого общества. Никакой преемственности от одного класса к другому нет и быть не может. Наука, искусство и т. д., находившиеся в руках одного класса, пригодны только на слом для другого класса антипода, так как ничего в них помимо классового суб'ективизма, заостренного против интересов этого иного класса, нет.* Достаточно поэтому сказать про такого-то ученого, художника «буржуазный», чтобы идеологу пролетариата взять в руки обух и начать «энегрично» «распространять пространство».

Так наши критики и делают.

Старое искусство является искусством командующих классов, буржуазии и дворянства. В соответствии со своим пониманием классового характера искусства Лелевичи и Родовы считают, что основная задача литературы наших дней сводится к тому, чтобы освободиться от содержания (идеологии) и от формы классиков. В программной статье от редакции говорится: «Прежде всего, пролетарской литературе необходимо окончательно освободиться от влияния прошлого и в области идеологии, и в области формы». И дальше: «мы будем бороться с теми стародумами, которые в благоговейной позе, без достаточной критической оценки застыли пред гранитным монументом старой буржуазно-дворянской литературы и не хотят сбросить с плеч рабочего класса ее гнетущей идеологической тяжести». Этот мотив несколько раз повторяется и в других статьях, доходя в заметке т.т. Берсенева до наивного, но очень характерного утверждения, что «те или иные буржуазные писатели» не могут эволюционировать «в сторону пролетарского строительства жизни».

Г. В. Плеханов находил естественным и неизбежным отрицательное отношение нового класса, пришедшего на смену старого, к литературе последнего. Это и в самом деле так. Но такое стремление законно только в той мере, в коей оно правильно и разумно учитывает, что молодая литература нового класса должна взять от литературы прежней эпохи как непременное условие для дальнейшего своего развития и что она должна отбросить как ненужный и вредный пережиток. Сам Г. В. Плеханов никогда не грешил огульным отношением к науке и к искусству буржуазно-помещичьей культуры; он

умел находить «меру вещей» и, например, указывая на ограниченность взглядов французских и русских просветителей, неизменно отличал в них об'ективно-ценное и действенное с точки зрения диалектического материализма. Для наших суб'ективистов вопрос прост, как палка. Раз буржуазный, следует стремиться к окончательному освобождению.

Тот же Г. В. Плеханов одну из основных задач марксистской критики видел в том, чтобы найти социологический эквивалент произведения. Такое определение необходимо: мы узнаем благодаря такому анализу, что данное произведение созрело на основе таких-то черт классовой психологии; мы определяем, в какой мере эта психология, эти чувства, мысли, настроения соответствуют интересам всего общества в лице наиболее передового и наиболее жизнеспособного класса в данный исторический период. Таким путем познается место, роль, определяется вес данного учения, художественного обобщения в текущей общественной борьбе. Но как далеко ни шел бы наш анализ в этом направлении, нам не удалось бы установить соответствия научного или художественного открытия об'ективной правде. Поэтому великий теоретик марксизма дополнял свое первое требование другим—необходимостью эстетически оценить данное художественное произведение. Эстетическая оценка в искусстве соответствует логической оценке в науке. Эстетическая оценка в нашем понимании не является эквилибристикой, смакованием красоты ради красоты, любованием во имя любования. Эстетически оценить произведение значит определить, насколько содержание соответствует форме; говоря иными словами, насколько содержание соответствует об'ективной художественной правде, ибо художник мыслит образами: образ должен быть художественно правдив, т.-е. соответствовать природе изображаемого. В этом—совершенность, прекрасное в произведении художника. *Ложная идея, ложное содержание не может найти совершенной формы*, т.-е. не может глубоко эстетически захватить, «заразить» нас, и если мы говорим—идея неправильна, но оправлена в прекрасную форму,—то это нужно понимать в очень узком, очень условном смысле.

Суровые критики вместо отыскания социологического эквивалента произведения, как мы покажем дальше на отношении их к попутчикам, ограничиваются голым общим схематизмом: буржуазный, мелко-буржуазный, пролетарский. Эстетическая же оценка произведения в ряде критических статей у них просто отсутствует. В этом смысле очень показательна статья тов. Волина, в ней эстетическая оценка подменена отысканием криминальных фраз и выражений.

Тов. Вардин совершенно правильно рекомендует писателям, которые стараются быть «ни в тех, ни в сех», заняться серьезным прохождением курса полит-грамоты. Многим из наших художников в высшей степени полезно прислушаться к подобным советам. Но из-за этого нельзя забывать, что у художника есть своя основная цель—художественно правдиво воспроизводить жизнь. Вопрос, следовательно, не в одном усвоении полит-грамоты, как то думает тов. Вардин,—он гораздо серьезнее и глубже. Что толку в том,

что у нас целые кружки заняты передачей газетных передовиц в рифмованных строках. Передовицы читают, а «поэтическая» полит-грамота преспокойно продолжает лежать и загромождать склады, демонстрируя одни лишь благие намерения, которыми, как говорят, весь ад вымощен. Тов. Вардин советует нашим писателям, кокетничающим своим пренебрежением к политике, поучиться у Буниных и Мережковских, которые заняли определенную, четкую партийную линию. Тоже недурной и своевременный совет. Не нужно, однако, забывать, что, «самоопределившись», Бунины и Мережковские ни единой художественной вещи не создали, а писали дрянные газетные статьи под Бурцева. Да не будет у нас такого «самоопределения». Бунины и Мережковские сделались литературными импотентами потому, что «самоопределились» в сторону мракобесия, за которым нет исторического будущего; «самоопределение» в сторону коммунистической полит-грамоты ведет художника к усвоению лучшего идеала, до которого дошло человечество. Это—существенная разница. Наши колеблющиеся художники обязаны итти плечом к плечу с новыми строителями, но пусть они это делают так, чтобы читатель сказал: это художественно-правдиво и верно. А для этого они должны не выдумывать, не подгонять свои вещи под готовые шаблоны, не перелагать передовиц, а глубже, внимательнее, сосредоточеннее всматриваться в действительность, показывать жизнь, соединяя художественную правду с идеалами коммунизма.

То правда, что разные эстетствующие, уставшие, опустившиеся, изверившиеся, растерявшие все «живые трупы» любят надевать на себя маску об'ективности и под этой маской протаскивать мещанский, обывательский, старо-дворянский и буржуазный идеологический хлам. Не об этой мнимой об'ективности идет здесь речь; и не о том, чтобы художник удалялся на вершины неведомого Парнаса. Здесь речь идет о точности и об'ективности, которую мы находим у Шекспира, у Гоголя и у Толстого, о той, наконец, каковая с познанием жизни соединяет высокое поучение, изгоняя темноту, пошлость, дрянь и гной нашей жизни.

Переходим к попутчикам.

## IV.

Позиция журнала «На посту» в отношении к попутчикам весьма выразительна. Можно без преувеличения сказать, что главная цель журнала—в том, чтобы согнать попутчиков с места, занимаемого ими в сегодняшней литературной жизни. «Мы будем,—говорится в редакционной статье,—бороться с теми Маниловыми, которые из гнилых ниток словесного творчества «попутчиков», искажающих нашу революцию и клевещущих на нее, стараются построить эстетический мостик между прошлым и настоящим».

Как из *гнилых ниток* словесного творчества строится эстетический *мостик* и почему нужно особенно рьяно бороться против такого заведомо безумного предприятия—неизвестно. Но дело не в этом. Раньше отмечено

было, что журнал «На посту» имеет в виду бороться за «окончательное» освобождение социалистического отечества от идеологии и от формы старого искусства. Но старое искусство в лучших своих образцах лучших времен является самой могучей, самой первой, самой серьезной, самой надежной попутчицей революции. С другой стороны, не подлежит сомнению, что современные попутчики в «эстетическом мостике» между старым искусством и искусством сегодняшнего дня очень и очень повинны. Такой «мостик», действительно, существует. Родовы и Лелевичи и здесь последовательны: об'явив поход против «монументов» старого искусства, они должны были об'явить священную войну против современных литературных попутчиков революции.

Для более полного уяснения позиции журнала следует также остановиться на тезисах, принятых по предложению тов. Лелевича группой писателей «Октябрь». Там говорится: «Мелко-буржуазные группы писателей, «приемлющих революцию», но не осознавших ее пролетарского характера и воспринимающих ее лишь как слепой анархический мужичий бунт («Серапионы» и т. п.), отражают революцию в кривом зеркале и неспособны организовать психику и сознание читателя в сторону конечных задач пролетариата. Поэтому положительного воспитательного значения для рабочего класса они иметь не могут. Но, вместе с тем, они способны сыграть некоторую роль в деле притупления вражды к революции со стороны колеблющихся мелко-буржуазных кругов и внедрения в сознание этих кругов мысли о необходимости делового сотрудничества с правящим пролетариатом." В связи с этим «тезисы» настаивают на том, чтобы пролетарскую литературу сделать главной опорой, а «для дезорганизации» сознания противника использовать литературу попутчиков, как подсобную силу. Это называется—установить единую партийную линию.

Как на практике намерены осуществить установление этой линии наши критики в противовес «неразберихе», «литературно-критической чехарде», в коих повинны «некоторые редакторы» и какие-то «высокоученые попустители»,—об этом недвусмысленно говорит все содержание № 1 журнала. В отношении старой литературы Европы и России предполагалось, как отмечалось выше, «окончательно освободиться». Для современных попутчиков имеется в виду введение процентной нормы,—судя по всему суровой до чрезвычайности,—так как попутчики занимаются главным образом клеветой на революцию, в лучшем случае, отражением ее в кривом зеркале. Непонятно, как они могут при таких своих свойствах помогать пролетарским писателям дезорганизовать врага. Остаются по утверждению тов. Авербаха «Леф», «Кузница» и «Октябрь». Но с «Кузницей» дела обстоят мрачно. Согласно раз'яснению тов. Лелевича, они—«декаденты». Ингулов полагает, что они—«бесхарактерные нытики», а тов. Авербах считает, что их постепенно засасывает мещанство. С «Лефом» тоже до крайности неблагополучно. По крайней мере тов. Родов, несмотря на свои утверждения, что в формулировке задач искусства «Леф» приближается к «Октябрю», все же в итоге уверяет:

«в настоящее время мы имеем небольшую кучку футуристов, из которых только некоторые могут быть, и то со значительными оговорками, приемлемы для революции». Остается «Октябрь». Там никого чистить не надо, там колыбель молодой русской литературы, «там чудеса, там леший бродит». Пуритане наши еще не добрались до современной «большой» и «средней» западной литературы: до Уэллса, Келлермана, Леонарда Франка и др. Но это, разумеется, до поры до времени. Судя по всем данным, критики будут и здесь неукоснительны и будут настаивать на изгнании и этих филистимлян, ибо они принадлежат к кругам западной буржуазной интеллигенции и не являются коммунистами. Так обстоит дело «на литературном участке идеологического фронта».

Получается столь мрачная картина, что—либо в воду бултыхайся, либо становись во всеоружии на посту. Кругом мещанство, клевета, искажение, декаденты, и даже единственная отрада «Октябрь» не исправляет положения, потому что при всех своих доспехах и при всей своей неукротимости и отчаянности—спасти «литературный участок» не может. Со стороны-то это видней.

Некий администратор Курнатовский у Тургенева полагал относительно художества, что «оно и ненужно, но в благоустроенном государстве допускается». Родовы и на это идут с трудом. Говоря серьезней, перед нами явно дикая фантасмагория; действительно,—нелепая неразбериха. Позиция «На посту» в практике ведет не к выпрямлению партийной линии, а к уничтожению и к удушению современной советской литературы и пролетарской и непролетарской. В чем же дело? Откуда сие?

Путаница наших товарищей, приведшая к тому, что они вынуждены зачеркивать и старое и новое искусство за исключением одной очень небольшой и очень юной группы, происходит все от того же неумения применять теорию классовой борьбы к вопросам искусства. *Ни в редакционной статье, ни в упомянутых тезисах не делается никакой серьезной попытки ответить на вопрос, кто такие мелко-буржуазные попутчики. Тем более не задаются тов. Лелевич и Родов вопросами, есть ли в их творчестве элементы художественной, об'ективной правды, в чем они выражаются, если выражаются.* Наши критики довольствуются одним: мелко-буржуазный и—баста; никакой положительной пользы сознанию читателя мелко-буржуазный писатель принести не может. Ссылка на то, что они воспринимают революцию как анархический, слепой, мужицкий бунт, очень обща, недостаточна и во многих случаях просто неверна. Наши попутчики—народ довольно пестрый. Часть их следует отнести к новой интеллигенции, выпестованной революцией. Они беспартийны, но они боролись за нас, за советскую землю. Они выросли из революции, они дети революции, ее воспитанники. Они оттуда, откуда пополняются рабфаки, советские школы и т. д. Таковы: Всев. Иванов, Сейфуллина, Ник. Тихонов, Асеев, А. Малышкин, беспартийные беллетристы «Кузницы», Н. Огнев, Петр Орешин, А. Сигорский и др. Неверно, что они воспринимают революцию как анархическую, слепую, мужицкую стихию.

Обычно отношение у них к мужику сторожкое: они понимают ограниченность его кругозора. Но они знают нашего крестьянина, знают, что, делая революцию, наш крестьянин окрашивал ее иначе, чем рабочий, и как подлинные художники они не могли пройти мимо этого факта. Но все их симпатии на стороне города, рабочих, коммунистов. Их железную, организующую и дисциплинирующую руку они признают (Никитин у Иванова, город у Сейфуллиной и пр.). Недостатки, какие у них имеются в подходе к коммунистам, об'ясняются сложностью и новизной темы, так как «кожаные» люди на Руси—явление последних лет; они мало знают внутренний быт коммунистической партии, и это тоже кладет свой отпечаток на их вещи. Но они художественно честны; их работы дают куски подлинной жизни, а не сладостно творимые легенды; живую жизнь, живого человека они начали изображать еще задолго до призывов тов. Авербаха и Лелевича. Эти попутчики первые ударили по деревянным агиткам, по отвлеченности и схематике в художестве. Они подошли к *русской* революции, а не к революции вообще вне времени и вне пространства; вместе с тем они далеки от национализма, сменовеховства и т. п. Такие вещи, как «Дитё», «Полая Арапия», «Цветные ветра», «Бронепоезд» В. Иванова, «Перегной» Сейфуллиной, «Падение Даира» А. Малышкина, как стихи Тихонова, Асеева и другие более мелкие вещи останутся ценными художественными документами нашей эпохи. Изображая и отражая настоящую жизнь, помогая познавать ее, они в этом смысле способны и организовать психику читателя в нужном для коммунизма направлении, ибо нам на потребу идет не только политграмота, но и то, что помогает обогащаться художественными и иными знаниями. Общее освещение, какое они дают революции, для нас приемлемо, а от недостатков они стремятся освободиться в меру своих способностей и сил. И сколько бы тов. Лелевич ни требовал для них процентной нормы, они будут занимать такое место в литературе, какое принадлежит им по праву в зависимости от их таланта и приносимой пользы.

Другая группа попутчиков тоже, довольно пестрая, состоит из старых интеллигентов («большая» литература) и их детей, выросших во время революции. Таковы из «стариков» М. Горький, В. Вересаев, А. Толстой, И. Эренбург, а из молодежи Бор. Пильняк, Ник. Никитин, В. Лидин, Мих. Зощенко и многие иные. Это—осколок старой интеллигенции. При всех психологических и художественных различиях их роднит то обстоятельство, что им «деваться некуда», как итти и по-своему служить посильно русской революции. У них тьма тем всяких предрассудков. Один ушиблен жестокостью и азиатчиной русской жизни (М. Горький), другой оправдывает большевизм с каких-то надмирных, надзвездных высот и беспомощно стоит «в тупике» перед лицом текущей жизни (В. Вересаев), третий видит новых Гусевых, но не верит в Европу и верит в русский дух (А. Толстой), четвертый тоже видит только гибель Европы, не находит никаких творческих исторических сил и заражается своеобразным историческим нигилизмом (Илья Эренбург); пятый путает кожаные куртки и допетровскую Русь (Борис Пильняк); шестой

борьбу красных и белых изображает, как насилие над подлинной жизнью, которая идет своим чередом (Н. Никитин). Со всеми этими предрассудками, с этим суб'ективизмом коммунистической критике надлежит вести умелую и твердую борьбу. Но вести борьбу это—одно, а требовать изгнания—совсем иное. Ценой тягчайших усилий примиряют себя с революцией многие из «стариков», но примиряют. Разложение буржуазной цивилизации, непререкаемость русской революции, распад старой интеллигентской идеологии, первые свежие побеги новой русской действительности на почве, богато вспаханной революционным плугом,—это и многое другое заставляет этих писателей, каждого по своему, итти с русской революцией, а не против нее. В частности, новое интеллигентское поколение в лице Бор. Пильняка и Н. Никитина, это не современные Санины, а дети Саниных, насмотревшиеся на наготу отцов своих. Они сами в большой степени отравлены их ядом, но пытаются найти выход в новой революционной общественности,—такова животворная сила русской революции. Их «осанна» ей сплошь и рядом перебивается реакционными, полуреакционными, либо обывательскими настроениями; их эротизм тащит их часто в сторону от новой общественности. Они плохо понимают и знают рабочего. Где кинут многие из них свой якорь в конце концов, неведомо, но пока существует Советская власть, пока «революция продолжается», они, думается, будут говорить: «мне, не большевику, вообще легче вести компанию с большевиками: у них есть бодрость и радостность» (Бор. Пильняк).

У «стариков» есть на-лицо большое мастерство, понимание существа искусства, умение и выработка. Некоторые из них пользуются европейской и даже мировой известностью. Мы не проповедуем пиэтета, но нужно уметь ставить все на свое место. Молодые—тоже художественно одаренные писатели. Неверно, что это—мертвый хлам, центроужи, пасквилянты и клеветники. Горький за время революции дал шедевр в литературе о Толстом («Воспоминания о Толстом»). Его «Автобиографические рассказы», «Заметки», «Отшельник» напоминают лучшие его вещи. Как будто он вновь вполне нашел себя. Можно как угодно относиться к роману Толстого «Аэлита», но его Гусев—центральная фигура в романе—интересное художественное обобщение. Роман в настоящее время переведен на несколько языков и по-своему будет прокламировать на Западе Гусевым нашу Красную армию. «Хулио Хуренито» И. Эренбурга—очень интересная и ценная художественная сатира. Пильняк от допетровской Руси, от метельности и бунта, через шпенглерианство («Третья столица») пришел к своеобразной заводской романтике, к признанию «черной руки рабочего», которая «как орлиная лапа» вмешалась в серую русскую метель, а отсюда—к проповеди союза интеллигенции с коммунистами на почве культурничества («Повести о черном хлебе»). Неверно, что у него только пол, эротика; Пильняк двоится между индивидуализмом, эротикой и новой общественностью. От «смертельного манит» он ищет упорно выхода к русскому октябрю и к той новой жизни, что ныне выковывается. Один из самых талантливых молодых беллетристов Н. Никитин долго путал тех, у «кого глаза надежней и медяней пуговицы» с полуреакцион-

ным и обывательским подходом к революции, хотя суб'ективно он не был реакционером. В «Бунте» от этой расколотости писатель отошел. В этом смысле особенно характерна последняя переработка повести «Ночь», в которой Никитин нашел, наконец, нужные слова для кулака Кузьмы.

В этом лагере, повторяем, и теперь далеко не все благополучно. Не раз и не два критикам коммунистам придется еще «за ушко да на солнышко» выводить напоказ все дряблое, обывательское, упадочное. Но мы не будем забывать то положительное, что они дают, не будем заниматься выуживанием фраз и отдельных строк, оставляя в стороне содержание в целом, так что художественная суть произведения остается неведомой для читателя.

И у той, и у другой группы попутчиков есть некоторые общие черты, особенно у молодежи. Они не мистики, а реалисты в письме, и это очень здоровое и положительное явление. Они стремятся отразить жизнь, а не подогнать ее под шаблоны, хотя бы и хорошие. Их отношение к буржуазной цивилизации отрицательное. Прошлый царский уклад, растеряевщину и окуровщину, дряблость нашей интеллигенции они ненавидят и сознают, что только с большевиками и через них намечается действительный выход из тупиков, созданных всесветными плутами и захребетниками трудовых масс. Вместе и на-ряду с коммунистами-художниками: с Демьяном Бедным, Аросевым, Ю. Либединским, С. Семеновым, с Гладковым, «кузнецами», с Маяковским, стоящим где-то на отшибе, но очень к нам близко, они являются наглядным аргументом революции. Они свидетельствуют, что Советская власть не одинока, не изолирована в стране, что у нее и в ней—огромная притягательная сила, что ее позиция достаточно крепка, что она располагает целым кадром талантливых художников «божьей милостью», что русская революция не импотентна в духовном, а следовательно, и в иных смыслах, что рабочие, крестьяне, наиболее демократичная, разночинная интеллигенция («кухаркины дети»), совершившие революцию,—не разрушители, а подлинные творцы будущего. Если журнал «На посту» попадет в руки, например, нашей зарубежной эмиграции, он возбудит там только довольное урчание.—Позвольте, «у них» в литературе нет ничего, кроме Родова и Лелевича, плюс еще небольшой группки. Даже пролетарские писатели от них отшатнулись и ушли «к нам». «Они» в стране одиноки, «они»—каста, замкнутая группа без поддержки: «они» живут в вымороченной атмосфере всеобщего недоверия. К счастью, для республики советов картина, нарисованная пуританами журнала «На посту», правде не соответствует. Советская власть с каждым месяцем укрепляет свои позиции в стране и в мире, несмотря на торможение Запада, вопреки тягчайшим условиям в области хозяйства и достаточно дрянного административного аппарата. Этому укреплению в художестве соответствует тяга к нам, советская ориентация, распад в лагере наших врагов, сочувствие в значительных, лучших кругах буржуазной интеллигенции Запада и России (Уэллс, А. Франс, Ромэн Роллан, Бернард Шоу, А. Толстой, Эренбург и проч.). И недаром российская эмигрантщина обливает помоями Уэллсов и Толстых, Горьких и Эренбургов; недаром он замалчивает нашу новую моло-

дую советскую литературу: Ивановых, Казиных, Сейфуллиных, Малышкиных. Очень хорошо она знает, в чем тут дело. Она хорошо чувствует и сознает, что ставка на духовную изоляцию большевиков проваливается с таким же треском, как провалилась ставка на изоляцию материальную.

Тов. Ленин как-то заметил, что каждая группа, каждый слой идут к коммунизму своими, особыми путями, что путь к коммунизму, скажем, инженера совсем иной, чем у рабочего. Это нужно твердо помнить и не бояться разнобоев, уклонов, идеологических вывихов, не устраивать институтских истерик, когда художник, воспроизводя жизнь, окрашивает свое произведение иногда подозрительной идеологией, вносит в него массу всяческих предрассудков. В наших руках печать, типографии, издательства, газеты, журналы; мы сумеем отделить об'ективно ценное от суб'ективной отсебятины автора.

Что дали об'ективно ценного наши литературные попутчики?

Не очень многое, но кое-что дали.

Вершинин, Син-Бин-У, Никитин, Калистрат Ефимыч, партизаны в ряде рассказов иногда необычайно красочных и сильных, как «Дитё», Васька Залус, Кирилл Михеич у Всеволода Иванова; — новые люди, крепкие и простые, как гвозди у Н. Тихонова: большой человек, которому не под силу будничная чушь—у Маяковского; красноармейцы, берущие Даир у Малышкина; быт провинции в революцию у Пильняка («Раз'езд Мар» и т. д.), Гусев у Толстого; крестьяне комбедчики у Сейфуллиной. Антон Черняк и «спецы» у Никитина; старая новая деревня, голодающие дети, новые следопыты у Неверова; интеллигенция в тупике у Вересаева; распад Запада у Пильняка и Эренбурга; ряд бытовых сцен, зарисовок у этих и у других писателей; старая жуткая Русь в последних вещах М. Горького,—вот случайный, неполный, конечно, отрывочный перечень того, что дали наши попутчики за это время. Они явно не поспевают за жизнью, но за два с половиной года литературного оживления это не так уже и мало. Во всяком случае читателю они дают настоящий художественный материал, они изображают, показывают. Дело не в пролазах и в пронырах, которые облапошивают «добродушных» большевиков, а в том, что *у нас 95% России является попутчиками коммунистов*, и это не может не отразиться на судьбах новой литературы. Наши журналы не потому радушно открывают двери попутчикам, что в силу нэпа имеют к ним особое и преступное пристрастие, а потому, что Демьяном Бедным и повестью Ю. Либединского «Неделя» русская современная литература ограничиться не может. Ведь это факт, что наиболее яркие дарования мы находим в лице Иванова, Тихонова и др. попутчиков, что они первые сказали живые слова о живых людях нашей революции, если исключить «Двенадцать» Блока (тоже попутчика), Демьяна Бедного и еще очень немногое. Честь и место писателям коммунистам, пролетарским писателям, но в меру их таланта, в меру их творческой способности. Партийный билет—великое дело, но размахивать им не к месту не следует.

Товарищи Лелевич и Родов очень любят твердить об организации психики читателя. Нужно, однако, усвоить и понять, *как* художник организует

эту психику. Противникам попутчиков кажется, что все дело очень просто: художник только и делает, что проводит «идеологию»; но дело гораздо сложней: в искусстве и в науке должно быть об'ективно-ценное содержание, иначе это не искусство и не наука. Это содержание очень сложными способами переплетается с «идеологией». Запутавшись в суб'ективизме, наши критики естественно приходят к упрощенному до вульгарности методу. Тов. Лелевич, например, пишет: «Необходимо критически пересмотреть и отношение к мелко-буржуазным попутчикам. Тут речь идет не столько о качестве, сколько о количестве. Но ведь даже Маяковский... уже знает о переходе количества в качество... Только тогда Ивановы и Никитины смогут выполнить свое дело дезорганизации сознания наших противников, когда основные командующие высоты литературы будут в руках пролетариата и его партии». Просто и откровенно: дело не в качестве, а в количестве. Введите процентную норму, и все дело в шляпе. Есть ли достаточные художественные данные у пролетарских писателей, благополучны ли они сами по части политграмоты, что дают мелко-буржуазные Ивановы и Тихоновы, есть ли в их вещах что-нибудь об'ективно-ценное, в каком идеологическом состоянии они находятся, куда и откуда идут они, обо всем этом либо почти не говорится, либо говорится походя, между прочим. Нет, речь идет и должна итти именно о качестве, а не о количестве, не о том, сколько писателей попутчиков—принять в издательство, в журнал, и сколько места в них уделить коммунистам писателям, а о художественных и иных достоинствах произведений. «Речь идет не о качестве, а о количестве». С этой точки зрения вполне понятна позиция журнала, который ничего заслуживающего внимания в литературе, кроме «Октября», не нашел и дошел до утверждения, что мы находимся «на литературном участке» в горестном и печальном одиночестве. Похоже, что здесь споры излишни. Сколько бы мы ни доказывали, что такая-то группа попутчиков талантлива, изображает подлинную жизнь, в идеологическом смысле особых возражений не вызывает, беспощадный и сокрушительный аргумент готов: речь идет не столько о качестве, сколько о количестве. Понятно и естественно далее, что для торжества иного количества («Октябрь» прежде и превыше всего) требуется скомпрометировать «врага», доказать, что помимо пасквилей и клеветы попутчики в сущности пока ничего не дают. Этими доказательствами и занимается журнал «На посту».

И какие хитроумные Улиссы! С введением процентной нормы количество перейдет в качество: Вс. Иванов, Н. Тихонов, Пильняк, Никитин, Асеев, Маяковский, М. Горький и т. д. из центроужей и пасквилянтов превратятся в дезорганизаторов сознания противников, а пролетарские писатели («Октябрь») будут «организовывать» психику читателя в нужном направлении. В журнале, имя рек, например, помещаются стихи Родова и Лелевича, а на подмогу к ним будет присовокуплен Н. Тихонов. Стихи Родова и Лелевича, перепевающие Тихонова, будут «организовывать» в нужном направлении, а стихи Тихонова будут вносить расстройство в ряды мелко-буржуазной массы; воспитательно-полезного пролетарскому читателю они ничего дать не

могут, и лучше вообще ему их не чит'ать: зачем же читать то, что не может иметь положительного эффекта? Не верьте, читатели пролетарии: поэт Тихонов, как правильно отметил тов. Луначарский, звезда первой величины, а многие из «коммунэр» пойдут на удобрение, ибо при всех их отличных идеологических качествах художественно они очень слабы. Не верьте, что Тихоновы полезны только для мелкой буржуазии, а для вас бесполезны; не в меру радетельные критики, сами тогда не сознавая отчетливо, хотят держать вас на третьесортном, а лучшее: Тихоновых, Ивановых, Горьких и проч. отдать обывателю, мелкой буржуазии. Это—вздор.

Далее, почему положительного воспитательного значения для рабочих не могут иметь писатели, способные, по утверждению Лелевича, внедрять мысль о необходимости делового сотрудничества с правящим пролетариатом? Раз они на это способны, хотя бы в некоторой мере, значит они видят в правящем пролетариате нечто положительное, исторически ценное и необходимое; они должны, очевидно, в революции понимать роль пролетариата, его удельный вес, но тогда они не бесполезны и для рабочего класса. А если принять во внимание, что художник обязан давать художественную правду и отображать действительную жизнь, а не только агитировать, что Тихоновы и Ивановы призваны внедрять сознание о сотрудничестве в головы мелко-буржуазной массы, составляющей у нас 95% населения, что наша юная пролетарская литература еще очень слаба, а среди попутчиков есть писатели «божьей милостью», что они первыми заговорили в художественной прозе и поэзии о живом человеке революции, если принять все это во внимание, то требование процентной нормы для попутчиков покажется одним очень прискорбным недоразумением. Прибавьте к этому, что живем мы в очень грозном окружении врага, готового впиться в нас зубами и чем попало, что при таких обстоятельствах каждый человек, пусть по-своему, по-кривому, очень невыдержанно, с очень большим грузом прошлого, но желающий принести пользу республике советов, должен найти свое место, а не выбрасываться фактически за борт.

Трудный и сложный вопрос о попутчиках, о художественной политике в современной литературной жизни подменяется очень легким «средствием»—просмотром трудовой книжки и введением процентной нормы. Трудовую книжку писателя просмотреть всегда полезно, но за «диалектикой» тов. Лелевича итти следом решительно нет расчета, по той простой причине, что теория классовой борьбы в применении к вопросам искусства это одно, а «диалектические» рассуждения на тему об этой норме—это совсем, совсем иное. То правда, что, превратив теорию классовой борьбы в метафизику, в абсолют, вульгаризировав ее, наши критики должны были всю нашу молодую литературу об'явить либо бесполезной, либо контр-революционной, требовать для нее процентной нормы, при чем и здесь они впали в ряд недоразумений; вывихивающим мозги, декадентам, клеветникам, исказителям не надо давать нормы, а надлежит дать погулять «по европам».

Отождествив художество с агиткой, рассматривая его как продукт исключительно суб'ективных настроений, тов. критики журнала «На посту» должны

были вместо анализа содержания заняться усиленно выуживанием цитат, оставляя художественную суть произведения сплошь и рядом совсем в стороне, либо освещая ее мимоходом. При этом, если художественная зарисовка не соответствует шаблону, от которого отправляется критик, художника отправляют по ту сторону баррикад, об'являют декадентом, посредственностью и пр.

Два-три примера. Тов. Волина в содрогание приводит, как Илья Эренбург рисует портреты вождей нашей революции. Про Ленина написано, что он точен, как аппарат, что у него конденсированная воля в пиджачной банке, что сначала он сиднем сидел за книгами или за кружкой бюргерского пива, а потом в две недели стал мифом; про Троцкого сообщено, что этот доморощенный Буонапарте—вождь степных орд и треугольник; относительно Бухарина, что он молоденький веселый грызун. Нельзя писать, что у Ч. К. табун автомобилей, что секретарь Ц. К. тычет самопишущим пером в чернилицу, что у коммуниста Аша волосики на всех несвойственных местах, а глаза, как у щенят, что паек он кому-то отдает, что у другого коммуниста угреватый нос. Никитину приписывается «основная мысль», которую он, якобы, проводит в «Рвотном форте», что с революцией ничего не изменилось, и это на том основании, что он заметил про воен-спеца Дандрюкова: при нем в форту идет все по стародавнему, как при Екатерине. При критической расценке «Лефа» тов. Родовым треплется все та же «згара-амба» Каменского, у Пильняка отмечается эротика, доказывается, что он грустит о выгнанных князьях, что в мужиках он видит только зверей и т. д.

Не могу здесь умолчать о критике тов. Родова, данной им беллетрической части «Красной Нови» в № 21 «Спутника коммуниста». Не берусь судить, насколько все здесь удачно. Охотно соглашаюсь, что были и серьезные промахи, но руку тов. Родова решительно отвожу, ибо критика эта, как бы сказать, ну, суб'ективна, что ли... Оказывается, что Всев. Иванов в «Бронепоезде» обнаружил, что он чужд революции. Почему? Видите ли, у него есть мужики, которые за «интернасыналом» ничего не чувствуют. Потом, у него «движущей силой революции» для мужика оказывается земля. Потом, у него коммунист Пеклеванов изображен «чуть ли не карикатурно»: он у автора «маленький веснущатый человек, в черепаховых очках», не в пример мужику партизану и так далее. Остальное все в том же роде. Тов. Родов даже не ставит вопроса, как насчет Интернационала полагают сибирские крестьяне партизаны, в какой они, действительно, мере движущей силой считали землю, верно ли, что Пеклевановы с виду очень маленькие бывают. Нет, по Родову сибирские партизаны должны были стоять только за Интернационал, в земле они не должны были видеть движущей силы, Пеклевановы должны быть рослыми детинами. На весь этот «криминал» можно с неменьшим успехом отвечать цитатами от обратного. В «Лефе» можно указать ряд интересных статей по теории искусства, можно указать на замечательно искреннюю,талантливую поэму тов. Маяковского «Про это» [1]), у Пильняка,—что революция продолжается, о ко-

жаных куртках, о распаде Европы, о своеобразном мужицком большевизме, у Никитина «про медные пуговицы», всю «Барку», у Эренбурга страницы, рисующие коммунистов как подвижников. Важно, однако, не это. И у Эренбурга, и у Пильняка, и у Никитина есть много, что вызывает на резкие возражения. В чем их шуйца, в двух словах отмечалось выше, а раньше в других статьях мы этого касались более подробно. Но для того, чтобы это обнаружить по-серьезному, нужно дать оценку всего произведения в целом, проанализировать содержание, форму. Ахать же по поводу Аша, у которого волосики растут там, где не следует, просто смешно [2]).

Об'ективно позиция журнала «На посту» гонит попутчиков от Советской власти в лапы нэпманов. Введение «процентной нормы» по требованию тов. Лелевича, при нынешних условиях, привело бы к тому, что попутчики волей-неволей вместо сотрудничества с Советской властью начали бы толкаться в разные нэпмановские частные издательства. Но эта художественная политика ведет и к изоляции молодых писателей и поэтов из «Октября» и других подобных кружков от попутчиков, от западно-европейской литературы, представленной в лучших ее образцах. Это уже началось. Поход против «декадентов» и «мещан» из «Кузницы», способы расправы с «Лефом», с непомерными прославлениями «Октября» привели пока к тому, что водораздел между «Октябрем» и этими организациями только увеличился. И «Леф», и «Кузница» в очень многом вызывают самые серьезные возражения: но возражения возражениями, а обух обухом. Мало того, не трудно догадаться, что и для «Октября» воплощенный в практику подход к искусству и к художнику со стороны критиков «На посту» ведет к литературной смерти, ибо нельзя ни шагу двинуться вперед, признав правильными методы критики тов. Родовых. Если этого «Октябрь» не понимает, скоро поймет и убедится на практике.

Неверно, что линия, проводимая «некоторыми редакторами» и какими-то «высокоучеными попустителями», есть неразбериха, чехарда и т. п. Ворон-

---

[1]) Мнение тов. Чужака об этой вещи В. Маяковского чрезвычайно неверно и свидетельствует только о том, что „практика" Маяковского (и Асеева) очень расходится с теоретическими изысканиями тов. Чужака, являющимися более сомнительными, чем эта „практика".

[2]) Для иллюстрации следует несколько подробнее остановиться на критике тов. Волина романа Эренбурга „Жизнь и гибель Николая Курбова". Заполнив свою статью, в части, касающейся романа Эренбурга, своими излюбленными цитатами о том, как он изобразил коммунистов, тов. Волин полным молчанием прошел мимо главного героя его романа Николая Курбова, если не считать презрительного замечания об его „любовных упоениях" с контр-революционеркой Катей. Это удивительное умолчание о главном действующем лице, однако, понятно; Курбов—аскет, подвижник, человек воля, понявший партию как огромное „динамо", как организацию таких же, как он, подвижников,—организацию, которая задалась целью перестроить мир по математической формуле, раздавив всю „цыплячью" психологию („Цыплята тоже хочут жить"). В этом—его трагедия. Он индивидуалист; в романе Эренбурга нет той живой человеческой трудовой массы, того теплого, огромного, живого, говорящего, гудящего, страдающего и радующегося комка, во имя которого коммунистическая партия бьется со старым миром. Нет этой

ские и проч. взяты под обстрел только потому, что у наших критиков не хватило смелости назвать «высокоученых попустителей», не хватило смелости признать, что высшие органы партии следят за линией, проводимой Воронскими. Это Родовым прекрасно известно. Конечно, партия неповинна в отдельных упущениях, ошибках со стороны редакторов и «попустителей». Да и Воронские не берут на себя смелости утверждать, что они в этом сложном и новом деле не делали и не делают промахов, ошибок и т. д. Отнюдь не претендуя на непогрешимость, мы все же надеемся, что партия не пойдет вслед за Родовыми и Лелевичами, полагающими, что речь в вопросе о попутчиках идет не столько о качестве, сколько о количестве, что помимо «Октября» у нас ничего нет, что заслуживало бы коммунистического внимания.

*Наши литературные разногласия как нельзя лучше напоминают внутрипартийные споры не очень отдаленного времени о специалистах. Позиция Родовых и Лелевичей есть результат перенесения этих споров из области хозяйственной, военной и административной в область художественной литературы, точнее, в область художественной политики. Ложная и неверная сама по себе эта точка зрения не является уделом небольшой литературной группки, а отражает настроения более широких кругов нашей партии, главным образом партийного молодняка. Отрицательные, упадочные черты в творчестве некоторых попутчиков (эротика, обывательщина, смутность и мутность идеологии и пр.) усиливают и укрепляют эти настроения.* В самом деле, требование процентной нормы, открытые заявления, что речь идет не столько о качестве, сколько о количестве, огульная характеристика попутчиков, нежелание поискать в их произведениях художественной правды, словечки о высокоученых попустителях, проповедь окончательного освобождения от «монументов» старого искусства, пренебрежение к эстетической оценке, утверждения, что буржуазные писатели не могут становиться на точку зрения пролетариата, а мелко-буржуазные—быть ему полезными в воспитательном

---

массы и для Курбова, эта масса со своими интересами, болью, трудом, жаждой жизни низводит идеал социализма на землю, делает его плотяным, земляным, связывает „формулу" с „цыпленком", идеальное с реальным. Ни Курбов, ни автор этого не чувствуют. Поэтому у них социализм превратился в голую схему, в такое, что точнейшим образом разграфлено, расписано, учтено, взвешено, где живую жизнь с'ела формула. В этом понимании социализма и нужно искать „ахиллесову пяту" интересного романа Эренбурга. Но такой подход к произведению не дает критику возможности свое внимание сосредоточить на выуживании цитат. Мало того, при таком подходе нужно непременно сказать, что и Аш, и Курбов и многие другие коммунисты изображены автором аскетами, святыми, подвижниками, а это совсем не то, что нужно тов. Волину. Курбовы очень характерны для тех индивидуалистов-одиночек, которые входят в партию из среды Завалишиных, издерганные, измятые, пригнутые жизнью, заряженные огромной ненавистью к Завалишиным, но неспособные понять, что партия не гильотина только, не динамо, не формула, а живой, горячий коллектив людей, спаянных „дурманным теплом" жизни. Если бы не раздражающая, какая-то вывихнутая, манера автора, роман мог бы стать очень высоким художественным произведением. Но он и в таком виде несказанно далек от того, что о нем наговорил тов. Волин.

смысле,—эти и другие подобные положения, взгляды являются перенесением в литературную жизнь анти-спецовской линии. Ничего иного не может говорить, утверждать, писать тов., переносящий наши старые споры в новую, художественную область. Он должен писать только так, как пишут и утверждают товарищи журнала «На посту». Нашим попутчикам, беззаботным по части политики и внимательным к Эросу, очень и очень однако не мешает учесть в своих произведениях эти настроения, к которым они тоже приложили свою руку. Некоторый заметный сдвиг в учете этих настроений—налицо, но он еще недостаточен.

Наличие своеобразных анти-спецовских течений в литературе ведет Родовых к попыткам использовать эти течения в интересах узко-групповых и кружковых для занятия «командующих высот». «Высоты» эти стараются занять не мытьем, так катаньем. Ведется лобовая атака «Кузницы»; при чем ничуть не стесняются классифицировать ее «декадентами», «мещанами» и проч. Нужно созвать конференцию, а «Кузница» мешает. Частым и беглым огнем стараются убрать с командующих высот не только Пильняков, но и Ивановых; треплется все та же «згара-амба» из «Лефа». Тут критики ставят буквально каждое лыко в строку. Здесь строгость их непомерна и непреоборима. Здесь недреманное око впивается в строку, в фразу, здесь ничего не прощают и видят всюду скрытый поход против пролетариата. Зато о «Шоколаде» молчат; молчат о том, что со страниц комсомольского органа выражаются словами, молчат о проповеди крылатого Эроса,—что под видом новейшего коммунистического сознания предлагаются настоящие анимистические пережитки, что беллетристика и стихи там иногда серы и скучны. Мы не впадаем по этим поводам в истерику; промахи есть промахи, а «Молодая Гвардия» в целом делает полезное, хорошее дело. Мы знаем, как трудно сейчас стоять на литературном участке. Но литературную совесть наших судей мы берем под законное сомнение. Все это дополняется взаимными восхвалениями и славословиями. Повидимому, предполагается, что путем такого амикошонства и создается «единая партийная линия». Если здесь это амикошонство производит тяжелое впечатление, то дальше, немного пониже, более молодые и откровенные товарищи распоясываются во-всю, следуя примеру старших. В номере 3—5 «Знамя Рабфака» тов. Платонов, член группы писателей «Молодая Гвардия», в таких выражениях характеризует эту группу: «персонально он (кружок) состоит из товарищей Александра Безыменского, Александра Жарова, Артема Веселого, Сергея Малахова, Алексея Платонова, *Симки Огурцова*, Гинзбурга, *Мишки Голодного, Шубина Ваньки*... и т. д.». Дальше. О Жарове: «в целом ряде стихов *Сашке* удалось» и проч. Об Огурцове: «Симка Огурцов роднит нас с рев. молодежью деревень». Об Артеме Веселом: «Артемка «в боженьку мать», разудалый флотский коммолец... хорошо пишет Артемка»... На что это похоже, товарищи?!

В группе «Октябрь» есть талантливая молодежь: Ю. Либединский, Артем Веселый, Безыменский, А. Макаров. Очень хорошо, если т.т. Либединские и

Артемы Веселые займут «командующие высоты». Но художественная политика Лелевичей и Родовых, требования процентной нормы, работа обухом, восхваления без меры и края приносят группе только вред.

Помимо сказанного, в этих писаниях много просто российской азиатчины, неумения и нежелания внимательно отнестись ко всякой полезной, культурной силе. А ведь мы поразительно бедны, нищи, убоги, неграмотны. У нас разрушенное хозяйство, дичь и темь лесов и деревень, «тоска полей», тяжелый, подчас кошмарный быт. Культурная прослойка у нас тонка до последней степени. Нужно быть самовлюбленными Нарциссами, либо не видеть и не слышать действительности, чтобы настаивать на окончательном освобождении от старого искусства, признавать Ивановых бесполезными для партии и рабочих, толкать их в «нэп» и иметь решимость остаться при «Октябре».

## V.

Утверждение, что в манере, в методе, в подходе к вопросам искусства со стороны критиков журнала «На посту» содержится своеобразный суб'ективизм, вычеркивающий об'ективные моменты в художестве, как будто не согласуется с целым рядом их заявлений о действительности, как о непременном исходном пункте творчества пролетарских писателей. Мы намеренно отодвинули этот вопрос к концу статьи с тем, чтобы попутно можно было более подробно остановиться на некоторых злободневных вопросах текущей литературной жизни.

О действительности, о быте, о живой жизни журнал «На посту» пишет достаточно. В редакционной статье, напр., говорится: «Необходимо на-ряду с трудом поставить строительство пролетариата, а в художественном отображении борьбы целиком использовать в первую очередь нашу богатую героизмом современность и нашу величественную эпоху. Ближе к живой, конкретной современности». В других статьях авторы постоянно настаивают на том, что нужно от голых отвлеченных лозунгов перейти к изображению живого человека, нашего быта и т. д. Наконец, в декларациях группы «Октябрь» говорится о примате содержания, о том, что современная пролетарская литература в основу своего содержания должна положить «современную действительность, творцом которой является пролетариат, а также революционную романтику жизни и борьбы пролетариата».

Противоречие между этими декларациями и утверждением о суб'ективизме, однако, лишь видимое. Наши критики стоят не на точке зрения об'ективного художественного познания, как основного метода в искусстве, а на точке зрения *использования* действительности. Случайно или намеренно у них сорвалось слово использование, но оно чрезвычайно верно характеризует их позицию. Использовать действительность, взять ее отправным пунктом совсем еще не значит поставить пред искусством задачу художественного познания жизни. Точка зрения «использования»—шаг вперед по сравнению с теорией искусства для искусства, искусства, творящего из себя, независимо

от жизни; такому именно искусству и противопоставляет свою позицию журнал «На посту». Но никаким шагом вперед эта точка зрения не является, если ее сопоставить с теорией искусства как познания жизни. «Использует» действительность любая агитка, любое самое тенденциозное, самое подогнанное произведение. Использует действительность любой суб'ективист, если он только не считает, что художник творит миры из ничего, подобно библейскому Иегове. Во всех этих и иных аналогичных случаях действительность является только отправным пунктом, а не об'ектом, подлежащим всестороннему изучению. Примат содержания нашими критиками утверждается против примата формы, против словозвончества, против словесной эквилибристики, против возведения формы в самоцель.

В полном соответствии с этой теорией они говорят не о действительности вообще, а только о той, «творцом которой является пролетариат». Задача, таким образом, суживается, ибо пролетариат в нынешних условиях, пока не свергнут в главнейших странах и государствах капитализм, является творцом очень ограниченной действительности: в несравненно большей степени ее творят, к сожалению, капиталисты. И задача пролетарского художника совсем не в том, чтобы изображать только ту действительность, творцом которой является пролетариат, а всю современную действительность в совокупности. Нужно только эту действительность видеть глазами коммуниста.

Далее, в каком смысле, как конкретно представляют себе это использование современной пролетарской действительности критики и публицисты журнала? «Теперь,—пишет тов. Авербах,—надо показать красноармейца в казарме, изучающего грамоту, это—самая серьезная, революцией ставящаяся задача; комсомольца, борющегося с самогоном во имя мирового единства пролетариата; найти пафос революции в корявой корреспонденции рабкора о непорядках на заводе». Тов. Ингулов в поучение «Кузницы» приводит слова Безыменского, советующего вместо электропоэм поискать революцию в отделении милиции.

Революцию в отделении милиции, комсомольца, истребляющего самогонщика, красноармейца, обучающегося грамоте, современному художнику изображать, конечно, нужно. Но это только часть задачи, решить каковую призван современный художник. Очень хорошо говорить о революции в милиции, но, думается, не плохо изобразить милицейского, который тащит и с мертвого и с живого, ибо от этого милицейского стоном стонет подчас и пролетарская и не-пролетарская действительность. Подобает художнику рассказать о комсомольце, который борется с самогоном, но очень не мешает показать и такую борьбу, которая сводится к уничтожению самогона путем энергичного приятия солидных доз его внутрь. Нужно прокламировать красноармейца, изучающего грамоту, но пусть художник не забудет и такого красноармейца, который, возвратившись из Красной армии домой, ассимилировался в хозяйской жадной, темной, неграмотной деревне.

Но дело, к сожалению, не в том только, чтобы живописать и таких красноармейцев, комсомольцев, милицейских. Дело гораздо глубже и сложней.

Не так давно тов. Ленин писал о нашем государственном аппарате:

«Дела с госаппаратом у нас до такой степени печальны, чтобы не сказать отвратительны, что мы должны сначала подумать вплотную, каким образом бороться с недостатками его, памятуя, что эти недостатки коренятся в прошлом, которое хотя перевернуто, но не изжито, не отошло в стадию ушедшей уже в далекое прошлое культуры» («Лучше меньше, но лучше»).

Заметьте, что тов. Ленин борьбу с этими печальными делами выдвигает как первоочередную задачу: «надо *во-время* взяться за ум». В свете этих утверждений упомянутый милицейский, от которого стонут, приобретает особое значение: он является не случайностью, а связан со всеми недостатками нашего госаппарата.

Дела с госаппаратом у нас печальны. Но довольно печальны у нас дела и с хозяйством. Печальны у нас также дела и с нашим бытом. На-ряду с отрадными ростками нового, на каждом шагу у нас некультурность, невежество, темнота, неумение работать, расхлябанность, азиатчина, мошенники, взяточники, бюрократизм и проч. Мертвое хватает живое.

Вполне последовательно, неотвратимо наша партия, получив мирную передышку, перешла или переходит к культурничеству. Это не эпоха мелких дел в том смысле, в каком иногда думают кое-кто из наших товарищей, ибо для нас, революционеров, весь вопрос не в мелких или в крупных делах, а в том, чтобы задачи, которые ставит современность, разрешать в свете и под углом зрения идеалов коммунизма. Именно потому, что мы не теряем никогда этой общей нити, общих социалистических перспектив, мы, как небо от земли, далеки от оппортунистов, которые и крупные и мелкие дела разрешают от случая к случаю, без руководящих социалистических принципов, лежащих у них совсем в другом кармане и вытаскиваемых только для парада, прилику ради.

Итак, одна из самых главных задач—в реорганизации госаппарата, в реорганизации нашего быта, словом, в целом ряде культурнических дел. Но правильно стократ утверждает тов. Троцкий, когда говорит: «чтобы перестроить быт, надо познать его». Вот именно. Основная задача современного художества заключается в том, чтобы художественно познать быт. Понимаете, товарищи, почему в настоящей статье так преднамеренно резко заострен и поставлен вопрос о художестве, как об об'ективном познании жизни? Именно сейчас этот момент в искусстве нужно выдвинуть на первый план; без этого наше молодое художественное слово будет витать в разных «эмпиреях и в прелестях неиз'яснимых», будет непомерно отставать от жизни, вырождаться в агитки, в славословия, в «использование» действительности для бравых коммунэр. Коммунэры и революционная романтика, впрочем, сейчас нам тоже нужны, но еще более нужно всестороннее художественное познание жизни и в прошлом ее, тяготеющем над нами, и в ее настоящем. Да и коммунэры нужны только тогда, когда они не сводятся к наигранным шаблонам.

Искусство должно помочь выкорчевать старый, отживший быт и внедриться новому. Это отнюдь не исключает ни самой необузданной фантастики, ни тем более широчайших художественных обобщений. Нельзя искусство сводить к узкому злободневному бытописанию. Наоборот, как раз наиболее широкое и глубокое воспроизведение действительности приносит в конечном итоге и максимум пользы в области практики. Собакевичи и Маниловы Гоголя до сих пор не потеряли своей свежести, и вместе с тем они выросли из недр старо-дворянского быта.

Несмотря на то, что реалистический уклон является ныне преобладающим в литературе, контакта художества наших дней с современностью нет. У нас есть не плохие рассказы и повести о партизанах, кое-что о борьбе Красной армии, об интеллигентских настроениях, рассказы о мешечниках и о том, как трудно жилось обывателю и как он злился и как он голодал, есть кое-что о провинции, кое-что о внутреннем быте коммунистической партии, о крестьянах в 1918 году; началась прерванная сначала революцией художественная переработка прошлого (М. Горький, Мих. Пришвин и др.), но большая часть наиболее жгучих вопросов остается не освещенной. Не освещен совершенно новый быт рабочего житья-бытья на фабрике, в семье. Новое молодое у нас отражается по трафарету, по заведенному установленному образцу. Не так давно вышла честно написанная книжка тов. Яковлева «Деревня, как она есть». Где, когда, в чем наши современные бытописатели попытались так рассказать о деревне, как это сделал тов. Яковлев? У нас до сих пор дают деревню подмалеванную, подкрашенную. У нас ничего нет о Чичиковых, Маниловых, Собакевичах, орудующих в наших госаппаратах и хозорганах с неукоснительностью «доброго старого времени». У нас нет почти ничего о разрушении современной семьи, о новом быте, складывающемся здесь. Комаровщина и проч. бытовые явления у нас находят свое отражение только в петитных столбцах газетной хроники. Нет ничего «о церковных делах».

Все эти и подобные задачи, стоящие перед литературой, носятся в воздухе, настойчиво требуют своего решения, и русская молодая советская литература пойдет по этому пути. Порука в том—ее здоровая, крепкая тяга к реализму и даже к натурализму. Искусство консервативно, оно чаще всего отстает от жизни и реже предвосхищает ее,—но для нашего чувства и сознания художественные воплощения прошлого, которое кажется уже превзойденной ступенью, являются и воспринимаются как новые истины, как откровения.

Если бы критики журнала «На посту» указали на то, что современная литература обходит жгучие назревшие бытовые вопросы, что она непомерно отстает порой от жизни, они были бы правы. Но тогда они поняли бы лучше и пристрастие «добродушных» коммунистов к попутчикам и трудность и своеобразие задач. Сложность и трудность в том, что Советская Россия есть еще осажденный лагерь, что она во всякий момент может подвергнуться нападению хитрого и прекрасно вооруженного врага, что тысячи враждебных

глаз следят за ее жизнью, что наша «передышка» в конце концов передышка очень непрочная. Нужно поэтому соблюдать сугубую осторожность и тактичность. Это нужно помнить Эренбургам и многим другим из попутчиков. С другой стороны, быт наш нужно перестраивать, а чтобы перестраивать его, нужно познать, точно изучить, обнаружить, уметь говорить не только о положительном, но и о ранах наших,—обо всем отвратительном и печальном в нашей действительности. С этой точки зрения методы критики и подхода к художнику товарищей Родовых и Лелевичей с их требованием процентной нормы для Ивановых, с их борьбой против «монументов», с выписками «криминала» вроде тех, что приведены выше,—только вредят более широкой постановке задач перед современной пролетарской и непролетарской литературой. Одергивать Пильняка, Эренбурга, Брика и Никитина очень следует, но не нужно это делать так, чтобы писатель мог вывести заключение, что нельзя писать о мужиках, которые насчет Интернационала держатся совсем иного мнения, чем коммунисты, и т. д. Одергивая Пильняков и Никитиных, не мешает иногда этот метод применить и к себе, ибо во многом виновны мы сами своими требованиями агиток, своей боязнью освещения жизнью, своими мелочными и часто смешными придирками, своим улюлюканием и т. д.

Пустячками являются и попытки подойти к живому человеку и к быту в коммунэрах «о комбриге Иванове» и проч. Это—не быт, а подделка под быт. У Тихонова, от кого пошли эти «коммунэры»,—живые люди. Вы видите и слышите их. Здесь—ходули, деревянное, написанное по трафарету. Живым человеком здесь и не пахнет. Это—не действительность, а только использование ее—

*Лихой кавалерист,*
*Владеет шашкой и винтовкой,*
*А как на митингах речист,*
*А как искусен в джигитовке...*

Ни одной оригинальной свежей черты. Затаскано, шаблонно. Едва ли будет ошибкой сказать, что этими лихими кавалеристами на деревянных лошадках, одолевающими дубовых поповен, кое-кто из «Октября» думает замкнуть темы о современном живом человеке. И речь идет не только о таланте, а, прежде всего, о теории «использования». Довольно только использовать. Пора переходить к настоящему изображению действительности, когда художник не только является агитатором, но и человеком, подобно ученому, изучающим точно об'ект. Читатель не хочет больше книжек о деревянных кавалеристах. Его не удовлетворяет и поверхностное изображение быта, которое мы даем. Он хочет по настоящему «вгрызаться» в быт. В противном случае нам грозит измельчание: грозит и читателю, и писателю. Кое-какие симптомы, наводящие на размышления, уже имеются. Литературная шумиха идет своим чередом, а в художественной литературе—и в прозе и в поэзии—наблюдается какой-то застой, топтание на одном месте. Вместе с тем самым ходким литературным товаром являются авантюрные безделушки: «Атлантида» Пьера Бенуа и др. И пусть не говорят, что спрос на такие вещи создает

нэпман и обыватель. Наш партийный работник средней квалификации тянется к ним.

И журнал «Красная Новь», и артель писателей «Круг» поставили своей задачей художественное *познание* жизни. В этом их особенность и отличие и от «Лефа», и от журнала «На посту», и от многих других изданий.

---

Г. В. Плеханов как-то заметил, что односторонний взгляд на вещи иногда даже очень полезен. Это так. Взгляды тов. критиков журнала «На посту» чрезвычайно односторонни, но в их односторонности больше вреда, чем пользы, ибо их точка зрения мешает нашей неокрепшей литературе перейти к всестороннему обхвату действительности. Кроме всего прочего у них нет настоящей любви к художественному слову; ее нигде не сыщешь в журнале. «На посту» не чувствует, не понимает, что нам передано изумительное литературное наследие, что на нас, коммунистах, лежит тягчайшая ответственность за то, какую литературу даст Новая Россия после Пушкина, Гоголя, Толстого. Оттого они так безапелляционны, так легко творят суд и расправу, так решительно выбрасывают за борт все, за исключением «Октября», так заняты взаимным прокламированием.

Их дело. Уверены, что партия на этот путь не станет.

---

# Лысая гора[1]).

**Сергей Клычков.**

Сказано: а душу можно ль рассказать? Не поэтому ли Пушкин истину назвал «низкой», а Тютчев изреченную мысль—ложью: а душу можно ль рассказать?!. Отсюда — вечное двоякое установление творческой души в мире—«двойное бытие». и под ногами, стоящими на материке, шевелится «родовой», довременный хаос—человеческая душа, опаленная жаждой творческой, как бы еще не изведала первых дней творения—отделения света от тьмы.

Истины нет, есть одна большая обольщающая ложь, «обман возвышающий», и, однако, ни в одной сфере человеческого бытия нет такой жадной погони, жестокого соревнования, зависти и восторга. От лжи бесчеловечной и обольщающей убежал Толстой, проклявши безжалостную, прекрасную богиню, с улыбкой равной встречающую и жениха, и искупительные жертвы, ибо витает над всеми равно ее чудесная птица, у которой два крыла—радость нечаянная и отчаяние безысходное: а душу можно ль рассказать?!. Проистекающая отсюда война между словом и его внутренним обозначением—извечна и раньше всех мук человек познал муки творчества.

В наше время эта обостренность — титл, стоящий между мыслью, чувством и их словесным знаком, — особенно опустошительна. Двойственность бытия художника из трагедии обратилась в профессию, извечный фатум души—в пустое место, а творчество—в статистику и регистр более или менее удачных методов, подходов, приемов и ухищрений, подчас забавных и остроумных, но больше грустных и безнадежных; — пусть каждый вспомнит. сколько внимания. и упорного внимания, у нас уделяется синтаксису по каждому самому незначительному событию в искусстве,—прохватит жуть до костей. Только ведь примелькались глаза у всех нас, а то, если так на минутку отрешиться от наших правил и канонов и как бы самому себе зайти за спину и украдкой осмотреться вокруг—какая чудовищная смесь, тарабарщина и разноголосица царят в наши дни в искусстве. И едва ли это разнообразие и пестрота—от богатства, от избытка творческих сил, уверенности в них. Ведь от того, что курица пестра, не значит, что она кладет золотые яйца. И у волка шерсть пестра, да не преет. Случайность группировок, формальная и подчас шкурническая спайка так наз. литературных школ и на-

[1]) Печатается в дискуссионном порядке.

правлений не есть еще Sturm und Drang, а апашеская круговая порука «стоять за своих», во что бы то ни стало «выручать»—манера далеко не рыцарей «без страха и упрека», а больше отошедшей в предание москворецкой «стенки». Наши литературные бои—бои стенковые. В этих сражениях развилась и упрочилась породка поэтов, которую можно назвать полукровкой—вроде тех, которые в «стенке», на случай, если «сдаст наша», в кармане кистень хоронили,—сегодня он горло дерет и с ножом лезет, но Бог ведает, что ему взбредет в голову завтра, когда в «стенке» могут произойти новые неожиданные комбинации. В самом деле: за последнее время на наших глазах (кто не слеп) литературные направления вырастали и гибли с невероятной быстротой и в настоящее время не найдешь почти ни одной литературной группы, в которой не происходило бы внутреннего разложения, и редок поэт, у которого бы не было длинного «послужного списка», выданного из разных поэтических рот и эскадронов. Уже одна эта поспешность литературных манифестаций, быстрая смена их знамен, и какая-то ненормальная, неспокойная суетливость—сегодня здесь, а завтра там—поэтов и художников—не есть ли прочное свидетельство эфемерности поэтических исканий нашего времени. Больше того: искания *только* формы завели нас в тупик—к полному афоризму и к какой-то действительно сказочной легкости достижений в области формы: совершенно напрасно так старательно из-за поэтов по гусиному вытянуты шеи критиков и знатоков,—ничего путного из этого дела не выйдет,—мы не нашли, а существенно потеряли, ибо дорого стоила нам эта всеобщая мобилизация бессмыслицы и крестовый поход против человеческого нутра и простого здравого смысла. Внутренняя пустота и опустошенность и породили такое отношение «засуча рукава» к тому, чем жило и всегда будет жить искусство, и заставила уйти с головой и потрохами в так наз. мастерство, само по себе необходимое и должное, как одно из производных искусства,—поэт в наше время прежде всего мастер (не мастеров сейчас ведь нет!), искусник, а мастер и искусник не всегда еще поэт, подобно тому, как хороший поэт не всегда еще хороший мастер и изощренный искусник. Вся нынешняя поэтическая молодежь — сплошь искусники, при чем каждый «искусен» по тому канону, какой существует в «стенке». Насколько это скверно и безотрадно—могут не понимать только одни критики, извека любящие географическое распределение поэтов и писателей. Страшнее всего то, что эта болезнь нарочитой бессмыслицы, увязанной подчас в хитрую и пеструю словесную одежку, не только у нас в столице, но и в самой глухой провинции: милые и талантливые люди предпочитают ходить кверх ногами. Есенинские башкиры и киргизы-имажинисты — не одно хвастовство [1]). Итак: каковы же наши итоги? У нас есть наука о стихе; мы знаем (некоторые даже сверх меры), как надо хорошо и занятно писать повести и рассказы, наши головы забиты различными теориями и методами куда плотнее, чем сарай сеном. Однако хороших стихов давно не пишет даже

[1]) Относительно Есенина-поэта и Есенина-имажиниста необходимы два совершенно отдельных разговора.

Брюсов, который «все знает», а проза переживает еще такой период организации (направленство и тут сделает свое дело), о котором еще ничего достоверного сказать не приходится. Форма стиха! О, тут мы потрудились! От полюса до полюса! Начиная с «символизма» Белого и кончая Жирмунским—это ведь путь, и каждый захудалый поэт сдаст тут на пятерку. Но ведь все эти технические тонкости, приемцы и приемы, алгебра и геометрия—только последующий факт творчества для каждого художника в отдельности (так, по крайней мере, было, и так на самом деле есть и должно быть), а не его красный угол. Для огромного же большинства все эти теории, приемы и подходы стали чудовищным транспарантом. Согласны, что траспарант дельный, академичный, что по этому траспаранту уже никто не умеет писать плохо (ибо, очевидно, скоро будут *учиться* писать плохо), но тем не менее хороших книг у нас очень мало, — в тяжкое время живем: и будто—да и словно — нет, туда — неведомо куда затем — неведомо зачем! В самом деле, искали, шумели, тужились и в результате... В результате (который раз) мы снова спрашиваем по-пилатски: читатель, что есть истина? [1]). Конечно, читатель ничего не отвечает и за него пытается ответить сам поэт. Ответ следует приятный: выразительность. Но ведь это совсем не обязательный ответ. Почему выразительность и только выразительность? Ведь последнее открытие—новый «трамплин песен»—не в выразительности, присущей очень многим поэтам, а в новой интерпретации понятия простоты, в наиновой методологии творчества. Выразительность Пастернака так велика, что по Асееву как-то все меркнет: читаешь Пушкина и краснеешь за него, смотреть ни на что не хочется, ибо механизм, метод — самоновейший и синтаксис—с иголочки. Читатель,—убеждает Асеев,—бойся легкости восприятия. Помни, что чем меньше ты понимаешь поэта, тем лучше и полезнее для тебя, поймешь потом, после долгих и мучительных усилий и мозговой натуги. Выходит так, что простота-то куда хуже воровства, ибо нет в ней ни на каплю простой мудрости, на которую, сказано, «простоты на свете довольно». Ведь легкость восприятия и простота куда не одно и то же, подобно тому, как трудность и затрудненность, о которой говорит Асеев, еще далеко не мудрость и не умудренность. Конечно, говоря о простоте, не следует ее смешивать с простоватостью—ее обезьяной. Есть обезьяна и у глубины и сложности—нарочитая затрудненность, синтаксическая головоломка и китайская азбука новых методологий. Толстой говорит о философии, что она есть средство выражать самые простейшие мысли самым труднейшим способом. Вот, в конце концов, и поэзия нашего времени в декларативной статье Асеева о Пастернаке обращается в такое же средство. В книге «Сестра моя жизнь» рассказываются самопростейшие вещи, в сущности, никаких глубин в ней нет, а «Занятия философией» (отдел книги) как раз посвящены именно той философии, о которой говорил Толстой. Вот, например, как новый рифмованный философ определяет творчество:

---

[1]) Н. Асеев, Письма о русской поэзии: „Красная Новь". или С. Третьяков, Трибуна Лефа: „Леф" № 3.

Разметав отвороты рубашки
Волосато, как торс у Бетховена,
Накрывает ладонью, как шашки,
Сон и совесть, и ночь, и любовь оно.
И какую-то черную доведь
И с тоскою какою-то бешеной
К представлению света готовит
Конноборцем над пешками пешими.
А в саду, где из погреба со льду
Звезды благоухавно разахались,
Соловьем над лозою Изольды
Захлебнулась Тристанова захолодь.
И сады, и пруды, и ограды,
И кипящие белыми воплями
Мирозданье—лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной.

Стихи для сверхзнатоков. Никакой лопатой тут не докопаешься до смысла. Нет слов, нет ничего невозможного, можно все об'яснить, об'яснят и это стихотворение,— ибо теперь при каждой литературной ложе имеется на этот случай свой великий комментатор и трубач (в деревне таких называют «трепачами»)—язык у него устроен таким образом, что из выеденного яйца через секунду можно получить вкусную конфетку. Чуднее всего то, что делается это часто совершенно искренно и людьми посторонними—: самой святой убежденностью: один поэт—и хороший сам поэт—говорил мне: это святая книга! Возьмем из этих «святцев» еще одно стихотворение. Сами, например, посудите:

Спелой грушею в бурю слететь
Об одном безраздельном листе,
Как он предан—расстался с суком
Сумасброд—задохнется в сухом
Спелой грушею ветра косей.
Как он предан меня не затреплет,
Оглянись: отгремела в красе,
Отплыла, осыпалась,—в пепле.
Нашу родину буря сожгла.
Узнаешь ли гнездо свое, птенчик?
О, мой лист, ты пугливей щегла.
Что ты бьешься, о шелк мой застенчивый?
О не бейся, приросшая песнь.
И куда порываться еще нам?
Ах, наречье смертельное здесь
Не вдомек содроганью сращенному.

Это стихотворение носит название: «Определение души». Мудрая есть в Тверской губернии скороговорка: «Не то хорошо, что хорошо, а то хорошо, что нехорошо, да хорошо». Отсюда: один молитвенно—«святая книга», другой—глаза вылупит и так и ходит целый день, пугая трамваи. Лично нам кажется, что лучше всего это «определение души» совсем не читать, ибо, если воспользоваться наказами Асеева, то после долгих усилий и случайных

ассоциаций вспомнишь чудесные строки Лермонтова, которые лучше всего и прочесть, как заклинательную молитву против навождения словесных бесов:

Листок оторвался от ветки родимой.

Самого главного тут нет,—нет именно никакой души, есть пар словесный, «приросшая» к затылку заковырка. Действительно, надо быть талантливым человеком и в сорочке родиться, чтобы до такой степени ничего не сказать, а если и сказать, так—плохо, и заставить, однако, критиков развести лбы, как мехи на гармонии, а читателя окончательно ошарашить, перевернуть вниз затылком и выбить последние крохи здравого смысла, да не только здравого, а просто смысла, Асеев восклицает патетично: «И всем скулящим о простоте гения хочется указать на эту проскваживающую через время простоту пастернаковского метода. Да, уж, действительно, чего же проще! Проще тёщи! Просто, к сожалению, непонятно. Непонятно не потому вовсе, что критика современников слепая и близорукая старуха (слепота не видит, видит ли что ослепленность?), *просто* непонятно,— ни на этом, ни на том свете. Действительно, ведь, заскулишь и затоскуешь. Да и сам Пастернак в тайниках где-то тоже ведь тоскует! Вот, когда кончатся эти «занятия философией» и «гремящие мигрени», вглядитесь хотя бы в эти пять строк:

Я от тебя не утаю—
Ты прячешь губы в снег жасмина,
Я чую на моих тот снег—
Он тает на моих во сне.
Куда мне радость деть мою?..

Устал человек сам, измучился до мигрени под своею картонной ношей, вспомнил, может, о «понятном» детстве, откуда льется волшебный голосок золотых рыбок:

Ах, милый друг, не утаю,
Что я тебя люблю,
Люблю как вольную струю,
Люблю как жизнь мою...

Вспомнил, и рассыпался весь изощренный бред действительной живой и наполненной чувством строкой:

Куда мне радость деть мою?

А эпиграфы! Как хорошо прочесть перед бессмысленными стихами о девочке, величиной «с сад»:

Ночевала тучка золотая
На груди утеса великана!

К чему это, сам бог не знает. Верно, так—«с бухты барахты»,—тем не менее, и за это спасибо.

Спрашивается: для чего же и почему пишутся декларации о такой икотной книге? Пишутся правильно. Ибо это, пожалуй, единственный «трамплин», оставшийся в целости в обширном гимнастическом зале футуризма.

Ведь уж больше совсем не с чего прыгать. Маяковский? Но ведь кто не видит, с каким сарказмом он хвалит Крученых по инерции, по старой привычке и по контракту, которому давно истекли все дни и сроки. Да и сам-то он чуть ли не третий год проживает по старому паспорту футуриста совершенно без всяких оснований,—давно бы уж пора выправить «трудовую книжку» сатирика из «Известий» и соревнователя Демьяна Бедного. Остальные хоть и держатся футуристической старинки, но совсем как и раньше — слабо и бесцветно. Правильно подперся Асеев под Пастернака—подпираться больше не подо что. Беда вся в том, что выше носа не прыгнешь. и скверно прыгать с картонного трамплина: в результате от новой футуристической декларации получился полный и безусловный «нос».

Итак, спросим и мы: что же, однако, истина?

Едва ли можно ответить на этот вопрос в таком регламентарном духе, как это пытается сделать Асеев. Все будет приблизительно и афористично, а для наших логиков, эрудитов и ловкачей—не убедительно. Мы бы сказали все-таки, что истина—простота. как составное из множества элементов (существенных и несущественных), теряющих каждый раз характер непременности и обязательности.

Рассмотрим некоторые из них, как они представляются нам в аспекте сегодняшнего поэтического дня.

1) Новизна и трафарет: один старый мудрец говорил о новизне в искусстве, что не все новое хорошо в искусстве только потому, что оно ново, но зато все старое хорошее всегда ново. Вот в этом смысле новизны вечной, от века, *но разнообразной и по векам цветной, поэт. конечно. должен быть нов.* Не должен быть нов только «во что бы то ни стало». Подчас иному поэту, талантливому и даровитому, совсем сказать нечего,—ибо внутренняя опустошенность все же сильнее таланта; вместо того, чтобы помолчать, ожидая часа возмущения воды, поэт выдумывает новую «методологию», рядится святошником в диковинные слова, за внешней скорлупой которых еще никакого живого зерна не созрело, выдумывает, легко сказать, «новую простоту». Поэтому-то *в наше время редок поэт банальный и трафаретный. Трафарет*—страшный жупел, которым, кажется, быка можно убить на месте. Тем не менее. не в трафарете дело. По существу-то. в языке трафаретов нет, и обогащение его никогда сухим филологическим путем не пойдет, и искусственное омоложение не искупит устарелости. Вот, например, характерный случай: всем известно, что по Хлебникову авиатор—«летун», однако все мы говорим «летчик». Летчик, в свою очередь, образовался от «полетчик»,—слова, предложенного М. М. Пришвиным в одном из случайных собраний питерских писателей, где, между прочим, опять-таки, случайно и невдомек кто-то спросил: как по-русски будет авиатор. Буковка-то мала, а весу в ней сто пудов—одному человеку и не поднять. Слово—сказочная репа! Только наше странное историческое эпигонство могло породить внешнекорневую филологию Хлебникова, жаргон Северянина, заумь и пр. В поэтическом языке старости нет. Все слова молоды,—здесь вечно бьет ключ вечной юности. Каждое слово у

каждого поэта живет по разному,—у иного оно старцем из пустыни выйдет, у того—старушкой с клюшкой сгорбатится,—по различному на слово падает свет из творческих тайников, и все зависит от того, как слово брачуется с другим словом, как оно берется с другим словом за руку, чтобы войти в плавный и величавый словесный хоровод. Ведь, в хороводе каждая девка красна, говорит народ. Потому-то все слова хороши,—нет слов плохих и нет слов хороших. Что с того, что подчас слово рябое, косоногое,—оно в хороводе сойдет, лишь бы только хоровод водился и на хороводном кругу запевал запевало; что с того, что в ряд станет старая старица,—старый конь борозды не испортит. Вот почему Пушкин и обмолвился как-то: из мелкой сволочи вербую рать! Потому-то и нельзя так подойти вдруг и вытащить за руку: смотрите, мол, какая же она рябая,—дернуть две-три цитаты с боков и из середины и восторгаться новизною слова или образа или хулить и поносить за трафарет. Цельность поэтического произведения, хороводность слов и строк делает и самую удачную цитату неубедительной,—не даром народ говорит: из песни слова топором не вырубишь. Таким образом, еще очень долгое время до конца дней поэты будут рифмовать кровь—любовь, потому что еще тысячи есть возможностей вдохнуть в это изношенное сочетание новый свет и новый звон. Трафарета нет, есть только вечное обновление словесной листвы в волшебном саду искусства, где один и тот же лист звенит на тысячи голосов, смотря по тому, как он сплетается с другим листом, впитывая,—отдавая и беря,—меняясь голосами в общем шелесте стихотворной ветви. Каждый сильный поэт каждый раз убивает слово и для себя, и для других—весь жизненный сок и краску выпивая из него, как паук из мухи, но слово остается висеть заколдованным на паутине готового создавшегося поэтического образа до поры, пока в него не ударит луч воскрешающий,—луч нового поэтического озарения, возвращающего ему еще более, может быть, прекрасную свежесть, молодость и силу,—все дело не в затасканности этого слова, а в поэтической индивидуальности поэта, пользующегося им, в его искренности и глубине, в длине волны и ее напряжении, т.-е.—в сумме опять-таки, в конечном счете—в его простоте.

2) Образ и искренность: в свое время,—в очень недавнее время—говорили: образ хороший, но надуманный, а потому не подлинен и не прост. Теперь с этой стороны образ не расценивается,—наоборот, надуманность, неестественность и непростота образа стали достоинством. Однажды я застал Есенина за такой работой: сидит человек на корточках и разбирает на полу бумажки. На бумажках написаны первые пришедшие в голову слова. Поэт жмурится, как кот на сметану, подбирает случайно попавшие под руку бумажки, и из случайных слов конструирует более или менее выигрышный образ. Выходило подчас совсем недурно. Проделывалось все это, может, в шутку и озорство, тем не менее для нашего времени и эта шутка показательна: механизация нашей образной речи—явление характерное не только для имажинистов. Образ перестал быть праздником в строке, нечаянным, чудесным и желанным. Образ на образ прет, давит и лезет почти у каждого

поэта и беллетриста, и тем не менее не радует это глаза и слуха, ибо затеряно в этой толпе образов чувств меры, пропорции и простоты, потому что образ не рождается со звездой, а делается, стряпается по своей для каждого поэта манерке. Некогда все слова были образами. Хребет горы, который мы можем встретить в любой географии, не претендующий ни на какую образность,—для дикаря, боящегося тени от облака, был образом ослепительной яркости. Со временем все слова стерлись, потеряли свою первобытную выпуклость и значимость, а искусство поэтической речи нашло чудесное средство каждый раз воскрешать эту выпуклость и яркость через взаимопомощь в слове. Эта взаимопомощь является главным нервом образа; слово слову помогает, почему и должно в строчке стоять плечо в плечо, поддерживая историческую тяжелину человеческой речи.

3) Стиль, стилизация, имитация. Роден где-то обмолвился о стиле. Самый хороший стиль тот, который заставляет о себе забывать. В этом беспамятстве и забывчивости читателя и зрителя к стилю вся внутренняя природа стиля. Хороший стиль не выпирает, не бьет в нос, не перчит и не першит. У хорошего стиля ключа не найдешь, ибо хороший писатель так же пишет, как старовер поет—по крюкам! Стиль ограничен с его творцом. Для громилы и тут, конечно, не будет запрета,—вместо ключей есть отмычки,—но кто же его не различит—этого громилы? Он сорвется на первой строчке, зацепится воровской рукой за первую букву и получится самое злейшее злодейство в искусстве—стилизация. В наши дни хороших стилей почти нет: у нас много направлений, слишком много, а тут такое же отношение, как между полотном дороги и поездом, идущим по этому полотну. Много дорог, но по дорогам никакого движения, ибо у Пастернака, Асеева, Маяковского—разве стиль? Конечно, нет: направление и синтаксис. Выработка стиля у современного писателя идет в той же плоскости искания формы и только формы, тогда как стиль есть сложное составное из элементов самых разнообразных и противоположных. Материя слова, дающая внешние формы и «дух» слова—ангел, стоящий за его плечами с мечом и с чашей,—и здесь ведут свою исконную борьбу, взаимно покоряя и покоряясь друг другу. Литургическое слияние духовного и плотского в слове, в пропорции, соответствующей данной творческой индивидуальности, и будет стилем. Такое соединение предполагает как бы две чаши весов, по сю и по ту сторону духа и тела, и некую меру, в чем скрыта главная тайна нахождения своего творческого лица, а наше время как раз именно мерой и весом в искусстве совершенно не отличается. Отсутствие этой маленькой тайны и ставит многих в необходимость подражать другим, а в худшем случае и самим себе, накладывая на перетянутую чашу формы гирю за гирей, прием за приемом, отчего творчество не становится нисколько сильнее и стильнее, а только еще более запутаннее и грузней. Как, например, отделить различные колеры стилей у большинства имажинистов, страдающих в большинстве бешенством стиля? Дело, конечно, и тут вовсе не в кличках, не в том, что тот-то и тогда-то был футуристом или каким другим истом, дело все в том, что плохой поэт—плохой весовщик, что

на глаз может и прикинет, сколько гора весит, но не скажет, сколько весит пылинка. А дело-то все не в горе, а в пылинке, ибо в искусстве иногда пылинка больше весит, чем самая большая гора в географии, а лев подчас слабее зайца. Увлечение тяжестями в наше время дало, с одной стороны, гиперболу Маяковского, по своей поэтической природе совершенно абсурдную и мертвую. Маяковского можно сравнить с молотилкой, приводимой в движение паровиком, сжирающим солому от выбитого ею зерна. С другой стороны,—официальная пролетарская поэзия, исключая Казина, у которого колос в руке с зерном не выбитым. Мы уже видели, чем кончил Маяковский, и нетрудно предположить и догадаться, чем кончат лучшие из поэтов пролетарских, если не захотят остаться навсегда стильными мумиями: будут искать вес пылинки, ибо тяжесть хоть и картонная, но все же тянет и голоса не дает. Спекуляция на сталь приходит к концу, ибо у пролетарских поэтов остается только одна длинная и однообразная дорога—имитация самих себя, а это худшее из участей.

4) Ритм, метр, строфика, афоризм: может ли поэт не изучать метрики? Не сузит ли, не обеднит ли это незнание его творчества? Пожалуй—нет, пожалуй—да. В том случае, когда ритмика, метрика обращается в словесную тригонометрию, дающую ряд аксиомических формул, в которой необходимо сразу, как в оглобли, впрячься, чтобы покатить во всю на готовой таратайке формы,—*нет*. Когда же наука о слове ничем не отличается от азбуки, даже необходимо *да*. Хорея от ямба поэт не отличать имеет вечное право,—это его не делает невеждой. В нужный час необходимый размер, ритм придет сам без кокарды и без бляхи: рифма, говорит Пушкин, приведет рифму. Не даром все так упирается в теперешних стихах, в которых поэты каждое слово за волосы тащат, зубы каждому слову считать лезут,—а ведь слово, пришедшее и на поводу приведшее с собой другое слово, как дареный конь. Цыган вон и из клячи рысака делает. Можно сказать больше, — эрудиция в форме — чаще всего погибель. В поэзии очень важно многое не знать. (Поэзия должна быть немножко *глуповата.)* Подчас лучше не знать, чем знать, ибо само узнается (хотя и тут можно сказать, что талантливому поэту все в пользу, бездарному—все во вред), ибо поэта зря блоха не укусит. (Тут и сыграла свою лихую роль наша современная удивительная ученость: от формы мы докатились до афоризма.) Почему у Маяковского усеченная строфика и строчки, словно с отрезанными носами? От скуки, от скуки перед формой, от той скуки, которая бывает у заботливых и хлопотливых хозяек, которые каждый день для разнообразия в разные углы расставляют одну и ту же самую мебель. Это отвращение к форме, как у нездоровых людей бывает отвращение к женщине. Почему у Мариенгофа рифмуются согласные? Новая форма? Нет, застарелая глухота, немота и отсутствие чуткости к звуку.

5) Понятность и непонятность: мы отвыкли от понятной речи. Заумники, имажинисты, центрофужисты, футуристы и все остальные спецы по словесной бессмыслице, непонятным языком пишут одни только стихи, но, когда им надо декларировать и об'яснять, защищаться и доказывать правильность своих твор-

ческих методов, их поймет ребенок. Таким образом, теоретические размышления наших эрудитов—как крепкие заборы вокруг пустого места. В том-то вся и штука, что место-то огорожено пустое, хотя огородка и добросовестна а эту пустоту необходимо замаскировать и нанести лаки на несуществующую картину. По тому-то самому без трудноватости и малопонятности сейчас редкий поэт обходится, потому что не о чем сказать просто и ясно,—нечего и говорить о том, что трудность, в сущности, очень «легкая нажива». Гораздо легче сказать непонятно, чем ясно и просто, легче выдумать, состряпать заковырку, хотя бы удивительную и поражающую, чем воплотить в простой, живой, осязательный художественный образ человеческую мысль и чувство.

Характерно здесь привести одно ненапечатанное стихотворение Хлебникова, в котором поэт старается подвинтить словесные клепки:

Копье татар чего не трогала
Бессильно все на землю клонится,
Раздевши мирных женщин до-гола,
Бежит в Сибирь Сибири конница.
Курганный воин, умирая,
Сжимал железный лик еврея.
Молчит земля. Свист суслика, нора и
Курганный день течет скорее.
Свинец костей, как примесь, Цепеллина
Несется в небо в лодке немчик.
Но костью забита та долина
И в гробовых ресницах жемчуг.
И вечер вепрем, секачом
Бежит над старою долиной
И голос, брошенный мечом,
Несется просьбой: чаша, минуй!
И сусличья семья подымет стаю рожиц.
Несется конь, похищенный цыганом,
Лежит суровый запорожец
Часы столетий над курганом.

Вы видите, как тяжело человек добирается до смысла, с каким трудом он перелезает через рогатки рифмы и какое невкусное пойло получается из простых и, в сущности, ярких восприятий автора, бессильного воплотить их просто и понятно,—по природе же всякий поэт не может не стремиться к самой напряженной наполненности и избытку.

Двенадцатый час наших бесчинств пробил. Поэтические «отары» распались, по всем эскадронам тайно уже прошел приказ о демобилизации, и скоро о литературных «стенках» мы будем вспоминать со стыдом и отвращением. Мы не хотим сказать, что Лысая Гора завтра станет Парнасом! Номинально все, конечно, останется по-прежнему, но внутренняя работа разложения и рассасывания болезни слова будет итти своим чередом, ибо в искусстве все-таки ценно и останется жить только то, что прекрасно и просто.

# Критика и библиография.

**М. Горький.** Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. Издат. З. И. Гржебина. Петр. 1919. То же, 2, дополненное издание, Берлин—Петр.—Москва 1922.

Воспоминания М. Горького о Толстом—книга замечательная и по яркости изображения Толстого, и по той силе таланта самого Горького, которая запечатлелась в его смелом рисунке, прошла в первом своем издании незамеченной. Время переживалось тогда такое, что было не до книг, даже и столь исключительных, как горьковская. Надо надеяться, что недавно дошедшее до нас из Берлина второе издание горьковских «Воспоминаний» встретит теперь заслуженное к себе внимание и заставит признать то глубокое и меткое и, вместе с тем, неожиданное и почти дерзкое, что дает Горький, — несомненно правдивейшим и человечнейшим портретом Толстого. В нем нет ни одного из тех слащавых и фальшивых штрихов иконописи, из которых слагаются обычно лживые и выдуманные образы знаменитых людей—художников, мыслителей или поэтов—все равно лишь бы носили они на себе этикетку, апонсирующую их величие! Не потому ли и все их биографии (см., напр., пресловутую Павленковскую серию!) смахивают не на описания жизни, а на некие мифотворческие жития?

Толстой—образ, ставший почти легендарным именно в силу иконописных своих изображений: каких только иконок и житий во святых отца нашего блаженного болярина Льва—ни понаписали одни только «толстовцы»,—вот те самые, которые даже на театральных афишах именуют себя то «близкими», то просто «друзьями» Толстого,—не говоря уже о прочих воспоминателях и биографах! Потому-то и замечательна книга Горького, что она показывает живого Толстого и при том такого, каким этот «богоподобный», по определению Горького, человек прошел перед его зоркими, пытливыми и умными глазами, глазами замечательного художника, создавшего совершенно исключительный по яркости облик Толстого—облик, в котором «удивительные исполненные творческой силы руки Толстого», «мохнатые его уста» и пальцы, «всегда будто лепившие что-то в воздухе»—все подробности телесного рисунка сочетаются с таким же чутким изображением душевного мира Толстого.

Выделяя из этого тонкого мастерского портрета внешние его черты, ясно видишь, что черты эти сами по себе настолько выразительно запечатлены горьковским рисунком, что, помимо представления о физическом облике Льва Николаевича, мы оформляем и наше интуитивное постижение творческой сущности Толстого. Я хочу этим сказать, что Горький уловил в физической природе Толстого то самое, что отвечает нашему познанию о нем, как о художнике. Надо однако подчеркнуть, что это совпадение нашей читательской интуиции—с горьковской касается именно художнического гения Толстого, — Толстой—моралист и философ, Толстой—проповедник непротивления и религиозный мыслитель в горьковском изображении противоречит Толстому, создавшему «Казаков» и «Хаджи-Мурата». Толстой в ореоле своего учительства вызывает в Горьком чувство нескрываемого раздражения и словно обиды за него. Телесный облик Толстого в рисунке Горького совпадает с изображением внутреннего, «духовного» его мира постольку, поскольку остается Толстой ху-

дожником, и художником язычником, «связанным из каких-то очень крепких, глубоко земных корней».

«Он сидел на каменной скамье под кипарисами, сухенький, маленький, серый и все-таки похожий на Саваофа, который несколько устал и развлекается, пытаясь подсвистывать зяблику»—вот что читаем мы в одном месте горьковской книги. Но такое впечатление от Толстого нужно признать для Горького случайным. Оно не характерно, не типично для того Толстого-язычника, которого столь мощно зарисовал Горький. Весьма в этом отношении характерно, что когда Алексей Максимович в первый раз видит Толстого, и Толстой беседует с ним о «Вареньке Олесовой» и о рассказе «Двадцать шесть и одна», Горький отмечает, что Толстой так «обнаженно» говорил о том, что «если девице минуло 15 лет и она здорова, ей хочется, чтобы ее обнимали и щупали», и произносил одно за другим «неприличные» слова с такой непринужденностью, что тон этой беседы его подавил, он растерялся, а простота в употреблении «слов» показалась ему цинизмом и даже несколько обидела его. «Впоследствии, — пишет Горький,—я понял, что он употреблял отреченные слова только потому, что находил их более точными и меткими».

Это впечатление о первой встрече, а вот каким увидел Горький Толстого во второй раз:

«Был осенний хмурый день, моросил дождь, а он, надев тяжелое драповое пальто и высокие кожаные ботики—настоящие мокроступы,—повел меня гулять в березовую рощу... Вдруг под ноги нам подкатился заяц. Лев Николаевич подскочил, заершился весь, лицо вспыхнуло румянцем и, эдаким старым зверобоем, как гикнет. А потом—взглянул на меня с невыразимой улыбочкой и засмеялся умным, человечьим смешком. Удивительно хорош был в эту минуту! В другой раз в парке он смотрел на коршуна,—коршун реял над скотным двором, сделает круг и остановится в воздухе, чуть покачиваясь на крыльях, не решаясь: бить, али еще рано; Л. Н. вытянулся весь, прикрыл глаза ладонью и трепетно шепчет:

«—Злодей, на кур целит наших. Вот-вот... вот сейчас... ах, боится, кучер там что ли, надо позвать кучера...

«И—позвал. Когда он крикнул, коршун испугался, взмыл, метнулся в сторону,—исчез. Л. Н. вздохнул и сказал с явным укором себе:

«—Не надо бы кричать, он бы и так ударил...»

Теперь уже Горький ясно понимает, что «отреченные слова» и простота физиологического об'яснения сложного, как казалось, душевного процесса (в «Вареньке Олесовой») только совпадают с тем познанием языческого, телесного, плотского Толстого, которое вынес Алексей Максимович после ряда встреч и бесед со Львом Николаевичем.

И вот, во всем языческом великолепии своей старческой и все еще мощной плоти Толстой:

«У него удивительные руки—некрасивые—узловатые от расширенных вен и все-таки исполненные особой выразительности и творческой силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо-да-Винчи. Такими руками можно делать все. Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскрывает его и одновременно произносит хорошее, полновесное слово. Он похож на бога, не на Саваофа или Олимпийца, а на этакого русского бога, который сидит на «кленовом престоле под золотой липой и хотя не очень величественен, но, может быть, хитрее всех других богов».

Вообще о руках и пальцах Толстого говорит Горький несколько раз: для него представление о художническом гении Толстого естественно связано с изучением его рук, наблюдением над его пальцами. Как странно,—восклицает Горький,—что Толстой любит играть в карты. «Играет серьезно, горячась. И руки у него становятся такие нервные, когда он берет карты, точно он живых птиц держит в пальцах, а не мертвые куски картона».

Поистине незабываемо это изображение Толстого за картами: мы действительно видим, что не куски мертвого картона, а живых птиц держат трепетные пальцы художника, сумевшего на страницах своих книг дать трепетную человеческую плоть!

И с каким восхищением говорит Горький о творческой радости, о художническом удовлетворении Толстого. «Как-то вечером, в сумерках, жмурясь, двигая бровями, он читал вариант той сцены из «Отца Сергия», где рассказано, как женщина идет соблазнять отшельника, прочитал до конца, приподнял голову и, закрыв глаза, четко выговорил:

— Хорошо написал старик, хорошо!

«Вышло у него это изумительно просто, восхищение красотой было так искренно, что я во-век не забуду восторга, испытанного мною тогда».

Толстой художник для Горького богоподобен. Но вот выступает Толстой моралист и религиозный мыслитель. И оказывается, что такой Толстой «напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь мерят землю... до ужаса бесприютные и чужие всем и всему. Мир не для них, бог—тоже. Они молятся ему по привычке, а в тайне душевной ненавидят его».

Едва ли во всей мировой литературе, так или иначе откликавшейся на «толстовство», были когда-нибудь произнесены более «дерзкие» слова! Но Горький, раздраженный и оскорбленный в своем чувстве к Толстому-язычнику,—идет дальше: он заявляет, что «у Толстого с богом очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают двух медведей в одной берлоге».

И так не любит, не может любить, Толстого-проповедника Горький, что не замечает стилистического безвкусия сравнения отношений Толстого к религиозным проблемам как «отношения двух медведей в одной берлоге»!

И есть за что ненавидеть Толстого Горькому: за ту художническую фальшь, которая, как он тонко подметил, выступает у Толстого всюду, где он говорит о боге. О Христе, — свидетельствует Горький, — говорит Толстой особенно плохо, «без энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой искры сердечного огня. Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожаления, и хотя иногда любуется им, но—едва ли любит. И как будто опасается: приди Христос в русскую деревню—его девки засмеют».

Но для чего же нужно Толстому его искательство веры и его учительство? Горький дает ответ неожиданный и, как ни дерзко-неожиданен этот ответ, но несомненно, что в последнем счете—это ответ верный. Потому, во-первых, что у Толстого всегда было «деспотическое стремление превратить жизнь графа Л. Н. Толстого в житие иже во святых отца нашего блаженного болярина Льва»,—а во-вторых, и это самое главное,—что деспотическое это стремление проистекает потому, что Толстой — «непомерно разросшаяся личность», по существу своему «озорник,—богатырь Васька Буслаев», который однако пытливое и дерзкое озорство сочетал с частью упрямой души протопопа Аввакума... Но мало этой прихотливой амальгамы из буслаевщины и аввакумовщины у Толстого,—говорит Горький, — где-то наверху или сбоку таился чаадаевский скептицизм. «Проповедывало и терзало душу художника аввакумово начало, низвергал Шекспира и Данте—озорник Новгородский, а чаадаевское усмехалось над этими забавами души, да кстати—и над муками ее».

«А науку и государственность поражал древний русский человек, доведенный до пассивного анархизма бесплодностью множества усилий своих построить жизнь более человечно».

Но, говоря об анархизме Толстого, Горький попадает на своего любимого конька—переходит к исконным своим суждениям о «восточной» славянской душе, которая, отражаясь в анархизме Толстого, выражает нашу славянскую анти-государственность, черту опять-таки, как утверждает Горький, «истинно национальную, издревле данное нам в плоть стремление разбрестись розно».

Должен сознаться, что напор Горького именно в эту сторону и стремление его толстовские противоречия об'яснить только национальною склонностью славянства к «озорничеству» не кажутся убедительными.

«Может быть, мужик для Толстого просто дурной запах, он всегда чувствует его и поневоле должен говорить о нем»—очень верно угадывает Горький тайну той несомненной фальши, которая звучит по-

что во всех толстовских изображениях мужиков. Но Горький не договаривает, или не желает договорить до конца. Не потому ли непереносим Толстому (г р а ф у Л. Н. Т о л с т о м у) мужицкий запах, что в Толстом крепко жил барин? «Барина в нем как раз столько, сколько нужно для холопов»,—отвечает на этот вопрос Горький, тем самым определяя к л а с с о в у ю сущность великого художника. Но Горький спешит тотчас же оправдать барство Толстого необходимостью сохранения аристократии (в духе аристократа Л. Н. Толстого) при наличии холопских наклонностей славянской расы. Вот куда однако может завести эффектная философия о восточной душе! И, конечно, основываясь только на ее скороспелых выводах, нельзя вскрыть до конца ни барских вспышек Толстого-непротивленца, ни противоречий между его языческим мощным искусством и худосочным, его христианским догматизмом и реакционной проповелью анархизма.

Значение замечательной книги Горького в высоком мастерстве изображения телесного, плотского, языческого Толстого и в благородной смелости и стойком мужестве высказывания «дерзких» мыслей о Толстом-учителе. Любовь и восхищение к Толстому художнику, поистине Горьким обоготворенному, сочетается в этой книге с нескрываемой ненавистью и жестокостью к Толстому-проповеднику и учителю. Учителю тех, например, «толстовцев», по адресу которых говорит Алексей Максимович столько злых и метких слов!

Горький-мемуарист еще ждет особого исследования. И давно уже пора вплотную подойти к оценке замечательной портретной галлереи им созданной: в ней Чехов, Леонид Андреев, Вл. Короленко—этот «лоцман с глазами, в которых сияет радость за человека»,—и все те, кто нарисован в замечательных его «авто-биографических рассказах».

—

Второе издание «Воспоминаний» выгодно отличается от первого рядом новых и интересных вставок. Читая новые эти строки, чувствуешь ясно, что Горький еще не исчерпал до конца той мучительной, притягательной, жгучей темы любви и ненависти к Толстому, которую он затронул в этой книге о своих сложных к нему отношениях.

**Юрий Соболев.**

**Алексей Толстой.**—П о в е с т ь о м н о г и х п р е в о с х о д н ы х в е щ а х (Д е т с т в о Н и к и т ы). Гиз. 1923 г.

Это—книга о вишневом саде прошлого: о старой усадьбе, о розовых святочных вечерах, о васильковом весеннем небе, о печалях и радостях маленького Никиты.

Это—милая сказка в сумерках,—и даже не сказка, а сказочка—немножко наивная, для многих уже непонятная, но прекрасно рассказанная, очень похожая на музыку и—всего скорее—на нежную арфу или ласковую свирель.

Это—не сказка о Иване-царевиче или царевне Белой Лебеди. Это—тихая феерия детского мирка, мирка-шелкопряда, мирка-завоевателя, — того чародейного мирка, в котором картонный меч кажется вылитым из золота, лунная зимняя комната—голубыми хрустальными палатами, а старинный перстенек в бронзовой вазочке—талисманом, приносящим вечное счастье.

Счастье, — пусть отображается оно в хрупкой и легкой, похожей на бабочку Лиле,—первой любви Никиты, сияет для Никиты всюду и во всем. Оно и в дрожащем на стене солнечном «зайчике», и в семицветной елочной звезде, и в ватных сугробах снега, и в солнечной качели лип, и в добродушных шутках отца—Василия Никитьевича.

Никита, маленький Никита — основа этой книги.

Все в этой книге стройно, легко, изящно-просто. Все для Никиты и все—о Никите. Ничего лишнего, ничего ненужного.

Но, может быть, эта книга—только повторение уже давно рассказанной сказки, только далекое эхо когда-то, на утренней заре, прослушанной песни?

Конечно, «Детство Никиты» заставляет вспомнить и доброго дедушку Аксакова, и наследие великого Льва—Николеньку Иртеньева, и смуглую дикарку—Наташу. Но если и так, то сходство здесь только

внешнее, бытовое и, притом, весьма отдаленное: усадьба, где живет Никита, не романтическое «Отрадное», а, скорее, перенесенный в деревню дом хлебосольного саратовского мукомола. Не похож на Петю Ростова и Никита: подрастая, он будет мечтать не о кавалергардском мундире, а, скорее всего, об университетской скамье, о мансарде на Арбате, о милой жизни беззаботной богемы. А превратясь в тридцатилетнего Никиту Васильевича, не будет перебирать запыленные клавиши, тихо вздыхая:

На этот лад, исполненный печали,
Когда-то наши бабушки певали».

Ибо он не слышит в детстве ни сантиментального «Полонеза Огинского», ни задумчивого котильона.

Да и певали ли когда-нибудь в этой усадьбе «бабушки»? Если и певали, то очень-очень давно: здесь нет ни дагерротипов, ни фамильного склепа, с золотыми медальонами над усыпальницами, ни минстой беседки в запутанных кружевах вензелей.

Мать Никиты—ближайшая его воспитательница—тоже весьма далека от «бабушек»: Никита привык видеть ее не в липовых аллеях, не у пруда, с французским романом в руках, а в столовой, за швейной машиной.

То же и усадебные гости: не чопорные графини в червонных серьгах, не гофмейстеры в отставке, а самые «обыкновенные», будничные люди.

А друзья Никиты? Мишка-Коряшонок, Семка, Ленька и т. д. — исключительно деревенские ребятишки.

Правда, и это все — вчерашний день, день похороненный, день отошедший... И все-таки, все-таки книга о Никите—чудесная книга, певучая, вернее—«поющая книга», о которой рассказал в своей «Аэлите» тот же Алексей Толстой.

Книга о Никите художественна с начала до конца. Некоторые ее главы («Сон», «Что было в вазочке», «Весна», «Стрелка барометра» и т. д.) выписаны с таким изяществом, с такой фарфоровой тонкостью, что, без сомнения, должны стать классическими образцами.

**Ник. Смирнов**

**Андрей Белый.** Записки чудака. Т. II. Издание «Геликон». Берлин 1922 г. Стр. 475.

Русский символизм жив. Русский символизм не умер. Пифон клубится. Андрей Белый продолжает славные традиции литературной эпохи, когда половой, отраженный двойными зеркалами ресторана «Праги», воспринимался, как мистическое явление, двойник, и порядочный литератор стеснялся лечь спать, не накопив за день пяти или шести «ужасиков».

В послесловии к «Запискам чудака» Белый оговаривается, что он написал заведомо плохую книгу; признание в устах автора почти всегда не искреннее; и, действительно, тут же следует: «но зато книга моя необыкновенно правдива». Искренность книги Белого—вопрос, лежащий вне литературы и вне чего бы то ни было общезначимого. Плохая книга—всегда литературное и социальное преступление, всегда ложь. Приемы, которыми написана книга «Записки чудака», далеко не новы и не представляют собой откровенья: это последовательное и карикатурное развитие худших качеств ранней прозы Андрея Белого, грубой, отвратительной для слуха музыкальности стихотворения в прозе (вся книга написана почти гекзаметром), напыщенный, апокалиптический тон, трескучая декламация, перегруженная астральной терминологией вперемежку с стертыми в пятачок красотами поэтического языка девятисотых годов.

В книге можно вылущить фабулу, разгребая кучу словесного мусора: русский турист, застигнутый войной в Швейцарии, строит Иоаннов храм теософской мудрости, швейцарцы, обратив внимание на подозрительного иностранца, высылают его, и, преследуемый шпиономанией он вполне благополучно возвращается через Англию и Норвегию в Россию. Но фабула в этой книге просто заморыш, о ней и говорить не стоило бы; хотя жадно отдыхаешь на всякой конкретности, будь то описание бритого шпика, пароходного табльдота, или просто человеческое слово, верно записанное. Книга хочет поведать о каких-то огромных событиях душевной жизни, а вовсе не

рассказать о путешествии. Получается приблизительно такая картина: человек, переходя улицу, расшибся о фонарь и написал целую книгу о том, как у него искры посыпались из глаз. Книжка Белого—в полном согласии с немецкими учебниками теософии, и бунтарство ее пахнет ячменным кофе и здоровым вегетарианством. Теософия — вязаная фуфайка вырождающейся религии. Издали разит от нее духом псевдонаучного шарлатанства. От этой дамской ерунды с одинаковым презрением отшатываются и профессиональные почтенные мистики, и представители науки.

Что за безвкусная нелепая идея строить «храм всемирной мудрости» на таком неподходящем месте? Со всех сторон швейцары, пансионы и отели; люди живут на чеки и поправляют здоровье. Самое благополучное место в мире. Чистенький нейтральный кусочек земли и в то же время в сытом своем международном благополучии самый нечистый угол Европы. И на этом-то месте, среди фамильных пансионов и санаторий строится какая-то новая София. Ведь нужно было потерять всякое чутье значительности, всякий такт, всякое чувство истории, чтобы додуматься до такой нелепицы? Отсутствие меры и такта, отсутствие вкуса—есть ложь, первый признак лжи. У Данта одного душевного события хватило на всю жизнь. Если у человека три раза в день происходят колоссальные душевные катастрофы, мы перестаем ему верить, мы вправе ему не верить—и для нас смешон. А над Белым смеяться не хочется и грех: он написал «Петербург». Ни у одного из русских писателей предреволюционная тревога и дальнейшее смятение не сказались так сильно, как у Белого. И, если он обратил свое мышление, свою тревогу, свой человеческий и литературный стиль в нелепый и безвкусный танец, тем хуже для него. Танцующая проза «Записок чудака» высшая школа литературной самовлюбленности. Рассказать о себе, вывернуть себя на-изнанку, показать себя в четвертом, пятом, шестом измерении. Другие символисты были осторожнее, и в общем русский символизм так много громко кричал о «несказанном», что это «несказанное» пошло по рукам, как бумажные деньги. Необычайная свобода и легкость мысли у Белого, когда он в буквальном смысле слова пытается рассказать, что думает его селезенка, или: «событие неописуемой важности заключалось в том, каким образом я убедился, что этот младенец есть я» (младенец, разумеется, совершенно иносказательный и отвлеченный). Основной нерв прозы Белого—своеобразное стремление к изяществу, к танцу, к пируэту, стремление танцуя об'ять необ'ятное. Но отсутствие всякой стилистической мысли в его новой прозе делает ее чрезвычайно элементарной, управляемой двумя или тремя законами. Проза ассиметрична—ее движения—движения словесной массы—движения стада, сложное и ритмичное в своей неправильности; настоящая проза—разнобой, разлад, многоголосие, контрапункт; а «Записки чудака»—как дневник гимназиста, написанный полустихами.

В то время, как в России ломают головы, как вывести на живую дорогу освобожденную от лирических пут независимую прозаическую речь, в Берлине в 1922 году появляется в издании Геликона какой-то прозаический недомерок, возвращающий к «Симфониям». «Записки чудака» свидетельствуют о культурной отсталости и запущенности берлинской провинции и художественном одичании даже лучших ее представителей.

**О. Мандельштам.**

## РАБ ЛУКАВЫЙ В МАНТИИ АПОСТОЛА СВОБОДЫ.

**М. О. Гершензон** (Судьбы еврейского народа).

М. О. Гершензон—фигура несомненно любопытная. Внимательно присматривались к нему и евреи-националисты, и русские правого лагеря вроде Розанова, Меньшикова. Да и не удивительно. Книга Гершензона («Грибоедовская Москва»)—«истинно-русская», книга—здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Типичный иудей пропитался не идеологией лишь, даже не эмоциями только, а стихийны

нутром старой Руси. Об этом же свидетельствуют монографии Гершензона о славянофилах. Эти работы—бесспорная заслуга Гершензона. Гораздо слабее Гершензон в качестве критика-мыслителя. Он—изящен, лиричен, проникновенен. Статьи его о Пушкине, о Макбете интересны. Но не следует чересчур тщательно всматриваться в механизм творчества Гершензона. Пристальному взору становится ясным, что пища духовная, преподносимая вам—не манна, питающая в пустыне, а дессерт, нужный только сытому. Боюсь сказать—пресыщенному. Гершензон тонко оперирует немногими философскими категориями: Движение и Покой, Духовное и Душевное, Разум и Вера. Из этих-то категорий он сплетает интеллектуально-психологические гирлянды, изящно и капризно переплетает их нитями душевной лирики.

Но до чего непрочна эта ювелирная работа!

Кажется порой, что Гершензон поднимается на вершины. Но всмотритесь попристальней—пристальный взор враг Гершензону—и вместо вершины—верхушки. Гордая пальма увядает, корни слабы!

Люди этого не замечали. Но сам Гершензон пришел им на помощь, написав книжку: «Судьбы еврейского народа». Есть древняя легенда: великий греческий философ, сверхчеловек Емпедокл, не хотел, чтобы люди считали его смертным. Он бросился в кратер Везувия, дабы люди считали его уход от мира столь же дивно-чудесным, как и пребывание здесь. Но... извержение вулкана выбросило ночные туфли сверхчеловека и люди узнали, что смертным и даже тщеславным был великий философ. Не сверхчеловек, конечно, Гершензон, но маленький вулканчик его творчества выбросил пантофли в виде книжки «Судьбы еврейского народа».

Заметьте: тенденции книжки Гершензона симпатичны, автор борется с сионизмом, империализмом и национализмом. Но методы, но аргументация, но его философия истории—поистине исповедь раба лукавого, желающего убедить самого себя, что он апостол свободы.

Гершензон против сионизма. Сиони
заражен рационализмом, он грехов
надменно умополагает, что стихия н
ционального творчества поддается ко
тролю и управлению. «Первый, самы
характерный признак сионизма—его бе
верие, его необузданный рационали
мнящий себя призванным и способны
управлять стихией. Наши предки уме
мудро смиряться перед заповедны
тайнами; современный разум не зна
своих границ. Но тайны есть; если наш
мысль разгадала секрет естественно
отбора, если она сумела подчинить се
силу электро-магнитных волн, это е
не значит, что ей все подвластно». Си
низм напрасно полагает, будто наци
нальное творчество обязательно предп
лагает территорию и устойчивый бы
А главное: сионизм неправильно пон
мает сущность национальности. Наци
нальность есть явление стихийное, орг
ническое, бессознательное. Чем меньш
вмешивается разум в царство стихи
ного, национального бытия, тем наци
нальнее и органичнее творчество. Но н
циональное начало не творит жизни с
мостоятельно; национальное начал
только оформляет творческие процессы
еще точнее, придает особый оттенок, сво
образный нюанс данной форме. Но ра
не национальность творит жизнь, то кт
же, собственно, развивается и твори
жизнь? «Развивается личность, и тольк
в ней, питаемая ее целостным разви
тием, национальность крепнет и очи
щается».

Остановимся на последнем пункте ар
гументации Гершензона. Никак не пой
мешь, почему это судьба истории разви
тия передается личности, а нации тольк
предоставляется видоизменять «форму»
Это было бы понятно, если бы Гершен
зон признавал нацию только меха
нической суммой личностей. Но дл
Гершензона нация — некая «умопости
гаемая» индивидуальность, имеюща
единую волю и свое особенное предна
значение в мире». А если так, почем
же Гершензон думает, что предназна
чение в мире этой коллективной лич
ности сводится только к изменению от
тенков? Казалось бы, наоборот: душ
миров, судьба этой души (если уж гово

рить в терминах Гершензона) вручена универсальной личности, нации, а индивидуальная и ограниченная личность может только вносить те или иные нюансы или оттенки.

Бакунин подчеркивал, что нация просто **ф а к т**, **а не п р и н ц и п**. Вполне понятно было бы, если бы Бакунин отрицал центро-творческие силы нации и вручил бы судьбы культуры автономной личности. Но почему мистик-националист Гершензон устанавливает для творческого размаха нации какую-то 10%-норму—непонятно. Характерно: Бакунин потому-то и низводит национальное сознание до степени голого факта, что национальное начало ограничено, а созидателем принципов культуры может быть только универсальное, а не личность. У Гершензона здесь, воистину, все шиворот-на-выворот. Полный произвол в этом пункте опрокидывает все построение Гершензона. И не удивительно: мы ведь знаем, что Гершензон своеобразный архитектор—стильно построена крыша, только на рыхлом фундаменте; к самому небу тянется вершина, да корни тощие.

Пойдем дальше. Допустим, что тайному промыслу угодно было установить такое своеобразное разделение труда между национальным и личным творчеством. Не будем греховными, не будем горделивыми, смирим свой разум во имя той тайны, о которой уж очень тайно вещает Гершензон. И все же из положений Гершензона антисионизма никак не выжмешь. Ведь в растении есть «формирующее» начало, но проявляется оно тогда, когда растение сидит в родной почве, жарко согревается лучами родного солнца, обильно орошается росой родных полей. И сионист скажет: дайте нам эту естественную атмосферу и тогда пусть проявится национальное творчество так, как его понимает Гершензон. Правда, Гершензон оговаривается, что нельзя-де чересчур шаблонно понимать «естественные условия» и нормы развития. Пусть. Но ведь сам Гершензон констатирует, что еврейство измучено, изуродовано, истерзано. Еврейство—вечный сирота, то ненавидимый, то еле терпимый... И неужели от этих ужасов и мрака можно отделаться словами абстрактными, бессердечно-жесткими? что, мол, не для всех народов обязателен единый «нормальный» тип развития. Должно быть, г. Гершензон чувствует слабость своей позиции. Чтобы убедить себя же, он сочиняет еврейскую «философию истории». Иначе, чем возмутительной, я ее назвать не могу. Видите ли, «еврейство» как будто поставило себе задачей преодолеть быт, домовитость, привязанности к вещам и к территории. Видите ли, на роду ему написано быть перекати-поле, «тучей небесною — вечною странницей». Об этом свидетельствует, будто, вся история евреев. В период храма Соломона еврейство осело, отвердело. Но вот некто «ощупал — твердо; и немедля поднял топор и рассек народ на две части: Израильское и Иудейское царства». Какая методологическая беспомощность! Разве это не торжество упадочной схоластики рассматривать историю великого народа с точки зрения какого-то «плана», при чем все живые факты живой исторической жизни искусственно подогнаны и все это для того, чтобы оправдать хиленькую догмочку! Когда **т а к** писали философию истории Гердер, отчасти Вико, то в этом была и сила, и великая польза: в утопической форме они угадывали реальные законы истории. Но когда после Маркса и Энгельса г. Гершензон повторяет ошибки великих утопистов, но без их достоинств, то это уже непростительно.

Но печальнее всего делаемые автором выводы: оказывается—это тайная воля еврейской нации **х о т е л а К и ш и н е в с к о г о п о г р о м а**! «Он сам тайным зовом призвал Тита разрушить его царство, крестоносцев избивать его сыновей и в Вормсе, и в Кельне, Филиппа—изгнать их из Испании, кишиневскую чернь—громить их дома».

Так говорит раб лукавый, желающий утешить себя, украсить свое рабство якобы миссией свободы. Что ж, это не ново. Разве раб-христианин не утешал себя тем, что подставлением левой щеки под удар он манифестирует свою внутреннюю свободу и презрение к внешним благам жизни? И разве христианство в

рабском уклоне—ибо было христово и *революционное, и коммуни*ское—не мнило себя апостолом ды? И разве учение о тайной «во еврейского народа, призывающей невских громил, не та же пропа рабства под фальшивкой свободы? г. Гершензон нам не *попутчик* даже ьбе с сионизмом. Он сионизм укре, а делает вид, что его разрушает. ять-таки, чисто формально, Гершенбеспомощен, как ребенок, перед лю сионистом. «Что же,—скажет си,—вы, ведь, сами утверждаете, что рействе все-таки чередуются ты кочевания с моментами оседт и. Мы, в данный момент, выра оседлого начала, подготовляем ия, благодаря которым «воля» наопять захочет рассеяния и призоа помощь римлян и кишиневских мщиков. «И формалист-схоластик нзон будет беззащитен против та—*даже* такой!—аргументации.

же «погубило» г. Гершензона? у он рискнул появиться перед чими в халате и ночных туфлях как огда, когда писателю более прилиет пророческая тога?

убило г. Гершензона—желание вы свою индивидуальную «трагедию» гедию мировую.

ершензон внутренно издерган, раз. Он ушел в чужую культуру, кую и обще-европейскую. Г. Гер денационализирован. И это не Беда в том, что наш автор только изменился, но не преобразился: в идит ветхий иудей и современный кий мелкий буржуа. Звучат в нем кие мелодии, томит и гнетет евя печаль.

славянофильское писание-деясть не питается глубокими кор иудейской души. А душа его не творена получуждыми ей славянокими плодами.

мненно, что-то противоестествензрел сам Гершензон во взаимоотии корней и плодов духа своего. ершензон издерган, развинчен.

ж, это его личная беда. Но задуш критик построить систему, возую беду в принцип еврейской истории. Больше, он вздумал *свою патологию об'явить обще-национальной* физиологией. Да, противоречив уклад души его, ненормально соотношение «частей», но, быть может, эта денационализованность и есть форма нормального национального бытия. Тогда *кажущаяся болезнь есть историческое* здоровье, тогда Гершензон просто изнемогает под бременем исторической миссии, повелевшей ему жертвовать мещанской нормой во имя высшей... Ведь душа Гершензона—прообраз нации. Больше того: *по его мнению, целостная* личность и творит исторический процесс. И создал г. Гершензон свою «теорию». Так, его центризм заставил Гершензона впасть в грех схоластического своемудрия и косвенно оправдать и кишиневского громилу.

Воистину — раб лукавый в мантии апостола свободы.

А теперь несколько слов по поводу рационализма, веры в беспредельную силу разума, якобы присущей сионизму. Все это в корне неправильно. Гершензон не понял трагикомедии сионизма: сионисты апеллируют к разуму только потому, что в их иссушенной душе нет старой благодатной веры; и они обращаются к вере тогда, когда против них железная логика разума. Они упадочники. Они эклектики. Хотите, они вам докажут экономическую необходимость сионизма, докажут и даже статистику приведут, что, мол, еврейский народ платит «прибавочную стоимость» другим нациям. Хотите, они вам скажут, что «не хлебом единым будет жив человек», что надо считаться не только с пользой или с механикой исторического процесса, но и с «волей народа». Той волей, которой так фривольно жонглирует Гершензон...

Велика трагедия еврейского народа! И в сионизме я усматриваю порой трагическую попытку разрешить эту трагедию в пределах буржуазного мира и средствами буржуазного мира. Но напрасно. Проблема национализма тесно связана со всеми великими проблемами современного общества. Мне припоминается

лекция доктора Х. Житловского, читанная им в Париже. Житловский доказывал, что национальные конфликты не являются лишь «надстройкой» над классовыми. Что разрешение национальных конфликтов не терпит отлагательства до того момента, пока победит пролетариат. Жизнь сокрушительно разбила эту иллюзию. Разве мы не живем в эпоху безумного напряжения национальных страстей? Разве не национальные конфликты до такой степени приковывают внимание, что отодвигают конфликты классовые? Разве участие пролетариев в империалистической бойне не было торжеством национального начала над классовым? Однакоже для всякого беспристрастного исследователя ясно, что гигантская, напряженная национальная борьба есть борьба старого мира за то, чтобы отыскать новые материальные рессурсы, организационные формы и психологические импульсы власти. Всякому беспристрастному исследователю ясно теперь, что в пределах буржуазного мира национальные проблемы разрешены быть не могут. Это еще в большей степени применимо к участи еврейского народа. Мы знаем: «спецы» национального вопроса будут крайне шокированы нашим простым, ясным словом. Им, привыкшим гурмански обсасывать детали еврейской проблемы, покажутся наивными, элементарными, примитивными наши слова.

Это нас мало смущает. Жизнь теперь в период напряженнейших национальных страстей показала сурово, неумолимо, что вне свержения основ современного мира нет свободы никакой: ни классовой, ни духовной, ни национальной. Только воля пролетариата в борьбе против кишиневских и иных погромщиков оздоровит мир. И только еврейский пролетариат в единении с пролетариями всего мира разрешит, а то, быть может, за ненадобностью снимет с очереди еврейский «национальный вопрос».

**Свобода еврейского народа восторжествует, как свобода всего мира, через революцию или не восторжествует вовсе.**

*И. Гроссман-Рощин.*

*Л. Троцкий.* Основные вопросы революции. Госиздат. 1923 г. Стр. 420.

Чрезвычайно интересное предисловие Л. Троцкого ярко выявляет основной характер и значение рецензируемой книги. По мнению автора, коммунистической партии угрожают сейчас две опасности: «близорукий практицизм на одном полюсе, скользящее по поверхности всех вопросов агитаторство на другом». Преодолеть обе эти опасности можно лишь путем углубленной теоретической работы, путем «сверлящего марксистского анализа» окружающей нас политико-экономической обстановки. Но, чтобы быть плодотворным, анализ должен обратиться к вопросам экономики, притом не только советского хозяйства, но и мирового капиталистического рынка. «Внимание к экономике»,—вот чего требует, по мнению Л. Троцкого, нынешний период от партийной мысли.

Эти основные положения предусматривают характер и содержание работ, вошедших в рецензируемую книгу. Последняя об'единяет две книги, вышедшие в разное время, «Коммунизм и терроризм» (1920 г.) и «Между империализмом и революцией» (1922 г.). В виде приложения к ним присоединен доклад автора о «Новой экономической политике Советской власти» сделанный на 4-м конгрессе Коминтерна и обработанный в виде статьи. Благодаря этой комбинации мы получаем исчерпывающий анализ методов хозяйственного строительства Советской России на протяжении трех лет: от эпохи военного коммунизма и до нэпа, включительно.

Все работы Л. Троцкого, вошедшие в настоящий том, вызвали своевременно ряд отзывов и слишком хорошо известны, чтобы на них следовало здесь подробно останавливаться. «Коммунизм и терроризм» представляет в сущности блестящую критику и опровержение одновременно пасквиля К. Каутского («Terrorismus und Kommunismus»), вышедшую еще в 1919 году.

Не ограничиваясь, однако, чисто полемической работой, Л. Троцкий с присущей ему глубиной анализа освещает попутно ряд действительно «основных вопросов революции», а именно: сущность дикта-

[диктатур]ы пролетариата, демократии в ее раз[лич]ных модификациях идеологических и [пра]ктических, революционного террора [и т.] д.; ряд глав представляет почти само[стоя]тельное исследование, посвященное [Пар]ижской Коммуне, рассматриваемой под [угл]ом зрения опыта русской пролетарской [рев]олюции.

[«М]ежду империализмом и революцией» [пред]ставляет из себя как бы иллюстра[цию] теоретических положений первой [кни]ги на частном историческом примере [мен]ьшевистской Грузии. Хотя и написан[ная] по конкретному политическому пово[ду] накануне Генуэзской конференции, на [кот]орой, как известно, грузинские мень[шев]ики и их «покровители» из II Интерна[цио]нала решили требовать «освобожде[ния]» Грузии от ига большевиков,—книга [Т]роцкого тем не менее сохраняет свое [знач]ение мастерского историко-критиче[ског]о исследования. Блестящий анализ [сущ]ности меньшевистской диктатуры [осо]бенно роли преторианской «народной [гвар]дии», разбор сложных международ[ных] отношений, наконец ряд метких ха[рак]теристик,—все это составляет непрехо[дящ]ие достоинства работы Л. Троцкого. [Чего] стоит, например, следующая мастер[ская] характеристика грузинского меньше[виз]ма: «Национальные предрассудки и [обо]лжи социализма, Маркс и Вильсон, [рито]рические увлечения и мелко-буржу[азна]я ограниченность, пафос и плутов[ство], Интернационал и Лига наций, не[мно]жко искренности, много шарлатанства [и н]ад всем этим самодовольство провин[циа]льного аптекаря—эта взболтанная со[бст]енными микстура составляет душу гру[зин]ского меньшинства». В настояще[е вре]мя, как известно, с меньшевизмом [окон]чательно покончено в самой Грузии. [В р]езультате двухлетнего существования [сов]етской власти, грузинские рабочие и [кре]стьяне массами покидают меньше[вис]тскую партию и представителями ее [сейч]ас являются лишь лидеры, вроде: Рамишвили, Джугели, Кедиа и др., [сбеж]авшие с награбленным народным доб[ром] за границу и пооткрывавшие в Кон[ста]нтинополе и других городах шашлыч[ные] и духаны.

[И]з настоящей беглой рецензии ясно, какое крупное значение имеет книга Л. Троцкого. Она действительно устанавливает основные теоретические вехи, политические и экономические, руководствуясь которыми можно разобраться в нашей сложной революционной действительности. Издана книга прекрасно; сильно облегчает пользование ею приложенный указатель имен, увы, столь редко встречающийся в русских изданиях.

**В. Кряжин.**

---

**А. Луначарский.** Введение в историю религии (в 6 популярных лекциях). Государственное Издательство. Москва-Петроград 1923 г. Стр. 196.

Новая книга А. В. Луначарского составилась из лекций, читанных им в Петрограде на курсах для инструкторов политпросветительной работы еще в 1918 году. Стенограммы этих лекций, просмотренные и исправленные лектором, ныне появляются в печати.

Написанная живым и популярным языком, книга Луначарского является весьма кстати. Несмотря на имеющуюся оригинальную и переводную литературу по вопросам истории религии, у нас до сих пор не было рассчитанного на широкого читателя вводного очерка происхождения и основных моментов развития религии. Лекции Луначарского как раз восполняют этот пробел.

На протяжении 6 лекций автор трактует о происхождении религии, о религиях Индии и Ирана, далее переходит к характеристике греческой религии и религии еврейской, заканчивая изложение более расширенным отделом, посвященным христианству.

Небольшие размеры книги заставили автора центрировать внимание на основных линиях изучаемых явлений, опуская подробности, иногда существенные. Наряду с этим и самая форма популярных лекций заставила автора говорить часто аподиктически, не всегда убеждая, что защищаемая им теория безусловно и безоговорочно может быть принятой. Правда, в истории религий столько спорных и далеких от окончательного решения вопросов, что при излишней научной щепетильности невозможно и широкое обобще-

ние. А. В. Луначарскому можно поставить в заслугу, что он в общем удачно справился с этими весьма коварными препонами.

Посвятив первую главу вопросу о происхождении религии, Луначарский много места уделяет анимизму, а затем переходит к мифу. Жаль, что автор не коснулся тотемизма и фетишизма. Они занимают свое место в эволюционном ряду, и с ними всякому исследователю первобытных верований приходиться серьезно считаться. Вообще даже в популярном очерке следовало бы в самом анимизме отметить различные моменты развития. Думается нам, что и страх перед покойником, недавно так интересно трактовавшийся на страницах марксистской печати (спор М. Н. Покровского и И. И. Степанова), недостаточно подробно охарактеризован на соответствующих страницах книги. Несовсем убедительной представляется нам следующая параллель: «Как на земле выделяется богатырь, так среди духов выделяется бог». Здесь излишняя упрощенность имеет свою обратную сторону.

Автор, повидимому, большой поклонник солярной теории, склонен разделять некоторые ее увлечения. Солярное толкование мифа о Самсоне и Далиле и чуть ли не идентизирование мифа об Озирисе и Изиде с рассказом об Илье Муромце являются интересными по своей смелости. Чтобы покончить с этой главой, укажем, что правильнее было бы сказать, что наукой, выясняющей вопрос о происхождении религии, является этнология, а не антропология. У нас антропология понимается в более узком смысле слова.

После характеристики религий Индии и Ирана, автор подробно останавливается на религии Греции, дав ее очень удачную и красочную характеристику. Развитие религиозных представлений древних греков автор рассматривает на обще-историческом фоне. Очень хороши страницы, посвященные еврейской религии. Характеристики пророков и их исторической роли сделаны прямо блестяще. Выпукло очерчены фигуры Самуила, Исаии и Иеремии. Последнего Луначарский характеризует как откровенного пораженца, приводя красноречивые цитаты из его проповеди перед Вавилонским пленом. Только общее определение еврейской религии, как религии *пуританской*, вызывает сомнение. Не находимся ли мы здесь в плену пуританских представлений XVII века, искавших себе союзников в Древнем Израиле?

Как и следовало ожидать, большую часть книги Луначарский посвятил происхождению и развитию христианства. Здесь автор исходит из своих прежних работ и дает общую характеристику, достаточно яркую и широкую, но тут же с другой стороны дают себя знать особенно остро различные спорные вопросы. Например, вопрос о социальном составе ранней христианской общины или вопрос об экспансии христианства и ее социально-экономических мотивах требуют более пристального рассмотрения.

Остановившись сравнительно подробно на происхождении христианства, автор затем как-то скомкал свое изложение, уложив в последнюю лекцию средневековье, реформацию и даже толстовство. Правда, здесь он отмечает лишь самые основные пункты, но все же жаль, что это сделано так кратко. Необходимо в следующем издании этот отдел расширить. Тогда, вероятно, более углубятся и отдельные характеристики; например, свою социально-экономическую основу получат религиозные войны во Франции, пока повисшие в воздухе.

В общем книга Луначарского является несомненным приобретением нашей популярной литературы. По блеску и мастерству изложения, по широкой доступности она не имеет соперниц. Несомненно, что книга эта выдержит ряд изданий. Несомненно также, что сам автор будет ее исправлять и дополнять.

Внешне издана книга опрятно, бумага хороша. Встречаются опечатки, из которых особенно следует исправить «Демиурк» вместо «Декуург» (стр. 157) и «теория Гумпловича», а не история Гумпловича» (стр. 89). Для большей фактической точности укажем, что на стр. 175, вместо Матильды Миланской, надо поставить Матильду Тосканскую, так как к Милану тосканская маркграфиня, помо-

ная Григорию VII в борьбе с Генри- IV, отношения никакого не имела.

**И. Бороздин.**

**оф. Е. А. Энгель**, декан Ф. О. Н. Пе- р. госуд. университета. Основы зетской конституции. Кон- т лекций. 1923 г. 25.000 экз. Стр. 248. огда мне Госиздат, в готовых печат- гранках, прислал для отзыва первые страниц этой работы, я себе иначе ставил всю работу в целом. Я дал оприятный отзыв, но сейчас же от- л, что 15 страниц перечня всех гу- ний и уездов Р. С. Ф. С. Р., а равно чества, а отчасти и названий волостей дой губернии надо выбросить, лишний балласт. Этот балласт лся, и я себе по сие время не пред- ляю для чего. Неужели студенты кны изучить его, ибо «конспект лек- », по старым традициям Питерского верситета, является тем минимумом, й требуется на экзаменах? А если «зубрить» не надо, то к чему рас- а государственной бумаги в разме- –25.000 лишних листов? Прочтя те- всю книгу, я вижу, что вся вторая ь книги, а она как раз яется основною, страдает же недостатками. Вся эта вторая ь состоит из слабо систематизиро- ой перепечатки статей декретов, це- положений и т. д., относящихся к низации власти, вместо того, чтобы конспект основ Советской консти- и необходимые к ним теоретиче- пояснения. Мы там находим пере- тку: 11 стран. Положения о губ- ломах из 25 отделов, 100 подотде- 4 стр. Пол. об избир. ком., 4 стр. жения Наркомюст и т. д.

тор в предисловии об'ясняет, что написанию конспекта побудило от- твие работы, составленной «приме- льно к требованиям университет- преподавания». Я, хотя и член С., впервые узнаю о таких требо- ях для университетского преподава- как знания уездов или отдельных й положений и т. д. И даже извн- е автора с ссылкою на «срочность задания, отсутствие досуга, неполноту источников, отсутствие предварительных работ» и т. д., тут ничего не меняет. Если я видел бы всю работу в этом виде, я запротестовал бы решительно и просто потребовал бы переработки всей второй части, начиная с 92 стр. Я сказал уже, что, по-моему, вторая часть является основною, а первая часть лишь введением к ней.

Автор, как видно из заглавия, занимает видное положение в ФОН'е. Это, как и его принадлежность к партии, обязывает, и мы должны значительно строже относиться к недостаткам его работы, чем в других условиях. Теоретическая часть работы возбуждает большой интерес и обнаруживает крупный талант автора. Известная доля, может быть, даже лишнего задора в деле, как в марксистском изложении сущности государства и т. п., также неизбежна и только полезна. Прочтя одни заглавия: общество и государство, родовое общество и классовое общество, определение эксплоататорского государства и идеологическая маскировка его, соотношение понятий общества и государства, квазимарксистские определения государства и т. д., читатель заинтересуется, особенно если все это относится к такой заболоченной среде, как Питеру, где все еще Магазинеры обслуживают государственный, а Драницыны—коммунистический университет.

Автор ставит себе крупную задачу: «положить начало методологической и догматической разработке курса Советской конституции и т. д.». Этой задачи он, как я уже указал в начале, «в догматической части» пока не выполнил. И мы вторую, догматическую часть в лучшем случае могли бы назвать «материалами (и то случайными) по Сов. конституции». Но как автор справился с методологической и вообще теоретической частью, о государстве вообще? На первый взгляд, автор покажется, пожалуй, чересчур новатором. Я не нашел ни одного определения, просто повторяющего то, что уже написано. Проф. Гурвич—для него только «квазимарксист»; «непрофессора» просто в счет не идут. Я для характеристики автора в этом от-

ношения процитирую несколько его определений. «Общее или родовое определение общества» по Энгелю: «территориально-отграниченная и **независимая** (?) система **общественных** групп». Значит, **общество**—это система **общественных** групп или общество есть общество! А «**развитое** определение родового общества» это—«территориально отграниченная, независимая и гармоничная система родовых коммун, функциональная связь с которой отдельных лиц определяется как по признаку наличия территориальной связи, так и по признаку наличия кровнородственной связи». Тов. Энгель исходит от Фр. Энгельса, но он с ним сразу и расходится, ибо Фр. Энгельс как раз подчеркивает, что разделение народа по территориальному сожительству является одним из факторов, разложивших родовой строй. По Энгельсу в основу «нового, **государственного** устройства, заменившего родовой строй, покоившийся на личных кровных узах», «было положено территориальное деление и имущественные различия».

В конце концов (стр. 41) автор дает свое определение «государства не как такового, а взятого в его отношении к общественным организациям»., следующими словами: «государство есть организация, преследующая наиболее общие классовые задачи, и потому подчиняющая своему контролю задачи, право и власть общественных организаций функционально или территориально с ним связанных». Как вы думаете, читатель, подписался бы Маркс, Энгельс или Ленин под подобное вычурно-научное пояснение общества и государства? Я боюсь, что нет. Каким-то затхлым запахом старых университетских стен веет от подобных новаторских дефиниций, и невольно вспомнишь о необходимой защите студентов от скверной традиции нашей старой университетской науки, заразившейся привычкой германской официальной науки, об'ясняющейся с аудиторией на каком-то особенно непонятном, т.-е. научном, жаргоне. А между тем, французские ученые, не взирая на направления, доказали, что и науку можно излагать на изящном, легко понятном, и все-таки научном языке. А требование от своих профессоров понятного изложения любого предмета является программою - минимум для студенчества и государственного университета рабоче-крестьянского государства.

Но в одном ли изложении тут дело? К сожалению—нет. Сам автор выдает себя, ссылаясь на то, что эти определения он взял из своих работ «Социология» и «Государство и формы его строя», вышедших в Петрограде в 1919 и 1920 г.г. Работ этих я, к сожалению, пред собою не имею, но если автор сам поясняет, что он тогда отождествлял «общество» с термином «государство», а государство с термином «**классовое** государство», то мы можем только посоветовать автору серьезно пересмотреть этот старый хлам, вместо того, чтобы повторять известные слова Каутского: «Мои взгляды остались прежние, только язык изменился».

Ругая, и по праву ругая, юристов—юристами, автор слепо идет в своей методологии по путям—чисто юридическим. Я этот метод назвал как-то «социальною математикою», в смысле рабского поклонения пред мертвыми формулами. А если вы у автора на целой странице читаете вывод из простого положения Ф. Энгельса «государство есть продукт общества на известной ступени развития»:—что «1) общество возникло раньше государства, 2) общество представляет социальное (т.-е. общественное. П. Ст.) явление первичное, а государство—производное и 3) государство генетически связано с обществом», то вам невольно вспоминается «логический метод» рассеянного немецкого профессора: «Когда я вошел в комнату, на мне была шляпа; я ее в комнате не вижу, ergo (следовательно)—я сижу на ней». Что и следовало доказать.

Я уже сказал, что автор очень строг по отношению к другим в смысле чистоты марксизма. Он сам однако страдает одною слабостью, весьма распространенною: чрезмерною любовью к переименованиям. Но, боюсь я, если поскрести эти перелицовки, мы обнаружим остаток того же старого багажа, на который у других так горько жалуется автор. Так, например, т. Энгель находит, что

торы, «утверждающие, что именно территориальная связь должна рассматриться как основание принадлежности дивида к обществу (вернее, к государству. П. Ст.)», «смешивают условие существования подлинной связи с мой подлинной связью». «Только ункциональная связь есть поинное основание принадлежности индида к обществу». Как ни старается Энгель своему понятию социальной ункции дать новый смысл, он остается об'ятиях той же буржуазной теории, которой он считает себя свободным. о его теория, что «всякое организованное общежитие есть целевое общее», это—остаток чисто буржуазной, да е метафизической теории. А его теоя о социальной функции и об обязальной функциональной связи дивида с обществом получила надлежащую оценку еще в «Капитале» Карла аркса. И если современная французая (значит, наиболее буржуазная) теоя так падка на теории социальных ункций, то потому, что это является инственной теорией, какой еще можно оретически отстаивать роль класса капиталистов. После этого остается лишь актический фашизм. А если вы чиете у автора глубоко-марксистские гляды «об экономической взаимовисимости классов», а именно: абочий есть условие существования капиталиста, а капиталист есть условие ществования рабочего; крестьянин есть ловие существования помещика, а помщик—условие существования крестьянина» и, наконец, «купец есть услое существования капиталиста и рабого» и т. д., то в этом его сочетании эти гляды, правда, менее по марксисти, вы найдете у любого американого социолога, в виде, например, Уорда т. п. А из этих теорий «условий» тор выводит свою строго марксистскую орию о «целостности системы ассового общества».

Но я увлекся полемикою, которая не естится в краткой рецензии. Я считал жными эти замечания потому, что я тора считаю очень ценною силою в дущем, если он сумеет освободиться от азанных слабых сторон, т.-е. если он будет способен к самокритике. Тогда и его работа в следующем издании выиграет и, прежде всего, изменится до неузнаваемости. Остатки буржуазных приемов, отзвуки буржуазных взглядов как раз в правовых вопросах и в вопросах о государстве не составляют несмываемого греха, особенно в нашу эпоху начала великой революции мысли в этих вопросах.

В стремлении своем быть всюду оригинальным и сверхнаучным, автор отвергает, как недостаточные, почти все практические определения, заимствованные нами из практики другого, враждебного, но тоже классового государства. Для примера я приведу вопрос об избирательном цензе. Мы откровенно стоим на почве классового господства и лишаем политических прав наших классовых противников. Автор и тут подоспел со своею новой терминологиею. Все цензы классовые у него—просто цензы моральной пригодности, конечно, прибавляет автор, классово-моральной. Ибо «с точки зрения моральной эксплоатация недопустима и осуждается». Значит, то, что мы лишаем избирательного права эксплоатирующий элемент, является просто вопросом классовой морали, а не классовой борьбы? Случайно на-днях, обсуждая материалы для сборника по истории конституции, мы вспоминали о том, как тов. Ленин при обсуждении проекта конституции определенно высказался, что контр-революционер сам по себе, с нашей точки зрения, вовсе еще не безнравственен. По поводу всего класса капиталистов то же самое вполне определенно высказывал К. Маркс. Итак, этический марксизм не есть революционный марксизм. А, действительно, несколько страниц дальше (92) автор пишет буквально: «мы должны констатировать, что советская система, по сравнению с этим «Положением» (о выборах в Учред. Собрание. П. Ст.), является еще более прогрессивною». Сначала, значит, мерило классовой моральности, а потом просто бесклассовой прогрессивности!..

Долой такое деление науки на «ака- іемическую» и на науку для более ши- юких масс. Наша наука едина. Особенно ‘акие вопросы как политика, право, го- ‘ударство—должны быть одинаково по- іятны для всех, и всякое деление на іасты университетской науки (Ф. О. Н.) і науки массовой у нас является недо- ;устимым злом. Тов. Ленин написалісторическую книгу «Государство и ре- юлюция», которая заняла и будет зани- іать место рядом с «Капиталом» Маркса. \ эту книгу одинаково поймет и сту- іент, и рабочий, и красноармеец. Вот об- ›азец для работ по вопросам о государ- тве. Не из мертвых формул выводить іеновы Советской конституции, а, наобо- ют, из реальных основ и реального іпыта построить теорию Советской ласти, а вместе с тем, и конституции. акова задача науки о государстве у нас. 'ов. Ленину не суждено было напи- ать вторую, т.-е. догматическую, часть воей работы. Если т. Энгель хочет взять іа себя такую задачу, то он должен итти о его стопам. Я уже сказал, что талант автора несомненен.

Может быть, я слишком строго отно- ился к отмеченным мною недостаткам бозреваемой работы. Я считал это своим ;олгом и, так как рецензия была мне ;редложена редакцией, от нее отказы- аться не считал себя вправе. Это не значает предостережения от книги. По ути к верному пониманию нашего строя нашей конституции она является рупным вкладом. Она еще выиграет не- равненно в ценности, если автор при тором издании примет во внимание мои казания. А я надеюсь, что этот момент аступит скоро.

**П. Стучка.**

---

**М. А. Бубликов.** Биологически еседы. Научно-популярное системати- еское изложение всех отделов биологии. Книгоиздательство «Сеятель». Петроград 923 г. 200 стр.

Автор «Биологических бесед» пра- ильно указывает в предисловии на боль- юй и притом все возрастающий интерес широких кругах читателей к вопросам бщей биологии. Действительно, недавно переизданное Госиздатом лучшее в рус- ской учебной литературе руководство по биологии проф. В. М. Шимкевича «Био- логические основы зоологии», тома I и II, несмотря на то, что оно имеет в виду главным образом студенчество, желающее приступить к изучению зоологии, и является поэтому прежде всего учебни- ком, и несмотря на сравнительно высо- кую цену,—разошлось в самое короткое время, раскупаясь несомненно не только учащимися, но и той широкой массой, о которой упоминает и М. А. Бубликов в предисловии к своей книге, и уже исключительно для которой он ее и пред- назначает.

И каждый из этих рядовых читателей, приобревших «Биологические основы» В. Шимкевича, если бы даже эта книга в некоторых своих главах оказалась для него трудной, все же в высокой степени разумно затратил свои, быть может, скромные рессурсы, а главное свое время, так как некоторые отделы ее, не без на- пряжения, но зато с великой пользой, могут быть им прочитаны.

«Биологические беседы» М. Бубликова, несмотря на то, что они по об'ему раза в 4 меньше «Биологических основ» В. Шимкевича, и что они, по мнению автора, являются научно-популярной книгой, потребуют от того же читателя времени значительно больше, а если они попадутся в руки читателю очень упор- ному, то и неопределенно много, но уже совершенно без той награды, которую он получит за преодоление «Биологических основ» Шимкевича, ибо во мно- гих своих местах «Биологические беседы» Бубликова, даже как будто и для подготовленного читателя, являются, как мы увидим из ниже приводимых выдержек, непостижимыми. Элементарные биологические понятия зачастую изложены языком чрезвычайно неуклюжим, путаным и даны в неопре- деленных расплывчатых выражениях. Между понятиями: неорганический и неорганизованный; обмен веществ и кру- говорот веществ; размножение, развитие и происхождение; физический и физио- логический—подчас не делается особого различия, и одно иногда употребляется

то другого. Примеров же прямого жения фактов, иногда совершенно роятного, в книге сколько угодно.

пр., в главе «Проблема жизни. вность различий между живыми и эжизненными телами», уже по самому еству разбираемых в ней вопросов, ующих при популяризации их сугу- осторожности, дабы избежать того ащения фактов и общих выводов ки, которое зовется вульгаризацией, е популяризацией, мы натыкаемся такие положения:

рганизмы, как мы видели, определся присутствием в них органов. Од- красные кровяные тольца, прини-змые за простейшие орга- мы, не имеют настоящих органов» . 18). «Так наз. обмен веществ то-и- встречается и в неживой природе»... ановимся на физических разли- . Явление чувствительности раздражимости мы определ... Однако эта способность вовсе не ется исключительной привилегией низованных тел. Вспомним чувствиность к температуре, которую обладает термометр...» (стр. 19).

главе «Теория клеточного строения низмов» мы находим такое «популяр- изложение теории ячеистого строе- протоплазмы, предложенной Бючли: отоплазма имеет вид пенки... пу- ьки протоплазмы, прилегая друг к у, состоят снаружи из более плотного ества, а внутри их находится не воз- как в мыльной пене, а более жидкое ество. Таким образом, протоплаз- ифференцируется на два слоя: наруж- (эктоплазма)—более плотной... и тренний (эндоплазма) — более кий...» (стр. 25). Далее, в той же гла- «в ядре видна нежная сеть из твер- о вещества двоякого рода» (стр. 26). и неблагоприятных условиях... амеба ругие простейшие могут образовывать уг своего тела цисту... в этом состоя- организмы, называемые спорами» . 28). «Вопрос о роли клеточного ядра ротоплазмы решается путем опыта. более крупных клеточных организмов дном случае обрывают часть прото- змы...» (стр. 31).

Глава «Особь и колония».—«Следует, впрочем, добавить, что на колониях гидроидных полипов часто путем почкования же вырастают такие особи, которые принимают вид медуз, отделяются от колонии и уплывают, как настоящие медузы» (стр. 52). Из главы «Биологические отношения» мы узнаем, что «На далеком Севере с его белоснежным ландшафтом животные окрашены в яркий белый цвет, достигая этим большей безопасности и теплоты» (стр. 160), а также, что «в муравейниках водятся многочисленные мелкие жучки, выделяющие из своих пучков волос эфирное масло» (стр. 165) и что «бактерии являются причиной патогенных болезней» (стр. 141).

И, пожалуй, наиболее безвредными являются положения, вроде следующего: «животные поедают целые растения или известные части их: здесь мы имеем проявление хищности»... (стр. 141); ибо надо полагать, что читатель, если бы он даже поверил в то, что красные кровяные тельца кем-либо принимаются за простейшие организмы, что чувствительность, раздражимость относится к категории физических свойств живого, и что выражение «чувствительность термометра» не есть просто обиходное условное выражение, а реальность, не знай он, что патогенный значит «болезнь рождающий» и т. д. и т. д., и будь он даже в детском возрасте, не сочтет даже, и начитавшись «Биологических бесед», овцу и курицу за хищников.

Повидимому, все это и есть та, упоминаемая в предисловии к книге, своеобразная переработка материала, «заимствованного из книг специалистов-ученых, в соответствии с задачами книги и с требованиями, которые могут быть к ней пред'явлены со стороны широкого круга читателей». Особенно нужно заметить, что пострадали от «переработки» материалы, заимствованные из книг специалистов-зоологов. Пострадали даже их рисунки. Так на стр. 45 приведен рисунок морской звезды со спинной стороны. Но тщетно читатель из упрямых будет разыскивать «в центре ротовое отверстие». Обещанное ротовое отверстие не может

быть найдено на спинной стороне, ибо лежит он, как известно, на брюшной стороне, не видной, конечно, на рисунке. Повидимому, лежащая с края диска мадрепоровая пластинка водоносной системы была «переработана» автором «Бесед» в ротовое отверстие.

При обнаруженной в выше приведенных образцах «строгой научности изложения» (см. предисловие), автор избегает «излишнего многословия» (предисловие). Приведу только один пример. «Ц е н т р о з о м а. Важной частью клетки является центрозома или центральное тельце. Она, повидимому, играет значительную роль при некоторых процессах жизнедеятельности клеток. Центрозома—это крайне мелкое зернистое образование, которое окружено особым видоизмененным слоем его, названным центросферой, и заключено в протоплазме, редко в ядре. Есть, однако, такие клетки, в которых центрозомы еще не обнаружены» (стр. 26). И все.

Трудно представить себе худший сорт краткого многословия, когда три непонятных для начинающего иностранных термина сопровождаются, хотя и русскими, но ничего не поясняющими словами.

Последняя выдержка, точно так же, как и то, что иод, «как полагают», не имеет «может быть никакого значения для жизненных процессов тех организмов, в которых его находят» (стр. 2), может служить иллюстрацией стремления автора «держать своего читателя на уровне современного состояния науки» (см. предисловие).

Известно, что уже около 30 лет «полагают» иначе. И автору «Бесед» можно было бы узнать о том, что иод входит в состав того гормона щитовидной железы, который регулирует рост костей, влияет на нормальное развитие половой сферы и умственных способностей, даже и не роясь в «материалах специалистов-ученых», а из любого школьного учебника физиологии.

Вся книга в целом напоминает скорее экзаменационные конспекты прежних времен, в которые зачастую в самом приблизительном изложении втискивалась изо всех сил «вся бездна премудрости», чем «научно-популярно систематическое изложение всех отделов биологии».

Предисловие же к «Беседам», производящее до чтения самой книги несколько неприятное впечатление недостатком авторской скромности, после чтения ее производит уже только впечатление юмористическое. Мы решительно предостерегаем читателя от пользования этой книгой, ибо она ни в коей мере не дает представления о подлинном содержании биологии, как науки.

Н. С. Гаевская.

---

## ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ.

Статья А. Мартынова—„Великая историческая проверка" в № 4 (14) журнала „Красная Новь" за июнь—июль 1923 г. неправильно сверстана: отрывок статьи о позиции меньшевиков-интернационалистов со слов—...„Как мы, заграничные меньшевики-интернационалисты, реагировали" и т. д. (стр. 198) до абзаца, начинающегося словами—„Грехопадение ликвидаторов в первый год войны" и т. д. (стр. 203), должен быть изъят из соответственного места и вставлен на стр. 216 перед абзацем, начинающимся словами—„В острые моменты кризиса невозможно топтаться на месте" и т. д.

*Редакция.*

# СОДЕРЖАНИЕ:

# «КРАСНАЯ НОВЬ»

## ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ и НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ.

Выходит один раз в 1½—2 месяца книжками в 17—19 л.л.

## ВЫШЛО 11 НОМЕРОВ.

### Состав сотрудников:

### Художественное слово.

В. Александровский, А. Аросев, Мих. Артамонов, Н. Асеев, Анна Баркова, Демьян Бедный, С. Бобров, Валерий Брюсов, Артем Веселый, Анна Веснина, В. В. Вересаев, Максимилиан Волошин, Е. Волчанецкая, Иван Вольнов, Д. Выгодский, М. Герасимов, Ф. Гладков, Андрей Глоба, С. Городецкий, Максим Горький, А. Дроздов, И. Ерошин, С. Есенин, Мих. Зощенко, Ал. Зуев, Всев. Иванов, Вера Ильина, Вас. Казин, Ив. Касаткин, В. Кириллов, С. Клычков, Кл. Лаврова, Е. Лунц, Н. Ляшко, О. Мандельштам, А. Мариенгоф, В. Маяковский, В. Муйжель, Петр Мытарь, В. Нарбут, А. Неверов, П. Низовой, Н. Никитин, С. Обрадович, П. Орешин, Н. Павлович, Б. Пастернак, А. Перегудов, Б. Пильняк, В. Плетнев, С. Подьячев, Ел. Полонская, Н. Полетаев, А. Пришелец, П. Радимов, Лариса Рейснер, Ив. Рукавишников, С. Семенов, Д. Семеновский, Сергеев-Ценский, П. Сухотин, Н. Тихонов, А. Н. Толстой, К. Тренев, К. Федин, Е. Федоров, Ольга Форш, В. Ходасевич, А. Чапыгин, М. Шагинян, Г. Шенгели, М. Шимкевич, Вяч. Шишков, Эйдеман, Ил. Эренбург, А. Яковлев и др.

### Политика, экономика, наука, критика, библиография.

Вл. Архангельский, Антропов, Б. Арватов, Н. Асеев, Л. Аксельрод (Ортодокс), В. Баженов, В. Базаров, С. Бобров, О. Бик, И. Бороздин, проф. Блажко, Н. Бухарин, Илья Вардин, А. Воронский, Евг. Варга, В. Ваганян, Б. Горев (Гольдман), С. Гусев, С. Городецкий, Карл Грасис, Ш. Двойлацкий, А. Деборин, Б. Завадовский, М. Завадовский, С. Ингулов, Н. Крупская, М. Кантор, Г. Кржижановский, П. С. Коган, В. Кураев, А. Канторович, Н. Ленин, А. Луначарский, Ю. Ларин, А. Лозовский, И. Майский, Н. Мещеряков, А. Меньшой, П. Месяцев, Милютин, З. Маркович, Нурмин, В. Невский, А. Неверов, М. Ольминский, Е. Преображенский, М. Павлович, Вяч. Полонский, Г. Пятаков, проф. Прянишников, М. Н. Покровский, Пржеборовский, Е. Пашуканис, Карл Радек, А. Реформатский, М. Рейснер, И. Рейснер, Д. Рязанов, М. Смит, Вл. Сарабьянов, В. Смушков, И. Степанов, В. Смирнов, Н. Суханов, П. Садыкер, Т. Сапожников, А. Тимирязев, Л. Троцкий, В. Фриче, Мих. Фрунзе, Фридеман, А. Хрящева, Клара Цеткин, С. Членов, Я. Шафир, А. Юрлов, Я. Яковлев и др.

### Книга первая.

*Всеволод Иванов*. Партизаны. Рассказ.— *М. Пожарова*. Стихи.— *С. Подьячев*, „Голодающие". (С натуры). — *Д. Семеновский*. Современные частушки. — *Николай Колоколов*. Стихи. Политико-экономический отдел. *Н. Ленин*. О продовольственном налоге.— *Ш. Двойлацкий*. Накопление капитала и проблема империализма.— *К. Радек*. Третий год борьбы советской республики против мирового капитала.— *А. Хрящева*. К характеристике крестьянских хозяйств периода войны и революции.— *Н. Крупская*. Система Тэйлора и организация работы советских учреждений. Искусство и жизнь. *А. Луначарский*. *Наши задачи в области художественной жизни*.— *В. Фриче*. Ромэн Роллан. Отдел научно-популярный. *А. Тимирязев*. Периодическая система элементов Менделеева и современная физика. Научная хроника. *Вл. Архангельский*. Наши достижения в аэрогидродинамике.— *В. Баженов*. Успехи применения радио за границей. Внутри Советской России. *Е. Преображенский*. Новая полоса.— *И. Вардин*. „После Кронштадта". Иностранное обозрение. *М. Смит*. Производственные и социально-политические предпосылки забастовки английских углекопов.— *М. Павлович*. Кемалистское движение в Турции.— *М. Павлович*. С. Штаты и Советская Россия. Из прошлого. *Вяч. Полонский*. Вейтлинг и Бакунин. В порядке дискуссии. *М. Ольминский*. О книге т. Бухарина.— *Не-ревизионист*. О книге т. Бухарина.— *Н. Бухарин и Г. Пятаков*. Кавалерийский рейд и тяжелая артиллерия. Из зарубежной прессы. *Н. Мещеряков*. „Наши за границей".— *А. Воронский*. Уэльс о Советской России. Критика и библиография. 1. *А. Воронский*. Об отшельниках, безумцах и бунтарях.— 2. *Нурмин*. Леонид Андреев. „Дневник сатаны".— 3. *А. Меньшой*. „Парализованные".— 4. *Нурмин*. Феликс Гра. „Террор".— 5. *А. В*. Распад идеологии.—6. *М. Кантор*. „Народное хозяйство", ежемес. экон. журнал.— 7. *Проф. Реформатский*. Наука и ее работники.—8. *Мих. Павлович*. Мих. Лемке. „250 дней в царской ставке".— 9. *Я. Шафир*. Н. Ашешов. Софья Перовская.— 10. *Я. Ш*.

. Дейч. „Русская революц. эмиграция 70-х годов".— 11. *А. Аросев.* Ген. Сла-Крымский. Требую суда, общества и гласности.— 12. *А. Аросев.* Мих. Павлович. юмическое развитие и аграрная программа в Персии XX века.—13. *Подземский.* сный журналист".

## Книга вторая.

*Вячеслав Иванов.* Алтайские сказки.— *Дмитрий Семеновский.* Песнь песней. н.— *Ольга Форш* (А. Терек). Чемодан. Рассказ.— *Мих. Артамонов.* Из полевых в. Стихи.— *А. Аросев.* Страда. Записки.— *В. Александровский.* Из поэмы „Деревня". н.— *Павел Низовой.* Крыло птицы. Рассказ.— *Борис Пастернак.* Уральские стихи тико-экономический отдел. *Евгений Варга.* Как строилась промышленность и раз лся земельный вопрос в советской Венгрии.—*Мих. Фрунзе.* Единая военная доктрина . армия.—*Я. Шафир.* „Экономическая политика белых". Научно-популярный отдел. 'ржижановский. Заметки об электрификации.— *Д. Прянишников.* От азота воз к азоту нервной и мышечной ткани.— *А. Тимирязев.* Принцип относительности орни Эйнштейна).— *А. Тимирязев.* Успехи физики в Сов. России. Из прошлого. *Полонский.* Крепостные и сибирские годы М. Бакунина. Искусство и жизнь. *Люксембург.* В. Короленко.— *В. Фриче.* От войны к революции.— *А. Воронский.* ратурные заметки. Внутри Советской России. *С. Клепиков.* Неурожай 1921 г.— *lесяцев.* Голодное переселение.— *Я. Яковлев.* Махновщина и анархизм.— *Ил. Вар* Реакционная демократия. Вопросы международного рабочего движения. *К. Радек.* ентарии к третьему конгрессу Комм. Интернац.— *Мих. Павлович.* Восточный вопрос I конгрессе. Отклики на заграничную печать. *М. Покровский.* Противоречия илюкова.— *Н. Мещеряков.* Легкомысленный путешественник. В порядке дискуссии. *бьянов.* От примитивов к крайностям.— *Н. Бухарин.* Настоящая потеха и настоящее ене. Критика и библиография. *Анчар.* „150.000.000".— *Нурмин.* О новой книге ороленко.— *П. Яровой.* Быт в произведениях А. Неверова.— *Н. Захаров-Мень* Поэзия никитинцев.— *В. Невский.* Взаимодействие или монизм.— *Вад. Смушков.* юхи „Звезды" и „Правды" (1911—1914 г.г.).—*В. Смушков.* На службе германской юции.— *А. Воронский.* От народнического утопизма к контр-революционной ку-й идеологии.— *Нурмин.* К эволюции русского либерализма.— *Мещеряков.* Мечты, ı.— *Дон-Аминадо.* „Зеленая палочка".— *П. С. Коган.* Александр Блок (некролог).

## Книга третья.

*С. Подьячев.* „Болящий". Рассказ.— *Н. Никитин.* Мокей. Сказ.—*М. Шимкевич* Рассказ.— *Артем Веселый.* Мы. Драматические картины.— *В. Плетнев.* Золото. аз.— *Е. Федоров.* Байтас. Из киргизских восстаний.— *В. Тамарин.* Пустыня (из ки одного похода).— *Е. Волчанецкая.* „За други своя". Стихи.— *Эйдеман.* Старец ышского). Стихи.— *К. Лаврова.* Сухмень. Стихи.— *А. Пришелец.* В засуху. Стихи.— *Баркова.* Женщина. Стихи.— *Демьян Бедный.* Печаль. Стихи.— *Б. И. Горев дман).* Марксизм и рабочее движение в Петербурге четверть века назад. (Воспоминания.)— *Вяч. Полонский.* Крепостные и сибирские годы Мих. Бакунина (окончание).— *вадовский.* Проблема старости и омоложения в свете новейших работ Штейнаха, юва и других.— *И. Степанов.* Мимо и дальше от Маркса.— *Е. Преображенский* ективы новой экономической политики.—*А. Смит.* К вопросу об издержках рево-ı.— *Е. Пашуканис.* Буржуазный юрист о природе государства.— *П. Коган.* Русская атура в годы октябрьской революции.— *А. Воронский.* Из современных настрое-· *Н. Мещеряков.* „Новые вехи".— *Ил. Вардин.* Раскол партии кадетов. За рубежом *опов.* Англия. Экономические последствия мировой войны. Внутри Советской России. *раев.* От войны к миру. В порядке дискуссии. *С. Гусев.* Еще о новой экономической политике.— *Вл. Сарабьянов.* Письмо в редакцию.—*Демьян Бедный.* Когда ж он ется? Критика и библиография. *Анчар.* О романе Бибика.— *П. Яровой.* Варвара нна. „Лютики". Стихи.— *Вл. Сарабьянов.* Л. Троцкий. Новый этап.—*Вл. Сарабья-* Гортер. Империализм, мировая война и соц.-демократия.— *Б. Э.* Восстановление ства и развитие произв. сил юго-востока.— *Гр. С-ор.* Л. Крицман. Единый хоз — *В. Ваганян.* Г. В. Плеханов. I. Год на родине. II. Речь на моск. гос. совещании.— *ронский.* Похмелье. Г. Кирдецов. У врат Петрограда.— *Ил. Вардин.* Эс-эры lаковщина.— *Б. Завадовский.* „Природа".—*А. В.* Печать и Революция.

## Книга четвертая.

*Александр Яковлев.* Порыв. Рассказ.—*Борис Пильняк.* Простые рассказы.— *а Рейснер.* С пути. Дневник.—*Семен Подьячев.* „Православные" (рассказ).— *Подьячев.* „Из недавнего прошлого".—*Н. Ляшко.* Ворова мать (рассказ).— *м Веселый.* В деревне на масленице (рассказ).— *Петр Мытарь.* Сорок три ).—*А. Аросев.* Октябрьский рассвет (из записной книжки).—*Арнольд Колбанов-* Муки слова.—*Павел Низовой.* Смена (рассказ).—*А. Перегудов.* Казенник.— *доров.* Четыре пуговицы.—*Стихи:* Бориса Пастернака, Анатолия К., С. Обра ı, Анны Барковой, Д. Выгодского.—*Б. М. Завадовский.* Наука в Советской к.—*Ю. Ларин.* О пределах приспособляемости нашей новой экономической поли-

тики.—*К. Радек*. Пути русской революции (по поводу новой экономической политики).— *Милютин*. На экономические темы.—*А. Луначарский*. Достоевский как художник и мыслитель.—*В. Вересаев*. Художник жизни (о Л. Н. Толстом).—*В. Плетнев*. Некрасов и современность.—*С. Бобров*. Кони о Некрасове и Достоевском. **Внутри Советской России**. *Сарабьянов*. Кое-какие итоги нового курса.—*Демьян Бедный*. Курология. **Критика и библиография**. *П. Коган*. Литературные заметки (об Андрее Белом.)—*Сергей Городецкий*. Обзор областной поэзии.—*Цег*. „Самое главное".—*А. Тимирязев*. Обзор литературы о принципе относительности.—*Б. Арватов*. Общая эстетика.—*Ил. Вардин*. „Пролетарская Революция" № 1.—*Ил. Вардин*. Я. Яковлев „Русский анархизм". **Белая печать**. *С. Гусев*. О гражданской войне.—*И. Вардин*. Мелкое земледелие (о книге Чупрова).— *Орфик*. Мережковский. Царство антихриста.

## Книга пятая.

*Вячеслав Шишков*. Вихрь (драма в 4-х действиях).—*Михаил Зощенко*. Лялька Пятьдесят (рассказ).—*Сергей Семенов*. Тиф (рассказ).—*Борис Пильняк*. Отрывки из романа „Голый Год".—*Всеволод Иванов*. Бронепоезд № 14.69 (повесть).—*В. Вересаев*. К Афродите (из гомеровых гимнов).—*Стихи*: Ольги Криницкой, М. Герасимова, П. Радимова.—*Бернард Шоу*. Диктатура пролетариата (с английского).—*М. Покровский*. Наши спецы в их собственном изображении.—*Ш. Двойлайцкий*. Мировое хозяйство и кризис 1920—1921 г.г.—*В. Смирнов*. Наша экономическая политика.—*Н. Мещеряков*. Задачи современной кооперации.—*А. Воронский*. Советская Россия в освещении белого обозревателя.— *Н. Мещеряков*. Распад.—*П. С. Коган*. Памяти В. Г. Короленко.—*С. Бобров*. Символист Блок. **За рубежом**. *М. Павлович*. Вашингтонская конференция. **Внутри Советской России**. *П. Месяцев*. Сельско хозяйств. кризис.—*К*. В журнальном мире (хроника).—Проф. *Блажко*. Успехи астрономии.—Проф. *Пржеборовский*. Успехи химии в России.—*Демьян Бедный*. Басни.—*Сергей Городецкий*. Красномосковье (стихи). **Критика и библиография**. *Статьи и рецензии:* Нурмина, Боброва, М. Рейснера, М. Ш., Б. Завадовского, З. Марковича. В. Смушкова, З. Марковича.—*А. Воронский*. Из человеческих документов.—*Объявления*.

## Книга шестая.

*А. Чапыгин*. „На лебяжьих озерах". Повесть.—*А. Аросев*. Недавние дни. Очерки.— *Анна Веснина*. Крест. Рассказ.—**Стихи**: *Сергей Есенин, Борис Пастернак, В. Казин, П. Радимов, Сергей Клычков, Д. Семеновский, П. Сухотин, Н. Полетаев, Мих. Герасимов, Г. Шенгели, Петр Орешин*.—*Ник. Суханов*. В июле 1917 года.—*С. Членов*. Германская революция и социал-демократия.—*А. Лозовский*. Мировое наступление капитала и единый пролетарский фронт. **Закат Европы**. I. *Карл Грасис*. Вехисты о Шпенглере.—II. *В. Базаров*. О. Шпенглер и его критики. III. *Сергей Бобров*. Контуженный разум.—*Е. Преображенский*. Русский рубль за время войны и революции.—*А. Воронский*. Литературные отклики.—*М. Рейснер*. Старое и новое.—*Мих. Завадовский*. Аскания-Нова.—*П. Садыкер*. Войны будущего. **За рубежом**. *Мих. Павлович*. Генуэзская конференция.— *Клара Цеткин*. Железнодорожная забастовка в Германии. **Внутри Сов. России**. *С. Ингулов*. Заметки о голоде. **Литературные края**. *С. Бобров*. „Я, Николай Ставрогин..." *Н. Мещеряков*. Русские сменовеховцы.—*Нурмин*. В журнальном мире.—*О. Бик*. Литературные края.—*Объявления*.

## Книга седьмая.

*А. Неверов*. Маленькие рассказы.—*Максимилиан Волошин*. Из поэмы „Путями Каина". Стихи.—*Всеволод Иванов*. Голубые пески. Роман.—**Стихи**: *Василий Казин, Мих. Герасимов, С. Обрадович*.—*Александр Зуев*. Смута. Бытовые очерки.—**Стихи**: *С. Есенин, И. Ерошин, С. Клычков, П. Радимов*.—*А. Аросев*. Недавние дни (окончание).— *Г. Шенгели, В. Маяковский, Н. Асеев, С. Бобров*.—*Л. Троцкий*. „Дело было в Испании" (по записной книжке).—*М. Н. Покровский*. Правда ли, что в России абсолютизм „существовал наперекор общественному развитию"?—*С. Членов*. Сумерки божков.—*Д. Рязанов*. Рикардо как человек и мыслитель.—*Г. Пятаков*. Философия современного империализма (этюд о Шпенглере).—*Фридеман*. О феномене Herell'я. С предисловием *Б. Завадовского*.—*А. К. Тимирязев*. Внутри-атомная энергия. **Внутри Советской России**. *С. Ингулов*. На текущие темы.—*Н. Мещеряков*. Новое студенчество. **Литературные края**. *Ник. Асеев*. Письма о поэзии.—*П. С. Коган*. С. Есенин. **Критика и библиография**. Статьи и рецензии: *Н. Асеева, С. Боброва, А. Воронского, А. Неверова, А. Юрлова А. Аросева, М. Н. Покровского, И. Степанова, С. Членова, К. Грасиса, Канторовича Сапожникова и др*.—Объявления.

## Книга восьмая.

*Н. Тихонов*. Сами. Стихи.—*Петр Орешин*. Квасок. Комиссарка. Стихи.—*В. Вересаев*. Из повести „В тупике".—*Ник. Асеев, Илья Эренбург, О. Мандельштам, В. Нарбут*. Стихи.—*Всеволод Иванов*. Голубые пески. Роман (продолжение).—*Елизавета Полонская, Василий Казин, Н. Полетаев*. Стихи.—*Ник. Никитин*. Из повести „Рвотный форт". *Владислав Ходасевич, Сергей Клычков*. Стихи.—*А. Зуев*. „Смута". Бытовые очерки (окон-

. *Огурцов*. Частушки.—*С. Витте* „Покушение на мою жизнь" (из II тома „Вос-
").—*И. Майский*. Демократическая контр-революция (из воспоминаний).—*Джон*
Проблемы нового мира (с английского).—*М. Рубинштейн*. Борьба за нефть.—
. Высшая школа.—*В. Мотылев*. Об основных проблемах экономической теории
.—*В. В. Савич*. Попытка уяснения процесса творчества с точки зрения рефлек-
кта.—*Н. Понятский*. Отповедь старого дарвиниста. **Литературные края**.
По морю бумажному (журнальный обзор).—*А. Воронский*. Литературные силу-
Пильняк.—**Внутри Сов. России**. *Нурмин*. Процесс правых эс-эров. **Критика**
рафия. Рецензии *Н. С., А. Н-ва, Сергея Боброва, Марковича, Горева, Милю-*
*нторовича, Б. Завадовского, Д. Хлебникова* и других авторов.—*В. Маяков-*
бников.—*Объявления*.

## Книга девятая.

*ргий Шенгели*. Поручик Мертвецов. Стихи.—*Николай Тихонов*. Песня об отпуск-
те, Колымага и др. Стихи.—*В. Вересаев*. Два отрывка из повести „В тупике".
*ер, Вера Ильина, Владимир Нарбут*. Стихи.—*Всеволод Иванов*. Голубые пески.
одолжение).—*Василий Казин, Петр Орешин, Дм. Семеновский*. Стихи.—*Ганс*
наингенский конокрад и вороватые крестьяне. Перевод Бориса Пастернак.—
*рш*. Африканский брат. Рассказ.—*Сергей Бобров*. Глаза свободы. Стихи.—*Але-*
*оздов*. Бес. Рассказ.—*И. Майский*. Демократическая контр-революция (продол-
*Карл Радек*. Что дала октябрьская революция.—*Е. Преображенский*. Крах
на в Европе.—*Рубинштейн*. Стиннес.—*Яковлева*. Общее положение профессио-
образования в Р.С.Ф.С.Р.—*Я. Шатуновский*. Коммунизм в борьбе с голодом.—
*ер*. Голодная смерть. Пер. с немецкого Г. Азимова, с предисловием Б. Завадов-
. *Радек*. Генуэзская и Гаагская конференции.—**За рубежом**. *Мих. Павлович*.
империализм.—*П. Китайгородский*. Современная Ирландия.—**Литературные**
*Воронский*. Литературные силуэты.—**Внутри Советской России**. *С. Ингулов*.
циков.—**Критика и библиография**. Рецензии *А. А., А. Воронского, Б. Горева,*
*Кряжина* и др.—*Объявления*.

## Книга десятая.

*Эренбург*. Жизнь и гибель Николая Курбова (отрывок из романа).—*Мариэтта*
. Перемена. Быль.—*А. Чапыгин*. Чемер. Рассказ.—*Всеволод Иванов*. Голубые
ман (продолжение).—*Н. Асеева, С. Колбасьева, Е. Полонской, Валентина*
*А. Ширяевца, Петра Орешина, П. Незнамова, Сергея Клычкова, Г. Санни-*
ки).—*Алексей Толстой*. Аэлита. Роман.—*И. Майский*. Демократическая контр-
(продолжение).—*П. Н. Дурново*. Записка Дурново со вступительной статьей
товича.—*Л. И. Аксельрод (Ортодокс)*. Курс лекций по историческому мате-
I. Возможны ли исторические законы.—*Н. Сретенский*. Людвиг Фейербах.—
*тов*. На шестой год (к итогам и перспективам партийной работы).—*А. Неми-*
хи биологии в сов. России.—**Внутри Советской России**. *Вяч. Шишков*. „С ко-
путевые заметки).—**Литературные края**. *А. Воронский*. Литературные силуэты.
*мятин*.—*Н. Смирнов*. По журнальным страницам.—**Библиография**. Рецензии
*Воронского, С. Боброва, Э. Бика, А. Юрлова, С. Зорина, Мих. Павловича,*
*ева, Рубинштейна* и др.—*Объявления*.

## Книга одиннадцатая.

*Горький*. Автобиографические рассказы.—*Дм. Земляк, П. Незнамов, О. Ман-*
*м, Вера Инбер*. Стихи.—*Алексей Толстой*. „Аэлита". Роман (продолжение).—
*'ович, А. Кусиков, П. Радимов, Сергей Клычков, В. Наседкин, Мих. Гераси-*
*ки*.—*Николай Огнев*. „Евразия". Повесть.—*Всев. Иванов*. „Голубые пески".
одолжение).—*А. С. Мартынов*. Мои украинские впечатления и размышления.—
*сельрод (Ортодокс)*. Курс лекций по историческому материализму. Лекция
*Смирнов*. Наше денежное обращение и пути его оздоровления.—*С. Членов*.
ный Берлин (впечатления).—*И. Майский*. Демократическая контр-революция
ние).—**Внутри Советской России**. *Вяч. Шишков*. „С котомкой" (окончание).—
**ком**. *М. Павлович*. Русские события и угроза будущей войны.—*П. Китайго-*
Власть нефти.—*Н. Бухарин*. По скучной дороге (ответ моим критикам).—
**урные края**. *А. Воронский*. Литературные заметки.—*М. Левидов*. Организо-
прощение культуры.—*В. Кряжин*. История одного отречения.—**Библиография**.
*Юрия Соболева, А. А. Неверова, М. Щанина, Ник. Смирнова, П. Сапож-*
*Мих. Завадовского, Б. Завадовского, А. К.* и др.—*Объявления*.

## Книга двенадцатая.

*Горький*. Автобиографические рассказы.—*Алексей Толстой*. Аэлита. Роман
е).—*Мариэтта Шагинян*. Перемена (продолжение).—*А. Малышкин*. Вок-
весть.—*А. Сигорский*. Плющевая головка. Рассказ.—*А. Аросев*. Председа-
есть.—*Соколов-Микитов*. В лесу.—*М. Волошин, О. Мандельштам, В. Пар-*
*Радимов, С. Клычков, В. Ильина*. Стихи.—*И. Майский*. Демократическая
олюция (окончание).—*Н. Осинский*. Мировое хозяйство в оценке наших эконо-

мистов.—*А. Мартынов.* Великая историческая проверка (часть II).—*Ил. Вардин.* Либерализм—царизм—революция.—*Мих. Завадовский.* Этюд о К. Тимирязеве.—**Внутри Советской России.** *Ив. Вольнов.* Деревенская пестрядь.—**Литературные края.** *П. С. Коган.* Современная литература за рубежом.—*Сергей Бобров.* Лоскутья победы.—*А. Воронский.* Литературные отклики.—*Ник. Иорданский.* Между историей и политикой.—**Критика и библиография.** Рецензии *Юрия Соболева, А. А., С. Вольфсон, В. Кряжина, Б. Завадовского, Б. Андреева, Н. Николаева.*—*Объявления.*

## Книга тринадцатая.

*М. Горький.* Автобиографические рассказы (продолж.).—*М. Пришвин.* Кощеева цепь—хроника.—*А. Малышкин.* Вокзалы—повесть (окончание).—*Вс. Иванов.* Голубые пески—роман (окончание).—*Б. Пильняк.* Волки—рассказ. Стихи: *Р. Бехер, В. Брюсова, С. Клычкова, В. Инбер, Н. Антокольского.* *Л. И. Аксельрод (Ортодокс).* Курс лекций по историческому материализму. Методологические основы социологии в их развитии. *И. Майский.* Демократическая контр-революция (окончание). *Ю. Ларин.* Деревня и бюджет.—*Проф. В. Иванцов.* Новый поход против Дарвина.—*А. Мартынов.* Великая историческая проверка (продолж.) **Литературные края.** *Вяч. Полонский.* Заметки о культуре и некультурности.—*П. С. Коган.* Заграничные литературные новинки.—*Н. И. Иорданский.* Между историей и политикой.—*А. Воронский.* О группе писателей „Кузница". **Из белой прессы.** *Георгий Виллиам.* Побежденные—очерки. **Библиография.** Рецензии: *П. Журова, Н. Смирнова, В. Кряжина, Ю. С-ва, Березина, Цинговатова, Б. Андреева, Б. Завадовского, Пинкевича и др.*

## Книга четырнадцатая.

*М. Горький.* Автобиографические рассказы.—*М. Пришвин.* Кощеева цепь.—*М. Шагинян.* Перемена (продолжение).—*Н. Огнев.* Павел Великий.—*Н. Соколов-Микитов.* Былицы.—*В. Маяковский.* Маяковская галлерея.—*Н. Тихонов, В. Инбер, П. Орешин, С. Клычков.* Стихи.—*С. Членов.* Плачущие цифры. *Р. Роллан.* Махатма Ганди. *Ю. Ларин.* Дифференциация крестьянства.—*А. Мартынов.* Великая историческая проверка (продолжение).—*С. Бессонов.* Старые свидетели нового спора.—*М. Павлович.* Ленин и Брест.—*Проф. К. Н. Кржижковский.* Условные рефлексы.— *Проф. И. А Смородинцев.* Происхождение жизни. **Литературные края.** *П. С. Коган.* О социальной драме.—*В. Полонский.* Из белой литературы. Метаморфоза (заметки).—*А. Воронский.* Литературные отклики. О группе писателей „Кузница" (окончание).—*П. Сапожников.* Книга о Толстом. **За рубежом.** *С. Зорин.* Современная Германия. **Из белой прессы.** *Г. Виллиам.* Побежденные. **Критика и библиография.** Рецензии: *Н. Смирнова, П. Журова, Н. Спасского, А. Воронского. В. Полянского. В. Кряжина* и др. Объявления.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Сретенский б., Милютинский пер., 5-й подъезд, 4-й этаж. Тел. 2-71-00.
**Прием** по понедельникам, средам и пятницам от 1 до 3 ч. дня.
Рукописи менее печатного листа не возвращаются.
**Ответств. редактор—А. Воронский.** **Издатель—Государственное Издательство.**
**Члены Ред. Коллегии** *А. Бубнов. В. Смирнов.*

ПЕЧАТАЕТСЯ И В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ ПОСТУПИТ В ПРОДАЖУ

ПЯТАЯ КНИГА

ЖУРНАЛА ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, КРИТИКИ И БИБЛИОГРАФИИ

# „ПЕЧАТЬ И РЕВОЛЮЦИЯ“

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ

А. В. ЛУНАЧАРСКОГО, Н. Л. МЕЩЕРЯКОВА, М. Н. ПОКРОВСКОГО, В. П. ПОЛОНСКОГО и И. И. СТЕПАНОВА-СКВОРЦОВА.

СОДЕРЖАНИЕ.

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ: А. ЛОЗОВСКИЙ.—Как мы издавали во время войны интернационалистские газеты в Париже. М. ЛИРОВ.—Из загробного мира царизма. А. НЕУСЫХИН.—К вопросу об элементах капитализма в средневековом обществе. П. КОГАН.—Драма Блока. А. СИДОРОВ.—Г. Нарбут и его книги (с иллюстрациями). **ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.** Валерий БРЮСОВ.—Пушкиноведение в 1922 и 1923 (январь-май) году. В. ВЕРЕСАЕВ.—Из литературы о Толстом. К. ЛОКС.—Современная проза. В. КРЯЖИН.—Индия по роману Рабиндраната Тагора. Г. ВИНОКУР.—Культура языка. **В ПОРЯДКЕ ДИСКУССИИ.** СИНЕИРА.—Есть ли в марксизме элементы бланкизма? Б. ГОРЕВ.—Обидно ли для марксизма идейное родство с бланкизмом? А. ГОЙХБАРГ.—Из литературы о государстве. **ИЗДАТЕЛЬСКОЕ И ПЕЧАТНОЕ ДЕЛО.** Н. ГАРЕЛИН.—Книжная выставка Государственного Румянцовского музея.

ОТЗЫВЫ О КНИГАХ: Б. Горева, В. Адоратского, А. Гольдфарб, Г. Сандомирского, М. Брагинского, Ф. Капелюша, И. Звавича, Е. Преображенского, С. Минца, Ю. Вильдо, А. Бессера, Б. Гибшмана, Л. Лейбензона, Н. Терпигорева, С. Обручева, А. Чекина, В. Виленского (Сибирякова), Л. Мадьяра, И. Шпильрейна, С. Каплуна, А. Сергеева, В. Сторожева, Б. Павлова, П. Преображенского, К. Добронницкого, М. Рафеса, А. Неусыхина, Н. Лукина, И. Волковичера, Г. Штейнман, С. Ингулова, Е. Херсонской, А. Кариняна, Б. Фрумкина, А. Некрасова, И. Евдокимова, С. Членова, Ю. Милонова, А. Пионтковского, Е. Медынского, М. Пистрака, И. Голанова, А. Пешковского, Л. Богоявленского, С. Чефранова, Л. Проворова, В. Шульгина, Н. Киселева, Н. Гарелина, М. Фабриканта, Е. Аркина, М. Завадовского, Н. Кулагина, М. Волоцкого, С. Блажко, А. Михайлова, В. Костицына, Л. Хавкиной, М. Слуховского, С. Гуревича, А. Терешковича, Э. Бархана, В. Сукенникова, В. Фриче, Д. Благого, В. Нечаевой, Н. Кашина, Н. Фатова, В. Пичеты, Г. Винокура, А. Стрелкова, И. Аксенова, Л. Розенталя, Н. Асеева, В. Полянского, Я. Зунделовича, В. Волькенштейна, К. Локса, И. Кубикова, Д. Горбова, А. Анищева, Ю. Соболева, С. Боброва, О. Мандельштама, Н. Лебедева, Л. Сабанеева, И. Эйгеса, Н. Щербакова, А. Греча, А. Сидорова, А. Ромма, Л. Варшавского, И. Корницкого, М. Эйхенгольца.

В номере до 40 иллюстраций в тексте и на вкладных листах.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Москва, Никитский бульвар, д. № 8 („Дом Печати“).
Телефон 1-02-85.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ В ТОРГОВЫЙ СЕКТОР ГОСИЗДАТА
(Москва, Ильинка, Богоявленский пер., д. № 4).

# СОДЕРЖАНИЕ: